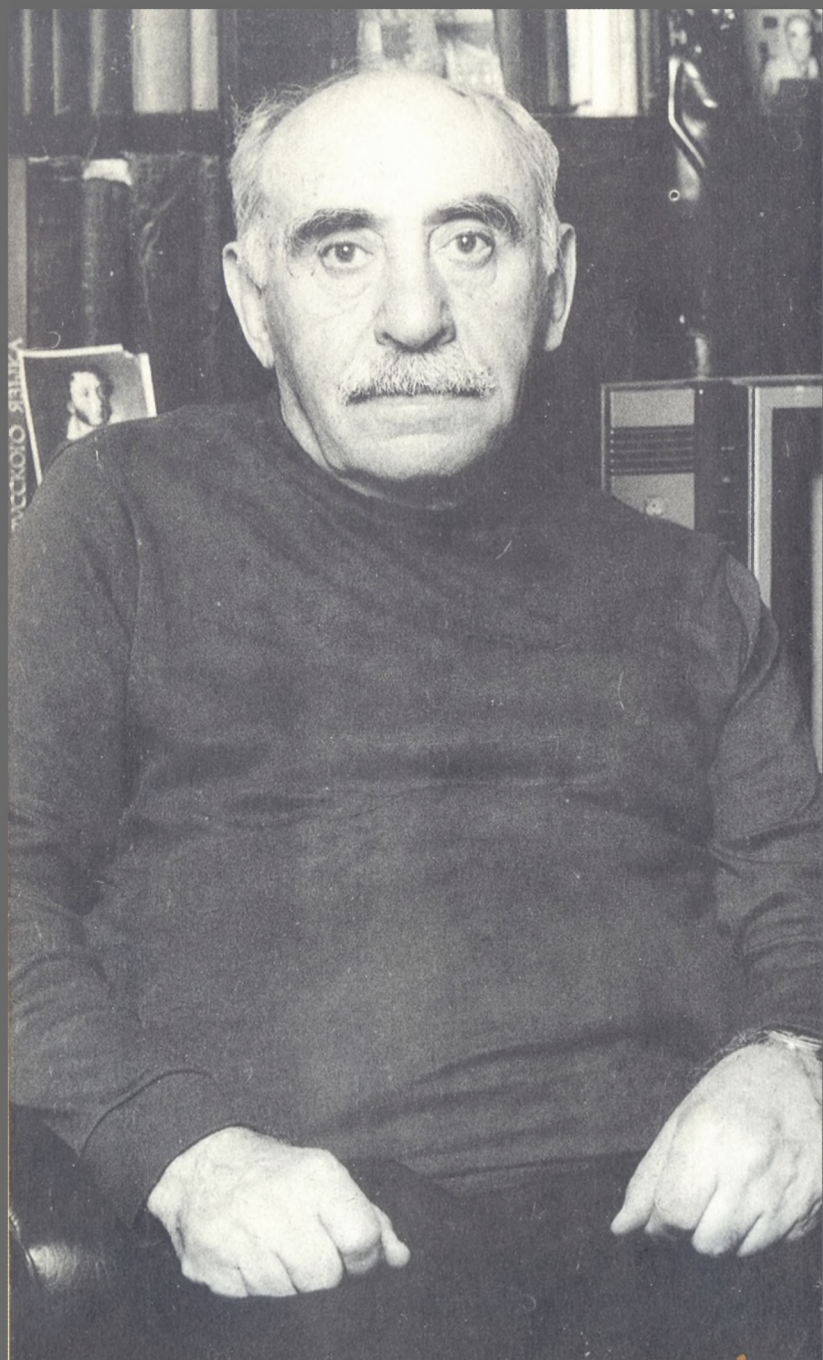


Семен
ЛИПКИН

К В А Д Р И Г А







///АГРАФ

КВАДРИГА*

*Среди шутов, среди шутих,
Разбойных, даровитых, пресных,
Нас было четверо иных,
Нас было четверо безвестных.
Один, слагатель дивных строк,
На точной рифме был помешан.
Он, как ребенок, был жесток,
Он, как ребенок, был безгрешен.
Он, искалеченный войной,
Вернулся в дом сырой, трухлявый,
Расстался с прелестью-женой,
В другой обрел он разум здравый.
И только вместе с сединой
Его коснулся ангел славы.*

*Второй, художник и поэт,
В стихах и красках был южанин,
Но понимал он тень и свет,
Как самородок-палешанин.
Был долго в лагерях второй,
Вернулся — весел, шумен, ярок,
Жизнь для него была игрой
И рукописью без помарок.
Был не по правилам красив,
Чужой сочувствовал удаче
И умер, славы не вкусив,
Отдав искусству жизнь без сдачи
И только дружеский архив
Хранит накал его горячий.*

*А третья нам была сестрой.
Дочь пошехонского священства,
Объединяя страсть и строй,
Она искала совершенства.
Муж-юноша погиб в тюрьме.
Дитя свое одна растила.
За робостью в ее уме
Упрямая таилась сила.
Как будто на похоронах,
Шла по дороге безымянной,
Но в то же время был размах,
Воспетый Осипом и Анной.
На кладбище Немецком — прах.
Душа — в юдоли богоданной.*

*А мне, четвертому, ломать
Девятый суждено десяток,
Осталось близких вспоминать,
Благославляя дней остаток.
Мой путь, извилист и тяжел,
То сонно двигался, то грозно.
Я счастлив, что тебя нашел,
Мне горько, что нашел я поздно.
Случается, что снится мне
Двор детских лет, грехопадение,
Иль окружение на войне,
Иль матери правоученье.
А ты явилась — так во сне
Является стихотворенье.*

С. Шейкин

* Первая строфа посвящена Арсеню Тарковскому
Вторая — Аркадию Штейнбергу.
Третья — Марии Петровых.

Семен
ЛИПКИН



К В А Д Р И Г А

ПОВЕСТЬ • МЕМУАРЫ

ББК 84 Р7

Л.61

Художник

Г.К. Ваншенкина

Составление и общая редакция:

Ю.А. Кувалдин

Липкин С.И.

Л 61 Квадрига. — М.: Издательство «Аграф»,
Издательство «Книжный сад», 1997. — 640 с.

В книгу известного поэта и прозаика С. Липкина вошли повесть «Записки жильца», основанная на автобиографическом материале, и воспоминания о современниках — Ахматовой, Мандельштаме, Твардовском, Шенгели, Лиснянской и др.

ББК 84 Р7

ISBN 5-7784-0015-2

ISBN 5-85676-044-1

© «Аграф», 1997



ЗАПИСКИ
ЖИЛЬЦА

повесть

Глава первая

В сущности, ничего не изменилось. Так же, как в юности, он пробирается по улице, прижимаясь покатым плечом к домам, хотя улица широка и немногочлюдна; так же, как в юности, испачкан его левый рукав, в правой руке он держит книги; так же, как в юности, он, кажется, не замечает насмешливо-удивленных взглядов прохожих, которых, помимо странной походки, невольно поражают этот высокий лоб, эти голубые чистые глаза, глаза ребенка и безумца.

Он снова поселился в доме Чемадуровой. Видимо, он один из редких счастливцев: здесь он родился, здесь и умрет, если не случится ничего более дурного.

Подумать только: произошла великая революция, менялись у нас разные правительства, утвердилась советская власть, отгремела вторая мировая война, а все жители, даже дети, которые уверены, что дом этот всегда был наполовину разрушен, называют его по-старому: дом Чемадуровой. Секретарша из жилищного отдела горисполкома, когда Лоренц подал ей заявление, сказала, с неестественной живостью моргая накрашенными ресницами:

— Ватутина, сорок восемь? Это на Романовке? В центре города? Что вы мне говорите, я родилась в центре города, такой улицы у нас нет. Дом Чемадуровой? Так бы и написали, а не морочили бы голову!

Не привилось новое название улицы. В четырнадцатом году ей пытались присвоить имя генерала Скобелева, в двадцатом — Троцкого, в двадцать восьмом — Десятилетия рабоче-крестьянской милиции, в сорок первом — Антонеску, в сорок пятом — генерала Ватутина, а улица как была, так и осталась Покровской, и ничего тут не поделаешь, даже самые сильные власти, не говоря уж о почтальонах, вынуждены в таком пустяке склониться перед упрямством горожан.

Лоренц почему-то был убежден, и довольно долго, что Покровская улица получила свое название от собора. Этот собор, единственный в нашем городе, когда-то делил Покровскую на две неравные части: шумную и тихую. Во время гражданской войны он был уничтожен, и на его месте в годы реконструкции разбили сквер.

Сравнительно недавно Лоренц вычитал в старинной газете, что собор воздвигли в конце прошлого века, когда улица уже называлась Покровской — благодаря небольшой церкви, той самой, в которой Антон Васильевич Сосновик был до конца своей жизни старостой.

Собственно говоря, вход в церковь был со стороны Треугольной площади, а на Покровскую она выходила лишь невысокой серой стеной с узкой калиткой и крохотным окошком сторожа. Робкая, всегда пыльная трава росла у ее подножия, и пахла трава как-то странно, по-церковному: не то мирром, не то ладаном. Взрослые, деловые люди не замечали этой стены: она терялась среди множества лавок и мастерских.

Когда-то в нашем городе в первых этажах торговали и мастерили. Впоследствии двери были заложены камнем на аршин от асфальта и превращены в окна.

Исчезли магазины, образовались квартиры. И только легкие шторы из гофрированного железа, поныне опускаемые с помощью палки с крюком, напоминают о былой оживленной деятельности.

Правление артели «Канцкультпром», где Лоренц работал вторым бухгалтером, помещалось на Богадельной, наискосок от Фруктового пассажа. Чтобы попасть в Публичную библиотеку, Лоренц должен был пройти всю Покровскую от начала до конца.

Было только три часа дня. Работу прекратили так рано, потому что председателя правления Дину Сосновик и первого бухгалтера вызвали в райком партии. Вчера в местной газете появился фельетон под названием «Грязная игра». Артель среди прочих товаров производила деревянные шашки и домино. В фельетоне речь шла о том, что черная краска легко сходит, пачкает руки. Само по себе дело было не очень страшным, так как еще год назад артель сама поставила в центре вопрос о непригодности черной краски. Но не был ли фельетон связан с тем, что на прошлой неделе арестовали мать Дины? Ах, для чего понадобилось мадам Сосновик после той трагедии, что она пережила, опять приниматься за старое! Зарабатывала Дина порядочно, во-

семьсот зарплаты да еще имела по пятьдесят ежемесячно с каждого из трех цехов. Она сама как-то перед ним расхвсталась: приносят на дом и без вычетов. На двоих хватало. Живет же он на четыреста двадцать в месяц. Как непонятны, как глупо-несчастливы люди!

Покровская улица упиралась одним концом во Фруктовый пассаж (теперь там зоопарк), другим — в море. И не только мостовая и тротуары, — иная, высшая связь была между высокотрубными пароходами, приходившими из дальних стран и неожиданно, волшебным образом возникавшими в конце улицы, и кричащей и вместе с тем невинной роскошью Фруктового пассажа — несметной сокровищницы дынь, помидоров, винограда, слив, яблок. Это была та связь, которая никогда не станет цепью, — союз вольного труда и вольного простора, древнейшее братство земледелия и мореплавания. А между ними на Покровской располагались торговля, ремесла, просвещение.

Как само детство, сладко пахли акации, те самые акации, которые видели все, все. Сколько раз он вспоминал о них там, в Польше, в Германии. А цветы их, болезненно-нежные цветы! Когда он сосал их, долго оставалась во рту пряная прохлада. Сколько раз он вспоминал и эти дома и вывески — не новые, а прежние, с «ятью» и твердым знаком. Война окончилась несколько лет назад, от многих домов остались одни коробки, иные — трехэтажный красный, с зимними балконами или вон тот длинный и узкий, где был трактир, а потом клуб табачной фабрики, — исчезли, и пустыри заросли невысокой травой. Трактир был на втором этаже, на первом — магазин восточных сладостей Назароглу, широкий брезентовый тент над окнами выдавался далеко вперед, и тень от цветов акации чернела на сером брезенте, как древняя клинопись. Сколько знакомых лиц мерещится ему! Они собирались вечерами в этом трактире — слесарь Цыбульский, огромный и кудлатый, столяр Димитраки, маленький, пергаментнолицый, с черным ежиком волос, Ионкис, дамский портной, изящный, самоуверенный. Иногда приходили господин Кемпфер, «полуинтеллигент», как он сам себя называл со смешной гордостью, и господин Лоренц, бухгалтер, а с отцом и он, Миша, папин хвостик. Он слушал, слушал, пил чай вприкуску, ел горячие бублики с маком, а они говорили, говорили — о кайзере и Ллойд-Джордже, о Пуанкаре и Миллюкове, о Чехидзе и Ленине.

В одном популярном романе с неподдельным юмором высмеяны бессильные болтуны в пикейных жилетах, с апломбом разглагольствующие на политические темы. Как близоруки подобного рода авторы-насмешники! Он, Михаил Федорович Лоренц, человек с высшим образованием, чьи работы в свое время удостоились опубликования в «Вестнике языкознания» Академии наук, до сих пор удивляется тому пониманию сложнейших ситуаций, уму, наконец, прозорливости, какими были исполнены вечерние разговоры в шумном, веселом зале трактира, где под низким потолком плавали пахучий пар и папиросный дым. И как знать, не заключается ли свобода именно в том, что люди труда, надев вечером жилеты, быть может, безвкусные, сидят в трактире, пьют чай, едят бублики с маком и, никого не боясь, политиканствуют как им вздумается.

Прощай, трактир, прощай, клуб табачной фабрики, где заправилой была Рашель, — но это уже другие воспоминания.

Коробки, коробки, двухэтажные, трехэтажные. Нельзя сказать, что город сильно пострадал, но Покровской досталось больше всего. Мертвы проемы окон, а какая жизнь ему чудится в них, сколько лиц, близких и дорогих, дорогих и незнакомых. Его считают странным, малахольным, как здесь принято выражаться, он знает, что над ним посмеиваются, но как он любит их всех, всех, мертвых и живых. Он сросся с ними, как плоть с душой, он иногда чувствует, что он тоже был расстрелян, сожжен, он тоже прятался в подполе, он тоже вместе с ними вышел на свет Божий, с непривычки пугаясь яркого солнца и цепляясь за камни.

Его необыкновенная память, которой, как колдовству, удивлялись учителя и ровесники, сохранила приметы улицы чуть ли не тридцатилетней давности. Вот здесь был всегда такой вкусный запах: булочная Пирожникова... Вывески могли бы превратиться в забавную игру лингвиста: булочная Пирожникова, москательная Красильщикова, портной Я.Портной. А сколько фамилий украинских, еврейских, греческих, польских, турецких, армянских! И все же город был русским, он настаивает, чисто русским, потому что Россия — это не только окающая или акающая речь, безрезка над прудом, сени и сеновалы, «авось» да «анадьсь», она не застывшая мордовская вышивка, Россия — это Россия с ее чрезвычайно пестрой, энергичной историей, с ее первым сатириком-молдаванином, с эфиопскими губами ее

величайшего поэта, с мореплавателем Берингом и потомком выкреста адмиралом Нахимовым, с банком «Лионский кредит», с бельгийским трамвайным обществом, с декабристом Пестелем, с теософами и декадентами, гайдамаками и большевиками, с ним, Михаилом Федоровичем Лоренцем, да, да, Лоренцем, и даже со знаменитым окулистом, гордостью городских властей Севостьяновым, членом «Союза русского народа» при старом режиме, ректором университета при румынах и нынешним сталинским лауреатом.

Лоренц проходит мимо высокого дома, такого милого его сердцу. Со стороны Покровской дом хорошо сохранился. Он занимает целый квартал. Не видно, что разрушен задний одноэтажный флигель, где жили они, Лоренцы, где на подоконнике лежал этюдник несчастного Володи Варути, где размышлял Цыбульский и напевала Рашель, где духом кислых щей несло из окна дворника Матвея Ненашева. Обугленная стена, зияющая внутренностями, стоит на Николаевском проспекте, окна и дверь внизу, в бывшем магазине церковной утвари Чемадуровой, бывшей владелицы дома, заложены пористым камнем, и нет уже того подпола, где три года пряталась мадам Сосновик с Диной. А на Албанском переулке ничего от дома не осталось, ни кирпича, ни бревнышка, — ничего от столярной мастерской Димитраки, от жилья Кемпферов, скорняка Беленького. Теперь все они, живые, поместились в двух когда-то богатых квартирах — одна над другой — Помолова и Кобозева, с окнами на Покровскую. В первом этаже, в огромном магазине Кобозева, где люди в давние годы покупали оптом и в розницу трико, драп, шевиот, и рядом, в магазине дамского портного Ионкиса, теперь учреждение с длинным аббревиатурным названием.

Замечает ли Лоренц, что балкон Дины вот-вот обвалится? Что весеннее солнце припекает стену, а на гвозде, в авоське, висит с таким трудом купленное мясо? Нет хозяек, ни молодой, ни старой, комната пуста. Впрочем, балкон еще держится, и Лоренц благополучно проходит под ним, чувствуя плечом тепло родного дома.

Яркие афиши кино, цирка, театров наклеены на фанерные щиты, закрывающие пустырь. Но разве стал для него пустырем этот небольшой, итальянской архитектуры дом с четырьмя высокими окнами, с крохотной, как у присяжного поверенного, вывеской на дверях с цветными стеклами: «Парикмахер Антуан». Отсюда, из этих блистающих дверей, добровольно вышел в свой последний путь парик-

махер Антуан, вышел, чтобы слиться с толпой обреченных, еще в безумии, еще тупо чего-то ожидавших у здания милиции. Он вышел, а старуха Чемадунова, маленькая, толстая, застыла на ступеньках, шептала что-то белыми, дряхлыми губами и не то махала ему рукой, не то осеняла его беспомощным крестным знаменем. Он вышел, впервые не покрасив густую шевелюру и эспаньолку, и все увидели, что этот восьмидесятилетний огненноглазый красавец давно уже сед. Однако вряд ли они обратили на это внимание. Только он, малахольный Лоренц, стоявший напротив, у изваяния Лаокоона и его сыновей, обвитых змеями, мог в такую страшную минуту думать о шевелюре и эспаньолке Антона Васильевича Сосновика. Оно и сейчас белеет посреди зелени, это изваяние, а на той стороне улицы и сейчас виднеется надпись на мраморной доске. Удивительно, что она сохранилась при оккупантах:

«Здесь, в здании бывшего участка, в январе 1920 года были зверски замучены денкинскими палачами коммунисты-комсомольцы:

*Любарская Рая
Гимельфарб Лева
Помолов Константин
Ближенский Болеслав
Калайда Алексей
Варгавтик Борис».*

Почему нет рядом другой надписи, в память о других замученных? Может быть, потому, что не шесть, а сто шестьдесят тысяч фамилий надо было бы поместить на мраморной доске? Но тогда пришлось бы вывесить еще один, третий, список, список многотысячных других жертв, замученных другими палачами.

Вот и сквер, где когда-то белел, круглился, купался в небесной лазури собор. Этим кварталом, магазином Генриха Шпехта, заканчивалась шумная часть улицы. Кто у нас не помнит магазина Генриха Шпехта, кто из сверстников Лоренца не вступал с бьющимся сердцем в это внушительное царство тетрадей, перьев, пеналов, ранцев, карандашей, линеек, пряжек с гербами гимназий? Может быть, только юные забияки простолюдной Романовки не приходили сюда, но вряд ли, в нашем городе все дети учились. За кассой в глубине магазина сидела Марта Генриховна, дочь хозяи-

на, и ее желтое лицо, жидкие косицы и прекрасные кроткие глаза были как бы символом тернистого пути и добра науки. Высокий, с редкими лошадиными зубами человек в штучных брюках и в пиджаке из черного альпака радостно двигался навстречу покупателям. Ликование было в его каштановых зрачках:

— Бонжур, мадам Пшерадская! Младшего привели? Внука? Никогда бы не поверил! Нет, я серьезно! Господин Бакаляр, куда вы определили наследника? В коммерческое? Что вы говорите, у него же такие способности, город гремит! Ну конечно, в гимназию они нас не допустят. Вообще, скажу я вам, эти добровольцы... Мальчик, не трогайте ничего руками!

Дети считали, что этот человек и есть Генрих Шпехт, а когда Лоренц хвастался, что живет с ним в одном доме, что его фамилия Кемпфер, что он приказчик Шпехта, — над ним смеялись. Над ним часто смеялись...

Он сделал еще несколько шагов, перешел через торцовую мостовую, и улица резко изменилась. Вдали показалось нечто необыкновенное, вечно-новое: море. Здесь никогда не было ни мастерских, ни магазинов, но здесь было то, что законно рождается вместе с мастерскими и магазинами: университет.

Приезжие всегда восхищались европейским обликом нашего города. Но Лоренц полагал, что не в портиках банков на Кардинальской улице, не в могучих портовых сооружениях, а именно здесь, в строгих зданиях университета, — священные камни Европы. Не отрицая изящества архитектуры, обдуманной прелести колонн различных орденов, придиричвые знатоки говорили об эклектичности местного зодчества. Они ошибались: не эклектичность, а синтез. Основаниями этих зданий были пытливая мысль и огнедышащее слово итальянского Возрождения, французских энциклопедистов, немецких мудрецов.

Однажды, после февральской революции, маленький Миша гулял здесь с отцом, навстречу шли студенты в помятых фуражках и в светло-серых тужурках. «Товарищи, грандиозная новость: Григулов записался в богоискатели!» — услышал Миша голос бородатого студента, лицо которого было похоже на портрет писателя Гаршина.

— Папа, что такое богоискатели?

Почему-то эта фраза навсегда врезалась ему в душу. Как все дети, он рисовал себе жизнь неизменной, менялся только он сам, становился взрослым, высоким, и вот уже гово-

рят о нем: «Грандиозная новость: Лоренц записался в богоскисатели!»

Потом он действительно стал взрослым, высоким, вошел в массивные двери университета, но оказалось, что изменилась жизнь, а не он, Миша Лоренц. Жаркий август догорал за его спиной, а здесь веяло каменной прохладой. В напечатанном на машинке списке, прибитом рядом со старой газетой-ильичевкой, он не нашел своей фамилии, хотя блестяще сдал экзамены: он был сыном бухгалтера, он не имел права на высшее образование. Через год его все-таки приняли: помогла Рашель, написавшая письмо Гриневу, члену ЦК партии.

Он не менялся, менялась жизнь, и вот уже разразилось то, чего иные в городе пугливо ждали, смутно хотели, — война, и наш город стал Транснистрией, и Лоренца вызвал к себе в ректорский кабинет профессор Севостьянов и произнес:

— Юный мой коллега, я все знаю, вас недооценивали большевистские ученые бонзы.

Эта фраза тоже навсегда врезалась ему в душу, она была сказана в тот самый день, когда тех, обреченных, увели на бойню. На другое утро Лоренц покинул родной город и с тех пор ни разу не был в университете.

Для иных города и дома, где они когда-то жили, люди, среди которых они когда-то жили, — что коробка «Казбека». Пока в ней есть папиросы, коробка кое-что значит, на ней даже иногда записывается адрес, телефон. Но вот папиросы кончились, и коробка выброшена из кармана, из памяти. Может быть, потому, что жизнь Лоренца, в конце концов, была не очень богата впечатлениями (о тех месяцах в Каменце, об Анне — потом, потом), но дома, квартиры, улицы, люди, с которыми он был едва знаком, едва связан, не умирали в его душе, в его сознании. Они жили в нем постоянно, постоянно и причудливо менялась в нем связь между ними. Не потому ли так часто дробилась его мысль на десятки ассоциаций с выпадающими звеньями, и собеседнику не всегда было с ним легко. «Золотое сердце у Миши, но как хочешь, Дина, он все-таки малахольный», — передала ему, лукаво и ласково улыбаясь, Дина слова мадам Соновик. И сейчас вот закружились, заметались в нем, забились быстрые, мелкие воспоминания об университете. Здесь пришла ему мысль (не новая, как потом оказалось), что за ломаной линией Дунай—Припять—Висла буква «р» не терпит за собой йотированной гласной. Лестница, на ко-

торой он столкнулся с военруком и так постыдно-униженно выслушивал его брань. Он помнит: «Смотрите-ка на него, строит из себя прибитого мешком из-за угла!» Тихая, холодная лаборантская с окном в городской сад, на крышу павильона, где за столиками ели разноцветное мороженое (увы, в научной иерархии он так и не поднялся выше звания лаборанта), скрипучий книжный шкаф, Пестебня, Веселовский, «Die Sprache als Kunst» Гербера.

Прощай, университет, с тобой, каменным, покончено, и, кажется, навеки. А если ты превратился теперь в кровь сердца, то кто должен об этом знать? «Что мы с этого будем иметь?» — как спрашивают в нашем городе.

Он приближается к морю. Прежде чем свернуть по Севастопольской к библиотеке, он садится на каменную скамью. Эта скамья существует с тех пор, когда здесь была конечная станция трамвая. Сколько он помнит себя, не было, кажется, такого дня, солнечного или сырого, чтобы не сидело на скамье, когда ни придешь, два-три человека. Кто они — бездельники, зеваки, мечтатели? Не гудки сирены, а таинственная сирена моря зачаровывала их? Здесь не сидели няни с колясочками, одинокие женщины (парочки — только по ночам), всегда — мужчины, когда-то в котелках и панамах, потом — в кепках, сейчас в фуражках или шляпах. Ей-богу, главную прелесть европейских городов (они вовсе не города-спруты, Верхарн наивен) составляют зеваки и мечтатели. Возможность работать несколько часов в день, жить без прописки и паспорта, бродить по городу, мечтать, думать — это и есть счастье. В особенности когда внизу — море.

Оно окружает наш город с трех сторон. Нет ничего общего между морем у берегов и морем открытым. У берега море такое, какой берег. Расплавленной железной массой, маточной жидкостью шумит оно у подножия фабрик и заводов. Разноплеменными голосами детей и взрослых, сутолокой кухни и двора полны его волны, набегающие вместе с арбузными и дынными корками на пляжный песок, на опрокинутые сваи развалившихся дамб, заполняя впадины для крюков. С казарменным однообразием течет оно вдоль желтых обрывистых скал, над которыми загорелые пограничники в трусах (а на песке зеленеют фуражки) играют в футбол. Как молдаване на своих возах, с деревенской воловьей медлительностью и покорностью, движется оно со стороны степи, сонно бормочет в сырых прибрежных балках. Оно скрежещет серым металлом, осыпается черным

блестящим углем, поднимается мукой в парусиновых мешках, сверкает перламутром рыбьей чешуи у причалов, у гаваней, в порту.

А над открытым морем люди не властны. Море у берега похоже на берег, люди в море похожи на море. Оно бежит, как во времена Тезея, единой облачной волной, волна может быть смиренной, может быть грозной, но всегда она — свобода. Лоренц одинок, ни с кем пока не связан (Дина энергична, но отступит), нет у него даже дальних родственников. Что мешает ему перемахнуть сейчас через невысокий парапет, спуститься по замшелым камням вниз, пролезть через отверстие в каменной ограде, миновать склады таможи и ринуться в лиловую густоту моря, ринуться из самодержавия необходимости в бурное безвластие свободы? Что мешает?

— Он, конечно, он! — услышал он гундосый голос.

Лоренц поднял голову. На него смотрел единственным, мутным и хитрым, глазом (на месте другого была отвратительная яма) длинноногий, давно не бритый человек в рваной шинели, в фуражке без козырька, в галошах, надетых прямо на портянки. Из его гнилозубого рта пахло водкой.

— Узнать нельзя? Правильно, рамоли, совершенно рамоли. Любуемся морем? Понятно. Справа — баркасы, дамбы: коричневые фонá. Засим — лиловые и серые. Слева — руины турецкой крепости. Аркада дворца. Ностальгия — жуткое дело. Испытал. Напомню: Володя Варути, суаре у Лили Кобозевой.

Лоренц уже узнал его. Это был Лиходзиевский, художник, халтуривший под праздники вместе с Володей Варути. Пижон, золотая молодежь. «Если задумаю жениться, жену выберу на пляже. Без дураков. А то возьмешь, а у нее пальцы на ногах друг на друга лезут», — вспомнилось Лоренцу. И тогда уже Лиходзиевский говорил в нос: для шикю, наверно. Но это было в нем не самое худшее. Лоренц мог бы вспомнить и другое.

— Господи, как же вас...

— Война. Опустился. Работаю носильщиком на вокзалах. Внештатно. Почасовик. Таскаю с базара корзины толстых евреек. Вот вы тоже воевали. Наслышан. А пока мы с вами кровь за родину проливали, Володя Варути рисовал в газете примара Пынти карикатуры на вождя. Пятнадцать лет дали. Мало.

— Да, ужасно.

— Помните, шутили: незаконный сын румынского вивонта. Хорошие шуточки. Румынская кровь сказалась.

— Ну знаете ли, генерал Власов...

— Власов — еврей: Вальдман. Из чекистов. Короче: вы опять в университете?

— Нет, в артели, бухгалтером.

— Ясно. Каждый жить хочет. Дураков нет. Думал взять у вас пятерку, но раз в артели — дайте угол. Вульгаризм: двадцать пять. Или вы подлец?

Лоренц вытащил из бокового кармана три рубля.

— Благодарю, дружище. Адрес тот же: дом Чемадуровой? Буду беспокоить. Адье по-английски.

Но Лиходзиевский ушел не сразу.

— Хорошие были вечера у Лили Кобозевой, — вдруг сказал он, вскинув бровь над пустой глазницей и чуть при-топывая ногой в галоше. — Где она, кстати, не слышали? До сих пор помню одно ваше изречение. Это я не из подхалимства, хотя и подхалимством не гнушаюсь, — но для чего мне? Деньги вы мне и так дали и еще дадите.

— Какое изречение? — несколько неестественно улыбнулся Лоренц. Неужели, искалеченный, опустившийся, он и сейчас опасен?

— Наизусть помню, а сколько лет прошло. И война. Все были, что называется, потрясены. Вы сказали в тот летний беспечный вечер: «Понятие реализма надо заменить понятием — литература и искусство для Бога и людей. Тогда социалистический реализм, естественно, — литература и искусство для дьявола и нелюдей. А модернизм — идолопоклонство, а идола бывают красивые и уродливые». Как, запомнил? Талант! Это я о себе.

Он двинулся к парапету. Одноглазый оборванец сохранил раскачивающуюся походку южного франта. Он сделал то, с чего хотел бы начать Лоренц: перемахнул через парпет и спустился вниз, в порт, к морскому вокзалу.

Лоренц вспомнил, что Дина Сосновик просила его купить на обратном пути хлеб (только круглый, артельный). Других денег у него нет. Опять скажет: «Миша, вы такой ученый, а жизни не знаете».

Загудела сирена. Три тридцать или четыре? Скорее четыре. Пора в библиотеку.

Публичная библиотека, наше замечательное книгохранилище, изменялась на глазах у Лоренца. Все меньше становилось странных посетителей. Но еще в тридцатых годах сохранились чудачки: чернобородый юноша с лицом Хри-

ста, босой, в длинной, до пят, рубахе; армянин в цилиндре и визитке, бакенбардами подчеркивающий свое удивительное сходство с Пушкиным; математик, круглоплечий деревенский парень, уверявший, что сделал величайшее открытие. Книги требовались редкие, журналы читались лишь для того, чтобы убить время ожидания. Просторная курилка в подвале, рядом с уборной, была политическим клубом и Академией наук. Некоторые шли прямо в курилку (даже не курящие) и проводили там долгие радостные часы. Теперь Публичную библиотеку посещают только учащиеся, изредка — солидные, аккуратно одетые доценты. Требуются лишь одни ходкие учебники. Любителей чтения, запойных, — нет. Очереди огромные, речь малоинтеллигентная.

Лоренц тоже не занимается серьезной наукой. Он читает старые, дореволюционные журналы, газеты. Зарывается в глубокое прошлое. Воспоминания о былой жизни. Но разве эти воспоминания не рождают и жизнь будущую?

Глава вторая

В восьмидесятых годах прошлого столетия приехали в наш город в поисках счастья два молодых человека: Давид Сосновик и Рафаил Кемпфер. Оба высокие, смуглые, черноглазые, оба уже неверующие, уже немного знавшие по-русски: голоса просвещения долетели и до их волынского местечка.

Кемпфер был всегда весел, разговорчив, интересовался политикой. Сосновик был красавцем. Они мечтали о зубо-врачебной школе, о либеральной профессии, как тогда выражались, но с грамотой они знакомы были слабо, с деньгами — едва-едва, и пришлось им поступить — Сосновику в парикмахерскую Антуана, Кемпферу в писчебумажный магазин Генриха Шпехта-старшего.

Антуан, Антон Павлов, был не просто парикмахером, а куафером. Мужчины не посещали его заведение на Покровской. Он завивал и причесывал жен негоциантов, капитанов дальнего плавания, видных чиновников. С волнением и робостью вступали к нему степные херсонские помещицы. К жене градоначальника он ездил на дрожках на дом. Он выписывал журналы из Парижа, и самоновейшая прическа становилась ему известной на пятый день, не позднее, чем в Петербурге. Не знаю, как относились к нему светские дамы, но, вероятно, они удивились бы, узнав, что жители квартала считали Антона Павлова человеком обра-

зованным, состоятельным, весьма почтенным. Уроженец Москвы, он кичился тем, что не терпит нашего южного солнца, южного моря, южной лени. Возможно, что он увлекался славянофильством. По праздникам он надевал поддевку из тонкого сукна, сапоги (у нас их носили только военные), зимой — бекешу. Когда он, важный, коренастый, невысокого роста, рыжебородый, проходил с женой и дочерью, рослыми, грудастыми, красивыми, тоже несколько по-театральному одетыми, то вся улица искренно восхищалась ими. Ему принадлежал особняк, в котором, по заявлениям местных краеведов, некогда собирались греческие патриоты и пили за здоровье Александра Ипсиланти. В особняке было несколько комнат и огромный зал, называемый будуаром: здесь работал Антуан с двумя подмастерьями. Как-то в детстве Лоренц заглянул в этот будуар, и ему показалось, что ничего более прекрасного он не видел и никогда не увидит. Особенно поразило его зеркало, занимавшее всю стену целиком.

Антуан не очень охотно принял Сосновика в свое заведение.

— Жидов я люблю, — признался он жене, — живут серьезно, не то, что наши, не пьют, корень свой помнят, — но что скажет клиентура?

— Увидишь, дамы будут без ума от него, — уговаривала жена. Она с дочерью Пашей уже сами были без ума от этого робкого, стройного, большеглазого красавца.

Антуан взял его в подмастерья — и не прогадал. Давид Сосновик быстро овладел парикмахерским искусством, стал настоящим художником. Градоначальница впервые самолично посетила заведение Антуана, чтобы взглянуть на красавца, о котором во всех гостиных без умолку тараторили дамы.

Кончилось дело тем, что Давид и Паша страстно влюбились друг в друга. Давид забыл свое волынское местечко, забыл, как мать в пятницу вечером, в парике, благословляла худыми руками тонкие свечи, забыл самого себя — он крестился. Золотое марево закружило его, он пришел в церковь, и там было золотое марево — от блеска иконостаса, лампад, парчовой ризы дьякона. Слегка картавя, он произнес «Символ веры» и стал Антоном — в честь будущего тестя, и Васильевичем — в честь о.Василия, толстого, краснощекого молдаванина. Неверующему Сосновику очень понравился обряд крещения, а неверующий Кемпфер проклял своего друга. Впрочем, через год они помирились.

Хорошей парой были Прасковья Антоновна и Антон Васильевич, одевались они по последней моде, ими тоже любовалась вся улица. Когда Павлов умер, Сосновик унаследовал особняк и фирму «Парикмахер Антуан» и стал таким же почтенным, состоятельным, всеми уважаемым человеком, как его покойный тесть. Жену свою он обожал, никогда не знал другой женщины, и Прасковье Антоновне все завидовали. Детей у них не было.

Повезло и Рафаилу Кемпферу в большом городе. Он добился отличного положения у Генриха Шпехта-старшего, был деятелен, предприимчив, выгодно женился. Правда, жена его страдала тиком и зубы у нее были некрасивые, но зато она принесла ему в приданое десять тысяч. На свадьбе были Сосновики, и Антон Васильевич только улыбался, выслушивая острые, но добродушные насмешки ортодоксальных весельчаков. А Прасковья Антоновна сияла, как царица, и все гордились такой гостьей.

Бог праотцев как бы в отместку Сосновику усиленно благословлял брак приказчика. По именам детей можно было судить о политических настроениях Рафаила Кемпфера. Старшего называли Абрамом, но тут ничего не скажешь: покойный дедушка был Абрамом. Родившийся через год мальчик получил имя Александр — в честь царя-освободителя.

— Я обожаю этого просвещенного монарха, — говорил Кемпфер, — он же гениальный человек! И его убили!

Через четырнадцать лет, неожиданно для соседей, родился третий сын, Теодор: в это время Кемпфер был завоужен сионистическим учением Теодора Герцля:

— Вы читали «Новое гетто»? Гениальная книга!

После манифеста 17 октября Кемпфер пересмотрел свои убеждения.

— Евреи должны любить свою родину, Россию! — кричал он в толпе, собиравшейся по праздникам во дворе синагоги. — Мы — русские иудейского вероисповедания. В культурной Германии этот вопрос решен гениально!

Он умер от рака во время первой мировой войны, пятидесяти лет от роду. Сосновик, по-прежнему стройный и красивый, пришел на похороны. Он впервые после долгих лет иной жизни увидел на кладбище на памятниках буквы, которые он учил в детстве, которые в детстве учил и его Спаситель, и сердце его дрогнуло. Когда Кемпфера опустили в могилу, Антон Васильевич обыденным движением

снял котелок и перекрестился. Всех это неприятно поразило. А Сосновик плакал.

Кемпфер оставил в «Лионском кредите» шестнадцать тысяч. Это были хорошие деньги, хотя и не довоенные. Дети не могли на него обижаться. Если не считать желтых лошадиных зубов, унаследованных от матери, старший сын Абрам во всем повторял отца. Он тоже был принят в приказчики к Генриху Шпехту — сыну старого Генриха Шпехта, — тоже выгодно женился, тоже был деятелен и предприимчив. Александру, застенчивому, слабому здоровьем, удалось поступить в университет в счет процентной нормы. Он преподавал русскую словесность и латынь в частной гимназии Нейдинга. Самому младшему, Теодору, когда умер отец, было восемнадцать лет. Он с грехом пополам дотягивал коммерческое, посещал казино, луна-парк и публичные дома.

Семейная жизнь Абрама Кемпфера, члена правления общества приказчиков-евреев, сложилась не очень удачно. Жена его, Зинаида Мойсеевна, была истеричкой. Ежедневно она устраивала сцены ревности и зависти. Ревновала она безо всяких оснований, завидовала исступленно всем соседкам — из-за их любящих мужей, богатых нарядов, обстановки, посуды, удачных покупок. Ее пожирал огонь тщеславия. Трудлюбивая, щедрая и, в сущности, добрая, она как бы была создана для горя. Приходя с базара, она уже на лестнице кричала:

— Муженечек мой! Дает мне столько денег, что можно закупить весь Привоз! Рыбный ряд, куриный ряд, фруктовый ряд, печеночки, — сил моих больше нет! Другие идут на базар с одним рублем и живут, как богини. На что мне хоромы? С милым рай и в шалаше!

В восемнадцатом году у них родилась девочка — Фанни, в двадцатом — сын, Рафочка. Рафочка страдал запорами, об этом знал весь дом Чемадуровой, знал и то, что во всем виноват Абрам Кемпфер. Зинаида Мойсеевна приводила и доказательства:

— Разве таким бывает внимательный муж? По-моему, мадам Квасная — счастливица. Плохо ей, что ли, если ее муж — простой снощик и грязный пьяница? Зато как он любит своих деток, это же примерный отец!

Такие восклицания раздавались в том самом году, когда наш город одичал, никто не работал, за буханку хлеба отдавали золотые часики или горностаевый воротник, в магазинах помещались детские интернаты, из их окон смотрели

на прохожих лица, полные недетского отчуждения и злобы, трамвайные рельсы казались остатками древних веков, изящные дамы в деревянных сандалиях и черных перчатках по локоть предлагали сахарин, на пустых и длинных базарных полках были только малай и мамалыга.

Ворота запирались в семь часов вечера, мужчины, неуклюже держа — по очереди — единственную винтовку, стояли на посту, охраняли дом от налетчиков. Свободные от военных занятий играли в карты, в пятьсот одно. Чаще всего собирались у гостеприимных Лоренцев. Зинаида Мойсеевна скандалила, кричала: «Картежник, ты загубил мою жизнь!» — но Абрам Кемпфер играл каждый вечер.

Квартира Лоренцев состояла из двух комнат с кухней. Кухней почти не пользовались: вода не шла, плиту не топили. Лоренц помнит: круглые стенные часы проббили двенадцать раз. Мать спала, мужчины играли в карты, он, Миша, читал «Войну и мир», в блюде с деревянным маслом догорал толстый шнур от Мишиной рубашки, румынка остыла. У игроков была другая коптилка, с фитилем настоящим. Кемпфер записывал остро, щегольски отточенным карандашом. Внезапно ворвалась Зинаида Мойсеевна — в шали поверх длинной нижней рубахи, растрепанная, худая.

— Абрам, иди, я зарезала твоих детей, — сказала она низким, цыганским голосом. Губы ее тряслись, глаза лихорадочно горели.

Все ринулись к Кемпферам. Дети спокойно спали. Зинаида Мойсеевна не смутилась:

— Ну, картежник, ну, красавчик с лошадиными зубами, теперь ты будешь знать, как оставлять меня одну на всю ночь. Посмотри на людей, они же презирают тебя.

Игроки поникли лысеющими головами.

В квартире Кемпферов было шесть комнат. В самой маленькой, но с балконом, жил учитель гимназии Александр Рафаилович, рядом, в двух смежных, — Теодор с матерью, в остальных — семья Абрама. Ежедневно в шесть утра, не раньше и не позднее, появлялся на балконе Александр Рафаилович с лейкой. Напевая что-то из Гуно или Верди, он поливал кадки и горшки с цветами (у нас эти горшки назывались вазонами). А над ним, на балконе третьего этажа, скорняк Беленький, держа во рту мелкие гвозди, прибывал к дощечке шкурку мокрого каракуля или воротник из выдры-котика. Внизу, в полуподвале Димитраки, уже осыпались прозрачно-золотистые браслеты стружки.

Албанский переулок, половину квартала которого занимал дом Чемадуровой, был интендантством шумной, торговой Покровской. Отсюда завозили товар с английскими наклейками в магазин Кобозева. Здесь помещались чаеразвесочная, винные подвалы, колониальные лавки. Напротив чаеразвесочной — фирма «Лактобациллин» с коровником в черном дворе. Запах мокрого меха, сухих стружек, рогожи, терпкого вина, чая в больших цыбиках, запах сладких и недолговечных плодов, запах коров и лошадей, скрип телег, нежный и дальний звон церковного колокола, степной пожар заката, одноколки, в которых сидели колонистки-молочницы с пузатыми бидонами, — все это дышало Европой, ганзейским союзом, чудом возникшим в самом центре большого русского города. Дома были и новые и прошлого века, с галереями внутри двора, с шелковицами, — эти дома принесло сюда прибоем Средиземного моря, и волны прибоя как бы смывали слова Шпенглера о том, будто Россия — апокалиптический бунт против античности.

Часто приходили студенты-архитекторы с досками и рулетками, делали замеры уже едва намечающихся пилоэтров, орнаментов. Самым новым зданием был построенный в восьмом году Немецкий клуб, и его сумрачные готические башни были видны издалека.

Жители нашего города и поныне славятся в России своей крикливой деловитостью, коммерческой изворотливостью, циничной практичностью. Может быть, это верно, со стороны виднее. Но тот, кто здесь родился, вырос, видел и другое. Видел здесь умных, образованных рабочих (а какая это прелесть — образованный русский рабочий!), дельно рассуждавших о Лассале и Бакунине, читавших Прудона и Плеханова, с южной непосредственностью декламировавших в садиках на окраине стихи, кажется, Скитальца: «Мой Бог — не ваш Бог, мой Бог — мститель», с южным пылом устраивавших стачки и забастовки, возводивших баррикады. Видел здесь совершенно непригодных к так называемой практической деятельности беспечных бессребреников, полунищих философов, математиков, меломанов, для которых встреча с другом, спор о Ницше или Вагнере были важнее заработка, насущных вопросов карьеры.

Какая странность: революцию подготавливали люди, которых окружающее общество, деловое и практичное, всегда считало фантазерами, болтунами, чудаками, — и революция же первые свои удары обрушила на мечтателей, на интеллигентных нытиков и спорщиков. Низкий поклон

вам, никчемные чудаки и неудачливые фантазеры, праздно болтающие Рудины и сомневающиеся Гамлеты, в вашей нерешительности — великие решения, в нытье вашем — блистательные надежды, в кажущемся безволии — революционная воля, вы — шебень, вы — лагерная пыль настоящего и строительный материал будущего, уничтоженные, вы побеждаете!

Рос на Албанском переулке Миша Лоренц, и все уже понимали, что растет чудака и неудачник. Чудаком был и Александр Рафаилович Кемпфер. Примет его чудачества столько, что не знаешь, с чего начать. Тонкий ценитель женской красоты, он на всю жизнь остался холостяком и девственником. Он был убежденным вегетарианцем. Он посещал платный кружок пения. Он изучил эсперанто. Равнодушный к одежде (а у нас любили хорошо одеваться), к своей внешности, он тщательно следил за своими поистине ослепительными зубами и ногтями. Если при этой операции присутствовал посторонний, то Александр Рафаилович обычно говорил:

— Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. *Qued erat demonstrantum.* Что и требовалось доказать.

Он всегда что-то напевал, дома и на улице. Он утверждал, что русская литература — величайшее создание человечества, и прибавлял, что так и умрет космополитом. Тем, чем для других были охота, рыбная ловля, коллекционирование разных разностей, карточная игра, была для него латинская поэзия, забава и наслаждение. Он не понимал фразы: «Нудная гимназическая латынь». Поэты Древнего Рима жили с ним рядом, где-то по соседству, дышали тем же морским воздухом, беседовали с ним, веселились, острили, печалились. Он сам себе готовил, отдельно от семьи (он признавал только толокно и каши — источник здоровья и долголетия), и картина была такая: рукою в рваной перчатке он придерживал над спиртовкой кастрюлю с длинной ручкой, бросал из-под пенсне косою взгляд в поваренную книгу и читал (в который раз!) маленький томик Горация.

Зинаида Мойсеевна сладко и долго надеялась, что ее дед все-таки женится, уйдет жить к жене (так ей рисовалось) и они займут его дивную комнатку с балконом.

— Ах, Саша, — говорила она, — почему нужно стряпать в комнате? Это же негигиенично. Я, конечно, не имею вашего образования, хотя и не унижу себя в любом общест-

ве, только мне кажется, что мужчине не подобает заниматься таким делом. Если бы вы знали, что о вас говорят соседки, — это тысяча и одна ночь. Ну вот, он уже сердится. Это же говорится так, в теплом семейном кругу. Если у вас есть такая фантазия, готовьте себе на здоровье.

— Так-так-так, — отвечал Александр Рафаилович и делал по-своему.

Он не любил Зинаиду Мойсеевну. Он знал, что она добра, внимательна к нему (она иногда доставала ему частные уроки), но ее истерики, скандалы причиняли ему страдание. Ее мещанский склад ума казался ему отвратительным. Однажды он даже ушел (в первый и последний раз) ночевать к знакомым: в этот день стало известно, что большевистская революция развеяла их шестнадцать тысяч — вместе с банком «Лионский кредит». Мать и братья встретили эту весть скорее спокойно — что поделаешь, судьба! Зинаида Мойсеевна неистовствовала. И досталось же тогда от нее Николаю II, Керенскому, большевикам, Абраму Кемпферу и всем ее врагам, будь они трижды прокляты!

В двадцатом году, в ту холодную зиму, когда частная гимназия Нейдинга стала совшколой № 4, Александр Рафаилович, один из немногих учителей, продолжал преподавать. В старом драповом пальто читал он в замерзшем классе голодным ученикам «Хоря и Калиныча», получая ежедневный паек: четверть фунта ячки и полфунта глинистого, клейкого, кислого хлеба. «Это же не хлеб, а макуха», — говорили в доме Чемадуровой, беззлобно посмеиваясь над учителем.

Вот он возвращается из школы. «Мороз и солнце, день чудесный, что и требовалось дока-зять», — бормочет он себе под нос и уже напевает из «Гугенотов». Чудной картуз едва прикрывает его большую, коротко остриженную голову, уши побелели. Драповое пальто, длинное и порыжевшее, греет слабо. Он бережно прижимает паек к тому месту, где отскочила пуговица. А на улице голод, запустение, мороз.

— Это вы, Миша? Ну и укутали же вас! Что у вас за книга?

— «Война и мир», — подчеркнуто скромно, как ему кажется, отвечает Миша Лоренц. Ему трудно привыкнуть к тому, что Александр Рафаилович говорит ему «вы».

— Не рано ли вам, дружок, читать такие серьезные вещи? Я-то начал в пятом или шестом классе, а вам еще одиннадцати, кажется, нет.

— Но я все понимаю, все, все, спросите меня, — голосом, захлебывающимся от счастья, почти кричит Миша, — даже по-французски понимаю, вниз, в перевод, не заглядываю! Мне Помолов, Павел Николаевич, дал. Богатая у него библиотека!

— Дело не в том, чтобы понимать фабулу. Такие книги следует читать, наслаждаясь каждой фразой.

У Александра Рафаиловича много дела: надо затопить румынку, приготовить кашу — он с утра не ел, — обогреться после холода давно нетопленной школы. Немало дела и у Миши Лоренца: надо пойти в «АРА», выстоять в длинной очереди, чтобы получить у американских филантропов маисовый пудинг, стакан какао и сайку. Какао и пудинг — себе, сайку — родителям. Но вот они стоят битый час и болтают о пустяках. Чудаки!

— Если вы, Миша, так ладите с французским, то непременно прочтите в подлиннике «Боги жаждут» Анатоля Франса. Зайдете вечером ко мне, я вам дам. Какой аромат исходит из этой книги, какая в ней сила! Наш друг Цыбульский видит во всем одну лишь дурную сторону. Вот прочел бы Франса, понял бы — великую революцию не в белых перчатках делали. Что и требовалось доказать.

Откроем правду: в доме Чемадуровой, за редким исключением, не очень любили большевиков. А уж если всю правду открыть, то очень и очень не любили. Александр Рафаилович принадлежал к редким исключениям. Он одобрял все: и голодный военный коммунизм, и нэп, а впоследствии — даже тридцать седьмой год. Он всегда был чужд революционному движению, и большевики очаровали его не обаянием грядущей свободы, а обаянием власти, смелости, новизны. Нападки на большевиков казались ему результатом узости, ограниченности, мещанства. «Недаром немцы, — говорил он, — произвели слово «филистер» от «филистимлянин». Они, филистимляне, тоже не понимали, если верить старой книге, где свет истинный».

Не терпел мещанства и младший брат Александра Рафаиловича, юный Теодор.

Любители чтения, вероятно, заметили, как изменился в литературе образ мещанина. В девятнадцатом веке мещанин — это самодовольный обыватель, бескрылый, осторожный бюргер. Ему противопоставлялся человек широких взглядов, с душой мятежной и беспокойной, жаждущей самопожертвования во имя святых идеалов. В двадцатом веке, отмеченном торжеством трудолюбивого плебса, меща-

нин стал постепенно изображаться иначе. Это маленький человек большинства, избиратель. Он верит в силу парламентаризма, в науку, в прогресс. Чаще всего он голосует за социал-демократов. Любовь его кончается браком. Он отдает долги. Он примитивно принципиален. При этом он еще и глотатель газет. А противопоставлялся этому человеку в толпе — сверхчеловек, свободный от узаконенной морали, признающий только одну разновидность силы — насилие, только одну разновидность любви — себялюбие, издававшийся над болтливим парламентаризмом, над крохоборческими усилиями большинства осчастливить жизнь большинства. В девятнадцатом веке с мещанством воевало свободомыслие. В двадцатом веке в борьбу с мещанством вступает рвущийся к власти националистический социализм.

Теодор никогда не читал ни Ницше, ни Пшибышевского, ни Гамсуна, ни русских декадентов. В девятнадцатом веке он был бы шалопаем. В двадцатом веке он стал тем, кем должен был стать. Вряд ли он даже сознавал, что ненавидит мещанство, — и ненавидел его. Ненавидел домашний быт, мелочные, повседневные заботы, жалкие, приказчиьи грезы Абрама Кемпфера, жалкие отвлеченные рассуждения Александра Кемпфера, жалкие слова укоризны, которые он каждый день выслушивал от матери. Теодор презирал свое коммерческое училище, тусклых и честных преподавателей, соучеников — и тех прилежных, кто уже целился на место в банке, и тех умных, развитых, кто объявлял себя эсдеком или эсером. Почему же он все это презирал и ненавидел? Потому что он алкал богатства, но не обладал ни смелостью, ни терпением, ни такой практической сметкой, которая не вступала бы в конфликт с уголовным кодексом и всеми десятью заповедями. Он алкал общественного блеска, но не было у него ни ума, ни способностей. Цели его не были ясны ему самому, но он чувствовал, что достигнет их только обходным путем. Он говорил таким же, как он, завсегдашам магазина восточных сладостей Назароглу:

— Помешались на идеях. Болтуны, идиоты. Я не то что идею — родную маму продам за туфли «джимми» или пальто реглан.

Странным местом был этот магазин восточных сладостей. Публика, заходившая сюда выпить стакан сельтерской с шербетом, не подозревала, какие темные дела творились в задних комнатах, где хорошенькие девушки варили

халву и рахат-лукум. Говорили, впрочем, что они составляют гарем хозяина, горбуна Назароглу, не то турка, не то грека неопределенного возраста. Во всяком случае, две из них как-то из-за него подрались — их визг и площадная брань перешли из задних комнат в магазин. Назароглу (его у нас называли Назаркой, и он к этому привык) спокойно смотрел на драку, здоровался чуть заметным, но учтивым движением густоволосой головы с входившими покупателями и равнодушно бормотал:

— Тише, Надичка, не надо, Маничка.

А когда Надичка и Маничка, одержав друг над другом пиррову победу, удалялись, он так же равнодушно бормотал: «Скандаль баба любит», как будто это его не касалось. И, впервые увидев его большие выпукло-матовые глаза, безвольные руки, всегда опущенные ниже колен, вялую, но отнюдь не медленную походку, вы бы подумали: его в этом мире ничего не касается. А между тем его день был наполнен делами и делишками, таинственными, стремительными, этот вялый уродец с длинными руками попевал повсюду, и ничего нельзя было прочесть в его недвижных матовых глазах.

Молодые бездельники, спекулянты, скупщики и поставщики краденого, налетчики и кокаинисты очень любили задние комнаты магазина восточных сладостей. Ходили слухи, что туда частенько заглядывают и более серьезные люди. Об этом вспоминали потом, после нэпа, когда Назароглу в течение нескольких лет оставался единственным в городе владельцем частного предприятия.

Теодора однажды там избили, и его румяное, свежее лицо было на две недели изуродовано сине-красными отеками. После этого маловеселого события он исчез и появился в городе вместе с добровольцами. На нем была папаха, черкеска и золотые погоны. Он всем, даже нам, мальчишкам, смотревшим на него с восторгом и завистью, показывал визитную карточку: «Барон Теодор Рафаэлевич Кемпфер». Над надписью, в углу — изображение кольчуги с крестами, видимо, герб. Теодор сорил колокольчиками¹. Иногда, как почтительный и удачный сын, он прогуливался с матерью, полуглухой и страдающей тиком, по приморскому бульвару и представлял ее новым знакомым-офицерам:

¹ Колокольчиками назывались денежные купюры, выпущенные Добровольческой армией.

— До сих пор не может прийти в себя: большевики сожгли наше родовое поместье в Лифляндии.

В доме Чемадуровой поговаривали, что Назароглу купил у него за бешенные деньги чемодан с кокаином.

Глава третья

Смена временных правительств сказывалась на доме Чемадуровой сменой жильцов, иногда тоже временных.

При первых большевиках поселились рядом с Лоренцами мадам Варути с сыном Володей, ровесником Миши. Говорили, что она была не то содержанкой, не то гражданской женой румынского коммерсанта, который во время революции бросил ее и убежал в Бухарест.

Она утверждала, что пела в опере, но злые наши языки брезгливо роняли: шансонетка.

Она кое-как перебивалась уроками пения, довольно редкими, перепиской нот, распространением билетов на симфонические концерты. От прежней безбедной жизни она сохранила серебряную сумочку в виде густой сетки, кольцо, две золотые вилки и такую же ложку в изящной коробке. Седоусый хмурый поляк, оценщик в ломбарде, хорошо знал эти вещи. Ее гордостью были также подлинный этюд Куинджи и чучела разных птиц, собранные в раме под стеклом.

Высокая, большеботая, худая, она всегда одевалась во все черное: черная соломенная шляпка, черное платье, черная вуаль с мушками. И лицо у нее было смуглое, почти черное, с родинками, — казалось, будто мушки перешли с вуали. «Пиковая дама!» — кричали ей вслед мальчишки; автором этого прозвища, довольно меткого, была Зинаида Мойсеевна.

В голодный год мадам Варути торговала бубликами, тайно выпекаемыми изворотливыми частниками, не осложнявшими свою жизнь регистрацией в финотделе. Босиком, в старом муаровом платье, в вуали, она ходила по дворам с большой плетеной корзиной, покрытой белоснежным полотенцем, подолгу болтала с хозяйками и с какой-то печальной кичливостью говорила: «Мой муж, знаете ли, был ужасный ловелас», — и при этом глаза ее вспыхивали рамповым огнем. И соединение босых грязных ног, вуали, слова «ловелас», произносимого с мягким «эль», вызывало не улыбку, не жалость, а — странно сказать — уважение. У

нее был приятный грудной голос, хотя и несколько хриплый.

Миша Лоренц, трудно сходявшийся с товарищами — он был постоянным предметом насмешек трех младших Бельенских, отчаянных сорванцов, — сразу подружился с ее сыном Володей. Он чуть-чуть заикался, этот стройный, тихий, хорошо воспитанный мальчик. Длинные, как у девочки, волосы придавали ему сходство с итальянским бродячим музыкантом. Его большие темные глаза с мохнатыми ресницами были похожи на пчел. «Прямо Иисус Христос», — говорила Зинаида Мойсеевна, намекая, между прочим, на то, что и православный Бог и Володя Варути были незаконнорожденными. Учился Володя из рук вон плохо, к тому же, под влиянием улицы, начал в последнее время материться, но зато он превосходно рисовал акварелью и маслом. Мадам Варути тайно от сына показывала соседкам его пейзажи — лодку у рыбацкой мазанки, сети в море, закат, пронзенный башнями Немецкого клуба.

В восемнадцатом году, при немцах, появился у нас солдат-австриец Николаус. Дворник Матвей Ненашев долго чесал затылок, раздумывая, кого бы из жильцов наградить таким постояльцем, но к солдату подошел Ионкис с сантиметром на шее и, узнав, что Николаус тоже портной, взял его на постой к себе. Ионкис его хвалил: «Толстый австриец умеет сделать штуку работы».

Солдат охотно подрабатывал. Вещи свои он держал в казарме (койки для него там не нашлось) — кроме большой кружки из обожженной глины, на разноцветных плиточках которой были написаны имена Лейбница, Гегеля, Канта, Лессинга и прочих мыслителей. Это была, как объяснил Николаус, студенческая пивная кружка, и наши мальчишки бегали с ней по несколько раз в день в бакалейную лавку за пивом для Николауса. Дети его любили, у него самого было детское лицо с ясными круглыми глазами.

Он шил, сидя на широком желтом подоконнике, поджав жирные ноги, и, когда Ионкис выходил из мастерской, весело подмигивал детям, игравшим у его раскрытого окна в классы или тепку. Все смеялись, а громче всех — Николаус, очень довольный собой и теплым солнечным миром приморской осени. Как все портные, он любил петь, и чаще всего — революционные стихи Гервега:

*Und du ackerst, und du säst,
Und du nietest, und du nähst,*

*Und du hämmerst, und du spinnst,
Sag, mein Volk, was du verdienst¹.*

Женщины ставили его в пример своим мужьям, он был приятно вежлив, встречаясь с хозяйкой, идущей с поганым ведром к мусорному ящику, он быстро снимал свою солдатскую шапочку, в которой были заколоты две-три иголки.

После работы он вел бесконечные споры со слесарем Цыбульским. Оба они были убежденными социал-демократами, обоих мучило то, что Плеханов и Каутский, с противоположных позиций, одобрили войну, оба высоко ценили и Плеханова и Каутского, но спорили, потому что было о чем спорить.

— Видишь ли, Николаус, — говорил Цыбульский на дурном немецком языке рабочего-эмигранта, — мы с тобой с юных лет затвердили: «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей». Хорошие слова, лучше не скажешь, а на деле что получилось? Возьми вот меня. От царской России имел я только цепи, да казачьи плети, да тюрьму. Ты знаешь, я работаю на товарной станции. И когда я вижу, как твои немцы отправляют в Германию вагоны с нашей мукой, с нашим салом, как они хозяйничают на нашей русской земле, на нашей русской железной дороге, у меня сердце обливается кровью, и я вижу, что, кроме цепей, у меня было сокровище, Россия, и я потерял его. Муторно у меня на душе от всех этих центральных рад, грузинской автономии — ни к чему все это. В такие минуты я помню только то, что я — русский и больше всего на свете люблю Россию. И получается, что у меня и у черносотенца Севостьянова одни чувства. Я знаю, ты мне ответишь: «Это плохо». А кто говорит, что это хорошо? Но это так, и с этим надо считаться, если ты не демагог. Да, Николаус, мы неплохо подготовились к борьбе с капиталом, но растерялись, когда пришла пора бороться с национализмом. Растерялись не потому, что мы дурные люди, а потому, что мы — люди. Национальное пока еще сильнее, гораздо сильнее интернационального. Кричи не кричи, а это так. Даже социал-демократы, всемирное братство революционеров, поддались наци-

¹ Ты пашешь, ты и сеешь,
Ты клепаешь, ты и шьешь,
Ты куешь, ты и прядешь.
Скажи, мой народ, что ты зарабатываешь.
(Подстрочный перевод.)

ональному чувству. Что же сказать об остальных? Ты думаешь, что национализм — это только немецкий кайзер или наш Пуришкевич? Пошевелим мозгами, тогда пойдем, что даже в санкюлотах, в движении Гарибальди уже был национализм. Земля с ее племенами, народностями, нациями существует уже тысячелетия, а сколько лет нашему Интернационалу? Пустяки! Когда-то одно маленькое пастушеское племя где-то между Тигром и Евфратом пришло к мысли о существовании единого незримого Бога. Эта мысль потом овладела умами и сердцами чуть ли не половины человечества, но с каким трудом овладела, сколько преград было на ее пути! Даже в самом этом маленьком пастушеском племени то и дело возникали языческие капища, идолы. Да, да, Николаус, человеку нужны идолы, хотя он и дошел уже до понимания незримого Бога, единого для всех людей. Понятие всечеловеческого братства так же трудно для человека, как понятие единого незримого Бога. Человеку подавай нечто существенное, идола, и теперь этот идол — национализм. Вот апостол сказал: «Все равны перед Богом, нет ни элина, ни иудея». Великие слова первого интернационалиста. Хорошо, кажется? Мировая религия, не так ли? Так на тебе, она раскололась на католиков, арианцев, православных, лютеран, старообрядцев, идет резня, варфоломеевские ночи, убивают, насилуют, грабят. Сколько веков понадобилось для утверждения религиозной терпимости, и ты думаешь, что она уже всюду победила? Шутишь! Мы должны избавить себя от национальной нетерпимости, избавиться от нее всех людей на земле, а это трудно, очень трудно, для этого нужно, чтобы на всей земле окончательно, навеки восторжествовала демократия. А знаешь, Николаус, когда это будет?

— Когда мы уничтожим капитализм, — сердито сказал Николаус.

Болью обожглись глаза Цыбульского под косматыми бровями.

— Нет, Николаус, мы ошиблись. Мы ошиблись. Дело не в капитализме. Я не обвиняю наших лидеров, я такой же, как и они, только глупый и необразованный. Мне жаль их, жаль себя, это наше горе и наша судьба. Нам, людям, нужны идолы, мы хотим поклоняться им, и это поняли выделыватели идолов. Смотрю я издали на Ленина, я видел его как-то раз близко, как тебя, в Париже было дело. Он самый искусный из выделывателей идолов, но и он еще не знает, что его идол окажется иным, чем был задуман. Поверишь

ли, я всегда смеялся над украинскими спилковцами, над Бундом, да и у наших товарищей, у пепеэсовцев, не все мне казалось ладным, а теперь чуточку поумнел, вижу, что дело это глубоко сидит в людях.

Николаус качал круглой головой, сопел, раздражался:

— Товарищ Яков, люди несовершенны, но мы должны их исправить, на то мы и социалисты. А то, что ты говоришь, извини за грубость, мне слушать противно.

— Противно? Что бы ты запел, если бы я жил на постое у тебя, в прекрасном городе Вене, и русские офицеры управляли бы в Питер ваши машины, обувь и прочее? Эх, Николаус, Николаус, у меня душа горит, а ты мне прописи читаешь. Как исправить людей? Декретами? От этих декретов еще подымется в мире такое шовинистическое злование, что все задохнется, и я и ты. Только демократия может сделать всех людей братьями, и для этого надобны сотни лет ее царства. А ты думаешь, что стоит свалить Николку или кайзера — и сразу, тяп-ляп, рухнут национальные перегородки, церкви и кирхи, мечети и синагоги. Иди, иди, Николаус, надо тебе отметитья в казарме, не то фельдфебель нервничать будет.

И Николаус, качая наголо остриженной круглой головой, шел в свою казарму, а наутро, расстегнув крючки серой куртки, надув щеки, уморительно сморщив пыльно-бурые брови, брызгал водой на дамский жакет со стороны бортовки, а потом шипел так, как паровой утюг в его мясистой веснушчатой руке.

Таким он запомнился жителям. И когда, почти через четверть столетия, немцы снова приближались к заставам города и сердце сжималось от ужаса, все-таки думалось: не может быть. Обойдется. Жили же мы при немцах в восемнадцатом, и не так уж плохо жили. Люди работали, торговали, учились, устраивали вечеринки, политиканствовали в трактирах и кофейнях, посещали театры. Конечно, мало было радости оттого, что в тех же кофейнях и театрах важно, как хозяйева, сидели кайзеровские солдаты и офицеры, но они никого не трогали. Все настойчивее становились слухи об их бесчинствах в селах, однако крестьяне по-прежнему приезжали в город с мукой, маслом и живностью, всего было вдоволь. Симпатии немцы к себе не вызывали, они и не могли ее вызвать в городе, где военная дисциплина, вообще армия, авторитеты ни во что не ставились, а благоговейное отношение к кайзеру считалось идиотиз-

мом, но и враждебного чувства к ним не было. Петлюровцы, например, были более ненавистны.

Если уж говорить о наших симпатиях, то ими пользовались французы. Они сменили немцев на Пасху, в апреле, и Николаус исчез навсегда из нашего дома. Случилось так, что совпали три Пасхи — православная, католическая и еврейская. А может быть, и не совпали, а следовали одна за другой, и казалось, что весь многонациональный город справляет семейный праздник, общий праздник, только дома разные, гости разные, закуски и обряды разные.

Миша Лоренц хорошо помнит, как они с Володей были в церкви, как Антон Васильевич добродушно погрозил им пальцем, сиял вечер, и сияла церковь небесной, звездной славой, все было торжественно, пышно и радостно, а в католическом храме святого Петра, с паперти которого были видны порт и маяк, вратарь эдема на выцветшей росписи улыбался прихожанам, священник, совсем молодой, тоненький, похожий на алхимика в своей черной сутане, читал проповедь с балкончика, и их удивило, что балкончик помещался сбоку, что золотая дарохранительница утопала в простых полевых цветах нашего киммерийского юга, а еще больше поразили их курчавые коричневые африканцы, солдаты Франции, пришедшие помолиться вместе с местными поляками, французами и итальянцами. Они странно крестились, прикладывая ко лбу и груди всю пятерню. Выходя из храма, они посылали воздушные поцелуи хорошеньким прихожанкам, дочерям кондитеров и модисток.

Потом мальчики пошли на Пушкинскую, в главную синагогу, с трудом пробрались в здание сквозь нарядную толпу, оживленными кучками разливавшуюся по широкому двору, но оказалось, что в синагоге пусто, сидят одни старики, склонившись над откидными столиками и раскрытыми молитвенниками, а наверху, отдельно, — старухи. Самое интересное было во дворе. Здесь острили, политические противники спорили, крича и жестикулируя, разглагольствовали витии — часовщики, сапожники, портные, вышивальщики, обойщики. Молодежь теснилась около плотного, приземистого человека средних лет, в цилиндре, слегка косоглазого, с толстой, как краковская колбаса, складкой на шее и светлыми, золотистыми, легкими усами. Мальчики узнали, что это — Бялик, знаменитый еврейский поэт, и их рассмешило, что бывают поэты, похожие на мясников, и то, что вообще у евреев могут быть свои поэты...

Дикий виноград уже нависал живым зелено-рыжим шатром над колодцем, как будто перенесенным сюда из Аравийской пустыни, трава росла между широкими серыми плитами, хмелем дышал ветерок с невидимого, но такого близкого моря и струился между прутьями ржавой ограды, отделявшей двор синагоги от шумной улицы.

Да, это были хмельные дни, все было хмельным: и вино на праздничном столе, и хрупкий, уже не духовный, а обмирщенный звон колоколов, и первый, еще не пронзительный, но уже всепокоряющий запах акаций, без приторного соблазна, молодой и невинный, и небо такой синевы, что хотелось и смеяться, и плакать, и сладко молиться чему-то неведомому, но так властно зовущему, и стремительное обновление могучих старцев — каштанов, и весеннее солнце, по-летнему горячее под тентами меховых магазинов, и музыка «Марсельезы».

Эта музыка опьяняет самого немзыкального человека. Есть и другие гимны свободы — «Интернационал», «Варшавянка». Это гимны суровой, трагической, полной самоотверженности борьбы. А «Марсельеза» — это счастливый хлеб свободы, хмель свободы, запах ее цветов, ее солнце, ее праздничное, всечеловеческое ликование.

В южных городах, когда приходит лето, вся жизнь переносится на улицу, но теперь это наступило весной, уж такая была весна. Между тротуаром и мостовой, на широкой светло-зеленой кромке, под каштаном или дубом устанавливался стол для граммофона или игры в лото. Вокруг стола быстро возникала толпа, и как-то незаметно оказывались в ней французские моряки. Они пели со всеми, обнимали визжащих девушек, вмешивались в игру, отчаянно споря, и сами играли на выкидку. Так было, и — хочешь не хочешь, а в сознании города в одно слились и необычно теплая весна, и три Пасхи, и улицы, полные нарядной толпы, ветра, солнца, безумно веселых, карнавальных звуков апрельского моря, и французы. А впрочем, быть может, французы мало чем отличались от немцев, и все это наделал вакхический хмель «Марсельезы».

Во всяком случае, не без причины именно в это время в наш город устремились приезжие из голодного Петрограда. Думается, что их тоже манил не только хлеб, но и хмель «Марсельезы». Они добирались на крышах вагонов, в теплушках, их карманы были набиты противоречивыми удостоверениями: разные попутные режимы подтверждали их благонадежность.

Приехал из Петрограда и Вольф Сосновик, родной племянник Антона Васильевича. Конечно, и речи не могло быть о том, чтобы племянник поселился в просторном доме дяди и тетки, да еще с беременной женой и девятилетней дочерью-калекой. Что общего было у этого зубного техника-еврея и у почтенного Антона Васильевича и Прасковьи Антоновны, никогда раньше не слыхавшей о нем? Да и вряд ли приютила бы у себя Прасковья Антоновна и своих собственных родственников. Разве это было удобно в таком богатом заведении, которое посещают дамы из самого высшего бомонда?

В нашем городе во всех магазинах имелись задние комнаты, нередко полутемные, освещаемые либо сверху фонарем, либо стеклянной дверью, смотревшей на двор. Там жили хозяева победнее, ремесленники, мелкие лавочники, а более зажиточные снимали отдельные квартиры, и тогда в задних комнатах устраивались склады, мастерские, а то ночевали там холостые подмастерья или приказчики.

Была такая комната и позади магазина Чемадуровой, с окном, выходящим в парадный ход самой владелицы дома, с подполом (до Чемадуровой магазин принадлежал виноторговцу), и там-то поселилась семья приезжих Соснови-ков: Чемадурова приютила ее по просьбе Антона Васильевича.

Одни мужчины нравятся только мужчинам, другие — и мужчинам и женщинам, третьи — только женщинам. Вольф Сосновик относился к третьему типу. Женщины любили его, потому что чувствовали, что он любит их, и только их. Его круглые глаза, щегольские, чуть рыжеватые усы, постоянная веселость, здоровая, хорошо одетая плоть сулили им одну лишь радость, легкость жизни без ее нудных забот, семейных сцен, болезней, безденежья. Такие мужчины обычно очень плохие отцы и мужья, но их обожают и жены и дети. Люди они большей частью пустые, но среди женщин, даже некрасивых, они умнеют, по-настоящему умнеют, обмана здесь нет.

Застенчивая Фрида Сосновик беззаветно любила своего мужа. Она была умнее Вольфа и понимала это, но свой ум она считала слабостью, а пустоту Вольфа — силой. Она не хотела уезжать из Петрограда, у нее были дурные предчувствия, но разве она могла пойти наперекор Вольфу? А он рвался на юг, к французам.

Безропотно переносила Фрида тяжесть дороги, долгой, иногда опасной, духоту зеленого вагона (ей, беспомощной,

с раздутым животом, приходилось особенно трудно), безропотно переносила жизнь в сырой, полутемной комнате.

Она не любила свое временное жилье со ржавым засовом на дверях, ведущих в магазин, окно с решеткой, гул шагов и стук дверей парадного хода, куда выходило это окно, и большую часть времени проводила на дворе. На дворе она и готовила. Над шведской плитой поднимался, властно распространяясь, запах жидкого гусиного сала, фаршированной рыбы, хрена — дразнящий, вкусный запах еды изгнания.

Еля, ее девочка, страдала детским параличом. Ее ножки были одеты в гипсовые бандажи, коричневые, с блестящими крючочками для шнурков. Она почти всегда сидела на дворе рядом с матерью на низкой складной скамеечке с парусиновым сиденьем, читала или мыла куклу в игрушечном корыте. Эта начитанная девятилетняя девочка почему-то любила возиться с куклой. Больно было на них смотреть, когда они шли к дворовому крану, мать — с ведром, Еля — с красным в синюю каемку ведерком, шли переваливаясь, слабые, одна — с восьмимесячным животом, другая — на кривых гипсовых ножках.

В доме у них был достаток. Говорили, что зубной техник вывез из Петрограда золото, что он ходит на черную биржу в наш Пале-Рояль, что скоро эта семья переедет в хорошую квартиру. По словам Вольфа, в Петрограде они жили отлично. У него было нечто вроде чиновничьей шинели с пелеринкой (как у Гоголя, а, не правда ли?), и он рассказывал, блистая круглыми глазами и золотом зубов, как, бывало, выйдет он, Вольф Сосновик (такой, каким вы меня видите!), на Невский, кликнет ваньку, скажет: «Поди!» — и полетит, а кругом снег, вежливые городовые, газовые фонари... Миша Лоренц слушал его с восторгом, но однажды Вольф вынул при нем свои золотые зубы и опустил их в граненый стаканчик. Миша испугался, в этом было что-то нечеловеческое, и долгое время он с пугливым трепетом смотрел на пустого болтуна Вольфа Сосновика.

Мишу и Володю Варути, не находивших себе товарищей среди соседских забияк, тянуло к несчастной, всегда спокойно-веселой девочке с таким странным, неужным произношением. Иногда они брали ее под руки и выводили гулять в Николаевский сад, осторожно переходя мостовую, и женщины умиленно смотрели на них, а некоторые плакали чистыми, освежающими душу слезами. А дворничиха Матрена Терентьевна, люто ненавидевшая, как нам

почему-то казалось, нашу буйную детвору, наставительно восторгалась:

— От хороши хлопчики, трясця их матери! И жидивочка хороша, така разумна, троянда моя! Оченята, як черешня, а говорить, як птаха, як та кацапка!

Дети садились на круглый парапет из искусственного гранита с сиреневыми искрами, сиреневыми казались искры фонтана — влажные песчинки заката, — сиреневым было платье Ели. Лоренц уже забыл, о чем они говорили тогда — о приключениях доисторического мальчика? О Летнем саде или о Павловске, куда Еля однажды поехала с родителями? — но помнит, что им было весело, не хотелось идти домой ужинать. Помнит он (разве можно его забыть?) и тот ужасный день.

Накануне ушли неожиданно из города французы. Ждали не то большевиков, не то петлюровцев. Город привык к быстрой и частой смене властей. В этой смене была и надежда, и некоторые долго не могли избавиться от ободряющей привычки. Например, даже в двадцать восьмом году подшучивали над слесарем Цыбульским — он будто бы, просыпаясь от грохота будильника, рано утром спрашивал жену: «Рашель, они еще не ушли?»

В ту пору, как никогда, стало ясно, что все человечество — это жители, от слова «жить», а власти — нечто отличающееся от жизни, мешающее жизни, потустороннее: оно врывается в наш мир, обладая иными измерениями, иными законами притяжения. Вероятно, именно в ту пору местоимение «они» впервые приобрело новый, отчужденный смысл. Шли годы, люди рождались, старились, умирали, но «они» были бессмертны, как злые духи. «Они» устраивали погромы, облавы, пытали в застенках контрразведки, производили реквизиции, изъятия излишков, сажали в тюрьмы, высылали на Соловки, выдавали продовольственные карточки, объявляли о всеобщем обязательном обучении, шли в поход на Рим, выбрасывали на прилавки мясо, галоши, чайники, бомбили, оккупировали города и деревни, душили в газовых камерах, загоняли людей в гетто, временно отступали, выпускали облигации займов, восстанавливали разрушенное войной хозяйство — эти разноликие, разноязычные, рожденные среди людей, похожие на людей, внутри себя нередко враждующие, но одинаково ненавистные жителям «они».

Да, власти менялись, французы были получше, немцы — похуже, деникинцы были любезны большинству,

большевики — меньшинству, но петлюровцы — это совсем другое дело, петлюровцы — это погром.

Конечно, и другие были не без греха. Люди, будучи стадными, подчиняясь побудке, ищут общности. Классовая общность (а это уже начинали подсказывать опыт и инстинкт) оказалась вздором. Рабоче-крестьянская революция принесла горе прежде всего рабочим и крестьянам. Так, может быть, спасение в другой общности, национальной? Не будем забегать вперед, чтобы встать в затылок римским чернорубашечникам и мюнхенским громилам. Заметим, однако: если мы, русские, и поныне порою не мыслим национальной общности без национальной ненависти, то что же говорить о тех рассветных кровавых годах? Антон Иванович Деникин, умный и честный человек, внук крепостного крестьянина, вряд ли был антисемитом, но его отряды, врываясь в местечки, угрожающе пели:

*Смело мы в бой пойдем
За Русь святую
И всех жидов побьем,
Свалочь такую.*

И ничего не могли поделать ни Деникин, ни служившие под его знаменем интеллигенты, среди которых были и евреи: добровольцы устраивали погромы — правда, не в больших городах, а в местечках, вдали от взоров начальства. Устраивали погромы и отдельные лихие отряды армии Буденного, в особенности кубанские и донские казаки, уставшие от жестокой, отвратительной въедливости комиссаров-долгоносиков. Впоследствии Буденный вспоминал, что Троцкий называл его конницу бандой, а его, Буденного, — атаманом и говорил: «Куда он поведет свою ватагу, туда она и пойдет».

Но у буденновцев была такая сила, которой не было у деникинцев: идея. И большевистская идея быстро справлялась и расправлялась — ибо иначе она бы тогда погибла — с разбойными еретиками. Изумительное свойство большевистской идеи, залог ее торжества — сочетание жестокой бессмысленности преступления с разумом прекрасного. Чернь, ведомая вождями, думая, что движется к прекрасному, бессильно и трусливо приписывает бессмысленность совершаемых ею преступлений другой нации: так понятней. Не всегда при этом надо уничтожать другую нацию. Например, Махно (ему, сам того не зная, потом подражал

Антонеску) позволял своим хлопцам убивать и грабить жидов, но только не в столице анархии, в своем Гуляй-Поле, и там евреи чувствовали себя в безопасности.

Социалист Петлюра, как позднее социалист Гитлер, не скрывал, что хочет уничтожить евреев. Его герб — изображение гайдамака на лазурном фоне — утверждал преемственность его армии от тех, кто несколько веков назад, при Богдане Хмельницком, залил Украину еврейской кровью. Но не мог Украине дать счастье Петлюра, как не дал ей счастья и Богдан.

На этот раз шли успокоительные слухи. Стало известно, что с петлюровцами заключили соглашение большевики. В доме Чемадуровой мнения по этому поводу разделились. «Одна шайка», — бурчал Цыбульский. «Да, но погрома не будет, большевики не позволят, — возражал скорняк Беленький. — Лично я, клянусь жизнью детей, пережил семь погромов. Хотя это было, но это факт. Если я вру, пусть я не доживу до завтрашнего дня, пусть меня семьдесят семь раз закопают живым в землю. Если большевики договорились с этими злыднями, значит, все будет хорошо, чтобы я так видел своих детей здоровыми, как это правда. Поверьте мне, я не такой человек, чтобы разбрасывать слова, как пьяный матрос разбрасывает медяки».

Беленький был чудовищный лгун, но говорил он с таким убеждением, что заставлял себя слушать. Слушать его слушали, однако все с облегчением вздохнули, когда мадам Чемадурова объявила через своего приказчика, чтобы соседи пришли рано утром в ее магазин. Это было хорошо придумано, не станут же петлюровцы искать евреев в магазине церковной утвари!

Утром была тишина, тревожная тишина безвластия. Французские корабли ушли, а петлюровцы скакали со стороны степи и еще не успели вступить в город. Но злое дело уже делалось. В синодальной типографии печатались черносотенные прокламации. (Так как их не пришлось в те дни распространить, то через год, при большевиках, когда реквизировали все имущество типографии, прокламации достались школьникам, и на оборотной стороне мы решали на них арифметические задачи.) Некоторые видели, как разъезжал по городу на собственных дрожках светило — окулист Севостьянов. Он стоял в котелке, в демисезонном пальто с узким бархатным воротником, благостно улыбающийся, опираясь одной рукой на плечо кучера, а другой на что-то указывая двум темным личностям, сидевшим позади

него. Чудодейственные руки, возвращавшие людям зрение, теперь указывали путь в кромешную тьму, которая жила в душе целителя глаз.

Железные шторы магазинов были прикреплены болтами к земле, у будок, где продавались жареные каштаны, стыли оставленные на произвол судьбы жаровни, ворота были заперты, сквозь их крошечные окошечки с фанерными задвижками было видно, как невысокий ветерок с моря, предвестник ожидаемой бури, медленно катил по опустевшим улицам свернувшись, как жесть, листья. Осень в этот день бастовала. Плесневело ее виноградное мясо на лозах, падали ее яблоки, созревшие для своей гибели, гнили в гавани на дубках ее арбузы, томилось вино в ее давилнях, буро-красный лом ее листьев загрязнил улицы, а золотая осень — где же она была, лядащая? Бродила ли она в полусонном оцепении по берегам нежилого, холодеющего моря, дрыхла ли без просыпу в позабытой Богом слободской мазанке? А может быть, не пришла еще ее пора, и тем, кто сажал и растил, дано только в жалкой, слабой старости собирать свои сгнившие плоды.

Глава четвертая

Наступил полдень, а форма государственного правления была все еще неизвестна жителям. Город стал медленно оживать. Поднялись шторы магазинов, и сентябрьское густое, плотное солнце легло на галантерею, посуду, меховые шкурки, готовое платье. Открылись ворота, появились прохожие.

Есть опыт тысячелетних мук, опыт инквизиции, костров, виселиц, массовых убийств, но этот опыт ничтожен по сравнению с опытом труда, торговли, дружеских бесед. Напрасно думают, что враги жизни легко обманывают наивное, забывчивое человечество. Опыт печали стоек и велик, но если бы он одержал победу над опытом счастья, то нельзя было бы жить на земле.

— Миша, не хотите ли полчаса прогуляться, до Кардинальской и обратно? — спросил Александр Рафаилович.

Мише больше улыбалось в эту минуту побыть с Володей и Елей, но предложение учителя показалось ему лестным. Мише бояться нечего, он православное дитё, а какой молодец Александр Рафаилович!

— Все они не понимают, что проснулась могучая народная сила, — сказал учитель. — И большевики направят эту темную силу куда следует.

Конечно, он сознавал, что с мальчиком смешно вести такие разговоры, но что поделаешь, если никто в доме Чемадуровой не понимал, что проснулась народная сила (они в простоте душевной сами себя считали народом и вот не проснулись), а Александру Рафаиловичу мучительно хотелось высказаться.

Они дошли до небольшого Греческого базара. Это был почти правильный круг, образованный старинными домами причудливой постройки, с колониальными, без окон, лавками внизу, крытыми галереями наверху — кусочек Генуи, Балкан. В центре этого круга помещалась восьмиугольная общественная уборная, на чьих стенах записывались похабные блестящие приморского фольклора и чей запах смешивался с запахом ванили, прелых листьев, приклеенных пылью к горячей земле, с нерусским запахом фиников и кофе. Базар был почти пуст, кое-где вяло торговали. Внезапно из-за каменного столба для афиш показался человек с редкой бородкой и красными испуганными глазами.

— Сумасшедшие, куда вы идете, они уже здесь, прячьтесь! — крикнул он и, перебирая ногами, вскочил в одну из лавок. Она тут же за ним закрылась.

Александр Рафаилович и Миша повернули назад. У Карантинной они услышали топот и побежали. Вдруг они увидели греческую кофейню. Ее летний зал был просто частью улицы, почти до самой мостовой доходила ограда. Между каменными столбиками, как паруса, надутые ветром, зыбились продранные брезентовые занавеси. Из того же брезента был сделан тент. Сама кофейня была, разумеется, заперта, люди скрылись быстро — стулья опрокинуты, на одном из столов остались кости нардов, на асфальтовом полу среди подвижных солнечных пятен валялись раскрытая полураздавленная коробка папирос «Сальве» и прибор наргиле.

Они вошли в летний зал, присели, тяжело дыша, и стали смотреть сквозь продранные занавеси. Появились петлюровцы.

Это хаты с соломенными папахами и вишневыми сачками, это дикое, буйное поле, это запорожская сечь, это полонецкая кочевая орда хлынула в город мирных ремесел и магазинов, банков и таможи, думы и биржи, кофеен и университета, казарм и заводов, в город, в котором не сея-

ли, не жали, не задавали корм скотине, но который жил за счет тех, кто в поте лица сеял и жал, — город столь опасный, коварный и притягательный.

Понимаем ли мы сущность восстаний? Кто, собственно говоря, восстает? Ну хорошо, в Париже строили баррикады знатоки Сен-Симона и Фурье. Не последние дураки были и у нас на Сенатской площади. А кто были те повстанцы, которых повел Муссолини? Или те, что в американском городке поднялись против судьи и шерифа и линчевали негров? Или те, что в октябре семнадцатого года громили булочные, а потом приходили ночью с мандатом, чтобы изымать излишки у перепуганных жителей? Простые люди, мы с вами, рабочие, крестьяне, трудовая интеллигенция. Не разными путями шли к Петлюре и в Красную Армию, не разными. Семнадцатый год имел предшественников в прошлые времена, даже в глубокой древности, но только в семнадцатом году, впервые за всю свою победную мощь, народ восстал не против деспотии, а против демократии. Националистический социализм (родившийся у нас в России) и сейчас не прекратил свое движение. Он, националистический социализм, иногда называемый фашизмом, есть самое реакционное движение самых широких народных масс.

В город ворвался, видимо, передовой отряд. Всадники, живописно одетые в лохматые шапки, в бурки, в пестрые жупаны, в английские френчи, в кожаные штаны, ловко, небрежно сидели на лошадках, казавшихся маленькими по сравнению с этими рослыми, загорелыми богатырями, обвешанными патронными лентами, с пистолетами, саблями.

Они были веселы и если пьяны, то от спирта победы, от захвата этого всегда нарядного, богатого, с презрительным прищуром города. Один из всадников, с перекошенным от сабельного удара ртом, играл на гитаре что-то заунывное, играл неумело, но зато сидя верхом! Другой, без шапки, стриженный, как сечевик, с косичкой, почему-то держал в свободной руке большую бронзовую чернильницу. «Пан писарь», — подумал Миша. Впереди, но не самым первым, скакал красивый, с черными усиками над пухлой губой, совсем молоденький завоеватель. Знамя, желто-лазурное, как небо, трепетало над шоколадной гривой его коня. С краю возвышался великан, пожилой человек в очках, похожий на капельдинера в нашем оперном театре. Голубая матерчатая нашивка в виде бутона виднелась во впадине его острокопечной смушковой шапки. Он толкнул нагайкой соседнего верхового (того, кто играл на гитаре) и громко крикнул:

— Дивись, яка красуня! «Ах, аставьте миня, маладой чалавек, я масковська баришня!»

Он указал нагайкой на афишу с поясным изображением артистки Веры Холодной, еще на прошлой неделе выступавшей в иллюзионе «Экран жизни». Все, кто услышал его передразнивание москалей, засмеялись беззлобным смехом.

Уэллс рассказывает о гениальном биологе, который на необитаемом острове после мучительных вивисекций превращал шакалов, гиен, волков, тигров, собак в людей. Эти существа при невнимательном взгляде уже ничем не отличались от венца творения, но они не умели смеяться. А петлюровские ордынцы смеялись, как люди, рожденные от людей, у них были матери, сестры, невесты, они, наверно, знали человеческое горе, человеческую радость. Они даже любили погрустить, поплакать, и не только пьяными слезами. Почему же город закрылся от них ставнями, шторами, воротами, засовами, почему ни одна живая душа не покажется на улице?

Нет, вот она, живая душа. Напротив кофейни на чугунных ступеньках чьей-то наглухо забитой квартиры сидела старая женщина. Рядом с ней стояло ведро с горячими кукурузными початками, лежал носовой платок — на нем была насыпана крупная желтая соль.

— Бабуся, почем пшенка? Яку валюту берэш? — крикнул всадник в бурке.

Старуха ничего не ответила, только привстала и низко поклонилась, и петлюровцы опять громко рассмеялись: шутка их товарища насчет валюты показалась им удачной.

Мише они очень понравились. Ему чудилось, что он видел их уже раньше, много раз, на базаре, когда они лениво лежали на возах, остро пахнувших сеном и животной плотью, а их бойкие жинки, в чистых платочках до самых бровей, вынимали из сена поросят, гусей, яйца, торговались, длинно божились. Они говорили не по-русски, назывались хохлами, и вот они переделались запорожскими казаками, и это так весело. Странно, что заморских зуавов никто не боялся, а эти славные хлопцы внушают всем такой ужас.

Отряд скрылся за поворотом, оставив запах степи, коня, кожи — и другой, идущий от кучек, разбросанных лошадами по торцовой мостовой. До дома Чемадуровой было только два квартала Николаевского проспекта. Александр Рафаилович взял Мишу за руку и побежал. На бегу он все успел сказать:

— Вот она, народная армия, армия крестьянской революции. Мещане берут напрокат лодку и, напившись, поют в море о Стеньке Разине. А стоит появиться живому Разину — дрейфят. Что и требовалось доказать.

Он уже в душе приветствовал петлюровцев. Он готов был приветствовать всякую власть, и прежде всего — сильную и рожденную плесом. Александр Рафаилович Кемпфер, милый чудак, сам того не сознавая, презирал побежденных и языческим, бескорыстным обожанием обожал победителей. Впрочем, таким ли уж бескорыстным? Возражат: а корысть в чем?

А в том корысть, чтобы быть ближе к власти, к ее пазухе. Националистический социализм античеловечен, если под человеком понимать божественную душу в животной плоти. Но этот же социализм удивительно человечен, если под человеком понимать двуногое, владеющее средствами и орудиями производства, пожирающее живую плоть и убивающее себе подобных в условиях общественной жизни. Необычайная, поразительная сила фашизма в том, что он живет не вовне, а внутри нас. Если извлечь из человека душу, то окажется, что все, из чего состоит наша плоть, и есть фашизм. А велика сила плоти! Индийская «Бхагавад-гита» учит, что человек, стремясь к совершенству, должен отказаться от хотения. Хотения плоти суть основа фашизма, ибо животное-человек — хочет. Фашизм начался давно — тогда, когда человеческая плоть отвергла свое божественное происхождение.

Человек хочет не только денег, еды, водки, одежды, услад похоти. Он хочет уважения, хочет быть какой-то ступенькой выше другого человека, — потому-то национально-социалистическое государство всегда сословно, всегда ступенчато, оно лишает льгот и привилегий одних и щедро, но не навсегда, отдает их другим. Вот лейтенантик в царстве смерти, в дыму и пламени, вступает в партию по боевой характеристике, без кандидатского стажа. Какая ему от этого корысть? Немец дошел до Волги, еще неизвестно, как сказал поэт-лауреат, по какой рубеж Россия и что будет с Россией. Потом, если выживет, лейтенант скажет, что был тогда охвачен высоким душевным порывом. Но почему этот душевный порыв привел его именно в ту партию, которая у власти? Почему не пошел он, скажем, к адвентистам седьмого дня? Потому что то был не душевный порыв, спала его божественная душа, а животная плоть хоте-

ла, даже на краю гибели она не могла не хотеть, ибо была плотью, и он тянулся к большой и жаркой пазухе.

Когда Миша пришел домой, он увидел, что мама лежит на кровати с головой, повязанной полотенцем. От нее пахло уксусом. Папа, Федор Федорович, без пиджака, в незастегнутой жилетке (кадык его был сдавлен твердым крахмальным воротничком), дрожащими руками наливал валерьяну, отсчитывая губами капли.

— Явился, босяк? Где пропадал? Маму в гроб загнать хочешь? Давно ты у меня ремешка не пробовал!

Ремешок был иероглифом гнева. Миша его никогда не пробовал.

— Папа, не сердитесь, я гулял с Александром Рафаиловичем, до Кардинальской и обратно. Папа, я петлоровцев видел!

У Федора Федоровича была привычка — не слышно, одними губами как бы повторять слова собеседника. Миша любил эту папину привычку, даже пытался ей подражать. Он подошел к отцу, ухватился за его подтяжки, потерял носом о нижнюю пуговицу жилетки.

— Мишенька, поешь, родной, синенькие и помидоры, а потом грушу, только ты ее помой, я забыла, — как всегда, слабым голосом сказала Юлия Ивановна. — Мы еще с тобой немецким не занимались. Как тебе не стыдно так меня мучить, сколько я дум передумала, а тебя нет, и у Цыбульских нет, и у Володи. Евреи прячутся у Чемадуровой, я решила, что ты там, с Еличкой, пошла, а тебя нет. Разве можно в такое время уходить из дому? Вода не идет, на кухне стоит миска с водой. Достань из шкафа свежее полотенце, суровое.

Миша жадно ел и расписывал петлоровцев. Шутка сказать, еще никто их не видел, а он видел.

— Папа, Александр Рафаилович говорит, что это проснулась народная сила.

— Он дурак, — рассердился Федор Федорович. — Университет окончил, а в жизни разбирается, как индоч в итальянской бухгалтерии. Ну пойдем, проведем соседей. Это позорно, что ты именно сейчас покинул своих друзей.

— Миша, возьми грушу для Елички, — сказала Юлия Ивановна. — Возвращайтесь поскорее. Господи, спаси несчастных, покарай злодеев!

— Юля, мы только на минутку. Я к тебе пришлю Рашель.

— Да, да, надо вам туда, ступайте. А разве Рашель...

— Дома сидит. Не верит, что будет погром. Цыбульский орал на нее, но она ведь упрямая.

В магазин Чемадуровой пошли со двора, через комнату Сосновилов. Двери в комнату были раскрыты настежь, мебель придвинута к стенам, чтобы легче было убежать, если погромщики все-таки ворвутся к Чемадуровой. А куда убежать?

Федор Федорович постучал, пройдя с Мишей через всю комнату, в железные двери магазина:

— Откройте, это я, Лоренц.

Засов на дверях со стороны магазина был снят и косо упирался в пол. В магазине была полутьма. Шторы на всех окнах спущены, свет проникал через узорное стекло наружных дверей, и этот солнечный свет улицы казался тоже испуганным, он с какой-то унижительной робостью ложился на паркет, на длинную темную стойку, на иконы, пустые оклады, кресты различной величины, на полки, где стояли чаши, подсвечники, кадилницы, фонарики, не распроданные на Пасху, где лежали ризы, сложенные исподом кверху, пакеты с восковыми свечами. И на лица падал этот свет, на лица стариков, мужчин и женщин, которые обрели первоначально-ханаанские черты. И на лики падал этот свет, на лики апостолов, и они ожили среди соплеменников своих, и византийские их глаза, выдавшие нездешнюю красоту, спасительное чудо, наполнила простая, грубая, земная правда страдания.

Лицо притихшей Зинаиды Мойсеевны стало прекрасным от страха за себя, за мужа, за свою девочку. Она стояла, прижимаясь спиной к холодной кафельной печке и обнимая старую свекровь. Ионкис в визитке (он вчера гулял всю ночь у родственников на свадьбе) и столяр Димитраки сторожили у наружных дверей, на которые умышленно не были спущены шторы: здесь, мол, православные, бояться им нечего. Казалось, что смугло-желтое лицо Димитраки написано восточным богомазом.

На собственной табуретке сидела жена Ионкиса, мелкокурчавая пышная красавица, и часто дышала своими большими белыми яблоками в шелковых сумках лифчика. Фрида Сосновилов лежала животом кверху на вытертом кожаном диванчике: здесь обычно сживали в своих холщовых подрысниках оптовые покупатели — священники из окрестных степных сел. Вольф снимал батистовым платочком капельки пота со лба жены.

У крайнего подоконника в серой мгле шепотом беседовали мужчины: скорняк Беленький, Абрам и Александр Кемферы, подмастерье Ионкиса Бориска Варгавтик. Скорняк мучился: он порывался подробно рассказать о том, как Троцкий запретил Симону Петлюре устраивать еврейские погромы и за это отдал ему Одессу, Херсон и Николаев, кое-что он слышал, кое-что придумал сам, он знал, что этот рассказ будет приятен Бориске, который, говорят, что-то начал крутиться последнее время возле большевиков (а почему бы не сказать приятное человеку?). Слова так и вырывались из его рта, но Беленький боялся оскорбить чувства их спасительницы — Чемадуровой.

Детей не было видно — они прятались за длинной стойкой, пересекавшей весь магазин. В конце стойки на высоком, с лесенкой, стуле грузно возвышалась у кассы-конторки маленькая Чемадурова, уже тогда старая, но еще крепкая. Золотой крестик смутно мерцал на ее полной груди. Она сурово, как бы нехотя отвечала на какие-то горячие речи мадам Варути, наклонившейся к ней из-за конторки.

То, что вместе с искавшими спасения находились Чемадурова, Димитраки, Федор Федорович, мадам Варути, что именно в магазине церковной утвари спасались преследуемые, не было в те времена случайностью. Потом времена переменялись.

Люди, строго и привычно дожидавшиеся своей участи, пыльная полоска света, дрожавшая в помещении, — не напоминало ли все это картину из годов раннего христианства? Полумрак, блеск икон и крестов, блеск расширенных глаз святых мучеников и живых, грешных людей — так, наверно, было в катакомбах Рима при Нероне, в малоазийских провинциях при Юлиане Отступнике, в Александрии во времена Ипатии. И подобно тому как на полотне, очищенном от нелепых, вялых красок ремесленника, проступает могучая старая живопись, — проступили и в том, распятом, черты сына плотника из горной Галилеи, и он стал похож на Абрама Кемпфера, на Беленького, и его глаза, прежде недвижные, наполнились бездонным и жарким, вдохновенным и деятельным стремлением спасти детей своих.

Никаких звуков не доходило с Николаевского проспекта, всегда такого оживленного, и это молчание города только усиливало страх. Миша зашел за стойку. Внутри ее, в длинном чреве за полузакрытой задвижкой, спали на матрасике годовалые ровесницы — Соня Ионкис и Фанни

Кемпфер. Трое младших Беленьких, здоровые драчуны и зубоскалы, играли в подкидного дурака. Еля Сосновик, вытянув, насколько могла, кривые гипсовые ножки, сидела на низком чемоданчике. «Здесь, наверно, спрятано золото Вольфа», — вспомнил Миша разговоры взрослых. Володя Варути, хотя и сидел на полу, казался выше Ели. Он говорил, заикаясь сильнее обычного:

— Никакого Бога нет. Сама посуди: разве можно было создать Землю за каких-нибудь шесть дней? Она биллионы лет была раскалена, может, триллионы лет охлаждалась. Ну, естественно, появились на ней живые существа, крохотные, вроде бактерий.

— Как же они все-таки появились? Из ничего?

— Дурочка, подумай: откуда на человеке появляются вши? От грязи. А Земля же была грязная. Вся трудность в том, чтобы возникло хоть что-нибудь живое, а тут и человеку появиться — плевое дело.

Еля задумчиво отвечала:

— А мне хочется верить в Бога. Я люблю его. Я люблю читать Библию, особенно про Иосифа, как братья его продали в Египет. Такая странность: когда читаю, я плачу, но мне хорошо...

— Здравствуй, Еля, — сказал Миша и дал ей грушу.

— Спасибо. Где ты был?

— Я видел петлюровцев.

— Вот брехун, — сказал Володя.

Раздался стук в дверь из комнаты Сосновиков. Еля сползла с чемоданчика. Женщины завопили. «Не бойтесь, — крикнул стоявший у двери Маркус Беленький, взрослый сын скорняка, — это Костя Помолов!»

— Только большевиков мне тут не хватает, — сказала Чемадунова. — Имя отца позорит. Не надо впускать этого грабителя.

Но Костя Помолов уже вошел в магазин. Миша навсегда запомнил это мгновение: растерянное лицо альбиноса Маркуса, болезненно-белесое (потом это лицо стало другим, совсем другим), и нескладная фигура Кости Помолова, который снял фуражку с двумя молоточками, заморгал близорукими глазами и начал:

— Товарищи...

— По вертепам сидят твои товарищи, а здесь честные люди, — отрезала Чемадунова.

— Товарищи, погрома не будет. Сейчас в городской думе выступил с речью атаман Хмелюк. Он приветствовал

нашу славную Красную Армию, с которой Петлюра заключил соглашение. Мы выберем Советы рабочих, солдатских и селянских депутатов. Гидра империализма будет обезглавлена. Атаман товарищ Хмелюк заявил: «Мы вышибем стул из-под задницы Пуанкаре!»

— Я же говорил, среди этих гайдамаков есть интеллигентные люди, — вмешался Беленький.

Помолов продолжал:

— Самое главное: атаман Хмелюк заверил, что петлюровцы, как социалисты украинской нации, никогда не устроят погрома. Пусть население живет и работает спокойно. Ни один волос не упадет с головы еврея.

— Что я вам говорил! — возликовал Беленький. — А! Паршивые евреи никогда мне не верят!

Трое младших Беленьких захохотали.

— Пусть Бог благословит большевиков, в конце концов, они лучше других, — сказала Зинаида Мойсеевна и, опасно посмотрев на владелицу дома, быстро исправила ошибку: — Но если бы я сшила саван для них, я бы успокоилась.

Чемадунова обвела магазин властным взглядом своих узких, каких-то инородческих глаз, остановила их на Косте Помолове, на Бориске и медленно проговорила:

— Цыбульский всех нас умнее, а он сказал: «Одна шайка». Возиться мне с вами ни к чему, мне торговать надо, но я советую вам провести ночь в магазине. Большевикам да петлюровцам верить нельзя. Как христианка, я должна вам помочь, это мой долг, а вы поступайте как знаете.

— Конечно, о чем речь, ночевать будем тут, — сказал Беленький. — Пусть Бог семью семь раз воздаст мадам Чемадуровой за ее доброту, аминь.

— Аминь, аминь, — повторила Зинаида Мойсеевна и заплакала.

Учитель Александр Рафаилович вышел из магазина нарочито твердой походкой. И Миша опять подумал: какой он храбрый!

В городе уже знали, что погрома не будет, и все же опасались: а вдруг будет? Но на другое утро женщины, как всегда, пошли на базар, появилась дворничиха Матрена Терентьевна с черной жесткой метлой и совком, почтальон принес «Новости Юга» с речью атамана Хмелюка. Дворник Ненашев вывесил на балконе квартиры Помолова желто-голубой флаг. У него рядом с метлой и деревянной лопатой

на одно и то же древко были намотаны все знамена, кроме красного: дворник не любил его.

Так начался этот день. Володя Варути в новой — перелицованной — матросской блузе пришел к Мише и сообщил:

— Слышал? В Немецком клубе теперь будет украинский театр. Декорации привезли, на двух подводах. Пойдем, сейчас там репетиция. Елю с собой возьмем.

Миша никогда не был в Немецком клубе. Лоренцы уже в прошлом веке обрусели, у них не было ни родственников, ни даже знакомых среди колонистов-менонитов и городских немцев. Миша видел, как по воскресеньям у серого здания с островерхими башнями собирались нарядные господа, веселые, вежливые, со степным загаром на упругих щеках, те, что попроще, были в твинчиках с бархатными нагрудниками, женщины были очень худые или очень толстые — середины не было, — мальчики были одеты, как взрослые, как на картинках из книг Де Амичиса или Гектора Мало — с галстуками, в широкополых шляпах с резинками, — и у всех в руках были плетеные круглые корзины с едой. Однажды Миша заметил, что в клуб входил Теодор Кемпфер с дамой, Миша узнал ее, то была Марта Генриховна, всегда сидевшая за кассой в писчебумажном магазине Генриха Шпехта.

Фойе клуба, выстланное квадратными плитками из итальянского мрамора (камни мостовой — остывшую лаву, изверженную Везувием, — тоже когда-то вывезли из Италии), было теперь грязно, заплывано. Широкая лестница, тоже мраморная, после первого пролета раздваивалась, и там, где раздваивалась, на стене был изображен Гутенберг за печатным станком. Кто-то по лицу изобретателя вывел мелом самое короткое из тех слов, которые не нуждались в печатном станке. Впоследствии, когда Немецкий клуб стал клубом транспортных рабочих (по-простому — грузчиков) имени Юделевича, вместо Гутенберга появился на стене Карл Маркс, как бы своим происхождением связуя прежних хозяев с теми, кто дал клубу новое имя.

В дневной тишине театрального зала раздавались голоса актеров. Мальчики, дрожа от нетерпения, взяли Елю на руки и довольно быстро взобрались по лестнице. Володя смело открыл темно-красную, с витой резьбой дверь, и они вошли в холодный зал. Он был почти пуст, сидело человек двадцать—тридцать, не больше, все в папах.

«Вона католичка!» — донеслось со сцены. Мишу как будто озарило, как будто ударило в сердце: актеры показывали инсценировку «Тараса Бульбы» в украинском переводе. Дети сели в последнем ряду. Один из тех, в папахах, обернулся, но ничего не сказал. А на сцене становились живыми неистовый Тарас, храбрый Остап, влюбленный Андрий, прекрасная полячка, противный, лебезящий Янкель. Еля слушала самозабвенно. Она еще плохо понимала чужую речь, но ведь Гоголя-то она читала. После вчерашнего тяжелого дня, после ночи, проведенной под укрытием стойки в магазине церковной утвари, она перенеслась в праздничный, светящийся мир. Володя скучал, плохо слушал, смотрел на немногочисленных зрителей. Почему они пришли на генеральную репетицию? Почему некоторые из них что-то записывают? Начальники, должно быть, над артистами начальники.

— Деревья нарисованы жутко, стволы косые, сейчас упадут, — шепнул он Еле на ухо, но у Ели не было сил, чтобы сказать ему «замолчи», она жила там, среди запорожцев и поляков, кровь ее побежала горячо, даже показалось ей, будто по ногам до самых пальцев побежала, она была счастлива.

А Мише мерещилось, что на сцене те самые всадники, на которых они вчера с Александром Рафаиловичем смотрели сквозь продранные брезентовые полотна греческой кофейни.

Когда занавес опустился, все сидящие впереди поднялись через оркестр на сцену. Догадка Володи, видимо, была правильной — то были представители петлюровской армии, взявшей в свои руки дело искусства.

Мальчишки, взволнованные, оживленные, даже не заметили, что идут слишком медленно, что не помогают Еле сойти с лестницы. Наконец они опомнились и взяли девочку на руки. Вдруг они услышали голос: «Культурна ориентация на захид...» — и в фойе появились двое в синих венгерках, с револьверами на боку. Из-под папах выглядывали жидкие, будто приклеенные чубы. Один был невысокий, с коротким, сильно вздернутым носом, с почти вертикально стоящими ноздрями, кривоногий, другой — долговязый, с большим коричневым родимым пятном над белесой бровью, рябой. Увидев детей, рябой сказал тоненьким, вкрадчивым голосом:

— Дивытесь, Таддей Захарович, ось и жиды до нас прийшли. Вы бачте, я их розпытаю.

И он спросил у детей тем же вкрадчивым, мягким голосом, наклонив голову:

— Звыдкыля вы, диточки? Вы жиденята?

— Мы не жидаы, — сказал Володя и быстро перекрестился. — Мы с Албанского переулка, здешние дети, тут рядом живем.

— А ну скажи: кукуруза.

— Кукуруза.

— Гарно казав. А зараз ты, доню моя, скажи. — И рябой посмотрел на Елю.

— Кукуруза, — сказала петербургская девочка и добавила: — Я — еврейка. А вы сами говорите неправильно, по-деревенски.

— По-деревенски? Ах ты Хайка!

Рябой размахнулся. Еля упала. Голова ее громко стукнулась о мраморную плиту, кривые ножки поднялись чуть-чуть вверх и застыли. Рябой пихнул ее блестящим сапогом. Она покатилаь вниз, и на мраморе осталась кровь и еще что-то серое, что бывает на базаре на земле в мясном ряду.

— Нема вашей Хайки, — растерянно пробормотал рябой.

Его спутник испуганно улыбнулся — может быть, тоже от растерянности.

Миша взял Елю на руки. Она не дышала, глаза ее были закрыты, и Миша, которому жизнь казалась бесконечной, впервые понял, что есть смерть. И с тех пор смерть стала в нем жить. Три минуты ходьбы было отсюда до дома, они пришли втроем и уходят втроем, они есть, а Ели нет, хотя она лежит у него на руках, в сиреневом платье, с двумя ленточками, оставшимися на разможенной головке, и, как всегда, недвижны ее кривые гипсовые ножки.

Мальчики внесли в комнату Сосновиков мертвую Елю. Фрида в тот же день преждевременно родила, но девочка оказалась здоровой, выношенной. Ее назвали Диной.

— Бог берет, Бог дает, — сказали соседки.

Глава пятая

В семнадцатом году, когда из Петрограда пришло известие, что свергли царя (у нас революции не было, она произошла по телеграфу), когда зарегистрировались политические партии, выяснилось, что среди большого количества кадетов, не столь значительного — эсеров, меньшевиков, бундовцев, анархистов и монархистов есть в нашем го-

роде и большевистская партия, представленная, правда, одним-единственным деятелем, а именно — Костей Помоловым.

Все знавшие его отца искренно сочувствовали Павлу Николаевичу Помолову. Как не везет, говорили в трактире по соседству и в доме Чемадуровой, этому высокоинтеллигентному, обаятельному человеку в семейной жизни! Жена его, Любовь Степановна, была из простых. Чулки у нее всегда спадали с распухших ног, она курила, но не так, как великосветская дама, грациозно, элегантно, а как неряшливый мужчина, ее грудь и двойной, постоянно перетянутый живот были осыпаны пеплом. Их старший сын женился на дочери жандармского офицера, известного черносотенца, наверно, такой же хулиганке, как ее отец. Мало этого удара, так на тебе, младший сын оказался большевиком!

В действительности же Павел Николаевич Помолов был баловнем судьбы. Он составил себе имя еще в бытность свою помощником присяжного поверенного, когда помогал патрону в нашумевшем деле Бейлиса. Роль Павла Николаевича была, конечно, не очень заметная, но участие, пусть скромное, в большом политическом процессе явилось для молодого адвоката началом удачи. Женитьба на дочери хозяина нескольких молочных магазинов упрочила его положение. У него с каждым днем увеличивалась практика, он разбогател. Коллеги не очень его уважали, он брался за нечистоплотные дела и всегда их выигрывал. Это была, что называется, богато одаренная натура. Он писал неправильным белым ямбом трагедии (главным образом на исторические или библейские темы, одна из них даже была поставлена любительским кружком в клубе «Урания»), превосходно владел тремя европейскими языками — у него были способности к языкам, — печатал статьи о театре под псевдонимом Альцест, сам играл на домашней сцене. Дамы его боготворили. Его широконосое, бугристое лицо могло, по их горячо высказываемому мнению, вблизи показаться некрасивым, но, увидев эту гордо посаженную голову с львиной гривой седеющих волос (выражение одной из поклонниц), холеную бороду и усы, властную, свободную походку артиста и барина, услышав его сильный, чарующий голос, вы, уверяли дамы, даже не зная его, решили бы: это выдающаяся личность.

Основную часть его клиентуры составляли негоцианты — армяне, греки, евреи, поляки, он умел обворожить их тем, что приветствовал каждого на родном языке. В доме

Павла Николаевича бывали Бунин, Мечников, Туган-Барановский, Юшкевич, заезжие музыкальные знаменитости. Большим успехом в городе пользовались его эпиграммы на градоначальника Вороного. При Керенском Павел Николаевич был избран гласным городской думы от кадетской партии. С Любовью Степановной он обращался круто, научил ее молчать в обществе и снисходительно, порою матерински нежно смотреть на его галантные похождения, впрочем, тщательно им скрываемые.

Нередко случается, что у полного жизни, искрометного веселья, блестящего отца сын растет вялым, застенчивым нелюдимом, и все о нем говорят: «Он старик по сравнению со своим отцом». Так говорили и о Косте Помолове. В двенадцать лет он уже надел очки, в шестнадцать начал сутулиться, был неряшлив, неделями не посещал баню, живя в приморском городе, не научился плавать, да и вообще не ходил на море. Мало того что он был близорук и, следовательно, обладал богатыми возможностями наткнуться на встречных, он еще имел привычку читать на ходу, и только чудо, постоянная опора одержимых, спасало его от пролеток, трамваев — но не от ругани прохожих.

Он читал книги по математике, электротехнике — в ту пору науки сравнительно молодой, — интересовали его и социальные вопросы. Он не любил отца, и увлечение Павла Николаевича изящной словесностью казалось Косте фарисейством, и до боли было ему невыносимо слушать, как Помолов-старший в кругу избранных, замирающих от художественного подъема, возвещает адвокатским голосом какое-то стихотворение в прозе с революционным намеком или вслед за Надсоном обнадеживает: «Верь, настанет пора, и погибнет Ваал».

После гимназии Костя поступил не в университет, как того желал отец, а в Политехнический, чтобы, став инженером, быть поближе к рабочей массе. Произошло это не без влияния Гринева.

Весной 1916 года нелегально приехал в родной город известный своими статьями, посвященными статистике, социал-демократ Гринев (настоящая фамилия его была Гринберг). Явки он не нашел, в городе остались одни ликвидаторы, и среди них — Цыбульский, который еще на рубеже нынешнего века был у него, у Гринева, в подпольном кружке. Цыбульский устроил своего старшего товарища, можно сказать, учителя, в богатой и безопасной квартире

Помолова, и адвокат весьма этим гордился, хотя втайне и трусил.

Отойдя после возвращения из эмиграции от активной политики, Цыбульский все эти годы любовно и почтительно, в беседах с тем же Костей, вспоминал имя Гринева, вспоминал, как тот, еще будучи студентом, руководил чтением участников кружка, а читали они все подряд — и Степняка-Кравчинского, и Рубакина, и «Овода», и «Записки из Мертвого дома», и книгу Карла Каутского «Экономическое учение Карла Маркса». Вспоминал он и такой эпизод, а Костя с упоением слушал.

Гринеv (в то время — товарищ Мика) сочинил текст листовки. Ее отпечатали в подпольной типографии, а Цыбульскому было поручено ее расклеить. Вот и пошел он поздней ночью по пустынной улице, в одной руке — листовки, в другой — ведро с кисточкой. В начале Провиантской он услышал шаги. Цыбульский вбежал в подворотню. Выглянув через некоторое время, он узнал нескладную фигуру длинного и тощего Гринева. «Что вы делаете здесь, товарищ Мика, вы все испортите, идите домой!» А Гринеv: «Я не могу сидеть дома, когда вы в опасности. Возьмите меня в помощники». И как ни противился, как ни сердился Цыбульский, а Гринеv пошел с ним вместе и правой, с детства парализованной рукой поглаживал листы, только что приклеенные Цыбульским к стене.

Еще рассказывал Цыбульский о том, как умно и хлестко спорил Гринеv в Париже с Лениным, как однажды он повез их, рабочих-эсдеков, по дешевому летнему тарифу из Парижа в Швейцарию, чтобы познакомить с Георгием Валентиновичем, и, когда, они, сойдя с поезда, добрались до виллы, к ним вышла дочь Плеханова, извинилась и сказала, что отец не может их принять, он болен. Вероятно, так оно и было на самом деле, но Цыбульскому почему-то стало горько на душе. Теперь, оказалось, Гринеv пошел с большевиками, стал пораженцем. В большой, с четыре окна, библиотеке Помолова, где нелегальный спал на кушетке (утром ее уносили в комнату Кости), Цыбульский проговорил с ним всю ночь. Эти два человека еще любили друг друга любовью памяти, но уже далеко разошлись их дороги. Впоследствии Цыбульский много думал о Гринеve, особенно когда начался процесс правотроцкистского блока. Смешно было сомневаться в преданности Гринева революции, в его бескорыстии. Но получилось так, что его непрактичность в обыденной жизни стала и политической непра-

ктичностью — и даже глупостью, когда ему выпало заниматься государственными делами. Например, он изобрел пятидневку, от которой вскоре пришлось отказаться. Он мыслил остро, но не сильно. И все же не мог понять его Цыбульский, не мог понять, зная честность и смелость Гринева, его панегирик Сталину, напечатанный в центральной газете еще в 1933 году.

Цыбульский был знаком с десятком видных деятелей партии. С одним он сидел в тюрьме, с другим встречался в эмиграции. Он знал Мартова, чей приобретенный в магазине готового платья пиджачок топырился разнородными, подчас противоречивыми, но ловко наперед составленными резолюциями, знал двух его симпатичных братьев, которых ласково именовали «мартышками», знал Потресова — холодно-вежливого, замкнутого, заикавшегося, похожего на нотариуса из французских романов, знал Ираклия Церетели — кавказского златоуста, осторожного, нервного, легко обижавшегося, знал вальяжного, холеного, по-русски рыжеватого Стеклова-Нахамкиса, неверного в дружбе, плюсуна и женолюба, знал Троцкого — обворожительного до гениальности, на необычных, высоких каблуках (чтобы казаться выше ростом), громкоголосого, надменного, с недобрым, умным, царственно-пронзительным, не ожидающим ответа взглядом. Несколько раз он видел и слышал Ленина, однажды беседовал с ним минут пятнадцать.

Странное и тягостное впечатление производил на него вождь отколовшейся воинствующей группы. Казалось, что Ленин вел себя среди них, рядовых эсдеков, естественнее и гораздо проще всех прочих лидеров. Но что-то хитрообдуманное виделось Цыбульскому в этой естественности. Однажды к столику, за которым в парижском кафе сидел Ленин со своими, как их называли меньшевики, «бонч-бруевичами» (сами меньшевики всегда садились за другие столики), подошла молодая женщина. Ленин быстро встал, вытер рот бумажной салфеткой, пожал женщине руку и стоял до тех пор, пока она, поговорив с ним, не направилась к другому столику, и Цыбульский почувствовал, что воспитанность эта врожденная, естественная, наверно, в традициях семьи. А вот когда Ленин смеялся так называемым заразительным смехом или хлопал собеседника-рабочего по коленке (однажды после жаркого спора он и его так похлопал и сказал: «Вы меня не поняли, товарищ Яков»), — Цыбульскому во всем чудились расчет, игра, крайний интерес к последователю и полнейшее равноду-

шие к человеку. Самой главной чертой характера Ленина казалась ему неискренность. У Ленина не было чувства юмора, но он часто смеялся — так нужно было для пользы дела.

Запомнился мимолетный случай. Мартов начал дискуссию, пародируя «Ревизора»: «Должен вам сообщить пренеприятное известие — к нам приехал новый марксист, товарищ Ленин». Все рассмеялись, весело рассмеялся и Ленин — и быстро, сухо расстался с улыбкой, как актер, исполнивший нелюбимую роль.

Раснянского мещанина Чаусского уезда Могилевской губернии Тихона Петровича Цыбульского мать называла Михасем, а жена и товарищи — Яковом. Отец его служил проводником на железной дороге, и была у отца одна, всепоглощающая страсть: скопить деньги и соорудить собственный дом на окраине Могилева, на Луполове. Десять лет семья жила впроголодь, питаясь одной бульбой, мать вставала засветло, спускалась к Днепру — она была прачкой при городской больнице, — дети, Михась и Тихон, не учились, воровали яблоки в садах богатых мещан, бегали с гиком за иконой католической Божьей Матери. Наконец была приобретена земля, построен одноэтажный дом, деревянный, на каменном фундаменте. Казалось, муки семьи кончились, но не тут-то было. Дом сгорел, потянулась длинная, многолетняя тяжба со страховым обществом. Михась плюнул, мальчишкой ушел из дому, стал учеником в слесарной мастерской.

В первый год нового века он вступил в РСДРП — вскоре после возникновения этой партии. За участие в забастовке он отсидел три месяца в тюрьме — его выпустили так быстро, потому что ему еще не было девятнадцати лет.

Сосед его по камере был уроженцем нашего города, оба они одновременно вышли на волю, и тот уговорил Цыбульского поехать с ним на юг. Цыбульский сразу нашел работу в порту, связался с подпольным кружком, которым руководил Гринев. Марксистское учение поразило молодого слесаря своей религиозной, почти евангельской простотой. Теория прибавочной стоимости объяснила ему весь мир и рабочего человека в мире. Прелесть и сила учения заключались в чудесном соединении трансцендентности и эмпиризма. Цыбульский не мог бы это сформулировать, но хорошо почувствовал. Он стал умелым пропагандистом и организатором, устраивал забастовки в кустарных мастерских, собирал вокруг себя адептов, попадал, и каждый раз

счастливо, ненадолго, в тюрьму, где много читал — русских и европейских классиков и тогдашних властителей умов — Андреева, Горького, Чирикова, Короленко, и популярную научную литературу, читал жадно, с памятьливостью самоучки. В пятом году имя товарища Якова стало довольно известным в определенной среде, а то, что он слесарил в порту, помогло ему связаться с восставшим броненосцем.

После подавления революции его бросили в Томский централ, он бежал (политические в те времена, случалось, из тюрем бежали), ночью приехал домой, в Могилев, и получил за красненькую от хитроумного писаря паспорт на имя своего брата Тихона, мирно служившего, как и отец, проводником на железной дороге. С паспортом на имя брата Михась — Тихон Петрович Цыбульский, партийная кличка Яков — направился в Варшаву, прожил зиму и весну в Берлине, а потом переехал в Париж, где оседали русские социалисты. Сперва он бедствовал без работы, но довольно быстро устроился слесарем-водопроводчиком: помог земляк-белорус.

Цыбульский немало передумал за эти летящие, напряженные годы революционной деятельности, тюрем, чтения и странствий. Эдуард Бернштейн первым поколебал его марксистскую непримиримость. «Все вроде так, да что-то не так», — сначала смутно, потом все более явственно чувствовал он. И вон это «не так» особенно сильно бросалось ему в глаза, когда он наблюдал Ленина и тех, кто был с Лениным.

Цыбульский присутствовал при многих спорах, он помнил еще Кричевского, рабочедельцев, пожалуй, одно время сам к ним склонялся, он видел, что спорящие не находят истины, но непременно хотят ее найти, непременно хотят, чтобы рабочему человеку жилось лучше. И только Ленин отличался от других и, может быть, был сильнее других — потому что ему не нужна была истина, потому что он испытывал глубочайшее равнодушие к рабочему классу. Он хотел многого. Чего же? Цыбульский понял это позднее, когда разразилась первая мировая война: Ленин хотел власти. Может быть, это властолюбие было не целью, а способом утвердить идею? Цыбульский это допускал. А понял ли Цыбульский уже тогда, что зло коренилось не только в Ленине, но и в марксизме, что это учение, как никакое другое со времен средневековых религиозных войн, овладев массами, может привести вожака к неограниченной власти?

Теперь наконец мы постепенно распознаем, что атеистический марксизм находится по самой сути своей в ближайшем родстве с теми ересями, которые, стремясь превратиться в самодержавное правоверие, привлекали к себе воспаленные людские полчища. С кромвелевских лет не рождалась в Европе доктрина такой жестокой и притягательной силы. Эта доктрина околдовывала не особи, а множества. Она делалась всесильной потому, что учила животную плоть: «Духа нет, а ты плоть, и есть дух, и твоя победа есть победа духа».

Новобранец Карла Маркса в начале века, Цыбульский чем дальше, тем острее ощущал, что воинство, к которому он принадлежит, заблудилось. Он все еще благоговел перед своими архистратигами, но уже в этом благоговении любовь главенствовала над уважением. Сам того не сознавая, он смотрел на большевизм как на оборотня. Но впрямь ли под румяной личиной оборотня таилось прозорливое чудовище? Во всяком случае, пораженчество было Цыбульскому противно. Он любил Россию, этот слесарь из белорусского города.

Гриневу не удалось обратить Цыбульского в большевистскую веру, которую он сам стал исповедовать недавно. Но жена слесаря Рашель и Костя Помолов были в восторге от Гринева. Слушая резкие, закованные в логическое железо речи Гринева, такого с виду слабого, нескладного, да еще с парализованной правой рукой, Костя, такой же нескладный и слабый, дунь — и свалится, как бы обретал возможность укорениться, наполниться силой.

Теперь, после нашей победы над гитлеровцами, нам стало несколько легче если не постигнуть, то хотя бы попытаться постичь то движение, которое началось в семнадцатом году, и мы, еще не добравшись до сути его, способны установить по крайней мере одну, может быть, и не главную, но примечательную закономерность. Идеологи, вожди движения и у нас и за границей, были, как правило, натурами не совсем здоровыми. Кто страдал припадками, кто умер от прогрессивного паралича в нестарые свои годы. Как и среди воров, немало было среди функционеров первых — да и последующих — призывов людей с искаженной психикой. А опирались они на особи здоровые до тупости. Им нужен был не мыслящий тростник, а бездумная палица.

Когда начал свою функционерскую деятельность Костя Помолов, для него такой опорой стал гигант кочегар Тара-

даш. До захвата власти партия еще не думала о новом типе своих членов, и Помолов, вовлеченный в нее Гриневым, еще походил на Гринева. Дальнейшая история партии состоит в том, что она становилась все более близкой к черни, умные заменялись ловкими, интеллигенты — чиновниками. Если человек хотел выдвинуться, то он мог сколько угодно проявлять свою готовность совершать преступления, проявлять бесстрашие, исполнительность, физическую развитость, хорошую память, но только не ум. Действительно умным оказывался тот, кто тщательно скрывал свой ум.

Когда Миша Лоренц был в Германии, один военный журналист, заехавший к ним в Каменц, рассказал с опаской и восторгом: Сталину захотелось объявить себя генералиссимусом; было решено, что маршалы, собравшись, предложат ему этот суворовский титул. Собрались, предложили. Дали слово маршалу Еременко. Он сказал: «Я тоже предлагаю присвоить нашему дорогому товарищу Сталину звание генералиссимуса. Это укрепит авторитет товарища Сталина в народе и армии, да и мы его будем больше бояться, когда он станет генералиссимусом». Сталин улыбнулся, ответил: «Пусть Еременко не беспокоится за авторитет товарища Сталина. А бояться он меня все равно будет, даже если я останусь маршалом». Журналист в этом анекдоте увидел безмерную глупость Еременко. Напрасно. Может быть, в том-то и состоял ум боевого маршала, чтобы показаться простачком-дурачком...

Как и многих матросов каботажного плавания, кочегара Тарадаша поздно мобилизовали, а тут подросли большевики, мир хижинам, война дворцам, и Тарадаш, и года не пробыв на фронте, вернулся домой. Он испытывал благодарность к большевикам, вызволившим его из окопов, и ни разу в голову не пришла ему мысль, что воевавшая Европа обрела мир — и хижины ее и дворцы — и одни только русские продолжают воевать, но уже не с немцами, а с русскими. Когда Помолов как дважды два объяснил ему программу партии, Тарадаш и сам стал большевиком. Собственно говоря, партии в нашем городе еще не было, создавался комитет, и в него-то вошел Тарадаш. Все, что он знал, он узнал от Помолова, но искренно был убежден в том, что до всего дошел своим умом, и он с жаром излагал Помолову те самые прописные истины, которые от него же впервые услышал. Раньше он выделялся среди товарищей ростом и силой. Теперь он хорошо видел, что он и умнее других. Он

побеждал в спорах, потому что собеседники размышляли, а он верил, они не знали дороги, а он знал. Он был высокомерен, но каждому давал возможность сравняться с собой, стать таким же умным, сознательным. «Главное — поймать идею за фост», — самодовольно поучал он товарищей.

Связался с Помоловым и Болеслав Ближенский, принятый в партию на румынском фронте. Его имя было у нас в городе небезызвестно, он писал и изредка печатал в местной газете стихи, а в столичном журнале с декадентской обложкой были опубликованы два или три эрудитных его обзора художественных выставок (к нам как-то приехал Матисс, показал свои картины молодой Шагал). До сих пор непонятно, что привело его в партию большевиков. Близкие друзья знали, что женщинами он не интересовался. У него был ами, пианист из иллюзиона, неприятно хорошенький, угреватый блондин с балетными движениями, но тот был равнодушен к политике. Когда большевики захватили город в первый раз, Болеслава Ближенского назначили редактором губернской газеты. Тогда же стали в городе заметными фигурами Перкель и Соцердотов.

Уму непостижимо, как сумел Перкель при своих весьма посредственных способностях не только попасть в университет в счет процентной нормы, но и возвыситься до приват-доцента. Правда, он был из зажиточной семьи и трудолюбив, но все, подлежащие процентной норме, были чрезвычайно трудолюбивы, одних способностей, даже блестящих, было недостаточно. Перкель приобрел некоторое имя как автор многочисленных, бесцветных и утомительно длинных статей по экономике, истории и этнографии нашего края. Накануне революции он удостоился ругани Ленина (с приставкой не то «архи», не то «квази»), но Ленин при этом отметил ценность и благонадежность собранных Перкелем данных. Вступление Перкеля в партию воспринималось как приобретение.

Если Костя Помолов был вдохновением партии, Тарадаш — ее мускульной силой, то Ефим Перкель — ее респектабельностью. Большевики строили свое царство не на год, а на вечность, им до зарезу нужна была респектабельность — во всяком случае, больше, чем это могло показаться на первый взгляд. Хотя Троцкий угрожал, что если они уйдут, то так хлопнут дверями, что мир содрогнется, — уходить большевики не собирались. В ту пору какого-то ориентального, безвкусного краснбайства Перкель среди своих считался плохим оратором, но это не совсем так. На-

ши горожане отличались от великорусских, они больше читали, больше были связаны с Европой, больше нуждались в логике. Им надо было все понимать умом, измерить общим аршином, одной элоквенции не хватало, чтобы закружились головы. И вот Ефим Перкель с помощью благопристойных, профессорски-округленных эвфемизмов преобразал грабежи, аресты, расстрелы, абсурдность экономики, обнищание — в нечто естественное, необходимое и даже отрадное. Для тех, кто не любил большевиков, то есть для большинства, его речи были пустым, отвратительным звуком, но те немногие, кто хотел прийти к большевикам, кто хотел быть обманутым, находили в его избитых словах поощрительное успокоение, радость. Эффект был именно в слиянии стертости привычной лексики с невиданной жестокостью нового порядка.

Оратором партии сразу же заявил себя Соцердотов, священник Пантелеймоновской церкви, всенародно снявший с себя сан. Он украшал свои иеремиады притчами, текстами из Священного Писания. Бороду он не остриг, только укоротил, одевался с небрежным изяществом, был хорошо сложен, грассировал. Цыбульский считал его мерзавцем, но доказательств не приводил, нельзя же было считать доказательством такое высказывание слесаря:

— Одна рожа чего стоит, мышиный жеребчик!

Известно было некое событие в жизни расстриги, которое, однако, могло послужить и к его украшению.

Когда свергли царя, на Романовке началось волнение среди жен рабочих. Они двинулись к публичному дому, чей фонарь горел там, где Присутственная улица полого спускалась к Герцогскому саду. Женщины были охвачены яростью, потому что каждую субботу, чуть смеркалось, публичный дом поглощал деньги и любовь их мужей. Теперь пробил час возмездия! В руках у женщин были скалки, лопаты, метлы и другое холодное оружие. Соцердотов, тогда еще в рясе, долгогривый, как и они, вел их в правый бой, но в то же время призывал к организованности. Домашние хозяйки ворвались в заведение, избили до полусмерти его обитательниц, реквизировали деньги, вино и шоколадные конфеты и наконец подожгли ненавистный дом. Блудницы, иные в чем мать родила, под гогот мальнишек бежали от гнева огня и толпы. Одну из них, совсем еще молоденькую, Соцердотов привел к себе. Когда он снял с себя сан, он расписался с ней по-новому.

Таков был наш первый большевистский комитет. Возглавлял его приехавший по поручению Москвы Гринев. Первая утрата постигла комитет при французах.

Глава шестая

Одну из комнат магазина восточных сладостей Назароглу часто посещал матрос французского военного корабля. Крепко сбитый, несколько грузный для своих лет, плосколицый, он тихой, какой-то воровской походкой, не глядя на горбатого Назарку, на покупателей, проходил через магазин в комнату, окном глядевшую на черный двор. Занимался он мелкой валютной спекуляцией: обменивал твердые франки на зыбкие ассигнации недолговечных правительств. Назарка прибавлял франки матроса к другим франкам, лирам, леям, фунтам, долларам, делал большие дела (при нэпе оказалось, что ему принадлежат два небольших дома — четырех- и пятиквартирный). И оккупант-француз не был внакладе, он получал женщину и водку. Получал он и высокое политическое удовлетворение, но уже не через Назарку, а при посредстве более интересных и уважаемых лиц.

В прожектерской голове Гринева созрел план: начать разлагающую работу среди французских военных моряков. План был одобрен в Москве. Из комитетской горстки была выделена группа, названная «Иностранной коллегией». Руководителем группы Гринев назначил Перкеля, а ее единственным членом — Тарадаша. Перкель и сочинил первую листовку — еще до поступления в наш университет он проучился два года в Сорбонне, французским владел свободно. Гриневу, однако, не понравилось сочинение Перкеля, он сам составил новый текст. Перкель его перевел, а Костя Помолов размножил от руки. Косте втайне от Цыбульского помогала Рашель. Магазин восточных сладостей стали посещать Тарадаш и Перкель. Они сделались собутыльниками французского военного моряка (Перкель, рискуя здоровьем, пошел на это). Плосколицему матросу были переданы листовки.

Имелись ли среди французских моряков праправнуки Сен-Жюста и Марата? История тех дней упрятана, искажена. Мы можем только — на основании позднейших событий — предполагать. Ученик Перкеля и Тарадаша действовал как способный представитель сообщества нового типа. Скрытую теплоту раздумий и настроений он старался превратить в энергию немедленного действия. Листовки

забелели в кубриках одного из кораблей, но не того, на котором служил плосколицый. Он, бесспорно, был не робкого десятка, но при этом хитер и осторожен. Неизвестно, произвели ли впечатление листовки на французских моряков, хотя, кажется, и назревало среди них брожение — слабая искорка того перманентного пожара, который, едва вспыхнув, так и не охватил Европу.

Француз оказался даже изобретательней своих большевистских наставников. По его совету у румын отыскивали латинский шрифт и выпустили несколько номеров газеты «Le communiste», которую назвали органом французской национальной группы «Иностранная коллегия» комитета партии. Командиру 156-й французской дивизии доложили, что один номер найден в гальюне дредноута «Эрнест Ренан», а другой вслух читали зуавы из Алжира. Командир дивизии, генерал Бориус, был неглуп. Он сказал: «Мы пришли в Россию, чтобы бороться с большевизмом, рассматривая его не как болезнь чисто российскую, а как источник заразы, который может распространиться по всей Европе». И французское командование поступило решительно и жестоко. Была устроена засада. Схватили Перкеля, Тарадаша и двух налетчиков из «Косарки», о которой речь впереди. У этих двоих были с французами отношения деловые, не политические, ограниченные валютными операциями.

Тарадаш, Ефим Перкель и двое из «Косарки» были расстреляны. Никто в городе не слышал о каком-либо волнении среди французов. Вскоре их корабли отплыли на родину.

Что же, вздорной была затея Гринева? Напрасно погибли два большевика и двое из «Косарки»? Нет, что бы ни делали большевики, все шло им на пользу! И так еще будет долго, ибо они и чернь — едины, а страшна чернь, ставшая властью! Казалось бы, провалилась операция прожектера Гринева, тяжелую утрату понес его комитет, и без того еще не окрепший, — но так только казалось. То, что было бы неудачей, трагедией для старого, добольшевистского сообщества, превратилось в блестящую удачу для сообщества нового типа. На основании действительно происшедших, но разрозненных и второстепенных случаев государственные историки создали сказочно красивую версию мятежа, государственные писатели превратили ее в религиозный миф, дети узнавали из учебников о совместном подвиге русских большевиков и храбрых французских матросов. Когда пишутся наши записки, развернулась борьба с кос-

мополитизмом, многие из нас возмущаются тем, что Ефима Перкеля вычеркнули из святцев. Что касается обоих налетчиков, то они давно и прочно причислены к лику советских святых, об их истинной деятельности упоминать запрещается. А над плоским лбом иностранного матроса засиял нимб. Он стал одним из основателей французской коммунистической партии. Ленин вбил для себя опору в землю Франции.

Комитет, впрочем, оправился довольно быстро. Его укрепили приезжие, направленные Москвой. Увеличивалось, хотя и медленно, и число сочувствующих среди местного населения. К ним принадлежал Бориска Варгавтик, подмастерье дамского портного Ионкиса. Бориска жил далеко от дома Чемадуровой, на окраинной Романовке, где гнездилась банда налетчиков. Банду почему-то называли «Косаркой». Говорили, что Бориска связался с налетчиками. При первых большевиках он вместе с сотоварищами из «Косарки» ворвался в магазин Кобозева. Утром его нашли в подъезде дома Чемадуровой со стороны Албанского переулка. Он лежал на вывороченном асфальте, обнимая тюк серой саржи. Под головой у него был отрез английского сукна. Чуть поодаль валялась зингеровская машинка — одна головка, — бог весть как сюда забредшая. Бориска был мертвецки пьян.

Кто-то из жильцов дома осторожно отнес украденное старому господину Кобозеву, но не в магазин, а на его квартиру в третьем этаже: так было вернее. Кроме прислуги, в квартире никого не было: владелец магазина куда-то скрылся. И правильно сделал. При французах он вернулся, и опустошенный магазин опять стал оживленно торговать всевозможными сукнами и прикладом.

Между тем Бориску в то памятное утро перенесли из подъезда во двор, поближе к общей уборной, подставили его бесчувственную курчавую голову на тонкой юношеской шее под широкую струю из крана. Придя в себя, Бориска заплакал, стал у всех просить прощения, певуче клялся по-еврейски, что навсегда забудет о налетах. «Глупый, дрянной мальчишка», — сердился Цыбульский. Одетый с иголочки Ионкис простил своего подмастерья — он в нем нуждался, Бориска был, в сущности, законченным мастером, а женщины в этот год будто с ума сошли, так наряжались, — простил, но при условии, что Бориска покинет Романовку, будет жить в городе, подальше от налетчиков. Костя Помолов нашел для Бориски комнату в подвале сапож-

ника. Он решил сделать из Бориски Варгавтика стойкого большевика.

Однажды, когда в городе были петлюровцы, Костя и Бориска стояли на Покровской, напротив магазина восточных сладостей. Мимо них прошел щеголь-крепыш и, не глядя на Бориску, не останавливаясь, ласково и грозно сказал:

— Жаль мне твою маму, Варгавтик.

Он вошел в магазин Назарки, а Костя спросил:

— Кто это?

— Так, вы не знаете...

Костя заметил испуг Бориски, догадался:

— Он из «Косарки»?

— Из «Косарки». Но я с тех пор от них...

— Знаю. Партия тебе доверяет. Войдем в магазин, ты меня с ним познакомишь.

Бориска посмотрел на Костю с тупым недоумением. Что общего у этого идейного студента, сына самого Помолова, с каким-то налетчиком? Но тот, из «Косарки», угрожал ему, и Бориска подумал, что будет неплохо, если с помощью Кости он смягчит гнев своих бывших друзей, которых покинул.

Знакомство состоялось. У Кости была цель (а он постепенно уверовал в то, что цель — это все), поставленная перед ним Гриневым: вступить в переговоры с вожакom «Косарки».

Прозвище вожака — Факир — пользовалось у нас шумной, недоброй славой. Факир был порождением многонационального города, тем сложным химическим соединением, в котором составные элементы утратили свои первичные качества. Частая смена властей в нашем городе привела к безвластию. Полицейская сила лишилась главного: традиции. Она была обескуражена и развращена, как женщина, которой торгует собственный муж. Но грабители безнаказанно совершали налеты на банки, магазины и квартиры богачей не только потому, что умели использовать слабость тогдашней полиции. У них была великолепная поставленная разведка. Им служили добропорядочные с виду граждане, которые сами в налетах, разумеется, никогда не участвовали, но снабжали «Косарку» необходимыми сведениями. Говорили, например, что налетчики недурно оплачивали такого рода услуги Теодора Кемпфера. Мещанское — исконное и великое — понимание частной собственности рушилось, в той чаше революции, к которой жадно тянулась молодежь, бродил и хмель грабежа, весь

государственный аппарат потрясенной России был, в сущности, большой «Косаркой» — в той же мере, в какой вожак налетчиков был маленьким вождем, дуче, фюрером, каудильо.

Хорошего среднего роста, широкий в плечах, тонкий в поясе, с напряженным гипнотическим взглядом — Факир был особенно страшен бандитам, когда глаза его кругло раскрывались, но зрачки при этом странно исчезали, — он вошел в комнату легко, артистично, с той привычкой вызывать интерес и поклонение, которая быстро вырабатывается у таких людей. На нем был превосходно сшитый пиджак в широкую клетку, брюки галифе с наколенниками из кожи, на голове кепи с накладными патями, какие носили редкие в ту пору автомобилисты. Его ожидали, сидя на табуретках за круглым столиком без скатерти, довольно грязным, Помолов и Бориска. За другим столом, вернее, за кухонным низким шкафчиком в углу, сидела спиной к ним девушка и, не оборачиваясь, рассказывала программу циркового представления, одновременно с помощью простейшей машинки изготавливая из бежевых вафельных плит кружочки для мороженого. Табуретка была ей ощутимо узка.

Факир, глядя только на Костю, сказал:

— Мадемуазель, будьте добры, принесите нам сифон сельтерской и три порции мороженого, три двойных.

Девушка поднялась, улыбнулась и, уверенная в том, что на нее смотреть приятно, мягко удалилась.

Голос у Факира был резкий, произношение — скажем так — менее новороссийское, чем предполагал Костя. Продолжая смотреть только на Помолова, Факир сказал:

— Бориска, тебе полезно подышать воздухом.

Бориска, завороченный взглядом своего бывшего жоака и с опасливой преданностью взглянув на жоака нового, на Костю, вышел из комнаты. Не протягивая руки, Факир предложил:

— Будем знакомы, мосье Помолов.

Девушка принесла сифон и мороженое, Факир одну порцию царственно оставил у нее, и девушка, поблагодарив, опять улыбнулась, теперь для того, чтобы показать, что она не из Ямполья и понимает серьезность предстоящей беседы. «Мерси», — сказала она и покинула гостей. Факир надавил краник сифона, наполнил стаканы холодной пущыратой водой и сказал:

— Я весь внимание, мосье Помолов.

Костя смутился. С чего начать? Он начал с программы большевиков. Факир слушал его, как бы ободряя и ни в коем случае не выказывая скуки. Косте все больше нравился его собеседник. Страсть и сердечность были в голосе Кости, когда он воскликнул:

— То, что делает ваша «Косарка», есть экспроприация экспроприаторов!

— Как вы определили? — Факир действительно заинтересовался.

— Фабриканты, банкиры, купцы, помещики грабят пролетариев и незаможников, а вы грабите награбленное.

— Правильно. Как вы назвали? Повторите, пожалуйста.

— Экспроприация экспроприаторов.

Факиру тоже понравился Помолов. Он сказал:

— Поедем как-нибудь на Романовку, к моим хлопцам. Грубые лица, но золотые сердца. Образования — никакого. Придет ли, эх, то времечко! Вот вы им и прочтете лекцию.

Слово «лекция» он произнес с «э» обратным. Костя продолжал, испытывая удовольствие от беседы:

— Надо вам заметить, что мы, большевики, противники эксков (Факир кивнул, показав, что понял сокращение и понимает большевиков), вообще противники террора. Это методы эсеров, у которых превозносится предводитель и презираются слепо ему повинующиеся исполнители. Герой и толпа.

— Извините, что вы кончили? — прервал Костю Факир.

Костя досадливо отбросил его слова тонкой, слегка дрожащей рукой:

— Какое это имеет отношение к делу? Я ушел с третьего курса Политехнического. Институт подождет, а революция ждать не может.

— А я думал, что вы юрист, как ваш папа. Замечательная личность. Он буквально спас одного нашего хлопца от буржуазного суда.

— Налеты служат только вашему личному обогащению. Вино, женщина, красивая одежда. А дальше что? Между тем вы и ваши друзья вышли из трудового народа, вы социально близки рабочему классу. Я предлагаю вам стать на правильный путь, помочь делу пролетариата.

— Как помочь? Экспроприацией экспроприаторов? Или всей хеврой вступить в большевистскую партию?

— Помочь деньгами.

— Много вам нужно?

— Сто. На первых порах.

— Сто — чего?

— Сто тысяч.

Глаза Факира загорелись весело, разбойно.

— Размах — залог успеха. Кто просит сто рублей, тот, простите за выражение, дерьмо. А тот, кто просит сто тысяч, уже напоминает мне человека, и он достоин удачи. А удача, как известно из книг для чтения по истории средних веков, перед мальчиками ходит пальчиками, перед зрелыми людьми ходит белыми грудьми. Итак, я узнал, что вы просите. А что вы даете?

— Одного сознания, что вы — вместе с бойцами за великое дело, вам, конечно, мало?

— Мало.

— У меня есть полномочия предложить вам на выбор: либо «Косарка» вольется в ряды Красной Армии, превратится в особый полк, а вы будете назначены командиром полка, пойдете воевать с беляками за советскую власть, либо вам будет предоставлен пост заместителя председателя районного Совета Романовки.

— А что во втором случае получают мои компатриоты?

— Они получают возможность честно трудиться, никто этих товарищей не попрекнет прошлым.

— Мало.

— Чего вы хотите?

— Когда придет Красная Армия, вы нам дадите три дня спокойно поработать в городе. А потом мы будем вместе бить белых или черных.

— Я изложу ваши условия комитету.

— Иначе и быть не может. Без Гринева ничего решить нельзя. А он не дурак, если понял, что нам надо быть вместе. Скажите ему, что я доверяю комитету, но голый бенемунес меня не устраивает.

— Объяснитесь.

— Как только мы договоримся, всему городу уже сейчас (вы это умеете делать) должно стать известно, что большевики заключили соглашение с «Косаркой», что наши налеты вовсе не налеты, что они служат общему делу партии.

— Вы имеете в виду соглашение о ста тысячах?

— Нет. Денежные расчеты всегда немного грязные. Соглашение чисто идейное. Выпустим совместную листовку. Сочинить ее можете сами, а подписываем и вы и мы. А что касается ста тысяч, то вы их получите у господина Назароглу. Расписка Гринева как следует, по форме. Между прочим, если деньги нужны вам на предметы первой необ-

ходимости, то кое-что можете со скидкой приобрести у меня: японские карабины, германские лимонки, американские кольты.

Гринев был доволен. Группа, чтобы стать политической партией, нуждалась в деньгах. Ведь когда-то Ленин, объяснял своим сотоварищам Гринев, чтобы пополнить партийные фонды, поощрял налеты большевика-грузина, абрека Сталина, на кавказские банки, и теперь, продолжал Гринев, этот Сталин очень близкий Ленину человек.

Когда город заняла Красная Армия (эту кратковременную эпоху мы называли «вторые большевики»), «Косарка» превратилась в особый полк. Ее даже одели лучше, чем других, во все новое. Факира не обманули (большевики всегда пунктуально выполняют свое слово): его назначили командиром полка. Потом, на фронте, выяснилось, что бывшая «Косарка» держится обособленно, воюет неохотно, склонна к грабежу и насилиям, а командир потворствует бандитским настроениям, дискредитировал малоопытного комиссара, направленного в полк, подбив его на участие в грабеже. Полк был расформирован в районе Бирзулы, Факира по приговору ревтрибунала расстреляли. Такая же участь постигла его ближайших сподвижников. Что стало с остальными — неизвестно.

При вторых большевиках, захвативших город после французов и петлюровцев, Помолов был назначен председателем губчека. Учреждение поместилось в многоэтажном красивом доме на Александровской площади, в которую вливалась улица того же названия. На площади на высоком и узком постаменте вот уже полстолетия возвышался бюст Александра II. Бюст свалили, он был заменен изваянием головы Карла Маркса. Со стороны улицы голова выглядела пристойно, но сзади было нечто голое, неприличное, будто весь южный город-озорник, нагнувшись и спустив штаны, решил показать новой власти, как он к ней относится.

В доме, который заняла Чека, был прежде банк Жданова. Его вместительный подвал с зарешеченными, в земле прорубленными окнами пригодился карательному органу революции: здесь устроили внутреннюю тюрьму. Влево от дома, если смотреть на него со стороны Александровской улицы, простирался, слегка наискосок, широкий мост над нижним этажом города, над портовой улицей. По этому мосту арестованных везли вниз, где на спуске к морю помещался единственный в нашем городе гараж. Почему-то

считалось, что расстрелы не должны быть слышны, они производились под автомобильный вой.

Людей расстреливали не потому, что они были врагами революции, а потому, что они могли ими стать.

Раньше подвал банка наполнялся деньгами, бумажными, металлическими. Теперь — живым человеческим веществом, чтобы превратить его в мертвое, недвижимое. Выпьем мы за того, кто писал «Капитал», за идеи его, за его идеал.

Близорукий, нескладный Костя Помолов, одержимый бессребреник, стал грозой города. Воры сочиняли о нем песни, полные ужаса и восторга. По его приказу убивали фабрикантов, банкиров, купцов, священников, домовладельцев, директоров гимназий, чиновников, посетителей ночных ресторанов, монархистов, кадетов (выходцев из социалистических партий тогда не брали).

Не миновала беда и дом Чемадуровой. Случилось это так.

Скорняк Беленький, страстный враль, чья утомительная божба всегда содержала ассири-вавилонскую седмицу, почему-то спал не дома, как все люди, а на подоконнике в парадной, спал не раздеваясь, накрытый предназначенной для продажи шубой. Почему этот далеко не бедный человек, искусный ремесленник, отец семейства, известный своей деловой сметкой, спал в парадной? Соседи говорили разное. Одни уверяли, что у него дурная болезнь и жена выгоняет его по ночам из дома. Им возражали: что же, весь день она его терпит, ест с ним за одним столом и только ночью, не стыдясь детей, заставляет его спать на подоконнике в холодной парадной, без одеяла и простынь? А если он пристаёт к ней ночью, то разве она не может от него запереться? Тем более что их старший сын Маркус — здоровый альбинос — не даст свою маму в обиду. В конце концов находили правильный ответ: ему просто нравится спать в парадной. Наши соседи понимали то, чего не хотели понимать марксисты: человек непостижим, постичь его почти невозможно, надо дать ему жить.

В темную большевистскую ночь к нам в дом вступили трое вооруженных и предъявили дворнику Матвею Ненашеву свой мандат. Один из троих остался в неосвещенном подъезде, а двое других в сопровождении дворника начали производить обыск в квартирах. Старшим был матрос (дворник потом говорил о нем: кацап), а помогал ему не кто иной, как Бориска Варгавтик, в новой кожанке и в сапогах.

Они выстукивали стены, ища спрятанные заграничные деньги, а главное — драгоценности. Вспоминали жильцы добродушие матроса. Мальчику, сидевшему во время обыска на горшке, он пожелал: «Сери, сери, завтра праздник». Отметили благородство Бориски: видно, по его настоянию чекистские посланцы миновали квартиру Ионкиса, бывшего Борискиного хозяина. Миновали и квартиру Помолова, но это само собой разумелось: отец председателя губчека мог не опасаться изъятия излишков. Не был произведен обыск и у Цыбульского: тот показал вошедшим к нему чекистам свой билет члена РСДРП(м). Тогда этот билет имел еще кое-какую положительную силу. Характерная для России несработанность механизмов огромной и пока еще неуклюжей государственной машины была людям на пользу.

Ни крупных драгоценностей, ни денег не нашли, но пригодилась хорошая одежда, белье, скатерти, портьеры, картины, серебряные ложки, ножи, вилки, посуда. Мадам Варути, у которой забрали последнее, не удержалась, крикнула: «Косарка» так не грабила!» — но Бориска, который лучше, чем она, знал, как грабила «Косарка», спросил ее: «Гражданка, вы хотите, чтобы мы и вас взяли вместе с вашими ложками?» — и мадам Варути замолчала. Дворник с лицом, безразличным от ненависти, тащил за чекистами реквизированное добро и складывал в подъезде возле того, третьего.

Именно с этой ночи изъятия излишков закрепилось в нашем городе — точнее, в его торгово-ремесленной части — понятие «воры», часто заменяющее понятие «они». Помню женский крик на дворе в предвоенные годы, полный отчаянного упования крик: «Беги на Бессарабскую, говорят, эти воры выбросили в магазине скумбрию!» Продолжим, однако, рассказ.

В одной из парадных, где некрутой дугой устремилась вверх деревянная лестница, чекисты увидели безмятежно храпевшего на подоконнике скорняка Беленького. С его скрюченного тела сорвали енотовую шубу. Уже одно то, что он спал в парадной, насторожило солдат революции. Его квартиру обыскивали особенно тщательно. Добыча была немалая: с десятков мужских шуб без верха, несколько каркулевых саков, котиковых манто, длинные меховые палантины, шапки, горжетки с головками зверьков. Все, нажитое долгим трудом, умением, умом. Беленький кричал, плакал, целовал Борискины сапоги, бился о них лысой головой.

Плакали и трое младших его забияк, только жена и старший сын Маркус, угрюмо, не поднимая глаз, молчали. Бельенского увели. Больше мы его никогда не видели. Семья просила выдать его труп, но трупы Чека не выдавала, разве что в исключительных случаях.

Вскоре пришли добровольцы. Город вздохнул с облегчением. Конечно, и Деникин был не мед. Горе жителей заключалось в том, что добровольцы, сравнительно хорошо понимая, чего они не хотят, не знали в отличие от большевиков, чего им надо. О если бы деникинцы это знали! Если бы догадались взять у своих врагов ту крестьянскую программу, которую те взяли у эсеров, и выдать ее за свою. Если бы, если бы...

Среди добровольцев были разные люди, но было у них нечто общее: все они не понимали большевиков. Для одних большевики обозначали конец единой и неделимой России — между тем именно большевики укрепили державность России, как это и не снилось Романовым. Для других большевики были слишком левыми, слишком далеко идущими в социальных преобразованиях — между тем именно большевики укрепили докапиталистическую, феодальную, сословную систему. Да, разные люди были среди добровольцев, были и либералы, и даже эсеры, и ничему не научившиеся монархисты, но и эти не переходили за черту идиллической жестокости дофашистской формации. Совершались всевозможные мошенничества, иные офицеры спекулировали, но в городе было вдоволь недорогой еды и одежды. Раздавались погромные речи, но погромов не было. Выходили газеты различных направлений — кроме большевистской. А самое главное — и в этом добровольцы отстали от большевиков на целую эпоху — разрешалось свободно трудиться и свободно торговать изделиями своего труда. Особь не считалась виновной за одну лишь принадлежность к общности.

Павла Николаевича Помолова вызвали в контрразведку, спросили, где его сын Константин, он сказал, что не знает, ему поверили, он действительно говорил правду, отпустили, и его красивый голос опять раздавался в суде. Вместо имени Константина Помолова загремело другое, актерски-безобидное: Браслетов-Минин. То был начальник контрразведки, генерал. Своих опричников он почему-то набирал из дагестанских горцев. О нем мало что известно, так как он был деятелем наивного периода карательных органов: он брал виновных.

И опять беда постигла дом Чемадуровой. Арестовали Костю Помолова и Бориску. Некоторое время ходил слух, что их выдал Болеслав Ближенский. Слух явно бессмысленный, так как Ближенского расстреляли вместе с Костей, Бориской и несколькими комсомольцами, расстреляли, как донныне напоминает мраморная доска на стене бывшего участка, в январе 1920 года. Говорили, что расстреливал самолично Браслетов-Минин. Еще говорили, что предателем был вовсе не Болеслав, а его дружок, пианист из иллюзиона, а предал он по причине ревности. Павел Николаевич хлопотал за сына, у него были влиятельные знакомые в добровольческом командовании, но мало оставалось времени, а Браслетов-Минин торопился: с трех сторон приближалась к городу Красная Армия.

Впоследствии, когда Павел Николаевич сам вступил в партию, прикрыв свое бывшее кадетство героической смертью сына, и прославился у нас как замечательный лектор по вопросам литературы, театра, музыки (в адвокатах страна перестала в ту пору нуждаться), он узнал, что и дружок Ближенского проник в партию. Павел Николаевич забил тревогу. Пианиста вызвали куда следует. Он быстро во всем сознался: да, он предал членов комитета. Они скрывались в катакомбах под так называемым павловским домом — большим доходным домом на Полтавском поле за вокзалом, пианист об этом знал. Предатель оправдывался тем, что Браслетов-Минин подвергал его неслыханным нравственным и физическим мукам (бил хлыстом, топтал сапогами при шпорах, устраивал ему очную ставку с каким-то молодым греком, якобы любовником Ближенского). Пианиста вышвырнули из рядов партии, но дело прекратили за давностью лет.

А мать Кости, Любовь Степановна, повредила в уме. Она пережила Костю на десять лет, но до самой смерти своей не выходила на улицу. Мы, дети, играя летом на дворе, да и потом, достигнув отрочества, вдруг останавливались, задирали головы, почувствовав ее внимательный, больной взгляд. Она сидела у раскрытого окна второго этажа, ее седая, коротко, по-мальчишески остриженная голова была странно неподвижна.

Армия Деникина бежала морем в Константинополь, и город в третий раз заняли большевики. Все в простоте душевной надеялись, что они опять заняли его на время, но оказалось — на веки вечные. Тенистая, тихая улица за по-

пукруглой стеной Политехнического была названа улицей Помолова.

Глава седьмая

Наш город особенно хорош на исходе лета, на исходе дня. Еще горяч и душно-ярок солнечный свет, но предчувствие сумерек уже наполняет и нас, и небо, и улицы, и это предчувствие, не освобождая от тягот земной юдоли, объединяет наше мышление с миром горним, запредельным. Спасительная лень думать о предстоящих заботах и сладчайшая догадка, что умирание дня есть всего лишь умирание повседневности и начнется необыкновенная, таинственная, связанная с нашей душой жизнь звезд, и вечер будет воздушным мостом к утру мира. Улицы бегут к морю, и оно божественно хотя бы потому, что оно есть, оно всегда с нами, а мы его не видим. И пусть нам знаком каждый поворот, каждый дом, чуть ли не каждый платан — все ново, как нова в детстве сказка, десятки раз нам рассказанная.

Предосенний день, предосенний час. У Лоренца немного кружилась голова — он был голоден. Когда он открыл английским ключом дверь, перед ним во всю ширь темной передней стояла мадам Ионкис. Организм! Этот анекдот, как вычитал где-то Лоренц, любил рассказывать Лев Толстой. Однажды государь (Николай I), увидев из ложи певицу потрясающей толщины, спросил у стоящего позади князя Урусова, своего адъютанта: «Урусов, что это такое?» «Организм, ваше величество!»

Мадам Ионкис не только не была похожа на прежнюю пышную южанку — в ней с трудом угадывались бы черты одухотворенного существа, если бы она, выйдя навстречу Лоренцу, не заплакала. «Неужели из-за ареста Фриды Сосновик?» — удивился Лоренц. Эти женщины не ладили друг с другом. Обычная коллизия коммунальных квартир. На третий этаж плохо поступала вода, в особенности летом, и пользование кухней и уборной было источником ссор, едких оскорблений.

Когда-то просторная квартира Кобозева стала тесной, захламленной. Теперь, после войны, здесь жили пожилой инженер Кобозев, сын владельца магазина, мать и дочь Сосновики, портной Ионкис с женой, пергаментнолицый седой Димитраки (в комнате, вход в которую был через кухню, — раньше там спала кухарка Кобозева), семья Марку-

са Беленького в двух комнатах и он, Лоренц. Жена Димитраки, которой грозила слепота от заболевания сетчатки глаз, находилась сейчас в институте Севостьянова. Совершенно правильно заметил Энгельс, что жилищный вопрос может убить человека. Это замечание было взято на вооружение, и уже давно человека убивали и с помощью коммунальных квартир.

Мадам Ионкис переливчатым, почти девичьим голосом (не верилось, что он исходит из этой телесной массы) попросила:

— Мишенька, зайдите к нам на минуточку.

В их комнате специально для мадам Ионкис дверь переделали таким образом, чтобы она вдвигалась в стену, как в купе мягкого вагона. Сама комната, широкая, трехкоконная, была обставлена по нашему послевоенному времени богато. Из Ташкента Ионкисы привезли ковры, красивую восточную посуду. Ионкис, удивительно хорошо сохранившийся для своих шестидесяти шести лет, чертил по сукну то белым, то голубоватым мелком. Работая в артели, Ионкис после трудового дня брал на дом частные заказы. Оказавшись в бедственном положении, когда ее отец попал в долговую тюрьму, диккенсовская крошка Доррит стала зарабатывать на хлеб ремесленным трудом в своей убогой, но отдельной квартире. В социалистическом государстве это считалось преступлением, за это давали срок. К счастью, соседи Ионкиса были порядочными людьми, знали друг друга десятки лет, а милиция была в доле.

Головка зингеровской машины была втянута в дыру стола, а вся машина таилась под текинским ковром, на котором стоял в бронзовой рамке портрет Сталина в маршальской форме. Отрез, исчерченный разноцветными мелками, простирался на большом обеденном столе. С краю сукно было загнуто, чтобы уступить на клеенке место листу бумаги, на которой было что-то отстукано пишущей машинкой. Возле бумаги сидела в красном плюшевом кресле женщина лет тридцати. Ее смуглое измученное лицо показалось Лоренцу знакомым. Он подумал, что длинные серьги, вдетые в маленькие уши, похожи на гербы исчезнувших азийских государств. Чудесные волосы были черны до синевы. Грустно и значительно улыбаясь (ее не портил даже длинный нос яфетических очертаний), она сказала:

— Миша, вы меня узнаете?

— Как это он тебя не узнает, когда ты моя копия, — пропела мадам Ионкис. — Миша, вы же помните Соню совсем маленькой.

Лоренц знал, что Соня Ионкис оставалась в нашем городе при оккупантах, но чудом спаслась. Она жила в другом конце города, у Герцогского сада. В доме родителей она не появлялась, Лоренц теперь увидел ее в первый раз после своего возвращения из Германии. Года за два до войны, вспоминал он, случилась неприятная история. К Ионкисам ворвалась нестарая, крупная женщина, устроила скандал, обзывала Соню по-всякому: Соня отбила у нее мужа. О Соне пошла дурная слава. Но потом дело, кажется, поправилось, Соня окончила медицинский техникум и вышла замуж за грека по имени Сандрик (иначе его никто не называл, хотя у него был уже взрослый сын от другой жены). Сандрик служил тренером спортивной команды пишевиков. Теперь у Сони был другой муж, шофер грузовой машины, имел живую копейку. Но беда в том, что Сандрик накануне прихода немцев сделал ей греческий паспорт на имя Софьи Адриановны Кладос. Бесспорно, лучше было — и в поликлинике и вообще — именоваться Кладос, чем Ионкис. Но жизнь не стоит на месте, ленинизм не догма, а руководство к действию, и вот оно — действие, акция: всех наших сограждан греческой национальности выселяли из города. Жильцы дома Чемадуровой, давно знавшие семью Ионкис, должны были письменно подтвердить, что Соня никакая не гречанка, а Софья Ароновна, еврейка. А может быть, при нынешних веяниях ей лучше было бы остаться гречанкой? Как темно, Господи, как темно кругом... Миша прочел умело составленный текст и подписался под неуверенными буквами Маркуса Беленького.

Вся жизнь Маркуса Беленького была неуверенной. Три его младших брата, озорные ровесники Мишиного детства, сгорели в танке. Всем троим было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Маркус был официально признанным, заброшюрованным, загазетированным братом трех героев. Поговаривали даже, что школе, где учились (весьма посредственно) прославленные герои, надо присвоить имя братьев Беленьких, но анкетные данные семьи стали теперь неподходящими. Вместе с тем местные власти Маркуса не обижали, он с семьей получил не одну, а две комнаты, ему дали непьющую и небезвыгодную работу в управлении скорняжных мастерских нашего города.

В тот страшный осенний день 1941 года, когда Миша Лоренц смотрел на толпу обреченных, которых погнали на бойню, перед ним на мгновение промелькнуло искаженное безумием отчаяния лицо альбиноса, лицо Маркуса Беленького. Маркус был расстрелян в двуногой куче, но остался жив. Он даже не ослеп, только лицо его превратилось в окровавленное и навсегда застывшее месиво. Сколько горя приносили ему в юности больная белесоватость лицевой кожи, больная седина, краснота глаз, как он был глуп, говорил он себе, и как тяжело, ужасно был наказан за свой глупый стыд. К тому же в детстве его раздражало, когда соседки болтали, будто его мать, беременная им, засмотрелась на белого кролика, которого ее муж собирался освежевать, а шкурку выделывать, — потому-то, мол, Маркус и родился белесым, с кроличьими глазами.

Когда ночью на бойне он понял, что жив, когда, раздвигая мертвые тела взрослых и детей, он выбрался за колючую проволоку, когда он полз в бурьяне, он почувствовал, что тяжело ранен, но не видел своего безобразия. Впервые он увидел себя в мутно-зеленом зеркале лимана, но у него еще хватило силы и счастливого непонимания, чтобы заплакать. Больше он никогда не плакал.

Его приютила крестьянка в деревне Вradiевка. Что заставило мать шестилетней девочки, миловидную солдатку с длинным, худым, но крепким и свежим телом, малограмотную, но толковую, не только спрятать еврея (а прятать пришлось и от румын и от односельчан, и не день, не два, а целых три года), но и лечь с ним, обезображенным, похожим на нечистую силу, целовать те куски мяса, где положено быть губам? Ничтожен тот, кто подумает, что она это делала, как иные говорили, «для здоровья», и не объяснишь это одной только женской жалостью. То Бог был в ней и с ними, и почувствовал ли Маркус его присутствие? Она выходила его, спасла, и Маркус не оказался, как некоторые, неблагодарным, женился на ней, потому что отец девочки, прежний муж, хотя и вернулся с войны, к жене не пришел, и не потому, что узнал о Маркусе, а потому, что встретил городскую, в Проскурове, что ли.

Нет, не был Маркус неблагодарным, был хорошим, заботливым мужем и отцом, любил и своего сына и не свою девочку. А та его называла папой, хотя знала, что у нее есть другой, настоящий папа. Маркус готовил вместе с ней уроки, отводил ее в школу, крепко держа ее за руку на тихой мостовой, но до самой школы не доводил, сворачивал за

угол. Так же как никогда он не смотрел в зеркало, не смотрел он людям в глаза, не верил, что они не пугаются его лица. Он верил только жене и детям, а вне их был чужой мир, чужой и враждебный. Почему он, расстрелянный, спасся — один из ста шестидесяти тысяч, виновных только в том, что были нацией? Почему не спасся его отец, расстрелянный в двадцатом, виновный только в том, что любил беззлобно приврать, а перед чекистами в том, что он, скорняк, имел несколько шуб без верха? Почему три его брата сгорели в танке ради торжества тех, кто расстрелял их отца? Враждебность мира была непонятна. Что еще тебя ждет, расстрелянный Маркус?

А что будет с нашими греками, что ждет старого столяра Димитраки и его жену?

Новая тревога не помешала Лоренцу с удовольствием выпить стакан сладкого чая, а домашнее печенье, приготовленное кариатидными руками мадам Ионкис, было выше всяких похвал. Он пожелал Соне удачи и пошел к себе.

В сравнении с комнатой Ионкисов, его узкая, в форме трапеции, комната была обставлена нищенски, но Лоренц не замечал этого. Он только жалел о своей небольшой, но ценной библиотеке, уничтоженной войной. Правда, после демобилизации ему удалось кое-что приобрести, книги стоили теперь дешево. Сегодня буквально за гроши он купил Данилевского, того самого, который, если судить по статье Владимира Соловьева, задолго до Шпенглера рассматривал историю не как поступательное движение, а как смену циклов.

Он начал читать, ожидая возвращения Дины из райкома партии. Как-то само собой случилось, что со дня ареста Фриды Сосновик они стали обедать вместе. Это их сближает, думала Дина. Она не скрывала, что хочет выйти за него замуж. Ее можно было понять. Война уничтожила не только книги. Женихи убиты, а она уже не первой молодости. Миша Лоренц старше ее всего на девять лет, и он холост, без хвоста, малахольный немного, не приспособленный к жизни, но ее энергии хватит на двоих. Смешанные браки, столь ценимые еврейскими девушками до войны, теперь не одобрялись, а Миша к тому же был не только русским, но и немцем. Дину это не останавливало, и Фрида была бы довольна, ведь Миша вырос на ее глазах, если подумать, так он лучше иного еврея. Дине мерещилось, что Миша к ней равнодушен, но робок, слишком робок. Это ей нравилось и сердило ее.

А Лоренц не мог забыть, что Дина родилась в тот день, когда он и Володя Варути внесли мертвую Елю в комнату Сосновиков. С того дня прошло тридцать лет. Как он был счастлив, узнав, что Фрида и Дина спаслись. Он написал им письмо из Германии на старый адрес, написал, почти не надеясь, что придет ответ, но ответ пришел, Дина сообщила Мише, что мать его умерла. Когда он вернулся, Сосновики встретили его как родного и в первое же воскресенье, купив на Привозе цветы, пошли вместе с ним на Второе христианское кладбище, где вечным сном спали его родители. Оказалось, что Дина весь послевоенный год ухаживала за могилой, а это было нелегко, трамвай на кладбище не шел. Лоренца тронуло это до слез. Дина была добра и привлекательна, он любил ее, но не так, как она хотела. После того, что у него произошло с Анной, он уже не мог, казалось ему, любить Дину так, как она хотела.

Почему арестовали Фриду Сосновик, шестидесятилетнюю больную женщину, столько перенесшую во время оккупации? Что она совершила против советской власти? Неужели опять речь идет о коже? Но нет, он бы это заметил раньше, Фрида занималась исключительно домашним хозяйством, да и места теперь у нее не имелось для такой работы. А что будет с четой Димитраки? Неужели вышлют? Нельзя утверждать, что до войны дом Чемадуровой сильно пострадал от репрессий. Его жильцы, в общем, были далеки от коллективизации и оппозиции. Хотя как сказать, в царской России считалось бы, что на дом обрушилась чума арестов. В 1925 году, когда стали у нас, как и по всей стране, брать бывших меньшевиков, эсеров, бундовцев, анархистов, взяли и Цыбульского, но провел он в допре всего лишь несколько месяцев, весну и лето. Трамваем, который увозил наших крикливых горожан к морю, в немецкую колонию Либенталь, Рашель и Миша ездили к нему с передачей, раз в неделю разрешались свидания, в камере сидели только двое.

Тюрьма называлась домом предварительного заключения. Заключенных, главным образом воров, принуждали работать в различных мастерских. Цыбульского сделали старшим в кузнице. Власть осознавала себя неторопливо, она двигалась к всеистребляющей жестокости уверенно, однако без ненужной спешки. Мишу Лоренца легко пропускали в тюремную кузницу. Это было одноэтажное здание из красного кирпича, построенное по образцу наших царских военных училищ. Миша по просьбе за-

ключенных выбегал на волю, покупал в пригородной лавчонке папиросы, халву, белый хлеб. Когда он возвращался, тюремщик ощупывал его: искал вино. Однажды тот, уже привыкший к мальчику, не притронулся к нему, только спросил: «Горилка есть?» «Отнюдь нет», — ответил Миша. «Тогда выкладывай». Над этой фразой смеялись впоследствии студенты — однокурсники Миши... Работающих кормили в тюрьме по-красноармейски: борщ с куском свинины, гречневая каша от пуза.

Никаких последствий для Цыбульского этот краткий арест не имел. Его допрашивал следователь-комсомолец Наум Уланский, толстый, круглолицый и румяный. Во время войны смершевец, теперь генерал, недавно он потребовал в газете смертной казни для отщепенцев — врачей-убийц. Цыбульского он называл «товарищ», сокрушался, что тот, имея такое богатое революционное прошлое, вовремя не распознал предательскую сущность Второго и двухсполовинного Интернационалов, задушевно беседовал в своем кабинете с Рашелью, по-партийному говорил ей «ты». В конце концов Цыбульский дал подписку, что не будет заниматься антисоветской деятельностью, что порвал с партией Плеханова и Мартова (что было сущей правдой), и его выпустили. Более того, через четыре года его сделали членом горсовета (он стал бесплатно ездить в трамвае): вспомнили, что в 1921 году, когда Троцкий посетил наш город и приехал в легальный меньшевистский клуб (на углу Александровской и Полицейской), Цыбульский не подал ему руки, хотя тот протянул ему свою как бы для крепкого рабочего рукопожатия. Троцкий был одет по-военному, Цыбульскому показалось, что он выглядит даже моложе, так же властно и пронзительно горели его глаза сквозь стекла пенсне, так же трубен был его голос, так же необычно высокими были его каблуки, но появилось и нечто новое: привычка повелевать не приверженцами, а подчиненными и что-то неестественное было в сочетании пенсне и военной формы, семитского лица и русского купеческого чванства. Разумеется, слесарь не подал руки второму человеку в государстве совсем не по тем причинам, которые могли потом понравиться государству. И на Троцкого, по-видимому, этот попахивающий глупым либерализмом бессилия жест не произвел ни малейшего впечатления, он произнес блестящую, громовержащую речь, а клуб на другой день закрыли.

Когда кончился нэп, арестовали Чемадурову. Ее продержали в тюрьме на Либентальской дороге около года. Требовали, чтобы старуха сказала, где она прячет свое золото. Она и в самом деле кое-что припрятала у друзей (у Фриды Сосновик, например). Ее выпустили под новый, 1931 год. Фрида ожидала ее у ворот тюрьмы. Квартиру у старухи отобрали, магазин церковной утвари дочиста разграбили, но Чемадуровой разрешили жить в магазине. Это была большая милость. Там, где стояла раньше касса-конторка, сложили печь-плиту, дымоход вывели через окно на улицу, провели в магазин воду, соорудили кран, а уборная была общая, во дворе. Чемадурова ходила туда через комнату Сосновикиных.

Вольф Сосновик в 1927 году получил из Америки от каких-то дальних родственников шифс-карту, он обещал сразу же по приезде взять в Нью-Йорк жену и дочь, но пропал. Ходили слухи, что он преуспел, но так говорили обо всех уехавших в Америку. Фрида Сосновик бедствовала с девочкой на руках, пока не занялась выгодной, хотя и вредной, тяжелой и опасной работой. Дочь выросла без отца. Только после войны пришло неожиданно от Вольфа первое письмо.

Кажется, в один день с Чемадуровой или днем позже арестовали и Кузьму Кобозева. Невдумчивый очевидец мог бы предположить, что владелец магазина, где при нэпе бойко продолжалась оптовая и розничная продажа всевозможных сукон и приклада, поступил умнее Чемадуровой. Предвидя на основании дискуссионных листков «Правды» конец нэпа, он заранее исподволь распродал свои товары (наш червонец тогда обладал ценностью и прочностью), помещение магазина добровольно освободил, вызвал к себе из Ленинграда сына Андрея со снохой и внучкой: старый человек живет при детях. Но советскую власть не перехитришь. Кобозев умер в тюрьме. Достались ли сыну, Андрею Кузьмичу, его деньги? В доме Чемадуровой в этом не были уверены.

Кобозев-младший, Андрей Кузьмич, был инженером путей сообщения. Еще в студенческие годы он, белоподкладочник, женился на актрисе. Через два года она от него ушла, и ушла некрасиво — с мужеподобной подругой по прозвищу Джонни. Семья Кобозевых была старообрядческая, отца возмутил этот брак, он порвал с сыном, даже подумывал жениться вторично, родить детей. Но сын приехал к отцу, бросился ему в ноги, и вскоре старый купец нашел

ему новую жену из хорошей, тоже старообрядческой семьи. Вторая жена была намного моложе Андрея Кузьмича, тоненькая, как подросток. Их единственная дочь Лиля была ровесницей Миши Лоренца.

Судьба преследовала Андрея Кузьмича. Через год после того как в тюрьме умер его отец, произошло в нашем доме не совсем обычное событие. Миша Лоренц, вернувшись из университета, увидел, что со стороны Покровской собралась перед домом огромная толпа. Войдя в нее, Миша быстро почувствовал, что толпа — веселая. На мостовой стояло несколько телег. На морды битюгов были надеты торбы с сеном. Потом, сняв опустевшие торбы, ездовые в красноармейском обмундировании поили битюгов водой, которая поступала по шлангу из водопроводного люка. Позади телег стояли рядом две лошади. На одной, гнедой масти, сидел надменно скучающий коновод. Он держал в шелковом поводу каракового жеребца, ласкового красавца под седлом с бархатной попоной. Караковый спокойно позволял собой любоваться и только изредка музыкально ржал.

Толпа загудела, расступилась, когда на улицу вышли тоненькая Кобозева и молодой, можно сказать, юный помкомроты с тремя кубиками в петлицах. Кто-то уже узнал, что он служит в Перекопской дивизии. В это время на балконе появился Андрей Кузьмич. Он был в чесучовом пиджаке, при галстукe, но в домашних туфлях. Его старорежимность подчеркивали раскольничья борода и усы. Пенсне с черным шнурком привычно поблескивало над его простонародным носом. Казалось, его нисколько не смущают эта огромная толпа зевак, этот публичный отъезд жены с другим, молодым. Может быть, он вспомнил уход первой жены, такой грязный, и это помогло ему понять и комическую сторону нового несчастья?

Несколько красноармейцев, лоснившихся от приварка, таскали между тем мебель, всякое барахло, грузили на телеги. Толпа вслух удивлялась: зачем младший Кобозев вышел на балкон, да еще — посмотрите! — он улыбается, бородач! Слава Богу, что хотя бы дочка не идиотка, где-то прячется от стыда. А что сказать про влюбленную парочку? Посмотрите, они держат друг друга за руки, а она ведь лет на десять старше командира, косметика ей не поможет. Какие наглые, счастливые глаза у этой твари, она видит только своего любовника, даже не взглянет на людей, не потревожится, аккуратно ли нагружаются вещи на телеги. Не ею добро нажито, а свекром. Какой был хороший человек, ум-

ница, соседям распродал после праздника остатки за бесценно, и вот он умер в тюрьме, а его сноха ограбила дурочка мужа, ей на все наплевать. Раньше были шлюхи великосветские, а теперь — советские.

Наконец погрузку закончили, помкомроты подхватил сияющую Кобозеву, усадил в седло на каракового, который стал бить мостовую темной ногой в белом чулке, уселся и сам позади возлюбленной. Кобозева, прижавшись к командиру, послала мужу на балкон воздушный поцелуй. Андрей Кузьмич ответил ей тем же. Военный транспорт удалился, пыль улеглась, но толпа долго не расходилась, обсуждала происшедшее. Никто Андрею Кузьмичу не сочувствовал.

И Миша Лоренц не мог его понять. Поведение образованного человека, уважаемого на предприятии за блестящий инженерный ум, ошарашивало какой-то арлекинадой двадцатилетнего студента. Миша был с ним знаком, Андрей Кузьмич казался ему человеком незаурядным, он много знал, и не только по специальности, был интеллигентом не только потому, что получил высшее образование. С рабочими он был вежлив, но не заискивал перед ними, как другие недобитки из ИТР. И они его ценили, никогда при нем не матерились, зная, что он этого не любит. «Староверы — они не пьют, не курят, не матерятся» — это объяснение всем нравилось. Он и Цыбульский работали в железнодорожных мастерских, Цыбульский — мастером, Андрей Кузьмич — главным техноруком, они иногда выходили вместе в ранний утренний час, вместе садились в трамвай, но почти не разговаривали друг с другом, даже во время ожидания трамвая, а у нас это ожидание длилось долго. Андрей Кузьмич не терпел политики, а Цыбульский только ею и жил. Мало кто знал, что Андрей Кузьмич глубоко религиозен. В старообрядческую церковь он не ходил по той простой причине, что ее снесли (она раньше помещалась за Фруктовым пассажем и мешала организованному там зоопарку). В отличие от отца, который говаривал, что Бог не в бревнах, а в ребрах (то есть не в храме, а в душе), Андрей Кузьмич не питал вражды к православию и охотно посещал бы единственную действующую Покровскую церковь, если бы ее не захватил причт из кадров митрополита Введенского: «живая» церковь внушала Андрею Кузьмичу неясные опасения.

Христианское ли смирение, природное ли добродушие, бесконечное ли разочарование во всем, что происходило вокруг, развивающееся ли в нем безволие заставили его

выйти на балкон и с покорной, тусклой улыбкой смотреть на опозорившую, бросившую его жену, на толпу, которая больше презирала его, чем жалела? Или два неудачных брака убили в нем надежду на любовь женщины, и он с улыбкой, не столько смиренной, сколько всепонимающей, склонил черную с белым гусарским клоком голову перед неотвратимой, а поэтому не такой уж страшной, хотя и немилосердной судьбой?

Нам с трудом дается понимание структуры нового государства, суть нового политического движения, — как же нам разобраться в том большом и сложном мироздании, каким является душа одного человека? Ньютон, а потом Эйнштейн невольно доказали, что мир, в котором живет человек, проще человека.

Вскоре волны антиинженерных процессов ударились и о наш берег, и партийная ячейка железнодорожных мастерских решила принести на закланье Андрея Кузьмича. Выбор жертвы казался удачным со всех сторон. Сын крупного торговца, хозяина всем известного магазина, старообрядца-изувера, скрывшего от молодой советской власти деньги, товар и драгоценности и понесшего заслуженную кару; чуждается рабочих и выдвиженцев, занимающих инженерные должности благодаря своей преданности пролетарскому делу, а не диплому, выданному царским университетом: на собраниях сидит как чурбан, отмалчивается; на демонстрациях трудящихся задумчив; бородат, как служитель культа; опираясь на предельные нормы, мешает развитию ударного труда; в быту неустойчив (ушла жена).

Все как будто складывалось недурно, но произошла осечка: рабочие отказались наброситься на Андрея Кузьмича. А из двоих, кто, можно сказать, рвался на трибуну (оба они были членами партии), один, по фамилии Уланский (тот, чей сын служил следователем ГПУ), был из тех завязтых ораторов, которых ячейковые остряки называли забегальщиками: с помощью отвлеченных выкладок они опережали то или иное партийное постановление, что тоже плохо, и при этом их нередко заносило. А другой, по фамилии Емец, не имея на то указания, свою речь излагал басенными стихами, что в принципе хорошо, но лишь к месту, как самодеятельность.

Кое-кто из умников выдвинул кандидатуру Цыбульско-го: все-таки ветеран рабочего движения, старый мастер, хватит ему пассивничать. Авторитет у него в массе огромный, жена — коммунистка.

Цыбульский наотрез отказался выступать против Кобозева. Доводов никаких не привел, одну матерщину. Между тем яичко-то дорого ко Христову дню, надвинулись другие насущные идеологические задачи, и об Андрее Кузьмиче забыли.

Нехорошо, неуютно стало в доме Цыбульского. В одной квартире жили два чужих человека. Они мало разговаривали друг с другом, да и виделись мало. Когда Рашель возвращалась из клуба табачной фабрики, было уже за полночь. Цыбульский спал, даже во сне под одеялом тело его ощущало свой вес и огромность, а из-под кудлатой головы выползала на тумбочку верхняя подушка. И Рашель спала, когда муж рано утром зажигал примус и, выпив стакан чая с молоком, съев большой кусок ситного хлеба, слегка покрытый повидлом или почти жидким бесцветным маслом, уходил на работу. В выходные дни Рашель старалась быть с мужем подольше, но томилась, скучала, рвалась в клуб. Там бурлило море новой жизни, а здесь человека выбросило за борт его собственное глупое упрямство. Он, Цыбульский, который был борцом за рабочее дело, теперь брюзжал вместе с врагами рабочих, со всеми этими бывшими торговцами, кустарями-одиночками, интеллигентными хлопиками, до смешного бессильными в своей злобе, хотя иногда пока еще опасными.

А какая была любовь, какое счастье! И познакомились они не где-нибудь, а в Париже, в эмигрантской русской читальне. Она подошла к нему и спросила (Цыбульский часто со смехом вспоминал эту неловкую фразу): «Товарищ, какой орган у вас в руке?» Цыбульский поднял голову — и покраснел от восторга и смущения: перед ним стояла красавица. Если бы он был верующим, то подумал бы, что серафим с высокой грудью, в замысловатой широкополой, по тогдашней моде, шляпе, в длинном, узком, темно-зеленом жакете сошел к нему с парижских небес.

Рашель служила манекенщицей в конфекционе. Ветер революционного движения случайно подхватил и занес ее в Париж. Она поехала за мужем-студентом, он был из богатой семьи и бросил ее. Впрочем, они не были повенчаны. Не венчалась она и с Цыбульским — в России ей пришлось бы для этого креститься, а ей не хотелось, напротив, — они и потом не зарегистрировались, и поэтому, когда Рашель арестовали, Цыбульскому, который к тому времени прожил с ней чуть ли не четверть века, вполне законно отказывали в свидании.

Рашель не взобралась наверх, вступив в партию, хотя заслуги ее были общеизвестны: она помогала Помолову во время легендарного мятежа французских моряков, выполняла задания большевистского комитета в годы гражданской войны, ее рекомендовал в партию сам Гринеv, член ЦК, что и стало отчасти причиной ее гибели.

Рашель назначили заведующей клубом табачной фабрики (бывшей Попова), сказали: «Работай весело, с выдумкой». Это было ей по душе. Она любила петь, еще в парижском кафе с удовольствием плясала, а потом, уже в России, в голодные, полутемные вечера, при свете коптилки, мучительном и печальном, Рашель, в зимнем пальто, танцевала перед Цыбульским, большим, влюбленным, и, согрешаясь, неунывающая, отдыхала у него на коленях, гладила его кудлатую голову.

Клуб табачной фабрики прослыл в городе образцовым. Его охотно посещала молодежь, даже не работавшая на фабрике. Когда Назароглу, получив разрешение, уехал в Константинополь (он захватил с собой двух девушек, мулла засвидетельствовал, что Назарка взял этих русских в жены по мусульманскому обряду) и магазин восточных сладостей закрыли, Рашель переоборудовала магазин под библиотеку. Лестница, возведенная в пространстве одной из задних комнат, соединяла библиотеку со вторым этажом, где и помещался клуб в бывшем здании трактира. Библиотека устраивала театрализованные живые рецензии на книги, здесь горячо обсуждались знаменитые тогда произведения пролетарской литературы, отражавшие вопросы пола, нового быта, реконструкции, — сочинения Малашкина, Либединского, Гладкова, Богданова и бестселлер комсомольской юности «Мощи» Калининкова. Успехом пользовалась и книга под значительным названием «Записки примазавшегося», имя автора позабылось. В клубе недурной драматический кружок развивался под руководством Павла Николаевича Помолова, который сам писал пьесы (на темы революционной борьбы зарубежного пролетариата) и сам их ставил и даже в них играл (роли пришедшего к бунтарям учителя или прозревшего кюре). Из кружка вышло несколько профессиональных актеров. Это было то краткое время, когда, после смерти Ленина, несмотря на безработицу, гегемон жил, веря, надеясь и недальновидно спешившись.

Для того чтобы сильно выдвинуться, Рашели не хватало прямолинейности, жесткости, корыстолюбия и тщеславия. Но, занимая скромную должность, она была известна в губ-

комах партии и комсомола. Нужно учесть, что членов партии, особенно в нашем городе, было не так много, как теперь, после войны, и все они были на виду. К тому же Рашель любили именно за ее недостатки — она не была карьеристкой, никому не становилась поперек дороги, умела в ту спартанскую пору со вкусом одеваться, ее женственность еще привлекала партийный актив.

Цыбульский никогда не ходил на демонстрации трудящихся. Его ругали, он мрачно и сердито молчал. В праздничные дни он сидел дома, пил вишневую наливку, злился, был невыносим. Рашель, до своего вступления в партию, стояла в толпе зевак на зеленой кромке тротуара, с завистью смотрела на демонстрантов, направлявшихся по Покровской улице к зданию городской думы, где теперь помещался губком. Если случалась задержка, а случалась она часто, нынешнего жесткого порядка тогда еще не было, демонстранты танцевали на мостовой, пели «Кирпичики» или еще что-то про первого красного офицера.

И вот настал тот первомайский день, когда Рашель рано утром, по праву властвующих впервые пошла на демонстрацию, и сердце у нее дрожало от радости, что она — как все, что она — со всеми, и Цыбульский, огромный, небритый, в грязном рабочем костюме, вышел на кромку тротуара, тоже впервые, — и увидел Рашель. По-прежнему стройная, чудно сложенная, она впереди своей колонны двигалась спиной к последующему потоку и шуточно дирижировала хором, а молодежь табачной фабрики пела хорошо, с чувством, радуясь юношеской, нежной зелени, певческой общности, радуясь жизни — тяжелой, бедной, но сулившей невиданные новшества.

Цыбульскому показалось, что он и жена встретились глазами, но Рашель, видимо, этого не заметила, прошла с колонной дальше, а Цыбульский побрел домой.

Так они стали жить вдвоем, она — в кружении интересной работы, он — в недвижимом одиночестве. Иногда он подозревал, что она ему изменяет. Ей было уже за сорок, но на нее заглядывались — он замечал — даже молодые.

Забрали ее сравнительно поздно, в тридцать восьмом году, 2 ноября, под праздник. Цыбульский уже сразу после убийства Кирова стал за нее бояться, но ничего ей не говорил, — да она и не поняла бы его. Они жили под одной крышей, как живут под одним небом существа разных пород. Но когда в 1938 году Гринев был приговорен к расстрелу вместе с Бухариным, а Цыбульский увидел страх и ка-

кое-то безумное смятение Рашели, сердце его сжалось от любви и боли, он заговорил с ней:

— Рашель, убежим, спрячемся от этих убийц. Оставим в доме все как есть, сядем в ночной поезд, с пересадкой для верности, безопасности доберемся до Могилева, устроимся у брата. А там видно будет.

— Не смей называть коммунистов убийцами! Гринева расстреляли, потому что он предатель! Я никогда и никуда не убегу, моя совесть перед партией, перед Сталиным чиста!

Рашель сердилась, но Цыбульский понимал, что не на него она сердилась, а на себя, на свой страх, на свое смятение. Выходило, что не Цыбульский был выброшен за борт корабля революции, а она, коммунистка. То, во что верил Цыбульский, продолжало обладать естественной жизнью, напомилавшей жизнь дня и ночи, дождя и зноя, а то, во что уверовала она, рассыпалось оскорбительно быстро и глуповато. Но, стыдясь признаться в унижающем душу страхе, в начинающемся губительном прозрении и как бы забыв, что именно она восторгалась Гриневым как большевистским лидером, что именно ей Гринева дал рекомендацию в партию, ей, а не старому революционеру Цыбульскому, который эту партию ненавидел, Рашель крикнула:

— Твой Гринева был агентом гестапо!

Тогда рассердился Цыбульский:

— Для меня что Бухарин, что Сталин, что Гринева, что Молотов — одна шайка. Но как ты могла поверить, что Гринева или Бухарин связаны с Гитлером, служили ему за деньги? Хватит с них того, что они служили Ленину, а потом Сталину. И к чему это им, когда через год-другой Сталин непременно вступит с Гитлером в союз, потому что Гитлер ему ближе, нужнее и даже милее, чем американская или английская демократия! Если ты ненавидишь Гитлера, то не можешь любить Сталина. Альбо рыбка, альбо скрипка.

В клубе с недавнего времени стали смотреть на Рашель как на чужую. В тот день, 2 ноября, она поздно вернулась оттуда, была в разгаре подготовка к октябрьской годовщине. Дома ее ждали низовые работники органов. Начался обыск.

Цыбульский заранее спрятал у знакомых некоторые фотоснимки, которые, скажем правду, тешили его тщеславие, — например, те, где он был снят вместе с Карлом Либкнехтом и Даном (Берлин), с Раковским (Париж). Он

чуял, что эти снимки способны, когда нагрянет горе, повредить Рашели, но не мог предвидеть, что следователь поставит, между прочим, ей в вину совсем другое: принадлежащее Цыбульскому и изъятое при обыске полное собрание сочинений Плеханова, изданное в советские годы.

Фамилия следователя была Шалыков. Это был тот самый Шалыков, который несколько лет назад вел дело Лили Кобозевой. Он обвинял Рашель в связи с Бухариным через Гринева. На допросах приговаривал: «Опять я вами недоволен». Не бил ее.

Областное управление ОГПУ (а потом НКВД) теперь разместилось на Мавританской улице, самой красивой в нашем городе и в былом аристократической. Улицу назвали по имени мавра Али, знаменитого корсара. Его упомянул Пушкин в «Евгении Онегине». Разбогачен и став почтенным жителем зарождающегося города, корсар основал эту улицу, где великолепные особняки и дома-дворцы стояли в один ряд, а напротив густо и мягко зеленел Екатерининский парк.

Рашель, сразу постаревшая, угнетенная тем, что давно не мылась, мучимая жаждой (кормили тюлькой, а пить почти не давали), выталкиваемая на ночные допросы из битком набитой женщинами камеры, видела в большом венецианском окне у следователя древнейшее население земли — деревья, увенчанные звездами. Во время допросов Шалыков был то в штатском, то в военном. Одетый в штатское, он больше говорил сам, чем допрашивал, а говорил о том, о чем писали в те дни газеты, но с такими откровенными подробностями, от которых сердце Рашели оставалось. Рассказывая о грандиозных суммах, регулярно получаемых от Гитлера Бухариным, Зиновьевым и Каменевым, он прибавлял: «Конечно, и Ленин получал деньги от кайзера, но для революционной борьбы, а эти изверги продавались ради личного обогащения, счета, сволочи, открывали в швейцарских банках». В военном Шалыков был нарочито сух, резок. Связями Рашели с Бухариным—Гриневым не интересовался. То прямо, то исподволь подводил он Рашель к личности первого секретаря нашего обкома Загоруйко. Следователь навязывал Рашели близкое знакомство с главным человеком области. Рашель однажды видела Загоруйко в оперном театре на торжественном собрании в честь юбилея не то газеты «Брззола», не то бакинской стачки. Когда-то Загоруйко командовал действовавшей в наших краях дивизией, и газеты раболепно прибав-

ляли к его фамилии и должности — «семикратно орденосный». В роковом году цифру сократили, стали печатать: «трижды проклятый».

Шалыков только один раз ударил Рашель, ударил по щеке, и не пятерней, а кулаком. Слегка шепелявя, поправляя галстук (он был в штатском), Шалыков с какой-то сердечностью, может быть, и непритворной, сказал:

— Решили дать вам десять лет. Но если вы напишете, что Загоруйко принуждал девушек табачной фабрики к сожительству, укажете два-три имени, вам сбавят два года. А вы знаете, что такое два года в лагере?

— А за что я получу восемь?

— Идиотка, — рассвирепел Шалыков и размахнулся, сжав пальцы, крестьянские тяжелые пальцы, в кулак. Может быть, его рассердило то, что он желал Рашели добра, а та, глупая, его не понимала? И Рашель получила десятку.

Когда Лоренц вернулся из армии, ему сказали, что пришла весть, будто Рашель вышла замуж в Казахстане, работает воспитательницей детского сада в городе Темиртау. Еще сообщили Лоренцу, что Цыбульский эвакуировался на последнем пароходе. Недалеко от Феодосии пароход подорвался на нашей мине. Многих пассажиров подобрали шлюпки, но Цыбульского среди спасенных не было.

Глава восьмая

Лампочка вспыхнула, Лоренц открыл глаза. Он заснул над книгой: с ним это случалось редко, может быть, в первый раз. Ласково, как мать или жена, заглядывая ему в лицо, близко стояла Дина Сосновик, круглобедрая, крепенькая, что называется, не уколыпнешь. На ней был ситцевый халатик. Она удивительно походила на Вольфа. В детстве она была золотоволосой, с годами сильно потемнела. У нее были большие глаза, синие, добрые, иногда с милой хитрецой. Такого же цвета глаза, но с обманчивым простодушием, были у Анны. Жива ли она? Несколько портила лицо Дины нижняя толстая губа — подарок Фриды.

— Проголодался, бедненький? Пойдемте кушать, Миша, суп — во! — И она подняла большой палец.

Суп действительно благоухал. В открытое окно Сосновиков бесстрашно влетали бабочки, о чем-то спорили, мирились и улетали. Лоренц ел так, будто сорок верст отмахал, и этим доставлял Дине истинное наслаждение. Она

рассказывала, играя большими глазами, помогая рассказу выразительными жестами:

— Когда мы пришли в райком, Рамирева (старшего бухгалтера) тут же вызвали к инструктору, я его знаю, шмаравозник, ему подчиняются все артели, и со всех он берет. Мне велели пойти в кабинет Бабича. Я ждала часа два, хотя в приемной никого не было и в кабинете у него никого не было, я бы услышала. Секретарша, намазюканная шикса, все время болтала по телефону, фильмы-шпильмы, сянсы-мансы. Наконец раздался где-то под столом его звонок, она меня впустила к Бабичу. Вы его никогда не видели? Некультурный жлоб, типично хуторской. Скорее я могу быть генералом де Голлем, чем он — секретарем райкома. Между прочим, он тот еще трус. Во время разговора я ему сказала: «Сломаете палец, товарищ Бабич, и вообще противно, когда мужчина при женщине ковыряет в носу да еще смотрит, что у него там было». Он моих слов испугался, сразу прекратил. О чем был разговор? Сначала, для виду, о нашей артели. Я ему заявила, что фельетон — сплошное вранье. План мы перевыполняем по валу и ассортименту, без авралов, работаем слаженно, по подписке на заем занимаем второе место в районе, отчетность в ажуре. А что краску нам дают паршивую, так разве мы виноваты? Мы получаем из фонда. Тут он мне: «Все же будь самокритичной». Мишенька, вы, конечно, знаете, когда они тыкают, так это хороший признак. Вдруг — новая тема: «За что посадили твою маму?» Какой подлец: я должна знать, за что посадили маму! Я так ему и сказала: «Это вы мне должны сказать, за что посадили мою маму!» Он опять перешел на «вы»: «Сколько посылок вы получили от отца?» — «Три». — «Что в них было?» — «Шмотки». — «Какие?» — «Все перечислить? Вот, например, эта кофточка, что на мне ». Вы же помните, Миша, мою кофточку, как раз сегодня я ее надела, чистая шерсть, легче пуха, красная с белой каемкой, вырез треугольником, с отворотами. Правда, она чересчур плотно облегает наше женское хозяйство, но это теперь модно. Этот лапцарон посмотрел на меня (я поняла, что он грязный бабник, если бы я была свинарка, то он был бы пастух, мы пели бы вместе народные песни) и дословно мне сказал: «Вам должно быть стыдно надевать ношенные вещи, которые американские бизнесмены выбрасывают в мусорный ящик». Как вам это звучит, Миша? В артели все ахнули, когда увидели кофточку, на ней была наклейка, мне перевели: «Шерсть — сто процентов», а он говорит: «Но-

шенная вещь!» Я молчу, я не в коровнике родилась, надо терпеть, когда мама в тюрьме. Но поп свое, а дьяк свое: «Сколько писем вы получили от Вольфа Сосноу?» Папа там, в Америке, переделал свою фамилию, кто знал об этом, кроме меня и мамы? Значит, Бабич уже до нас читал папины письма. Я отвечаю: «Четыре письма мы получили, две открытки и два фото: на одном папа в гамаке посреди лужайки перед его домом, на другом — он и его сын от новой жены, с теннисной ракеткой в руке. Вся корреспонденция у меня в шкатулке, если бы знала, я бы вам принесла». Понимаете, Миша? Суть в том, что я от него ничего не скрываю. «Ваш отец хвалит в письмах американский образ жизни?» — «Пишет о себе, кается, что нас бросил, просит у мамы прощения. Теперешняя его жена зубной врач, у них свой кабинет». — «Частный?» — «Нет, что вы, товарищ Бабич, в Америке же социализм!» — «Иронизируете? Я своим вопросом хотел подчеркнуть, что ваш родной отец — винтик, и не такой уж маленький, капиталистической машины. Звал он вас к себе, в американский рай?» — «Звал в гости». — «Что вы ему ответили?» — «Спасибо за приглашение». — «Почему от партии скрыли о переписке с загранжителем?» — «Я не скрывала, сообщила нашему парторгу Рамиреву, он сейчас здесь, в райкоме, можете у него спросить». Бабич помолчал, странно посмотрел на меня (вы же знаете, Миша, как они умеют смотреть) и сказал, опять на «ты»: «Подумай, Сосновик, почему так получается: ни у меня, ни у моих друзей нет родственников за границей, а у вас всюду — в Америке, в Аргентине?» — «У кого — у нас?» — «У евреев». — «А разве у вас, украинцев, нет родственников в Канаде?» — «Так то у западнюков, у бандеровцев. Так их надо перевоспитывать, они в социалистических условиях живут недавно. А упорствующих, националистов, мы выселяем». — «Значит, и евреев надо выселять?» — «Подумай, обо всем подумай, Сосновик. Времени у тебя будет много, мы тебя снимем с должности. Не обижайся, ты коммунистка, сама понимаешь: мать в тюрьме, а дочь возглавляет предприятие. Нельзя, авторитет потеряла у членов артели. Добейся, чтобы мать выпустили, если хочешь остаться в партии». — «Как же я могу добиться?» — «Тебя вызовет следователь, посоветует. Между прочим, как это ты и твоя мать, хотя вы евреи, остались живы на оккупированной территории?»

Дине надо было выговориться, но, окончив рассказ, она расплакалась. Лоренц погладил ее по голове, поцеловал

мокрую щеку. Она, как будто ждала этого, ответила долгим, острым поцелуем в губы. Они ласкали друг друга, сидя рядом перед грязной посудой, а потом Дина поднялась и с невинной, радостной решительностью заперла дверь изнутри на ключ. Они разделись, легли. Он думал, что не любит ее, а только утешает. Он не знал еще, что любит ее, и, когда взял ее руку в свою и почувствовал, как не по-женски груба ее рука, он вспомнил ее рассказ: рукавицы истлели, новых Редько не приносил с неделю, на нее и на маму, объясняла она, осталась только одна пара, а загрузка, конечно, ручная — «вы же понимаете, Миша, так в России выделывали кожу еще до Петра Великого, кожевники сплошь и рядом заболели сибирской язвой». И вот вся эта почти трехлетняя жизнь в подполе, почти без свежего воздуха, среди едких газов и паров, нечеловеческое существование среди нечеловеческого страха... И он поцеловал изъеденную суспензией ладонь, поцеловал так, как будто прикоснулся губами к другой ладони, распятой. И он понял: то, что она пережила, выше так называемой образованности, так называемой душевной тонкости, и пусть некоторые ее выражения режут ему слух, некоторые повадки ему не нравятся — не ей надо стыдиться, а ему, потому что зимы и весны в тесном, зловонном подполе подняли ее к престолу Господнему. Он уже любил ее, не понимая, что ему выпало редкое на земле счастье, чудо — познать женщину, которую любишь, и ему сделалось хорошо, сладко, молодо. Тогда, в Каменце, с Анной, ему хотелось после этого отодвинуться от чужого, да, да, чужого тела, а теперь все было иначе, прекрасно, ее плоть стала домом его сердца, он гладил ее, а она его, и не было чуждости, было счастье, потом она по-матерински, безгрешно и щедро, подставила, а он стал целовать покорно отвердевавшие во рту соски ее больших, уже милых и родных грудей, он смотрел ей в глаза, она то открывала их, то блаженно закрывала. «А мать ее сейчас в тюрьме», — подумал Лоренц, чтобы унижить себя, втоптать в прах свое плотское счастье, но счастье не хотело быть плотью и прахом, оно взметалось в небеса, на свою родину.

Дина была второй женщиной в его жизни и первой любовью. У нее было несколько случайных, коротких связей, она рассказала ему все, и он рассказал ей о Каменце, об Анне. Она ревновала к тому, что было, а он знал уже то, что ничего не было ни у нее, ни у него, вселенная родилась, когда они соединились, и доньше на земле никто не чувствовал того, что чувствовали они.

Но вправду ли ничего не было? Разве не было счастья, не было ежедневного ожидания счастья? Разве не было счастья с той немкой, с ее кукольным смехом, с ее изменами мужу, любовнику, любовникам? С той, которая вопреки жесткой подноготной жизни принадлежала ему? Принадлежала? Ему? Нет, это он ей принадлежал, он, победитель рейха, был таким же покорным приказчиком ее ласк, каким приказчиком в ее пивнушке в Каменце, ее покорно и хозяйственно волнуемой плоти был ее несчастно-настойчивый муж. Из-за нее он, Лоренц, глупо, ничтожно повел себя с генералом, но не потому, что любил ее, а потому, что чувствовал себя обязанным ее любить. И любовь кончилась не потому, что Анна получила срок, а потому, что обязанность есть конец любви.

А разве Дина сразу узнала, что любит его? Она хотела выйти за него замуж, потому что очень хотела выйти замуж, а он был неженатый, добрый, порядочный, подходил ей по возрасту, она с детства привыкла его уважать. Но теперь каким-то необыкновенным, внутренним зрением она увидела, что всегда его любила, что всегда ей были милы этот высокий лоб, эти голубые глаза, это целомудрие, эта непрактичность, она росла рядом с ним, но как долго она шла к нему! «Мы, хотя и жили в одном доме, только сейчас нашли друг друга в бесконечном мире», — сказала ему Дина, и он понял, что это истина. Она стыдилась великого счастья, потому что была великая беда, мама в тюрьме, и умилял его этот стыд, и все в ней было истинно, близко, чудесно: и ее энергичная, порою неправильная, с певучими длиннотами речь, и резкие жесты, и улыбка, и взгляд, и то, как она ест, и то, как она доверчиво, с тихим ликованием раздевается при нем донага, и то, как она гордится его начитанностью, неприспособленностью к жизни — трудной и несправедливой жизни, — и то, как она с явным удовольствием глядится в зеркало, нарочно с победительным вызовом судьбе выпячивая некрасивую нижнюю губу, и то, как она для него стряпает, и то, как она задумывается, и то, как она молчит, и то, как она не молчит. Еще их слияние могло называться блудом, потому что не было узаконенным, могло называться грехом, потому что в это время Фрида сидела в тюрьме, но то был не блуд, не грех, то была любовь, и Бог вошел в его сердце, как святой странник входит в дом бедняка, потому что Бог есть любовь. Во всемирной разноголосице это могли услышать все, но лишь те услышали, кто хотел слушать, те, чьи двери открыты для странника.

В артели «Канцкультпром» произошли перемены. Старшего бухгалтера и по совместительству парторга Рамирева сделали и.о. председателя, его место, тоже временно, пока не подыскали кандидатуру, занял Лоренц, а место Лоренца предоставили Дине, на улице ее не выгнали, так предложил Рамирев. Одни объясняли это благородством Рамирева, всегда отзывчивого, другие, более понятливые, — решением высшего начальства, но и те и другие увидели в этом хорошее предзнаменование. Зарегистрироваться Дина и Миша не имели права, так как служили в одном предприятии и она Мише была подчинена: семейственность, — но сослуживцы уже знали о них, скрыть было невозможно.

Лоренц решил уйти из артели, и не только для того, чтобы оформить брак с Диной. Он не годился для должности старшего бухгалтера, здесь требовались люди другого рода, но его анкетные данные оказались теперь желаемыми, и возможно было, что его утвердят в новом звании. Вернувшись из армии, Лоренц испытывал отвращение к государственным научным занятиям, к университету в особенности, и он обрадовался, когда Дина Сосновик, неожиданно для него ставшая членом партии и председателем артели, предложила ему низкооплачиваемую должность второго бухгалтера. Лоренц немного знал бухгалтерию, он изучил ее, помогая покойному отцу.

Известно, что между первым секретарем обкома или райкома и вторым — не разница, а пропасть: первый — хозяин, второй — слуга, порою доверенный, но слуга. Такая же пропасть между старшим и вторым бухгалтером артели. Старший не только делится с председателем — он не может с ним не делиться, иначе они не сработаются. Лоренц понял: как ни вертись, а придется ему уйти из артели, стать преподавателем. Устроиться будет нетрудно, паспорт у него отличный, русский, он фронтовик, старший лейтенант запаса, имеет орден, медали, ранение. Декан филологического факультета Дыба, его однокурсник, встретившись с ним на улице, звал его в университет, слависты были нужны, а от двух Дыба хотел бы избавиться — чесноком от них пахивало. А Лоренц уже понимал, что обстоятельства принуждают его смириться, надо пойти, преодолев гадливость, к Дыбе, чтобы стать настоящим мужем-добытчиком — ассистентские тысяча пятьсот будут намного больше, чем его теперешние четыреста двадцать.

Дину несколько раз вызывали на Мавританскую к следователю, но тот ее не принимал, она простаивала в бюро

пропусков томительные, тревожные часы. Лоренц, который ни на минуту не хотел с ней расставаться, не мог ее сопровождать, потому что было неудобно, чтобы оба бухгалтера покидали контору, надо совесть иметь. Он ждал ее, волновался, не мог работать, благо в советской конторе можно не работать. Свидания с Фридой Сосновик не давали.

Добрые люди сказали Дине, что следователь берет. У нее было пятнадцать тысяч (у нас все время меняются масштабы, теперь изменились и масштабы цен, а дело Фриды происходило до девальвации). Этих денег не хватало, меньше чем с двадцатью пятью советовали не соваться. Раздобыть еще десять тысяч было Дине по силам — кое-что продать, у кого-то занять, — труднее всего было найти ход к следователю, он рисковал сильно, всем — должностью, партбилетом, карьерой, даже свободой, и брал только у тех, кому доверял, а доверял он только деловым людям. К счастью для него, политическими он не занимался.

Жизнь научила, что давать гораздо труднее, чем брать. Если уже зашел разговор о взятке, то надо сказать, и сказать так, чтобы слова не звучали пошло-парадоксально, что для нас, жителей, взятка — это если не окно, то щелочка в Европу. Порою непосильная для большинства наших полунищих сограждан, взятка тем не менее способна облегчить, а иногда и спасти человеческое существование. В отдельно взятой стране националистического социализма с бессмысленной, античеловеческой экономикой даже коррупция становится свежим глотком воздуха. Бывают взятки грандиозные, миллионные, но бывает и так, что пол-литра, флакон духов или модная сумочка решают жизненную проблему человека — прописку, могилку на кладбище для матери, поступление ребенка в детский сад... Боже милостивый, что стало с нами, с Россией, если взяточники — это духовная элита, борющаяся с чудовищем-государством за человека, это Радищевы России, ее Муравьевы-Апостолы, ее Софьи Перовские! Кружатся бесовские хороводы и машкеры, и бесы не только вокруг нас, бесы в нас и мы сами — бесы, все запуталось, и хотя, как всегда, мир борется с враждебной силой змия, теперь не поймешь, где змий, где Зиждитель. Россия во времени и пространстве резко отодвинулась на азиатский Восток, она, по выражению ее философа, мечтала стать Востоком Христа, а стала Востоком Ксеркса.

Сейчас некоторые критики режима из числа его создателей и слуг кручинятся по поводу того, что среди среднего,

старшего и даже высшего состава руководителей растут шовинизм, стяжательство, жадность, грязного пошиба эпикурейство, полное равнодушие, презрение к всечеловеческой идее да и вообще ко всякой идее. Как это ни странно, а нам, жителям, такая кажущаяся деградация приносит известное облегчение, выход. Принципиальные изуверы досталинской эпохи и периода первых пятилеток были для населения хуже, вреднее нынешних алчных, продажных золоторотцев, не верящих ни в чох, ни в сон. Тело государства, пусть медленно, пусть болезненно, освобождается от раковой опухоли путем заражения сифилисом. Благой путь!

Лоренц теперь сидел один в каморке, отделенной фанерной крашеной перегородкой от кабинета председателя артели и совсем крохотной приемной. Он начал вертеть ручку арифмометра, когда к нему вошел Рамирев. Не совсем обычная фамилия парторга была придумана в комсомольские двадцатые годы. Она означала: «Рабочие — авангард мировой революции».

Рамирев все четыре года войны провел на фронте, все четыре года — на передовой, на партийной работе. Он прослужил целый год политруком штрафной роты, был тяжело ранен, контужен. Он так и не оправился от контузии, внезапно ему делалось плохо, он ложился на грязный диван в кабинете директора и лежал, пока его не отпускало. Но, больной, израненный, он каждый день бегал в райком, информировал, советовался. От долгих бухгалтерских занятий одно его плечо высоко поднялось над другим, и лицо у него было какое-то перекошенное, нос длинный и очень узкий, и, когда Рамирев шурился, лицо его становилось похожим на знак процента. Может быть, именно его неказистая внешность, соединенная с исполнительностью, безотказной преданностью и явной недалекостью, и завоевывала ему, пусть несколько брезгливое, благоволение начальства, будь то на фронте, будь то после войны. Он никогда не был стукачом, избави боже, но все, что он узнавал о сослуживцах, о рабочих, нередко от них самих, он считал своим неременным долгом пересказывать начальству. Очень часто он это делал с благородной целью: у одной — муж пьяница, у другого — невыносимые жилищные условия, отсюда, и только отсюда, нездоровые настроения, но это неорганично, людям надо помочь. Он был чуток, посещал товарищей в больнице, добывал для их детей места в яслях, любил руководить похоронами. Он весьма уважал Дину Сошников за ее ум, энергию, знания (у нее ведь был диплом

инженера-экономиста), сочувствовал ее незамужней доле. То, что он брал деньги вместе с ней (а приносили им на дом начальники цехов), он считал делом обыкновенным, правильным. Шуметь об этом не надо было, но и мук совести он не испытывал.

Рамирев доложил Бабичу о посылках, которые Сосновики стали получать из Америки, а доложил не для того, чтобы навредить Дине (он отлично понимал, что о посылках и без него уже известно там, где положено), — Рамирев просто иначе не мог поступить, не мыслил иначе поступить. Он предавал, потому что был предан, и только черствое сердце сочтет эти слова каламбуром.

Ему было не по себе оттого, что его назначили и.о. председателя артели вместо Дины. Он был опытным бухгалтером, но ничего не смыслил в производстве. Изнервничавшись, Рамирев часто заходил в каморку Лоренца, изливал душу, мешал. Он искренно жалел Дину, искренно хотел, чтобы ее оставили в партии, чтобы для нее и для ее мамы все кончилось благополучно, но если бы ему приказали ее погубить, он совершил бы любую подлость, любую жестокость и не считал бы себя, по крайней мере не в глубине, а на поверхности своей души, ни подлым, ни жестоким.

Он вошел в каморку старшего бухгалтера, выдвигая вперед свое более низкое плечо, вошел, как всегда, бочком, как всегда, с полуулыбкой, полузабытой на лице, и, как бы на что-то намекая и побледнев от любопытства, проговорил:

— Михаил Федорович, к вам одна личность.

За спиной Рамирева уже возвышался долговязый Лиходзиевский. Он казался еще более грязным, опустившимся, чем при давешней встрече. Лоренц, хотя у него были теперь другие тревоги, не забыл этой встречи, как не забыл и того давнего июльского дня, когда его вызвали к следователю Шалыкову. Не забыл Лоренц и того, как потом, года через два, Володя Варути сделал ему важное признание:

— Лиходзиевский — сексот. При этом он еще и глуп. Хвастает: «Вот где они все у меня, — и сжимает руку в кулак. — Лилло Кобозеву я им отдал. Старик, ты меня должен понять. Но больше ничего гепеушники у меня не получают. У Олега Лиходзиевского сильная воля, нервы — канаты!»

Сильная воля. Пижон! Что ему дали его ляхи? Жалкий, нищий, с жуткой ямой вместо глаза, он с трудом держался на ногах. Обдавая Лоренца тяжелым запахом водки, лука и нескольких гниющих зубов, он отметил:

— Значит, вы главбух. Счет расчетного счета. Русский немец белокурый. Рад за вас. Учту. Дайте пятерку.

Он вонзил единственный глаз в Рамирева и, жалко улыбнувшись, приоткрыв почти пустой рот, добавил, чтобы Рамиреву было приятно:

— Договорились. Как еврей с евреем. Не задерживайте председателя артели.

Лоренц заставил себя рассердиться. Он стал теперь главой семьи, и он не тряпка, и у него не может быть жалости к сексоту.

— Уходите, — сказал Лоренц, — ничего я вам не дам.

Лицо Рамирева стало еще больше похожим на знак процента. Как всегда при интересном для него разговоре, он прищурился, посоветовал:

— Михаил Федорович, дайте ему трешку, и пусть он идет к такой-то матери.

Лоренц молчал. Рамирев достал из бокового кармана бумажник, заглянул в него, подумал, бережно вытащил рубль и дал Лиходзиевскому.

— Потеряли вы своего Олежку, — пробормотал Лиходзиевский. — Адье, Лоренц.

Когда он ушел, Рамирев спросил Лоренца:

— Ваш старый знакомый?

— Да.

— Он глаз потерял на фронте?

— Да.

— Нельзя быть таким сухарем, Михаил Федорович. Если человек опустился, его надо понять. Подумайте, ведь это фронтовик, как вы и я, наш боевой товарищ. Как его фамилия?

— Лиходзиевский.

— Лиходзиевский... Лиходзиевский... Дайте вспомнить... В тридцать втором году нас, комсомольцев, отправили на село, недалеко, за станцию Двухдорожную, в степь. Мы искали у куркулей спрятанное зерно, искали со шупами. Не думайте, что это легкое дело. Над нами ночь, луна, красота, а тут люди, выгнанные из хат, детишки плачут, злые старухи молчат, кругом конвойные, а на Двухдорожной уже стоят теплушки, ждут. Зерно мы нашли только у одного, фамилия ему была Лиходзиевский, я запомнил, потому что дочка этого куркуля мне понравилась, парень я тогда был молодой, задорный. Пошла она в уборную, а конвойный кричит: «Дверцу не закрывай!» Это чтобы видно было, если вдруг задумает убежать, и нам все видно было, прямо над убор-

ной висела луна. Я, конечно, понимаю, что мы живем в эпоху острых противоречий, но, говорю вам откровенно, сердце у меня защемило, хотя эти хохлы были классовыми врагами, саботажниками. Их увели на станцию и отправили в Казахстан, кажется, или в Якутию. Случайно, ваш знакомый не из тех Лиходзиевских? Хотя какое это теперь имеет значение, если он честно воевал за родину.

Глава девятая

Добросовестный исследователь нашего государства не вправе пренебречь таким явлением, как жены негодяев. Явление достаточно распространенное и загадочное. Прежние писатели обычно изображали этих женщин как несчастных, порою как мучениц, еще реже — как протестанток, восстающих против лжи брака и общества. Теперь такой взгляд на предмет лишен смысла, и прежде всего потому, что количество негодяев возросло до небывалого уровня. Дело не только в падении нравов общества, дело в том, что у нас нет общества, есть государство, и оно испытывает постоянную, неутолимую потребность в негодях — еще, пожалуй, большую, чем в низкоквалифицируемой подневольной рабочей силе. Чрезвычайно часто у нас и негодьями становятся не по своей воле, не по своей натуре и даже не выгоды ради.

И вот у такого негодяя — жена. Какая она воспитанная, говорят знакомые, мягкая, уступчивая, никогда не ссорится с соседями, кондуктор в трамвае оторвет ей билет — скажет ему «спасибо», совершенно не похожа она на мужа, душевно тонкая, у нее светлая, открытая улыбка, как она любит животных, скажем, кошек (собак), музыку (сама недурно играет на рояле), какая она чистеха, отличная хозяйка и при этом успевает много читать, каждые три дня меняет книги в центральной рабочей библиотеке. Еще говорят: как любит ее муж, как внимателен он к ней, может, он вовсе не такой, как о нем болтают.

Так говорят, и это правда. Подавляющее большинство современных негодяев добродетельны, они хорошие семьянины. А жены негодяев? Неужели они всегда непременно дуры, есть же и умницы, как же они не распознают супругов, от которых за версту разит негодяйством? Тут что-то неладно.

Кто станет спорить, убедительных доказательств, что всегда он и она — одна сатана, нет, и не всегда справедли-

ва поговорка, что по барину говядина, по дерьму черепок. А все же, как учит товарищ Сталин, здоровое недоверие здесь необходимо.

Возьмем, к примеру, добрейшую, домовитейшую, деликатнейшую Марту Генриховну, в девичестве Шпехт, обожавшую своего Теодора. Можно ли поверить, что она была так слепа или глупа, что не видела, не знала того, что видел и знал весь дом Чемадуровой, вся улица? А Марту Генриховну никто глупой не считал, между тем как в нашем городе бытовую глупость определяют быстро и безошибочно.

Может быть, зря люди наговаривали на Теодора Кемпфера? В таком случае скорее могли бы распространить слух, что румяный, крепкощекий, с густыми бачками и пленительными усами Теодор имеет любовницу, это нетрудно было обосновать, зная образ его жизни и внешнюю непривлекательность Марты Генриховны, которую мадам Варути, сама худая, прозвала Фанерой Милосской.

От нашего дома ничего не скроешь, если бы Теодор был грешен перед женой — узнали бы, но Теодора в этом никто не обвинял, обвиняли в другом. Почему, однако, Марте Генриховне ни разу не приходило в голову то обстоятельство, что Теодор, будучи, как он утверждал, экспедитором в какой-то артели, целый день проводит на улице, подпирая железные перила у окон, говорливый, щеголеватый, пышущий здоровьем, шатается среди лавок и ларьков по всем этим Старорезничным, Новорыбным, Конным и другим улицам, окружающим площадь базара, и всюду у него приятели, собеседники, соучастники, в полдень он забегает в прохладный низок опрокинуть стаканчик-другой молодого молдавского вина, и там он среди людей, он всегда среди людей, и как раз среди тех, кого потом берут и кому потом дают — десять, пятнадцать, а то и все двадцать пять. И хотя люди знают, кто такой Теодор Кемпфер, они продолжают водить с ним компанию, потому что действует Теодор по системе Зубатова: не только предает, но и помогает совершить противозаконную сделку, и немалую сделку. Есть у Теодора еще одно ценное качество: он хорошо, не хуже, если не лучше, любого юриста знает законы, а в этих делах суд склонен соблюдать законность, и советы Теодора кое-кого выручали.

Нельзя сказать, что Теодор сильно преуспел, что сбылись его мечты о богатой, веселой жизни. Но, с другой стороны, кто из его сверстников, соучеников преуспел? Есть

один, стал профессором, но живет он тусклее Теодора, одевается во что попало. Зато у Теодора есть великолепные воспоминания, он был белым офицером, идейно перековался, теперь активно помогает органам.

Домой он возвращался в конце рабочего дня, от него пахло мужской чистоплотностью, одеколоном (он вынужден был бриться дважды в день, волос так и пер из его щек), немного вином, в руке, даже зимой, — непременно букетик цветов для Марты Генриховны. Вечером они вдвоем шли в кино или на симфонический концерт, если приезжали яркие исполнители. Однако бывали вечера, когда Теодор отлучался из дома — по делам артели, объяснял он. Марта Генриховна, вздыхая, жалея (отдохнуть не дадут!), провожала его несколько кварталов, опять-таки не задумываясь над тем, почему он идет не в ту сторону, где, как ей было известно, помещалась его полумифическая артель.

Если Марта Генриховна и признавалась себе, что она чего-то не понимает, то она, счастливая, не понимала, как этот блестящий, красивый, обольстительный и добрый человек снизошел до нее, из многих жаждавших его выбрал в жены ее, некрасивую. О выгоде, корысти не могло быть речи, так как Теодор женился на ней, когда у Шпехта уже не было ничего, ни писчебумажного магазина, ни денег, все отобрали. Теодор любил ее, и только ее, только с ней он чувствовал себя хорошим, нужным, благородным, хозяином дней своих и ее чистой души.

Видимо, он был осведомителем узкого профиля: торговая сеть, артели, базы, никакой политики. Однажды он сделал попытку расширить сферу своей деятельности. Он доложил, что у Лили Кобозевой собираются молодые люди, не пьют, не танцуют, слишком долго, иногда до утра, разговаривают, он подслушивал, но не расслышал. Гепеушник его одобрил в принципе, но посоветовал не разбрасываться, быть целеустремленной, по-дружески наставил: «Чужая блоха не кусает, ловите своих блох».

В голодные годы после головокружения от успехов Теодор был прикреплен к распределителю милиции, люди об этом шептались, но серьезных выводов для себя из этого не сделали, обезволили, что ли. Карточки в распределителе нас берегущих отоваривались довольно прилично, хлеб выдавали по полуторной норме (семьсот пятьдесят граммов на человека, восемьсот по детской карточке, у Теодора почему-то была детская карточка), по праздникам хлеб выдавали белый, каждую субботу — кило крупы (пшеничной

или гречневой), полкило маргарина, пачку сахара, бутылку подсолнечного масла, кило мяса или рыбы. Другие могли это все увидеть только в сладком сне. Марта Генриховна с немецкой изобретательностью и скарედностью так распределяла продукты, чтобы хватило на всю неделю. Может быть, Теодор и объяснял жене, каким образом он оказался прикрепленным к распределителю милиции, но, вернее всего, не касался этой темы, и Марта Генриховна его не расспрашивала, и без того в это тяжелое время было у нее немало домашних забот.

Как десять лет назад, в городе снова был голод. И был он страшнее того, первого. Людей не кормили, а голодать запрещалось. Милиция вылавливала хлебобобов, хлынувших из села в город в поисках куска хлеба. Это были не кулаки, это были не подкулачники — тех выслали, — это была сельская украинская беднота. Вифлеем России, ее житница — Украина бедовала без хлеба. Ее села обезлюдели. Чума коллективизации справляла свой пир на полях Новороссии, Киевщины, Полтавщины, Сумщины. Нынешний голод не только был страшнее того, первого, когда начали править большевики, — он был другим. В ту ужасную пору можно было, сложившись, нанять подводу, поехать в село, еще лучше — в немецкую колонию, обменять одежду, обувь, белье, столовое серебро на муку, — теперь по улицам нищего, голодного города ползала в поисках пищи нищая, дистрофическая, голодная деревня. Десять лет назад были еще в каждой семье золотые часики или кольца, бархатные портьеры, чтобы в обмен на них получить хлеб, — теперь таких семейств было мало, и именно они обеспечивались государством, а у большинства осталась только бумага, денежные знаки, символы, и трудно было приобрести за эти знаки темно-коричневый кирпичик хлеба.

Понимала ли власть, что она делает? Понимала, и понимала яснее, чем это представлялось жителям, потому что жители умнее в области жизни, а власть — в области смерти. Власть, чтобы остаться властью, должна была экспериментально изучить возможность человека голодать, установить правильные нормы голода, она производила этот эксперимент и в масштабе одной шестой планеты, и в масштабе одной комендатуры, и в масштабе одного концлагеря. Она, власть, скакала на рысях, чтобы свершить большие дела, она должна была уничтожить миллионы русских и украинских хлебобобов, грузинских виноградарей, среднеазиатских дехкан, всех, кто столетиями проникал в тайны

земли ради прокорма, ради безбедной жизни, всех умных, трудолюбивых, знающих. «Иди, иди, дитятко, к моей теплой и большой пазухе, — как бы говорила власть своему народу, — делай только то, что надо мне, и я тебя накормлю немного, а не то — подохнешь». И народ, разумный и добрый, пока не понял безумной и злой сути власти, подышал.

Вот в эти голодные годы и начали собираться у Кобозевых молодые люди. Андрея Кузьмича гости видели редко, он обычно уединялся в своей комнате, иногда чертил, иногда читал, чаще думал о чем-то своем, сладко покаясь в кресле, а свет в комнате был разноцветный — от зеленого абажура, от пурпуровой и розовой лампадок, теплившихся перед образами.

У Кобозевых было чисто, хорошо. Когда мать ушла с помкомроты, Лиля взяла на себя обязанности хозяйки. Она и зарплатой отцовской распоряжалась по своему разумению, Андрей Кузьмич ей подчинялся во всем. Отец и дочь любили друг друга, Андрей Кузьмич — печально и безвольно, Лиля — покровительственно, но высшей, духовной близости между ними не было. Лиля была пионеркой, потом стала комсомолкой, она добилась этого, несмотря на всем известное свое непролетарское происхождение, добилась беззаветной преданностью, сверхактивной общественной работой. Она ходила в красной косынке, одевалась нарочито грубо и аскетически, выступала на собраниях, клеймила, кричала, декламировала. И вдруг произошел переворот. Жильцы дома Чемадуровой ахнули, когда однажды Лиля появилась в нарядном платье, и молодые ценители увидели, что у нее красивые ноги. Она стала красить губы (правда, чуть-чуть), завела прическу, выпустив, как тогда полагалось, перед ушами крупные каштановые запятые. Студент художественного института, до этого смотревший на нее с вызывающим презрением, Володя Варути влюбился в нее, но Лилю, видимо, не очень привлекала его длинноресничная румынская красота. У Володи оказался соперник, близорукий студент-филолог Эмма Елисаветский, чью фамилию шутники несколько опрометчиво перевели на украинский язык так: Ледверадянський. Эмму и Лилю связывало то, к чему Володя был равнодушен и непричастен.

Случилось так, что два молодых человека и две девушки решили заняться изучением марксизма по первоисточникам, в подлиннике. Затеял это оказавшееся опасным дело, чтобы разобраться во всем, что происходит вокруг,

Иван Калайда, ухаживавший за подругой Лили по университету Олей Скоробогатовой. Эти четверо и составили, как через два года сформулировал следователь Шалыков, ядро кружка.

Иван принадлежал к новой, советской аристократии города. Старший брат Ивана, Алексей, был расстрелян деникинцами в один день с Костей Помоловым. На Романовке средняя школа носила имя Алексея Калайды. Иван успел участвовать, шестнадцатилетним парнишкой, в гражданской войне. Он значился среди основателей комсомола нашей губернии и даже некоторое время был секретарем комсомольского губкома, редактором газеты «Молодой пролетарий». Его сняли с работы в 1928 году за то, что он подписал какой-то троцкистский документ — декларацию или что-то в этом роде. Время еще не затвердело, из партии его не исключили, даже предоставили ему должность библиотекаря в университете. Если учесть, что в двадцать восьмом году в городе была безработица, а у Ивана не было никакой профессии, ничего, кроме партийного билета, то надо признать, что с ним поступили по-божески. Он жил в домике на Романовке, мать его умерла давно от тифа, отец, работавший вагоновожатым трамвая, часто менял жен, черпая их из клубно-заводских кадров, выпивал, играл на трубе в клубном духовом оркестре и очень кичился своими сыновьями, живым и особенно мертвым. Служебное падение Ивана было для него тяжелым ударом.

Иван был противником нэпа. Он считал его концом революции. Когда открылся в городе большой (частный) гастрономический магазин, в окне которого был выставлен портрет Ленина, освещенный лампочками и окруженный заманчивым муляжем, среди комсомольцев распространились стихи, приписываемые Ивану. Молодежь, подчеркивая свою горячность и смелость, с особым чувством произносила строки:

*Кто ж тебя поставил здесь, учитель,
В ореоле краковских колбас!*

Иван имел перед друзьями то преимущество, что был старше их лет на шесть, обладал как-никак опытом участника гражданской войны, ответственного партийно-комсомольского работника. Оля Скоробогатова, дочь механика пассажирского парохода «Кахетия», светловолосая, сероглазая и такого высокого роста, что только рядом с Иваном

могла спокойно стоять и ходить по земле, любила своего властелина так, что вдруг посреди занятий, забыв о присутствующих, наклонялась к нему и целовала ему руку. Они не жили вместе только из-за отсутствия пристанища: у Оли было несколько сестер и братьев, семья скученно теснилась в двух смежных комнатах коммунальной квартиры, а к себе Иван не хотел приводить Олю, потому что слишком часто менялись мачехи, да и отец — пьяный через день. Оля в гораздо меньшей степени интересовалась Карлом Марксом, чем Иваном Калайдой, но она не была балластом для кружка, отличалась здравым смыслом, хорошей памятью, только мало говорила и уж, во всяком случае, не кричала так, как Лиля.

Они изучали Маркса, надеясь наконец понять: когда государство рабочих и крестьян отступило от марксизма? Тогда ли, как уверяли Плеханов и Роза Люксембург, когда оно родилось в 1917 году под знаменем ткачевщины и установило однопартийную систему? Тогда ли, когда Ленин, как уверял Иван Калайда, всерьез и надолго объявил новую экономическую политику? Тогда ли, когда начался год великого перелома? Тогда ли, когда, как пылко настаивала Лиля Кобозева, Сталин провозгласил себя вождем?

Капиталистическое общество, учит Маркс, обесчеловечивает рабочего. Социалистическое общество, по мысли Маркса (Эмма упорно его называл Мордухаем), призвано вернуть рабочему во всей полноте его человеческую природу. Почему же у нас, в стране победившего социализма, рабочий стал рабом? Быть может, потому, что марксизм не подходит крестьянской России, — недаром по-русски слова «рабочий» и «раб» одного корня? Или, быть может, потому, что исказили великое учение Маркса, оторвали его учение от гегельянского идеализма, для которого человек был наивысшей ценностью? А может быть, беда в самом марксизме, беда в том, что для Карла Маркса человек не венец творения, а продукт общества, класса, и, значит, изменив общество, можно получить другой продукт, и Ленин, а потом Сталин, как грубые деревенские костоправы, ломали общество: это было им нужно, а человек, конечный продукт, их не интересовал.

Иван спорил наставительно, как мыслитель, давно познавший истину и теперь получающий авторитетное подтверждение своей правоты, Лиля — со старообрядческой, аввакумовской страстностью, Оля вставляла одно-два слова, и всегда к месту, Эмма ограничивался тем, что перево-

дил с немецкого, быстро и точно, но при этом непонятно посмеивался и излишне понятно смотрел беспомощно влюбленными близорукими глазами на Лилию Кобозеву. Иногда Эмме помогал переводить Миша Лоренц, охотно допускаемый на бдения квадриги, — так они сами себя прозвали, и это использовал впоследствии следователь Шалыков, их дело так и называлось: «Дело контрреволюционной квадриги».

Володя Варути набрасывал портреты присутствующих, и, конечно, моделью чаще других служила ему Лилия. С удовольствием делал он рисунки и с Андрея Кузьмича, который изредка заходил в комнату молодежи — послушать, попить чайку. Странно, что этими рисунками не воспользовались органы, — работа органов оказалась низкой квалификации. Впрочем, нужна ли им была высокая квалификация?

Володя сам себя называл примитивистом. Володины картины не допускались на выставки студенческие, молодежно-республиканские, но у него уже были поклонники. Еще большее количество было у него поклонниц, и Эмма Елисаветский, возможно из зависти, уверял, что причина успехов Володи не только в его красоте, но и в легком занятии, которое в женщине прибавляет к желанию жалость, а женская жалость — великая сила. Над передвижниками Володя беззлобно-высокомерно смеялся, но и к левым он подходил с разбором, Кандинского и Малевича скорее недолюбливал, хотя и признавал их ранние вещи. Его учителями были таможенник Руссо и Пиросмани. Образцом Володе служили базарные вывески, лубок. Он даже Лилию однажды изобразил как часть вывески сельского цирюльника. Себя и мадам Варути он кормил изготовлением огромных изображений вождей и плакатами для кинотеатров. Делал он это посредственно, доставал работу с помощью Олега Лиходзиевского, ловкого ремесленника, и, по настойчивой просьбе Олега, несколько раз приводил его к Кобозевым.

Изучение Маркса длилось года два и закончилось насильственно. Каждый пил, что называется, из своего стакана. У Володи Варути увеличилось число портретов Лили, нарисованных отнюдь не примитивно: как бы ни были грубы краски, а все же создавалось впечатление юной пылкости. Недурны были и рисунки, сделанные с других, особенно черно-цветные портреты Андрея Кузьмича, живо сочетались между собой черты его извозчичьего-интеллигентского лица, растерянного и чего-то ожидающего. Ми-

ша Лоренц незаметно для себя накапливал кирпичи того здания, которое он пока еще не собирался возводить. Для Ивана Калайды основоположник оказывался порою слишком правым, выходило так, что диктатура пролетариата считалась Марксом вынужденной и непременно кратковременной акцией, в то время как Троцкий, кумир комсомола, властно провозгласил: «Царству рабочего класса не будет конца». Лиля, наоборот, в правизне Маркса, особенно ошутимой среди советского ожесточения, бесправия, нищеты, видела источник человечности и справедливости. Ее радовало, что Маркс предупреждал, чтобы оружие критики не заменялось критикой оружием.

Неожиданно, как-то дико высказался наконец Эмма Елисаветский. Это произошло незадолго до их ареста. Володя, который в этом деле откровенно и кичливо ничего не понимал, и тот решил, что Эмма порет чепуху, лишь бы показаться интересным, оригинальным в глазах Лили и мимоходом унизить его, Володю. Все в квадриге были ошарашены, возмущены, и только Андрей Кузьмич и Лоренц услышали в торопливой речи Елисаветского слова необщие, мысли свои, а не усвоенные.

— Не было философа, — смешно передвигая по комнате свои короткие ноги и впервые волнуясь, говорил Эмма, — более близкого России, чем еврей Маркс. Крепостную Русь и Карла Маркса объединяет отсутствие интереса к личности, к отдельному человеку, созданному по образу и подобию Бога. Кстати, хотя это из другой оперы, — вы знаете, чем объясняется упадок живописи во всем мире? Победой, утверждением атеизма. Живопись по самой своей сути — искусство религиозное, антропоцентричное. Раз все условились, что Бога нет, то, значит, нет образа, а если нет образа, то не может быть и его подобия. Нет человека, нет и природы, увиденной глазами человека, есть геометрия, конусы, квадраты, круги.

— Эмма, да побойся ты Иеговы своего или как его там зовут, — прервала Оля. — Если ты решил нас эпатировать, то я от тебя ожидала большего остроумия. Какая связь между модернистскими художниками и Карлом Марксом?

— Есть, есть эта связь, — горячо, быстро подхватил прерванную ниточку Эмма. Чувствовалось, что он сейчас говорит вслух то, что мысленно, наедине с собой, говорил уже не раз. — У тех мазилок вместо человека — геометрия, у Маркса вместо человека — молекула вещества, именуемого классом, коллективом. Поскольку все свойства веще-

ства имеются в молекуле, в Марксовом выдуманном человеке имеются все свойства того класса, к которому принадлежит человек, Маркс не хочет понять диалектику: человек выше класса, коллектива, человек — такая частица вещества, которая больше самого вещества, ибо человек есть и вещество и вместилище божественного духа. Русские помещики считали, что у них столько-то крепостных душ. Это вздор: ни одна человеческая душа им никогда не принадлежала. И люди не принадлежат классу. А марксистская проповедь интернационализма как раз основывается на том утверждении, что людей объединяет не нация, а их принадлежность к классу, а классы, мол, есть в каждой нации. Человечество действительно интернационально, но Маркс, не желая видеть черты лица человеческого, видит признаки интернационализма в том, чего нет, — в классах общества, то есть в условном, отвлеченном. Ничто земное, вещественное людей не объединяет. Люди отдельны вне Бога. Людей объединяет трансцендентное: Бог. А в качестве плоти люди отдельны. Они разнствуют, как планеты, как миры. И есть на земле только одна сила — для простоты назовем ее электромагнитной, — которая связывает людей. Эта сила — нация.

— Выпендриваешься, Эммануил? — спокойно спросил Калайда. Красивая комсомольская ярость росла в нем.

Речь Эммы стала еще торопливей.

— Иван, твой любимый самоубийца признался, что диалектику учил не по Гегелю. А жаль. Потому что по Марксу ее не выучишь. Маркс не понимал, что только цветущий ствол национального самосознания принесет нам плоды интернационализма, то есть всечеловечности. Пока мы дикие, мы не знаем, что мы не стадо, не стая, не гурт, что мы, люди, едины, ибо мы есть воплощение Бога на земле, и нет множественности у души, есть единая душа всего человечества. Чтобы слиться с ней, надо ее познать, а познать ее мы, слабые, можем, познав сначала нечто более простое, а именно — душу нации, потому что вне нации человек не существует в обыденности, в бытовании. Юная женщина, жена бедного ремесленника, играла со своим мальчиком в назаретском дворике с той же счастливой лаской, что и молодая костромская крестьянка со своим ребенком, но слова у них были разные и глаза сияли по-разному, ибо каждая женщина — Богоматерь, единая у всех душа — и множество обликов. Только познав душу нации, мы можем познать

и самое сложное — единую душу человечества, Абсолют, Бога.

Слушая Эмму, его друзья переглядывались, на губах зарождалась улыбка, но тут же исчезала. Вроде бы глупость — Бог и прочее, а ведь Эмма искренен, он что-то хочет найти, хотя ищет не там, где нужно, впустую. Такой начитанный, так много знающий, а плетет ерунду. Эмма чувствовал, что теперь он потеряет друзей, но — в отчаянии — продолжал:

— Точно так же, как Карл Маркс, не дорос до национального самосознания и русский народ. Боюсь утверждать, но думаю, что на русских здесь оказало влияние монгольское владычество. Многие ставят в заслугу Чингисхану и Чингисидам их веротерпимость, равнодушие к религии. Веротерпимость прекрасна, но равнодушие к религиозным вопросам есть дикость. Вот потому-то веротерпимость наших узкоглазых господ так странно сочеталась со звериной жестокостью. Вот потому-то и пришли некогда всесильные монголы в упадок, что не доросли еще до национально-религиозного самосознания. В Европе национальное самосознание не было религиозным. Наоборот, оно возникло именно тогда, когда Французская революция начала уничтожать Бога в человеке, но человеку нужна связь с человеком, а на обломках средневековья возникло, утвердилось понятие нации — пока еще связи людей без Бога. Русский народ — единственный из европейских народов, родивший пророков, как древний Израиль, но в железном девятнадцатом веке. Исайя и Иеремия проповедовали изустно, а Толстой и Достоевский — с помощью печатных книг. Богооткровенные мысли пророков дошли до нас, в некоторых случаях, в искаженном виде, что вполне естественно для любой мысли, веками бытовавшей изустно, а впоследствии даже не в подлиннике, как бы ни был честен перевод. Забываются реалии, метафоры, аналогии, рожденные бытом, скажем, пастушеским и уже непонятным не то что мирянам, но и пастырям, жителям городов. Все мы zapomнили: «Верблюду не пройти через игольное ушко». Красивый образ основан на ошибке переводчика: речь шла не о верблюде, а о канате. Кстати (или некстати), у арабов слово «красота» и слово «верблюд» обозначаются одинаково — «джамиль», ибо для кочевых бедуинов не было ничего прекраснее этого двугорбого животного, но вряд ли понравится Лиле Кобозевой, если кто-нибудь из нас ей скажет: «Вы красивы, как верблюд». Я хочу сказать, что время,

пространство, перевод и ограниченный ими человеческий разум способны постепенно переиначить любую мысль, даже богооткровенную, а тем более такую, которая живет изустно. Вот было сказано: «богоизбранный народ». Разве истинно верующий человек может признать, будто Бог из всех людей отметил, возвысил надо всеми евреев? Мысль грубая, языческая и по существу — атеистическая. Бог есть человечество, а человечество есть Бог. Если бы Бог решил избрать, в смысле — возвысить, какую-нибудь человеческую общность, то он перестал бы быть Богом, он стал бы дьяволом. Если Бог избирает, то не для возвышения, а для страдания. Конечно, страдание человека и есть его возвышение, но духовное, а не сословно-иерархическое. Животное страдает, когда мучается его плоть, а Бог и человек — когда темна, бесприютна душа. Бог говорил устами пророков, и уста эти не замолкли, Бог говорит, сейчас говорит, сегодня говорит. И если Бог обрекает народ на муки, то это означает, что он с народом говорит, он избрал его для беседы. Евреи страдали страданием человечества, и страдания эти кончатся только тогда, когда человечество навсегда сольется с Богом. Нет народа богоизбранного, — речение изустного сказания искажено. Нет народа-богоносца: Достоевский, сам того не сознавая, искажил христианское учение, пророк кощунствовал. Человечество потому и есть Человечество, что все оно — все нации и языки вместе — богоносно. И пророки бывают ограниченными. Достоевский решил, что богоносен только русский народ, а как же быть с весью и чудью, с татарами и мордвой, с половцами и черкесами, с немцами и поляками, чья кровь жарко и сильно течет в русских жилах? Озаренный божественной мыслью, Достоевский убоился продумать ее до конца, и отсюда вырос его антисемитизм. У каждого народа, многочисленного и крохотного, цивилизованного и поголовно неграмотного, есть свое понимание прекрасного, а значит, и Бога, и в этом — чудная, младенческая прелесть земной жизни, но ни у одного народа нет привилегии на Божье избранничество. Патриарх Никон был мордвином, а боярыня Морозова — русской, но из этого не следует, что никониане хуже понимали Бога, чем старообрядцы. Все мы Божьи избранные — и многочисленные русские, и крохотное племя И в горах Китая, ибо мы едины, как один Бог. Вот вы меня слушаете, и я отлично вижу, что мои слова кажутся вам вздором. Я не обижаюсь, поверьте мне. Более обидно, что русское общество, гордясь гением Толстого и Достоев-

ского, считало и считает если не совершенным вздором, то простибельной слабостью их богословские рассуждения. Между тем гораздо менее образованные евреи древности, не всегда соглашаясь со своими пророками, равнодушно им никогда не внимали. Русские же отнеслись к своим пророкам чрезвычайно странно. Интеллигенция, вяло ответив на их жгучий, богооткровенный глагол редкими и малочисленными толстовскими общинами, отвернулась для дел, казавшихся ей более важными, более прогрессивными. Что же касается русской толпы, то ее национальное самосознание не боговнушаемо, оно проявляется главным образом негативно. Русская толпа не говорит: «Мы русские, потому что по-русски понимаем Бога, жизнь, любовь, мир». Она уж если заговорит на эту тему (я, конечно, исключая великих одиночек, таких, как Тютчев, Хомяков, Владимир Соловьев), то непременно скажет: «Мы — русские, потому что другие — не русские: басурмане, жидаы, грузины, немцы, поляки, хохлы». Разве это национальная идея? Это идея стада, гурта, стаи, отары. Так у животных в киплинговских джунглях был клич: «Мы одной крови — я и ты». Между тем — и в этом сложность — вне нации нет бытования человека.

— Эмма, вы повторяетесь, — сказала Лиля.

Выходка Елисаветского ее неприятно поразила, и тем неприятней, что он ей немного нравился. Только ее отец и Миша Лоренц слушали Эмму серьезно. Эмма почти кричал:

— Этой мыслью надо освежить ваши головы, заталмуженные марксизмом. Человека на земле нет вне нации не потому, что он частичка нации, а потому, что все мы, будучи подобны Богу, не подобны друг другу. Вот мы большеглазы — и похожи на Бога, вот мы косоглазы — и похожи на Бога, вот мы белые, а те — черные, а те — желтые, мы такие разные, но одинаково похожи на Бога. Нет народов великих и малых, талантливых и заурядных. Все мы — одна душа, все мы соучастники в том, что создано. Среди греков когда-то родились великие философы, драматурги, ваятели — теперь они там не рождаются. Нет уже давно, как в прошлом, великих итальянских или голландских художников. Можно допустить, что впредь больше не будет гениальных русских писателей. Ну и что же? Есть Бог, значит, будут, всегда будут гениальные, великие люди. Ведь эти греки, итальянцы, голландцы, русские суть проявления божественного духа, который живет во всех — слы-

шите, — во всех людях. Я читал, что где-то на Севере есть племя, численность которого равна шестистам человек. Так вот, без этого племени мир не может существовать, не было бы Гомера, Аристотеля, Данте и Шекспира, Толстого и Достоевского, не будь в заполярной тундре этого маленького, бедного племени. В кровеносной системе человеческой культуры и поныне бьется горячая, живая кровь этрусков или римлян. Поймите же: уничтожение племени есть попытка дьявола уничтожить Бога!

— Бред, — опять прервала Эммину нить Оля.

Но Эмма уже не мог остановиться:

— На днях газеты сообщили, что в Германии пришел к власти какой-то Гитлер, вождь немецких фашистов. Для него тоже, видимо, если судить по нашей прессе, нет человека вне нации, но он решил, что немцы — высшая нация, нация господ, а все мы — будущие рабы немцев. Этот Гитлер начисто лишен национального самосознания, он движется не вперед, к единой всечеловеческой душе, а назад — в гурт, в стадо. Как может быть одна нация выше другой, когда все нации суть прекрасные, неповторимые проявления единого Бога?

Ивану Калайде болтовня Эммы начинала надоедать. Нечто несуразное, уродливое было в этом быстром словесном потоке. Эмма раньше был ему симпатичен, теперь Иван понял, что ошибся. Он спросил, с трудом себя сдерживая (одна только Оля понимала, как он разгневан):

— Ты можешь дать определение пресловутому национальному самосознанию? С чем его едят, Елисаветский? Сформулируй.

Эмма посмотрел на них, увидел негодование в глазах близких друзей — негодование или презрение? Только глаза Лоренца и Андрея Кузьмича были полны любопытства и сочувствия. Эмма подумал и сказал неожиданно медленно и тихо:

— Я, человек, созданный по образу и подобию Бога, проявляю на земле свою божественную суть через посредство своей нации. Вот это и есть национальное самосознание.

Иван пожал плечами. Время потеряли зря из-за этого оглашенного. Он издевался над ними или всерьез порол свою чепуху? Все равно, собираться в дальнейшем надо будет без него.

Но больше им не пришлось собираться.

Глава десятая

Воскресным утром Лоренц вытащил из ящика украинскую газету (на русскую подписаться не удалось), из нее что-то выпало. Ему хватило ума спрятать открытку от родителей и прочесть ее, уединясь. Он узнал, что Лоренц Михаил Федорович должен явиться такого-то июля 1933 года в одиннадцать часов утра по адресу Мавританская, два, к следователю Шалыкову, комната восемнадцать.

С той ночи как арестовали участников марксистского кружка, прошло больше месяца. Естественно, что Лоренц ждал обыска, ареста. Ему нужен был совет, но с кем он мог поделиться тайной? Она была опасна и для него и для собеседника. Володя Варути, замешанный в это дело в той же мере, что и он, неожиданно исчез. Мадам Варути лепетала нечто невразумительное о бригаде художников, посланных на село. Она была очень напугана, об аресте Лили Кобозевой — ни слова.

Плох был Андрей Кузьмич. Гепеушники, производившие обыск, оскорбляли его, оскорбляя при нем Лилию. Они пришли после полуночи, кончили к утру. Лилию увели быстро, задолго до окончания обыска, не дали ей как следует попрощаться с отцом. «Шлюха, не задерживай машину, шофер, думаешь, не человек!»

Все для них было важным, значительным, даже портреты обеих жен Андрея Кузьмича, даже Лилины конспекты, записи университетских лекций. Один из них сперва отнесся к Андрею Кузьмичу как будто без злобы, спросил: «Дело житейское, где у вас туалет?» Он увидел Часослов екатерининских времен, Кобозевы сохранили старинную книгу и привезли ее сюда в начале прошлого века, когда старообрядцев сослали в Новороссию, сравнительно недавно окончательно завоеванную у турок. «Ваша книга или дочери?» — спросил гепеушник и, услышав ответ, сказал с искренним презрением: — Инженер, вуз кончили, а темнее самого отсталого колхозника. Теперь икон да лампадок ни в одной культурной хате не сыщешь».

На работу Андрей Кузьмич пока не ходил: помогли соседи, дали в лапу знакомому участковому врачу, он устроил Кобозеву бюллетень. Чемадурова кормила его, как маленького. Он все поглаживал висевшую у него на груди на шнурке какую-то подвеску, — нет, не крестик, амулет старообрядческий, что ли. Он заговаривался, ни с того ни с сего стал вспоминать одну из квартир на Мавританской, где

сейчас разместился НКВД: «Я там бывал часто у Зоси Амбражевич, ухаживал за ней, когда был гимназистом, я, поверите ли, был очень влюбчив, а она — красивая, полька и все такое. Она теперь в Бельгии, у них там завод, старухой, наверно, стала. У отца тоже квартира была, поверите ли, большая, но мрачно было у нас, а у Амбражевичей — штофные обои, гобелены со всякими пастушками и маркизами».

Дворник Матвей Ненашев, очерстевший на своей нечистой работе, сказал ему напрямик:

— Не вернется ваша Лилька. Как попала на Мавританскую, считайте, что нет у вас дочки. Женитесь. Не для чего-либо, а для чистоты в квартире.

Андрей Кузьмич ответил ему укоризненно:

— Наша вера не позволяет нам в третий раз жениться.

По ночам он долго молился, и от чудных, не старящихся слов, от двоеперстного знамения, от лампадки перед ликом мирликийского чудотворца ему становилось легче, к утру он засыпал. Для спасения дочери он ничего не предпринимал, не ходил в бюро пропусков, не просил о свидании. Передачу ежедневно носила Чемадурова, но у нее не брали. Андрей Кузьмич как-то ее обидел — пристально взглянув на кольцо на ее толстом пальце, сказал:

— Не кольцо украшает руку, а то, что рука щедро дарит.

И это она, деятельно-добрая, должна была слышать от него, от безвольного и вялого! И она ему ответила, мягко улыбаясь:

— Дурак ты у нас, Андрей Кузьмич! Потому тебя и жены бросали, что дурак. А перед Господом — умный.

И Андрей Кузьмич поцеловал ей руку.

Весь этот месяц Миша ждал, что придут его арестовать, но пришла открытка. Он решил посоветоваться с Цыбульским.

Рашель была дома: Миша забыл, что сегодня воскресенье. При ней, Миша чувствовал, говорить не надо. Цыбульский, в голубой майке, пил пустой чай. Мелко поблескивало колючее серебро его кудлатой головы.

— Здорово, Миша, — ответил он на приветствие. — Люблю аккуратистов. — И объяснил Рашели: — Мы с ним решили пойти искупаться, на камушки.

Рашель гладила железным утюжком толстовку Цыбульского, тщательно выпрямляя парусиновые складки. Она посмотрела на Мишу ласково-безразлично. Она и на мужа теперь всегда смотрела именно так. Чужая порода. Не враж-

дебная как будто, а чужая. Так на крестьянском дворе кошка смотрит на козу.

Они пошли молча, миновали Николаевский проспект, пересекли Кардинальскую, спустились к Пушкинской, мимо школы, где учился Миша, свернули по Полтавской, и вот уже слева — старые стены казармы, мимо которых, может быть, ночью возвращался с морской прогулки, с Платоновского мола, Пушкин, а потом, может быть, везли Лизогуба или Степана Халтурина, и вот красноармейцы выглядывают из раскрытых окон, еще немного пройти — и будет великолепная Мавританская и направо то здание, куда завтра к одиннадцати утра должен явиться Миша Лоренц.

В Екатерининском парке около памятника великой императрице (теперь — обелиск в честь жертв революции) Цыбульский спросил:

— Ты ко мне пришел по поводу Лили?

Миша показал ему открытку. Цыбульский внимательно ее прочел — Мише показалось, что два или три раза.

— Миша, ты хочешь моего совета?

Миша тревожными глазами ответил: да, да.

— Во-первых, не бойся. Будешь бояться — пропадешь. Тебя вызывают как свидетеля. Конечно, они легко могут превратить тебя в обвиняемого. Будь к этому готов. Отвечай на вопросы кратко. В подробности не вдавайся. Любое лишнее слово может погубить тебя, погубить твоих товарищей. Ни одного имени не называй сам. Не старайся следователю понравиться, остроумием например. Тебе предложат стать осведомителем. Откажись спокойно, не возмущаясь, но твердо. Когда сильно прижмут, так, что дышать не сумеешь, скажи: «Не хочу». Помни: они знают мало. Сделай так, чтобы после твоего ухода они знали столько же, сколько до твоего прихода. И еще помни: следователь — сволочь. Не сволочь в следователи не пойдет. Не пугайся его угроз, пугайся его ласки...

Камушками назывались опрокинутые морем между портом и Графским пляжем остатки развалившихся дамб. Здесь было глубоко у самого берега, поэтому сюда не приходили семьи с маленькими детьми, было сравнительно тихо. Глядя на скроенное кое-как, но крупное, здоровое пятидесятилетнее тело Цыбульского, Миша устыдился своей впалой груди, тонконогости. Они поплыли, Миша отставал. Он самому себе показался щепочкой, веточкой, и не по своей воле он плыл, а волна передавала его другой волне.

Когда они легли спинами кверху на камни, неровно покрытые скользкой зеленью, Цыбульский тихо спросил:

— Что происходило у Лили? Чем занимались?

— Изучали Карла Маркса. В подлиннике.

Цыбульский рассмеялся:

— Я тоже как-то попал в тюрьму за изучение Карла Маркса. Просидел всего полгода. Наверно, потому, что изучал не в подлиннике. Как ты думаешь?

Цыбульский повернулся на бок и прошептал:

— Пораскинъ умом, прикинъ, кто провокатор.

Миша сомкнул мокрые ресницы. Солнечный свет преобразился в лиловатые пятна с золотой каймой, набухшие у самых глаз. В этих лиловатых пятнах возникли Кобозева (она ему втайне нравилась, но он понимал, что ей неинтересен), Оля Скоробогатова, высокая, с обескураживающим целомудренным взглядом серых глаз, с тонкокожим лицом, на котором виднелись веснушки и прыщики, слегка припудренные, уверенный в себе, статный, плечистый, твердый в своих убеждениях Калайда, спокойный, добродушно-насмешливый Эмма Еле-Советский. Нет, нет, из них — никто. Володя Варути, товарищ детских лет? Исключается. То, что Володя внезапно покинул его, уехал из города, — конечно, трусость, но нет, нет. Лиходзиевский? Может быть, но он бывал редко, опасных разговоров при нем не вели. А впрочем, все ли разговоры упомнишь?

На другой день он выходил из помещения бюро пропусков, держа в руке новенький паспорт (их недавно стали выдавать в обязательном порядке всем городским, вернулись к царским обычаям) и пропуск. Миша повернул направо. К парадному ходу вело несколько ступенек. Перила на лестнице сверкали белизной. Комната восемнадцать оказалась на третьем этаже. Никаких штофных обоев, гобеленов, только необыкновенно — для советского учреждения — тихо и чисто. Двери — такого же белого цвета, как и перила на лестнице, — очень высокие и широкие, двустворчатые, с мордочками фавнов по краям. Вот и табличка: «Г.Г. Шалыков». Миша вошел.

— Надо сперва постучаться.

Это сказал ровным голосом сидевший за письменным краснодеревым столом молодой еще человек, светлый блондин с глубокими залысинами, роста скорее среднего, одетый по тогдашней партийной моде во френч. Миша показал ему открытку.

— А, это вы. — Он слегка шепелявил. — Я вас вызвал, чтобы услышать ваши показания по делу контрреволюционной квадриги.

Он брал быка за рога. Никаких предисловий. Миша это понял, но сердце его сжалось, стало страшно.

— Садитесь. Что означает слово «квадрига»?

— Четверка, четверица. Того же происхождения более распространенное слово «квадрат».

У Миши отлегло от сердца. Он сразу очутился в своей сфере.

— Так, хорошо. Значение слова «квадрига» вам известно. А с каких пор? Уточним.

— С каких пор я знаю слово «квадрига»?

— Лоренц, не повторяйте моих вопросов, иначе у нас пропадет уйма времени. Отвечайте.

— Латинским я специально не занимался. Читаю, не более того. Думаю, что знаю это слово давно.

— Как давно?

— Точно не скажу. Лет с четырнадцати.

— Не валяйте дурака, Лоренц. Когда вы узнали от участников контрреволюционной группы, что она решила себя назвать квадригой?

— Я впервые об этом узнаю от вас.

— Так не пойдет, Лоренц. Вы заставляете меня заподозрить вас в соучастии, хотя у меня для этого пока нет данных. Я вас вызвал как свидетеля и надеюсь, очень надеюсь, что как свидетель вы отсюда и выйдете. Неужели вы думаете, что мы глупее вас? Вы идиотика из себя строите, скрывая то, что известно весьма многим. Ваши друзья кричали на всех перекрестках, что они — квадрига. Об этом знает даже Лиходзиевский, который интересуется девочками на пляже, а не политикой, и виделся с квадригой всего-то раз или два. А вы, можно сказать, их закадычный друг, не знаете ничего. Глупо, Лоренц. Ладно, оставим квадригу. Когда вы познакомились с Лилей Кобозевой?

Значит, Лиходзиевский. Но что мог накапать Лиходзиевский?

— С Лилей Кобозевой я познакомился, когда она приехала из Ленинграда и поселилась в нашем доме. Это было пять лет назад.

— Вам было известно, из какой семьи Кобозева? Может быть, вы никогда не слыхали, что старожилы до сих пор называют помещение на Покровской магазин Кобозева?

— Я хорошо помню старого Кобозева, деда Лили.

— Хорошо помните? Это интересно. — Шалыков что-то записал.

Лоренц сказал:

— Я родился в доме Чемадуровой и помню всех его жильцов. Не знал, что это интересно.

Шалыков посмотрел на Лоренца с недоумением. Следователь начинал сердиться.

— Часто вы встречались с Лилей Кобозевой?

— Часто. Особенно с тех пор, как мы поступили в университет. Вместе ходили на занятия.

— Чтобы попасть в университет, Кобозева два года работала на фабрике по изготовлению кафельных печей. Вам это известно?

— Смутно. Мы об этом никогда не говорили. Хотя вы правы, я мог бы догадаться. Мы с Лилей ровесники, но она отстала от меня на целый курс. Сейчас я вспомнил, она мне как-то сказала, что в комсомол вступила на фабрике.

Шалыков опять что-то записал.

— Какое впечатление на вас произвела Кобозева?

— Она была активной комсомолкой. — Миша еще что-то вспомнил, обрадовался. — Упрекала меня однажды в том, что я не веду никакой общественной работы.

— Втягивала, значит? Задача студента — прилежно учиться, штурмовать твердыню знаний. А они баламутят, сбивают молодежь с пути. Очень ценю ваше показание.

Вот и сказал лишнее. А ведь Цыбульский учил отвечать коротко.

— С остальными вы познакомились у вашей соседки по дому Кобозевой, знаю. Дайте им характеристики.

— Я не умею. Это не моя область. Я будущий лингвист, а не писатель.

— Хорошо, помогу вам. — Шалыков стал снисходителем. Видимо, он искренно считал, что и писателем может быть, если понадобится. — Что вы скажете об Иване Калайде?

— Он коммунист с незапятнанной репутацией. Брат прославленного героя гражданской войны.

— Вам известно, что Ивана Калайду собирались исключить из партии за участие в троцкистской оппозиции?

— Слышу об этом в первый раз.

— Странно, Лоренц, более чем странно. О чем вас ни спросишь, обо всем вы слышите в первый раз. И вот что интересно. Вы, кажется, человек неглупый, студент последнего курса, а ни разу не подумали: как это брат комсо-

мольца-героя и сам еще недавно секретарь губкома комсомола — теперь всего лишь библиотекарь? Должность низкооплачиваемая, бесперспективная, она для старушки, райского одувана, а не для коммуниста — участника гражданской войны.

Миша смутился. Он действительно никогда не задавал себе этого вопроса. Он, кажется, что-то слышал о прежнем видном положении Калайды, но вполуха. А работа библиотекаря казалась ему даже заманчивой. Шалыков на него посмотрел так, что Миша понял, что следователь заметил его смущение, но жалеет его, не хочет, так сказать, бить лежачего. И как бы желая перейти к другой, более легкой для Миши теме, спросил:

— Что вы знаете об Эммануиле Елисаветском? Кто его родители?

— Я их никогда не видел, никогда не был у него дома. Отец его переплетчик. Эмма рассказывал, что благодаря профессии отца приохотился к чтению. («Что это я? Опять болтаю лишнее!») Слышал, что живут они очень бедно.

— Что значит бедно? Вы, например, живете богато? В советской стране нет ни бедных, ни богатых, пора запомнить. Ваш отец — бухгалтер. Намного ли больше его зарплата, чем у переплетчика?

— У нас квартира лучше. А у них одна комната, говорят, очень плохая. Может быть, у них семья большая, детей много, а нас только трое.

— Может быть, может быть. А то, что Елисаветского называют по-украински Ледверадянським, то есть Еле-Советским, вы тоже впервые слышите от меня?

— Я слышал эту шутку раньше.

— Шутка? Почему по вашему поводу так не шутят?

— Из моей фамилии такого каламбура не получишь.

— Лоренц, вы можете довести человека до белого каления. — Шалыков стал кричать, его шепелявость исчезла, голос высоко и нервно зазвенел. — Не сдастся ли вам, однако, что Елисаветского лучше бы назвать не е л е, а а н т и советским?

— Я никогда не слышал от него антисоветских высказываний.

— Никогда?

— Никогда.

— Мне вас жаль, Лоренц. Вы еще молоды, еще только начинаете лгать, но у лжи, как гласит народная мудрость, короткие ноги, и вы знаете, куда эти ноги вас приведут?

Шалыков нажал кнопку звонка. Вошла девушка в военной форме, приземистая, почти без талии. От нее резко пахло женским потом и духами. Шалыков приказал:

— Тася, достань-ка свое зеркало, пусть он посмотрит на себя.

Девушка, не удивившись приказанию, вынула из верхнего кармана гимнастерки круглое зеркальце и поднесла его к лицу Миши.

— До сих пор краска с лица не сошла, — услышал Миша голос Шалыкова. — Но это хорошо. Совесть не совсем потерял, стыд есть. А ты иди, Тася.

Миша и вправду почувствовал, что щеки его горят. Девушка вышла. Шалыков поднялся из-за стола и снова сел, но уже на той стороне, где сидел Миша.

— Я кое-что вам напомним. Разве даже Ивана Калайду и обеих подруг не возмутило мракобесие Елисаветского, его гимн боженьке Иегове, его кощунственное заявление о Карле Марксе?

Дрожь пошла у Миши по всему телу. Откуда Шалыков знает? Лиходзиевский? Но его не было в тот вечер, когда Эмма говорил о Боге, о нации. Может быть, Володя Варути рассказал Лиходзиевскому, а Лиходзиевский донес Шалыкову? Да, да, Володя ведь не любит Эмму, ревнует к нему Лилю.

— Я жду, Миша, — поторопил его Шалыков, поторопил ласково, назвал по имени. Он был убежден, что Миша уже сломлен.

Но Миша не сдавался, хотя и понимал, что сейчас для него все будет кончено.

— Я не знаю, о чем вы говорите.

Шалыков непритворно рассердился.

— Я с вами обращаюсь как со свидетелем. Но вы всем своим поведением принуждаете меня считать вас виновным в преступной антисоветской деятельности. Выгодно вам такое поведение? Мы вас всех знаем как облупленных. Иван Калайда — заядлый неразоружившийся троцкист, то есть предатель дела революции. Кобозева и Скоробогатова поддались его зловредному влиянию, запутались. Елисаветский — еврейский буржуазный националист. Не скрою, лично вас пока мы не поняли до конца, но пойдем, обещаю вам, сегодня пойдем.

Явная угроза. Мише отсюда не выбраться. К тому же захотелось помочиться. Разрешит ли Шалыков выйти? Миша

постеснялся спросить. Шалыков опять смягчил голос, к нему вернулась шепелявость.

— Упорство, Миша, прекрасное качество, но его надо отличать от упрямства, которое присуще одному малопочтенному животному. Я знаю, что во время вражеской словесной вылазки Елисаветского присутствовали, кроме квадриги, вы и Владимир Варути.

Он не назвал Андрея Кузьмича. Забыл? Или Володя Варути, рассказав обо всем Лиходзиевскому и все же опасаясь его, умышленно не упомянул старика? Как ответить Шалыкову? Миша понимал, понимал ясно, отчетливо, что этот ответ решит его, Миши, судьбу, раскроет ему самому, кто же он, Миша. И Миша сказал:

— Мы довольно часто собирались в таком составе, хотя мои научные интересы находятся в иной плоскости. Контрреволюционных речей при мне Елисаветский никогда не произносил.

Шалыков нажал кнопку. Вошла Тася. Короткие толстые ноги, низкий зад, низко расположенные подушки груди.

— Ивана Калайду ко мне.

Зазвонил телефон. Шалыков поднял трубку.

— Сейчас, Наум.

Он положил трубку и сказал:

— Пойдем, Тася.

Они вышли, но Миша не остался в одиночестве. На него смотрели со стен Сталин и Дзержинский. Сталин улыбался, покуривая, и его улыбка не обещала спасения. Он улыбался, как злой мальчик, который смотрит, как его товарищ мучает котенка, и Миша был тем котенком. Иным казался взгляд Феликса — серьезный, даже уважительный. «Ты должен понять, — как бы объяснял рыцарь, — или ты нас, или мы тебя. Лучше мы тебя».

Миша сомневался, вправе ли он встать, пройтись по большому кабинету, но все же он встал, приблизился к венецианскому окну. В Екатерининском парке играли дети. Миша вспомнил, что правее был Троицкий монастырь, его уничтожили, а он так поэтично белел в купах зелени и цветов. Кто-то сравнил наш город с пестрой турецкой шалью, раскинутой среди пустыни. Хотел бы он жить в монастыре? Монахов Миша уже не помнил, наверно, и не видел их ни разу.

Нестерпимо хотелось помочиться. Можно было в графин, но куда вылить воду из графина? Открыть окно? Страшно. Пиджак у него был всего один, да и тот отцов-

ский, слишком широкий для него, Миша его не любил и не надел, пришел в брюках из рогожки и в рубашке, а напрасно, можно было бы в пиджак. А не выйти ли ему попросту из кабинета? Миша взялся за ручку двери — дверь была заперта снаружи. Видно, Миша не расслышал, как Шалыков ее запирает.

Боль пронзила его с внезапной режущей силой, как будто полоснули его длинным ножом от сердца до ног через пах. Миша сел в кресло, сжался, ему казалось, что так будет легче. Боль действительно немного утихла. Он заснул в кресле.

— Сволочь! Труд уборщиц не жалеешь! Попроситься не мог!

Миша открыл глаза, увидел Тасю. Она стала тяжело бить его по лицу. Ногам было мокро, холодно. Боль, стыд, холод, ужас.

Появился Шалыков. Тася ему доложила:

— Под себя сцит, гад.

Шалыков удовлетворенно посмотрел на Мишу и приказал:

— Пусть введут Калайду Ивана.

Тася вышла, и красноармеец впустил в кабинет Шалыкова заключенного. Калайда сделал от двери два шага и остановился. Боже правый, во что его превратили за какой-то месяц! Недавний комсомольский вожак, высокий, статный, уверенный в себе хозяин страны, — он теперь стоял будто заколдованный злым волшебником. Он придерживал штаны (все пуговицы были спороты) — бессильный, покорный раб. Черты лица по-стариковски заострились. Он посмотрел на Мишу и мгновенно, жалко потупился.

— Повторите, Калайда, что говорил Елисаветский.

Калайда спокойно, внятно пересказал мысли Елисаветского.

— Кто при этом присутствовал?

— Я, Кобозева Лидия, Скоробогатова Ольга, Варути Владимир и он, Лоренц Михаил.

— Как реагировал на антисоветскую вылазку Лоренц?

— Одобрительно.

— В каких выражениях?

— Точно не помню, но одобрительно.

— Неправда! — не выдержал Миша. Он поднялся. Две неровных полосы темнели на его брюках из белой рогожки. — Вы лжете. Как вам не стыдно, Иван!

Калайда сказал все так же спокойно, внятно, без злобы:

— Кому из нас должно быть стыдно? Вы сейчас пойдите домой к папе и маме, а я пойду назад в камеру.

Калайду увели.

Глава одиннадцатая

У Шалыкова было хорошее настроение. Он подзаправился. Миша, конечно, не знал, что все дело затеяли из-за Калайды. Мальчишки и девчонки были приправой. Задание состояло в том, чтобы дискредитировать Калайду в глазах молодежи, и прежде всего той молодежи, что служила в НКВД и для которой само имя Калайды было насыщено воздухом военного коммунизма, пыланием героических лет. Вот куда заводят троцкистские кривые тропки — в буржуазное болото! Эту мысль надо было вбить в молодые головы, еще кое-где кружившиеся при имени Троцкого. Успех Шалыкова был замечателен еще и тем, что Калайда раскололся неожиданно быстро, от него ждали волюнки, а он через две недели после ареста, после третьего допроса уже осознал глубину своего падения.

Когда-то Шалыков работал под руководством Калайды, но его должность, хотя и озаренная пламенем тех годов, была мелкой, чиновничьей: Шалыков заведовал хозяйством губкома комсомола. У него даже не было своего кабинета, он делил комнату с единственной машинисткой, и однажды Калайда вызвал его к себе: машинистка жаловалась, что в комнате создаются невыносимые для работы условия, нечем дышать из-за вонючих мазей, которые Шалыков хранит в ящике стола и втирает в голову, борясь с ранним облысением. Калайда был с ним мягок, чуточку насмешлив, называл его — впрочем, как и все сотрудники губкома, — Ген Генычем (Шалыков был Геннадием Геннадиевичем, насмешка заключалась в том, что комсомольца величают по старинке, по имени-отчеству). В НКВД знали биографию Шалыкова, потому-то именно ему поручили дело Калайды.

Шалыков повел себя умно. Не издевался над бывшим начальником, но в то же время давал ему понять, что и он, Шалыков, не прежний гужеед на хозяйственной работе, он вырос, между прочим, неплохо знает партийную публицистику, в курсе всего, читал и «Уроки Октября» и статьи Бухарина, информирован о борьбе с вульгарной переверзевщиной, с идеалистическими отрывками Деборина и иже с ним.

На допросах Шалыков избрал для себя такую роль: я нахожусь там, где должен быть, а ты, Калайда, немного запутался, но ты образованнее меня, опытнее, враг у нас общий, помоги разобраться. Как знать, может быть, ты опять станешь моим начальником, и это будет вполне справедливо. И Калайда ему доверился и стал играть в той же постановке, что и Шалыков. Он — кстати пришлось — рассказал своему единомышленнику-следователю о вздорной, но тем не менее весьма отвратительной и безусловно враждебной речи Елисаветского. Тогда-то Шалыков понял, что Калайда взметнул белый флаг, что скромный завхоз победил некогда блестящего вожака губернской молодежи.

Раздражало Шалыкова поведение остальных. Эти сопляки оказались тверже закаленного коммуниста. Фигуристая Кобозева говорила с ним надменно, как с лакеем, Скоробогатова была беременна, что несколько осложняло дело, Шалыков с таким случаем сталкивался впервые, не знал, как поступить, а спросить у начальства не было бы наилучшим решением. «Вопрос, заданный наверх, — трефной», — учил его Наум Уланский. Не было Шалыкову ясно и то, что делать с Елисаветским, который тихо, но нагло отрицал марксизм-ленинизм. Конечно, все это были мелкие помехи, главное он выполнил, хоть сейчас мог подать начальству Калайду — зажаренного, с огурчиком и картошечкой. Но очень хотелось Шалыкову получить и Лоренца, опыт ему подсказывал, что такие малахольные приносят органам наибольшую пользу, потому что люди им доверяют.

Но вправду ли Лоренц был малахольным, то есть со странностями, простаком, законным предметом насмешек? В таком случае, что такое ум? Спиноза непременно прослыл бы на нашем базаре глупым, ему всучили бы гнилой товар. Все относительно. Ум прожженного дельца-капиталиста спасовал бы перед трудностями социалистического общества, где, например в торговле, главное — не выгодно продать или выгодно купить, а ловко украсть у государства. В то же время, как знать, советский удачливый ловкач растерялся бы, попади он в условия свободной конкуренции. Шалыков бесспорно был не лишен сообразительности, но если бы он был действительно умен, то со всех ног побежал бы в ту ярославскую деревню, откуда он родом, откуда предки его шли в московские полаты, а он пошел в органы. Но не понял Шалыков, не сообразил, не побежал, и его

потом угнали гораздо дальше, вслед за Калайдой, вслед за всеми, кого он отправлял на каторгу, в ссылку.

А Лоренц так и просился в ряды малахольных, потому что был равнодушен к ученой карьере, вообще к карьере, к деньгам, к благам жизни, не трепыхался, не хитрил, не умолял, не требовал, не пил, стеснялся девушек. Малахольный! Но не раскусил его Шалыков, не так прост был этот студент со слабым мочевым пузырем. Не надо было быть мудрецом, чтобы понять, что сведения поступили к Шалыкову от двоих, от Лиходзиевского и Калайды. Забыл Калайда или не захотел вспомнить, что при словесном взрыве Елисаветского присутствовал Андрей Кузьмич, — и вот уже Шалыков об этом не знает. Только то и знает Шалыков, что ему выбалтывают. Значит, болтать не надо.

А Шалыков видел перед собой сопляка, раздавленного, обосцавшегося, униженного. Один поворот — и яичко будет облуплено, и мы его съедем. Он сел по эту сторону стола и задумчиво сказал:

— Я вас понимаю, Миша. Вы солгали, потому что не хотели выдать товарища. Я имею в виду Елисаветского. Между прочим, он не очень достоин вашей дружбы. Что-то у нас плетет о ваших взглядах на советскую литературу. Но дело не в этом. Эмма парень неплохой. Проблема состоит в том, чтобы вы себе самому ответили на вопрос: где вы — в охранном отделении у жандармского полковника, или вы там, где люди гибнут за то, чтобы вам жилось спокойно, где Держинский отдал свое сердце временам на разрыв? Разве здесь предают? Здесь некому предавать, потому что вы и мы — одно. Калайда, будучи злее вас всех, понял это раньше вас, вы в этом только что убедились, я вас не обманываю. А остальные — и Елисаветский, и Кобозева, и Скоробогатова (бедняжка в положении, мы ее скоро выпустим) — тоже раскаялись, и мы их спасем, они наши, мы боремся за их спасение. Но мы должны и других уберечь от неверного шага, и тут вы можете нам помочь.

— Чем я могу помочь?

— Вопрос вами поставлен правильно, грамотно. Нужна точность. Я предлагаю вам активизироваться, сотрудничать с органами. Мы будем встречаться раз в неделю. Необязательно здесь, можем летом на пляже — у чекистов, вы же знаете, лучший в городе пляж, — зимой, скажем, у меня на квартире или в номере в «Бристоле» за легким ужином. Вас уважают товарищи и педагоги. И мы будем вас уважать. Вы кончаете в этом году. Мы поможем вам устроиться assi-

стендом, посодействуем принятию в аспирантуру, предоставим возможность не задерживаться, получить побыстрее степень, звание.

— Я не могу дать согласие на ваше предложение.

— Почему?

— Я не вынесу такой психологической нагрузки. Первый разболтаю повсюду о своих секретных обязанностях.

— Не верю, что вы такой бесхарактерный. Подумайте, Миша, подумайте. Вы устали. Сейчас вы подпишете обещание, что обязуетесь нам сообщать о контрреволюционных разговорах или поступках, ставших вам известными, — кстати, это долг каждого честного советского гражданина, — и я отпущу вас домой. К папе и маме, как выразился Калайда. А они, наверно, уже о вас беспокоятся.

— Я не могу подписать такое обязательство, оно мне не по силам, я не создан для такого рода деятельности. Отпустите меня. Я действительно устал.

— Еще раз говорю вам: подумайте. Я вас оставлю наедине с собой. Мы сила, мы очень большая сила, с нами — хорошо, против нас — плохо.

Шалыков не хотел, чтобы Миша видел, как он раздражен. Он вышел и запер дверь снаружи. Сталин по-прежнему улыбался, закуривая трубку. О Мише Сталин, видно, не думал. Зато железный рыцарь, куда бы Миша ни пошел по кабинету, следил за ним со стены. В этом взгляде не было ни осуждения, ни злобы, только тьма. А в большом венецианском окне широко светилась земля. Летний день победно догорал. Закат казался пламенем жертвенного костра, и это сжигающее день пламя было не смертью дня, а жизнью дня. «Stirb und werde», — вспомнил Миша слова Гете. «Умри и возродись».

И вот закат потух, день был сожжен, в окне, как всегда на юге, сразу, без постепенного перехода, стало темно, и Лоренц в комнате следователя — как Иона в чреве кита: всюду тьма, тьма.

Часов не было (наверно, так нужно было, чтобы в комнате следователя не было часов), Лоренц чувствовал, что давно прошла полночь. Послышался звук поворачиваемого ключа, кто-то вошел, зажег свет.

Теперь их стало двое: Шалыков и его начальник Наум Уланский, маленький, кругленький, с пухлыми щечками, короткорукий. Он с детской веселостью рассмеялся:

— Гена, ты что, забыл о нем?

Уланский подошел к окну, начал задергивать плотную занавеску, у него не ладилось, он нагнулся, громко издал неприличный звук, мерно пожелал себе: «Будь здоров, Наум Евсеич!» Он хорошо чувствовал четырехстопный хорей. Взглянув на Мишу, Уланский обратился к нему легко, с подкупающей ироничностью:

— В чем тут у вас дело? Давайте разберемся. Почему вы стоите, как раввин на свадьбе пономаря? Гена, чем ты его напугал?

— Да вот, отказывается подписать. — И Шалыков протянул Уланскому квадратный бумажный листок.

Миша понял, что новый, кругленький, по должности выше Шалыкова. Наум Евсеевич удивился:

— Какая чушь! Вы обязаны подписать. Обычная формальность. Как билет в театр. Только дает право не на вход, а на выход. Я не думал, что среди моих земляков найдутся такие гоголевские Коробочки. А еще студент, без пяти минут ученый.

Миша взял из рук Уланского бумажку. Это оказалось набранное типографским способом обязательство. Гражданин не должен разглашать факт вызова к следователю, а в том случае, если ему станет известно об антисоветской агитации или об антисоветской деятельности, групповой или индивидуальной, сообщить...

Миша почувствовал, что сейчас заплачет. «Не подпишу», — хотел он и боялся сказать, но боялся не этих слов, а того, что вырвутся из горла слезы. И когда он понял, что не жалкие были слезы, рожавшиеся в нем, что были то слезы преобразования, он стал сильным и сказал:

— Не подпишу. Ни о чем сообщать не буду.

Шалыков с какой-то воровской быстротой неожиданно оказался перед глазами Лоренца, сдавил тяжелой крестьянской рукой его горло, то горло, из которого еще пытались вырваться слезы, крикнул:

— Подпишешь, в рот!..

Наум Евсеевич, глядя на Мишу понимающим, проницательным взглядом, приказал:

— Отпусти его, Гена. Не такой он поцайло, каким ты его мне изображал. А если вдуматься, так он поступил честно, мог бы подписать, а не сообщать, а он не стал вилать, признался, что сообщать не будет. Да и не всякому коммунисту, не то что беспартийному, незрелому юнцу, по силам наша работа, трудная работа солдат Дзержинского. Но я верю,

Лоренц нам не враг. Он хотя и беспартийный, а по убеждениям коммунист. Ведь правда, Лоренц, коммунист?

Лоренц кивнул.

— Так я сразу и подумал, — обрадовался Наум Евсеевич. — Гена, дай ему подписать бланк.

Шалыков давно, можно сказать, всю свою сознательную жизнь, работал среди евреев, не видел разницы между ними и собой, и только теперь, когда Уланский его так унизил, он в первый раз вспомнил, с какой ненавистью и презрением говорили о жидах возвращавшиеся в свои ярославские края из Москвы разбогатевшие, мордастые полковые. Шалыков достал из ящика другую бумагу, сердито сунул ее Лоренцу. Это тоже было набранное типографским способом обязательство, но в отличие от первого оно ограничивалось тем, что гражданин не должен разглашать факт вызова к следователю.

Миша подписал. Подписал и Шалыков пропуск, посмотрев на свои наручные часы. Миша, растерявшись, сказал: «До свидания». Шалыков, утратив к нему интерес, не ответил. А Уланский пожелал:

— Всех благ!

Коридор был освещен ослепительно ярко. Он был пугающе пуст, но чувствовалось, что работа кипит, во всех комнатах кипит. Сколько раз вспоминал потом Лоренц этот коридор, и бумагу, которую он не подписал, и бумагу, которую он подписал, и «всех благ!» маленького, кругленького Уланского (фамилию которого он тогда еще не знал), и свой позор в кресле, и свой угодливый утвердительный кивок, и лестницу с белыми перилами, и двоицу фантомных личностей в штатском, о чем-то болтавших у самых дверей, и красноармейца, которому он сдал пропуск, и то (о жгучий, вечный стыд!), как он, Миша, почему-то бодро кивнул на прощание этим штатским фантомам, и предутреннюю прохладу, резко повеявшую с моря, из темной глубины Екатерининского парка.

Свобода! Миша свернул за угол. Ему было холодно в летней рубашке. Он опустил закатанные рукава. Серый сумрак нависал над зарождающимся днем. И вдруг, без какого-либо вступительного проблеска во всем своем сказительном, рапсодном могуществе зажглась, заиграла, запела заря. Она была могущественной, но не страшной, она была с детства милой, с детства желанной, как и эта безлюдная, нежно и задумчиво удаляющаяся улица, до боли родная, — маленький мирок, в котором затевался, накапливался, рос

большой, беспредельный мир: и казармы справа, и какое-то наглухо закрытое учреждение, на которое Миша раньше не обращал внимания (Психиатрическая лечебница имени Свердлова), и невысокие дома, чьи стены, кое-где обвитые плющом, воздвигались из местного, быстро темнеющего от влаги известняка (когда-то Миша прочел, что из того же полного безысходной печали и забвенного времени известняка строились дома в Вавилоне, где на реках сидели и плакали), и окна домов, такие одновременно грустные и ликующие, как глаза соседей, и старик в ермолке в одном из окон, недвижимый, как будто нарисованный, и голубок с голубкой, которые молча, но выразительно поцеловались на булыжнике сонной мостовой у самых ног Миши, и афишная тумба, и школа, в которой он учился, и здание почты, одно из старейших в городе, некрасивое, но все же прелестное вследствие сочетания русской архитектурной казарменности с южной беззаботностью и открытостью, с дыханием Понта Эвксинского и пением птиц, чьи пернатые предки кружились над аргонавтами. «Господь мой, — шептал Миша, — Отец мой, видишь ли Ты меня? — шептал, потеряв власть над собою, но крылатой была эта потеря власти над собою, это добровольное и могучее подчинение Тому, Кто был в нем. — Видишь ли Ты меня? Плохой ли я? Но я хочу быть хорошим, только Тебе я хочу служить, только Ты — правда моя, только перед Тобой — мое обязательство».

Приближаясь к дому, он внезапно понял, что не волнуется. Раньше он беспокоился бы о родителях, которые, конечно, в ужасной тревоге: он ушел вчера утром, не сказав куда, впервые не ночевал дома, не предупредил, — но не в этом дело, не это главная правда, а про ту, главную Правду, решил он, пока не скажет ничего.

В квартире Лоренцев слышали его шаги. Юлия Ивановна, в этот ранний рассветный час одетая так, будто собралась в гости, выбежала к нему, припала к его груди, он обнял ее, увидел сверху жалкий черно-серебряный пучок на ее голове, с костяной шпилькой, сердце его сжалось, на глазах выступили слезы, он погладил этот пучок.

— Детка моя, — сказала Юлия Ивановна, — мы с папой всю ночь не спали. Уже решили туда пойти.

Федор Федорович почему-то не поцеловал его, а пожал ему руку, буркнул: «Сейчас чай будет», — и вышел на кухню, и скоро стало слышно, как он накачивает примус.

Мишу ни о чем не расспрашивали: когда надо будет, расскажет сам. То была деликатность смиренных, уходящих. После завтрака он прилег, но сна не было. Отец пошел на работу. «Не спал всю ночь, какая уж там бухгалтерия», — подумал Миша. Он мучительно любил и жалел отца. Федор Федорович гордился способностями сына, верил в его звезду и в отличие от соседей не хотел видеть его неприспособленности к советской жизни, а видел только его торжествующее, чуть ли не академическое будущее. Миша знал, что все произойдет по-иному, не принесет он радости отцу.

Глава двенадцатая

Двор уже гудел утренним гулом. Миша присел на скамеечке под шелковицей — поспать не удалось, а в университет сегодня идти не хотелось. Расфранченные пионерки Фанни Кемпфер и Соня Ионкис отправлялись в школу: они учились во вторую смену. Они, видимо, торопились, — как тут же выяснилось, их задерживала учившаяся вместе с ними Дина Сосновик, но вот появилась и она, золотоволосая, большеглазая, ее рано развившемуся девичеству было тесно в застиранном, выцветшем платье. Грузчик (по-нашему снощик) Квасный уже вернулся из порта после ночной погрузки и, пьяный, валялся возле дворового крана, в полном отчуждении от мысли, но инстинктивно, однако, хватая за голые ноги хозяек, когда они подходили к крану. Напротив, в окне второго этажа, брился опасной бритвой Теодор Кемпфер. Слышно было — из раскрытого окна внизу, — как он напевает французскую песенку Рашель. Походкой преуспевающей, сильной старости прошел Павел Николаевич Помолов, легко неся битком набитый портфель.

— Здравствуй, Мишенька, почему ты не в университете? — спросила, медленно ступая, мадам Чемадурова. — Скажи маме, что в Церабкоопе на Бессарабской дают хорошую селедку, очередь пока небольшая. — В руках у нее выглядывало из мокрой газеты тупорылое керченское серебро. — Ты навестил бы Антона Васильевича. — Она наклонилась к нему, прошептала: — Опять к нему приходили. Мучают старика. А он тверд. Как умерла Прасковья Антоновна, так и утвердился. Все мы приходим к Богу, когда от нас уходят люди.

Миша понял, о чем она говорит. Верующие избрали Антона Васильевича церковным старостой, имея на то хитрый

умысел: как-никак, думали они, еврей, он легче с ними столкнется. Но бывшее, давно ушедшее еврейство Антона Васильевича не помогало православию. Городские власти хотели закрыть последнюю, единственную в нашем городе церковь, но закрыть не насильно, а по настоятельной просьбе некогда верующих, а теперь все понявших трудящихся. А просьбы все не было. Поп-новоцерковник вел себя как-то непонятно, прихожане ему не доверяли, подозревали его в дурном, не доверял ему и Антон Васильевич, хотя и ругал себя за это. Гепеушник приходил к Антону Васильевичу в церковь до начала службы, а то и домой к нему, подмигивал с бесовской ужимкой, сначала намекал, а потом прямо говорил, что есть сведения — недобитки нэпманы прячут в церкви золото, грозил обыском. Посоветоваться Антону Васильевичу было не с кем, каждый день приносил плохие новости: в кладбищенской церкви устроили мастерскую по изготовлению памятников, в католическом храме святого Петра — клуб иностранных моряков, это сделали по просьбе трудящихся-католиков, а по просьбе трудящихся-евреев синагогу превратили в военкомат, а лютеранскую кирху, где в траву у потемневших стен трогательно-благодарно вливалась улица Петра Великого, заколотили просто так, без просьбы. И все меньше людей посещало церковь, одни тугоухие старики да старушки, и новоцерковники им не нравились. Как быть дальше? Дьякон молчал, но молчал со значением, отчего тревога Антона Васильевича только увеличивалась. Священник, наоборот, говорил много, но невпопад.

Антон Васильевич, в молодости неверующий, крестившийся из-за любви к Прасковье Антоновне, только теперь, когда она его навеки покинула, по-настоящему пришел к Богу, тут Чемадунова была права. Миша сидел под шелковицей, глядел ей вслед. Она грузно двигалась по двору, потом вошла в полутемную комнату Сосновиных, — прежняя владычица всех этих квартир, всего этого огромного дома, который с прошлого столетия стоял на трех улицах, старая женщина, потерявшая, казалось бы, все и не утратившая ничего. Почему-то именно сейчас, после бессонной ночи в НКВД, Миша подумал о ее судьбе. Ее христианская доброта, ее щедрость в дни ее богатства были известны всему городу. Что же произошло у нее с мужем? Вот что слогалось из отрывочных и, возможно, апокрифичных рассказов давнишних жильцов.

...И дом и магазин церковной утвари Мария Гавриловна унаследовала от родителя, купца перзой гильдии Дугаева. Девушкой она была некрасивой, нескладной, только голос у нее был редкой, славянской певучести и волосы роскошные: спустится по лестнице, она уже внизу, а толстая коса ее до верхней ступеньки доходит. На святках у знакомых она увидела офицера Чемадурова.

— Он как картинка, — призналась она, стыдясь, дрожа и пылая, матери, у которой был такой же широкий, немного приплюснутый нос, как у дочери.

— Мужчина не должен быть картинкой, — отрезала мать и добавила, чтобы подчеркнуть глупость дочернего признания: — Волосы не умеешь убирать как следует, вкуса у тебя никакого, а старших не слушаешься.

Дугаевы навели справки — у Чемадурова не было ни кола ни двора, только штабс-капитанское жалованье, пустота и видимость. Но дочь была упряма, сыграли свадьбу. Продолжал ли Чемадуров служить или, женившись, вышел в отставку — этого жильцы не помнили. Жена родила ему двух сыновей, младший, к счастью, лицом пошел в отца. Старик Дугаев перед смертью завещал все имущество дочери. Зять в завещании не был упомянут. В случае смерти дочери наследниками становились внуки. Чемадурова поручила мужу управление домом, но штабс-капитан не приносил ей денег, полученных от жильцов. Тогда Чемадурова наняла управляющего, а мужу стала выдавать — буквально, говорили, гроши — на мелкие расходы. Она была щедра, но знала цену деньгам. Замечу, что такое купеческое знание нисколько не противоречит щедрости. Чемадуров ушел из дому, сошелся с молодой вдовой, на ее деньги открыл тир, но прогорел. Штабс-капитан опускался все ниже, стал жучком на беггах. Иногда он приходил на Пантелеймоновскую (замечательно в нем было то, что он не пил, он был игрок) в пятую гимназию, почти нищенски, но чисто одетый, жаловался сыновьям на их жестокую мать, ничего у них не просил, но съедал их завтрак. Как-то через мальчиков он передал жене письмо. Он просил двадцать тысяч, а за это обещал дать ей развод. Деньги нужны были ему, по его словам, для покупки виноградников в Овидиополе. Ответа не последовало. Мальчики принесли матери второе письмо от отца, на этот раз он просил всего одну тысячу. И опять не получил ответа. Он повесился в номере при трактире «Олень», недалеко от сада общества «Трез-

вость», оставил записку: «В моей смерти прошу винить мою жену».

Чемадунова, говорят, и слезинки не проронила, но устроила так, что самоубийцу похоронили как христианина, правда, не на городском кладбище, а в пригороде: помог знакомый священник-покупатель. Сыновья год после смерти отца почти не разговаривали с ней. Старший был уже врачом, младший — на четвертом курсе медицинского факультета, когда разразилась мировая война. Молодые Чемадуновы надели военную форму, отправились на позиции. В последний раз они навестили мать в восемнадцатом году. С тех пор от них не было вести. После первых большевиков прошел слух, что их видели в Крыму у Врангеля...

Как она жила, когда у нее все отняли? Кое-что, мы знаем, она припрятала, да много ли? У них было одно хозяйство с Фридой Сосновик — ее труд, Фридины деньги. Помогал ей Антон Васильевич, перед которым она благоговела. А может быть, она была в него влюблена, по-прежнему, хотя и старчески-нежно, очаровываясь мужской красотой? После смерти Прасковьи Антоновны она стала помогать ему по дому, хотя у знаменитого куафера была прислуга, которая стирала не только на него, но и парикмахерские простыни и салфетки. У Антона Васильевича отняли его особняк, но оставили ему две комнаты, он брал патент, ему покровительствовала его клиентка, жена командующего округом, бывшая актриса.

На судьбу Чемадунова не жаловалась. Сначала надеялась, что сыновей увидит, потом и надеяться перестала. Вплоть до 1928 года у нас сравнительно легко выпускали за границу, и если бы сыновья были живы, думала она, то они бы ее вызволили отсюда, взяли бы к себе. Ей было теперь под восемьдесят. Длинная жизнь ее тянулась без супружеской ласки, без сыновней любви. Пока она была хозяйкой дома, она всем казалась властной, деловой. Никто не видел ее ночных слез. Нет, не винила она себя в смерти мужа, она его и мертвого презирала, она винила себя в том, что полюбила его однажды, пустого, бездушного, вот уж действительно картинку, винила себя в том, что не сумела вызвать к себе любовь в сердцах сыновей. Ей не было жаль отнятого, разграбленного добра, но приятно ей было, когда она слышала: «Дом Чемадуновой». Она любила помогать людям, но не было в ней, и она это сознавала, христианской всеобщности, она выбирала бесхитростных, трудолюбивых и лишенных порока близости к власти. Она не жалова-

ла новых жильцов, вселившихся по ордеру, и общалась главным образом с теми уже немногими, кто в былые годы снял квартиру у нее самой. Смеялась она редко, но хорошо, славно: так смеется бедное дитя, выросшее из милости в чужой богатой семье, но созданное для того, чтобы тихо и радостно любить жизнь. И прожившая половину века своего в минувшем столетии, она была Мише Лоренцу милее и роднее многих его сверстников...

Жил рядом и другой человек, родившийся в девятнадцатом столетии, который был ему ближе и нужнее молодых, — Цыбульский. Теперь Миша ждал его, переполненный пережитым мучительным днем. Вечером он обо всем расскажет родителям, но только после разговора с Цыбульским.

Слесарь вернулся с работы в светлый предвечерний час. Внушительных размеров херсонский арбуз казался невесомым в его крупной, шершавой руке. Лицо, покрытое загаром и копотью, светилось фонариками умных глаз. По дороге Цыбульский пальцем постучал Лоренцам в стекло раскрытого окна, кивнул Мише. Когда Миша вбежал к нему, он, голый до пояса, мылся на кухне под краном. «Рашели нет», — обрадовался Миша. Не торопясь, Цыбульский надел чистую майку, красиво разрезал половину арбуза, другую половину прикрыл куском марли, пригласил Мишу к столу. Он слушал, не прерывая Мишу ни единым словом. Только когда Миша сказал (а это его мучило): «Я поставил подпись, по-моему, слишком низко, отступил от последней строки сантиметра на три, как бы они туда чего-нибудь не впечатали», — Цыбульский успокоил его:

— Глупости. Им это не нужно. И вся бумажка — грошовая.

А когда Миша кончил рассказывать, Цыбульский набил гильзу табаком, вкусно закурил, одобрил:

— Ты вел себя хорошо. Конечно, слегка в штаны наклонил, когда согласился со следователем, что ты по убеждению коммунист, но кто тебя осудит? Времена не желябовские. Я, политический, вел себя с царскими жандармами иначе, но вся-то штука в том, что ты не политический, а обыватель, а они не царские жандармы, а налетчики. Я думаю, что больше они не будут тебя трогать. Поняли, что от тебя мало толку. А будут трогать, так помни: лучше умереть от них, чем быть с ними. Ты увидишь, что именно Калайда, самый слабый, получит самый большой срок.

Цыбульский на этот раз оказался не совсем прав. Действительно Ивану Калайде дали восемь лет концлагеря, в то время как Лилю Кобозеву и Олю Скоробогатову присудили к ссылке в Нарьян-Мар на пять лет. Оля в тюрьме родила девочку, пора тогда была мягче, ребенка отдали родителям арестованной. А Елисаветского поместили в Психиатрическую лечебницу имени Свердлова. Он вышел оттуда через два года. Говорили, что он стал слабоумным. Миша решил навестить его. Семья переплетчика жила в центре города, на Успенской, но на заднем дворе, рядом с отхожим местом, а окно выходило на мусорный ящик. Родители Эммы обрадовались Мишиному приходу, но Эмма с ним не поздоровался. Лицо его было желтым, одутловатым, взгляд бессмысленным. Он помогал отцу переплетать книги, но не читал их — так при нем сказала Эммина мама. Двое младших делали уроки. Миша о чем-то спросил Эмму, но тот не ответил, отвернулся, как показалось Мише, с больной безразличностью. Мать Эммы заплакала.

Вернувшись после войны из Германии, Миша узнал, что Елисаветский умер во время эвакуации, на какой-то станции между Новороссийском и Сталинградом. А Лилю и Олю судили повторно, отправили из Нарьян-Мара в концлагерь на десять лет, и они исчезли из жизни. Совсем недавно Мише сказали, будто Калайда, отбыв срок, стал в Норильске заместителем начальника планового отдела. Не сказали ему только, что в этом отделе вкальвает зэк Шалыков, — следовательно, значит, предвидел правильно, он снова работал под началом Калайды.

Мишу больше не вызывали на Мавританскую. В аспирантуру его не приняли, ассистентом не взяли, он устроился в университете лаборантом. Он продолжал заниматься лингвистикой, изредка статьи его печатались, даже в Москве. Он был одинок все эти предвоенные годы, редко встречался и с Володей Варути, хотя они жили в одном доме. И мертвые продолжали с ним жить в одном доме. Мертвые, мертвые, видите ли и вы его оттуда — из золы, из снега, из газовой камеры, из вечной мерзлоты, из вечного дня?

Глава тринадцатая

Выслали из города греческое население, но Димитраки оставили. Этим супруги были обязаны Севостьянову. Профессор самым решительным образом воспрепятствовал удалению из Института глазных болезней и высылке жены

Димитраки, старой, тяжело больной, только что оперированной. Милиционера профессор прогнал, представителя горздрава прогнал, товарищей из района прогнал. Власти разводили руками: «Капризный старик! Но — сила, гениальный окулист, депутат Верховного Совета СССР! Ладно, оставим банабачку, может, старуха еще и ослепнет, и мужа ей оставим, хотя на что он ей. Тем более есть прецедент, одной греческой семье уже разрешено не выезжать, у них там старик — член партии с апреля семнадцатого года».

Лоренц заметил в родном городе одну особенность наших знатных людей — ученых, артистов, художников кисти и пера: чем постыдней, чем подлей они в главном, тем непреклонней, строптивей позволяет им быть в бытовых частностях. Впрочем, к Севостьянову это правило было применимо с оговорками. Уже тогда, в тот ужасный день, когда он, назначенный румынами ректором университета, сказал Лоренцу: «Вас недооценивали ученые большевистские бонзы», Лоренц почувствовал, что бывший глава наших черносотенцев растерялся. Одно дело — ненависть революции, кричать, что Россию продали жида и поляки, а другое — участвовать в поголовном истреблении нации. Что-то важное поднялось со дна его жесткого, дрогнувшего сердца. Лоренцу рассказывали, что все годы оккупации он укрывал в своем Институте глазных болезней врача-полукровку Сироту, а когда один из сотрудников донес, профессор поехал к самому примару Пынте и уладил скверное дело. И теперь, когда пришли за женой Димитраки, он заорал: «Здесь нет ни эллина, ни иудея, здесь больные!»

Димитраки со слезами на колючих глазах, увлажнявшими мягкие мешочки, попросил у профессора разрешения реставрировать у него на дому какую-нибудь мебель, комод, скажем, или кресло, и профессор, глядя на старые, но крепкие руки столяра, удовлетворенно заметил: «Только у вас, Христофор Никосович, да у меня хорошие, уверенные в себе руки, а все прочие теперь калеки, паразиты, ничего не умеют».

Вот и вернулась домой мадам Димитраки, сгорбленная, седенькая, только волосы усов и бородки были черными. Операция прошла удачно, у Севостьянова были колдовские руки. И связи у него были колдовские, он помог, не выслали греческую чету, которая здесь родилась и прожила семьдесят лет. Христофор Никосович гордо шел с женой от остановки трамвая на Покровской. В трамвае, правда, произошло неприятное происшествие. Один пассажир, в

очках, с портфелем, толкнул мадам Димитраки, которая большими глазами не увидела, что он решил сесть на освободившееся место, и обозвал ее жидовкой. Он, видно, был из новых жителей города, не привык, путал эллинов с иудеями, но это пустяк, мадам Димитраки была счастлива. Половину ее смугло-желтого, сморщенного личика занимали темные очки. Старые жители Покровской шумно выражали супругам свой восторг. Соседи по квартире приготовились к встрече, Ионкисы принесли розы и вазу с фруктами.

А тут и вторая радость — освободили Фриду. Она пришла сама, чуть ли не на рассвете. Дина и Миша лежали вместе. Дина, завернувшись в простыню, бросилась к матери. Она ждала Фриду со дня на день: деньги следовательно взял. Фрида подошла к постели, поцеловала Мишу. Она мечтала о зяте, и вот у нее есть зять, больше, чем зять, — сын, ведь он вырос на ее глазах, и она заплакала. Если бы Еличка была жива, ей было бы уже сорок лет! А давно ли Миша и Володя Варути принесли ее, мертвую, из Немецкого клуба! Кажется, это было вчера, и Вольф бросил их вчера, и в подполе они прятались только вчера.

Миша сердцем понял, о чем думает, о чем плачет Фрида. Может, это было немного смешно — он выпростал из-под одеяла голую руку и погладил длинную, темную и, как у Дины, изъеденную раствором худую руку Фриды. Как сильна эта маленькая женщина! Все было против нее — от предательского легкомыслия Вольфа до тотального могущества националистического социализма, но она, Фрида, выстояла, вырастила дочь, спасла от гибели ее и себя.

Почему тогда, в военном октябре 1941 года, не все, обреченные на поголовную гибель, покинули город? Причиной, как всегда и всюду, были жизнь и смерть. Подавляющее большинство тех, кто страшился немцев, еще летом эвакуировались на пароходах, но в город прибывали толпы из местечек, занимаемых захватчиками. Дина Сосновик, студентка экономического факультета, была на практике в деревне в Андрей-Ивановском районе, Фрида ждала ее, не хотела, не могла уехать без дочери, а когда дочь вернулась в город, в сентябре, под ихний Новый год, было уже поздно, талоны на пароход не выдавались, единственный путь из города — по морю — был предоставлен армии, и тот, кто жил недалеко от порта, видел, как в тумане, стелившемся над морской водой, исчезали одно за другим суда, перебрасывавшие армию в безнадежно сражавшийся Крым, — исчезали «Украина», «Армения», «Абхазия»,

«Жан Жорес», «Котовский»... Суда ушли, армия ушла, а Дина и Фрида Сосновик остались.

И другой Сосновик, Антон Васильевич, остался: разве церковный староста, православный человек с русским паспортом, к тому же глубокий старик, мог предполагать, что для немцев он — еврей? И для себя — еврей?

И Абрам Кемпфер с женой и дочерью остались: разве мог Абрам поверить большевистской брехне, будто цивилизованные немцы уничтожают людей, как дикари, гайдамаки? Ну, будет гетто, мы привыкли, но будет и коммерция, Европа. А Рафочка, его сын, был призван в армию, и только он один из семьи Кемпферов избег страшной участи: он погиб в боях под Кенигсбергом.

И учитель Александр Кемпфер остался, потому что он был немолод, слаб, одинок, и брат уговорил его не покидать город, и самого его пугала участь беженца, — и куда бежать? В неизвестность? А здесь все свое, каждый камушек — товарищ детства.

И Теодор Кемпфер и его жена, урожденная Шпехт, остались, потому что пятый пункт паспорта убедительно утверждал, что Теодор немец, и фамилия его немецкая, и имя немецкое, и надеялся он в качестве фольксдойче не пропасть, а — чем черт не шутит — даже всплыть наверх.

И Маркус Беленький, проводив на фронт трех младших братьев, остался, потому что — об этом соседи не знали — у него были документы на приморскую дачу, целое состояние, приобретенное еще покойным отцом, расстрелянным Чека, немцы это поймут, они ведь не жулики, культурная нация, врут о них большевики, врут, как всегда. Ну так будет гетто.

И многие, многие остались, потому что здесь они родились, женились, потому что здесь, в городе, было их временное жилье — дома, их постоянное жилье — могилы близких, потому что у одних болел ребенок, у других мать. К тому же, если правду сказать, было приятно смотреть, как зловещее учреждение на Мавританской удирает, удирает, удирает, погружая на машины бумагу, накопленную за столько лет, — ведомости убийц. Приятно было читать расклеенное на стенах домов воззвание, подписанное секретарем горкома партии Пиневицем и секретарями Ильичевского и Октябрьского районов Никодимовым и Геру: «Не навсегда и не надолго мы оставляем родной город».

И он, Лоренц, остался — и только ли потому, что при смерти был Федор Федорович и не мог он покинуть беспо-

мощную Юлию Ивановну с умирающим на руках, не мог уйти, зная, что отец умирает? В армию его пока не брали из-за плоскостопия, но как знать, прояви он настойчивость... Может быть, ему мерещилось начало иной жизни? Нет, нет, он ненавидел нацистов, нет, нет, не надеялся он на свое немецкое происхождение, не связывал с ним свою судьбу, нет, нет, нет!

А город горел, и далеко-далеко было видно пламя. Огненные зарницы вспыхивали над морем. Почти каждую ночь немецкая авиация совершала на город групповые налеты, сбрасывала тысячи зажигательных бомб. Уже противник занял Болгарские Хутора, Рыбачьи Курени, Сухой лиман, рвался к винодельческим плантациям. Его звуковещательные станции призывали бойцов так громко, что было слышно на Либентальской дороге: «Ваше сопротивление бесполезно. Большевики оставляют город». Наконец-то, как мечтал Цыбульский, они уходили, но горек ему был такой уход. А сам он ушел еще в сентябре на пароходе и погиб в море.

Не так они ушли, как мечталось. То был другой уход. Через двадцать три года в город снова вступили немцы. То были другие немцы.

Потом оказалось, что нашими господами будут слуги наших господ. Мы стали частью Румынии — страны, на которую мы с детства привыкли смотреть как на пригород, как на предместье. А теперь мы сами превратились в ее придаток — в Заднепровье, в Транснистрию. Граница с рейхом проходила, кажется, возле Жмеринки или Ярошенки — точно мы не знали, нас не известили. Принадлежность к Румынии, пусть даже формальная (мы отлично понимали, кто наши истинные хозяева), однако, немного успокоила жителей: все же, говорили они, Антонеску лучше Гитлера. И когда Покровскую переименовали в улицу Антонеску, старенькая наша дворничиха Матрена Терентьевна так выразила настроение жителей: «Хай гирише, абы инше».

Настроения евреев украинская поговорка не выражала. Впрочем, сначала вести были обнадеживающими. Будто бы Антонеску не соглашался с крайностями гитлеровского антисемитизма. Будто бы в соседней Бессарабии евреев загнали в кишиневское гетто, но не убивали, там они мастерят и торгуют, хотя живут ужасно скученно. Будто бы и у нас в городе будет гетто, и даже назывались улицы — Родионовская, Мясоедовская, Сербская, Костецкая. Некоторые

соседи с нетерпением ожидали освобождения еврейских квартир — необходимость в жилье была острая, за все время владычества режима у нас, в большом портовом городе, не было построено и десятка домов. Составлялись словесные договоренности: «Если немцы уйдут, квартиры вернем, о чем речь».

Но возвращать квартиры не пришлось. Немецкое командование густо расклеило объявление: все евреи с желтой шестиугольной звездой на рукаве должны в такой-то день, в такой-то час явиться к зданию милиции Центрального района (бывшего участка) на Покровской. Для абсолютной ясности было указано старое, привычное название улицы.

И вот что удивительно: подчинились, явились, аккуратно пришли к рукавам суконные желтые звезды. Разве нельзя было ослушаться, затаиться в большом городе, или бежать в деревню, в степь, в кукурузу, в виноградники, или раздобыть рыбачью лодку, пуститься в открытое море куда глаза глядят, или вооружиться чем попало и — перед собственной гибелью — уничтожать врагов рода человеческого? Но мешало рабье сознание, безотчетная покорность только одной, только заданной возможности. Не надо думать, будто это рабье сознание складывалось веками в диаспоре. Нет, в диаспоре они были рабами телом, но не душой. Только после семнадцатого года, когда они впервые за две тысячи лет слились с государственной властью, признали ее своей, они стали рабами всем существом. Ушло из сердца высокомерие нищих, но имевших Книгу, презрение безоружных к вооруженным, но темным, ушел из сердца великий и мудрый страх прадедов, порожденный святой инквизицией, беззаконием венценосцев, гайдаматчиной, погромами, и еще не родились, хотя уже зачинались в глубине существа, отчуждение от власти национальных социалистов, смелость отчаяния, бесстрашие безнадежности, вольнолюбие обреченности. Народ, которому предстояло заново родиться в газовой камере, был еще всего лишь семенем в чреве беды, еще должен был утвердиться его мозг с быстрым разумом и отважной хитростью смертника-борца.

Фрида и Дина, вернувшаяся из села, обдумывали, две умницы, как им быть. Одно они знали твердо: не пришьют они к рукаву желтую звезду, не придут к зданию участка. У них есть другой выход.

Когда Вольф Сосновик собрался, прихватив заветный чемоданчик, уехать в Америку, Фрида, которая хорошо зна-

ла своего мужа, ибо любовь к нему не затемняла, а просветляла ее сердце, привела Вольфа на могилу Елички и заставила его там поклясться, что, как только он устроится, он немедленно возьмет к себе жену и дочь. Вольф поклялся горячо, со слезами на глазах, более того, когда они, возвращаясь, проходили мимо могилы Менделя Мойхер-Сфорима, он перед памятником писателю повторил свою клятву. Но он уехал и забыл о них. Кое-какие деньги он оставил, хватило их ненадолго. Фрида не знала никакого ремесла, она поступила уборщицей в артель, выделявавшую кожу. А тут начался второй голод, всеобщий голод, даже большие деньги превратились в бумажки, а у Фриды денег, в сущности, не было никаких. Дина стала плохо расти, плохо учиться, от постоянного недоедания у нее на уроках кружилась голова. Однажды мастер Валентин Прокофьевич Редько дал Фриде полбуханки хлеба и шесть кусочков сахара. Фрида застеснялась, не хотела брать, но он неожиданно сказал ей на чистом идиш:

— От рахмунес аф айер тохтер.

Разве она, мать, нуждалась в таком совете, разве она не жалела свою дочку? И почему этот хохол обратил на нее внимание? Женскими чарами Фрида и раньше не обладала, она поняла это давно, а теперь ей за сорок, она стала просто уродом, высохла от горя и голода, рано поседела, лицо в морщинах, верхний передний зуб выпал. А Валентин Прокофьевич был мужчина видный, толстый, здоровый, как жеребец. Он часто и громко смеялся, любил вставлять в речь еврейские присловья — он родился в местечке. Был он скуп, прижимист и хитер, ой до чего хитер, а какие дела делал! Откуда же его необычная щедрость к неказистой уборщице? Вскоре все прояснилось: Валентин Прокофьевич попросил Фриду вынести из артели во время обеденного перерыва пакет средних размеров и спрятать у себя. Фрида нехотя согласилась: с мастером ссориться нельзя, а поручение опасное. Он заметил ее нерешительность, подбодрил ее:

— Мало ли что женщина под проймой ховает, а мне неудобно, на мастере всегда длинный глаз. Не нервничайте, завтра к вам зайду, заберу.

Случилось так, что когда Валентин Прокофьевич впервые посетил Сосновиков, Фрида по стремянке поднималась из подпола, который был вместо ледника. Валентин Прокофьевич вежливо наклонился, взял из рук Фриды кастрюлю со вчерашним водянистым супом, заглянул в под-

пол. Так началась для Фриды и Дины трудная, но сытая жизнь.

Редько научил их тайно выделывать кожу. Они работали, а он продавал. Сосновики ожили. Правда, запах был тяжелый, и было опасно, за это можно было сесть, но питались они теперь хорошо, прибарахлились, Дина приносила домой похвальные грамоты отличницы. Редько приходил за товаром раз в неделю вечером, он пил, похваливал наливку, ел синенькие с помидорами, с удовольствием рассказывал:

— У москалей она называется сыромьять, они ее делают в овсяном квасу, а то и в простокваше, мажут березовым дегтем. Деревня. А у нас товар тонкий, не хуже замши или шевро. Работа, кто спорит, вонючая, за это я ничего не скажу, но спросите людей — все подтвердят: Редько не злыдня, Редько понимает человечность. Как вы раньше жили? Куска хлеба вам раньше не пахло, а теперь поправились, и сами вы, Фрида, извините за выражение, на женщину стали похожи, и сзади и спереди, и дочка, слава Богу, растет красавицей, прямо пирожное с кремом.

Валентин Прокофьевич был человек толстый, но легкий. Он мог провинциалу из Ямполья продать вещь втридорога, но человека — так чувствовала Фрида — не продаст. Он понял ее с полуслова, они быстро договорились. Он переедет к ним. Как бы ни была плоха комната Сосновиных, она все же лучше комнаты Редько за второй заставой, у черта на куличках, куда воду приходилось тащить чуть ли не за версту. Редько даже в очередь в райисполкоме не ставили: он да жена, сын в армии, есть площадь — куда же им еще? Приобрести жилье за деньги ему было нетрудно, да невозможно — откуда, спросят, деньги? Теперь жилищный вопрос решался, как говорится, сам собою. Валентин Прокофьевич с супругою переберутся в комнату Сосновиных, а Сосновики, мать и дочь, поселятся в подполе, там и будут они на Редько работать, там они, может, и спасутся.

Редько рисковал жизнью, но не говорил об этом, Чемадурова отметила в нем эту черту, сказала Фриде:

— Я ему доверяю. Бог нас не оставит.

16 октября в девять утра последний советский транспорт отчалил от гавани. Но противник почему-то в город не вступал, продолжал энергично обстреливать порт и заводы. Хотя немцы были тогда сильнее наших, они не были умнее. Им было известно, что на территории завода «Экспортлес» глубоко в землю закопались части Приморской армии, но неизвестно им было, что армия драпанула, ее штаб и полит-

отдел давно плыли по Черному морю, а немецкая дальнотбойная артиллерия по-прежнему опасно обстреливала территорию «Экспортлеса».

Безвластие было столь тяжело и кратко, что не принесло никакой радости жителям. Вечером в город вошли немцы. С ними были и румынские части. Когда они достигли Мясоедовской, из старой больницы пустились от них бегом на костылях раненые красноармейцы, которых не успели вывезти. Немцы их не трогали, смеялись. Потом один из этих раненых, оставшийся в живых, говорил, что самое страшное для него за всю войну был тот смех немцев.

А Федор Федорович умирал мирно, не от пули, не от осколка — от эмфиземы легких. Он задыхался, часто сжимал белую тонкую руку в бессильный кулак. Антон Васильевич прислал священника. Федор Федорович причастился и соборовался. Священник был черный, высокий, похожий на цыгана, борода как уголь. Под рясой у него была синяя косоворотка. Когда Миша смущенно прикоснулся к его руке десяткой, священник, тоже смутившись, тихо сказал:

— Не надо. Антон Васильевич уже произвел оплату полностью.

К ночи Федору Федоровичу немного полегчало. Свист и хрип прекратились. Он еле слышно спросил:

— Они ушли?

— Ушли, папа, — ответил Миша. — В городе немцы и румыны.

Федор Федорович закрыл глаза, разжал руку, восковыми, почти бестелесными пальцами погладил простыню.

— Уходи, Мишенька. Не надо тебе здесь оставаться.

— А как же мама? — спросил Миша. Он хотел добавить: ...одна, — но замолчал.

— Уходи, Миша. Ты русский, уходи к русским. Иначе тебе нельзя. А мама...

Он затих. Юлия Ивановна наклонилась над мужем, прислушалась.

— Мишенька, нет папы, — сказала она.

Утром пришли Чемадунова и дворничиха Матрена Терентьевна. Димитраки сколотил гроб, дешевый, но аккуратный. Омыли покойника. Никто не видел, как улетела его душа, желтые огоньки свечей трепетали над подсвечниками, затянутыми в белую кисею, — наверно, чтобы воск на них не капал... Наняли телегу. Даже от лошади сильно пахло: возчик в обычное время развозил по дворам керосин.

Восьмидесятилетние Чемадунова и Матрена Терентьевна сели на телегу в ногах гроба. Юлия Ивановна и Миша пошли пешком. С ними были Димитраки, мать и сын Варути, священник. Хотел прийти и Антон Васильевич, но его отговорили: стар, тяжело ему будет, — но все понимали, что дело не в старости, а в другом.

Женщины бесшумно плакали. Только Юлия Ивановна то подбегала с прерывистым плачем, отстраняя Мишу, поближе к телеге, то повторяла и повторяла:

— Феечка... Феечка мой...

Так смешно и странно всю жизнь называла она отца: не Федечка, а Феечка. Это имя не шло к отцу, суховатому, строгому, но, может, смешное, ласкательное, оно и выражало самую суть Федора Федоровича — его деликатность, скромность, преданную любовь к жене и сыну. Почему он перед смертью с такой не свойственной ему торжественностью сказал Мише: «Уходи к русским»? Не в Красную Армию, а к русским?

Лоренцы были выходцами из Саксонии, их предок служил в обозе наполеоновских двенадцати языков, так и застрял в плену, устроился в Новороссии. Прадед, дед и отец Федора Федоровича были настройщиками роялей, а он стал бухгалтером (у него не было слуха, пошел в мать). И Россия была для Федора Федоровича родным домом, родной землей, он слился с Россией, а сейчас сольется с ее землей то, во что была одета его душа, станет ее землей.

Прохожие на них не обращали внимания. Кого могла тронуть смерть одного среди поверженных тысяч, среди погребенных под камнями разбитых, сгоревших домов и среди тех, прокаженных? Миновали обугленные павильоны Привоза, развалины вокзала — сколько юношей уезжало отсюда за славой и со славой возвращалось? — развалины управления железной дороги. Недалеко от Второго христианского кладбища, там, где трамвай до войны поворачивал на мельницы, мостовую пересек немецкий оберлейтенант. Он остановился, с почтительным любопытством посмотрел на телегу, на гроб, на священника. О чем подумал завоеватель? О том ли, что и он, и его удачливый вождь, и его победоносная армия — ничто перед этой нищей телегой с гробом неизвестного покойника, перед этим тихим, но союзным с Богом страданием близких и родных, перед крестом на груди православного пастыря?

Что-то поразило Мишу во взгляде офицера. Это был взгляд человеческий, взгляд несчастный, а потому добрый,

и Миша решил, что неожиданная доброта взгляда поразила его, потом он понял, что было нечто иное. На скудных поминках Чемадунова ему сказала:

— До чего был похож на тебя немецкий офицер, которого мы встретили возле кладбища. И глаза твои, и лоб, и даже возраст, по-моему, твой.

Так вот в чем дело: обер-лейтенант был похож на Мишу, и Миша это невольно почувствовал, и ему надолго запомнился немецкий офицер. Убийца? Нет, он не мог быть убийцей. Мысленно Миша сооружал его биографию. Скажем, филолог, как и Миша, но из католической семьи. Почему же он служит убийцам? Потому что он их раб? А чей раб Миша?

Прошла неделя. Устанавливался новый порядок. Военная — истинная — власть принадлежала немцам, их войскам, их тайной полиции, а фиктивная, гражданская, иллюзорная была отдана румынам, которых здесь возглавил примар Пынтя. Он был обозначен и почетным издателем газеты на русском языке «Свободный голос». Еще не потеряли силу советские деньги, Миша купил первый номер. Газета была того же формата, что и прежняя. На второй странице бросалась в глаза карикатура: Сталин, одетый в бурку и папаху, гонит красноармейцев в пасть смерти, а позади него радостно потирают руки раввин в талесе и капиталист, на обширном брюхе которого, как на старых плакатах Дени, была выведена цифра «1 000 000». Сюжет несложный. Под карикатурой подпись: «Рисунок художника Владимира Варути, специально для «Свободного голоса».

Университет пока не приступил к занятиям, но его канцелярия работала. Ясно было, что, когда университет откроется, Мише предложат читать курс. В тот роковой день к Лоренцам пришла университетская уборщица. Она сказала, что новый ректор, профессор Севостьянов, вызывает Михаила Федоровича к себе сегодня в пять часов.

До здания, где помещался ректорат, было от дома Чемадуновой не более двадцати минут ходьбы, но Миша вышел в три, благо Юлия Ивановна уснула. Он отметил, что Покровская начала оживать. Появилась свежая вывеска «Комиссионный магазин Икрянистова». Какой же вы быстрый, господин Икрянистов! Кафе Дитмана опять стало называться «Кафе Дитмана». Наследники отыскались, что ли? На углу Почтовой румынские солдаты и местные полицаи отгоняли прохожих на другую сторону Покровской. Весь квартал — от Почтовой до Полицейской — был оцеплен.

Внутри оцепления сбились в живую толщу женщины, старики, дети, люди всех возрастов, и у всех на рукавах — желтые шестиугольные звезды. Миша вспомнил сообщение одного гебраиста: так называемая Звезда Давида в священных книгах не упоминается, это шестиугольный герб маленького немецкого города, где в значительном количестве жили в средние века евреи.

Все, кроме детей, держали в руке по небольшому чемодану. Много взять не разрешили, да кто знал, что надо было взять, как сложится жизнь в гетто. Никак она не сложится, но они этого не знали. Не сегодня, а завтра придет время их гибели, завтра, завтра их убьют, убьют всех, а сегодня еще продлится час-другой время их сбора у здания бывшего участка, да еще час-другой будут они двигаться по городу, спустятся по Севастопольскому спуску, пройдут под мостом, дойдут до бойни, и дождик их обрызгает, и приморский добрый октябрь их высушит, и загонят их туда, где забивали скот, и убьют.

Так как за месяцы войны в город хлынули люди из окрестных местечек, где годы текли медленнее, то в толпе виднелись и глубокие старики в капотах и в белых карпетках, и могучешие мясники, и все это среди лиц давних горожан, знакомых Мише благодаря своей общности, а не благодаря отдельным особям.

Миша остановился напротив участка, у изваяния Лаокона и его сыновей, обвитых змеями. Он узнал соседей: вот белесое лицо Маркуса Беленького, рядом с ним его мать, вот и семья Кемпферов. Александр Рафаилович, учитель, виден в профиль, губы его трясутся, пенсне почему-то плохо держится, соскакивает. Он без чемодана, под мышкой у него книга — может быть, неразлучный с ним Гораций? Привлекает внимание Фанни, она выше и крупнее всех прочих Кемпферов, ей двадцать три года, она пловчиха, у нее спортивный разряд, она не может поверить в смерть. Абрам Кемпфер беседует с товарищем по несчастью, видимо, хочет узнать, понять. У товарища по несчастью, старика из местечка, на ухе слуховой аппарат, а в руке Библия, ему, чтобы понять, заглянуть бы в Книгу, а он, напрягаясь, слушает Абрама Кемпфера. Зинаида Мойсеевна озирается, как будто ищет кого-то. Издали она кажется Лоренцу безумной. Узкая мостовая отделяет его от обреченных. Но что это? Зинаида Мойсеевна показывает пальцем (не на него ли?), кричит:

— Возьмите и его! Почему вы его не берете? Он такой же еврей, как мой муж, он его брат!

Фанни обняла ее, стала ей что-то шептать, наверно, уговаривала, успокаивала, Зинаида Мойсеевна оттолкнула дочь:

— Почему ты, мое солнышко, девочка моя, должна чахнуть в гетто, а этот доносчик будет жить припеваючи? Возьмите его, возьмите его!

О ком это она? Миша оглянулся. Он увидел Теодора Кемпфера. Секретный сотрудник бежавших органов выглядел превосходно. На нем был плащ модного тогда белого цвета, широкое, кавказского покроя кепи, густо, глянцеви-то чернели усы и бачки на гладко выбритом, упругом лице. Почему он пришел сюда именно в этот роковой день? Или повлекло его то же чувство, что влечет преступника к месту его преступления, и он пришел, чтобы в последний раз взглянуть на родных, на братьев, от которых он внутренне отсекся? А Зинаида Мойсеевна неистовствовала. Ее сухие белые космы выбились из-под черного платка, она растолкала худыми руками соседей, кинулась к полицейам.

— Берите его! Вот этого, усатого! Он тоже еврей! Он наш родственник!

Теодор застыл от безмерного, высасывающего душу страха. Люди на той стороне Покровской отодвинулись от него, как от призрака. Два полицейя направились к нему по омертвелой, бесшумной мостовой.

— Паспорт!

Теодор пришел в себя. Руки его еще дрожали, но на лице появились краски былой самоуверенности. Он предъявил паспорт и сказал чуточку пугливо, но самую чуточку:

— Пожалуйста, проверьте. Я немец. Фольксдойче. Я уже заполнил фольклист. Жидовка, наверно, с ума сошла от страха, кричит черт знает что. — И добавил, надеясь нагло, как игрок: — Позвоните в гестапо. Там обо мне знают.

Полициаи медленно, как это делали и наши милиционеры, прочитали все пункты паспорта. Действительно, немец, Кемпфер, Теодор Рафаэлевич. А Зинаида Мойсеевна не унималась. Платок сполз на плечи, нимб седых косм дымился на голове.

— Проверили? Теперь видите сами: он Кемпфер. И мой муж Кемпфер. И я Кемпфер. И моя дочь Кемпфер. Но мы идем в гетто, а он, паскудняк, сволочь, остается в городе. Он займет всю нашу квартиру. Но он еврей! Он еврей!

— Не надо, Зина, умоляю вас, успокойтесь, — сказал Александр Рафаилович. Вандалы уничтожали его мир, его Рим, он умирал с томиком Горация под мышкой. Понял ли он хотя бы сейчас, что и эти пришлые убийцы были одной из тех победительных народных властей, которыми он привык восторгаться? Что и требовалось доказать.

— Почему не надо? Разве он не ваш родной брат? Почему вы, ученый человек, гордость семьи, должны подыхать в гетто, а Теодор, продажная тварь, будет считаться немцем? Посмотрите, люди добрые, на моего мужа и на этого новоиспеченного фрица, разве они не похожи как две капли воды?

— Братья они, верно говорит жидовка, на одной квартире живут, — подтвердил кто-то из зрителей. Может быть, тот человек ненавидел Теодора за его связи с НКВД, а может быть, то была другая, более древняя ненависть.

Зинаида Мойсеевна посмотрела на того человека, увидела рядом с ним Лоренца, заголосила на той, обреченной стороне:

— Мишенька, мы уходим, не забывайте нас! Не забывайте нас, Мишенька! А мы уходим! Скажите им всем, что Теодор наш родственник, не немец вовсе, а еврей. Вы же сами настоящий немец, вам поверят!

Полиция приняла решение. Один из них остался с Теодором, другой вернулся, доложил немецкому унтер-офицеру. Получив от него приказание, он потребовал паспорта у Абрама и Александра Кемпферов. Ясно, все они Кемпферы, все евреи. И похожи, одна мать родила. А усатый думает, что умнее всех. Хитрозадый, а дурак. Полицией подмигнул сослуживцу. Другой полицейский потащил Теодора через мостовую. Теодор упирался, вот он вырвался, упал, как мальчик, который не хочет идти с папой. Его модный плащ одиноко забелел на безлюдной мостовой. Казалось, что ее гладкий булыжник дрогнул от его протяжного одногласного крика:

— Я не пойду в гетто! Я немец! Их бин фольксдойче! Разберитесь!

— В гетто, в гетто разберемся, — сказал без злости полицейский и впихнул Теодора в оцепленную толпу, как куклу в битком набитый мешок.

Братья отвернулись от Теодора. Им стало больно и стыдно. Но тут произошло нечто такое, что заставило сразу же забыть о Кемпферах. В двух кварталах от участка со стороны Соборной на мостовой появился высокого роста,

прямой и стройный человек. Идти в этот день по мостовой запрещалось, переходить ее тоже нельзя было. Прохожему кричали, свистели, раздался даже выстрел, но он продолжал идти медленно, спокойно, властно. Когда он приблизился к участку, где немцы и полиция оцепенели от непонимания, все увидели, что прохожий стар и красив, и его седая красота смутила даже унтер-офицера. В руке у старика был маленький куаферский чемоданчик, на рукаве — бархатная желтая звезда. «Антон Васильевич!» — загудело в толпе, и он вошел в нее, седоголовый, и засветилась над ней его эспаньолка, загорелись огненные глаза.

А на том тротуаре, где стоял Лоренц, появилась, тоже со стороны Соборной, низкорослая толстая старуха. То была Чемадурова. Она хрипло дышала. На своих восьмидесятилетних, со вздутиями ногам она неотступно двигалась вслед за Антоном Васильевичем от самого его дома. Лицо ее покрылось известковой белизной. С белых губ слетели слова:

— Опомнитесь, Антон Васильевич! Не надо вам туда! — и к полицаям, к толпе на той стороне, к толпе на этой стороне, ко всему миру: — Вы разве не знаете его? Это наш церковный староста! Он русский, православный! — И опять к старику: — Антон Васильевич, миленький мой, вернитесь, Христа ради!

Антон Васильевич низко ей поклонился. Пальцы мастера сложились в шепоть, он перекрестил себя и ее.

— Ради Христа я и пойду. В гетто я пойду ради Христа. Мой Бог терпел и мне велел. И я все вытерплю, все, все, как вытерпел Он. Не отрекусь от Него в этот час, пойду на муки. Не сам иду — Он мне велел идти. Прощайте, Мария Гавриловна, добрая душа! Прощай, Мишенька!

Где-то был дан знак, и многотысячная толпа обреченных, оцепленная конвоем, двинулась по Покровской к месту своей поголовной гибели. На другой стороне улицы шли прохожие, останавливались, смотрели. Знакомых среди обреченных не искали, но невольно находили. Злорадства не было, упаси Бог, но и сочувствия, сострадания Лоренц не замечал. Затвердели души, как длань Исава, давно привыкли к тому, что насильно уводят друзей, родных, соседей, уводят на смерть. Только осенние акации ничего не боялись и платанам было начхать на любые органы власти, и ветви деревьев кивали согражданам своим, и посылали им вслед пожелтевшие листья — одного цвета со звездами на рукавах, да и у деревьев появились на рукавах звезды. Что это?

Акации шелестят, платаны ли плачут, или Зинаида Мойсеевна кричит, вырывая свои седые космы:

— Посмотрите, люди добрые, на небо посмотрите, Господь Бог пришел к своему рукаву желтую звезду!

Шли и шли обреченные, и Лоренц шел, но по другой стороне улицы, но свободный. После встречи с ректором он вернется домой, а те, обреченные, не вернуться. Не вернуться взрослые, которые не плачут, не вернуться малые дети, которые плачут, еще не зная, что неразумно тратят Божий дар — слезы. И Лоренц не знает еще, что из ста шестидесяти тысяч вернется только Маркус Беленький. Один, один из ста шестидесяти тысяч. Но что-то великое в своем бессилии, вечно живое в кажущемся умирании своем рождалось в душе Лоренца, и ему захотелось, чтобы ему захотелось поступить так, как Антон Васильевич, — пойти в гетто, а может быть, и на смерть во имя Христа, — но, желая этого, он знал, что так не сделает: силы не хватит, душевной силы — веры не хватит.

Толпу заставили убыстрить шаг, и Лоренц убыстрил шаг, толпу двинули по Севастопольской, и Лоренц пошел по Севастопольской, но в начале спуска стоял немецкий патруль, прохожих вниз не пропускали, уже начиная от здания Публичной библиотеки запрещалось жителям выходить из домов, было пусто и было страшно от пустоты, и пошла оцепленная толпа под мост, а он остался в начале спуска, и в ушах у него шумело, а в сердце жило то, что, слегка картавя, сказал Антон Васильевич: «Ради Христа я пойду в гетто... Ради Христа...»

Севостьянов принял его быстро. В черной академической шапочке он был очень похож на свои фотоизображения в газетах и журналах. Как и предполагал Лоренц, новый ректор предложил ему читать курс. Среди разговора спросил:

— Вы немец?

— Я русский. Фамилия немецкая.

Севостьянов слушал удовлетворенно, но был он растерян. Хотя он видел Лоренца в первый раз, доверчиво сказал ему:

— Чем больше нас, порядочных людей, будет с ними, тем лучше будет для родины. Жестокости кончатся вместе с войной, а Россия никогда не кончится, немцы это наконец поймут.

— А румыны поймут, профессор?

— Румыны — это ненадолго. Бутафория. Транснистрия. — Севостьянов вскинул выразительные, как у музы-

канта, руки в твердых монархических манжетах. — Кто это сказал, что румыны не нация, а профессия? Кажется, покойный государь? Вы не помните, коллега? Впрочем, не будем злословить. Я думаю, недели через две мы приступим к занятиям. Я надеюсь на ваше сотрудничество, Михаил Федорович.

Лоренц откланялся. Приступим к занятиям, коллега. Через две недели... Студентов осталось мало, многих взяли в армию, считалось, что университет эвакуировался. Неужели Севостьянов ничего не понимает, неужели он, называющий себя христианином, может не думать о тех, обреченных? А он, Лоренц, раньше думал об обреченных? Убивали дворян, убивали купцов, убивали крестьян, убивали оппозиционеров, — а что делал он, Лоренц? Учился, читал, жил.

До поздней ночи он беседовал с матерью. Решили сделать так, как советовал перед смертью Федор Федорович. Трудно будет Юлии Ивановне одной, но Мише надо уйти. К своим. Через темный, беззвездный двор пошли к Чемадуровой. Она сказала, как Федор Федорович:

— Иди, Миша, к русским. За маму не бойся, вместе бедовать будем, вместе легче.

Рано утром с рюкзаком за плечами Лоренц вышел из дома, где он родился, из спящего дома Чемадуровой. Накрапывал дождик. В Николаевском саду к мрамору парапета, на котором они в детстве сидели с Володей Варути, с Еличкой, прилипли багряные кленовые листья. Улица, вымощенная синей итальянской лавой, была тиха и так печальна, так печальна. Ее задумчивость щемила сердце. В кармане у Лоренца — карта нашей области. Два пути было у беглеца: на восток в Николаев и на север в Елисаветград. Он выбрал север.

Глава четырнадцатая

Румыны, будучи фашистами с человеческим подобием, выгодно отличались от большевиков бытовой разумностью, естественной направленностью своей энергии, но их беда заключалась в том, что разумность их была крайне ограниченной вследствие ничтожности государственного опыта, а источником их энергии были гитлеровцы, которые потребность в румынах определили для себя как второстепенную и кратковременную. И бесспорно мешала румынам извечная и бессильная жадность полунищего, неуважаемо-

го королевства. Подобно немецким нацистам, румынские железногвардейцы не доросли до национального самосознания, остановившись в своем развитии на ненависти к другим нациям и на воспаленном самолюбии, но у них не было и того незамысловатого национального чванства, которое стало движущей силой рейха. Притом что Гитлер был бесконечно сильнее и хитрее Антонеску, цель его, хотя и грандиозная, была гораздо проще: он хотел создать всемирную, на худой конец всеевропейскую, немецкую империю, уничтожив или поработив остальные нации, кроме нордических, германоязычных, с которыми снисходил слиться. Антонеску, лишенный гениальной простоты Люцифера, ставил себе, как все политические посредственности, задачу более сложную: он не собирался поработать или уничтожать, он, бедняга, мечтал орумынить население захваченного края, орумынить медленно и по возможности без боли, но силенок у него было очень мало, ни числом он не мог взять, ни умением, ни тем более высокой духовной культурой. Чтобы стать хозяином королевства, ему пришлось, в сущности, истребить железногвардейцев, но что путное, завораживающее чернь мог он изречь вместо их выкриков? Добропорядочный, но бескрылый, скучный обскурантизм. Даже за двадцать лет владычества не удалось по-настоящему орумынить Бессарабию, которая всегда была, казалось бы, естественной частью Румынии. Возвращение насильственно отторгнутой Бессарабии придавало Антонеску в глазах румын черты национального героя, но закрепить эту землю за собой не удалось ни Румынии боярской, ни Румынии — гитлеровской служанке, ни, позднее, Румынии социалистической. Однако тот первый военный год был годом упоения: наконец-то потомки даков перебрались за Днестр, утвердились на другом берегу Понта Эвксинского, гостеприимного. Когда-то стояла там великая держава единоверцев, держава рухнула, осталось пестрое и впавшее в бедность население. Эти пестрота и бедность, казалось, должны были помочь румынам обольстить обитателей захваченного края. Антонеску понимал: единственное, что он мог дать нашим землякам, это вожделенный капитализм, по которому они истосковались, как странники в пустыне по воде, и тут, надо сказать, он, сам нищий, постарался. Вот пример. Что построили в первую очередь большевики, когда они через три года вернулись? Они начали с того, что нужно было государству, а не людям: восстановили здания обкома, облисполкома, комитета государствен-

ной безопасности, а потом уже нехотя и неспешно занялись всем прочим. Румыны мыслили гораздо банальней, то есть разумней. Разрушен вокзал? Значит, надо в первую очередь восстановить вокзал, потому что население нуждается в вокзале. К слову сказать, эта свойственная Европе приземленная разумность иногда мешала и немцам. Истинный нацизм, истинный тоталитаризм окрыляется безумием, дерзким и своекорыстным. Но вернемся к вокзалу. Румыны, слабенькие, восстановили его кое-как, на скорую руку, просто расчистили завалы, убрали мусор, щебень, соорудили подобие перрона, касс. Овладев изумительным портовым городом, огромным, богатым краем, румыны так и остались королевством окраинным, пригородным...

К подобию вокзала поезд приближался почти ежедневно. Приезжали в город главным образом военные, но виднелись и гражданские, и не только немцы и румыны — появились и деловые люди из других частей оккупированной Европы. Они же и уезжали. Что касается местных жителей, то они могли ехать только до границы с рейхом, — за многими исключениями.

В марте 1942 года, когда солнце щурится сквозь туман и утро похоже на слепую красавицу, на перрон сошел невысокого роста, довольно полный, можно сказать, тучный пожилой пассажир в тирольской шляпе с тульей, обмотанной шелковым шнурком, в добротном длиннополом пальто и с клетчатым пледом на руке. Проводник помог ему опустить по ступенькам советского вагона два больших, но потертых и, видимо, тяжелых кофра. Подошел сцепщик, спросил:

— Отнести? До извозчика?

Пассажир сначала опешил: там, где он жил, он привык к другим носильщикам, с бляхой, в форме, — но потом он даже обрадовался, ответил по-русски:

— Да, да, до извозчика, пожалуйста.

Его, конечно, удивило, что сцепщик подрабатывает, выполняя обязанности носильщика, но он принял как должное ту странность, что тот предложил ему извозчика, а не такси. Хотя у сцепщика было два нелегких груза, он шел быстро, и полный пассажир едва за ним поспевал, боясь потерять его в толпе, и у него начиналась одышка.

Но волнения были напрасны. Благополучно остановились на площади. Знакомый скверик, знакомая извозчичья пролетка времен Колчакова и покорения Крыма (так в те годы переиначивали известную грибоедовскую строку), приземистая, узкая. Пассажир дал сцепщику две оккупаци-

онные марки, но тот не уходил, пассажир с неудовольствием прибавил третью и спросил у извозчика:

— Сколько вы с меня возьмете до Покровской, может, знаете, дом Чемадуровой?

— Сколько дадите, — ответил извозчик.

Был он так же тучен, как и пассажир, но небрит, белая щетина дробилась на его круглом, пропеченном нашим солнцем лице. Пассажиру ответ не понравился, но он, тяжело дыша, втащил оба кофра в пролетку и неудобно уселся между ними. Лошадь поплелась по Пантелеймоновской.

Не знаю, таково ли свойство всех людей, но у наших горожан бросается в глаза особое отношение к родному городу: каждый считает, что это его город, его и ничей больше, ну, скажем, как жена — мужняя и ничья больше, и после долгого отсутствия муж к ней возвращается, и она его встречает, его среди всей толпы, и он видит только ее, а она только его. На другом конце этой улицы, если идти к морю, помещалась гимназия, где учился тучный пассажир, и он решил, что непременно придет на нее взглянуть. Вот показался Привоз, безвкусно восстановленные длинные серые здания рыбного ряда, и пассажир с умилением отметил, что по-прежнему на улице перед зданием торгуют скумбрией, бычками, чирусом и крупной камбалой в ведерках. «Сейчас, — подумал пассажир, — начнется молочный ряд», — но знакомого здания не было, только виднелись издали на столах бидоны.

— Когда-то здесь был большой магазин Фридганта, глубокий, даже летом прохладный. Какое золотистое, какое пахучее масло было у Фридганта! Только в Дании как-то ел я такое масло. Наша университетская клиника оптом покупала для больных.

— Что было — видели, что будет — увидим. Теперь у нас никаких Фридгантов нет.

— Ах да, — вспомнил пассажир и смутился. — Постойте, где мы? Здесь должен быть Фруктовый пассаж. А дальше — кладбище, Первое христианское.

— Было кладбище, потом сад юных пионеров, теперь ничего нет, был пассаж — теперь зоопарк. Зверей вывезли. А мы свернем на Трехугольную.

— Почему не сразу на Покровскую?

— Сразу нельзя. Дом ремонтируется, его наполовину разбомбили. Надо в объезд, а там уже на Покровскую попадем, или, по-новому, на улицу Антонеску.

Какне прелестные названия: Треугольная площадь, Гулевая, Книжный переулок... Пожилой пассажир чуть не заплакал, увидев дома своего детства, с каменными навесами балконы на мифологических плечах титанов, женскую гимназию Бален де Балю... Недаром, уже приближаясь по железной дороге к городу и стоя у окна, глядя на красный недвижимый вагончик, затерянный среди мокрого будяка и чабреца на какой-то сонной утренней станции, на жалкий базар, на женщин, улыбававшихся сквозь шелку платка и по степной земле отъезжающих как бы назад, в прожитые годы, он говорил себе: «Для слез еду сюда, для слез». Но теперь он увидел, что не только для слез приехал сюда, что нет на земле места милее, и если его предприятие закончится успешно, то не послать ли к черту все и доживать свои дни здесь, здесь.

— Боже мой, Покровская церковь! — как мальчик, восхитился пассажир.

Он восхитился бы еще сильнее, если бы видел, какой церковь была раньше, хотя бы год назад, — заброшенная, обворованная, зимою нетопленая, роспись на стенах висела пузырями. Теперь стены были выкрашены в голубую и белую краски, роспись возродилась, в греческом облике церкви младенчески сияли черты украинской мазанки, купола щедро золотились, ступеньки, поднимаясь с двух сторон, образовывали дугу, над ней был вход, а под дугой был нижний вход, и на паперти, как в давние хорошие времена, стояли нищие бабы и калеки нынешней войны, а над верхним входом Богоматерь с покровом смотрела на больных детей своих лучистыми глазами.

«Почему два входа, внизу и наверху, странно, что я впервые это заметил, в детстве ни разу не обратил внимания», — подумал пассажир. Извозчик показал на церковь кнутом.

— Румынам надо спасибо сказать. Что правда, то правда.

— Прихожан много?

— Много. Особенно по воскресеньям, по праздникам. И молодых полно. Ровесники Октября сейчас далеко, воюют, а вот бывшие пионеры так и прут. Все церкви, какие остались, теперь действующие.

— Приятно слышать. А у нас в храмах пусто. Разве что свадьбу справляют. Ну и похороны. Я говорю о католических. Мы, русские, в свою церковь ходим. Но больше для того, чтобы не потеряться на чужбине.

— Извините, конечно, за вопрос: вы из Дании приехали?

— Почему из Дании? Из Чехословакии. Но родился я здесь.

— Это видно без бинокля.

— Почему, однако?

— Нашего узнаешь хоть в Париже, хоть в бане. По выговору и личности.

— Я здесь не был почти двадцать пять лет. Шутка сказать — четверть века.

— Ваше счастье.

— Случайно, не слышали, Чемадунова еще жива?

— Какая Чемадунова?

— Так мы же с вами едем в дом Чемадуновой.

— Это название такое. А что была на свете Чемадунова, я и не думал.

— Дом, по крайней мере, на месте?

— На месте. И место хорошее, и дом громадный, крепкий. В наше время разве так строят? С какой стороны подъедем?

— Лучше всего со стороны Николаевского проспекта, где был магазин Чемадуновой. Магазин церковной утвари.

— Не помню я такого магазина.

Но магазин не исчез, приезжий сразу его узнал, хотя над стеклянной дверью не висела вывеска с золотыми выпуклыми буквами на черном фоне и в окнах не светились милые обрядовые предметы, а из одного окна почему-то теперь торчала дымоходная труба. Здесь прошли его детские годы, здесь, когда он приходил из пятой гимназии, мать, всегда сердито, выдавала ему серебряную или бумажную мелочь, доставая ее своей пухлой рукой из кассы-конторки, и многое, многое вспомнилось ему, и, как поется в романсе, набежала искра на сухие глаза. Приезжий, потрясенный зрелищем родительского дома, отпустил, не торгуясь, извозчика, сам поднес к двери два тяжелых кофра, перстнем на пальце постучал в стекло возле дверной ручки. Он услышал слабый голос:

— Кто там?

— Гость, — с напускным весельем, волнуясь, ответил тучный приезжий.

— Женичка! Ты приехал! Дверь не заперта, толкни по сильнее.

В последний раз она слышала его голос почти двадцать пять лет назад, но безошибочно узнала его, то был голос ее

сына, старшего сына. И он узнал ее голос, хотя когда-то он звучал иначе — властно и резко.

Она лежала под двумя одеялами, верхнее было рваное. Видимо, в помещении было не очень тепло. Ее седая непричесанная голова опиралась на три подушки. Наволочки были не первой свежести. Из-под кровати выглядывал урыльник, наполненный мочой. Евгений Чемадулов, поставив на пол кофры и сбросив на них плед, наклонился над матерью, поцеловал ее дряблую, мокрую от слез щеку. Постель дурно пахла. Она перекрестила его, краем простыни вытерла глаза, они у нее, как и раньше, были маленькие, острые, умные.

— Приехал, Женичка, — повторяла она. — Я так и думала, что, если живы, кто-нибудь из вас объявится. А я плохая. Но рада, рада. Возьми стул, вон тот, у стены, он покрепче, садись, рассказывай. Или позавтракаешь сперва? Я тебе скажу, что делать, у нас это непросто, а мне самой трудно.

— Мама, не беспокойтесь, я в поезде подкрепился. И вам кое-что привез съедобного. Вы ужасно живете, мама, никакого комфорта. Я подъехал прямо к магазину, думая, что скорее всего застану утром вас здесь, а не дома, наверху, оказалось все как-то не так. Квартиру отняли?

— Все отняли, все нажитое забрали. Да Бог с ним, нажитым. Я, Женичка, ухажу, умираю.

— Мама, не надо так говорить. А все, что отняли, я верну, дом верну, и все будет как нужно, может, вместе заживем.

— Хорошо бы. Как ты сам жил все эти годы? Хоть бы весточку о себе подал. Как в пропасть — ты и Жорж. Он живой?

— Живой. Я вам писал дважды, один раз в двадцать втором году, а потом лет через тринадцать-четырнадцать, когда в Праге советское посольство открылось, письма были рекомендованные, но остались без ответа. А еще писать я опасался, думал, причину вам неприятности.

— Не получала я твоих писем. Где ты теперь живешь? Где Жорж? Постарел ты, ой постарел, Женичка.

— Мы оба в Карловых Варах. Теперь они опять называются Карлсбад.

— Знаю, бывала, еще до той войны бывала, водичку пила. А жили мы, я и твой папа, в гостинице, по-ихнему в отеле, высоко на горе.

— Вот-вот, водичка — она моя специальность. Я практикую при отеле «Глостер», это в конце той улицы, где курзал, источники.

— Там и сейчас рано утром, чуть свет, оркестр пикирует? И монашки со своими кружками приходят?

— Оркестр играет по утрам, и монашки воду пьют. А знаете, кто хозяин «Глостера»?

— Раз ты спрашиваешь, могу догадаться. Неужто Жорж?

— Он. Вернее, его жена.

— Она у него русская?

— Мама, вы Жоржа почти не знаете, уехал он от вас студентом. Он человек получился цепкий, зоркий, вперед смотрел. Немка его жена, судетская немка из Хеба. Мудрец Жорж.

— В каком смысле?

— А в том смысле, что немцы теперь хозяева мира. Не хочу скромничать, я неплохой врач, могу, положи руку на сердце, сказать, что больные меня ценят, но без Жоржа мои дела пошли бы хуже на чужбине. Он иногда суров со мной, но любя, по-братски суров. Он достал от солидных лиц письма к местным властям, деньгами, правда, в обрез меня снабдил: дом надо вернуть.

— Попробуй, дело отличное. Я ухожу, а вам жить. И твоя жена немка?

— Нет, я не оказался таким дальновидным, как брат. Русская она, землячка наша. У Жоржа детей нет, а у нас два сына, старший со мной, он тоже врач, внука мне подарил, а вам правнука, Димочку. А младший на фронте.

— Против русских воюет?

— Мобилизовали. Я сейчас кое-что достану, заодно и портреты посмотрите.

Он был очень похож на мать — ростом, полнотой, узкими, инородческими глазами, но взгляд был скучный, тусклый. Шумно дыша — живот мешал ему наклоняться, — он расстегнул металлическую застежку, стал вытаскивать из кофра, сам любуясь, подарки для матери: широкое пальто из мягкого сукна с пестрой подкладкой, два платья, черное и темно-бордовое, шерстяной костюм, целый набор — жакет, блузка, юбка. Все выложил на стол бережно, весело сказал:

— Это вам, мама, вам от меня и жены. А в другом кофре еще есть бижутерия всякая и люстра богемская, подарок Жоржа.

Мария Гавриловна поблагодарила его глазами, про себя отметила, что костюм будет ей к лицу, вещь ценная. И пальто, видно, дорогое. Наконец сын добрался до фотографий. На одной он сам, еще в русской офицерской форме, и жена, молодая, некрасивая. «Хорошее у нее платье», — сказала Мария Гавриловна, откладывая фотографию. Потом появились и заснятые карлсбадским фотографом внуки, сперва еще школьники, в гольфах, потом взрослые, галстуки бантиком, лица без нашей нервности, но и без нашего советского разумения. А у одного из них лицо было такое, что в глазах у Марии Гавриловны потемнело и желтая рука ее задрожала.

— Тот, справа, на отца твоего похож. Картинка. Старший?

— Старший. А вот еще картинка, правнук ваш.

Мария Гавриловна поцеловала карточку. Бутуз ей понравился, толстенький. На душе стало легче, светлее. А сын положил на одеяло новую карточку. Там был изображен Жорж, красивый, холеный, важный иностранец, совершенно ей незнакомый. На обороте было написано: «Дорогой мамушке от любимого сына. Жоржик».

— Что за мамушка? И почему он знает, что именно он любимый сын? Мне кажется, что я к вам относилась одинаково.

— Он по-русски немножко забыл. Хотел написать «от любящего». А сыновья мои по-русски почти не говорят, но понимают. Ваша сноха русская, но по-русски слова подбирает с трудом и произносит их, как чешка. Мы с вами вкусно позавтракаем, мама.

Предвкушая удовольствие, которое доставит матери, он принялся вытаскивать из кофра продукты — консервы с диковинными этикетками. Мария Гавриловна смотрела: чужие этикетки, чужой вроде человек, а сын, сын, Женичка приехал, старший ее!

— У нас в «Глостере» высшие немецкие офицеры лечатся, отдыхают, это все через них добыто, — сказал Евгений Чемадунов. — Сейчас мы с вами отведаем по чашечке бразильского кофе. Мама, давно вы пили настоящий бразильский кофе?

— Никогда, кажется, не пила, я люблю чай с молоком. Женичка, ты уж меня прости, возьми ведро, сходи за водой во двор. Ты помнишь? Надо свернуть за угол на Албанский переулок, там ворота и напротив ворот, в конце двора, кран.

— Но я вижу, что в магазин провели воду, вот раковина.

— Не идет вода, Женя, приносим со двора.

— И туалет на дворе? Никакого комфорта. Однако позвольте, мама, насколько мне помнится, я могу попасть на двор через заднюю комнату, вижу дверь, не забыл. Так же будет быстрее. Зачем в обход?

— В задней комнате другие жильцы.

— Жильцы в полутемной комнате, с окном в парадную, без воздуха? Что за люди?

— Хорошие люди. Редько их фамилия. Муж и жена. Сын, как и у тебя, в армии, на фронте. Они мне разрешают через них проходить, но тебя они еще не знают, а время теперь такое, сам понимаешь. Я слегла вот уже два месяца тому, почти с самого Нового года, Юзефа Адамовна за мной, как дочь, ходит. Я тебя познакомлю с ней и с Валентином Прокофьевичем.

Так вернулся в отчий дом доктор Чемадуров. Отчий дом. Где был дом его отца? У той женщины, к которой он ушел от матери? В трактире «Олень», где он повесился? А где его, Евгения Чемадурова, дом? При отеле «Глостер», где заправляет противная немка, его свояченица, и где Жорж, хотя и любит его по-братски, не преминет показать, кто хозяин. И только один у него воистину отчий дом — здесь, в этом бывшем магазине без самых необходимых удобств; здесь, в этом несравненном городе, здесь, где в конце пребывает начало, и он должен вернуть роду Чемадуровых отчий дом.

Хлопоты оказались тяжкими, дело не двигалось, хотя мать в сохранности и в удивительном порядке столько лет содержала все бумаги. Румыны прямо не отказывали, но и не спешили так просто вручить карлсбадскому жителю огромный дом, занимающий почти три квартала в центре города.

Приехавший из протектората врач был не первым, кто обращался к румынской администрации с подобными просьбами. Канцелярию примара Пынти осаждали своими заявлениями, присланными из Франции, бывшие владельцы банков, домов, бывшие помещики, надоедал лично бывший хозяин теплых морских ванн, полунемец, проделавший дальний путь из Аргентины. Власти Транснистрии не возвращали белым эмигрантам отнятое у них большевиками имущество, и на то были две причины. Во-первых, с какой стати? Румынам это имущество было нужнее. Во-вторых, румыны решили опираться на местных жителей, а не на приезжающих, на нынешних, а не на бывших. Они по-

местили, например, в «Свободном голосе» некролог, посвященный при них скончавшемуся Павлу Николаевичу Помолову, отметив его разнообразную деятельность и героическую смерть его сына. Характерный штрих: улицу Помолова не переименовали. Чиновники примара посылали поздравления именитым старцам по случаю их юбилея, даже если юбиляры занимали ответственные должности при большевиках и были членами партии.

Доктор Чемадуrow уже начинал понимать враждебность румынских чиновников. Он не знал, что ему делать. Семья Редько, с которой он сошелся, считала, что он даром тратит время. Ему нравилась госпожа Редько, нравилось, как она слушает его рассказы о заграничной жизни, о плоском, чисто швабском остроумии чехов (Швейк — удивительное исключение), он сидел бы с ней часами. Но и назойливым нельзя быть, и он бродил по городу, он и в этом находил радость, горькую радость. Знакомых юности он не нашел. Несколько часов, сам не зная почему и для чего, он простоял на Уютной улице, где жила его первая любовь, гимназистка седьмого класса, которая курила — вещь в ту пору неслыханная. Он бывал в родном городе и в трудные дни первой войны, и в безумные дни смуты, но никогда он не чувствовал той непонятной, тайной тоски, которая как бы незримо ползала по улицам рядом с ним и то билась головой о берег моря у обрыва под Уютной улицей, то, обессиленная, прижималась к стволам деревьев. А между тем нельзя было утверждать, что город умирает. Наоборот, в его жилах закипела алая кровь частной инициативы. На базаре процветало, громко торжествуя, натуральное хозяйство. Крестьяне, отвергая деньги, охотно отдавали дары садов, огородов и полей в обмен на румынскую обувь и одежду, хотя и то и другое, как заметил Чемадуrow, давно вышло из моды. Раньше не хватало всего. Простыни в деревне, у кого они были, служили украшением, на них не спали. Теперь румыны в изобилии снабжали не только городское, но и деревенское население товаром пусть устаревшим, но пригодным для жизни. Открылось множество комиссионных магазинов, ресторанов, казино, кабаре и небольших буфетов, где торговали самодельными пирожными и сладкими колбасками с халвой. Румыны истребили насильственное, ханжеское пуританство сталинского режима, и нравы регентства так обнажили и разнообразили половую жизнь, что в городе стали сильно опасаться венерических болезней. Если же вспомнить о партизанах, то их не опасались,

они себя пока никак не проявляли, и описания их блестящих подвигов, напечатанные после победы, бесспорно имели жанровое сходство с описанием легендарного мятежа французских моряков во время гражданской войны.

По словам Валентина Прокофьевича Редько, который всегда обладал верными сведениями, в катакомбах действительно расположились оставленные партией и органами подпольщики, но они занимались блудом и пьянством и отправляли оказией на Большую землю доносы друг на друга.

Дела Валентина Прокофьевича шли в гору. У него оказался природный талант негоцианта. В отличие от жалких деятелей советской торговой сети, которые умерли бы от конкуренции, как эскимосы от насморка, ибо их успех был основан только на алогизме системы, Редько быстро и даровито усвоил законы свободного предпринимательства. Временно отступившие бесы, может быть (хотя вряд ли), лучше понимали Россию лапотную, крепостную, зато у новых бесов было человечье чутье: югу России был потребен озон капитализма. Валентин Прокофьевич теперь торговал кожей открыто, бесстрашно, и не только кожей подпольной выделки, но и той, которая попадала в его руки через посредство румынских интендантов. Когда приходилось производить натуральный обмен с крестьянами, Редько поручал это помощникам — сам он все свое время уделял более серьезным сделкам. Один из таких помощников однажды чуть его не подвел. Об этом стоит рассказать, а рассказ поневоле надо начать издалека.

В конце Албанского переулка, рядом с тем двором, где когда-то помещалась фирма «Лактобациллин», поселился еще при добровольцах молодой сравнительно генерал с женой и семилетним сыном. В его распоряжении, как и у молочной фирмы, был большой двор, где на конюшне стояли лошади, и одной из незабвенных картин нашей детской поры был величавый выезд генерала и его мальчика верхом на двух крупных белых лошадях. Потрясало нас, мальчишек, в особенности то, что не только генерал, но и его семилетний сын был одет в военную форму, у него были сапожки со шпорами, мундир, погончики. Дети бегали вслед за всадниками, даже не смея завидовать и замирая от счастья зрелища, а владельцы лавок и мастерских вместе с заказчиками и покупателями, прервав дела, выходили на улицу, смотрели, задумывались. Фамилия у генерала была заметная на Руси, и только для того, чтобы дать о ней пред-

ставление, назову его Ознобишиным, а настоящую фамилию объявить воздерживаюсь, потому что представители этой старинной дворянской отрасли еще живы, а один из них, говорят, стал в эмиграции известным писателем.

Судьба семьи сложилась так. Генерал исчез вместе с Добровольческой армией, сын его стал простым матросом, ходил в заграничные плаванья и тоже исчез — говорили, что сбежал к отцу, который тогда еще был жив, — а мадам Ознобишина старилась, преподавая в средней школе французский язык. В пожилом возрасте она приняла сердечное участие в несчастном немом (но не глухом) юноше, выросшем в интернате. Она взяла его к себе. Седая, стройная, с быстрыми черными глазами, она быстрыми шагами, дымя на ходу дешевой папиросой, спешила из школы домой, и люди о ней говорили нехорошее. Она и в самом деле жила с немым.

Мадам Ознобишина различала в его мычании какие-то слова, ей действительно понятные, и уверяла соседок, что его можно вылечить. Он ходил на базар, стряпал, мыл полы. Очень любил выпить и радостно мычал, когда годившаяся ему в матери возлюбленная приносила под праздник бутылку вина. Мадам Ознобишина еще обожала рассказывать о его уме, находчивости и доброте и находила в нем сходство то с Джеком Лондоном, то с артистом Абрикосовым. Румыны вспомнили об Ознобишине как о вдове русского боевого генерала, участника белого движения, написали о ней в газете. Это послужило ей поводом завязать — или возобновить — знакомство с некоторыми видными интеллектуалами-квислингами, и один из них, искусный врач, нейрохирург, кажется, вернул юному ее другу дар речи. Когда мадам Ознобишина, счастливая, помолодевшая, привезла его на трамвае из больницы (а дома их ждал обед с вином) и стала его ласкать, бывший немой внезапно оттолкнул ее, и первая связная фраза, которую она от него услышала, была такой: «Отстань, старая курва!»

Он не только жестоко отверг покорную, позднюю любовь своей спасительницы, но приводил на ее квартиру, в свою комнату, молодых женщин, а иногда во время таких свиданий посылал Ознобишину за вином (деньги он давал), и она, все так же дымя на ходу папиросой, торопилась исполнить его поручение. Этот ничего не умеющий верзила (его имя было Максим, но весь переулочек вслед за мадам Ознобишиной называл его Симочкой) был не из самых ловких помощников Валентина Прокофьевича, но тот верил в его честность и преданность. Оказалось, что Редько ошибся.

Поздней январской ночью Симочка по какому-то спешному торговому делу устремился к комнате Редько. К его удивлению, несмотря на ночное время, дверь была открыта, а за дверью стояла женщина и дышала зимним воздухом. Хотя в комнате было темно, Симочке показалось, что он узнал Фриду Сосновик.

Глава пятнадцатая

Подпол, в котором почти три года прожили и проработали Фрида и Дина, был не такой уж маленький, его площадь равнялась четырем с половиной квадратным метрам и без малого двум метрам — высота. Каждую неделю Валентин Прокофьевич привозил из ближайших сел опоек, овчину, козлятину, и шкуры отмачивались в двух больших чанах, занимавших в подполе немало места. Дальнейшая стадия производственного процесса заключалась в обезволаживании: волос и эпидермис удалялись с помощью зловонной смеси сернистого натрия, извести и воды. Это длилось несколько часов. Затем обезволенные шкуры погружались в третий чан, наполненный суспензией извести. Так называемое зеленое голье обезволивали солями алюминия и смягчали смягчителями из плесневелых грибов.

От гниения кожи при ее влажной обработке поднимались удушливые, вонючие газы и пары. А в комнате над полом окно выходило в парадную, воздух поступал только через дверь, но дверь надо было держать закрытой не только зимой, но и летом. Ни одна живая душа в доме, даже мать и сын Варути, даже Юлия Ивановна, не знала, что Фрида и Дина скрываются в комнате Редько.

Еще в советские годы Фрида как-то с горькой улыбкой рассказывала, что в Талмуде в книге «Нашим» («Жены») среди немногих причин, по которым униженная женщина имела право на развод, указывалось ремесло мужа — кожевник. Спали мать и дочь, сидя между чанами и мешками на корточках, а то и стоя. В первое время они просили себе смерти, потом привыкли. Ночью во время многочасового обезволаживания шкур они поднимались наверх и с разрешения хозяев, которые и сами задыхались от зловония, открывали дверь минут на пятнадцать. Их могли случайно увидеть со двора, но если бы не эти короткие, жадные глотки воздуха, они бы давно погибли. Особенно стало трудно летом, когда во дворе, по южному обыкновению, жильцы сидели даже после полуночи, беседовали. Вот мимо двери

задвигалась при лунном свете чья-то тень — и мать и дочь должны быстро и тихо шмыгнуть в подпол.

— Мы уже мыши, а не люди, мыши мы теперь, — сдавленным шепотом причитала Фрида, и шепот был таким, что его в самом деле могли услышать и понять только мышь или белка, а не человек.

Она и до войны много лет занималась этой адской и противозаконной работой, и Дина, возвращаясь из школы, а потом из института, помогала ей, но в те годы Фрида проводила в подполе не более четырех-пяти часов в день, да еще с перерывами, а Дина и того меньше. И тогда был страх, но не сравнить его с теперешним: сама их жизнь стала страхом. Они забыли свет солнца, дневной свет мог принести им гибель. Выползая, как мыши, ночью из норы, они, пугаясь дыхания ветра, шороха шелковицы, смотрели недвижными глазами оробевших зверьков на одинокое сияние звезды. Тяжелой, старческой походкой двигалась к ним из соседней комнаты — Редько разрешал — Мария Гавриловна, обнимала их, рассказывала о той жизни, которой наверху жили человеческие существа, о ценах на базаре, о новых магазинах, о событиях в доме, о румынских офицерах, гуляющих с нашими шлюхами по Кардинальской. Они слушали внимательно, но безучастно — то была иная, чуждая и теперь им не нужная жизнь на земле, жизнь людей, а они жили другой жизнью, жили в земле жизнью мышей. Смешно и стыдно сказать: для них было немало, памятной радостью, когда в иную добрую ночь им удавалось добежать до уборной, до отвратительной дворовой уборной, в которой в каждом из двух очков ее выглядывал застывший конусом кал, получивший всенародное наименование монаха. Но большей частью отправления совершались тут же в подполе, одна вонь не мешала другой, а выносила за ними Мария Гавриловна, пока была здорова, а когда слегла, этим занялась Юзефа Адамовна.

Оказалось, что добытчик Редько был женат на женщине удивительной доброты. Отец ее, низкорослый, надменный, усатый, служил до самой смерти своей швейцаром в гостинице «Московская». Она выросла в семье грубой, скопидомной, корыстной, но — сосуд, созданный из глины, — она была наполнена милосердием своего Создателя. Она и выглядела миловидно, моложе своих сорока шести лет, хотя и неправильно было бы назвать ее красивой. Ее глаза излучали такой свет, который проникал в душу. Казалось, что свет излучали даже ее пепельные волосы, собранные в узел, и ее работающие руки, и губы, не произносившие бук-

вы «л» и улыбавшиеся как-то нерешительно, с непонятной боязливостью, но тем чудесней была улыбка.

Они подружились, эти четыре женщины, и только потом по-настоящему поняли Фрида и Дина, каким богоданным счастьем были для них Мария Гавриловна и Юзефа Адамовна. Казалось, Редько одобряет близкую, самоотверженную дружбу жены с двумя его тайными работницами и старухой Чемадуровой, но когда Юзефа Адамовна просила его прекратить или хотя бы приостановить на время выделку подпольной кожи — ведь им денег хватает, и они сами уже задыхаются от испарений, — Редько не хотел ее слушать.

— Валя, для кого копим? — плакала Юзефа Адамовна в постели. — Может, уже убит наш Владик.

Редько целовал ее мокрые глаза, ее губы, но был тверд:

— Мужчина должен знать свою справу: чтоб его дети жили лучше, богаче, чем он. Для Владика и копим.

Однажды жена сказала мужу:

— Ты выйди на двор на часик, я им воду согрею, пусть хотя бы помоются.

Редько согласился, похвалил ее, обнадежил:

— Не сразу, Юзенька, не сразу, подожди трошки, мы еще с тобой и Владиком заживем как надо, не хуже людей.

Валентин Прокофьевич такими словами часто утешал жену, и она, согнув высокую, еще молодую шею, склоняла пепельноволосую голову, и он гладил ее, и она верила ему, всегда верила, всегда знала, что он жаден до денег, хитер, напорист, но при этом порядочен, основателен, ей предан и душа его в хорошие минуты открывается добру. И жена принадлежала к мужу, как тростиночка к большому, толстому, надежному дереву.

Юзефа Адамовна замечала, как месяц за месяцем растет отчуждение Сосновикив от людского рода, в особенности у Фриды. Юзефа Адамовна не могла себе это объяснить, но ее охватывала тревога, и она вослед за Чемадуровой пыталась вовлечь мать и дочь в происшествия человеческого существования. Когда те выползали ночью из подпола и открывали дверь на двор, чтобы дышать, Юзефа Адамовна, стараясь не разбудить мужа, в одной рубашке сходилась с высокой кровати, наливала им в кружки компот, предлагала печенье, но те ели неохотно, есть не хотелось, хотелось дышать. Юзефа Адамовна тихо повествовала. Володя Варути стал большим человеком, его в газете называли крупным национальным художником Транснистрии, он выезжал в Бухарест, одет с иголочки, ему устроили выставку, его боготворила литературно-художественная молодежь. Не зна-

ла Юзефа Адамовна, что сотрудничество Володи в грязном, антисемитском «Свободном голосе» оправдывалось этой молодежью как незначительная, но необходимая уступка оккупантам во имя настоящего искусства. Власти предоставили ему с матерью роскошную квартиру на Пушкинской и там же, внизу, ему отвели под мастерскую магазин.

А в другой раз медленно и осторожно, опасаясь причинить Сосновикам боль, Юзефа Адамовна сообщила, что скончалась Юлия Ивановна Лоренц, хоронить будут послезавтра. Фрида выслушала эту весть почти спокойно, а Дина вскрикнула, в испуге оборвала крик, заплакала, в первый раз за все оккупационные ночи и дни она заплакала, и обе они вернулись в подпол, а когда наступило утро, еще туманное, Дина приподняла крышку подпола, тихо-тихо пригнула ее к полу, поднялась по стремянке наверх и приблизилась в полутьме к постели супругов. Юзефа Адамовна услышала, проснулась. Дина позвала ее к себе рукой в рукавице.

— Положите это Юлии Ивановне, — попросила Дина и дала Юзефе Адамовне кусок кожи — грубо вырезанный цветок, на котором гвоздем Дине удалось кое-как нацарапать: «Незабвенной Юлии Ивановне Лоренц от Ф. и Д.».

Большинство жильцов дома въехали сюда уже при румынах, покойницу мало кто знал, ее решила отвезти на кладбище и похоронить рядом с Федором Федоровичем дворницкая семья. Купили на деньги Редько гроб, позвали священника. Весь день возле усопшей провела Мария Гавриловна. Как живая лежала в гробу Юлия Ивановна, даже румянец как будто вспыхнул на впалых щеках, и стало видно Чемадуровой, как похож Миша на нее. Пришли две женщины из соседнего дома, и с большим, богато набранным букетом живых цветов, ухоженная, надушенная, появилась по-прежнему худая, очень постаревшая, но великолепная, по-заграничному одетая мадам Варути. Юлия Ивановна в эти годы стала чем-то вроде приходящей прислуги в семье Варути, и мать известного художника подчеркивала гуманность и благородный характер своего посещения. И среди цветов блистательного букета оперной дивы прошлых времен (в газете ее называли исконно румынской дочерью Транснистрии) и тощих букетиков от Ненашевых, Редько, Чемадуровой притаился кусок подпольной сыромяти, немело и грубо в очертаниях цветка вырезанной Диной Сосновик в том зловонном, тесном и сыром подполе, который

был частичкой Божьего сияния на огромном пространстве империи дьявола.

Юлию Ивановну хоронили в холодном, не по-южному метельном январе 1944 года — почти через два года после приезда в родной город доктора Чемадунова. Он уехал быстро, пробыв у матери около двух недель, и многое стало с того времени иным: советские войска победно двигались по Украине. Именно в ночь накануне похорон Фрида Со-сновик, выбравшись из подпола, приоткрыла дверь, и не только для того, чтобы глотнуть свежего воздуха. Ей хотелось взглянуть на окна Юлии Ивановны, мысленно проститься с ней, всматриваясь в окна и стены ее квартиры как будто в черты покойницы. Где-то теперь Миша, жив ли он? Только сейчас, ночью, ощутила она тяжесть утраты. Вьется снег, жесткий свет неба равнодушно, недвижно лежит поверх метельной пляски снега, а рядом, так близко, уснула вечным сном женщина, с которой столько пережито, столько связано. Разве впервые на эту землю падает снег, разве впервые недвижно и жестко блесит луна, — почему же впервые нельзя сделать два-три шага, чтобы поцеловать мертвый лоб соседки? Разве этот поцелуй может остановить или повернуть время?

И так же, как ночь повеяла снегом, повеяла болью смерть родного человека, болью людской жизни, и мышь снова стала на мгновение дочерью человеческой, и как раз в это мгновение подбежал к двери по пустяковому торговому делу Симочка, и верзила заметил женщину, и ему показалось, что он узнал ее. С постели поднялся Редько и увел Симочку в глубь двора.

На другой день, когда хоронили Юлию Ивановну, в комнате Редько произвели перемены. Подпол был прикрыт ковром, на ковре поставили взятый у Чемадуновой ломберный столик, на столике — узкое длинное зеркало, пудреницу и прочие бабские причиндалы. Работу в подполе Редько велел прекратить. Прошло несколько тревожных суток. Дворник Матвей Ненашев привел господина из румынской префектуры. Несмотря на холодную зиму, пальто румына и даже пиджак были распахнуты, виднелся яркий шерстяной пуловер. Волосы, выглядывавшие из-под шляпы, и бакенбарды были черны, блестели бриллиантом, но когда господин, представившись (он показал удостоверение), вежливо снял шляпу, оказалось, что у него крупная круглая лысина.

— Это вы и есть Валентин Прокофьевич Редько?

По-русски он говорил совершенно правильно, даже, чувствовалось, с удовольствием, хотя и с сильным акцентом. Полицейские для Транснистрии в основном набирались среди жителей Бессарабии, где русский язык не забывался.

— Мадам — ваша супруга?

— Супруга. Юзефа Адамовна Редько. Юзя, покажи аусвайсы.

— Что вы, не затрудняйтесь. Кто еще с вами живет?

— Только я и супруга.

— А за дверью?

— А за дверью, в бывшем своем магазине, живет бывшая владелица нашего дома Мария Гавриловна Чемадурова.

— Знаю, знаю, почтенная и, кажется, весьма старая дама. Это ее сын недавно приезжал из протектората?

— Ее старший сын. Главный врач карлсбадского санатория для высших офицеров вермахта.

— О, большая честь. Могу ли я заглянуть к столь со всех точек зрения достойной даме?

Господин из румынской префектуры постучал в дверь, не сразу услышал: «Войдите», обвел взглядом ловчей птицы все помещение, и в его фисташковых зрачках отразились и старуха на бедной кровати, толстая, с узкими умными глазами, голые стены, раковина, стол, сундук красного дерева длиной в метр, шириной и высотой в семьдесят сантиметров (старинная работа), двустворчатый шкаф. Улыбаясь — мол, простите, формальность, — попросил разрешения заглянуть в сундук и шкаф, потом, так же понимающе улыбаясь («Тысячу извинений!»), открыл два шкафа в комнате Редько, сел, но не уходил, молчал. Что в это время чувствовали в подполе Фрида и Дина? Валентин Прокофьевич налил господину из префектуры стакан сельтерской с вином — этой смеси научили наших жителей румыны. Господин одобрительно осушил стакан, а Редько напомнил:

— Юзефа, ты в парикмахерскую собиралась.

— И я пойду, снегу навалило, — воспользовался словами Редько дворник.

Господин из префектуры разрешил. Он остался наедине с Редько. Тот сказал:

— У меня к вам просьба, господин...

— Флоря, к вашим услугам.

— Я хочу, господин Флоря, открыть магазин по продаже кожи, кожаных изделий.

— Пожалуйста, хоть в ближайшие календы. Королевское правительство поощряет коммерцию.

— Мне будет очень удобно, сами видите, если мне предоставят магазин, где сейчас живет госпожа Чемадунова.

— Превосходно. Куда же мы поместим почтенную старую даму?

— Освободилась на первом этаже во флигеле плохонькая квартира — умерла хозяйка. А там есть кухня, уборная. Мария Гавриловна только выиграет.

— О, ваша просьба нелегкая.

Полицейский набивал цену. Просьба была легчайшая. В опустевшем городе теперь не было жилищного кризиса. Во всяком случае, такие квартиры, как Лоренцев, не ценились. Редько могли бы занять хорошую квартиру, если бы не боялись за судьбу Фриды и Дины. Да и как лишиться подпола, этой фабрики? Валентин Прокофьевич весь разговор завел для того, чтобы возникла возможность дать полицейскому взятку, но не за укрывательство еврейки, это было бы безумием! Мысль о магазине и о переселении Марии Гавриловны пришла к Редько в день смерти Юлии Ивановны, и, когда, явно по доносу Симочки, появился полицейский, он быстро сообразил, за что он даст взятку, хотя мог бы устроить свое дело безо всякой взятки. Господин Флоря получил пять тысяч оккупационных марок. Подозревал ли он что-нибудь? Видно было одно: он доволен.

— Госпожа Чемадунова может перебираться хоть сегодня. А вы занимайте магазин. Завтра приходите за бумагами. Или лучше я сам занесу, мне надо быть поблизости в одном доме.

Прощаясь, он небрежно добавил еще несколько слов:

— Среди ваших, так сказать, компаньонов, вернее служащих, есть некто Симочка. Плохой, очень плохой Симочка.

Валентин Прокофьевич с помощью своих парней благоустроил Марию Гавриловну в квартире Лоренцев. Закипела работа и в магазине. Над дверями, как в безоблачные годы, вытянулась вывеска «Кожа В.Редько». Столяры соорудили стойку, шкафы, кассу. На полках появился всякий сапожный товар, хромовые головки, подметки, халявки, заготовки, просто отрезки кожи. Накануне открытия, как водится, магазин омыли. Симочка едва снова не онемел, увидев среди приглашенных господина Флорю, который много пил не пьянея, пел крестьянские румынские песни, провозгласил тост: «Пусть те, кто в могиле, пожалеют, что они не

с нами в такой веселый день». Он долго рассказывал скучные анекдоты и почему-то сообщил:

— У нас в городе Дорохое евреев не тронули, даже цадик там поныне здравствует.

Участников торжества рассмешило слово «Дорохой», решили, что в нем вся соль. Когда пиршество кончилось и остались только парни Валентина Прокофьевича, они стали бить Симочку. Валентин Прокофьевич не бил, только напоминал:

— Мясо ваше, а кости не трогайте.

Окровавленного, потерявшего сознание Симочку отнесли домой. Нос у него был переломан, как у боксера, все остальное в порядке. Мадам Ознобишина, забыв свою боль, свою ревность, кинулась к нему со слезами, нервная, тонкая, седая, выхаживала его целую неделю. И что же? Все кончилось для нее неожиданно счастливо, Симочка снова принадлежал ей, снова стал мыть полы, готовить обед, при этом он продолжал выполнять поручения Валентина Прокофьевича, да еще с рабской преданностью. У него были осторожные, ловкие руки («шелк и железо», — гордилась мадам Ознобишина), и он по приказу Валентина Прокофьевича повесил в комнате Чемадуровой хрустальную люстру, которую привез в подарок матери ее старший сын. Доктор уехал, так и не добившись возвращения дома. Оба сына, Женичка и Жорж, теперь не реже чем раз в два месяца писали матери. Письма их были деловые, сыновья инструктировали старуху, но Валентин Прокофьевич считал, что румыны дом никогда не вернут:

— У румын, как у большевиков, если нельзя дать хабар, то дело не выгорит. А хабар дать нельзя, они не возьмут, потому что дом большой, чересчур большой. Румыны и сами еще не знают, как быть с таким имуществом. Подождем.

А ждать уже не было времени: все ближе и ближе слышалось горячее и громкое дыхание Советской Армии. «Свободный голос» еще печатал всякую ерунду, радио оккупантов либо лживо кричало, либо лживо молчало, но жители, выросшие и созревшие во лжи, хорошо понимали: скоро немцы и румыны уйдут. Стало заметно, что увеличивается в городе число немцев и сильно уменьшается число румын: когда земля горит под ногами, не играют в Транснистрию. Наконец-то дали о себе знать партизаны из катакомб: в самом центре города, на Соборной, рядом с нашей главной аптекой, на стене большого красивого дома (кстати, он сохранился в великолепной эмигрантской памяти Бунина, точно им описан) появилась надпись: «Долой

фашистов!» Тут же на улице были рассыпаны сотни, а то и тысячи пятиугольных звездочек из красной бумаги. Да, партизаны не дремали.

Правобережная Украина была очищена от чужеземцев. Ходили слухи, что бои гремят близко, чуть ли не возле Вознесенска. Уже некоторые хозяева магазинов намекали в частных разговорах, что они здесь были оставлены по списку обкома партии. Оккупационные власти расклеили по всему городу воззвания, в которых достаточно красноречиво, но малоубедительно уговаривали жителей не верить вздорной болтовне о приближении советских войск. «Мы сильны как никогда!» — утверждали авторы воззвания, и это ясно означало, что им приходит конец.

Валентин Прокофьевич разобрался в ситуации не позже, а даже раньше других. Его надежда на безбедную, нормальную, спокойную жизнь рушилась. Деньги, которые он получал за свой товар, быстро теряли всякую ценность. Как быть дальше?

Однажды он задал Юзефе Адамовне вопрос, не этот, а более простой, хотя и неожиданный:

— У тебя в Польше есть родственники?

Юзефа Адамовна задумалась.

— Папа говорил, что в Кракове живет его двоюродный брат.

— Переписывались?

— Не знаю. Мама и я не переписывались. А вот как папа...

— У тебя есть там троюродные братья, сестры?

— По словам папы, должны быть.

— Фамилия — как у тебя?

— Да, Пшерадские. Почему ты вдруг спрашиваешь о них?

— Думаю, Юзенька, думаю. Не оформить ли нам в городской управе отъезд в Краков к твоим родственникам? Посылают же немцы молодежь на работу в Германию, а вот мы сами, добровольно, хотим отсюда уехать. Польские мы, не советские. Может, что и выйдет.

— Валя, большевики вернутся?

Она не спросила «наши» или «Красная Армия», а — «большевики». Мало в каком из городов России так долго продолжалось отчуждение жителей от власти, как у нас.

— Вернутся. Очень скоро вернутся.

— Ты боишься, что тебя посадят за частную торговлю, за магазин? Но ведь ты рисковал жизнью, укрывал двух евреек.

— У большевиков предвидеть ничего нельзя, кроме плохого. Но дело не в этом. Надоело мне жить в духоте. Сил больше нет. Хочу на волю.

— А в Кракове будет воля?

— Сначала поедем в Краков, а там увидим. Мы с тобой не больные, еще не старые, есть голова на плечах, устроимся. Может, удастся из Кракова дальше двинуться, на Запад.

— Про мальчика нашего забыл?

— Не забыл, Юзя, день и ночь думаю о Владике, потому и трудно мне.

И, предчувствуя катастрофу, он продолжал торговать, был, как всегда, прижимист, и хотя не требовал теперь от Сосновикив ежедневной работы, выделка подпольной кожи не прекращалась. Все же легче стало обеим женщинам — большую часть времени они проводили последние три месяца не в подполе, а наверху, в комнате. Каждый день приходила к ним Мария Гавриловна, подолгу с ними сидела. Она была два года назад при смерти, но после отъезда сына быстро пошла на поправку. На девятом десятке она почувствовала, что корень ее жизни еще крепко держится в земле. Гибель Антона Васильевича постепенно отходила от нее в дальнее былое, и пусть неясно, неярко, а зажглись какие-то радости — возникли сыновья, внуки, правнук Димочка. Она теперь не одна, хорошие ли, плохие, а есть на земле Чемадуровы. Как знать, может быть, не грабителям, не безбожникам дом достанется, а своей крови. Сладко было ей молиться в Покровской церкви, похорошевшей, как невеста, и все реже вспоминала она долголетнего старосту церкви Антона Васильевича, все чаще в ее душе утверждались покой, свет, тишина. Она кормилась благодеяниями четы Редько, но старалась, несмотря на преклонные годы, отплатить им посильными хлопотами по дому. Кроме того, она получала, хотя и скупое, продуктовые посылочки от сыновей и делилась всегда с Редько и несчастными Сосновиками. Жизнь ее облегчилась, когда она заняла с помощью Валентина Прокофьевича квартиру Лоренцев, где были вода, уборная, комфорт, как говорил Женичка. Она не верила в то, что вернутся большевики, потому что ее обманывали ее душевная тишина, покой, потому что боялась прихода тех, кого ненавидела давней, бессильной, пылающей ненавистью. Она знала, что ненавидеть людей нельзя, но разве, думала она, ненависть к исчадиям дьявола — грех?

С продуктами в городе становилось все хуже и хуже. Крестьяне перестали приезжать на базар. Это было опасно. Говорили, что большевики уже совсем близко, в Березовке.

Не знали жители, что только распутица мартовская, дожди, мокрый снег затрудняют продвижение советских танков и мотопехоты к городу.

В начале апреля земля немного подсохла. Большевики заняли станцию Двухдорожную. Между морем и лиманами не затихали бои. Голоса орудий долетали до северных окраин города. В порту немцы уже грузились на пароходы, барки, катера, рыбацьи лодки и просто на плоты. Румыны, обезумев от понятного страха, бежали из Транснистрии к Днестру, домой, но их вылавливали то русские, то немецкие солдаты, убивали. Советская авиация бомбила город. Повсюду пылали пожары — на товарной станции, в порту, на Кардинальской. Рушились здания. Упала первая бомба и на Албанский переулочек — загорелся Немецкий клуб. Это произошло тихим апрельским солнечным утром. Валентин Прокофьевич почувствовал, что стены магазина задрожали. Он открыл двери — по Николаевскому проспекту бежали в смятении жители. Валентин Прокофьевич увидел среди бегущих Ознобишину и Симочку — она впереди с папиросой во рту, он позади. Люди кричали, и, прислушавшись, Валентин Прокофьевич понял, что они бегут в катакомбы. Он вызвал из подпола Фриду и Дину.

— Возьмите с собой хлеб, еще что-нибудь. Пойдите, я вам дам чемодан с товаром. Ждите нас в саду около фонтана. Там бомба не опасна. Не так опасна. Аф гихер. Скорее.

— Немцы нас не схватят? — спросила Фрида. — Лучше бомба, чем немцы.

— Немцы бегут, им не до вас. Наверно, их уже нет в городе.

Фрида и Дина в первый раз за всю свою подпольную жизнь вышли на улицу. У одной в руке чемодан с кожей, у другой — мешок с продуктами. Они шли, с непривычки цепляясь за выступы известковых стен. Свет больно резал глаза. Горело апрельское небо, горел вдаль город — может быть, Присутственная улица, может быть, Герцогский сад. Люди бежали, не обращая внимания на Фриду и Дину. Мать и дочь пересекли неширокую мостовую и подошли к парапету вокруг фонтана. Вода не била из искусственной скалы. Здесь, вспомнила Фрида, любили сидеть ровесники — Миша Лоренц, Володя Варути и ее Еличка. Пахло морем, ветром, порохом, гарью. Они стали ждать.

В это время Редько, набив карманы купюрами и драгоценностями, укладывал в два больших чемодана куски кожи. Юзефа Адамовна собирала кое-какие вещи, продукты. Он приказал:

— Возьми один чемодан и свой мешок и иди к Сосновикам. Они возле фонтана. Я быстро к вам присоединюсь.

— Валя, а что будет с Чемадуровой?

— Я не забыл о ней. (А он забыл на минуту о ней.) Иди в сад, я приведу ее.

— Не пойду никуда без тебя.

— Юзефа, делай, как я говорю. Там женщины одни, отвыкли от свежего воздуха, помочь им надо.

— Только ты у меня один. Я не уйду без тебя, не уйду.

— Юзя, я ударю тебя.

— Ударь.

Они пошли через двор вдвоем. Над двором низко летели советские бомбардировщики. Что им здесь надо? Военных объектов поблизости нет. Немецкий клуб опять стал клубом для немцев, но только и всего. В квартирах дома Чемадуровой не осталось ни одного жильца, все убежали, а по двору в шерстяном чехословацком костюме двигалась им навстречу старая Чемадурова. В руке у нее была плетеная корзина с крышкой.

— Бросьте, бросьте! — крикнул Редько и поднял ее, толстую, старую, на руки и быстро пошел со своей тяжелой живой ношей.

Юзефа Адамовна, подхватив чемадуровскую корзинку, побежала вперед. Внезапно откуда-то из земных недр вырвался объемной полосой огонь, и когда все трое были уже в комнате Редько, стены упали. Упали стены Албанского переулка, упали стены Николаевского проспекта, они упали, но не горели, а горело то, что было внутри, и сгорели под обломками дома и сама владелица дома, и Юзефа Адамовна, и Валентин Прокофьевич. Видно, им на роду суждено было погибнуть от советской бомбы.

Фрида и Дина остались одни в пустом Николаевском саду. Вокруг фонтана, имея какую-то свою цель, кружились по камушкам голубь и голубка. Было так тихо, как, наверно, в первый миг после потопа. Кто же выпустил пернатую чету, чтобы узнать, кончилась ли беда? А разве после потопа кончилась людская беда? Вдруг показалось, будто загремел гром, будто хлынул сильный дождь. Это было непонятно, ведь сияло апрельское солнце, день разгорячался. В конце Николаевского проспекта между кленами и каштанами появился танк, первый советский танк. Он, как дождь, двигался темно и неспешно.

— Мама, пойдем, — сказала Дина.

— Куда мы пойдем?

— Не знаю, мама, пойдем.

Глава шестнадцатая

Когда после окончания войны Лоренца заставили прослужить в Германии целый год, он в первые месяцы казарменной тяготы в Каменце несколько раз делал попытки описать свой путь от родного города до харьковской земли по захваченным немцами пространствам. Но как только его слова ложились на бумагу, они переставали выражать то, что пережил, перечувствовал беженец, нет, беглец, когда он, голодный, обовшивевший, обессиленный, пробираясь от степной балки к мазанкам на горе, от разрушенного хлева к полустогоревшему навесу полевого стана или клуни, когда, таясь в ночах от чужих, он упорно шел к своим, не веря своим, опасаясь своих.

Исследователь слов, Лоренц не обладал даром слова, чтобы оживить пережитое, и вскоре прекратил безуспешные попытки, оборвал записи на третьей или четвертой странице тетрадки, хотя и не терял надежды, что когда-нибудь к ним вернется. Ничего у него не получалось, когда он хотел рассказать о живом свете звезды, проникавшем через продольный разрез в глиняной стене в тот сарай в селе под Знаменкой, где он нашел, без спросу, разумеется, пристанище на одну короткую, обрывистую ночь, — он лег, и его голова уткнулась в нечто теплое, и он не сразу понял, что то кобыла и что она беременна. Он вообще впервые понял, что живет единой, слитной жизнью с животными, растениями, болотами, с камнями и речками, но беспомощен был выразить это грифель репарационного карандаша, как не дано было ему изобразить и воронки от бомб, и трупы на дорогах, изъеденные временем, птицами и животными, и снопы, лежавшие на полях как трупы, и станки, которые, видимо, намеревались вывезти и не успели, а захватчикам, стало быть, они были не очень нужны, если дичали среди бесконечного поля под ветром, дождем и снегом, облепленные глиной и черноземом.

За тридцать два года своей жизни Лоренц только один раз покинул родной город, когда по приглашению редакции «Вестника языкознания» (на гонорар, полученный оттуда за статью) поехал в плацкартном вагоне во время отпуска в Москву, где провел две незабываемые недели. Теперь он впервые увидел сельскую, полевою землю Украины, два месяца он скитался по ней, и эта земля, в веках потерявшая цель свою и ныне сама потерянная, даже в позоре и порабощении, в дождях и туманах была прекрасна, как милая сердцу женщина, когда она улыбается сквозь слезы.

Пытаясь в крохотной комнатке, под низкими сводами старинного здания немецких казарм одушевить чистую скрижаль тетради своими буквами, Лоренц не мог преодолеть непреложность последовательности событий. А нужно ли было ее преодолевать? Что раньше и что сильнее обожгло его сердце — горелое дыхание глины, поваленные в испуганных садах яворы, рев покинутого скота, мерзлый буряк, который он с жадностью и отвращением грыз в каком-то погребе, убитая миной корова, которую свеживали бездомные дети, нежный, еще таивший свой трепет лист березы в следу лошадиного копыта или человек, повешенный немцами в петле на шесте колодезного журавля?

Немцев он долго не встречал, потому что прятался от них, но они все время неотступно были с ним, он думал о них, боялся. Однажды он заночевал не в кукурузе, не среди черных, мокрых и смятых нив, не в сарае, а в хате. Он попросился, хозяйка его впустила, налила ему полный стакан молока из глечика, дала кусок хлеба, молча уселась против него, смотрела угрюмо и пытливо, как он ест. Потом сказала:

— Наш голова до мене зайшов вчора, як повечеряла. Каже, крейду я тобі дам, треба хату побилыты, нимци любитя, щоб чисто було. А чи в хате не чисто?

Ее сорокалетнее лицо было в частых резких морщинах, более белых, чем само лицо, пальцы тяжелые и ржавые, как железо, — непонятно было, как они держались на таких тонких, слабых кистях, — а глаза тусклые, жалостливые. Всю жизнь она трудилась от зари до зари, чтобы в хате было чисто, сытно, тепло, как у людей, а люди были соседями, на том стоял мир. Лоренц провел у нее весь день, и весь день она молчала, ни о чем у него не спрашивала, например, когда вернутся наши, и только когда он собрался исчезнуть в темноте мира, сказала: «У лыпни узялы мого чоловика на фронт, потим и сына узялы, жодного лыста не маю», — и дала на дорогу Лоренцу несколько вкрутую сваренных яиц в тряпочке...

Светало, когда он дошел до речки. Он не знал, как она звалась, но и она тоже не знала его имени. Декабрь еще не сковал воду, зябко поживался над нею очерет, и Лоренцу тоже было не тепло в старом отцовском демисезонном пальто, немного его согревала полушерстяная фуфайка, ее вложила в рюкзак Юлия Ивановна. За речкой, бессильные побежать дальше, чернели два недлинных порядка села, а за ними опять степь, опять степь. Кроме речки, молчало во-круг все, что было способно двигаться — жители, собаки,

петухи, — и Лоренц почувствовал благодарность к речке, к ее влажным гласным, ибо если бы не она, то могло бы показаться, что во всем мире нет больше звуков, что Украина онемела, потому что по-немецки говорить отказывалась, а на своем языке боялась. Привычным взглядом присматривал для себя Лоренц дневное безопасное пристанище до наступления ночи, когда можно будет снова пуститься в путь к своим. Ему почудилось, будто очерет ему сказал: «Левее, левее» (ведь он начинал понимать язык произраставшего) — и он двинулся в камышах вдоль речки влево, увидел утоптаный спуск к воде, понял, что здесь брод. В самом деле, вода едва доходила ему до колен, но остер, колюч был ее холод. Лоренц вышел на противоположный берег, по ногам больно пробежало предвестие судороги, но, слава Богу, обошлось. На краю села он увидел нечто вроде барака, по запаху понял (он теперь научился многое понимать), что здание предназначено под свинарник. Он осторожно заглянул в слегка приоткрытую дверь и услышал хруст и дыхание. Он тихо толкнул дверь внутрь. С лебеды, которой здесь кормят свиней, поднялся высокий, его, Мишиного, роста, бородатый красноармеец — так просыпаются люди, которые спят непрочным сном. Рядом с его большими ногами стояли, похожие на куски водосточных труб, сапоги, обмотанные ремнем и портянками, и вся эта обмотка была закручена за крюк в стене и сверху прикрыта пилоткой. Желтые соломы были его волосы, они золотились на висках, прежде чем влиться в темную рыжеватость бороды. Он начал смотреть на Лоренца и смотрел долго — так смотрит игрок-тяжелодум в решительный момент на свои карты. Наконец он произнес, придавая особый смысл незначашему приветствию:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Гражданская одежда ваша, или вы переоделись?

— Моя.

— Значит, не военный. Человек эпохи «Москвошвея».

«Ого, — подумал Лоренц, — какие стихи знает!» И решил, что надо кое-что сообщить о себе, назвать родной город.

— Иду от самого Черного моря.

— И я оттуда иду, — повеселел бородатый красноармеец. — Давно идете?

— Могу ответить точно: я вышел из города утром двадцать четвертого октября. А вы?

— Я немного раньше... Сядем, закурим, чтобы умнее быть.

— Спасибо, не курю.

— Тоже неглупо.

Они уселись рядом на давно лишенной природной мягкости, как бы вбитой в цемент грязной лебеде. Красноармеец достал прямо из кармана махорочную труху, оттуда же вытащил огниво и несколько тщательно разорванных прямоугольничков газеты, из одного листочка умело свернул самокрутку, зажег, затянулся, сказал:

— Пищи, конечно, никакой?

— Почему никакой, — загордился Миша и вытащил из кармана пальто подарок колхозницы.

— Яйца! Дар небес! Пир Платона! Все сразу съедим?

— Как пожелаете.

— Пожелаю, очень пожелаю. А вы на меня не обидитесь?

Поев, красноармеец предложил:

— Отплачу родниковой водой. — И подставил ко рту Лоренца солдатскую флягу.

Вода была холодная, вкусная. Красноармеец отпил после Лоренца и сказал:

— Традиционный вопрос наших земляков. На какой улице вы жили?

— В доме Чемадуровой со стороны Албанского переулка. А вы?

— В студенческом общежитии на Старосельской. А потом в другом общежитии. По правде говоря, я вам набиваюсь в земляки, я сам из села. Только учился в вашем городе.

— Где вы учились?

Красноармеец ответил почему-то не сразу, как-то задумчиво:

— В университете. На филфаке.

— Вот неожиданность! Наверно, я вас не узнаю, бородой обросли. Как ваша фамилия?

— Литвинец Григорий Иосифович, — все так же задумчиво и медленно ответил красноармеец.

— Не помню вас, а я ведь знал в лицо почти всех студентов филфака. Я работал лаборантом.

Красноармеец, как близорукий, придвинул свое бородастое молодое лицо к лицу Лоренца.

— Боже ж мой, неужели... Послушайте, вы не Лоренц?

— Лоренц. Вы меня знаете?

— Так вас весь факультет знает. Легендарная личность. Автор знаменитой статьи об алано-сакской топонимике южноевропейского региона. Правда? Были несогласные, поддержал академик Орбели.

Лоренц был польщен.

— Статья-то моя, но вряд ли она знаменитая. Собственно говоря, к моим основным научным интересам она не имеет прямого отношения. Отдых пера.

— Подумать только, какая встреча, и где — в свинарнике на оккупированной территории! Студенты о вас говорили: «Человек-загадка. Опубликовал несколько превосходных работ в Москве, а у нас в университете не то что ассистенты, кандидаты наук, да и не все профессора до такой чести доросли, — и вот работает лаборантом. Обзванивает преподавателей, утрясает и чертит график». Действительно — загадка.

— Так получилось. Когда я кончил восемь лет тому назад, обещали мне место ассистента, годы шли, вакансии все не было.

— Вакансия... Она опасна, если не пуста. В аспирантуру не подавали?

— Не подавал. Меня предупредили, что партийная и комсомольская организации не будут меня рекомендовать, нечего мне позориться.

— А правда, что вы знаете тридцать языков?

— Гипербола в эпическом стиле. Кроме славянских, составляющих мою специальность, я знаю немецкий, немного французский, читаю греческие и латинские тексты. Начал изучать персидский, но война помешала, да и арабская графика мне трудно давалась.

— А правда, что вы дали обет целомудрия?

— Неправда.

— И слава Богу. А то в наш век женщины — это единственная радость. И опора. Вы в этом еще не убедились на опыте? Не краснейте, не буду. Скажу о другом. Я тоже знаю один иностранный язык, и как раз немецкий. Давайте поболтаем.

Он говорил по-немецки отлично, неожиданно с нижне-немецким, как определил Лоренц, акцентом. Объяснил это тем, что их село расположено рядом с менонитской колонией на Николаевщине, а у тех колонистов нижне-немецкое произношение, для него это был язык детства. Тут же рассказал о своем юношеском романе с девушкой из немецкой колонии — рассказ был грубоватый, малоинтересный.

Дорога стала легче, потому что пошли вдвоем. Шли долго, все полями, полями, заброшенными огородами, задрами сел, стараясь держаться подальше от городов, поселков, железнодорожных станций и разъездов. Большая часть Украины была под немцем, но ее земля этого не знала, она жила своей обычной жизнью, пила дождь, ела снег, берегла и лелеяла существование всего произраставшего. И Миша и Литвинец жили, как земля, с той только разницей, что у них не было спокойствия земли, они-то знали, что они — под немцем, и боялись. Изредка судьба посылала им хороший день, и тогда, частицы земли, они вновь становились частицами людской семьи, ели и спали в хате. А за Кременчугом, на окраине совхоза, они прожили у одной женщины чуть ли не целую неделю, хотя в совхозе стояли немцы, говорили — взвод, и директор служил немцам, и зять партийного секретаря был полицаем (сам секретарь партизанил где-то в плавнях). Но сладкая была та неделя! Григорий Литвинец стал мужем хозяйки, ночью он спал с ней в хате, а днем с Мишей прятался в погребе, они читали книгу: «Хиба ревуть волю, як ясла повни», для скорости чтения вырывая листы, простодушие книги успокаивало. Хозяйка спускалась к ним с молоком, салом. Однажды вечером она привела женщину для Миши, и та женщина принесла в эмалированном чайнике самогон. Выпили вчетвером, Миша захмелел, заснул, та женщина вывела его, сонного, за занавеску к скамье под рукомойником, усадила, звонко полила на него воду из-под гвоздя и все говорила:

— Какой вы невыдержанный.

Она была нездешняя, эвакуированная из города. Ее подруга, Гришина хозяйка, открылась ей, предупредила о своих гостях, и она два дня готовилась к нечаянной радости, и когда пила, опрокидывала граненый стакан в рот по-мужски и при этом восклицала:

— Я как штык!

Она не теряла надежды, не злилась на Мишу, не отходила от него, они так и заснули на скамье под рукомойником. В окошко глядела волшебными глазами осенняя запорожская ночь, когда Миша, с разламывающейся головой, проснулся. Та женщина спала, сидя с ним рядом, положив голову ему на грудь, она храпела, и порой голова ее вздрагивала, но тело оставалось недвижимым, горячее, с мягкой тяжестью. Миша остерегался отодвинуться, чтобы не разбудить ее, наконец решился. Он прислонил голову женщины к стене. Она открыла глаза, вздрогнула, но тут же заснула снова. Миша откинул занавеску, увидел на высокой крова-

ти Литвинца и хозяйку. Одежда не было, он голый, она в нижней рубаше. Литвинец сбрил бороду, и он лежал такой молоденький, томный. Глаза у Литвинца были ожидающе раскрыты. Миша понял: надо быстро одеться и выйти. Когда он тихо покинул хату, поднялся и Литвинец, но разбудил при этом хозяйку. Она пролепетала:

— Куда ты, Грицько?

— На двор.

Она семейно обняла его, пробормотала что-то милое, повернулась на другой бок и заснула. Она заголилась, и Литвинец, бережно переступая через нее, так же бережно поправил на ней рубашу. Он неслышно, почти не дыша, оделся, пошарил в шкафчике, вышел. На дворе, мелко дрожа, ожидал его Миша. Видно было, что Миша чувствует себя плохо от выпитого самогона. И они молча двинулись в путь, и то был путь к своим среди чужих, и снова кругом ночь, поле, редкие огоньки, доброта украинского неба и ужас иноземного владычества на земле. Литвинец сказал:

— Я с добычей: хлеб и цыбуля.

Помолчав он спросил:

— Осуждаете меня?

И, не дождавшись ответа, не желая ответа, заговорил:

— Вы меня тогда, в свинарнике, не узнали не потому, что я отпустил бороду. Я с середины второго курса перестал посещать университет, вот вы меня и забыли, а я не раз приходил к вам по всяким скучным делам, был старостой группы. Теперь я перешел бы уже на пятый курс. Когда мы доберемся до наших, вы подтвердите, что я студент пятого курса.

— Охотно... Почему вы столько лет не ходили на занятия?

— Я не ходил, потому что сидел.

— Как сидели?

— В зубоврачебном кресле. Пустой вопрос. Не как, а где. В тюрьме.

Веселая отчаянная украинская печаль засветилась в глазах Литвинца. Вот идут они вместе по родной земле, захваченной чужеземцами, сын города и деревенский парень, праправнук саксонского ремесленника и потомок хлеборобов-крепаков, оба высокие, голубоглазые, светловолосые, и даже в их именах есть созвучие — Миша Лоренц и Гриша Литвинец, и могло бы случиться так, что не Литвинец, а Лоренц сидел бы в тюрьме.

— Когда вас выпустили?

— А нас, глубокоцитимый пан Михаил, выпустили всех до единого еще в августе, и чабаны в чекистской форме погнали нашу отару на Вознесенск, и по плану нашего командования должны были мы дотягивать свои сроки в вознесенской тюрьме. Но по плану немецкого командования Вознесенск был уже взят, и чабаны погнали нас дальше на восток. Многие поумирали в дороге, ведь мы были остовы ходячие, бараны и овцы, мужчины и женщины. И вот что я, хитрый хохол, заметил: свалится бытовик или уголовник — не обращают никакого внимания чабаны, пусть гниет, где лег, а подойдет наша пятьдесят восьмая статья — останутся, хотя и бегут от немца, составят акт, хотя и торопится конвой, задерживаться не желает. И все эти акты, все наши дела увозились на двух легковых машинах, в каждой — по начальничку, и у нашего конвоя связь не прерывалась с теми машинами, как дойдем до сельсовета, начальник конвоя начинает крутить телефон, нам в окно видно. Надо сказать, что постепенно отара наша, хоть и поредевшая, на той дороге окрепла, все же воздух чистый, теплый, а пища в поле да на бахчах растет, конвой напуганный, очеловеченный. Так добрали мы до новой географической точки. Городок зеленый, на высоком берегу, река течет из леса, все как в мирное время, только та странность, что детишки на улице не играют, а мы идем по улице все в гору да в гору, а на горе тюрьма, небольшая такая тюрьма местного значения, она, может, еще при Николае Васильевиче Гоголе сооружалась. Впихнули нас в тюремный двор. Прямо на дворе перед входом в трехэтажное здание сидит на стуле венском, как дома, лейтенант, начальник той небольшой старосветской тюрьмы, а перед ним на письменном столе — папки, наши дела, прибывшие на легковых машинах раньше нас, а над ним и над нами — немецкие самолеты, и слепому ясно, что немцы близко, может, рядом, и лейтенант нервничает, переживает, сильно трусит, ему бы поскорее лечь на курс, рвануть в машине на восток, и нет у него времени читать наши дела, и вот для быстроты и простоты организует он опрос так, чтобы мы сами называли свое имя, отчество, фамилию, статью, срок. Раскрывает одну из папок, будто сверяет бумагу с нашими показаниями, а папка взята для виду, наобум, нет у него времени, время теперь принадлежит немцам, а ему удирать надо. Кто говорит: «Пятьдесят восьмая, пункт такой-то», того направо, и там — почти весь наш конвой, а воров, взяточников, спекулянтов, насильников и представительниц древнейшей профессии — налево, и там лишь один охранник. И торопится, торопится лейте-

нант, к нему другой лейтенант выбегает из старосветского здания, и наш ему: «Ты бы мне помог», — а тот: «Мне своих дел хватает, давай-давай». И вот доходит очередь до меня, и я отвечаю — Литвинец Григорий Иосифович, статья такая-то, хищение имущества. Мой сосед по камере от меня далеко в толпе, меня не слышит, а слышит меня знакомый из другой камеры, тоже пятьдесят восьмая, но он быстро перенимает мой опыт, и мы с ним оказываемся на одной стороне. А когда всех опросили, загудела на дворе трехтонка под брезентом, стали сотруднички грузить папки и сами уселись, и лейтенант нас отпустил, он торопился, торопился, идите, говорит, к линии фронта, искупите кровь. Мы и побежали в лес, расползлись кто куда, а тут слышались выстрелы, это по приказу начальника тюрьмы расстреливали всю пятьдесят восьмую статью, чтобы немцам не досталась. А мы, живые, каждый по собственному азимуту, я, например, к линии фронта, искупить кровью. Под Первомайском я снял с убитого бойца обмундирование. Чтобы все следы моего пребывания в тюрьме исчезли, мог бы и документы того убитого хлопца взять, но я их уничтожил: хочу жить и умереть под своим именем.

— Вы мне доверились, и я не обману вас, — сказал Лоренц.

— И не надо обманывать. Мир и без того лжив, а люди должны помогать друг другу в лживом мире. Только там истинное общество, где личное, человеческое выше общественного.

Среди ночи они дошли до крохотного хуторка на пригорке. Наверху три хаты, внизу смеется глупым смехом птица, река толкает камыши, и, шумя, колеблются их верхушки. У крайней хаты на кольях плетня, как водится здесь, висят кверху дном глечики, стеклянные банки. Дверь открыта, на пороге лежит собака с темными кольцами вокруг идиотически равнодушных глаз.

Когда они вошли в хату, собака осталась к ним безучастной. Оказалось, что, кроме нее, в хате нет жителей. Пустота была во всем — в двух голых комнатах, в чугунках на припечке и даже в глазах собаки, она вялой, больничной походкой приблизилась к людям. Они сели на глиняный пол, стали есть хлеб с луком, предложили собаке, та отвернулась и легла на прежнее место.

— Гребует цыбулей, — отметил Литвинец. — Или устала от жизни, ей уже ничего не надо.

— А скажите, как по-вашему, весь хутор пуст или только эта хата?

— А скажите, как по-вашему, есть жизнь на Марсе? По моим наблюдениям, пан Лоренц, вы любите задавать вопросы, на которые невозможно ответить. Откуда я знаю? Может, немцы, преследуя свои тайнственные военные цели, изгнали всех жителей, может, люди сами разбежались по причине боев или крутых репрессий, может, их насильно эвакуировали наши, может, в других хатах немцы сейчас пьют шнапс или матери колыхают голодных деточек в люльках. Несчастливая моя нянька Украина.

— И Белоруссия несчастна. И Ленинград. И Смоленск. И мы не знаем, что с Москвой.

— Чтоб та Москва под своды Тартара провалилась, я бы не заплакал.

Лоренц прекратил разговор, внезапно ставший неприятным. Литвинец понял, конечно, его молчание, взорвался:

— Почему вы молчите? Не нравится речь моя? Дружба народов нравится вам? А на то, что Украина гибнет, вам наплевать?

— Под немцем гибнет не только Украина.

— Немцы ее, полумертвую, добивают, а гибнуть она не под немцем начала. Не под немцем стали умирать ее язык, отроческая культура ее, по-отрочески неуверенно, то робко, то с неразумной дерзостью самоутверждающийся ее народ.

— Чушь, Григорий Иосифович. Где вы видели, чтоб украинский язык погибал? Издается огромными тиражами литература, которую, кстати, тот же украинский народ покупает крайне неохотно, — чтобы приобрести русского «Тартарена из Тараскона», нас принуждают купить и том унылых пьес Корнейчука. На русскую газету, местную или центральную, можно подписаться только по благу, насильно внедряется газета украинская, насильно записывают детей в украинские школы, при приеме в институты явное преимущество отдается уроженцам украинского села.

— Все, что вы перечисляете, — наглость, к счастью для вас, необдуманная! — крикнул Литвинец. Казалось, что в окна хаты с улицы бросают камни — так тяжело падали его слова. — Насилие! А скажите, досточтимый пан, во Франции тоже насильно записывают детей во французские школы? Или все французы хотят учиться в турецких школах, а их, бедных, насильно загоняют во французские? Во Франции тоже «Фигаро», «Монд» или с жоресовских времен «Юманите» насильно печатают на французском языке? Во Франции тоже при поступлении в какую-нибудь эколь нормаль или в ту же Сорбонну отдается предпочтение, ко всеобщему негодованию, французам? Во Франции тоже на-

сильно предлагают романы Флобера или Селина в качестве принудительного ассортимента к сочинениям Бласко Ибаньеса? И если это именно так, то можно ли сказать, что во Франции происходит насильственное офранцуживание? Или что Норвегия онорвеживается? А Япония ояпонивается?

— Ваша тирада красива, но бессмысленна. Здесь аналогии невозможны.

— Почему невозможны? Нас сорок, что ли, миллионов и французов сорок миллионов, мы независимы, и французы независимы, а земля у нас не меньше и не беднее, чем французская.

— Кто же виноват в том, что французы так много дали человечеству, а украинцы так мало? У вас были и есть такие же возможности, как у любого народа, обладающего либо не обладающего собственной государственностью. Если у ребенка нет слуха, то скрипача из него не выйдет, и не надо, необязательно быть скрипачом, — только зачем сваливать вину на другого или на внешние причины из-за того, что у него нет слуха? Не сердитесь, но есть еще одно обстоятельство, вы человек разумный, должны это понять: французы хотят говорить по-французски, а украинцы, за редким исключением, не хотят говорить по-украински. Искусственно, сверху, против желания народа, утвердить национальный язык нельзя. Это обидно, печально, но ничего не поделаешь, надо смириться.

— Не надо смиряться! Никогда не надо смиряться! Почему украинец пренебрегает родным языком? Потому что в его стране этот язык не является языком науки, интеллектуализма, администрации. Потому что каждый на селе знает, что его дитя никогда не станет летчиком, инженером, директором совхоза, секретарем райкома, депутатом, кандидатом, лауреатом, если не будет учиться по-русски. А некоторые наши руководители, выходцы из села, даже притворяются, что не понимают родной речи, чтобы понравиться своим интернационализмом главарям метрополии. А в городе и вовсе тиха украинская речь, тише травки малой. Вы представляете себе Марсель или Бордо, где на улицах не слышно было бы французской речи?

— Так сложилась история Украины с царя Алексея Михайловича. Плохую службу ее языку сослужила близость к великорусскому.

— А мы хотим другой истории Украины! А мы хотим свернуть с дороги Богдана Хмельницкого с его еврейскими погромами, ненавистью к полякам и облизыванием рома-

новского зада! Мы хотим своей, украинской истории. Долг каждого народа выразить перед миром свою сущность.

— Свое понимание Бога? — спросил Лоренц, вспомнив Елисаветского.

— При чем тут Бог? Я вам о своей боли, а вы — глупости, Бог. Вот так все, даже самые лучшие. У нас учился один абхазец. Он мне говорил: «Действие чеховской «Дуэли» происходит в Сухуми. Конечно, жаль бестолкового Лаевского, его подругу. Но в это время мой народ переживал страшную трагедию, обманутые люди уезжали в Турцию на муки и нищету, а здесь пустели селения, рыдала абхазская земля, но то, что для нас было душой, жизнью, было для великого русского писателя только местом с непривычным климатом. А кто этого Лаевского звал в Абхазию? Абхазцам он не нужен...» Поймите, для меня Украина не тема дорожной беседы, это моя жизнь, моя душа! Мы вовсе не прочь, как мечтал Мицкевич, соединиться со всеми народами в одну семью, но разве поляк предлагал при этом Польше роль служанки? Мы хотим быть в той семье не слугами, не меньшими братьями, а сородичами и сохозяевами. Чтобы дружить с другими нациями, и мы, украинцы, должны сначала сами стать нацией. А мы еще дети. Сорок миллионов детей. Дурные при Петлюре, испорченные, хотя и мечтательные, при Махно, отупевшие при нынешних главарях — мы все время дети, и никак нам не дают стать взрослыми. Как в средние века преступники похищали детей и не давали им расти, ломали им руки и ноги, чтобы дети в качестве монстров участвовали в балаганных представлениях, так и нас, украинцев, мучительно держат в детском возрасте, выкручивают нам руки и ноги, ломают кости, не дают расти, и мы скоморошествуем, уроды-фигляры. А разве мы не можем спокойно развиваться, как прочие нации? Разве мы не высказались через гений Сковороды, через великий певучий дар Тараса? Но где вы найдете созданные на украинском языке, напоенные духом украинской мысли оригинальные научные труды по физике, математике, химии? А вы, как филолог, должны знать, что зрелость языка определяется его научной терминологией, а не народными песнями и сказками. Поют все, и чукчи поют, и есть у чукчей Анакреон, может, он почище Тютчева будет, но нет Фарадея, Лавуазье, Лобачевского, Нильса Бора, Эйнштейна, нет, потому что всех нас оставляют насильно в детском возрасте, чтобы мы не росли, руки нам выкручивают, кости ломают. Почему мы обязаны русский народ называть своим старшим братом? Потому что он многочисленный?

Но индийцев еще больше, китайцев и того больше, а я что-то не слышал, что они наши старшие братья. Потому что русский народ нас, в сущности, завоевал? Но разве германцы, завоевав римлян, стали старшими братьями итальянцев? Потому что он первым дал залп по Зимнему? Так мы его не просили. Потому что он древнее всех остальных советских? Но, во-первых, выражаясь языком энциклопедистов, он не древнее Адама, а во-вторых, когда русские были пастухами и звероловами, армяне уже читали эллинских философов, а таджики составляли звездные таблицы. Я не против советской власти. Но пусть на Украине будет украинская независимая советская власть, украинская армия, украинская валюта.

— За эти взгляды вас и посадили?

— За эти взгляды, пан Лоренц, за эти взгляды. Перед вами, если употребить формулу следствия, украинский буржуазный националист. А мой батько, тот самый буржуй, почти всю жизнь батрачил на помещика. И донес на меня после задушевной беседы мой односельчанин и однокурсник, мы с ним вместе в школу за пятнадцать верст ходили и в ночное вместе, и его батько батраком был. Вы Софокла читали?

— Читал. Со словарем в подлиннике.

— А Еврипида?

— И Еврипида читал.

— А Шекспира?

— Хватит, Гриша. К чему эти вздорные вопросы?

— Не вздорные. Все трагедии, все Эдипы и Медеи, Гамлеты и Макбеты — из детского сада, все их тревоги и беды ничто перед тем, что, может быть, испытала вот эта пустая украинская хата, где мы с тобой тайно, со страхом едим кусок черствого хлеба с цыбулей, которой гребует сабака. А впереди — пани смерть...

Чем ближе они подходили к неровной, колеблющейся линии фронта, тем труднее и опаснее становился их путь. Случилось им и на немцев наскочить, и была такая странность: немецкие солдаты притворились, что их не видят, отвернулись от них, и скитальцы миновали село. В другой раз у них проверили документы, но не поняли русские слова, потребовали: «Аусвайс!» Литвинец, скрывая, что знает по-немецки, кое-как объяснил, что они возвращаются в родное село, они кригсгефангене, отпущенные всенно-пленные. Немцы снова требовали: «Аусвайс!» Литвинец снова им объяснил, что они возвращаются в родное село, они кригсгефангене, отпущенные военнопленные. Немцы

снова требовали: «Аусвайс!» Литвинец снова им объяснял, в конце концов они надоели немцам, их отпустили, но пришлось им возвращаться обратно, родное село могло быть только позади, в тылу, а не поблизости от линии фронта. Может быть, Лоренц когда-нибудь и расскажет, как сравнительно недалеко от Харькова, в снежном, сыром, февральском лесу к ним по-звериному неслышно приблизился наш разведчик и сказал:

— С фронтовым приветом, славяне.

Он был в сапогах с отогнутыми голенищами. Короткий тулупчик был новеньким, ладным, из-под полы выглядывали ножны финского ножа. В руке он держал мину с колесным замыкателем. Бегло, скучающим голосом задал он два-три самых необходимых вопроса, безо всякого интереса выслушал ответы, спешил заговорить сам:

— До рельсов не пройти, немцы стоят через каждые сорок метров. Мерзнут, друзья, а стоят, охраняют дорогу. Ничего не поделаешь, принял решение, отползаю.

Взгляд у него был, наверное, острее финского ножа, особенно недобрый потому, что он все время улыбался без участия взгляда в улыбке. Ни Лоренц, ни Литвинец еще не знали, что особого рода разведчики в армии живут иной, привилегированной жизнью, к непрямому начальству относятся свысока, никто им не смеет давать какие-нибудь поручения, днем они большей частью спят, и тяжелый дух у них в землянке, котловым довольствием пренебрегают, у них за линией фронта есть подруги, питание, самогон, а то и водка.

— Так получилось, что пошел один, а то мы всегда вдвоем с сержантом, — доверился он незнакомцам. А потом к Лоренцу: — Говоришь, ты из Харькова?

Лоренц никогда этого не говорил. Он снова назвал родной город и добавил:

— Мы оба идем оттуда. Три месяца.

Разведчик, не обратив внимания на ответ, поправил трех, продолжил разговор о сержанте:

— Он взятие языка редко осуществляет. Мстит. Одного достанет — убьет, двух — убьет, вот если трех, так одного приведет. И наших, чертушка, убивает, говорит — фрицы переодетые или шкуры. Сам смелый, хорошо ориентируется в обстановке, но чувствительный.

Так, явно их пугая, он долго вел их сквозь кустарник, придавленный низким зимним небом, вел их кривыми тропками, проложенными нашими бойцами вдоль линии окопов, и остановился у неприглядной землянки. К ней

сползало несколько ступенек, неуверенно, кое-как выдолбленных в глинистом спуске. Разведчик постучался в дверь, которая, вероятно, была доставлена сюда из чьей-то ванной, и, пропустив обоих вперед, вошел вслед за ними в землянку.

Там было темно и тепло. Не сразу увидел Лоренц двух военных, забивавших козла. На них были меховые жилеты. Разведчик обратился к одному из них по уставу, но с шутливостью в голосе:

— Разрешите доложить, товарищ капитан. Проявил инициативу, привел двоих. Говорят по-русски свободно. Пробирались через наши боевые порядки.

— Жаль-жаль, но слава Богу, — сказал капитан. Таким было его обычное присловье, но это выяснилось потом, как и то, что был он заместителем начальника особого отдела. — Документы!

Его партнер, огромный, как шкаф, зажег электрический фонарик. Капитан при свете фонарика внимательно стал читать паспорт Лоренца. Тупым, долгим взглядом обхватив Лоренца, он первый вопрос задал Литвинцу:

— Где ваш паспорт?

— У меня студенческое удостоверение.

— Вижу. Где паспорт?

— У старосты группы остался. Все студенты сдали ему паспорта, чтобы он отнес их в военкомат, получить назад уже не смогли.

— Почему студенческое удостоверение просрочено?

— Халатность. У нас все так...

— Где, когда встретились друг с другом?

— Мы шли вместе. Оба с филфака университета, я — студент пятого курса, он — лаборант.

— Почему вы не в армии?

— Мобилизовать не успели, меня еще в конце мая отправили на педагогическую практику на село. Когда вернулись, должны были организованно пойти в военкомат, но было поздно, немцы временно вступали в город.

— Название села, где были на практике?

— Я в родное село попросился, на Николаевщине...

— Как раньше назывался Николаев?

— Всегда был Николаевом.

— Где родился Ленин?

— Владимир Ильич Ленин родился в городе Симбирске, ныне Ульяновск.

— Врешь, продажная шкура! — заорал капитан. — Нет у нас такого города Симбирск и не было никогда, с Сибирью спутал, шпион!

— Это, знаете, ли, нонсенс, — вмешался Лоренц.

Но капитан, не глядя на него, крикнул: «Молчать!» Успокоившись, он добавил крепкое ругательство и опять стал допрашивать Литвинца:

— Почему на вас военная форма?

— С убитого красноармейца снял.

— С какой целью?

— Удобнее в ней, да и привыкать надо.

— К чему привыкать?

— К службе красноармейской. Для этого мы и пришли к вам.

— Разберемся. — Капитан приказал разведчику: — Уведи, скажи, чтоб накормили. И пусть пока держат под охраной.

Разведчик повернул Лоренца к двери. Капитан испытывал к Литвинцу доверие. Таких много было на Украине. Данные другого ему не понравились. Капитан занялся Лоренцем:

— Вы еврей?

— Нет, русский.

— Вы немец?

— Нет, русский.

— Почему фамилия нерусская?

— Далекie предки были немцами.

— Далекie предки? Фатер-мутер?

Тут вмешался второй:

— Так и я Шульц. Украинец, с Донбасса, а Шульц. Бывает. Я вначале, как рядовым был, просил ребят на фронте не кричать «Шульц! Шульц!» — чтобы свои не подумали чего. А мне часто кричали, поваром я был.

Капитан знал — и показал это во время допроса Литвинца, — что болезненная подозрительность в условиях массового окружения бесперспективна, но тут он был упорен:

— Вы немец-колонист?

— Нет.

— Засланы к нам для шпионской деятельности?

— Нет. Я больше трех месяцев пробирался к нашим, чтобы служить в Красной Армии.

— Немецкий язык знаете?

— Знаю.

— Шурик, — сказал капитан Шульцу, — поговори с ним по-немецки, раз у тебя такая фамилия.

Шульц был огромен, рыж, лицо гладкое, маленькие глазки, светло-желтые ресницы. Он размахнулся. Резкая боль обожгла нос и губы Лоренца. Шурик опрокинул на него стол вместе с костяшками домино. Лоренц упал. Шурик придавил его тело столом и стал топтать пудовыми ногами в кирзовых сапогах между деревянными ногами опрокинутого на тело Лоренца стола. «Сейчас умру, — подумал Лоренц. — Или меня уже нет? Почему же тогда такая боль во всем теле?»

Открылась дверь.

— Смирно! — приказал капитан и доложил: — Обрабатываем шпиона, товарищ полковник.

— Неплохо, — одобрил полковник. — Служу с первого дня войны, а шпиона ни разу не видел. Поднимите его.

Шурик поставил Лоренца перед полковником и полою его же демисезонного пальто снял у Лоренца с лица кровь. Капитан уточнил:

— Имеет паспорт. Серия, знаки правильные. Фамилия немецкая.

— Покажи.

Полковник пробежал глазами паспорт и быстро посмотрел на Лоренца. А Лоренц приходил в себя. Где он видел этого полковника — маленького, кругленького, с пухлыми щечками, короткорукую? Вдруг полковник сказал:

— Не везет, не попадаются мне шпионы. А мы с вами знакомы, товарищ Лоренц. Восемь лет назад познакомились, вы еще студентом были, на Мавританской мы встретились, в нашем чудном родном городе. Я-то вас узнал сразу, хотя о вас не скажешь, что вы только что вышли из парикмахерской. Не помните? Уланский моя фамилия, полковник Уланский Наум Евсеевич.

Глава семнадцатая

Плохо на передовой, плохо и жутко, под пулей матери нет, ночью ты бил вшей в землянке, а рассвело — и не стало ни тебя, ни твоих вшей, но окружение хуже, и, попадая на передовую после окружения, чувствуешь — гора с плеч, отдыхаешь. Жизнь (а на передовой есть жизнь) обретает, словно в увиденном в детстве плоском кинофильме, четкое устройство: по эту сторону линии фронта — свои, по ту сторону — враги, а среди своих врагов нет, только не бол-

тай, не жалуйся, не пиши умных писем, исполняй, но не лезь к начальству, будь как все. Если полевая кухня не отрезана, то на завтрак, хоть земля в огне, — перловая каша, в которую повар наливает мерочку хлопкового масла, или даже суп с вермишелью, чай с заваркой, два куса сахара, черный хлеб — две, а то и три здоровенных подковки, в обед борщ и та же каша, иногда и жилистое мясо, ужин как завтрак, перед атакой нередко сто граммов, а потом, бывает, и баня, и если ты не дурак, то белье стирать не надо, вместо грязного раздобудешь новое.

Сразу надо сказать, что красноармейцу Лоренцу предоставили особые условия, ему покровительствовал полковник Уланский. Чем-то привлек к себе Миша жестокое и сентиментальное сердце чекиста. Может быть, еще со времен дела квадриги Науму Евсеевичу, неглупому, очень ловкому, очень опытному и по-своему смелому искателю и баловню опасного советского счастья, понравился этот безвредный неудачник, немного, конечно, малахольный, но разносторонне, как люди, окончившие университет при царе, образованный, знающий языки. К тому же Лоренц был земляком Наума Евсеевича, а в советском деятеле сильно развилось чувство землячества (на партийном жаргоне оно именуется местничеством).

Наум Евсеевич назначил красноармейца Лоренца переводчиком, дал ему через месяц звание сержанта, а по существу Лоренц исполнял офицерские обязанности, получал и соответствующее питание. Лингвистические способности Лоренца оказались просто драгоценными для полковника Уланского. С первых слов по произношению Лоренц определял, откуда военнопленный — из Баварии или Австрии, судетский или берлинец, это помогало уточнять сведения о переброске немецких войск, а кроме того, поскольку Лоренц сам заговаривал на диалекте пленного, ему в лад, это обеспечивало допросу явный успех, в особенности с той поры, когда вместо одиночных фрицев, сытых и уважающих себя, стали попадать в плен под Сталинградом после нашего ноябрьского наступления измученные, голодные, нервные, в русских кацавейках поверх рваных шинелей, волчьи обезумевшие стаи, которых голод и ужас превращали и возвращали в людей.

Однажды, когда Лоренц находился на маневренном корректировочном посту на правом берегу Волги, в районе Красных казарм, он был ранен в руку, его отправили в госпиталь на левый берег, за Ахтубу, в Ленинск. Уланский этому очень обрадовался: вот какие у меня люди! — и Лоренц,

вернувшись из госпиталя через две недели, узнал, что награжден медалью. А в другой раз, тоже на правом берегу, на полупятачке знаменитого на всем фронте полковника Горохова, в ста метрах от переднего края обороны, так близко от врага, что носом можно было учуять, как немцы свежую и варят румынских лошадей, неожиданно перед Лоренцем возник немецкий автоматчик, протянул вперед свои обмороженные руки и довольно сносно по-русски предложил:

— Русс, дай перчатки, дам тебе автомат.

Миша привел покорного автоматчика в штаб. По льду Волги между вмержшими в реку шлюпками бесстрашно двигались наши грузовики. Впереди вырубленная снарядами роша, набитые рыхлым снегом воронки, небольшой холмик — густо заснеженный труп лошади.

Военнопленный оказался aus Romern. Допрос ничего существенного не дал, но тут-то и проявился блестящий советский ум полковника Уланского. Наум Евсеевич доложил наверх среди прочего: «Тот самый немец, который еще вчера нам кричал: «Большевикен, вам капут!» — теперь мечтает обменять свое оружие, свой автомат, на красноармейские рукавицы». Живая, невыдуманная фраза пришлась по вкусу, говорят, самому Берии, а может быть, и Сталину. Уланский был произведен в генерал-майоры, а Миша Лоренц получил орден и стал лейтенантом. Тогда-то Миша решил, что пришло самое время замолвить перед генералом слово за Литвинца.

Миша встречался с ним довольно часто. Его товарищ по опасным скитаниям теперь служил телефонистом при штабе: прокладывал, исправлял линию-паутинку, опутывавшую стебельки полыни, пропадавшую в песчаной, мокрой от непрочного снега земле, чтобы неожиданно взобраться на ветку чернотала. Он шел под авиабомбами, артиллерийскими снарядами, среди мин, но зато почти всегда в одиночестве, которое скрашивает человеческую жизнь, если человек мыслит.

Генерал Уланский приказал привести к себе телефониста Литвинца. Солдат его не обрадовал. Верхним и нижним чутьем Наум Евсеевич что-то унюхал. Бывший лагерник почти всегда узнает бывшего лагерника на воле, тюремщик — бывшего арестанта. Но то ли запах войны, ее дым и гарь смутили, обманули нюх волкодава, то ли он доверял многократно испытанной бесхитростной честности Лоренца, а порекомендовал Наум Евсеевич красноармейца Литвинца в седьмой отдел политуправления фронта. Точно

так же как в свое время Лоренц, рядовой солдат, оказался находкой для отдела, чья агитработа была нацелена на врага. Литвинец превосходно сочинял по-немецки листовки, даже в стихотворной форме.

Из седьмого отдела Главного политуправления Красной Армии приехал на Сталинградский фронт полковник, и не простой — Вальтер Ульбрихт. Ему показали листовки Литвинца, ему понравился их сочный немецкий язык, впрочем, Ульбрихту на фронте нравилось все: еда, порядок, отважные политработники, он восхитился «катюшей», хотя с явной неохотой приблизился в сопровождении хозяев к высокому, тогда еще загадочному орудью — от его огня душа уходила в пятки. Потом Ульбрихта повезли к пятой переправе, раздался окрик: «Панорама летит!» — так наши прозвали «раму», немецкий двухфюзеляжный самолет. Очевидно, «раме» удалось быстро запеленговать рацию. Через полчаса на берег налетело шесть «Юнкерсов-87». Их сирены были невыносимо — недаром им присвоили кличку «музыканты». Упали воюющие бомбы, потрясенная река вздрогнула, выбросив на берег мертвых сазанов. «Юнкерсы» улетели, из грязного окопчика вылез один из вождей немецкого и международного рабочего движения, его столичная, может быть, на один раз выданная шинель была в пятнах воды и глины, он единственный из важной толпы спрятался в укрытие, понял, что совершил ошибку, неловкость, посмотрел на спокойных хозяев жалко, искательно. Ох, какими жалкими становятся они все, когда-то грозные, страшные, как заискивают перед младшими, едва у них отбирают силу! Или, быть может, даже в пору своей силы они смутно понимают, что их сила держится ни на чем, на колдовстве, потому-то они так грозны и страшны?

Члену военного совета Хрущеву каждый день в пятнадцать ноль-ноль доставляли на самолете обед из кремлевской кухни, чтобы, упаси Бог, не отравили члена слабо контролируемым фронтовым харчем, и летчики посмеивались над Ульбрихтом, он ждал их прилета, ждал приглашения к столу, а Хрущев сегодня пригласит его, а завтра нет, и Ульбрихт то сиял от счастья всем своим тогда безбородым лицом и даже приобретал прежнюю надменность, то ходил по Бекетовке унылый. Рассказывали Литвинцу, что был у Хрущева с Ульбрихтом спор, Хрущев, мол, доказывал, что в новой обстановке, когда немец впервые окружен, лозунг «Убей немца!» устарел, а Ульбрихт не соглашался.

Все это была высокая материя, а для солдата Литвинца важным было то, что Ульбрихт с похвалой отозвался о его

работе, а в этом Ульбрихт разбирался, и Григорий Иосифович пошел в гору. Вышло так, что он вступил в партию — не хватило у него твердости, решимости и, справедливо говоря, возможности оставаться беспартийным, работая в седьмом отделе. Он смущенно сказал Лоренцу: «Чем больше нас, честных людей, будет в партии, тем лучше будет партия», — и Лоренц вспомнил, что примерно так же рассуждал профессор Севостьянов, объясняя свое сотрудничество с румынами. Но пока мы ищем правды, судьбой распоряжаемся мы, а когда хотим благ, то судьба распоряжается нами. Возможно, что именно вступление в партию погубило Литвинца. После освобождения Белоруссии, когда мы уже заняли Литву, машинистка из политуправления фронта, подружка младшего лейтенанта медицинской службы Аглодиной, той самой, с которой лениво, скучно спал Литвинец (она была молода, не без женской прелести, но изо рта ее дурно пахло смесью водки и зубной гнили, а Литвинец по-крестьянски не терпел пьющих женщин), — так вот, машинистка ей передала, что на Литвинца отправлен какой-то запрос в Киев. Своей тревогой Литвинец поделился с Мишей, советовался, не попроситься ли из седьмого отдела подальше от греха на передовую, это иногда поощрялось, а его звал к себе в штаб земляк из Николаева, командир полка. Но тут пошли тяжелые бои, стало вроде не до него, тревога развеялась, и, когда наши войска вступили в Германию, Литвинец уже был капитаном, а Лоренц — старшим лейтенантом.

Война для них завершилась в Каменце, в маленьком саксонском городке недалеко от Дрездена. Их поселили в казармах вермахта, сооруженных, как говорили, чуть ли не при Фридрихе Великом (впрочем, вряд ли, архитектура была не прусская), на окраине городка. Гористая, неровная улица между каменными двухэтажными домами (все дома были двухэтажные, на одну семью, русские этому удивлялись) вела к площади, где помещались ратуша и церковь. Круг площади размыкался у вокзала. Тут же поблизости — да и все было поблизости — кинотеатр, несколько пивнушек, зал для танцев, кафе «Гольдене зонне» («Золотое солнце») с четырехкомнатным отелом на втором этаже. От кинотеатра влево, то поднимаясь, то опускаясь, с большими круглыми зеркалами на поворотах (это тоже удивляло русских), текло плохонькое асфальтовое шоссе в поселок Эльстра, там была мастерская мотомастера, и наши офицеры, которые обзавелись за триста никчемных оккупационных

марок мотоциклами, часто ездили к этому мастеру ремонтироваться.

Война кончилась, но генерал-майор Уланский прочно, по-видимому, утвердился в Дрездене. Он стал начальником советской военной администрации в Саксонии. Теперь и Литвинец, как и Лоренц, находился у него в подчинении. Генерал часто в роскошном «мерседесе» навещался в Каменц, давал приближенным понять, что у него обширные планы, а что за планы — пока не уточнял, можно было только догадаться, что речь идет о подборе кадров из среды местного населения, потому что наша, а возможно, и не только наша Германия станет советской, что, разумеется, не мешает нам забрать у немцев как можно больше, в первую очередь демонтировать и отправить в Советский Союз наиболее ценное оборудование фабрик и заводов. Это было всем понятно, всеми одобрялось — ведь немцы, учинившие разор и разгром России, обязаны были, хотя бы в малой мере, расплатиться за свои злодеяния. Менее понятны были частые поездки генерала в окрестные горы (о них разболтал его шофер). Что ему там понадобилось?

Литвинцу и Лоренцу, выказывавшим понятное нетерпение (им хотелось домой), генерал говорил: «Вы мне нужны, потерпите всего лишь один годик, и я вас демобилизую, но поймите в виду: здесь вам сытнее будет, а я вас обоих скоро представлю к награде, повышу в звании».

Обстановку в казармах нельзя было считать спокойной. Два офицера, например, оба члены партии, угнали грузовик, промчались через всю раздавленную Германию и удрали чуть ли не в Париж. Несколько солдат заразились сифилисом. Русские и украинские девушки, отправленные в годы войны в Германию, батрачили в крестьянских домах. Теперь они возвращались на родину, оставляя на контрольно-проверочных пунктах — прямо на траве, на обугленных остатках стен — аккуратно спеленатых младенцев, которых родили в немецком рабстве, и эта жестокость, неизвестная Европе со времен Спарты, производила нехорошее, нам не нужное впечатление на местных жителей. Многие молодые матери были одеты, пожалуй, нарядно, так до войны не то что на селе, но и в городе не каждая одевалась, все стриженные длинной волнистой стрижкой, брови тонко выщипаны, пальтишки с плечами, подбитыми ватой, туфли на толстых широких каблуках, ноги в чулках-паутинках казались голыми, слегка загорелыми. Не видно было, что батрачки голодали. Лица были наши, советские, но выражение

глаз стало каким-то иным, и бедра онемечились не нашей круглотою.

Лоренц, тогда временно бездельничавший, слонявшийся по городку, случайно набрел на это зрелище. Неужели мать способна бросить свое дитя, грудное дитя, на траву, на камень чужбины и уйти, навсегда уйти? Ожесточила фашистская неволя этих женщин, или они боялись? Чего боялись? Трудностей одинокого материнства в голодной, разрушенной захватчиками родной стране? Позора? Преследования за то, что, предавая родину, сблизилась с немцами и пленными иностранцами — французами, англичанами, американцами, бельгийцами? Ведь они могли остаться — так поступали многие их подруги, бежали на запад.

Особисты и смершевцы на контрольно-проверочных пунктах на них не давили: хочешь — возьми ребенка с собой, хочешь — брось. О детях не беспокойтесь, увезут, устроят. Но вот одна из женщин, уже проверенная, уже оказавшаяся по ту сторону контрольного пункта, быстро вернулась, подбежала к оставленному ребенку, взяла его на руки, по-кликушески повторяя: «Дик! Дик, мальчик мой!» Все посмотрели, посмотрел, приблизившись, и Лоренц. Ребенок был от военнопленного-негра, личико — как негатив. И слезы выступили на лице старшего лейтенанта, и вспомнил он слова Эммы Елисаветского, что каждая мать — Богоматерь, и если бы он не был в военной форме, думал он малодушно, то поклонился бы в ноги этой молодой русской матери черного подобию Божьего, помолился бы за нее и на нее.

Случались в Каменце и происшествия другого рода.

Был отозван из армии майор Очир Ванькаев, толковый, скромный офицер, правая рука генерала: именно Ванькаев со знанием дела руководил демонтажом немецкого оборудования. Его дед, малодербетовский чабан, так душевно дружил с работником купца-гуртовщика, пьянчугой Ванькой, что назвал в его честь Ванькой первенца-сына, вот и получилась фамилия — Ванькаев. Очир Ванькаевич был инженером-экономистом, до войны служил в Москве во Внешторге, был лично известен Микояну. Наверно, поэтому, да еще как прописанного в Москве, а не в бывшей республике, или, может, как отца русских детей, или еще по каким-то важным причинам его не выгнали из армии в 1944 году, когда ликвидировали калмыков как нацию и всех их выслали далеко на север.

У Очира Ванькаевича было три ордена, один довоенный, он, хотя и со смешным акцентом, бегло говорил по-не-

мецки и немного по-английски, был корректен, исполнительен, но перед начальством не лебезил, знал себе цену. Жена у него была москвичка, русская. Он много читал, чаще всего — словари и энциклопедии, улыбался охотно и удивительно белозубо, и тогда его скуластое, цвета степного песка лицо покрывалось не совсем обычным, но приятным румянцем, а верхняя часть лица, надбровья и лоб, имела в себе что-то овечье, как будто он был родственником отары своего деда, но овцой он не был, все понимали, что собой представляет бывший сотрудник Внешторга, хотя почти никто не знал, какую огромную услугу он оказал советской власти в Саксонии. В предписании ему было указано убить в распоряжение военкома города Ачинска Красноярского края.

Когда об этом доложили генералу, он, чего скрывать, растерялся. Конечно, знал Наум Евсеевич, что калмыков выслали за то, что они, как сообщалось в секретном письме за подписью Калинина, сотнями переходили на сторону врага, добивали раненых красноармейцев и командиров, грабили наши тылы, подарили белого коня под узорчатым седлом немецкому генералу, вступившему в Элисту. Знал Наум Евсеевич и то, что все это брехня, туфта, нужная государству, как любая другая туфта, но он до сих пор считал, что одно дело — население, а другое — проверенные кадры, а Очир Ванькаевич был человеком проверенным. Еще Наум Евсеевич знал, что когда Сталин (а значит, и Меркулов, которому подчинялся генерал) заинтересован в успехе дела, то он не смотрит на второстепенные изъяны в анкете работника, лишь бы работник был предан делу Сталина, отдавал бы себя целиком делу Сталина — жертвенно, с умом, вдохновением. Таким был сам Наум Евсеевич, таких он подбирал себе ближайших, доверенных подчиненных, таким был и Ванькаев. А дело, которое было поручено им, оценивалось Сталиным как важное, нужное.

Чтение энциклопедий, специальной литературы, умелые беседы с жителями привели Очира Ванькаевича к убеждению, что в горах Саксонии, где-то рядом, гитлеровцы добывают уран. Наша разведка об этом ничего не знала, советские лоуренсы пожимали плечами, слушая Наума Евсеевича, с которым Ванькаев поделился своей догадкой. Наум Евсеевич на свой страх и риск предпринял поиски, шахты были обнаружены. Очир Ванькаевич составил докладную, за подписью Уланского она помчалась к Меркулову. В докладной предлагалось закрепить добычу саксонской урановой руды за Советским Союзом навечно. Наум Евсеевич

предвкушал свое торжество. Он уже видел, какой стол будет сервирован, как он будет себя держать, когда солнце сталинской милости озарит его и луч этого солнца, как золотая лопата, поднимет его, быть может, к самому светилу. Ванькаева генерал представил к ордену Ленина, просил присвоить ему звание полковника.

И торжество осуществилось, доклад был одобрен, весьма одобрен, на урановые шахты были посланы советские люди, но Наум Евсеевич не был отмечен, никак, ни словом не отмечен, а Ванькаева выгнали из армии. Так раньше Сталин никогда не поступал с преданными, удачливыми слугами. Чем же новым повеяло сейчас?

Да, растерялся Наум Евсеевич. Он уже второй военный год чувствовал, что у него ни наверху, ни рядом нет прежней опоры, нет земляков, собутыльников, друзей. Его еврейство, которое ему самому казалось милой, обаятельной черточкой в его незапятнанной чекистской биографии, теперь оборачивалось чертой отрицательной, как в его комсомольские годы дворянское или купеческое происхождение или, того хуже, необходимость отвечать в анкете: «сын священника». С них Меркулов требовал не газетной трепотни, а дела, и дела нелегкого, и Очир Ванькаев соответствовал своей должности, был знающим, трудолюбивым работником, с хорошей памятью, умел сочетать деловитость с дерзостью, а вместо него прислали из Москвы какого-то подполковника, армянина, который при первой встрече глубокомысленно заявил Науму Евсеевичу: «Я считаю, что Балканы — пороховая бочка Европы», — и Наум Евсеевич подумал, что армяне и евреи редко бывают глупыми, но если бывают, так уж дальше некуда. И еще подумал Наум Евсеевич, что ему уже ничего не поможет, даже сверхподлость не поможет всплыть наверх, разве что кое-как удержаться над уровнем дерьма.

Беда, как положено издавна, не приходит одна. Не успел убыть Ванькаев, как арестовали капитана Литвинца.

Григорий Иосифович как раз только что возвратился из поселка Эльстра, куда он ездил не один, в коляске его мотоцикла сидела Анна Шелике, хозяйка «Золотого солнца». Поездка была прекрасная, они ездили к двоюродному брату Анны, портному Кюну, он шил Григорию Иосифовичу китель из собственного сукна (а до этого шил ему — на будущее — штатский костюм-тройку), они у брата пообедали (провизию привезли с собой), переспали. Когда Григорий Иосифович вернулся в казармы, он, естественно, не пошел в офицерскую столовую, направился прямо в комна-

ту, которую делил с Лоренцем. Лоренца не было, на столе белела его записка: «Тебя вызывает Тыртов». Тыртов был начальником их отдела. Несколько озадаченный, Литвинец (было воскресенье) поднялся к Тыртову, но в кабинете вместо начальника сидел прилетевший из Киева следователь, молодой, в роговых очках, окуяющий. Он поздоровался с Литвинцом за руку, пригласил сесть и весело спросил:

— Так на чем мы остановились, Григорий Иосифович?

Литвинец подумал: «Погиб ты, Грицько!» Что надо теперь сказать? Ничего не надо было сказать: в кабинет вошли двое, сорвали с Литвинца ремень с личным оружием, погоны, ордена и медали.

Литвинца увезли: он бежал из тюрьмы, обманул органы, обманул армию, обманул партию. Почти четыре года огромную часть советской страны занимали немцы, они дошли до Эльбруса, уничтожили сотни городов, тысячи деревень, миллионы людей, все обрушилось, но бумаги, накопленные органами, сохранились в целости. Стало известно, что Литвинцу дали новый срок — восемь лет. Лоренц не хотел этому верить, он надеялся, что будут приняты во внимание заслуги Литвинца на фронте, его боевые награды. Но приехавший из Дрездена генерал-майор Уланский авторитетно подтвердил: да, восемь лет. Наум Евсеевич тактично как бы забыл, что Литвинца ему рекомендовал еще в Сталинграде Лоренц, не упрекал его, был деловит, отправил Лоренца со срочным поручением к бургомистру.

Накрапывал противный средневропейский дождик. До ратуши было не более получаса ходьбы, было четверть девятого утра, а бургомистр приходил в девять. Лоренц посмотрел на свои наручные часы, впервые в жизни появившиеся у него здесь, в Германии, решил зайти в пивнушку, чтобы немного отдохнуть от этого слабосильного, но упрямого дождя, который шел в Каменце почти каждый день. Он взял кружку пива, оно стоило всего лишь семьдесят пять пфеннигов, его было вдоволь в отличие от питания, которого было мало, немцы кормились по карточкам впроголодь.

В ратуше было несколько посетителей, ожидавших бургомистра. Лоренц узнал Анну, возлюбленную Литвинца, она была с мужем Иоахимом Шелике. Бургомистр, геноссе Миерих, опоздал всего лишь на пять минут, но извинился перед согражданами. Это было не похоже на наших градоправителей. Не похоже на них было и то, что Миерих, пригласив к себе в кабинет первым, разумеется, советского офицера, одновременно с ним впустил и жителя, быстро

при Лоренце уладил его дело и так же быстро договорился с Лоренцем об укомплектовании рабочей силой типографии: в этом и состояло поручение генерала.

Гиммлер как-то заявил: «Лишь немногие из присутствующих знают, что это значит, когда лежит груда трупов — сто, пятьсот, тысяча... Выдержать все это и сохранить порядочность — вот что закалило наш характер».

А что закалило характер коммуниста Миериха? Что сохранило его порядочность? Этот высокий, худой, с металлически белой головою саксонец прожил много лет в московской гостинице на Тверской, испытал все — и наш ныробский концлагерь, и концлагерь немецкий, куда он попал в 1940 году, когда после заключения пакта о мире и дружбе его привезли русские товарищи на границу рейха и сдали своим недавним и будущим врагам — немецким товарищам, он видел многое. Он видел грузовые фургоны, из которых вырывались густые клубы дыма с отвратительным запахом, а из дверей, открывавшихся под давлением изнутри, высыпалась масса распухших тел с глазами, выступавшими из орбит, в одежде, пропитанной потом и испражнениями. Это было страшно, но еще более страшно было смотреть на лагерника, который, работая в швальне, наткнулся на вещи убитых жены и детей, он узнал эти вещи. «В крови своей жить будете», — запомнил Миерих услышанное в детстве предупреждение сельского пастора, и долго, долго он жил в крови. Он видел многое и теперь, видел плохое, видел ужасное, но другого пути у него не было, он другого пути не знал, потому что боялся узнать, не хотел узнать.

Когда Лоренц вышел из его кабинета, Анна, улыбаясь чересчур густо — по моде — накрашенным вишневым ртом, попросила:

— Господин старший лейтенант, обождите нас, мы вкусно вас накормим, без карточки, в «Гольдене зонне», за счет фирмы. Мне к бургомистру не надо, это мой супруг затащил меня сюда, у него идея, ничего у него не получится, мы скоро освободимся.

Они и в самом деле вышли из кабинета бургомистра через несколько минут. Анна, молодо смеясь, но каким-то прерывистым, заводным, игрушечным смехом, рассказала:

— Иоахим попросил у бургомистра разрешения отправиться в Крым, чтобы там открыть курортный ресторан. Господин Миерих сказал, что в Советском Союзе рестораны государственные. Но мой Иоахим не стушевался, он

ему гордо ответил: «Если так, то я в Крым ни за что не поеду».

— Не вижу, что тут смешного, я просто навел справку, — немного обиженно сказал Иоахим.

Дождик, мелкий и колкий, набирал силу, но они шли медленно из-за хромоты Иоахима: он в самом начале войны, еще во Франции, удачно лишился ступни. Его демобилизовали, он вернулся в родной Каменец, где раньше служил кельнером в «Золотом солнце» у отца Анны, которого бросила жена, когда Анне было шестнадцать лет.

Анна тогда очень сердилась на мать, не отвечала на ее письма, жалела отца, кособрюхого, озлобленного, всегда в засаленном жилете папашу Кюна, как его называли посетители, с которыми он охотно выпивал рюмочку-другую. Открылся русский фронт, папашу Кюна взяли в армию, он был убит под Вязьмой. Одинокая двадцатичетырехлетняя девушка оказалась хозяйкой кафе и отеля, и всем, и ей самой было ясно, что она должна выйти замуж за своего прихрамывающего кельнера. Она знала Иоахима с детства, он был старше ее всего на пять лет, но, когда она была девочкой, он уже брился и ходил на танцы, он был славным парнем, невысокого роста, но хорошего сложения, можно сказать, красивый, его и хромота не портила, наоборот, придавала мужественность его мягкому облику.

Женившись на Анне, он угадывал каждое ее желание или нежелание, умел переставать быть, если ей делалось тоскливо, он был на редкость, по-женски ласков. Он с удовольствием, с наслаждением готовил для Анны ее любимые кушанья, изобретательно сопрягая малокалорийные продукты военного времени (он хорошо стряпал — единственное, что, по словам Анны, он умел делать хорошо), а когда его обсчитывали посетители — он считал трудно, медленно, еще в школе он заболел мигренью от изучения дробей, — он смотрел на Анну такими растерянными, преданными, теплыми глазами, что ей хотелось его погладить, как котенка, утешить, чуть ли не взять на руки. Став его женой, Анна оставалась для него хозяйкой, законной распорядительницей имущества, которой он подчинялся умом и сердцем. Посетители его любили, впрочем, как и все, кто с ним сталкивался, он ладил со всеми, но дело по-прежнему вела Анна, все деньги были у Анны, только в одном Иоахим был неуступчив: просительно, порой униженно, трогательно, но всегда, как малое балованное дитя, упорно и настойчиво он требовал от Анны ежедневного исполнения супружеских обязанностей. Анне это было скорее приятно,

хотя не очень волновало, — так, думала она, полагается, так у всех.

Невинности ее лишил, когда еще отец был жив, остановившийся у них в отеле группенфюрер из Дрездена, но Анна почувствовала только испуг, который усилился, когда произошла задержка, но через неделю все само собою наладилось, Анна не хотела думать об этом событии, не задевшем, не потрясшем ее душу и даже тело, она считала, что Иоахим был у нее первым, и привыкла к этой мысли. А Иоахим не отказывался от своей ласковой настойчивости даже тогда, когда она была на последнем месяце беременности, и Анне было нехорошо, а потом она вспоминала об этом с отвращением. Родился мальчик — давно замечено, что в войну чаще рождаются мальчики, — отец назвал его Рихардом, в честь весьма почитаемого в государстве композитора Вагнера. Кельнер Иоахим был с юных лет очень музыкален, любил оперу.

Так счастливо получилось: все соседние семьи редели, война пожирала мужчин, а семья Шелике прибавилась. Теперь Иоахим был не только кельнером, и поваром, и мужем, но и нянькой, и какой внимательной, бессонной нянькой своего сокровища, своего чистенького, синеглазого, как мать, несравненного Рихарда. А как завидовали Анне соседки: женщины, потерявшие мужей, девушки, не нашедшие женихов. Иные пытались заигрывать с Иоахимом, но он видел на земле только свою Анну, желанную, длинноносоую, с детской синеваой никогда, казалось, не обманывающих и всегда доверчивых глаз, такую проворную, толковую. Однажды фельдфебель, прибывший на восемь дней в отпуск, шлепнул ее по заду, когда, наклонясь, она вытирала столик. Анна вlepила ему пощечину, фельдфебель галантно извинился, сказал, что просто не мог удержаться, больно она завлекательна сзади. Анна рассмеялась, простила фронтовика.

В 1943 году, после неожиданной сталинградской трагедии, капитуляции Паулюса, временного отступления армии с целью перегруппировки, Иоахим пополнил ряды немецкой национал-социалистической рабочей партии. Понятно, почему он понадобился партии: мужчин в городе было мало, большей частью подростки, инвалиды, старцы, арийское происхождение Иоахима Шелике было безупречным, это легко можно было проверить в маленьком городе, где все друг друга знали на протяжении нескольких поколений, Иоахим был честным солдатом, его ранило во Франции, патриотические чувства особенно были ценны после сталин-

градского «котла», к тому же хозяин такого заведения, как «Золотое солнце», всегда мог пригодиться партии. Понятно и то, почему Иоахим не дал долго себя уговаривать: ему, маленькому человеку, польстило внимание власть имущих, значит, он кое-чего стоит, если ему оказали такую честь, и он всем своим существом привык обожать вождя. К тому же членам партии предоставлялась существенная льгота: они вносили в казну только половину причитающегося с них налога, и не надо было хорошо знать арифметику, чтобы усвоить эту выгоду.

Да, все было понятно, непонятым было только то, как быстро изменился характер Иоахима Шелике. Он стал на многих смотреть сверху вниз, хотя по-прежнему ласково, но уже покровительственно, даже с Анной он разговаривал теперь покровительственно, как умный с милой глупышкой, порою он и покрикивал на нее. Однажды, поджимая губы, как бы нехотя, как бы подчеркивая свою партийную нравственность, но явно гордясь, Иоахим намекнул, что к нему равнодушна госпожа Поппе, а она была хотя и старше его, зато почтенного купеческого рода, вдова хозяина ткацкой фабрики. Уже на третий день своего вступления в партию Иоахим по любому поводу приговаривал: «Я как национал-социалист...»

Приобщение к партии сделало его более практичным и даже удачливым. Недосток воображения и понимания обстоятельств приносил ему ту пользу, что он убедительно просил невозможного, и это обескураживало начальственных лиц, и они выдавали Иоахиму Шелике то, в чем отказывали более энергичным и заслуженным: полмашины дефицитного угля сверх нормы («ведь сами посудите, у моего Рихарда бронхит, можно ли держать больного ребенка в нетопленной комнате?»), сахар, молоко («ведь сами знаете, моя Анна кормит ребенка»). Детские коляски в тот год не продавались, возможно, даже не выделялись, но Иоахим и тут себя показал: в обмен на несколько пачек сигарет и банок кофе раздобыл коляску у соседей, старую, но в приличном состоянии.

Иоахима раздражало, когда, случалось, подвыпивший отпускник неосторожно рассказывал об отступлении в России, он не доносил на него, не таким подонком был Иоахим, чтобы заниматься доносами, но яростно кричал на перепуганного солдата, а по вечерам, умиляясь и торжествуя, читал Анне вслух обстоятельные, совершенно убедительные статьи из «Фолькишер беобахтер».

Хотя ранняя весна 1945-го принесла ошеломляющую весть о том, что русские заняли всю Восточную Пруссию и немецкая армия разваливается, Иоахим собственным глазам не поверил, когда русские танки и мотопехота тяжело, но без преград вошли в Каменц. Как-то странно, как-то недужно Иоахим оробел, его теплые глаза начали слезиться, покраснели, ему мерещилось, что болит нога там, где отрезана ступня, оказалось, что он мнителен, пугается болезни. Целыми днями он лежал в спальне, Анна громко сердилась — мол, он отлеживается, вся тяжелая работа на ней. Наконец Иоахим поднялся с постели, пошел отметить себя как бывший наци, но его — напрасно он опасался — не избили, не арестовали, отпустили быстро: он не знал, что бургомистр господин Миерих охарактеризовал его перед советскими властями как человека безвредного, которого даже можно будет со временем использовать в качестве лояльного, законопослушного гражданина новой Германии.

Глава восемнадцатая

По ордеру, выданному комендантом, одну из комнат «Золотого солнца» занял советский офицер, инженер-капитан, приехавший в Каменц в командировку. Он покидал отель рано утром, уезжая куда-то в горы, возвращался поздно вечером, никогда не требовал пива, только кипяток, сам стелил постель, сам чистил свои сапоги, шкаф на ключ не запирали. Анна увидела на одной из полок шкафа, над полкой с грубым нательным бельем, консервные банки, бутылки шнапса, спички, чай и сахар, папиросы в мягкой упаковке, они уже были известны в Каменце, мальчишки их называли «Пелёмор».

Как-то в субботу вечером инженер-капитан позвал Анну к себе, властно поманив ее рукою, Анна, трепеща, не отказалась, она очень боялась русских, беженцы из Пруссии, в особенности женщины, рассказывали о советских солдатах такие жуткие подробности, что холодело сердце. Господин капитан открыл консервы, они оказались рыбными, налил себе стакан водки, ей — полстакана, она, рабски подчиняясь, выпила, он ее молча раздел, она дрожала, ведь внизу был Иоахим, русский ее успокаивал на чужом языке, для нее непонятные слова были как мычание, он разделся сам донага, он был молод (потом узнала — двадцатого года рождения, а она — семнадцатого), ей впервые было хорошо, хотя немного больно, в инженер-капитане все было

крупно и крепко. Она стала приходить к нему каждую ночь, иногда от Иоахима, потому что тот сразу же после этого, выкурив сигарету, шумно засыпал. Душ не работал, но она ухитрялась быстро привести себя в порядок и, на босу ногу, в халатике на голом теле, тихо, едва дыша, входила к постояльцу, и все повторялось: полстакана шнапса, постель, запретная сладкая боль, и все молча, не по-людски, только имя его она научилась произносить, оно было легкое: Лена, — и томное волнение охватывало ее вечером, когда она ждала знакомого шума его приближающейся машины.

Как ни был доверчив Иоахим, но он что-то заподозрил. Он проснулся посреди ночи, Анны рядом не было, не было ее и в уборной и около маленького. Иоахим поднялся наверх, они услышали его шаги, шаги Хромца, его дыхание. Он, постояв, спустился вниз. Утром он уложил свои вещи в большой чемодан, поцеловал Рихарда, коснувшись его дорогой свежей щечки заплаканным небритым лицом, и покинул «Золотое солнце». Он прошел мимо Анны, ей показалось, что он ждал от нее хотя бы какого-нибудь слова, но ни одного слова она не нашла для него. В полдень, как всегда, привезли пиво, и однорукый парень, держа в уцелевшей руке ящик с бутылками, спросил Анну: «Господин Шелике уезжает? Попутной машины дожидается, что ли, около кинотеатра?»

Анна, без плаща, хотя припустил дождь, оставив все как есть, даже кассу, побежала мимо остолбеневшего парня к кинотеатру. Там в ожидании дневного сеанса толпились несколько девчонок и мальчишек, все курили, а под узким балкончиком сидел на чемодане Иоахим, он тоже курил. Анна бросилась ему в ноги, стала их целовать, подростки смеялись, она подняла повинные детские глаза, увидела, что Иоахим плачет, взяла чемодан, а он был довольно тяжелый, пошла, и муж пошел за ней, прихрамывая, он любил ее, он ее простил.

И Анна его любила, жалела, каялась, все дурное объясняла проклятой русской водкой, проклятой войной. Инженер-капитан узнал обо всем у Анны, и для него у нее не было слов, но он, легко догадавшись, испугался, как бы чего не вышло из-за связи с немецкой семьей, перебрался на другую квартиру. Анна поклялась Иоахиму, что это в первый и последний раз, никогда она больше не обманет его, не изменит, она теперь не дожидалась его просьб, сама его звала в спальню, даже иногда днем, но Иоахим, не очень хорошо разбираясь в окружающем его мире, очень хорошо понимал Анну, чувствовал, что он ей как милый родствен-

ник, а не как муж, не как возлюбленный, ее душа почти не лгала ему, но и тело не лгало, тело Анны было правдивей ее души.

Инженер-капитан впопыхах забыл в номере три бутылки водки, Анна прикладывалась к ней каждый день, она жить уже не могла без привычного полстакана, а когда бутылки опустели, стала пить пиво, и, хотя оно теперь было гораздо слабее довоенного, семь-восемь кружек в день давали себя знать. Как-то она поехала в Эльстру к своему двоюродному брату портному Кюну, у него был в это время заказчик, тоже советский капитан, совсем другой, чем Леня: он отлично говорил по-немецки, шутил, комплименты его были одновременно целеустремленные и остроумные. Они вышли, капитан взял ее под руку, сказал о ее глазах: «У вас диаманты и перлы», — Анна, смеясь, как девочка, ответила: «Это не ваши слова, это из деревенской песни», а капитан, тоже смеясь, возразил — нет, не из деревенской песни, а из стихов великого немецкого поэта Генриха Гейне. Анна услышала это имя впервые, в школе, она призналась с детской откровенностью, она училась плохо. Ей понравился этот высокий светловолосый капитан. Он пригласил ее в гостиницу, которая помещалась в Эльстре на втором этаже, над залом для танцев, Анна, конечно, отказалась, жители поселка хорошо ее знали.

Прибежище для них нашлось в самом Каменце. Они встречались днем, всегда на короткое время, на квартире у подруги ее матери, старого члена партии, которая в эти смутные дни предпочла жить у родственников в дальней деревне, поручив Анне присматривать за городской квартирой. Иногда любовникам удавалось выбраться, для разнообразия и на более долгое время, к двоюродному брату Анны в Эльстру. Анне казалось, что она любила Григория Литвинца, он ей рассказывал о своей родине — Украине, расспрашивал ее о том, как немцам жилось при Гитлере, это была не только постель, и она просила взять ее с собой на Украину. Литвинец не обещал, но и не отказывал, да и Анна в душе понимала, что не расстанется с Иоахимом, ей просто нравилось просить об этом Литвинца, получалось, что есть на самом деле любовь.

Иоахим ничего не замечал. Он теперь был одержим новой плодотворной мыслью: стать коммунистом. Он узнал из советской газеты о Майданеке и Освенциме, о гитлеровских зверствах, о том, как по вине вождя весь мир прокликает немцев, он опять начал читать Анне вслух статьи, но

уже из газеты, основанной генералом Уланским, читал с неподдельным чувством горечи, стыда, негодования.

Между тем Литвинец уже с неделю не показывался. Уехал в командировку? Но он предупредил бы Анну, так уже было однажды. Она пошла по направлению к казармам, надеясь встретить Лоренца, с которым ее познакомил Гриша, не встретила ни в этот день, ни в следующий, а когда наконец встретила, Лоренц ей сказал, что Литвинец по срочному делу выехал в Москву, кажется, надолго. Потом окольными путями до нее дошло, что Гриша уехал не по своей воле, с ним стряслась какая-то беда, вот она и пригласила Лоренца, увидев его в ратуше, заглянуть в кафе, чтобы от Гришиного друга разузнать всю правду.

Пока Иоахим возился на кухне, Анна пыталась выведать у Лоренца подробности, то есть вернется ли Гриша, и на ее прямой вопрос Лоренц ответил тоже прямо: в Каменц Гриша не возвратится.

Иоахим весело принес из кухни на большом овальном блюде ароматный деликатес — Лоренц забыл, какой именно, он был равнодушен к еде, — разлил пиво по кружкам, устремил на Лоренца ласковые, теплые глаза и сказал:

— Я был нацистом, а вы коммунист, если бы я не был в первый год войны ранен во Франции, то могли бы мы стрелять друг в друга в России, и вот мы сидим за одним столом, за доброй кружкой пива, за добрым куском шпика, как друзья. Я не скрою, я любил Гитлера, верил в него. Нас обманули, подло обманули. Но я так думаю, что философия тогда хороша, когда она годится для каждой отдельной жизни, а я понимаю свою жизнь так: надо искупить перед русскими, перед всем миром свою вину. Некоторые немцы, когда смотрят на карту Берлина, говорят: «Здесь лежит будущая война». Я лично с этим не согласен. Вся Германия должна стать социалистической, как нас учит Вильгельм Пик, тогда новой войны не будет, вообще в мире никогда больше не будет войн. Я хочу стать коммунистом. Вы не могли бы замолвить за меня, господин старший лейтенант, словечко там, где надо?

— Я сам беспартийный.

— Знаю, у нас тоже в вермахте не было партийных, таков порядок, но до армии ведь вы были партийным?

— Нет, я был и остался беспартийным.

— Вы не коммунист? Если бы я вас не уважал, господин старший лейтенант, я подумал бы, что вы надо мной смеетесь, обманываете меня.

Иоахим потерял к Лоренцу всякий интерес. Он был ласков, но любил только тех, кто любил или мог полюбить его. Лоренц оказался человеком малопривлекательным. А он, Иоахим, еще старался для гостя! Не дефицитного шпика жалко — жалко своего труда. Кто бы мог подумать: этот советский офицер с виду такой обходительный, и лицо у него немецкое, и фамилия...

Вошли две посетительницы, видно, мать и дочь. Иоахим приветствовал их по-соседски, пошел за стойку, чтобы налить обеим по кружке пива. Анна, прежде чем убрать и помыть посуду, успела быстро сказать Лоренцу:

— Мне еще надо с вами поговорить, завтра в три, хорошо? — И дала адрес подруги своей матери, где было место их дневных встреч с Литвинцом.

Возвращаясь в казармы, Лоренц не думал об Анне, хотя удивился ее приглашению. Или, быть может, он старался отогнать от себя эту думу? Он размышлял о характере Иоахима. Ясно было, что содержатель кафе человек недалекий. И дело, конечно, не в том, что он давал себя обманывать жене — кто защищен от измены, будь он даже семи пядей во лбу, будь это мужчина или женщина. Почему Иоахим захотел открыть ресторан в Крыму? Почему он, видимо, не из страха, так поспешно задумал перешагнуть из гитлеровской партии в сталинскую? Но если посмотреть на дело с другой стороны — разве любая правящая тоталитарная партия привлекает к себе миллионные людские толпы только потому, что на свете много глупцов?

Эта мысль неверная. Глупых, по-настоящему глупых людей очень мало, и в них есть даже некая прелесть, душевность. Конечно, чистопородных глупых больше, чем умных, но не они составляют численную основу человечества. Подавляющее большинство людей — посредственности. И в этом нет для них ничего унижительного. Но пока люди верят в Бога, они не ощущают своей посредственности, ибо каждый из них знает, что, слитый с Богом, он велик величием своего Создателя, и пусть какой-нибудь сосед, согражданин в миллион раз умнее, талантливей — разве одна бесконечно малая, будучи в миллион раз больше другой бесконечно малой, не остается такой же бесконечно малой перед абсолютной величиной, перед Богом? Но посредственность, потеряв веру, утратила уверенность, стала нуждаться в иной опоре, и такая опора медленно стала утверждаться. Сила националистического социализма укрепляется тем, что его идеи, его пропаганда рассчитаны вовсе не на глупых (а тем более не на умных). Его идеи очаровы-

вают забывшее о своем чудесном происхождении большинство, то есть посредственность. Гений отличается от таланта, между прочим (истина не новая), и тем, что талант находит сочувствие и понимание среди людей образованных, тонких, а гений доступен всем. История того, как две принцессы, которых отец любил, обманули и предали его, а третья, менее любимая, осталась ему верна и в несчастье, или история о том, как старый ученый омолодился с помощью нечистой силы и обесчестил девушку, — эти вечные истории волнуют всех, понятны всем, и высокообразованному и мастеровому.

Гениальность таких книг, как «Майн кампф» или «Вопросы ленинизма», мнимая, но что-то их сближает с истинно гениальными книгами, и это что-то заключается в пьянящей привлекательности их для большинства, которому кажется, что оно, впитав в себя эти книги, приближается к высокому, важному, вечному, прекрасному и мужественному.

Посредственность, лишенная веры в запредельное, всегда нуждается в истине ясной, бескомпромиссной, непогрешимой, безоттеночной, победной. Даже религия отступает перед грехом, когда принуждает, насильно принуждает, считать себя непогрешимой.

Поднимаясь по узкой улице в гору, Лоренц вспомнил, что и в его родном городе есть такие улицы, и тут же почему-то ожила в его памяти мысль, которую он прочел, когда в свои лаборантские годы пытался изучить персидский язык. Это было в предвоенном мае. Он поднимался вверх по Гаванному спуску и прочел в книге справа налево: «Тот, кто говорит, что близок к истине, тот далек от нее; тот же, кто говорит, что далек от истины, тот несет ее в себе, не зная об этом».

Нынешняя посредственность не может себе позволить духовной роскоши предположить, что величайшая творческая сила не в ней, что она, посредственность, далека от истины. Только возвышающее смирение преображает ее, но в восемнадцатом веке посредственность отказалась от смирения. Посредственность потому и посредственность, что должна постоянно, ежеминутно быть уверенной в том, что она — в созидательном слиянии с единственной, непререкаемой истиной. Истина, по ее глубочайшему убеждению, всегда единственна, всегда непререкаема, хотя она может меняться, сегодня она единственно гитлеровская, завтра — единственно сталинская, или наоборот, но всегда она должна быть наглядной, неопровержимой, властвующей, всеоб-

щей, найденной, но не искомой. Без такой истины посредственность впадает в растерянность, в трепет, порою в безумие, а нередко и гибнет.

Думал Лоренц и о том, что вот он идет по земле, откуда в начале прошлого века вышел его предок-саксонец, но не его эта земля, красивая земля, но не его. Есть множество общих черт в жизни победителей и побежденных, есть и разное: Гитлер убивал главным образом не немцев, чужих, Сталин убивал главным образом своих, — и у нас и у них тяжела жизнь, тяжела и мучительна судьба. Голос разума не умолкал в Лоренце, хотел об этом говорить, но голос крови молчал немотою камня. Есть общность судьбы, нет общности крови. Прекрасна земля Саксония, но не она мать-земля, мать-земля — далекая, дорогая, несчастная Россия. Его никогда не привлекали, а теперь ему и вовсе перестали нравиться слова Блока: «Да, скифы мы, да, азиаты мы». Кто спорит, сказал их поэт, может быть, и великий. По мнению Эмерсона, рождение поэта является основным событием истории. Это заблуждение. Основным событием истории является рождение любого человека, даже самого заурядного, потому что это есть новое, вечное рождение Бога. Но и тогда, когда человек не заурядный, а великий, родина ему не жена, как говорил Блок, а мать. Мать всегда одна, всегда и всюду одна.

Жена моя... Ни разу в жизни Лоренц не произнес эти слова как свои, а как мечталось ему сказать просто и нежно: «Моя жена сейчас придет», «Моя жена узнала», «Моя жена...» Холодно, что ли, и медленно текла кровь в его жилах, и поэтому не слышен ее голос? Ему уже тридцать шесть, а он никогда не знал женщины. Как это получилось? Вместе с порой созревания развивалась в нем болезненная, самолюбивая стеснительность, он стыдился своей небойкости, несветскости, малахольности, год за годом отравляло его непонятно как и откуда пришедшее к нему сомнение в своем мужском достоинстве. Бывало так, что девушки притягивали к себе его внимание, но редко: та была глупа, та заядлая крикливая комсомолка, та вульгарна. А те, которые ему нравились, смотрели на него как на пустоту. Ему нравилась Анна Шелике. Ему нравилась чужая жена, чужая недавняя любовница, чужая темная душа.

А что в ней было хорошего? Ее синеглазое обманчивое простодушие? Густо накрашенный рот, который умел источать не более двухсот, от силы двухсот пятидесяти обыденных слов? Беззаботный, прерывистый смех, смех распутницы и заводной игрушки? Все это так, но он предчув-

ствовал, что завтра днем произойдет в его жизни нечто необыкновенное.

И оно произошло. Анна выглядывала из окна верхнего этажа, когда Лоренц приблизился к дому, в котором она ему назначила свидание. Он слышал, стоя у двери, как она спускается по скрипучей лестнице. Она открыла дверь, поцеловала его (она это делала еще при Литвинце), повела наверх, в маленькую комнатку, они уселись на постели, застланной байковым старушечьим одеялом, перед круглым столом, на котором стоял кофейник, уже горячий, рядом две большие чашки, несколько тоненьких печений из плохой, темной муки, на стене висел портретик Адольфа Гитлера, но, перехватив взгляд гостя, Анна сняла портретик и несмело, виновато рассмеялась. Анна снова принялась расспрашивать о Литвинце, но уже вяло, зато жарко и однообразно жаловалась на одиночество, плакала. Когда Лоренц напомнил ей о существовании мужа, она с жесткой горечью удивилась:

— При чем тут Иоахим?

Все дальнейшее сделала Анна, но получилось у нее так, будто она только покорно и даже немного нехотя шла навстречу желанию Лоренца, и Лоренц ясно видел эту простительную хитрость, видел даже тогда, когда у него закружилась голова от восторга и страха. Анна поняла, хотя он и не думал ей в этом признаться, что она первая женщина в его жизни, это ее сначала поразило, у нее было другое представление о советских офицерах, потом это ее растрогало, она его наставляла: «Не волнуйся, Михель, отдохни, и тогда тебе будет хорошо», — и ему в самом деле стало хорошо, но ненадолго, после этого ему захотелось от нее отодвинуться, все в ней сделалось ему чуждо.

По-иному засветились дни его. Он и сам не заметил, как прилепился к ней всей растревоженной плотью, всем благодарным существом. Она и теперь была ему нужна только в те минуты, когда он познавал ее, но только в ней, еще так недавно спавшей с его другом и продолжавшей спать с мужем, он обретал то, что, казалось бы, сотворено для всех, но не для него. Он ревновал ее, чужую, к мужу, и она ему говорила:

— Возьми меня к себе, кончишь службу, уедем вместе.

Он верил в то, что она этого действительно хочет, и он не ошибался, она не играла, как с Литвинцом, она полюбила его, ее волновало целомудрие завоевателя, одного из тех, кого все боялись, ее волновали его чистота, его неумелость, его господство над ее страной, она учила и научила его

любви, он был ее властелином и ее созданием. Иногда, нечаянно, она его называла не Михелем а Рихардом, он ей казался ее дорогим мальчиком, таким же беспомощным и родным.

Новый, 1946 год они встречали не вместе, она — в кругу семьи, он — в своей части, но 1 января во второй половине дня им посчастливилось (Миша заранее договорился с водителем машины Тыртова, начальника отдела) поехать вдвоем в Эльстру. Портновская мастерская Кюна, двоюродного брата Анны, напомнила Мише мастерскую Ионкиса в его родном городе: те же большие шкафы (товар у портного был свой), манекены выпуклогрудые, на одной ноге, примерочная за плотной занавеской. И сам господин Кюн, изящный, наполненный самоуважением, чем-то походил на Ионкиса из Мишиного детства. Господин Кюн всю войну работал в Берлине в военной мастерской, он не только видел, но и шупал полковников и генералов, их живот и пах, для него это были герои, которые благоволили с ним шутить иногда, и он, преклоняясь перед ними, тем самым возвышался в собственных глазах. Поражение Германии он объяснял чем угодно, но только не ошибочными или, избави Бог, дурными действиями вождя и его соратников. Когда он вернулся в Каменц, оказалось, что его жена и двое детей убежали от русских в американскую зону, ключи от мастерской оставили у Иоахима, и тот сохранил в целости все имущество господина Кюна, и благодарный Кюн сшил бесплатно Иоахиму костюм из собственного материала.

Благодетельная слепота помогла господину Кюну сохранить добропорядочность в фашистском государстве, он презирал двоюродную сестру за распутство, но молчал, боясь ее русских любовников. Когда парочка вошла в мастерскую, господин Кюн позвал Анну в заднюю комнату. Миша от нечего делать стал читать прибитый к стене прейскурант (вот чего не было у Ионкиса), цены на все виды работ были строго обозначены, но они дополнялись из-за инфляции количеством тех или иных продуктов. Мише послышалось, что Анна и Кюн спорят, и действительно Анна вернулась к нему взволнованная, злая, от этой злости она внезапно стала казаться старше и грубее.

Она ничего не хотела объяснять Лоренцу, повела его наверх, в спальню — там она и с Литвинцом лежала, — было очень холодно, немцы, оказалось, ради свежего воздуха не отапливают спальню. Анна, раздеваясь, ругалась, как солдат, сердясь за что-то на брата, Лоренцу эта ругань была противна, Анна поняла, заплакала. Лоренц привез кое-ка-

кую закуску, бутылку водки (все офицеры получили такой новогодний подарок), он выпил от силы сто пятьдесят, Анна — все остальное и продолжала плакать. На этот раз она была с Лоренцем не такой, как всегда, будто обязанность исполняла, потом опомнилась, стала целовать его лицо, губы, длинную шею, просить:

— Михель, любимый мой, начнем новую жизнь. Я разведусь с Иоахимом, он мне Рихарда не отдаст, но я и на это согласна, мы с тобою поженимся, уедем в Россию. Мне страшно здесь, Михель, я больше не могу жить в своем доме.

Вечером они расстались, так было договорено: Лоренц возвратится в Каменц один пешком или, при удаче, на попутной, а Анна переночует у брата, туда же на другое утро должен приехать Иоахим с маленьким Рихардом отдохнуть денек.

Лоренц спустился вниз. Анна на лестнице прижималась к нему, он чувствовал за спиной ее теплые груди, ее теплое дыхание, и вдруг из комнаты за мастерской донесся до них мужской голос: «Игох, Игох», — а потом другой, тоже мужской, прошептал: «Бальд», — и неожиданно повторил по-русски: «Сейчас», — и оба голоса оборвались в темноте. Лоренц остановился, Анна испуганно вцепилась в него, поцеловала, с намеренно притворной грубостью и нежно, но решительно вытолкнула его на улицу.

Обманывает его Анна? Он, доверчивый и непрактичный, сразу разгадал в ней то, что его отталкивало. Он подозревал, что Литвинец был у нее не первым любовником, как она часто почему-то его уверяла, и не столько была противна догадка о ее прежних увлечениях, сколько ее ненужная ложь. От нее часто и густо пахло пивом, ее синие детские глаза иногда становились глазами зверька, их синева утрачивала людское свечение. Да и нужно ли было быть особенно прозорливым, чтобы разгадать эту замужнюю женщину, молодую мать, которая, едва разлучась с одним любовником, завела себе нового? Стоило ли Лоренцу пройти весь наш долгий, страдальческий солдатский путь, чтобы здесь, в чужой Германии, получить то, чем он пренебрегал на родине, чтобы соединиться, впервые соединиться, с женщиной, чья душа так далека от его души? Но правда ли это? Не обманывает ли он самого себя? Разве только его тело влеклось к ней, разве и его душа не освещалась ее темной любовью? А Лоренц знал, знал, что Анна любит его — пусть непрочно, пусть с хмельной и больной горечью, пусть, пусть... Но что, между прочим, означает по-немецки

«игох»? Почему тот, другой голос тихо произнес русское слово? Неужели она изменяет не только мужу, но и ему, изменяет опять с русским, и Кюн предоставляет любовникам у себя уютное гнездышко?

Когда они через несколько дней встретились, Лоренц был зол на Анну, зол на себя. Поддавшись обольщению банальных ситуаций, он заранее предположил, что Анна будет с ним особенно ласкова, но нет, синие искры тревоги то вспыхивали, то гасли в ее глазах, она явно была чем-то напугана. Уже одетая, уже целуя его на прощание, Анна решила ему довериться. У ее двоюродного брата прятался дальний-предальный родственник их семьи, не родственник даже, юноша по имени Игорь Кюн. Он был из России, из города Сарепта. Двести лет, с большими, конечно, перерывами, длилась переписка между саксонскими Кюнами и сарептскими, навсегда оторвавшимися от немецкой родины. После русской революции связи прекратились, но вот сарептские немцы, то ли по своей воле, то ли повинувшись гитлеровской армии, удрали из России, некоторые попали в Саксонию, русские почти всех выловили и продолжают вылавливать, угоняют назад в Советский Союз, а там, наверно, в тюрьму, в концлагерь, а этот молодой человек, запомнив сохранившийся в семье адрес, пришел однажды ночью искать прибежище у портного в Эльстре. Кюн его сперва не понял, Игорь плохо говорил по-немецки, портной потом его неприязненно передразнивал. «Их бин аух Кюн», — уверял Игорь, как будто в этом было все дело. Двоюродный брат Анны не хотел прятать беглеца у себя в маленьком поселке, где все жители были на виду друг у друга, на основании семейных преданий он высчитал, что сарептские Кюны ближе покойному отцу Анны, чем ему, он требовал, чтобы Игорь сдался русским, позвал супругов Шелике на совет. Иоахим сказал, что считает это гнусностью, подлостью, если на то пошло, то он Иоахим, спрячет Игоря в «Золотом солнце».

Анна, рассказывая, возмущалась: «Подумай, Михель, какой этот Игорь нам родственник, двести лет их семья прожила в России, с какой стати рисковать из-за чужого человека? Я говорю Иоахиму: ты ведь сам Шелике, а не Кюн, твое дело сторона. Возразить тут никак нельзя, но Иоахим кричит на меня, видно, сердится из-за тебя, а кричит из-за Игоря: «Все вы, Кюны, — кричит он, — не люди, а свиньи, а я никогда не был и не буду скотом, я не предаю человека, попавшегося в беду, придет время, переправим Игоря подальше, раздобудем ему хорошую бумагу, спа-

сем!» Раньше Иоахим меня всегда во всем слушался, а теперь стало все по-другому. Нет у меня больше сил с ним ругаться, пусть он оставит у себя этого Игоря, пусть сам вместе с ним пропадает, а я уйду из дома, хотя это мой дом, а не Иоахима, уйду к тебе, только позови. Михель, миленький, возьми меня к себе!»

Вот, значит, в чем дело. А он был так низок, так слеп, что подумал, будто Анна его обманывает! А все потому, что он действительно слеп, он видит только ее и себя, а жизнь не есть связь двоих, жизнь есть связь всех. Ему стало стыдно, он привлек Анну к себе, пригнул свое лицо к ее густо накрашенному рту, поцеловал ее, впервые поцеловал как старший, властно, Анна это почувствовала, при всем своем зрелом естестве она самой себе показалась беспомощной, слабенькой девочкой, это было такое сладкое, хрупкое чувство, Лоренц стал для нее силой, защитой. И незнакомая, печальная радость родилась в ней.

У себя в комнате Лоренц на хорошей плотной бумаге старательно (у него был неважный почерк) написал рапорт: он просил разрешения жениться на жительнице города Каменц Анне Шелике, в девичестве Кюн. Перечитав рапорт несколько раз, он явился к подполковнику Тыртову, начальнику отдела.

Подчиненные говорили о Тыртове: «Двадцать пять лет в строю, ни одного дня в бою», — между тем по количеству боевых наград у них в части Тыртов уступал только генералу Уланскому, хотя попал на фронт позднее многих. Он начал службу в РККА в Кремле, в школе имени ВЦИК, имел возможность близко видеть руководителей партии и правительства, стал начальником школы верховой езды, учил жен и дочерей этих самых руководителей скакать на лошади, потом, как остроумно выразился один артист в постановке «Анна Каренина», начались для них другие скачки, и в этом была некоторая заслуга Тыртова. Первые полтора года войны Тыртов просидел в Москве, в Куйбышеве и опять в Москве за столом в отделе кадров ПУРа, но отдельного кабинета не имел. Потом начальник ПУРа, любимец Сталина, Мехлис рассердился на Тыртова за какую-то неисправность, выгнал из ПУРа, и Тыртов попал к Уланскому, который сказал о нем, что Тыртов ему нужен, как заднице гвоздь в диване. Служакой Тыртов оказался отличным, никогда из штаба фронта не отлучался дальше штаба армии, по всяким передовым не околачивался. Ему было поручено, между прочим, освещать личность Уланского, таков был порядок, Уланский об этом знал, не сер-

дился, он иногда говорил Тыртову: «Ты видел новую машинисточку в штабе? Когда я стану молодым, обязательно ее помну. Запиши, Тыртов, пригодится».

Тыртов презирал еврейские шутки и еврейские шуточки Уланского, все они одинаковы, что этот кругленький, пузатенький генерал, что Лев Захарович Мехлис, который строил из себя невесть что и которого товарищ Сталин вышвырнул наконец из ПУРа, вышвырнут и Уланского отсюда, пусть пойдет в военторг, делает гешефты. Презирал Тыртов и обоих выдвиненцев Уланского, больно они грамотные, Лоренц и Литвинец. Это он в свое время послал на Литвинца запрос в освобожденный Киев, взяли голубчика, — у Тыртова глаз наметанный. Вы, жидовские холуи, может, и языки знаете, и болтать о культурных мероприятиях умеете, но государство стоит не на вас, а на таких, как он, Тыртов. Вот и для другого черед настал, Лоренц принес материал на самого себя! Верхогляд определил бы Лоренца как дурачка, но Тыртов вникает: не русский, ясно по фамилии, не еврей (к чему безосновательные подозрения?), наверно, хуже — немец, и не случайно хочет жениться на немке. Советский офицер хочет жениться на немке из оккупированной зоны, на жене нациста! Водитель тыртовской машины уже доложил, что возил старшего лейтенанта Лоренца с хозяйкой «Золотого солнца» в поселок Эльстру. Вот вам выкормыш Уланского!

Подполковник не выдал своей радости, говорил с Лоренцем, как всегда, невыразительно, но без раздражения. Когда узнал от старшего лейтенанта, что Анна Шелике имеет мужа, естественно, удивился, но когда получил разъяснение, что Анна собирается развестись, закивал: все понятно, он доложит генералу, думает, что препятствий не будет.

Прошло три дня ожидания и счастья. Анна узнала о рапорте, и все ее существо заликовало, все косточки пришли в движение! Она начнет новую жизнь, уедет из этой нищей, голодной, опозоренной страны туда, где живут сильные хозяева, сама станет одной из них, из хозяев. Она ушла от Иоахима и поселилась на той квартире, где встречалась с Лоренцем, ждала его прихода, она никогда и никого не любила так, как полюбила Лоренца именно теперь, в эти три упоительных дня. Иоахим, раздавленный, убитый горем и стыдом, умолял ее остаться с ним, доказывал ей, что в Союз ее не пустят (как будто он сам не просил недавно разрешения открыть ресторан в Крыму), страшал, что не отдаст ей Рихарда, что Лоренц ее скоро бросит, но Анна его не

слушала, у нее не было никаких сомнений, никакого страха, никакой жалости к мужу. За все эти три дня она ни разу не пришла домой повидаться с мальчиком.

Лоренц, обалделый от своей решимости и решительности, в первый раз нарушил военные правила, остался ночевать с Анной. Когда утром он пришел в казармы, ему сказали, что прибыл из Дрездена генерал, вызывает Лоренца к себе.

Обычно Наум Евсеевич встречал его улыбкой, шуткой, даже иногда сердечно. Не то было сейчас. Не ответив на приветствие, спросил с каким-то отвращением, столь не сочетающимся с его круглым, румяным, поварским лицом:

— Почему являетесь небритым?

Внимание к формальной стороне военного быта не было свойственно генералу, он всегда требовал дела, и только дела. Он посмотрел на Лоренца тем бесцветным и сверлящим взглядом, которым на Руси смотрели еще думские дьяки, когда люди говорили о лобном месте: «Дьяк на площади, так Господи прости!»

Генерал вовсе не хотел зла Лоренцу. Он хотел добра себе. «Болван, — думал он, — подвел меня, губит себя. А может быть, хуже, чем болван?» Он сжал в мягкие кулаки свои пухленькие пальцы, приблизился к Лоренцу, стоявшему по стойке «смирно», напирая на него животиком, закричал с той резкой музыкальностью, с какой кричат и поныне на базаре в их родном приморском городе:

— Вы понимаете, что вы натворили? Почему вы не дождались меня? Разве вы Тыртова не знаете? Он вам устроит то, что уже устроил Литвинцу!

— Я люблю эту женщину, — сказал Лоренц.

— Любите, кто вам мешают? Жениться вам на немке нельзя.

Наум Евсеевич немного успокоился. Он, чьим ремеслом были хитрость и коварство, не терпел хитрости и коварства от подчиненных, ему нравились простые, откровенные сердца, и чистые слова Лоренца, слова о любви, сказанные в казарме, произвели на генерала хорошее впечатление. Да, конечно, болван, но наш болван, к тому же только сейчас, на четвертом десятке, если вспомнить, что болтают сослуживцы, потерял свою драгоценную девственность, но парень без замыслов. Надо его спасти. Брак с немкой разрешить нет никакой возможности, глупость, вздор. Говорят, вкусная бабочка эта хозяйка «Золотого солнца». И вдруг

Наум Евсеевич предложил, опять, как в лучшие дни, улыбаясь улыбкой толстяка:

— Приводите ко мне вашу невесту, я с ней побеседую, посмотрю, что она собой представляет, что можно для вас сделать.

— Разрешите пойти за ней? — обрадовался Лоренц.

— Вы приведете ее после шести вечера, но не сюда, в часть, а в ратушу, я там буду вас ждать.

Анна широко, по-детски раскрыла сине-фарфоровые глаза, узнав, что ее приглашает к себе сам генерал. Она надела то платье, которое достаточно кругло обнажало то, что у нее росло красиво, высоко и что Лоренц мысленно называл «в Тамбове не запомнят люди». В начале седьмого, когда окна ратуши стали на закате такими же фиолетовыми, как ее старые стены, взволнованная чета вошла в помещение. Оно было пусто. Они пошли по сводчатому полутемному коридору, Лоренц постучал в дверь кабинета бургомистра, услышал знакомый голос: «Войдите». Наум Евсеевич их ждал. Он был при всех регалиях, сидел, несколько отодвинувшись от стола, мешал животик. Он бросил быстрый цепкий взгляд на Анну, приказал:

— Товарищ старший лейтенант, оставьте нас, я поговорю с вашей невестой. Вернетесь через два часа.

Куда ему деться? Почему беседа длится так долго? Площадь небольшая, кружить вокруг «Золотого солнца» ему не хотелось, он поплелся через весь город по улице, отлого бегущей вниз, к казармам. Дойдя до них, он снова поднялся вверх. Трижды он проделал этот путь, тоска сжала его сердце, он чувствовал что-то похожее на тошноту, когда подошел к ратуше. Она была закрыта, ни одно окно не светило. Башня ратуши равнодушно смотрела на площадь. Что произошло? Может быть, генерал отпустил Анну раньше? Какая оплошность, не надо было ему бродить по городу, а ждать здесь, на площади. Значит, Анна уже дома? Он поспешил туда, где был их дом, но в доме была тьма, пустота, дверь молчала. Он знал, что так будет, хотя не мог себе объяснить, почему он знал. Не мог себе объяснить и того, почему он опять подошел к ратуше, толкнулся в дверь, запертую на замок. Напротив желто мерцали окна «Золотого солнца». Лоренц пересек площадь, заглянул в освещенные окна, чьи решетчатые ставни были распахнуты. Он увидел Анну и Иоахима, они сидели за столиком, Анна была в пальто. Ему показалось, что Иоахим его тоже увидел. Лоренц пошел в казармы.

Он не спал всю ночь, он долго помнил эту ночь, мысли были одна темнее другой, а самая темная неожиданно вспыхнула как острый, губительный луч догадки.

Утром его позвали к генералу. Двор казармы покрылся за ночь скользким мокрым снежком. Наум Евсеевич поручал ему весьма ответственную, кропотливую работу — составить для Меркулова обзор проделанной работы за весь период, указал объем, давал советы, предлагал примерные названия разделов. Закурил казбечину — подчиненные знали, он курил редко — и продолжал в том же скучном, деловом тоне:

— Я понимаю, вы меня не очень внимательно слушаете, ждете ответа на личный вопрос. Миша, она очень мила, не спорю, хотя, признаюсь, холодна. Я предпочитаю полек, они рабыни мужчин. Я имел вчера вашу Анну. Не лучшая киска моего донжуанского списка. Я нанес вам рану, может быть, глубокую, но для вашей же пользы. Это рана, сделанная ланцетом хирурга, а не мечом врага. Жениться вам на ней невозможно, теперь вы сами убедились, что затеяли глупость, чахотку вы бы от нее получили, чахотку и позор. Весной я вас демобилизую, вернетесь в наш город у Черного моря, женитесь на хорошей советской девушке, только смотрите не забудьте меня пригласить на свадьбу, обижусь. Я прикажу, вам принесут материалы. Идите.

Чтобы описать то, что почувствовал Лоренц, нужно другое перо. Он лег в своей комнате на койку, мокры были его сапоги, мокры были его глаза. Вся его жизнь показалась ему долгой, постыдной дорогой унижения, дорогой ничтожества. Ему отказали в приеме в университет, а он добивался этого. Для чего? Разве нельзя было изучать науки, мыслить без диплома, пойти, скажем, в дворники? А разве, если разобраться, не унижительным, ничтожным было его поведение на Мавританской? Он не предал своих друзей, но, в сущности, отрекся от них, от себя — для того, чтобы Шалыков или Уланский подписали ему пропуск на выход. Куда пропуск? Какой выход? Из «третьего отделения» в камеру объемом в одну шестую планеты? Он выдвинулся в армии, служа переводчиком при допросе пленных, то есть несчастных, тем более несчастных, что их превратили в нелюдей, уничтожавших людей. Основой его повышения было горе других, горе зверей, и зверей особенных, зверей-рабов. Рабы убивали рабов, рабы предавали рабов, рабами были и рядовые и генералы, и сам он стал любимым рабом генерала-раба, и этот генерал, отвратительный гепеушник, грубо, подло взял его любимую женщину и сам об этом

сказал ему. Давно утратил генерал человеческий облик, но разве и он, Лоренц, человек? Он раб, и вот что страшно: уже не только телом раб, но и духом раб.

И вот еще одно свидетельство рабьей сущности его души: он взялся за работу, и эта пустая, не нужная живым существам, бессмысленная работа даже увлекла его, отдалила от тяжелых мыслей.

В положенный час он с обреченной точностью механизма направился в столовую для младшего офицерского состава. Кусок не лез ему в горло. Он выпил стакан теплого киселя, вышел на улицу. Та же обреченность механизма привела его к «Золотому солнцу», заставила открыть двери. За столиками сидели несколько жителей. Иоахим стоял за стойкой, Анны не было видно. Печаль была на лице Иоахима. Он взглядом предложил Лоренцу выйти на улицу, сам вслед захромал, заговорил с неожиданной твердостью:

— Что вам от нас надо, господин старший лейтенант? Вы сделали все, чтобы погубить мою жену, только я один могу ее спасти. Мы маленькие люди, мы от вас зависим, но если вы порядочный человек, то не приходите больше.

И Лоренц ушел, ушел дорогой унижения, потому что для человека самое большое унижение — унижить, оскорбить слабого, зависимого, подневольного. А разве это не делал Лоренц, сблизившись с Анной, при этом даже не думая, что оскорбляет, унижает Иоахима? А действительно ли не думал?

Две недели Лоренц не покидал казарм, корпел над обзором. Ему принесли письмо, оно было от Дины Сосновик. Он ей написал, не веря, что придет ответ, но ответ пришел. Умерла его мама. Он думал о ней всегда, все годы войны, ее голос жил в нем, мягкий голос, не заглушенный ни Сталинградом, ни Курской дугой, ни Варшавой, ни Восточной Пруссией, и только здесь, в тишайшем Каменце, он перестал о ней думать, слышать ее голос, потому что думал об Анне, слушал голос Анны. Умерла мама, его мама, его мама.

Лоренца вызвал к себе Тыртов. Выразил соболезнование в связи с постигшим его горем. Не считал нужным объяснить, каким образом он еще до Лоренца узнал о смерти Юлии Ивановны. Осведомился, как движется работа, удовлетворенно закивал, услышав, что дело идет к концу, одобрил:

— Хорошо, что вы стараетесь, тем более что уже никакого поощрения ждать не можете. Есть приказ о вашей демобилизации. Вернетесь на родину, к мирному труду. За-

видно, конечно, но я лично счастлив, что нахожусь там, куда меня поставила партия. Вы не знаете, за что арестовали Анну Шелике?

— Арестовали? Анну?

— Не знали? Разве с ней перестали встречаться?

Лоренц ринулся к «Золотому солнцу». Взялся за ручку двери — не открывается, заглянул в окно, в другое — никого. Постучался — не ответили. Он пустился почти бегом по асфальтовому шоссе в Эльстру. Грязный пот бежал по его лицу, когда он вошел в портновскую мастерскую. Кюн обводил по сукну мелом выкройку. Все еще держа мел в руке, он спокойно поздоровался с Лоренцем, не торопясь произнес сентенцию:

— Алкоголизм доводит до преступления. Это закон природы. В особенности если пьяница — женщина.

Вот что вкратце узнал Лоренц от портного. Сарептский Кюн тайно поселился в «Золотом солнце». Так пожелал Иоахим. Анна стала много пить, выменивая у русских солдат шнапс на свои тряпки. Она спаивала Игоря. Было ли между ними что-нибудь или это померещилось Иоахиму, но тот каждый день скандалил, устраивал сцены ревности, уже не стыдясь посетителей, сам начал пить с Анной и Игорем, однажды бросился на Анну с кулаками. Игорь повалил его на пол, дело было на кухне, Анна ударила Иоахима топором по голове. Игорь выбежал на улицу, позвал на помощь, лицо Иоахима было залито кровью. Анну стали допрашивать, но она была так пьяна, что отвечала бессвязным бормотанием. Анну и Игоря арестовали. Господин Миерих, бургомистр, устроил Рихарда в приют для сирот. Иоахим поправляется, он лишился левого глаза. Кюн навещает калеку. Анна в тюрьме в Баутцене. Что стало с Игорем — неизвестно, тут дело запутанное, военное.

— Вам разрешили навесить Анну?

— Не просил разрешения. Она погибла для себя и для меня. Одна женщина, жительница Эльстры, которую на три месяца посадили за спекуляцию, вышла из той тюрьмы, видела Анну, вместе работали, чулки чинили, штопали. Говорит, что Анна исхудала, почти не ест, только супа несколько ложек. А Иоахиму и мальчику я помогу, не оставляю их, так велит мне мой долг. Моя семья скоро возвращается в Эльстру, мы возьмем Рихарда к себе. Отцу-калеке будет с ним трудно.

...В части уже было известно о демобилизации Лоренца. Когда он вечером, усталый, в своем насильственно молчащем горе, вернулся в казармы, товарищи потребова-

ли от него немедленно обмыть отъезд, его отсутствующий взгляд сначала почему-то всех рассмешил, потом что-то поняли, отступили.

Лоренц не сомкнул глаз до утра, он пришел к трудному решению: надо позвонить генералу, власть у него большая здесь, связи огромные, он может помочь Анне. Если вспомнить все, что произошло, то в этой просьбе было что-то низкое, даже грязное, но Лоренц не хотел думать об этом, он думал о несчастной Анне. После полудня ему удалось связаться по телефону с генералом. Наум Евсеевич выслушал его не перебивая, приказал:

— Оформляйте свой отъезд. Не морочьте мне голову благоглупостями. Привет землякам.

Лоренц навсегда покинул Германию. Победитель возвращался домой. За вагонными окнами в развалинах, в весенней грязи лежала перед ним поверженная страна врага. И Польша была в развалинах, и Украина была в развалинах. Кто победил и кто побежден? Не Сталин разгромил Гитлера, не русские одолели немцев — победило страдание, дух поборол плоть. Могучее государство фараонов поникло перед безоружным племенем, ибо маленькая, крытая камышом пустыни скиния Завета бесконечно сильнее великолепной, закованной в сталь конницы, неисчислимых копьеносцев и лучников, и государство, которому служил Понтий Пилат, не восторжествовало над другими государствами — восторжествовало распятое страдание, и не знают ни прокураторы, ни гауляйтеры, ни секретари крайкомов и обкомов, что, не уставая, победоносно движется по земле сияющее страдание, воскрешаясь и воскресая. Стучали колеса вагона, стучало сердце Лоренца, стучались в сердце слова — собственные или где-то прочитанные:

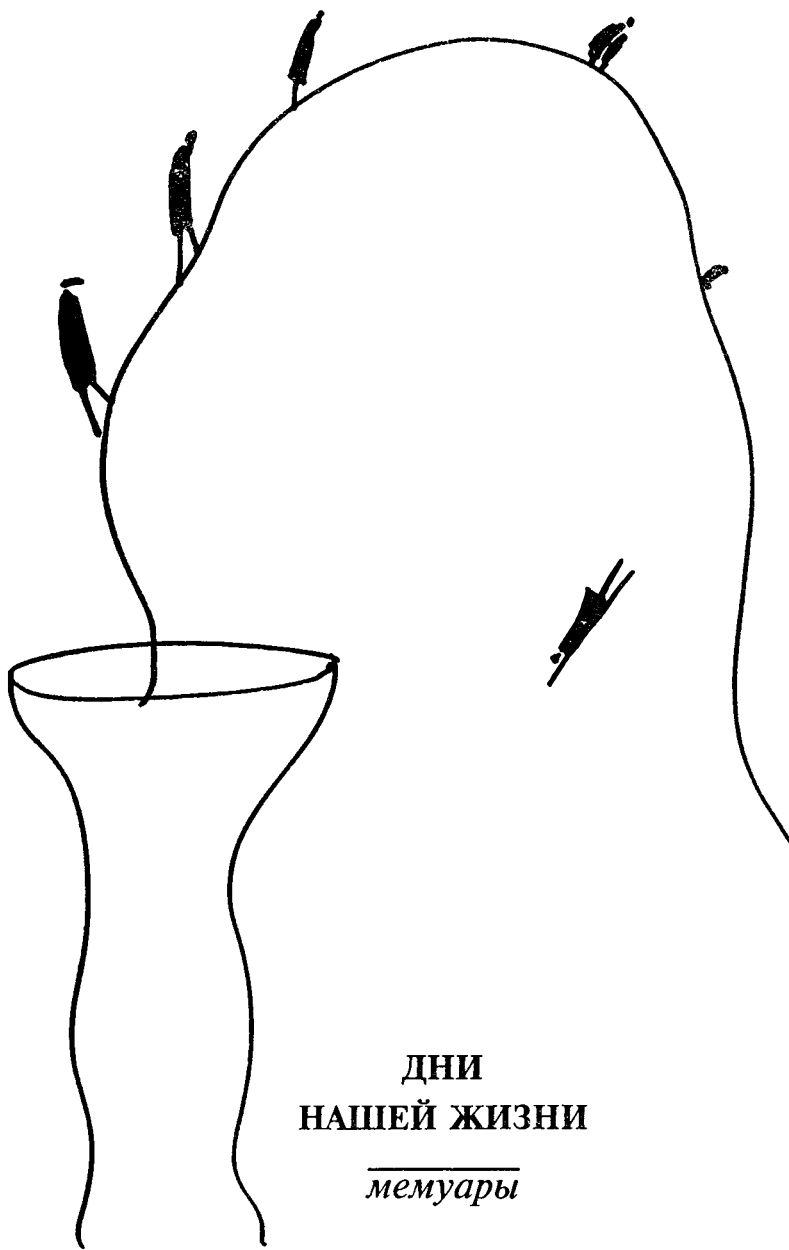
«Ты, теперь я знаю, — Тот, кого я сам, давным-давно, оставил в начале далекого пути. Прости меня, Боже, за то, что я Тебя оставил, не потворствуй мне за то, что я к Тебе пришел. Дай мне высокую милость, дай мне идти Твоим путем, путем страдания. Это страдание есть счастье сострадания. Вера в Бога есть действенное сострадание всем униженным, оскорбленным...»

Земля, сотворенная Богом для радости нашей, двигалась в вагонном окне, смеялась и плакала, трудилась и думала, думал и Лоренц, думал о том, что в каждой религии есть четыре основы: вера в Бога — творца всего сущего; свод нравственных законов и правил; мифы; обряды и обычаи. Самая важная основа — первая, она может объединить всех людей, она одна для всех. Да и вторая основа од-

на для всех, нравственные законы, в общем, тождественны у христиан и у иудеев, у поклонников Дао и у индуистов. Величайшие из слов, произнесенных устами человека — Нагорная проповедь, — родственны миропониманию древних персов, древних индийцев и уже совсем близки миропониманию древних иудеев. Довольно сильно отличаются друг от друга мифы, но особенно сильно — обычаи и обряды, они связаны не столько с религиозным мышлением, сколько с национальным, с бытом, характером, историей, занятиями народа, с природой его страны. И как странно, что именно обычаи и обряды отделяют железной стеною одну религию от другой, хотя не в них суть веры. Они милы, эти обычаи и обряды, но не от Бога они. Обрезание, которому такое важное значение придают иудеи и мусульмане, было и у язычников-египтян. Крашенки, которые расписывают православные на Пасху, были у зороастрийцев, в древней Согдиане при наступлении праздника весны обменивались крашеными яйцами. Конечно, в подобных обычаях и обрядах, овеванных теплом семьи, выражается детская любовь людей к Богу, но пора уже любить Бога не только по-детски, пора слиться в одно всем, для кого важна главная основа веры — понимание, что все мы, люди, потому и люди, что созданы Богом по образу и подобию Его. Только это понимание может спасти мир...

Станция Двухдорожная, последняя перед родным городом, где останавливался поезд, была разрушена. Поезд простоял несколько минут и тронулся дальше — в степь, в будяки, в живую грязь чернозема. По кукурузным бодыльям бежал ветер. Развалины хат, развалины платформ, умершие баштаны. Вот и станция Пригородная, как хорошо — сохранилось знакомое с детства ее двухэтажное, с башенками, красно-серое здание. Здесь, поблизости, спят в земле его отец и мать, скоро покажется мост над Водопроводной, железнодорожные мастерские, где когда-то работал Цыбульский, может быть — сейчас он увидит, — и от них остались одни развалины, и от дома Чемадуровой, а пока еще в город вливается степь, над ее воскрешенной душой сияет солнце марта; сияет земля, и ему кажется, что глаза земли смотрят на него с той тихой грустью, с какой смотрела мама, и земля не меняется, она такая же, как при скифах, такая же милая, как в детские годы Лоренца, такая же мягкая, терпеливая. Страдание не устало, страдание шествует вперед.

Ноябрь 1962 — февраль 1976



**ДНИ
НАШЕЙ ЖИЗНИ**

мемуары

ПУШКИНСКАЯ УЛИЦА

Много прекрасного, значительного связано в моей душе с небольшим кварталом Пушкинской улицы между Троицкой и Жуковской. Начать с того, что здесь, поближе к Троицкой, я провел первые два года своей жизни и потом часто приходил с отцом к прежним соседям, которые громко и певуче удивлялись тому, как я вырос, ласкали меня и угощали коржиками, и каждый раз отец со вздохом показывал мне двери, наполовину стеклянные, с приподнятыми шторами, и единственное окно того магазинчика, который он вынужден был покинуть, запутавшись в долгах, — по вине моей матери, не забывал он повторять, и наша семья перебралась, к стойкому огорчению матери-фантазерки, в дом победнее, попроще, в Овчинниковском переулке, где я жил до своего отъезда в Москву и где, задыхаясь от астмы, от эмфиземы легких, умер в муках мой отец.

Дом — двухэтажный, шестнадцать квартир — принадлежал французу-виноторговцу, сам он жил в другом месте, а здесь, в длинном подвале, зарешеченном со стороны улицы, хранилось вино, и запах его был прочнее менявшихся после революции властей, и только при окончательно укрепившихся большевиках он окончательно исчез.

Мне было пять лет, когда нас с отцом позвала к себе на Пушкинскую бывшая соседка, кормившая себя и двоих маленьких детей шитьем мужского белья: ее муж уехал в Америку, и о нем не было ни слуху ни духу. Мама тоже была приглашена, но не пошла: она ревновала отца к этой безмужней женщине. А та пригласила нас к себе из-за необычайного события: она жила на втором этаже, и у нее был балкон, выходивший на улицу, и с балкона можно было в этот день увидеть приехавшего в Одессу царя. Для отца это было небезопасно, он вел социал-демократическую пропаганду среди рабочих мелких мастерских. Шла война, он был оборонцем, сторонником Плеханова, но находился

на сильном подозрении у полиции, редко ночевал дома, прятался там, где работал закройщиком, — в мастерской богатого военного портного на Новосельской, в новом доме эклектической пышной архитектуры, ровеснике века. А если он ночевал дома, то наш городской, толстоногий и сиwoусый, как Тарас Бульба, всегда пахнувший кислыми щами и крепким табаком, предупреждал его заранее о возможном обыске: городской получал от мамы красненькую каждый месяц.

Отец назначил нам свидание у фонтана в Александровском садике, недалеко от нашего переулка, мама привела меня к нему, он взял меня за руку, в другой руке он сжимал серебряный набалдашник трости, и мы отправились на Пушкинскую. Сейчас вряд ли кто поверит, что человек, скрывавшийся от полиции, настраивающий рабочих против существующего строя, мог свободно идти по центру города, да еще с какой целью? Посмотреть на царя!

Дойдя до Главной синагоги, мы уже издали услышали голоса военных труб. Кстати, именно эта синагога дала свое название Еврейской улице, точно так же как Троицкая получила свое название потому, что в конце этой улицы, в начале парка, располагался монастырь св. Троицы, белые здания которого, в чудной своей чистоте выглядывавшие из густой зелени, были уничтожены во время гражданской войны. А следующая улица именовалась Успенской в честь круглившейся на другом конце, на Преображенской, поныне действующей соборной церкви Успения Божьей Матери. То, что в портовом, пестром городе наименования улиц были обязаны храмам или названиям народов — имелись и Лютеранский переулок, и Польский спуск, и Греческая, и Итальянский и Французский бульвары, а в том же парке, который начинался монастырем, над самым морем сохранились мусульманские арки Турецкой крепости, — придавало многонациональной Одессе своеобразную красочную прелесть, и не потому ли двуединство религии и нации так рано и сильно осветило мое детское сознание?

Мы свернули на Пушкинскую. Показалась важная процессия. Она двигалась от вокзала по направлению к Николаевскому бульвару, к Воронцовскому дворцу, предназначенному для краткого пребывания царя. По обе стороны улицы стояли любопытные. То не были знатные люди, допущенные по специальным пропускам, кто хотел, тот и пришел, и места впереди, у кромки тротуара, достались не самым проверенным, а самым прилежным.

Нас никто не вздумал останавливать, мы спокойно поднялись на второй этаж. Из всех окон, с балконов старались разглядеть царя обитатели Пушкинской и их знакомые, большей частью евреи. У нас в городе улицы нередко делились на отрезки, соответствующие материальному и словесному положению жителей. На Пушкинской, начиная от вокзала, вдоль перпендикулярных к ней Новорыбной и Старорезничной с их Привозом, Большой и Малой Арнаутскими (свидетельство, что здесь когда-то селились албанцы, иначе — арнауты), Базарной, Успенской, Троицкой и Еврейской сосредоточились дешевые, пользовавшиеся дурной славой номера, лавки ремесленников и мелких торговцев. Хорошо помню бедную синагогу в глубине обшарпанного двора, а потом, начиная с Жуковской и Полицейской, улица богатела, чванилась, постепенно становилась частью Средиземноморья, появлялись великолепные дома, кариакиды могущественных банков, сверкающие надменной роскошью магазины, изумительное здание биржи (теперь там зал филармонии), построенное и украшенное итальянскими архитекторами и скульпторами, Бродская синагога толстосумов, воздвигнутая галицийскими выходцами из города Броды, первая в Одессе хоральная синагога с органом, с готическими башенками и вытянутыми, узкими готическими окнами, теперь полуразрушенная, — в сохранившейся изуродованной части размещено какое-то архивное управление.

Когда-то Пушкинская была многоцветной. Говорят, что такой ее впервые увидел Пушкин. Сухие ветры, горячее солнце Новороссии, осенние и зимние дожди, годы военного коммунизма и сплошной коллективизации погубили яркую окраску стен, штукатурку, но при мне в широких, гулких, загаженных, но веющих прежней роскошью парадных еще сохранились росписи. Не знаю, обладали ли они художественной ценностью, но помню то чувство праздника, приобщения к иному, зовущему, загадочному миру, которое охватывало меня, когда я, босоногий, забегал в чужие богатые парадные и смотрел на нарисованных людей и птиц, живущих незнакомой, может быть, вымышленной жизнью.

Конный кортеж двигался медленно. В толпе зевак виднелся только один городской. Он часто крестился, держа в левой руке фуражку. Буколические, беспечные времена — преступно беспечные, как вскорости выяснилось. Я просунул голову сквозь витую ограду балкона, мне мешал высокий платан. Царя я не запомнил, хотя мне на него указыва-

ли, — вот он, на лошади, но другие военные тоже сидели верхом, а кто из них царь?

Моя двоюродная сестра Дора, которая была на шесть лет старше меня, рассказывала, что она видела, на той же Пушкинской, не только царя, но и наследника, когда они приехали в Одессу в связи с 300-летием дома Романовых. Это было в год моего рождения. Сестру поразило, что наследника почему-то нес на руках огромный матрос. Наследник был в военной форме.

Этот рассказ так глубоко врезался мне в память, что я постепенно привык к мысли, будто я сам, собственными глазами, видел наследника. Он стал мне казаться существом сказочным, но близким, ведь он тоже был мальчиком, как и я. Мальчик, а одет, как офицер. И еще то необыкновенно, что его нес на руках матрос. Наверно, так полагаются? И вот я уже о нем рассказывал другим мальчикам, когда стал учиться в гимназии, рассказывал с подробностями, каждый раз все более уточнявшимися. Фантазерство я унаследовал от матери.

О наследнике я расспрашивал отца. «Несчастный ребенок», — пожалел его папа, глядя на меня печальными синими глазами. Я не забыл эти слова. Повторяю, я думал, что так полагается, чтобы матрос нес цесаревича на руках. Когда, по пятницам, я посещал с отцом баню Исаковича, я видел на худом отцовском теле бледно-розовые полосы, которые навсегда остались после ударов казачьих нагаек в 1905 году, и вот бунтовщик пожалел больного царского сына. Ох, недаром Ленин терпеть не мог меньшевиков!

Как давно это было! Мы выписывали «Ниву», некоторые старые номера сохранились в доме и после революции, и я хорошо помню тот фотоснимок, о котором так пронзительно написал Георгий Иванов:

*Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно.
Какие печальные лица
И как это было давно.
Какие прекрасные лица,
И как безнадежно бледны
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны.*

Может быть, в моей памяти остались жить и другие фотоснимки тех в бездну канувших лет, и я соединяю с ними действительно пережитое?

Задумав эти записки, я решил, что буду писать, доверяясь только, по-батюшковски, «памяти сердца», никуда не заглядывая, ни в старые газеты, ни в справочники, даже вот эти строки Георгия Иванова цитирую по памяти. Пусть страницы записок будут палимпсестом моей души, пусть прежние годы сами собой оживут под тем, что начертано годами более поздними.

Мой земляк, который в 1916 году, в день приезда царя, уже заканчивал гимназию, рассказывал мне: царь свернул с Пушкинской на Преображенскую, чтобы помолиться в Соборе. Против Собора выстроилась шеренга любопытствующих гимназистов. Помолившись, царь вышел, закурил, но быстро бросил папиросу на мостовую. Между ним и гимназистами не было никакой охраны. Из шеренги выбежал мой земляк и поднял окурок. Папироса была не фабричная, на гильзе виднелся золотой ободок...

О меньшевизме отца. Он вовлекся в рабочее движение на рубеже двух столетий, сживал в царских тюрьмах, где пристрастился к чтению. Теперь кажется невероятным, что политический заключенный имел возможность в тюрьме читать русских и иностранных классиков, римскую историю Моммзена, популярные книги Рубакина, Мечникова. А еще с воли как-то добирались до арестантов и сочинения Каутского «Экономическое учение Карла Маркса», и более опасные. У отца была могучая память самоучки — он знал наизусть рассказы Чехова, Горького, Куприна, Короленко и даже роман Достоевского «Идиот». Однажды в Киеве ему удалось попасть в тюрьму вместе с родственником (племянником, кажется) сахарозаводчика Бродского, и богатая семья присылала лукулловы обеды всем политическим. Нет, что ни говорите, а такое неразумное государство должно было рухнуть.

После революции 1905 года отец, снова посаженный в тюрьму, а потом отправленный в ссылку в Сибирь, бежал по фальшивому паспорту за границу, стал эмигрантом, жил несколько лет в Париже, научился свободно (возможно, с ошибками) говорить по-французски. Он рассказывал мне: у него заболели зубы, товарищи посоветовали ему обратиться к врачу социал-демократу, живущему, как и они, в Париже в эмиграции. То был Раковский, впоследствии председатель Совнаркома Украины, а при дальнейшем последствии — расстрелянный как троцкист.

Рабочий портновской мастерской обалдел, когда вошел в буржуазную квартиру зубного врача. Товарищ по партии

осмотрел его рот и на ломаном русском языке не то болгарина, не то румына сказал: «Вам надо серьезно лечиться, у меня вам будет не по карману, я вас направлю к другому врачу».

В 1910 году отец вернулся в Россию, женился на моей матери, а когда началась мировая война, постепенно отошел от революционной деятельности, разделяя патриотическую позицию своего божества — Плеханова. Большевиком он терпеть не мог и откровенно высказывал свои чувства в советские годы. Впрочем, он был не оригинален, в нашем переулке, да и во всем городе, жители не терпели большевиков — за редкими исключениями. Отцовскими высказываниями соседи объясняли арест отца летом 1925 года, но они ошибались, дело было не в болтовне: в это время, когда покончили с выходцами из буржуазных партий, стали по всей стране сажать бывших эсеров, меньшевиков, бундовцев, анархистов. Отца поместили в камеру вместе с известным в городе журналистом Соколовским-Седым, чья дочь была первой женой Троцкого. Я привозил им в ДОПР (дом предварительного заключения — такой псевдоним выбрала себе тюрьма) хлеб, халву, пшенку с солью и сифон сельтерской. Мальчишке разрешалось навещать заключенных каждый день. Трамвай двигался по Люстдорфской дороге, он был битком набит крикливыми женщинами, подростками, детьми, жаждущими искупаться у берегов немецкой колонии, и только я один не устремлялся к морю. С трудом протискиваясь сквозь потную и плотную груды тел, я выходил на остановке около кирпичных зданий камер и мастерских. А напротив вольно и пусто пылилась и зеленела степь.

От политических заключенных требовали, чтобы они отреклись от своего прошлого. Соколовский-Седой в конце концов сдался, он и отца уговаривал сдаться: «У вас маленькие дети, на стороне большевиков не только сила, но и историческая правота», но отец стоял на своем: «От политической деятельности отошел давно, но в ней не раскаиваюсь, я сторонник Плеханова и Каутского». Вскоре он остался в камере один, Соколовского-Седого выпустили. Ничего не знаю о его дальнейшей судьбе. Отца, просидевшего около полугода, тоже выпустили, взяв с него подписку, что он впредь не будет заниматься политикой.

Это произошло на пятом в нашем городе советском году. До этого, как известно, власти у нас менялись часто. При Деникине мне удалось поступить в старший пригото-

вительный класс пятой гимназии. Я выдержал экзамены на все пятерки — иначе я вряд ли попал бы в гимназию. Готовил меня мой дядя Абрам, занимавшийся репетиторством; он давно окончил частную гимназию, но в университет поступил тогда же, когда я в гимназию, ему было далеко за тридцать. Осенью 1941 года его убили немцы где-то под Новороссийском. Как репетитор он пользовался уважением, недурно зарабатывал. Я ему обязан еще и тем, что он научил меня основам русской версификации, и я уже в детстве мог отличить не только ямб от хорей, но и амфибрахий от анапеста и дактиля.

Гимназия помещалась далеко от нашего дома, в полчасе ходьбы, и по той же Пушкинской улице я шел вплоть до Новорыбной, в конце которой, около Земской, поближе к морю, виднелось справа до сих пор меня волнующее многоэтажное серое здание. Пятую гимназию, с присущей ему художественной точностью, описал Валентин Катаев, там преподавал его отец, там он и сам учился, конечно, задолго до меня. Среди моих друзей есть такие, которые считают меня образованным человеком, это ошибка, просто все одичали, однако должен сказать, что если я что-нибудь знаю, то это благодаря тому, что я проучился полтора года в гимназии, а когда пришли и прочно утвердились большевики, то в новой, советской школе остались прежние учителя, мы еще долго учились по старым учебникам, даже латынь у нас ликвидировали не сразу, а лишь тогда, когда от голода умер преподаватель.

Я любил свою гимназию, любил метлахские плитки длинного зала, высокие окна в сад, высокие классы, до которых доходил шум поездов, — вокзал был близко, любил учителя словесности Петра Ивановича Подлипского, стройного, седого, но еще не старого статского советника с орденом на сюртуке — говорили: Станислава второй степени. Зажмурив глаза, он читал нам Полонского, — помню его молодой, высокий голос, — «Думы с ветром носятся, ветру не догнать». Он преподавал и в советское время и выделял меня из гущи учеников, потому что я с чувством и разумением декламировал на уроках стихи Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Никитина.

Еще я любил подниматься в гимназии на второй и третий этажи, где учились старшеклассники, уже разделенные политическими убеждениями, и на самый последний, четвертый этаж — его занимала церковь св. Алексея: так, ска-

зали мне, она была названа в честь наследника. По большим праздникам там молились и жители соседних домов.

Я забыл, как она была устроена, помню только странное для мальчика, выросшего в многонациональном городе торговли, мореплавания и ремесел, чувство благоговения и неосознанного умиления, которое нежно овладевало мной в гимназической церкви. Точно такое же чувство, всегда свежее, я испытывал потом в других церквях — и в Соборе (он уничтожен) на Преображенской рядом с домом Попудова, и в костеле на Екатерининской, с его яркостью и живой наглядностью изваяний, и на той же Екатерининской в греческой церкви с витражами на евангельские темы, и в католическом храме св. Петра на Гаванной, который, направляясь по спуску к морю, посещали француженки-модистки и пузатые виноделы и кондитеры, и в кирхе на Новосельской, в которую важно, с сознанием своего превосходства богатых, набожных крестьян вступали целыми семьями окрестные лютеране, а в более поздние годы — в калмыцком хуруле, где старенький, изнутри светящийся отрешенной добротой гелюнг подарил мне маленького Будду-Майтрейю, чтобы мне была помощь в работе над переводом священного эпоса, и в мечетях Самарканда и Бухары, и в бурятском дацане, и, наконец, в индуистских храмах в Дели, Мадрасе, Калькутте. Бог в этих храмах был тот же, что и в синагоге, тот же, что и во мне, но в синагоге я жил дома, а в тех храмах я был в гостях у приветливых, благочестивых хозяев.

Кроме преподавателя русского языка моим покровителем в гимназии был батюшка Василий Кириллович Флоря, по происхождению молдаванин. Я посещал его уроки Закона Божьего, хотя был от них освобожден. Ему была по душе моя детская религиозность. Я продолжал с ним дружить, когда стал московским студентом, и по-прежнему, как в детстве, бывал у него в доме на улице Петра Великого, недалеко от кирхи и консерватории. Был он небольшого роста, худенький, всегда улыбающийся, на морщинистом личике жгуче выделялись выпуклые цыганские глаза, волосы у него были длинные, но редкие. В конце первой мировой войны рядом с его квартирой, во флигеле, в глубине двора, поселилась семья евреев-беженцев из Галиции, там был мальчик по имени Цаля, который через чердак забирался на крышу основного дома и плясал на самом краю ее, к ужасу прохожих. Василий Кириллович бранил его басурманом. Когда при петлюровцах в городе ожидали погрома,

Василий Кириллович прятал Цалю у себя, Цаля этого не забыл и, когда вырос, приносил дошедшему до полунищеты Василию Кирилловичу деньги под православные праздники, а то приводил живого индюка: отец Цали при изпе разбогател.

Будучи московским студентом, я в пору каникул снабжал Василия Кирилловича книгами, которыми тогда увлекался: изданными до революции сочинениями Хомякова, Данилевского, Бердяева, Булгакова, Мережковского, Гершензона. Батюшка внимательно их читал, делал выписки, ему кое-что нравилось, но суждения его были скорее отрицательными: «Все хотят обосновать, у протестантов научились, головой веруют, а не сердцем. Вот Хомяков верует сердцем, на других не похож».

Приехав в 1933 году на каникулы, я, как всегда, пришел навестить его, но в квартире жили уже другие люди, Василия Кирилловича отправили, как мне сказал Цаля, учившийся в мореходке, на Соловки, там он и погиб. Не знаю, что стало с матушкой и тремя их рослыми, в мать, длинно-косыми дочерьми, они вынуждены были переселиться на окраину города, в самый конец Градоначальнической, Цаля их перевозил, дал мне их адрес, но я поленился к ним пойти, объясняя самому себе это тем, что я мало с ними общался. Мой грех.

Моим гонителем в гимназии был преподаватель истории Игнатий Кузьмич Лысяк — несмотря на то что я увлекался его предметом, старательно учился (я хорошо учился в средней школе и посредственно в высшей). Игнатий Кузьмич во время занятий зло смеялся над тем, что я, посещая уроки Василия Кирилловича, одновременно, после гимназии, хожу в хедер, — не знаю, как дошли до него эти верные сведения. Не думаю, что я был очень наблюдательным мальчиком, но я заметил, что, когда в городе властвовали французы, немцы (австрийцы) или — недолго — большевики, Игнатий Кузьмич ко мне не придирался, но стоило город занять добровольцам или одной из украинских банд, как житья мне от него не было. Его предмет, историю, мы изучали по учебнику Иловайского, того самого, на дочери которого был женат первым браком отец Марины Цветаевой... Учебник начинался словами: «Наши предки славяне...» — а в классе наряду с украинцами, русскими, поляками сидели сыновья армян, греков, немцев, караимов и два еврея — я и Дуська Гренадер, впоследствии майор НКВД по строительной части. Лысяк меня невзлюбил еще с того

дня, когда я поступал в гимназию. Главный экзамен принимали сразу три преподавателя — русского языка, истории и Закона Божьего. Я должен был прочесть наизусть стихотворение «с выражением», назвать коренные слова (то есть с буквой «ять»), ответить на вопросы, связанные с историей, — стихотворения подбирались экзаменаторами соответствующим образом. На мою долю выпала пушкинская «Песнь о вещем Олеге». В начале дело пошло хорошо. Стихотворение прочел «с выражением» и коренные слова назвал правильно, четко ответил и на вопрос батюшки — кто был Олег, почему у него неславянское имя. Игнатий Кузьмич, пододвинув верхней губой густые усы к изогнутому и заостренному гоголевскому носу, как будто в рот ему попала какая-то кака, спросил:

— Не попытаетесь ли вы нам объяснить, почему Пушкин назвал хазар неразумными?

Я не ограничивался Иловайским, жадно читал купленные мне отцом (вместе с ним читал) книги по истории древних и средних веков, хазары будоражили мое воображение, так как были единственным послебиблейским народом, принявшим иудейство, я сумел ответить на вопрос довольно подробно. Но Игнатия Кузьмича я раздражал своим существованием, — это было ясно всем. Он задал новый вопрос:

— Может быть, вам известно название столицы хазарского царства и где она была расположена?

В учебнике об этом не было ни слова. Я не смутился:

— Столицей хазарского царства был город Итиль. И Волгу хазары называли Итилем. Город помещался между нынешними Астраханью и Саратовом.

— Хорошо вы зубрили. А на каком языке разговаривали хазары?

— Тут-то он меня поймал. Ответить «на хазарском» было опасно, я, девятилетний, угадал ловушку и признался:

— Не знаю.

Тем самым отрезал себе дорогу в гимназию. За меня заступился батюшка, сказал историку:

— Нельзя так.

Историк вывел меня пятерку.

Я не случайно написал, что хорошо помню синагогу на Пушкинской в глубине обшарпанного двора. Синагог было много, все не упомнишь, да еще такую невзрачную, но дело в том, что под нею помещался мой хедер.

Улица была названа Пушкинской потому, что Пушкин на ней жил, недалеко от моря, от молодого порта, по которому властно расхаживал бывший корсар Марали и куда, то-то радость, на южных кораблях прибывали устрицы. Пушкин жил недалеко от знаменитой ныне Дерibasовской, да, в сущности, и от Садовой, от Ришельевского лицея, где впоследствии учился его младший брат Лев. Дом, в котором жил Пушкин, сохранился, правда перестроенный еще в конце прошлого века, здесь долгое время действовал филиал украинского Союза писателей. Пушкин, надо думать, прогуливался по улице, но вряд ли доходил до моего заветного квартала, а тем более дальше, до того дома, где в мое время были бедная синагога и хедер, хотя и этот дом весьма старый, середины девятнадцатого столетия. Я полагаю, что в те годы город обрывался близко от того места, где жил Пушкин, а дальше простиралась то многозеленая, то выгоревшая, голая степь.

Ворота двора, который я собираюсь описать, пусть бегло, были низенькие, улица опускалась к ним примерно на пол-аршина. Двухэтажное приземистое здание, выходящее на улицу, казалось сугубо городским по сравнению с широким двором, чья пыльная земля по-деревенски обнажалась, кое-где прикрыв наготу булыжником, а флигельки вокруг были, в сущности, сдвоенными или строеными мазанками. Против ворот было другое двухэтажное здание, без входов, без окон, только арка была прорублена в стене, через арку проходили на черный двор, в конце его соседствовали сортир и темный подвал с мусорным ящиком. Слева и справа от арки, со стороны черного двора, взбегали на второй этаж узкие деревянные лестницы в синагогу, одна в помещение для мужчин, другая — в отгороженную часть для женщин. Перед входом в помещение для мужчин имелся так называемый пулэш, вестибюль, что ли, в углу его стояли длинная жесткая метла и ведро, орудия производства Тевеля Винокура, шамеса (служки) синагоги. Он-то и был нашим меламедом (учителем). Его жилище находилось под лестницей и состояло из очень большой, полутемной кухни, служившей одновременно и столовой и спальней для двоих, кажется, детей и светлой продолговатой комнаты со скошенным потолком. Эта комната и была нашим хедером. Комната замыкалась низенькой нишей, в которой едва умещалась двуспальная деревянная кровать со множеством подушек — видно, на всю семью, — а посередине комнаты, почти во всю ее длину, простирался стол без ска-

терти, за которым, склонив головы, сидели ученики — курчавые, стриженные, черные, рыжие — и читали книги справа налево, и лишь изредка поглядывали на стены, на портреты раввинов-богословов, длиннобородых, в лисьих шапках, и только баронет Мозес Монтефиоре, знаменитый филантроп, красовался хотя и в ермолке, но в европейском белом жабо.

Мой отец был против того, чтобы я учился в хедере. Он не верил в Бога. Сам сын меламеда, прекрасно знавший древнееврейский, он ненавидел иудаистскую схоластику. Он уважал и ценил только русскую образованность. Я не могу объяснить свою раннюю упрямую религиозность. Отец был вынужден уступить моему желанию учиться в хедере. К тому же я завоевал его горделивое расположение, став гимназистом: я был во всем околотке единственным еврейским мальчиком — учеником казенной гимназии.

Хедер содержался на средства погребального братства, но Тевель Винокур получал от родителей добавочную плату за обучение детей. Был он высок, рыж, тощ, глаза его постоянно слезились, прикрываясь длинейшими ресницами, бороденка редкая, жалкая. Не по-одесски набожный, он говорил: «Одесса — город грешников, вокруг нее на семь миль пылает ад». Он обходил стол, проверял, читают ли ученики древние слова, за спиной держал в руке ремешок, «кантик», но никого ни разу не ударил, разве что, рассердившись на шалуна или на нерадивого, бил по спинкам нескольких стульев — большинство учеников сидело на табуретках. Вопросы задавал на идише или же, детям из интеллигентных семей, двум или трем, на загадочной смеси польского, украинского и одесско-русского. За столом сидели ученики разных возрастов, от семилетних до тринадцатилетних, одновременно изучали кто букварь, кто Пятикнижие, кто последующие разделы Библии. Никакой методологии не было, нужна была память, и память нешуточная, иные ученики, достигшие тринадцати лет, возраста зрелости, застревали на азбуке, но зато из тех, кто учился успешно, порой вырабатывались личности незаурядные.

Я уже дошел до чтения Пятикнижия, когда в Одессу вступили большевики, на этот раз окончательно. Начался голод, деньги потеряли стоимость, надо было платить Тевелю Винокуру продуктами, а мы сами голодали, и так окончилось мое учение в хедере, и я забыл святой язык, хотя еще после хедера в течение нескольких лет нараспев

читал Пятикнижие и даже одолел, хотя и с трудом, «Сказание о погроме» Бялика.

Три книги, три мироздания вошли в мою жизнь, чтобы я двигался вместе с ними: Библия (Ветхий и Новый заветы), «Илиада» и сочинения Пушкина. Они вместе, для меня нераздельные, составляют солнце моих дней. Собственно говоря, в них заключена моя жизнь, в них я нашел то, что люди называют Красотой, а что есть Красота, как не Истина? И чем больше другие книги приближаются к этим трем, тем ближе они к моим представлениям о Красоте-Истине. Гомер и Пушкин кажутся мне такими же пророками, как и библейские. Мы ничего не знаем о Гомере и, в сущности, очень мало о Пушкине, о его внутренней жизни. Чем больше накапливается фактов о его внешней жизнедеятельности, тем меньше он становится нам понятен. То, что Гомер был слепым, не есть характерная подробность: у многих народов сказители считаются слепыми, — тем самым подчеркивается их внутреннее, боговдохновенное зрение. Зная теперь жизнь Пушкина чуть ли не день за днем, можем ли мы его назвать пророком? А почему же нет? Что нам известно о тех годах, когда Исайе и Иеремии еще не исполнилось сорока? Нет Бога, кроме Бога, и Пушкин — русский пророк Его, и Пушкинская улица — моя на всем моем земном пути.

Меня с детства таинственно притягивали к себе, страстно волновали Бог и история, то есть Бог и его подобия, и не только Бог Ветхого завета, но и трехипостасный Бог Евангелия, и смутное, темное приближение к Создателю чувствовалось мне в пантеонах языческих богов Греции, Ассирии-Вавилонии, Египта, в богах Рима, отчасти заимствованных у греков. Я читал в богато изданных книгах по мифологии, в романах Эберса «Дочь фараона» и «Уарда» о делах и приключениях этих странных богов. А люди? Куда девались хананеяне или хиттийцы (не хетты ли?), филистимляне или эморей? По правде говоря, я и теперь недалеко ушел от поэтических, философских вопросов детства, и ныне меня по-настоящему, сильнее и прочнее всего интересуют, волнуют, влекут, мучают, восхищают, обвораживают только два нераздельных явления — Бог и нация. О них я начал сочинять стихи в семь лет, о них я пишу и в семьдесят, взрослые упрекали мои стихи, когда я был ребенком, в умозрительности, в ней же упрекают меня порою и нынешние друзья.

Впервые такого рода упрек, не понимая его как следует, я услышал от Семена Соломоновича Юшкевича, знаменитого в те времена писателя. Семен Соломонович постоянно жил, кажется, в Петербурге, а в Одессе останавливался у своего брата, Павла Соломоновича, видного философа, меньшевика, знакомого моего отца. Он занимал большую квартиру на Еврейской улице, недалеко от нас. Павел Соломонович осуждал своего прославленного брата за то, что тот был отчаянным картежником, проводил вечера в ресторане при гостинице «Венеция» — за углом, на Александровском проспекте.

Пьесы Семена Соломоновича ставили лучшие наши театры, а его романы, например «Леон Дрей» (в сущности, переделку «Милого друга» Мопассана), читала вся Россия. Он числился во втором разряде знаньевцев, где-то рядом с Чириковым, Зайцевым, Найденовым, Гусевым-Оренбургским. О нем в своих поздних записках с симпатией отзывается Бунин. Его произведения тематически, а не стилистически чем-то предварили «Одесские рассказы» Бабеля, Лев Никулин сложил такую будущую эпитафию-эпиграму на Валентина Катаева:

*Здесь лежит на Новодевичьем
Помесь Бунина с Юшкевичем.*

Столичный писатель пришел к нам в гости в какой-то из осенних праздников, не то на Рош Гашона, не то на Суккот, — помню только пятна нашего черноморского солнца на его серой визитке. Был он крупен, даже тучен, но артистичен, волосы его поблескивали бриллиантином, в глазах — нежность и доброта. При мне он рассказал навсегда мне запомнившееся забавное происшествие, связанное с именем Бунина, перед которым — это видно было даже мне, мальчику, — он благоговел. Иван Алексеевич оставил в «Одесских новостях» рукопись рассказа и уехал. Когда рассказ набрали, два сотрудника нашли грамматическую ошибку. Тогдашний влиятельный редактор «Одесских новостей» Владимир Евгеньевич Жаботинский, впоследствии известный сионистский деятель, учитель Менахема Бегина и других «ястребов», рассердился на сотрудников: «Если два еврея находят ошибку у Бунина, то прав Бунин, а не два еврея». Через некоторое время Бунин прислал письмо в редакцию, вежливо поблагодарил за опубликование рассказа,

но посетовал на то, что, по его вине, в рукопись вкралась ошибка и, увы, повторилась в печати.

Отец велел мне прочесть свои стихи знатному гостю, настоящему писателю. Семен Соломонович выслушал меня внимательно, как взрослого, и сказал примерно следующее:

— Ты чувствуешь размер, это уже кое-что, но у тебя есть неправильные ударения, читай книги вдумчиво, в особенности стихи, ритм подскажет тебе правильные ударения, поменьше рассуждай, описывай то, что видишь, — вот шелковица растет перед вашими окнами, девочка катается по двору на роликовых коньках.

Его устами, как я понял позднее, говорил довольно прочный, но тусклый опыт сборников «Знания», их узкая правота. Я его послушался, сочинял стихи о шелковице и о роликовых коньках, на которых катается стриженная после тифа девочка, и о мастерской, где седые рабочие и подростки-ученики шьют военные мундиры, — ерундовые, конечно, беспомощные стихи, они пропали, как и более поздние, юношеские, за исключением тех, кажется, пятнадцати, которые были помещены в московских журналах. Да и из журналов остались у меня два или три номера.

Возможно, что когда-нибудь в подходящем месте своих воспоминаний я объясню причину пропажи.

Было мне четырнадцать лет, когда я начал посещать литературный кружок учащихся художественной профшколы. В Одессе тогда существовал такой порядок: средние школы были семиклассные, желающим продолжать учение предоставлялась возможность, если они не были детьми лишенцев, поступать в двухгодичные профшколы. Имелись химпрофшколы, металлпрофшколы, электропрофшколы, мукомольные, торгово-промышленная, в которую почему-то устремлялись будущие гуманитарии. Художественная профшкола занимала часть помещения нашей пятой гимназии, ставшей обычной семилетней советской школой. Общие предметы преподавали у юных художников те же учителя, что и у нас, вот почему, не блистая способностями к рисованию и с младых ногтей склонный к консерватизму, я, окончив семилетку, поступил в художественную профшколу, где все мне было знакомо и мило — и классы, и учителя, и чудесный двор, где ранней весной начинала зеленеть меж камешками пахучая киммерийская наша трава, а за забором слышались звонки трамваев, направлявшихся к морю — на Большой Фонтан, в Аркадию. В новой школе я

узнал и новых учителей — руководителей мастерских: живописной, живописно-прикладной, архитектурной и скульптурной.

Во главе живописной, где увлекались чистым искусством, т.е. станковой живописью, стоял художник Михаил Константинович Гершенфельд, человек колоритный. У него была кокетливая походка — вилял бедрами. До революции он прожил несколько лет в Париже, один раз выставлялся вместе с Матиссом (у него дома я видел каталог вернисажа), печатал статьи в «Аполлоне». Я их прочел в нашей Публичной библиотеке, когда после встречи с Багрицким узнал, что собой представляет «Аполлон»: то были крошечные корреспонденции о событиях художественной и театральной жизни в Одессе. В одной из комнат в Доме ученых на Елизаветинской, где происходили заседания Южно-Русского общества писателей, которые, заканчивая школу, я начал посещать, висела картина Гершенфельда — городской пейзаж, написанный в пуантилистской манере. Михаил Константинович читал для учащихся всех мастерских курс истории искусств, начиная его так: «Уже на заре человеческого существования нас восхищают рисунки на кости мамонта». Старшеклассники говорили, что каждый год он произносит одно и то же, заучив свой текст.

Мне это не мешало. Я с благодарностью вспоминаю его лекции. Может быть, они были невысокого качества, но душа мальчика с жарким восторгом узнавала о том, как человек с помощью кисти, резца и чертежных принадлежностей уподоблялся Богу не только обликом своим, но и способностью творить живое, — начиная от человека первобытного до ассирийцев, египтян, греков и римлян, от Леонардо и Микеланджело вплоть до французских импрессионистов и отечественных мирискусников.

В мастерской Гершенфельда занимались только редкие фанатики живописи. Остальные ученики над ним посмеивались, прозвали «французом». Их сместило его виляние бедрами, раздражала его повседневная высокопарность, он казался им человеком вчерашнего дня. Уже будучи взрослым, я познакомился с двумя славными одесситами, оба — профессора, один — медик, другой — историк. Они были ровесниками Гершенфельда и на мой вопрос — знали ли они его — ответили одинаково: пустой, манерный, а художник никакой. Может быть, так оно и было, если учесть единодушное мнение старых ученых и подростков-учеников. Но хорошо сказал один восточный краснобай: «в пе-

щере невежества радуйся и слабому светильнику». Я обязан Михаилу Константиновичу умением любить живопись и даже немного знать ее, а начало любви всегда прекрасно, всегда памятно.

Противоположностью Гершенфельду был руководитель прикладников Леонид Евсеевич Мучник, красавец мужчина, высокий, широкоплечий, эффектно одевавшийся. Увы, он начинал полнеть. Он участвовал в первой мировой войне, был гусаром. Подумать только, еврей — гусар! В одесском музее живописи висит его картина «Подвоз провианта к броненосцу «Потемкин». Глядя на нее, вспоминаешь выражение Пушкина о сонной кисти художника-варвара. Ученики им восхищались, в особенности ученицы. Стоило ему подсесть, чтобы подправить рисунок, к какой-нибудь хорошенькой, рано развившейся, как он начинал тяжело (ученицы говорили: страстно) дышать. Наверно, он был ловким рисовальщиком, но его темперамент не нашел своего выражения в искусстве.

Он был добрый малый. Ко мне он относился хорошо, смотрел сквозь пальцы на то (он это знал), что рисовать обложки, бордюры, обои и прочее мне помогали мои гораздо более способные соученики. С его помощью окончив школу, я получил аттестат 13-го разряда, а самый высокий был 14-й. Он благоволил ко мне потому, что я писал и даже начал публиковать в местной печати стихи: а вдруг из меня получится нечто не совсем серое? Ремесленник, а не художник, он презирал низменное, преклонялся перед возвышенным, нежитейским.

Мастерские Гершенфельда и Мучника, с большими окнами, выходившими на двор, отделялись друг от друга тоненькой, не достигавшей потолка перегородкой. Нам было слышно все, что творится у Гершенфельда, было слышно, как ораторствовал, можно сказать, витийствовал «француз», красноречиво произнося неизвестные имена, вроде Пикассо, Леже, Марке, Штук, а иногда совсем загадочное — Аполлинер. Что это — производное от Аполлона? Прикладники громко, с непонятной злостью его передразнивали. «Замолчите», — приказывал им Леонид Евсеевич, но подмастерья чувствовали, что мастер на их стороне.

Из-за перегородки огрызались, и грубее, повелительнее всех — Шура Мордань, молившийся на своего Михаила Константиновича. Мордань был сыном кузнеца, работавшего на судоремонтном заводе имени Андре Марти. Он был старше меня года на три, самый сильный мальчик у нас

в классе, не раз меня выручавший во время школьных по-
боищ. Он мало читал, отставал по всем предметам (кроме
рисования), но в нем жила та особенная и бесплодная одер-
жимость искусством, которая свойственна цельным, огра-
ниченным натурам. Как оказалось, одержимость еще не
есть талант. Мордань в Москве стал профессиональным
живописцем, членом МОСХа, регулярно выставлялся, но
не стал художником. В школе нас сблизило то, что мы оба
приходили к Михаилу Константиновичу домой, Мордань —
как его любимый ученик и опора, я — ради бесед об искусстве,
о французской поэзии. Я немного понимал по-французски
(научил отец), а Михаил Константинович с неподдельной
очарованностью читал нам Верлена и парнасцев — от него я
узнал это слово.

Да, Михаил Константинович нуждался в опоре! В нашей
художественной школе немало было детей непролетарского
происхождения, особенно непролетарские были почему-то
девочки, и комсомол прислал нам вожака по фамилии
Бердичевский, высокого, худого, патлатого, с воспали-
тельными инквизиторскими глазами. Он быстро учуял, что
среди преподавателей главный враг — Михаил Константи-
нович, он с комсомольским презрением называл его «аскетом»
(хотел сказать «эстет») и начал с того, что запретил
Михаилу Константиновичу читать лекции по истории ис-
кусств как далекие от марксизма и потому весьма вредные,
что ударило нашего «француза» не только по самолюбию,
но и по карману. Я, как редактор стенгазеты, имел право
присутствовать на заседании педсовета и сам слышал, как
долгоносый Робеспьер кричал на Михаила Константиновича:
«Я хочу знать ваше кредо (ударение на «о»), моя задача —
уничтожить вражеское гнездо вашего логова». Остальные
преподаватели молчали — боялись. Бояться научились не
рано и не поздно, а вовремя.

Действительно, как далек был Михаил Константинович,
одесский сотрудник «Аполлона», от комсомольца Бердичев-
ского, тупо возбужденного горячкой классовой борьбы, как
далека была от нескладного парня в кожаной ту-
журке или в черной косоворотке большая, метров, наверно,
тридцать, комната Михаила Константиновича в бывшей
буржуазной квартире на Пушкинской, рядом с домом, где
теперь помещается музей западной живописи (некоторые
ценные картины подарил в свое время музею Михаил Кон-
стантинович), какой элегантный беспорядок был в этой
комнате с высоким лепным потолком, как пахла она крах-

мальной свежестью холостяцкой постели, красками и мужскими духами.

А между тем Бердичевский нашел среди преподавателей и другую жертву — руководителя скульптурной мастерской Марка Луиджи Молилари. Сын скульптора-итальянца, участвовавшего в отделке великолепного здания нашей биржи, Молилари родился в Одессе, никогда не был за границей, но так и не научился правильно говорить по-русски. Он владел одноэтажным домиком на Отрадной улице, самой обольстительной в городе, стены дома были увиты плющом и диким виноградом, посреди дворика (мы его называли «патио») рос широкий платан, под его навесом Марк Луиджи угощал нас, сочувствующих ему учеников, самодельным вином и ругал Бердичевского, называя его проклятым «тедеско», т.е. немцем. Почему немцем? Может быть, он при мне не хотел называть своего гонителя евреем? Или со времен австрийского ига у итальянцев «тедеско» стало ругательством? Лет под шестьдесят, крепкий, загорелый, с большими, сильными руками, всегда в шапочке с помпончиком (он был совершенно лыс), с бородкой, как у испанского гранда, он кричал (он вообще никогда не говорил тихо): «Бельдически! Проклятый тедеско! Он сказал, что я есть фашисто! Я не есть фашисто! Я не есть любитель фашисто! Он сам есть фашисто в черной рубаше! А я есть любитель Джузеппе Гарибальди, а не Бенито Муссолини, который есть кровавая собачка!»

Так он кричал, наливая избранным, любящим его школьникам вино в длинные, узкие кружки из вполне античного кувшина, а близко, рядом, под оползневым обрывом, синел той же античной синевой наш Понт Эвксинский.

Через двенадцать лет после описываемых событий Бердичевского, выгнанного отовсюду, опустившегося, бездомного, арестовали, он исчез в таежной мгле, а Марк Луиджи Молилари и Михаил Константинович умерли достойной смертью в родном городе. Жаль, конечно, Бердичевского, но есть какая-то высшая правда в том, как Господь распорядился судьбой этих трех людей.

А пока нуждался Михаил Константинович в такой опоре, как сын кузнеца Мордань, который с непритворной яростью и порою завидной непререкаемостью необразованного адепта защищал, где только мог, своего учителя. Уж если Мордань чему-то поклонялся, то поклонялся только с яростью, только с непререкаемостью. Вслед за Михаилом

Константиновичем он напал на безобидного старого одесского художника Кишиневскэго, тусклого, милого эпитона передвижников, на талантливых Волокидина и Фраермана, — потому что они третировали Гершенфельда. Став студентом художественного института, Мордань с яростью объявил себя крайне левым, азартно подражал украинскому футуристу Пальмову, потом, когда годы искусства повернулись вправо, он с той же яростью последователя рисовал мирную сирень, утверждая, что Кончаловский — единственный стоящий у нас художник, потом ярость его начинала угасать, из-под его кисти поступали на выставки на Кузнецком, на Беговой, в Манеже банальные большие, скучные картины. Сам он ими громко, непререкаемо восхищался. Впрочем, он был недурным человеком, добрым товарищем. Так, по крайней мере, я думал, пока не наступила пора «Метрополя». Но об этом после.

В школе я подружился, помимо Шуры, еще с Филей, который, хотя и жил в кварталах бедноты, на Молдаванке, был сыном владельца небольшого завода по изготовлению кафельных печей. Сблизились мы, посещая литературный кружок. Однажды Филя прочел в кружке стихотворение, которое поразило всех тщательностью отделки, правда старомодной. Увы, скоро выяснилось, что это стихотворение принадлежит Огюсту Барбье, русский перевод Филя переписал из календаря. О происшествии заговорила вся школа. Филя затрясся в страхе. Не без влияния Бердичевского было решено устроить показательный суд.

У Филя была школьная любовь — красивая шестнадцатилетняя девушка Женя Тарасенко, младшая сестра жены Ильфа, тогда еще неизвестного. Она склонялась было к высокому, сильному, парню из народа Морданю, но однажды, когда мы вместе возвращались из школы, неся в руках эпюdniки и чертежные доски — свои и девушек, — Женя, указывая на Морданя, сказала: «Вот моя симпатия». Мордань ответил: «Уйди, зараза». Он не знал, что означает слово симпатия, думал, что оно оскорбительно. С этого дня положением овладел прихрамывающий, но миловидный и нарядно в отличие от всех нас одевающийся Филя. И вот Женя, повелительно улыбаясь огромными надменными глазами, подошла ко мне во время перемены и властно попросила выступить защитником Филя на показательном процессе. Как отказать такой девушке? Я согласился. Да и за товарища следовало заступиться.

В актовом зале собрались даже те ученики, которые никогда не приходили на занятия литературного кружка. Несколько слов о внешности адвоката. Валя Мироненко, нищий обломок малороссийского дворянского рода, которой я незадолго до суда объяснился в любви, сказала, закуривая папиросу (тогда — для школьницы — чарующая экстравагантность): «Сема, но вы же такой маленький!»

Речь я построил так: да, Филя виновен — выдал за свое стихотворение Огюста Барбье. Но разве стихи, печатающиеся в наших газетах, не похожи одно на другое, как рисунки на обоях? Авторы и не замышляют что-либо присваивать друг у друга, они не списывают, Боже сохрани, но так как они не умеют мыслить, то получается, что все эти многочисленные вирши плетет один человек. Не хотел ли Филя, несколько странным, отнюдь не заслуживающим похвалы способом дать урок этим виршеплетам? Не лучше ли явное, но бескорыстное присвоение чужого, чем скрытое, но корыстное? Поблагодарим же нашего товарища за неумелый, может быть, но поучительный урок.

Дело я проиграл с треском. Бердичевский несколько раз требовал лишить меня слова, называл шутком гороховым. Филе дали строгий выговор и запретили навсегда посещать литературный кружок. Однако же речь моя понравилась большинству собравшихся: я впервые почувствовал слабое, но сладкое дуновение славы. Женя Тарасенко преподнесла мне пышно-махровую центифолию, а преподаватели русского языка Петр Иванович Подлипский и химии — Оганес Александрович Шахдинарьянц (чье имя, отчество и фамилию я себе присвоил, решив выдать себя за армянина, когда в 1942 году на юге попал в окружение) — смотрели на меня более чем одобрительно: они не столько жалели Филю, сколько ненавидели Бердичевского.

Об этом суде заговорили и в соседней (рядом с вокзалом) торгово-промышленной школе, там тоже был литературный кружок, известный среди городских школьников (на его заседаниях иногда выступали профессиональные местные поэты, например Кирсанов, Бондарин). Мы устроили совместное занятие двух наших кружков, я прочел свои стихи, меня похвалили, потому что слышали о моей речи на показательном суде. Успех вскружил мне голову, я решил отнести стихи в главную городскую газету «Одесские известия». Петр Иванович Подлипский одобрил мое решение, выбрал наиболее, по его мнению, подходящее.

И вот я аккуратно переписал мои творения в новенькую тетрадку, на зеленой обложке которой густо чернела голова Троицкого, а под ней изречение: «Грызите молодыми зубами гранит науки», и прямо из школы, никому ничего не говоря, с бьющимся сердцем направился на Пушкинскую улицу, в тот квартал между Троицкой и Еврейской, где вблизи от дома, в котором я родился, помещались «Одесские известия», а также редакции «Вечерней газеты», комсомольской «Молодой гвардии», тонкого журнала «Шквал», редактором которого был заезжий человек, подписывающийся восточным псевдонимом «Суфи», впоследствии известный Петр Павленко, а его заместителем, беспартийной рабочей лошадей, — образованный, умный, сластолюбивый Станислав Адольфович Радзинский, отец ныне заметного драматурга Э. Радзинского.

Все эти редакции переехали сюда сравнительно недавно из старинного — пушкинских времен — дома Вагнера, занимавшего кварталы на Екатерининской и Дерибасовской, и два обширных проходных двора которого своей скрытой от иногородних сельской сущностью спорили с нарядными фасадами, с кокетливыми вывесками кондитерских, с живописными корзинами цветочниц, с уличной франтовской толпой. А здесь, на Пушкинской, помещалась раньше только типография, и, когда я, бывало, проходил мимо, гутенберговский гул казался мне тем же, что, наверно, мусикийский лад лиры для греческих рапсодов, комуз для сказителей киргизского эпоса, вина для поэтов Индии, не декламирующих, а поющих свои стихи.

Я вошел в подъезд. Ворота напротив вели во двор типографии. Слева было парадное. Я поднялся по его ступенькам на второй этаж.

По коридору с показной озабоченностью сновали мужчины в новомодных роговых очках и женщины, сжимающие накрашенными губами (тогда это было не совсем обычно) папиросу. Я застыл, не решаясь задать вопрос — не только вследствие понятной робости, но и потому, что не знал, как вопрос сформулировать. Насвистывая, крутя головой, танцующей походкой подошел ко мне высокий, с несообразно маленьким личиком и большими растопыренными ушами молодой человек и спросил:

— Что ты тут делаешь?

Я выпалил:

— Где ваш редактор?

— Главный редактор? Товарищ Ольшевец? Для чего он тебе?

— Я принес ему стихи.

— Лично ему? Нет? Тогда тебе нужно к консультанту. Много должно пройти лет, чтобы тебя с твоими стихами принял главный редактор. Начни с того, что пойдешь по коридору прямо, свернешь налево, потом направо, упрешься в дверь. Можешь ее смело открыть, не постучавшись, там и сидит консультант.

Так же как и необычное лицо ушастого сотрудника, я навсегда запомнил прокуренные коридоры, завораживающий стук пишущих машинок и ту дверь, которую я открыл без спроса. Я попал в большую, очень большую комнату совершенно без окон. Она мутно освещалась электрической лампочкой. У стен, слева и справа, стояли два длинных конторских стола и два стула. На одном из столов лежал, закрыв глаза, толстый, очень толстый мужчина в сандалиях на босу ногу. Он лежал на спине, держа под головой могучие круглые руки. Напротив двери, через которую я вошел, но несколько наискосок в самом углу виднелась другая дверь. Из-за нее доносился ровный долгий гул. Я открыл эту дверь — и возникла передо мной типография. Вот она, святая святых! Только отсюда путь ведет к признанию, сочувствию, пониманию, может быть, к славе. Мне хотелось войти в типографию, но я понимал, что этот светлый, многооконный зал, шумный и работающий, запрещен для посторонних. Что делать? Я приблизился к спящему. Давно небритый толстяк с некоторым, однако, сонным любопытством приоткрыл один глаз. Несколько минут он молча озирает меня этим глазом. Я прервал тягостное молчание:

— Гражданин консультант, прочтите мои стихи.

Толстяк открыл и второй глаз, взгляд у него оказался добрый. Сойдя с конторского стола, незнакомец, большой, тучный, улыбнулся близоруко и сказал, приятно картавя:

— Какой я тебе гражданин, гы-гы. Так ты пишешь стихи? Для этого надо много прочесть. Вот я прочел много, гы-гы. Впрочем, раз ты уже дефлорировался, начал писать, так ты меня знаешь. Там (он протянул свою атлетическую руку в сторону типографии) набираются мои стихи. Завтра их прочтет вся Одесса. Я — Давид Бродский. Да, да, ты видишь Давида Бродского, гы-гы. Не ожидал?

— Я не знаю, кто вы такой.

— Что же ты знаешь? Ты ничего не читал, ты ничего не знаешь. «Век был двух лет, когда я родился». Это строка Виктора Юго. У нас его называют Гюго. И когда я родился, век тоже был двух лет: 1902 год. Случайность? Совпадение? В поэзии не бывает случайностей. Только поняв это, получаешь право приступить к писанию. Сейчас придет товарищ, которому поручено читать самотек. Черная работа, она не для Давида Бродского, гы-гы. Вот ему ты покажешь свои стихи. Он романтик, а я реалист. Понимаешь разницу?

— Что такое самотек?

— Я же говорю, что ты ничего не знаешь. «Сошли грибы, но крепко пахнет в оврагах сыростью грибной». Это Бунин. Я пишу так же, но новее, нервнее. Ты, конечно, не знаешь имени Рембо.

Я ничего не знал. Я не знал, что Давид Бродский станет моим старшим товарищем, что мы будем с ним вместе жить в комнате под Москвой, в Кунцево, что он познакомит меня с новой французской поэзией, что мне первому он прочтет свой знаменитый и несовершенный перевод «Пьяного корабля» Рембо.

Он закурил и, явно не затягиваясь, направился в типографию, скрылся за дверью. Я остался один в этой странной комнате без окон, на таинственном, незримом, заминированном опасностями рубеже между редакционными разговорами в папиросном дыму и типографскими станками.

И вот появилось новое лицо. Это было необыкновенное лицо! Артист? Художник? Серо-голубые глаза, вдохновенные и насмешливые, птичий нос, спутанные седеющие волосы. Он был высокого роста, слегка сутулился, одетый во что-то летнее, мягкое, кажется, в парусиновые брюки и рубашку. Округлые, женственные плечи. Я подумал про него: одновременно Тиль Уленшпигель и Ламме Гудзак.

Из типографии вышел Давид Бродский.

— Давид, здравствуйте, — сказал вновь вошедший. — На страже, как всегда? — И обратился ко мне, как будто давно меня знал: — У него стишки набраны, так он боится, что в последнюю минуту их выбросят, вот и стережет. Да не волнуйтесь, Дуся, все будет в порядке. Наверно, опять о железной дороге, о бабах, торгующих морошкой на станции. Угадал?

Говорил он певуче, но не так, как у нас на юге, а артистично, распоряжаясь языком нежно, глубоко, властно. Голос у него был немного хриплый. Видимо, вспомнив, что видит меня впервые, спросил:

— Конечно, молодой человек, вы принесли стихи?

Я понял, что это и есть консультант, и вручил ему свою зеленую тетрадку.

Он сел за стол, скрипуче дыша. Хотя волосы его, как я уже заметил, начинали седеть, видно было, что ему лет тридцать, не больше. Почему же он так трудно дышит? Я тогда не знал, что у него мучительная астма.

Продолжая громко и трудно дышать, он довольно быстро перелистал тетрадку и вдруг вонзил в меня птичий недвижный взгляд:

— Вы тут заявляете: «Лишь в движенье мы жизнь постигаем и преобразаемся в нем». Испоганили Гумилева, обокрали его: «Ах, в одном божественном движенье косным нам надо преображенье».

— Я поэта Могилева никогда не читал.

— Могилева? Ой, поцайло! Вы вообще каких-нибудь поэтов читали?

Я обиделся:

— Я читал всех известных русских поэтов.

— Врете. Кого же именно?

Стыдиться мне было нечего. Уверенный в себе, я начал перечислять.

— Кто из них вам нравится больше других?

— Пушкин и Никитин.

— Никитин? Почему Никитин? Ей-Богу, это уже неплохо. Более поздних, современных, вы знаете?

— Читал в газетах. Запомнил Демьяна Бедного и Эдуарда Багрицкого.

— Вот как, запомнили? Кто из них лучше?

— Кажется, лучше Багрицкий. Он очень красиво пишет про море. Не сравнить с Пушкиным и Языковым, но красиво. Зато Демьян Бедный пишет смешнее.

— Да, смешнее. Между прочим, Эдуард Багрицкий буду я.

— Эдя, — вмешался Бродский, — мальчик прав. Устами младенцев. У вас нет юмора. Вот у меня есть юмор, гы-гы. Правда, изысканный, не до всех доходит. Вы заметили, что скрытый юмор есть и у Малларме?

Я смутился. Мне уже в раннем детстве довелось близко видеть настоящих писателей: Семена Юшкевича и великого Бялика. О встречах с Бяликом я рассказал в другом своем сочинении. Но Юшкевич был прозаик, Бялик писал не по-русски. И вот предо мною русский поэт, чье имя часто мелькает в одесских изданиях.

— Давид, — сказал Багрицкий, — не лезьте в серьезный разговор, продолжайте оберегать свой опус.

Он понял мое смущение, но, сердясь на Бродского, спросил и меня сердито:

— Неужели вы никогда не читали Бальмонта, Игоря Северянина, наконец, Есенина? Их обожают вся грамотная и полуграмотная Одесса.

— Я читал поэму Блока «Двенадцать».

— О, об этом стоит поговорить. Ну и что?

— Частушки какие-то. Но есть красивые места.

— Частушки? Биндюжник! Это великая поэзия. Какие же красивые места вы заметили?

— Например: «У тебя на шее, Катя, та царапина свежа».

— Почему это красиво?

— Представляешь себе. Шею видишь.

— Сколько вам лет?

— Скоро пятнадцать.

— Самое время поглядывать на женскую шею. Да, вы перечислили поэтов, которых знаете, от Державина до Аполлона Коринфского, а Тютчева не назвали. Не знаете?

— Еще как знаю. Забыл назвать.

— Можете прочесть что-нибудь наизусть?

Я прочел: «Не то, что мните вы, природа».

Опять неподвижный птичий взгляд, но более внимательный:

— Вы читаете стихи как пономарь. Имеете представление о Дальницкой улице?

— На Молдаванке. Туда идет трамвай от Тираспольской.

— Я хожу оттуда сюда, на Пушкинскую, пешком. Но фраера добираются и на трамвае. Остановка у Джутовой фабрики. Приходите ко мне в воскресенье, часов в шесть, начнем учиться. В вашей тетрадке что-то шелкает, есть слух. Самое дерьмовое стихотворение «Весна». Нечетные строки длинные, четные короткие. Спасибо и за это. Совершенно пустое упражнение. Его и напечатаем. И запомните: в газетах печатают только самые плохие стихи. Забыл спросить: Фофанова вы любите?

— Люблю.

— Клянусь жизнью Давида Бродского, я так и знал...

Я шел по Пушкинской улице, и сердце мое пело. Ноги сами привели меня к дому, где я родился. За окном девушка поливала цветы и, встретившись с моим пристальным и, наверно, тупым взглядом, высунула язык... Сейчас помеще-

ние, в котором я родился, соединено с соседним, и над дверью — небольшая вывеска: детская библиотека номер такой-то имени Э.Г. Багрицкого.

Не стану описывать волнение, охватившее нашу семью, когда все узнали, что мое стихотворение будет напечатано в газете, которую читает весь город, что меня, как взрослого, пригласил в гости поэт, чье имя было известно даже тем, кто стихов обычно не читает. На оценку «совершенно пустое упражнение» никто, даже я, не пожелал обратить внимания — до того ли нам было? Моя тетя Маня, портниха, работавшая в знаменитой у нас фирме Берзона, быстро сшила мне из старой портьеры бархатную блузу. Родители каждый день впивались в «Одесские известия». Нет и нет. Наступила суббота, газета вышла с литературной страницей, но и там нет. Другие вещи есть, а моей «Весны» нет. Поздно вечером прибежала ликующая Маня и, еще не войдя в квартиру, сунула через окно «Вечернюю газету». Опубликована «Весна»! Подпись: «Сема Липкин, учащийся художественной профшколы». Папа с тросточкой с серебряным набалдашником двинулся на Дерибасовскую, в магазин Дубинского, нэпмана-старовера, купил полфунта чайной колбасы и четверть фунта ореховой халвы. Пировали за полночь. Мама сказала: «Он у нас будет академиком науки».

В воскресенье, в бордовой бархатной блузе — под горлом черный бант, — в новых брюках, перешитых из отцовских, я отправился на Дальницкую. Улица оправдывала свое название, ею заканчивалась северная окраина города. Мне дали двадцать копеек на трамвай, туда и обратно, но я решил пойти пешком, как это делал сам Багрицкий.

Несколько лет назад, приехав в Одессу, я повторил этот путь. Он занял у меня два часа. Но тогда я дошел минут за сорок. Багрицкий хорошо растолковал мне свой адрес, объяснил, что живет в доме сторожа футбольного поля, принадлежавшего команде джутовой фабрики. Я до сих пор не знаю, почему он не жил в родительском доме в центре города, на углу Базарной и Ремесленной, где я был у него, когда он, уже знаменитый, приехал в Одессу из Москвы.

Немного отклонюсь от ровного течения рассказа. Мое знакомство с Багрицким состоялось в самый тяжелый год его жизни. Его почти перестали печатать в местных изданиях. Он мне рассказал, как это произошло. Я потом понял, что верить следует не всем его рассказам. Он не чуждался вымысла. Например, в своих стихах он пишет, что во вре-

мя первой мировой войны участвовал (возможно, в качестве вольноопределяющегося) в нашем удачном турецком походе, дошел до Персии, до Энзели, с блеском нарисовал картину двигавшихся по горным переходам пулеметов. В действительности его победоносное шествие оборвалось в Полтаве: он заболел дизентерией и быстро вернулся в Одессу. Однажды он мне намекнул, что служил при Керенском в контрразведке. Правда ли это? Бог его знает и — простит.

Вот его рассказ о тогдашних трудностях — насколько я запомнил:

— Моей кормушкой был «Моряк», есть у нас такая газета. В прошлом году приехал в Одессу Маяковский. То ли Семка Корчик (Кирсанов) ему что-то наплел, то ли сам на меня рассердился, а выступил он на городском партактиве, сказал с издевкой — он умел это делать: «Некий Джордж, или Эдуард, или еще какой-то Вильям, вместо того чтобы стихом помочь черноморцам в их нелегкой работе, печатает в боевом «Моряке» баллады о рыцарях, которые пьют вино «Шабли», а сам, наверно, настоящее «Шабли» не пробовал, пил вино типа «Шабли». И стихи его не стихи, а типа стихов». Клянусь жизнью Севки, никакого «Шабли» в моих стихах не было. Я печатал переводы с английского о благородном разбойнике Робин Гуде. В редакции испугались и вышвырнули меня из «Моряка».

Видимо, Багрицкий если и фантазировал, то в пределах, близких к факту. Сергей Бондарин и Лев Славин, каждый в отдельности, рассказывали мне уже в Москве, что редактор «Одесских известий» Ольшевец, ставший заместителем главного редактора столичных «Известий», объяснил Маяковскому его ошибку, напомнил ему, что еще до революции, чуть ли не в 1915 году, Багрицкий опубликовал в Одессе стихотворение, в котором приветствовал молодого Маяковского, и Маяковский, пожалев безвестного собрата, дал как-то знать одесскому идеологическому начальству, что был не прав, когда напал на Багрицкого, и материальное положение Багрицкого улучшилось.

Все же я не думаю, что Маяковский симпатизировал творчеству Багрицкого. Я присутствовал на вечере Маяковского в Политехническом. Поэту задали вопрос — как он относится к Багрицкому. Ответ Маяковского: «Он лучший из красновивских». В то время приложением к «Известиям» выходил тонкий журнал «Красная нива», в котором, как правило, печатались посредственные стихи.

Так это было с Багрицким или не совсем так, но в тот памятный день я попал в дом нищего. Под косым майским дождиком я прошел, как мне было указано, мимо мазанок, мимо начинающих цвести калачиков мальвы, мимо заборов, на кольях которых висели вверх дном глечики, и приблизился к строению вроде сарая, но довольно высокому. Я постучался, ответа не последовало. Я открыл дверь — и ничего не увидел: так было темно в этом сарае. Я сделал несколько неуверенных шагов и вдруг услышал:

— Болван, вы прете на корыто.

— Здравствуйте, — с облегчением, без обиды сказал я, узнав этот певучий голос с хрипотцой; но еще никого и ничего не видя. Постепенно мои глаза привыкли к темноте. Посредине потолка был фонарь, которым освещалось помещение, он протекал, потому-то поставили под ним корыто. Обстановка: кухонный стол, он же и обеденный, несколько стульев разной формы и крепости, две железные узкие кровати в одном углу, а в другом — покрытый клетчатой шалью матрац на топчане, шкаф с выломанной дверью, прислоненной рядом к стене, кирпичная плита, обмазанная синей известкой, около которой возилась молодая женщина в очках, — худенькая, не по-городскому румяная, как я потом заметил. Это была Лидия Густавовна, жена Багрицкого. Мальчик лет четырех-пяти, тот самый Севка, именем которого любил клясться Багрицкий, играл на кровати сам с собой в самодельные шашки. Около его кровати стояли у стены камышовые удочки и какой-то предмет в чехле, как оказалось — охотничье ружье. Мальчик на меня не взглянул, углубившись в игру. Он, видимо, тогда еще не был тем буяном, которого я через несколько лет встретил в Кунцево. Возле топчана возвышались, один на другом, два больших ящика, кажется из-под папирос, в них виднелись книги, а на верхнем лежали длинные обрывки-полосы газетной бумаги и огрызки карандашей.

Начался чудесный вечер. Багрицкий мне читал стихи. Не свои. Его голос до сих пор звучит во мне «Шагами Командора» Блока, «То было на Валлен-Коски» Анненского, «Коллежскими ассессорами» Случевского, описанием концерта из «Первого свидания» Белого, «В разноголосице девического хора» Мандельштама. «Этими строками Мандельштама, — сообщил Багрицкий, — я лечу свою астму. Помогает».

Он ничего не объяснял, ни к чему не приковывал мое внимание, он только читал, и его радость от прочитан-

ного — думаю, единственная радость его жизни — стала для меня наилучшей наставницей. Серебро двадцатого века так ослепило меня в темном сарае на Молдаванке, что потускнело (на несколько лет!) в этот вечер золото девятнадцатого.

— Мальчик, — неожиданно резко прервал себя Багрицкий, — сорвите с себя этот мещанский бант, вы же не актер без ангажемента, без гроша в кармане. Кстати, а есть гроши?

— Мама дала мне двадцать копеек на трамвай. Но я пошел пешком.

— Лида, у него есть двадцать копеек, и он любит шпроты. Вы же с ума сходите от шпрот (это ко мне). Лида, купи босяку шпроты.

Лидия Густавовна посмотрела на меня с ненавистью.

— Эдя, двадцати копеек не хватит на банку шпротов. Ты отлично знаешь. Да и как я в дождь доберусь до Степовой.

Я залепетал:

— Я вовсе не люблю шпроты. Я не знаю, что это такое. Эдуард Георгиевич шутит. И назад я хочу поехать трамваем, уже поздно.

Багрицкий твердо стоял на своем:

— Он врет. Он с раннего детства обожает шпроты. Избалованный одесский ребенок. Кошмар! А дождь прошел, слышишь, Лида, корыто замолчало. Клянусь жизнью Севки, у тебя припрятаны два гривенника. Хватит на шпроты для этого гурмана.

Лидия Густавовна, от гнева еще больше раздумываясь, глядя черными глазами, сердито и остро поблескивающими из-за очков, накинула на себя покрывавшую топчан клетчатую шаль, взяла у меня двадцать копеек и, злая, отправилась за шпротами. Кстати, до Степовой, главной улицы Молдаванки, было довольно далеко.

Багрицкий достал из нижнего ящика несколько тоненьких книжек:

— Теперь я вам прочту Гумилева, чтобы вы его больше не путали с городом из черты оседлости. Четыре года назад Петроградская Чека его расстреляла.

— Как Андре Шень?

— Вот-вот. Бойтесь этого поэта. Гумилев так завораживает, что вы теряете самого себя. Я сам только недавно вырвался из его колдовского плена. Помните «Страшную месть» Гоголя? Поверьте мне на честное слово, что Гумилев такой же колдун, какого описал великий хохол, равного

которому я не знаю никого в мировой литературе. Гумилев создавал, что в нем есть нечистая сила: «Милый мальчик... на, владей волшебной скрипкой и погибни славной смертью, страшной смертью скрипача».

Он начал чтение с «Капитанов». Господи, милый Бог, что со мной стало! Какие необыкновенные слова я услышал в этом нищем сарае на нищей, жалкой городской окраине! «Арабы-скитальцы, искатели веры, и первые люди на первом плоту». А какие удивительные рифмы — «обнаружив — кружев», «области — доблести», «хартий — карте». Таких слов, таких рифм не было у тех поэтов, которых я знал. А «Заблудившийся трамвай»? «Остановите, ваговожатый, остановите сейчас вагон!» Я даже такого слова не слышал — вагоновожатый, у прежних поэтов его было, не могло быть, а в Одессе водителя трамвая почему-то называли «ватман».

Разумеется, Багрицкий понял, что со мной происходит. Он так и задумал. Воткнув свои толстые пальцы с длинными пушкинскими ногтями в мою густую шевелюру, он сказал:

— Я вам дарю «Жемчуга», «Колчан» и «Огненный столп» — последнюю, лучшую его книгу. Я не хочу их держать у себя. Хватит. Мне с ними душно. Я хочу дышать свежим, соленым ветром новой жизни.

Вернулась Лидия Густавовна, молча и гневно скинула с себя шаль, сделала второй бросок — и на кухонном столе появилась банка шпротов. Оказалось, что эти консервы продавались вместе со вскрывательным ножичком. Багрицкий с какой-то лихой жадностью присел к столу и быстро опустошил всю банку — без хлеба. Потом спросил у меня:

— Правда, вкусно?

Молчавший все время Севка, вдруг оторвавшись от шашек, сообщил:

— Все сам сожрал.

Что это было — детское озорство Багрицкого? Однажды, уже в Кунцеве, он мне сказал:

— Сейчас ко мне придет хлопчик из богатой московской семьи, сын адвоката. Пишет стишки. Обещал привезти альбом неслыханных марок.

Вскоре приехал золотоволосый подросток лет шестнадцати, будущий известный стихотворный писатель Долматовский. Он действительно привез альбом с марками. Я заметил: Багрицкий, рассматривая альбом, поддевал длин-

ным ногтем понравившуюся ему марку, и та падала под стол. Что это — тоже озорство?

А шпроты? Но что мне эти шпроты? Что мне земная пища, когда мне щедро подарена небесная! По совету Багрицкого, я сорвал с себя бант и перевязал им три гумилевских книжечки. Я возвращался домой по безмолвным улицам полуночной майской Молдаванки, порой сверкали запоздалые, недоступные для меня трамваи, а в душе сиял другой, не электрический свет, сияли музыка и счастье.

Предсказание Багрицкого сбылось. Несколько лет я жил, заколдованный Гумилевым. Конечно же я выучил все три книги наизусть, иначе и быть не могло, я читал Гумилева всем знакомым и полужанкомым.

Гумилев долгие годы находился у нас под запретом, да и сейчас в печати его имя упоминается кисло и нехотя, поэтому исследователи обдуманно не замечают его огромного воздействия на советскую поэзию. Если у Маяковского советская поэзия заимствовала его беспрекословную, не рассуждающую подчиненность, служебность Государству, его приземленность, его фельетонную, плакатную броскость, схоластику мышления и лишь некоторые — считанные — взяли на вооружение его великолепную версификацию и опять же плакатные, резкие изобразительные средства, то Гумилев привлек к себе советских стихотворцев воинской мужественностью, ясностью, наглядностью деталей, блеском классически-прозрачного стиха. Тихонов, Саянов, Сурков, Симонов и множество менее известных — подражатели Гумилева. Для них благородный стиль Гумилева то же самое, что греческие колонны для сталинской архитектуры. Я хорошо помню, что для интеллигентных группок начинающих стихотворцев моего поколения наиболее привлекательными из числа старших современников были не Ахматова, не Мандельштам, не Кузмин, не Ходасевич — их понимали и ценили единицы, — а гораздо более левые Пастернак, Сельвинский, Цветаева, чей голос доходил из-за рубежа, и рядом с ними — Гумилев. Не случайно Маяковский в сентябре 1929 года заявил в своей речи на втором пленуме РАППа: «Говорят относительно поэтессы Цветаевой: у нее хорошие стихи. Это полонщина (поэт имеет в виду своего противника — критика В.П. Полонского, того, кого РАПП ненавидел — и съел), которая агитировала за переиздание стихов Гумилева, которые «сами по себе хороши». А я считаю, что вещь, направленная против Сов. Союза, направленная против нас, не имеет права на

существование, и наша задача сделать ее максимально дрянной и на ней не учить».

Между прочим, у Гумилева нет ни одной строки, «направленной против Сов. Союза». Маяковский произнес эти слова за полгода до самоубийства, он с острой болью чувствовал, что теряет уважение, интерес к себе и уже не в силах кощунственно «сделать максимально дрянной» поэзию тех авторов, коих любили, ценили знатоки, пусть весьма немногочисленные.

Еще раз забегу далеко вперед. В 1949 году арестовали моего приятеля Р.Д. Морана, журналиста и переводчика. Ему дали восемь лет, но отсидел он только пять благодаря зачетам: последние каторжные свои годы он работал слесарем на строительстве Волго-Донского канала. Вернувшись, он мне рассказал, что на Лубянке ему предложили прочесть показания Павла (фамилию не называю, может быть, еще жив), нашего сотоварища по одесскому литературному кружку, ныне члена Союза писателей. Вызванный по делу Морана как свидетель (чего?), он показал, что «Моран — друг Липкина, который в молодости, в Одессе, пропагандировал стихи белогвардейца Гумилева, расстрелянного советской властью». В каком-то смысле доносчик не соврал. Он и сам полюбил Гумилева, услышав от меня его стихи.

Сейчас в моих глазах Гумилев не высится в первом ряду поэтов двадцатого века, в том ряду богов, в котором я вижу Анненского, Ахматову, Блока, Бунина, Мандельштама, Пастернака и Ходасевича. Гумилев принадлежит к полубогам. Но в те начальные мои годы, когда Багрицкий, умно и увлекательно объяснял мне истинность, красоту, значительность этих поэтов, да и других, мне незнакомых, — Бенедиктова, Случевского, Кузмина, Клюева, Нарбута, — долго еще Гумилев оставался для меня самым дорогим.

Багрицкий, открывший мне Гумилева, только и делал тогда, что его развенчивал. У меня до окончательного отъезда Багрицкого в Москву было с ним несколько встреч. Один раз он пришел ко мне в школу на Новорыбную и, с разрешения директора, увел меня с уроков. Мы двинулись к Отраде, по ближайшему пути к морю. Шли молча, он только спросил: «Завтрак захватили?» Миновали Уютную — и из мира замкнутого перенеслись в беспредельный. Далеко внизу волшебноплотно синело, колдовало море. Я начал спускаться по узкой, покрытой древней пылью тропинке, но что-то заставило меня оглянуться. Ба-

грицкий, задумавшись, стоял наверху, на смеси пыли и сухой травы. Он сказал:

— Спуститься просто, спуститься — мне цены нет. А вот как потом подняться?

Слова эти меня удивили. Я забыл о его астме. Только через несколько лет, когда жестокой астмой заболел мой отец, утратил работоспособность, двигался с трудом, всегда согнувшись, я понял, как мучился Багрицкий.

Может быть, астма — одесская болезнь? Страдал же ею Бабель, но был разумен, регулярно лечился, а Багрицкий запустил свою болезнь и так рано умер — его свалило воспаление легких...

Все же мы спустились к морю: я уговорил Багрицкого, предложив назад вернуться через Ланжерон, там не такой крутой подъем.

На берегу было пустынно, как всегда в Одессе в мае. На террасе над берегом пограничники в трусах гоняли мяч. Жирные чайки горланили, как греки в кофейне. От моря исходил тот странный, трудно обозначаемый запах, которым, наверно, пахла Вселенная, когда она создавалась. Багрицкий отбросил сандалии, снял рубаху, но остался в брюках. Тело его отличалось какой-то нездоровой белизной. Я поплыл. Вернувшись, я начал с моря обдавать Багрицкого солеными, еще холодными брызгами, как бы зазывая его к себе, к волнам. Багрицкий подрагивал рано полнеющими, болезненно-белыми плечами, сердился. Вскоре выяснилось, что певец моря не умеет плавать.

Я лег с ним рядом на теплый песок. Он неожиданно признался, что пишет поэму об украинце-хлеборобе, который дезертировал из красноармейского отряда и попал к Нестору Махно — как раз тогда, когда батя, после совместных действий с Красной Армией, внезапно повел свою орду против сил Котовского.

— Я пишу эту вещь в стиле Шевченко, — сказал Багрицкий. — Силлабический украинский стих не удастся русским переводчикам, даже такому, как Сологуб. Я докажу, что силлабика может отлично звучать по-русски. Послушайте.

Он прочел мне изумительные строки об Устинье, жене Опанаса. В прославленную «Думу про Опанаса» эти строки не вошли. Кажется, Устинья — действующее лицо в либретто оперы, написанном Багрицким впоследствии по мотивам «Думы». А в прочитанной мне главке Устинья собирается рожать, когда на Украине бушует гражданская вой-

на, мужа нет, он воюет где-то далеко, крестьянка не хочет, боится рожать в такое время, кричит, просит: «Рушником вяжите груди».

Теперь Багрицкого начинают забывать. Когда-то один из самых ценимых и популярных поэтов (впрочем, Ахматова и Мандельштам и в те времена высказывались о нем пренебрежительно), он перестал интересовать молодых стихотворцев и стихолобов. Всем существом своим стремясь идти в ногу со временем, он не понимал, куда идет время. Он сочинил немало дурных стихов. Сначала в родовых муках он освобождался от эпигонского южного акмеизма, потом (повторю выражение из своих стихов) «впрыскивал в себя самообман». Но я уверен, что «Думе про Опанаса» и, может быть, десятку его стихотворений суждено жить в русской литературе. А это немало. Никто так, как Багрицкий, не описал в стихах трагедию украинского крестьянина, обманутого всеми режимами. Есть в «Думе» мелкие неточности, паникадило спутано с кадиллом, вряд ли пажить, т.е. пастбище, «свищет житом», т.е. рожью, но зато в этой поэме столько пленительных картин, столько музыки, столько строк, ставших крылатыми. В молодости я знал ее наизусть и умел читать, подражая хрипловатому, задышающемуся и в то же время певучему голосу Багрицкого.

Между прочим, Катаев, чья память всегда отличается точностью, как-то сказал мне, что сравнение цвета коня с рафинадом подарил Багрицкому он. В этом сравнении чувствуется склад крестьянского украинского ума — сахарных заводов на Украине было много, а сахар стоил дорого, был в хате редкостью:

*Жеребец под ним сверкает
Белым рафинадом.*

И еще один раз он взял меня с собою на прогулку. Мы пошли с ним на «охотничий рынок». Не помню, где он помещался, запомнил только, что мы прошли до самого конца Нежинской, пересекли Конную. Меня поразило, как он хорошо знает птиц. Он подводил меня к клетке и называл: «Вот щеглы, вот снегири, вот сизари, турманы, воркуны». Он долго стоял около голубей, хотел купить, но денег ему не хватало, а уйти от птиц не было сил.

Вскоре после нашего знакомства Багрицкий уехал в Москву. Через несколько лет он мне рассказывал:

— Приехал из Москвы Валька Катаев. Он пришел ко мне на Дальницкую и сказал: «Эдя, едем в Москву. Там тебя ждут. Я купил тебе билет. Собирай вещи». А какие у меня вещи? Я взял клетку со щеглом.

Он поехал навстречу славе.

«Дума про Опанаса» была напечатана в сокращенном виде Иосифом Уткиным в «Комсомольской правде» и полностью в «Красной нови» Александром Воронским. Тут мне вспоминается такой эпизод. Багрицкий уже как-то пробовал, еще в 1923 году, поехать в Москву за славой, и, казалось бы, небезуспешно. Воронский опубликовал стихотворение провинциального поэта в «Красной нови». Однажды (пересказываю Багрицкого), когда он сидел в кабинете редактора, вошел туда Есенин. Воронский представил ему Багрицкого, сказал: «Вот, собираем литературные силы, товарищ приехал из Одессы, мы его напечатали», — и показал Есенину свежий номер журнала. Есенин прочел стихотворение, небрежно заметил: «Здесь нехорошо «земля рас-солóдела», нужно «рассолóдела». Багрицкий возразил — мол, его ударение правильное. «Зачем спорить, — решил помирить поэтов Воронский, — заглянем в Даля». По словам Багрицкого, Даль подтвердил его правоту. «Что он понимает в русском языке, этот жид», — будто бы сказал Есенин о Дале.

Выслушав рассказ Багрицкого, я пошел в нашу Публичную библиотеку на Херсонской, взял четвертый том Даля, — впервые взял в руки словарь. Прав оказался Есенин. «Разсолóдеть» — утверждает обрусевший датчанин.

Как я мог убедиться, Багрицкий в своих литературных симпатиях или антипатиях никогда не исходил из соображений личного характера, но, может быть, после этого эпизода он невзлюбил поэзию Есенина? Он очень любил Клюева, но посмеивался над крестьянскими поэтами, называл их «Из альманаха «Анадысь»».

Знакомство с Далем, совершившееся столь случайно и перешедшее в постоянное, излюбленное чтение, дало неожиданно сильный толчок уже зарождавшимся во мне намерениям. Хотя я говорил без одесского акцента, хотя мой собственный словарь благодаря хорошему слуху и не только молитвенному, но и пытливому чтению русских классиков был не беден («У Семы идиотическое чувство русского языка», — позднее скажет обо мне Багрицкий) — я понимал, что настоящую, живую, богатую и чистую русскую

речь услышу не здесь, на пестром многонациональном юге, а в России. Я должен жить и учиться в России.

Не помню, когда Багрицкий навсегда переехал в Москву. Я окончил среднюю школу, стал усердно посещать литературные кружки и объединения — «Станок» при «Одесских известиях», «Молодую гвардию» при губернской комсомольской газете того же названия, Южно-Русское общество писателей, странно и глухо доживавшее свои последние дни, «Перевал», ничего общего не имеющий с московским. Но Багрицкого я не забывал, мысленно продолжал читать ему свои юношеские произведения, мысленно конструировал его мнение о них.

Он научил меня понимать прекрасное и распознавать уродливое. Его наставничество сводилось к следующему. У скульптора есть нечто существенное — глина, мрамор, у живописца — краски, а у поэта нет ничего материального, только слово, звук, а ему, поэту, надо создавать живое — дерево, птицу, зверя, облако, человека, создавать из ничего, из слова. Между тем слово — это все. Вот почему, добавлял Багрицкий, мы должны поступать по совету Кольриджа: расставить наилучшие слова в наилучшем порядке. Теперь я понимаю, что Багрицкий упрощал дело, приравнивая к пониманию подростка, но само дело было хорошим, полезным. Тогда я не знал, что сравнение поэта со скульптором и живописцем Багрицкому подсказал Баратынский, позднее Брюсов.

Я много пишу о Багрицком не только потому, что с ним связаны годы моего отрочества и юности. Так же как не случайно то, что его ценили знатоки и Государство, не случайно и то, что теперь от него отступили знатоки, а Государство толком не знает, как с ним быть. Во время борьбы с космополитизмом критик Тарасенков объявил «Думу про Опанаса», до этого блиставшую в «золотом фонде» советской поэзии, произведением сионистским, нападают на Багрицкого и нынешние черносотенцы. Его характер я как-то попытался очертить в небольшой поэме «Литературное воспоминание». У меня впоследствии в Москве, в Кунцево, были с ним жестокие споры, порою кончавшиеся, хотя и непродолжительными, разрывами. Я кричал (да, кричал) на него, когда он решил вступить в зловонный гадюшник РАПП, — я не хотел понять, что туда его толкали материальные трудности, надежда (сбывшаяся) получить постоянное жилье в Москве вместо снимаемой им половины избы в Кунцево, где не было самых необходимых удобств,

особенно необходимых человеку больному. Все дурное отошло, а хорошее живет во мне поныне. Две вещи я буду помнить всегда: то, что Багрицкий был поэт, и то, что он научил меня азбуке прекрасного. Главная черта этого блестяще-талантливого и безвольного до безнравственности человека — обожание поэзии. Именно — обожание. Мысль о том, что «поэзия есть Бог в святых мечтах земли», никогда не была для него крылатой фразой Комознса-Жуковско-го. Она была его вероисповеданием. Может быть, он потому и не стал первостепенным поэтом, что любил поэзию как Бога — робко и с трепетом грешника, часто впадающего в государственное безбожие. А с Богом, видимо, надо попробовать бороться, как это сделал Иаков, чтобы победа борющегося стала победой Бога. Стихи Багрицкого вроде «tbc», или «Смерти пионерки», или «Февраля» суть не борьба с Богом, а постыдная — тем более постыдная, что искренняя, — капитуляция перед дьяволом.

А какие чудесные строки, даже в последние его годы, рождались из-под его карандашного тупого огрызка, упря-танного в толстые пальцы. Например, эти:

*Весеннего мира челядь —
Ящерицы, жуки,
Они нашу землю делят
На крохотные куски.
Ах, мальчики на качелях,
Как вздрагивают суки!*

Мне запомнилось, как этими строками восхищался Михаил Кузмин, сидя у Багрицкого в Кунцево на крестьянском столе рядом с аквариумом, снимая очки и расширяя в восторге большие — два черных блюда — креольские глаза и в то же время болтая ножками в каких-то (подумал я так) прюнелевых полусапожках. Он уже мало был похож на известный сомовский портрет — суше стало лицо, на висках появилась седина, и только глаза остались сомовскими. Одна из последних, написанных незадолго до его смерти статей Кузмина была крайне хвалебным отзывом о поэзии Багрицкого...

Окончив художественную профшколу, я не поступил сразу в высшую. Причин было несколько. Прежде всего, в Одессе к тому времени ликвидировали нашу гордость — Новороссийский университет, на его месте учредили Инархоз — институт народного хозяйства, для меня от-

нюдь не привлекательный. Мало того. В институт принимали в первую очередь рабочих крупных фабрик и заводов, а также «незаможников» — сельскую бедноту, затем рабочих мелких предприятий, кустарных мастерских, затем — детей лиц перечисленных категорий. У последних было весьма немного шансов попасть в высшее учебное заведение, еще меньше — у совслужащих, людей свободных профессий и их детей. Но самое главное — мне хотелось уехать в Москву, учиться по-русски, а наш Инархоз был украинизирован. Я любил и люблю украинский язык, но родной, единственный для меня — русский.

Я принадлежал к третьей категории граждан, так как мой отец работал закройщиком на небольшой швейной фабрике имени Леккерта, которая помещалась в одном из примечательных зданий — в старинном полукруглом доме на Греческой площади. Чтобы улучшить мое социальное положение в преддверии студенческой карьеры, дать мне возможность перейти во вторую категорию, стать членом профсоюза, отец договорился со скорняком Шварцманом, и тот принял меня в ученики. Этого Шварцмана под фамилией Беленький я вывел в своей неизданной повести «Записки жильца».

Скорняжное мастерство мне не удавалось. Шварцман для начала поручил мне вымочить шкурку каракуля и прибить к доске будущий воротник. Я поранил себе пальцы, гвоздики у меня ломались, шкурка, в особенности лапки, дырвилась. Шварцман в околотке слыл богатым человеком, но одевался с нарочитой, вызывающей бедностью, зимой — в одну из предназначенных на продажу хорьковых шуб без верха, летом — в нечто засаленное и рваное, бывшее когда-то меховым жилетом. Делал он это не из скупости, он не был Плюшкиным, и не из страха перед фининспектором — в той декларации, которую он подавал ежегодно, он указывал сумму своих немалых доходов цифрой, близкой к истине, — он был полон древней тоски и наступательного безразличия к жизни, к ее радостям. Семья его обитала напротив мастерской, в многокомнатной квартире, на той квартире он только ночевал, обеда ему не приносили, он питался всухомятку, чаще всего кефиром с бубликом, и выпивал целый самовар чаю с крохотным, крепким кусочком, отколотым от сахарной головы в синей бумажной обертке. Глаза у него всегда были красные. Однажды, когда я ставил самовар в каморке за магазином, я услышал, как он всхлипывает. Говорили, что его семейная жизнь сло-

жилась неудачно. Еще говорили, что он выдумщик, соседи называли его «враль Шварцман». Убедившись, что я плохо приспособлен к скорняжной работе, он посмотрел на меня слезящимися, красными глазами и сказал:

— Разве твое дело — каракуль? Или белка? Или выдракотик? Твое дело читать мне газету, но с объяснениями.

Был тот знаменательный, нынешним поколениям непонятный год, когда в «Правде» регулярно печатался дискуссионный листок. Представители оппозиции, все, кроме Троцкого, свободно высказывались, чаще других — Бухарин, Рыков, Каменев, Зиновьев и что-то кричал с места некто Мойсеенко. Так и запомнились жирным шрифтом слова: «Мойсеенко с места». А в «Крокодиле» была помещена карикатура на главу правительства: Рыков, растопырив огромное, больше всего лица, ухо, прислушивается на Сухаревском рынке к злобной клевете частных торговков. Афины, Аркадия, да и только!

И вот в мастерской Шварцмана, в те летние дни, когда меховая коммерция замирает, стали собираться меховщики, чьи заведения помещались поблизости, между Покровской церковью и Ришельевской. Они слушали мое чтение, нервно, нетерпеливо требовали от меня комментариев, я их давал, как умел, искал доступную форму, чтобы все меня понимали. Честно говоря, самую суть они понимали лучше меня, препятствием для них была словесная оболочка. На вопрос моего отца, каковы мои успехи в скорняжном ремесле, Шварцман ответил: «Я мальчиком доволен». Отец ему не поверил, Шварцману мало кто верил, но успокоился.

Во время чтения дискуссионных листков самые трудные — и самые умные — вопросы задавал мне мастер, непомерно тучный, старый, но еще чернокудрявый, носивший меховую фамилию Корсак. Однажды, когда чтение закончилось, Корсак, тяжело пыхтя и отдуваясь, сказал:

— Надо закрывать дело и поступать в артель. Эти воры жить нам не дадут.

К удивлению соседей, он быстро задешево распродал все шубы, шкурки, готовые воротники, горжетки, палантин, добровольно отдал помещение своего магазина (теперь там нотариальная контора) в распоряжение коммунотдела и стал рядовым членом артели. Через год, когда наступил великий перелом и у других меховщиков отобрали все, нажитое долгим, умелым трудом, а некоторых даже посадили и выслали далеко на север, соседи поняли, как толково изучил Корсак дискуссионный листок нашей партии с мои-

ми мальчишескими комментариями, как своевременно и удачно сделал правильный вывод.

Получилось так, что и мне пришлось сделать правильный вывод из одного события на идеологическом фронте. Я особенно старательно посещал литературный кружок при газете «Молодая гвардия», наименее интересный в городе. На то были причины. Связь с газетой давала мне возможность получать время от времени некоторый заработок. Иногда я подменял заболевшую корректоршу, иногда меня, как корреспондента, редакция посылала на село. Заработок мой, хотя и ничтожный, был ощутим в нашей бедной семье — отец работал на пять ртов. Болезнь его ухудшалась, ему недолго оставалось жить.

Из моих кратких сельских командировок мне особенно запомнилась одна. Речь шла об убийстве селькора. Деревня была необычная: население ее составляли одни болгары. Во многих хатах, наряду с портретами родственников, висели портреты болгарского революционера Благоева и Тургенева — последнего чтили как создателя образа Инсарова. Было нетрудно выяснить, что селькора убил односельчанин не по политическим мотивам, как трубили газеты, а из ревности. Мою заметку, где характер преступления был изложен в соответствии с действительностью, в газете не поместили, поместили другую, сочиненную сотрудником, который из редакции не выезжал, все выдумал так, как ему велели. А что касается болгар, то все они оказались кулаками. Они и вправду, как и соседние немецкие колонисты, жили зажиточней украинцев. У самого неудачливого были две-три коровы и лошадь, а кур и гусей — не счесть. В пору страды они нанимали батраков-украинцев. И вот братушек, поголовно всех, выслали. Это был двойной геноцид — классовый и расовый. Я был в той болгарской деревне в день депортации. Через много лет я написал стихотворение «Лунный свет» — о высылке крестьян. Твардовский, единственный редактор, который иногда печатал тогда мои оригинальные стихотворения, забраковал «Лунный свет», сказал: «Не так и не вам об этом писать». Что не так — допустим. Но почему же не мне? «Вы же об этом не пишете», — кротко заметил я. Но могут ли спорить слова с силой? Оказывается, могут. В моей книге «Кочевой огонь» это стихотворение 1963 года напечатано.

Но в начале 1929 года неприятности у меня произошли с другим стихотворением. Называлось оно просто: «Бог». Только самонадеянный юнец способен был так назвать

свое стихотворение. Я его потерял, но в 1980 году, когда, в связи с «Метрополем», вражеские голоса стали изредка упоминать мое имя, одна одесситка, посещавшая, как она мне написала, наш кружок и переселившаяся (может быть, насильственно) в Сибирь, прислала мне, на адрес Союза писателей, из которого я только что вышел, это стихотворение, случайно у нее сохранившееся на протяжении полувека. Оно оказалось совершенно беспомощным и по мысли, и по исполнению (что одно и то же), рифмы неряшливо-усеченные, но одна строфа мне показалась сносной:

*Вступаем в молельни, читаем молитвы, кадим,
Но кто объяснит, почему
Все просим и просим, а дать ничего не хотим
Творцу своему?*

По дурусти я прочел «Бога» на занятии молодогвардейского кружка. Это сейчас трудно себе представить: 1929-й, грозно-переломный год, кружок при комсомольской газете — и такое, с позволения сказать, произведение.

Был скандал. Меня вызвала к себе хорошенькая редакторша «Молодой гвардии» Феня Мальц — одна из тех, которые теперь называются «комсомольцами двадцатых». Я всегда сомневался в их искренности. Возможно, что я ошибаюсь. Феня топала ножками в балетках, грозила. На другой день ко мне в Овчинниковский пришел завотделом губкома комсомола по фамилии, как мне кажется, Селиванов. Он говорил со мною дружелюбно, интересовался моими планами, воспитывал:

— Ты учишься у хороших поэтов, у Безыменского. У него не только содержание богатое, но и форма исключительная. Например, вслушайся: «А я иду и думаю упорно о себестоимости советских товаров». Усек? Два раза «иду»: иду и думаю. Называется аллитерация. Учишься, работай, заходи ко мне в губком, — знаешь, на Греческой.

Заходить не пришлось. Селиванова вскоре арестовали как троцкиста.

Что же касается происшествия с моим стихотворением, то оно, к счастью, растаяло, растворилось в потоке дней. Но тогда началось мое смирение. Не сразу — я еще не сдавался несколько московских лет, — а началось. И не то, совсем не то смирение, к которому нас, гордых, призывал Достоевский, а постыдное, рабское, не перед Богом смирение, а перед людьми, тоже рабами. Долго же оно длилось...

Непосредственным результатом происшествия было то, что меня лишили возможности подрабатывать в газете, а одна простая душа запомнила и записала беспомощные, но искренние строки, и половину столетия хранила их в Сибири. Спасибо ей. Именно такие, как она, а не «комсомольцы двадцатых» — двигатели новой России. Не позабытые Демьян Бедный или Безыменский, не более поздние фавориты Лужников — а Ахматова, Мандельштам, Пастернак, поэты гениальной гражданственности, явились силовым полем русской поэзии советского периода, в них дыхание и тепловая энергия нашей эпохи.

Можно пожалеть таких, как Бердичевский, веровавших в свою веру, — правильнее будет сказать — в свое изуверство, как веровали хлысты, исступленно и жестоко. А те ровесники Бердичевского, которые не веровали ни во что, — именно они стали нашими господами, они выросли на доносах, на крови своих товарищей, их ремесло — предательство, палачество, грабежи и кражи.

Можно пожалеть и недалекого идеолога Селиванова, но кто мне ответит, почему обладающие даже самой крохотной властью считают себя вправе нагло, свирепо, самоуверенно и невежественно распоряжаться литературой. И ведь так поступали не только низовые работники, а все могучие самодержцы, особенно тогда, когда и они были сочинителями, — и поэт Нерон при Петронии, и поэт-султан Хусейн Байкара при Навои, и поэт Сталин при Мандельштаме, и поэты Мао и Хошимин, — все начиная от эмиров и кончая борцами за мир.

Кажется, сырым мартом 1929 года Багрицкий приехал в Одессу, приехал победителем, знаменитостью. Бывший житель сарая на футбольном поле Джутовой фабрики был теперь одет романтически, как и полагается столичному поэту с громким именем. В узкой кожаной шапке с высокой тульей, в кожаном черном пальто, в неопишуемых крагах, он приехал, чтобы ошеломить Одессу, в которой еще недавно знал унижение, бедность. Мне запомнилась веселая горечь одной его фразы:

— Я встретил Маркуса, своего соседа по Базарной. Роскошный парень, король железнодорожных спекулянтов. Увидев меня, он первым делом пощупал мое пальто: «Кожа — дешевка, маде ин Марьиной роща». Он и не слышал, что я автор «Думы про Опанаса». Вот вам и слава».

Был устроен вечер Багрицкого в Доме печати, в длинном узком зале на Ланжероновской. То ли в зале было хо-

лодно, то ли форса ради, Багрицкий стоял на подмостках в своем кожаном пальто. Он прочел всю «Думу» целиком, «Контрабандистов» и другие эффектные вещи, читал он превосходно, поэты, как правило, читают свои стихи лучше, чем актеры, а Багрицкий владел этим искусством с особенным блеском, успех был огромный, его нищая молодость, хотя и с запозданием, торжествовала.

Он провел в Одессе всего несколько дней. Уже никого в городе не было из числа его литературных сверстников. Он скучал. Я был у него в доме на Базарной. Мне кажется, что отношения его с матерью были отчужденными. Мы каждый день гуляли с ним вдвоем под мокрым солнцем марта. Однажды на Николаевском бульваре, у входа в бездействующий фуникулер, я спросил его, одобряет ли он мое намерение уехать в Москву.

— Надо ехать, — сказал он твердо. — Вам будет нелегко, хазу в Москве теперь найдешь не быстро — это главная трудность, но придумаем что-нибудь, например, около меня в Кунцеве, это близко от города, сезонный билет стоит пустяки. Мне бы самому надо было поехать в Москву раньше, пока астма была послабее, а я помоложе, но меня напугал Олеша, говорил, что в стихах теперь требуется сквозной лирический сюжет, а что это значит? Я подумал, что никому в Москве я не нужен, пропаду в холоде и в голоде. Мне кажется, что вы в Москве найдете свое место. У вас есть артистическая жилка, и очень возможно, что вы поэт. Вряд ли получится из вас большой поэт, но небольшой получится. Поверьте мне, я в этом деле съел свору собак, редко ошибаюсь. Я предсказал Гехту, что он станет писателем, и вот какой ни есть, а писатель из него вышел, даже Бабель кое-что хвалит.

Провожало его в Москву несколько человек. Среди них мне был знаком только один газетчик. Никого не было из его близких. Мать на вокзал не пришла. Он уезжал в плацкартном вагоне, в руках у него был продолговатый баул, обитый потрепанной кожей.

А через несколько месяцев, в конце августа, мы всей семьей двинулись по Пушкинской улице к тому же вокзалу. Миновали здание редакции и дом, в котором я родился, и дом, в котором помещался мой хедер, и Афонское подворье с голубыми, как одесское небо, куполами — чудесную церковь. Она действует и сейчас, мы с Инной Лиснянской посетили ее два года назад, жена поставила три свечи перед иконой Божьей Матери, мы вышли, чувствуя в сердце свет,

из полупустого храма, и я вспомнил, как совсем молодым проезжал мимо этой церкви на извозчике, отец молчал, мама смеялась и плакала.

Я сел в бесплацкартный вагон — билет в плацкартный был нам не по карману, — поставил чемодан на самую верхнюю полку, боковую, на которой мне предстояло пролежать две ночи. Когда молод, особенно чувствуешь жесткость полки, ничем не покрытой, с годами это проходит.

Где будет мое столичное пристанище? Перрон провожал меня своим южным голошением. Эти люди были мне незнакомы, но я их знал всегда, они родились рядом со мною и во мне и живут и будут жить во мне. Сейчас пространство разлучит меня со здешним временем, с деревьями и зданиями на Пушкинской улице, а и те, и другие нередко одного роста.

Отец был задумчив, мама утирала слезы платочком, младшие сестренка и братик взбирались на подножку вагона и весело прыгали с нее. Пространство взвизгнуло, позвало свистком, поезд тронулся, я стоял у окна, а мои дорогие еще бежали по перрону, что-то кричали мне, но я их не слышал. А отцу уже тогда бежать было трудно.

Август 1985

КАРЬЕРА ЗАТЫЧКИНА

Ходасевич, рассказывая о том, как он в голодные годы военного коммунизма прививал классическую розу к советскому дичку, упоминает нескольких пролетарских поэтов, иногда с сочувствием. Его пронизательный, жесткий ум уже тогда, когда они — на столь краткое время! — набирали политическую силу, уловил в этих пролетариях, начавших, при содействии Горького, печататься еще до революции, неприятные черты, позднее разившиеся необычайно: угрюмое сектантство, зависть друг к другу, подозрительность в отношении тех, чужих, кто успешно претендовал на стихотворную революционность. Я могу подтвердить это, потому что в Москве кое с кем познакомился.

И все же, признаюсь, они мне нравились больше, чем пришедшие им на смену не нюхавшие ни сибирской каторги, ни порохового дыма гражданских сражений комсомольские поэты разных генераций — от Безыменского и Жарова до постсталинских. Я не касаюсь таланта, его не хватало и не хватает многим, но надо сказать, что с точки зрения цивилизации пролетарские были ощутимо выше комсомольских. Будучи марксистами-атеистами, пролетарские все же продолжали, в духе русской традиции, воспринимать поэзию как эманацию Божества. Правда, они были язычниками, им служили богами молот, наковальня, кузнечный горн и другие идолоподобные предметы, но они чувствовали, а иногда и понимали, что чему-то молиться все-таки надо. При этом следует повторить, что пролетарские не были альфонсами революции, они были ее высокопарными, напыщенными солдатами. В то время как комсомольские, как правило, оказывались бройлерными цыплятами ячеек, всевозможных литобъединений, позднее — Литературного института, пролетарские сживали в царских тюрьмах. Короче говоря, если пролетарские были варварами, то комсомольские, поколение за поколением, остались

дикарями, они и поныне, как родовое сообщество, берут количеством, когда, теснясь, волнуясь и крича, намазанные жиром, движутся голые, вооружившись первобытными стрелами.

Пролетарские появились, когда у нас еще царствовали символнсты, у символистов же они прошли выучку, заимствовали у них изысканные метры (над чем посмеивался Маяковский), привычку наиболее значительные слова — даже в середине строки — начинать с прописной буквы. В основном это были образовавшиеся на различных курсах и вечерних классах и с помощью запойного чтения (нередко в тюрьме) русские рабочие, — характеры, иногда полные обаяния.

Они любили книгу. Их угнетала высоколобая образованность их буржуазно-дворянских учителей-символистов. Рассказывают, что Демьян Бедный составил свою баснословно богатую библиотеку, изымая книги из особняков на Арбате и профессорских квартир. Пусть так, но изымал-то он книги, а не фарфор или мебель красного дерева, — то павловскую, то в стиле жакоб. Кроме того, он не только грабил, но и приобретал книги за наличные. Не будучи с ним знаком, я часто встречал его мощную фигуру на книжном развале у Никольских или Ильинских ворот. Найдя диковинку, он не торговался, книгопродавцы выражали ему почтение, видя в нем знатока. Комсомольские почти ничего не читали, а то, что прочли случайно, не насыщало их ум и сердце. У них не было (и теперь нет) художественного вкуса. Такими были и те, которых в ранние годы ласкала власть, и те, которых поздняя власть не сразу признала своими. Я называю комсомольскими тех, в которых стихотворившая необразованная молодежь видела и видит своих выразителей, — и благодаря их словарю, и благодаря их одежде, манере держаться, бездушной общности. Твардовский, например, будучи в юности комсомольцем, не был комсомольским поэтом. А комсомольские рождались вне русской культуры, вне русской философской мысли, словесность для них начиналась сперва с Маяковского и Есенина, а в нынешние годы — с примитивно понятой Цветаевой, и всегда, постоянно — с них самих. Мало того, что они дикари, они считают дикарями всех, кроме себя, а если не дикарями, то ненужными, траченными молью лохмотьями общества.

Я вспоминаю, как в дни моей ранней юности в Одессу приехали двое комсомольских — Светлов и Голодный,

читали свои произведения, отвечали на вопросы. Дело происходило на заседании местного «Перевала», ничего общего, кроме названия, не имевшего с московским. Кто-то спросил: «Что сейчас пишут Сологуб, Ахматова, Кузмин?» Москвичи расхохотались, — наш провинциализм возносил их в собственных глазах. Голодный сообщил, что Сологуб давным-давно умер (Сологуб был еще жив). Светлов отозвался: «Я не знаю, живы ли и что пишут эти старушки — Клавдия Лукашевич, Лидия Чарская и Анна Ахматова» (Ахматовой еще не было сорока). Кузмина наши именитые гости не знали, услышали его имя впервые в Одессе.

У меня впоследствии сложились довольно милые отношения со Светловым (с которым я ближе познакомился на московской квартире Багрицкого в Камергерском). Я его помню непьющим, радующимся славе, не столь шумной, блестящей, как у Уткина, но достаточно прочной, помню его вовлеченным в бурную литературную жизнь, в ее комические баталии. Его опустошил разгром оппозиции. Он сочувствовал троцкизму, был неподготовлен к имперской жестокости. Все комсомольские поэты первого поколения, как и весь тогдашний комсомол, были обворожены Троцким, нынешние обворожены только собой. В этом, бесспорно, есть прогресс, есть торжество рассудка.

В самом деле, теперь нам трудно себе представить, чтобы кто-нибудь из комсомольских был воодушевленно очарован одним из сегодняшних руководителей государства, но в те годы Троцкий завораживал молодежь, строящую новую, как ей казалось, жизнь. Безыменский гордо заявлял: «Я грудь распахну по-матросски... и крикну: «Да здравствует Троцкий!»

Конечно, Троцкий, с его громовым красноречием, с его романтической, в духе французской революции, страстностью, с его ролью героя-главнокомандующего Красной Армией, победителя белых, был образцом для тогдашних молодых людей, в свои незрелые годы ставших во главе фронтов, Чека и прочих ответственных учреждений. Но вот что мне и Инне Лиснянской рассказала Вера Николаевна Маркова, замечательный поэт и переводчик японской классики.

Дед ее был петербургским извозчиком, но своему сыну, отцу Веры Николаевны, сумел дать образование, и тот стал чиновником царскосельского дворца. После революции его, как человека честного, лояльного по отношению к новой власти, сделали хранителем (или помощником хранителя) дворцовых сокровищ. И вот однажды в царскосель-

ский дворец является Троицкий, осматривает его в сопровождении хранителя дворца и своего охранника и отбирает для себя несколько золотых предметов невероятной ценности. Когда хранитель протестует, трепещет, но с сознанием своей правоты, товарищ Троицкий спокойно и грозно его обрывает: «Еще одно слово — и вы будете расстреляны». Так что романтический проповедник перманентной революции и герой гражданской войны по самой своей сути мало чем отличался от нынешних бонз, которых пресса недавно начала осторожно обвинять в коррупции, взяточничестве и просто в воровстве.

Светлову пришлось печатно отречься от идола молодости. Однажды он рассказал Инне Лиснянской, что был на несколько дней задержан органами. Его простили, не тронули, но с тех пор он надел на себя маску гаера. Как это часто случается, будучи весьма остроумным, он не обладал основательным умом. Я пробовал читать его, изначально дарование было бесспорным, но потом бросил, набредя в одном из его сборников на такое заявление: Пегас теперь скачет, «сбросив Бунина, скинув седло». И что поразительно, екатеринославский острослов и впрямь считал, что с Буниным покончено навсегда, что русский Пегас сбросил Бунина в пыль и тлен на своем революционном скаку. Дикарь, несчастный, добрый, одаренный дикарь.

Когда я из Одессы приехал в Москву, я близко познакомился и с другим комсомольским поэтом, Михаилом Голодным. Мы даже были на «ты». В его поэме «Верка Вольная» есть признаки таланта.

Перед войной к нам присоединили Бессарабию. Образовалась Молдавская ССР. Как полагалось, освобожденный молдавский народ написал Сталину письмо в стихах. Мне предложили сделать перевод. Я сказал, что связан с Востоком, молдавской поэтики не знаю. Но заказчики упорствовали, и, наконец, мы договорились, что я буду редактором перевода. Со мной согласились. Я предложил в качестве переводчиков Голодного, Светлова и Уткина. Заказчики и с этим согласились.

И вот, как и двум другим, я звоню Голодному и сообщаю ему, какую часть письма я отобрал для него — и добавил:

— Размер, как в «Гайавате», четырехстопный хорей, рифма перекрестная, сплошь женская.

Долгое молчание. А телефон — в коридоре коммунальной квартиры, задерживаться нельзя. Наконец, голос Голодного:

— Дай пример.

Даю пример: «Прибежали в избу дети, Второпях зовут папашу, Тятя, тятя, наши сети Притащили простоквашу».

Голодный — с облегчением:

— Так бы и сказал, а то строишь из себя интеллигента.

Да, иного толка были пролетарские поэты. Враждебно относясь к «буржуазным» писателям, в особенности к декадентам, они их отлично знали и втайне ценили, и не только русских, а, скажем, и позднего Стриндберга, и Пшибышевского, и Метерлинка, они любили Бодлера в переводах народовольца Якубовича-Мельшина. Их в начальные советские годы учили (и чему-то научили) Брюсов, Ходасевич, Андрей Белый, которому до конца его недолгой жизни оставался преданным мало симпатичный и совсем не талантливый Григорий Санников, одна из звезд пролетарской поэзии. Он вместе с Пастернаком и еще несколькими литераторами подписал некролог Белого.

Вспоминается мне, как в маленькой комнатке редакции альманаха «Земля и фабрика» Новиков-Прибой похвастался, будто бы его похвалил Бунин в какой-то заграничной газете. Гладков и Ляшко, разъяренные, уличили его во лжи. Для них прекрасное имя Бунина значило много, не то что для тогдашних комсомольских.

Пролетарские боготворили Блока. Скажу еще раз: они представляли собою определенный, хотя и непрочный, пласт цивилизации. Еще не инки, но уже не Монтигомо Ястребиный Коготь. Впрочем, ястребиные когти возникли позднее.

В Москве я застал пролетарских в 1929 году недовольными, обиженными: их, рабочих, социал-демократов с до-революционным стажем, первых правдистов, вытеснили объединенные Раппом, ловкие, не шибко грамотные, но нашедшие своего читателя комсомольские поэты. Объяснялось это просто: комсомольские были сверстниками нового читателя — и такими же, как он: вне цивилизации, вне морали, веселые, грубые, порой сентиментальные, никогда в себе не сомневающиеся, никак не откликающиеся на всемирное звучание русской классической поэзии. А пролетарские, несмотря на свою революционность, принадлежали старому разрушенному миру, в разрушении которого принимали посильное участие. Были (и остались) более глубокие причины популярности комсомольских, — я к этому еще вернусь.

С комсомольскими заигрывал, вынужден был считаться Маяковский (это тоже заметил из своего парижского далека умница Ходасевич), а над пролетарскими, уже оттесненными комсомольскими, изгилялся: «Дорогойченко, Герасимов, Кириллов, Родов — какой однаробразный пейзаж». В игре слов был свой смысл: «наробразный» — значит связанный с народным образованием. Маяковский терпеть не мог образование, ученых, которые кроют эрудицией вопросов рой.

Всех упомянутых Маяковским четырех я знал. Родов — пустой малый, местечковый демагог и склочник, из тех, кто вместо «р» произносит «и краткое»: йеволуция. Но первые трое — личности значительные и даже одаренные, хотя вряд ли даром поэзии, — широколицый мордвин Дорогойченко, и всегда печальный, высокий и плечистый Герасимов, и бывший матрос Кириллов — по-декадентски длинноволосый, subtilный. Писать они не умели, что правда, то правда, но литературу знали хорошо, относились к ней серьезно, своим идеалам были преданы, и недаром все трое погибли в 1937 году.

Характерная черта комсомольских — безликость, масовость лица. Поэтому они всегда, из поколения в поколение, у нас процветают, пока это нужно Государству.

Однажды Маяковский прочитал в Политехническом только что напечатанное, понравившееся ему стихотворение Светлова «Гренада» (он сперва ошибся, назвал автором Голодного, но публика его поправила).

Вот два политических стихотворения: «Гренада» и «Ода на взятие Хотина», от которой мы, русские рифмачи, ведем свою ямбическую родословную. Да, и то, и другое — стихотворения политические, но какая между ними пропасть! Для Ломоносова победа отечественного оружия была торжеством человека над злом, над азиатским варварством, над ложной верой, — так он думал и чувствовал. Для Светлова человек — игрушка затейника-острослова, забавляющегося кукольным театром интернационализма, «гренадской волостью». Правда, Светлов делает оговорку: своего героя он называет мечтателем-хохлом. Но эта мечтательность не только надумана, но и ангажирована: вчера — гренадская волость в Испании, сегодня — гератская область в Афганистане. Ничего себе мечта, когда того же хохла, исполнившего свой интернациональный долг, привозят домой в оцинкованном гробу. Нет, не нужны ни хохлу, ни кацапу, ни сарту ни испанская Гренада, ни афганский Герат, у них есть

гораздо более насущные потребности, но об этих потребностях, о главном, комсомольские никогда не пишут. Никогда.

Я не сомневаюсь в искренности автора «Гренады». Он действительно думал, что «новые песни придумала жизнь». Но разве песни придумывают? Песня — живое дитя, она рождается, а придумывают кукол. «Гренада» не зачата от жизни, она — придумка остроумного поэта-кукольника.

И вот что еще важно: у Ломоносова все точно, живописно и, как теперь говорят, информативно, у Светлова — приблизительно и полное отсутствие информации. У Ломоносова — унаследованная от греков ясная мысль, явная сила и прелесть выражения, у Светлова — безвкусица вроде того, что поминальную по убитому сыграют, по его мнению, «смычками страданий на скрипках времен». Нынешняя химия ушла далеко вперед от первых химических опытов Ломоносова, но поэзия Ломоносова находится далеко впереди беспомощных опытов многих нынешних стихотворцев. Ломоносов — реалист. Ему, украшения стиля ради, не надо выдумывать, для чего идет в бой русский солдат. Падение турецкой крепости означало нечто крайне насущное, крайне нужное земледельцу:

*Казацких поль заднестрский тать
Разбит, прогнан, как прах развеян,
Не смеет больше уж топтать,
С пшеницей где покой посеян.*

Покой посеян с пшеницей! Могучие звуки могучего языка! И насколько они, написанные в XVIII веке, свежее, современнее, моложе светловских и других комсомольских!

Багрицкий, может быть, потому, что был отличным знатоком русской поэзии, не видел себя вне ее, вне золотого и серебряного веков, стоял на земле гораздо прочнее, чем Светлов и все более поздние стихотворцы того же типа. Его Опанас, подобно усачам Ломоносова, Державина, Давыдова, Лермонтова, хорошо знает, чего он хочет, ему вовсе не надо быть мечтателем, ему не нужна глупая «гренадская волость». Он хочет вольного крестьянского труда, рыночной экономики:

*Ой, грызет меня досада,
Крепкая обида!*

*Я бежал из продотряда
От Когана-жида.*

Да, да, «жида» — никакого интернационализма, никакой «гренадской волости», не до них было, потому что

*Коган волкам рыщет,
Залезает носом в хаты,
Которые чище.*

А Опанасу, конечно, тоже хочется жить в хате, которая чище. Естественное, извечное желание. Все ясно, разумно, точнее, все поэтично, потому что разумно и ясно. Как можно крестьянину служить в продотряде, который грабит работающих, справных крестьян? «Думе про Опанаса» суждена долгая жизнь в русской поэзии, не то что «Смерти пионерки» или «tbc», когда Багрицкий опрометчиво предпочел самому себе комсомольский романтизм.

Заметил ли читатель, что большинство советских стихотворцев не хочет, в отличие от Гомера (вот кто истинный новатор, истинный авангардист!) трусливо не хочет, чтобы в их стихи вслушивались? Лишь бы было броско. Что, например, означает «Партия и Ленин — близнецы-братья»? Как Ленин может быть братом Партии, когда он ее признанный отец? Ее папа? Что за новая, странная версия эдипова комплекса? Как партия может быть братом, когда она женского рода?

Безыменскому выдали ордер на меховую шапку. Автор радуется: в те трудные годы не всякому удавалось добыть ордер на ценный промышленный товар. Пишется ликующее стихотворение. И вот вывод: «Будет день, мы предъявим ордер не на шапку — на мир!» Я, подросток, был свидетелем того, с каким энтузиазмом парни и девушки, обняв друг друга за плечи, заняв весь тротуар, декламировали хором это стихотворение так, что встречные обыватели в испуге шарахались в сторону, на мостовую. Но позвольте, давайте подумаем: кому предъявлен будет ордер? Западным капиталистам? Для них этот ордер недействителен. Господу Богу? Но эти в Бога не верят. Да и не значит ли, что всегда будет такая унылая жизнь, даже в прекрасном будущем нельзя будет ничего достать без ордера, — ничего, даже мир! Нет логики, сплошной вздор, а между тем этот вздор зажигал и обжигал молодые сердца миллионов. И теперь обжигает.

Другой комсомольский поэт, уже нынешний, заслуженно обладающий всемирной известностью, яркий талант, спрашивает: «Хотят ли русские войны?» И советует: «Спросите у моей жены».

Конечно же русские не хотят войны. А какой народ хочет войны? Руководители партии и советского правительства не устают утверждать, что ни один народ не хочет войны, а следовательно, не хочет войны ни одна жена будущего солдата. Но в газетах употребляются обычные эвфемизмы: вместо «правительство США» — «американцы», вместо «советское правительство» — «русские». И вот нечто условное: эвфемизм выдается за почти существующее. Впрочем, у Евтушенко, автора изумительного стихотворения о мальчике, танцующего во время войны на деревенской свадьбе, политические стихи гораздо менее ангажированы, гораздо более логичны, чем такого рода стихи его учителя Маяковского. Сказывается ход времени.

Маяковский начал как сторонник хлебниковской зауми. Заумь выродилась в нелепость. Ранняя советская эйфория не хотела эту нелепость замечать. Разве революционному государственному пафосу нужна логика? Разве читателю позволялось задуматься над тем, почему буржуазные таможенники с презрением берут в руки паспорта «датчан и прочих разных шведов». Откуда такое презрение автора к древним и богатым народам? Неужели на французской, скажем, таможне шведам предпочитают англичан? Нелепость.

Был одаренный комсомольский поэт Николай Дементьев. Жизнь его кончилась трагически. Одно время большим успехом пользовалась его поэма «Мать». К руководителю крупной стройки приезжает бедно одетая, старая женщина. «Начальник наших работ» смотрел на нее, вспоминал, вспоминал, вспомнил: «Маменька!» Вот так. Целиком преданный новостройке, упоенный ею, начальник забыл лицо родной матери. Выросший в бедности чеховский архиерей, увлеченный своей деятельностью, не менее важной, чем деятельность начальника стройки, помнит свою мать, простую русскую женщину, любит ее, а наш начальник — забыл! Конечно, чушь, нелепость, но какая характерная для соцреализма бесчеловечная нелепость!

Любопытно, что более поздние воспеватели Государства, счастливо не зараженные его романтикой, нелепостей не писали. Например, Лебедев-Кумач:

Широка страна моя родная.

Правильно, широка: от финских скал до пламенной Колхиды.

Много в ней лесов, полей и рек.

Правильно, много. Правда, нехорош звук «многовней». При чем тут «говней». Но это не от нелепости, а от глухоты.

Заметьте, автор не говорит, что такой другой страны нет. Просто он такую не знает. Может быть, в княжестве Монако или в Великом герцогстве Люксембургском тоже вольно дышит человек, но автор в этих местах не бывал, не знает. А если кто-нибудь знает, пусть возразит. Нет, не такой этот кто-нибудь дурак, не возразит. Стихи беспомощные, но не нелепые, вполне обдуманые.

В последние годы из котельных и подземелий доносятся звуки зауми. Но эта заумь не служанка Государства, не рабыня. Она совершенно свободна, если свободной может быть бессмыслица.

Когда Маяковский, обрадованный талантом молодого собрата, прочел в Политехническом «Гренаду», она взволновала слушателей. И опять, в отличие от читателей Хотинской оды, для которых каждая строка Ломоносова была точным донесением с поля битвы, битвы войск и битвы идей, никто, вслед за чтецом-поэтом, не обратил внимания на то, что у Светлова папаха Тараса Шевченко лежит во ржи. Зачем ей валяться во ржи, да еще через шестьдесят лет после смерти великого кобзаря? Я был ребенком, когда шла гражданская война, и помню, как эту дату одни замалчивали, другие воспользовались для погромов. Но Светлов не дал себе труда задуматься над этим. Жертва поверхностной поэтики и поверхностного, непременно остроумного способа рассуждать, он хотел написать необычно, красиво, а написал бессмысленно, потому что, как слепой, прошел мимо многотысячелетнего опыта поисков Красоты с помощью слова.

Комсомольское стихотворство, созданное Маяковским, рассчитано на читателя, не желающего знать, познать, боящегося думать. Иными были сочинения пролетарских поэтов. Вспомним, например, провидческие (по наитию) слова Николая Полетаева, сказанные в самом начале двадцатых: «Портретов Ленина не видно, Похожих не было и нет». Так обстоит дело и по сию пору. Это вам не безрассудное и предосудительное «я себя под Лениным чищу». Так обезьяны

занимаются искательством друг у друга. А как правильно говорят у Демьяна Бедного родители допризывника Вани: «Без тебя большевики обойдутся». Это вам не античеловеческий призыв работать «за себя и за того парня». Он погиб, тот парень, в боях за родину, так неужели он еще и прогульщик, он виноват, за него надо работать? Не хочет думать молодой, одаренный автор абсурдного изречения, не хотят думать его читатели, слушатели.

Мандельштам не раз говорил о том, что поэзия Маяковского есть «поэзия здравого смысла». Великий поэт ошибался — или хотел ошибиться, искренне пытаюсь и понять новых — советских — читателей, это племя победителей. Мандельштам был зорче в 1913 году, когда заметил: «Футурист, не справившись с сознательным смыслом, как с материалом творчества, легкомысленно выбросил его за борт».

Но, может быть, Маяковский был прозорливее пролетарских, может быть, он понимал, что его, главаря, и его дружинников сила не в логике, а в громкости, в угрозе, в шаманском камлании? При этом Маяковский, всем сердцем служа Государству (я верю в его искренность, другого выхода у него не было), хотел, чтобы Государству тут же, с такой же бескорыстной искренностью, служили и остальные стихотворные писатели, а не ради льгот, привилегий, ласк и наград, — по крайней мере, не только ради них. Между прочим, на той же позиции честного служения, многим казавшейся благородной, стоял впоследствии другой лидер стихотворного социалистического реализма — Твардовский, и потерпел поражение, ибо что мог сделать он, хороший писатель, со всех сторон окруженный отрядами «командос», состоящими из неписателей и антиписателей?

К слову: а что такое социалистический реализм? Наши специалисты утверждают, что объяснить этот термин не так-то просто без глубокого знания марксизма. Корифеи этого дела, авторы «Поднятой целины» и «Молодой гвардии», кокетничали в один голос: «Сердцем чувствуя, а определить не могу».

Хочу попытаться дать определение. Социалистический реализм есть один из важнейших видов служения интересам однопартийного тоталитарного Государства, пользующийся методами, внешне напоминающими методы литературы и искусства.

Конечно, это определение страдает, во-первых, отсутствием изящества, отточенности, во-вторых, нуждается в пространственных дополнениях. Например, важны анкетные

данные автора. Иногда бывший граф и даже одно время белоэмигрант (А.Н.Толстой) гораздо более необходим Государству рабочих и крестьян, чем потомственный пролетарий (репрессированный Г. Никифоров) или герой гражданской войны (репрессированный Артем Веселый), а еврей-коммунист Чаковский предпочитается, несмотря на известное направление внутренней политики, коммунисту русскому, например В. Дудинцеву. Противники социалистического реализма на Западе совершенно его не понимают, так как видят его внутри литературы и искусства, а не вовне. Они наивно полагают, что содержание произведения, его политическая, идеологическая направленность определяют его причастность к социалистическому реализму.

Страшная ошибка! Причастность произведения к социалистическому реализму решает не его содержание, не его идеология, а воля Государства, основанная на принципах, по которым конструируется весь маховик, вся машина Государства. Например, постановка какой-нибудь стариннейшей оперы может быть сочтена, и вполне обоснованно, явлением социалистического реализма и даже увенчиваться сталинской премией. С другой стороны, произведение, тоже признанное образцом социалистического реализма, тоже увенчанное сталинской премией, вдруг исключается из советской литературы, истребляется из библиотечных каталогов только из-за того, что автор переменял место жительства: например, широко известная повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда».

О социалистическом реализме можно было бы написать чрезвычайно увлекательное исследование. Вот понадобилась Государству повесть «Югославская трагедия», и ей, как одной из вершин социалистического реализма, присуждается сталинская премия. Меняются обстоятельства, Броз Тито снова наш друг и брат, и «Югославская трагедия» становится вредной государству, она напрочь вычеркивается из истории советской литературы. Идет кровавая борьба с космополитизмом, — и популярный писатель Александр Грин (Гриневский, по происхождению поляк) заклеен в большой фундаментальной статье в симоновском «Новом мире» как вреднейший космополит. Меняются обстоятельства, — и теперь организуются туристические культпоходы молодежи к мемориальному домику в Старом Крыму, где жил и работал классик социалистического реализма, писатель-романтик Грин.

Зависимость существования произведения социалистического реализма от воли и власти государственной администрации, от ее сиюминутных потребностей отлично понял Маяковский. Ахматова как-то сказала мне о нем: «Он раньше и умнее нас всех испугался». Вот что я услышал в Доме творчества в Малеевке от авторитетного театрального критика Ю. Юзовского, одним из первых сокрушенного кучным залпом антикосмополитизма.

В дни своей молодости Юзовский работал корреспондентом ростовской газеты «Молот». И вот в Ростов-на-Дону приезжает на гастроли Маяковский, обожаемый Юзовским. Молодой корреспондент пишет Маяковскому письмо, восторгается его поэзией, но сообщает, что хочет высказать поэту свои соображения по поводу его поэмы «Хорошо». Искренность почитателя таланта радует Маяковского, он приглашает журналиста к себе в номер гостиницы. Юзовский рассказывает любимому поэту, как далека поэма «Хорошо» от действительности, какие ужасы происходят в донских станицах, свидетелем которых он, Юзовский, является в качестве корреспондента, как гибнет старательный земледелец. Маяковский выслушал своего собеседника с напряженным вниманием, помрачнел, сказал: «Если советская власть рухнет, то правы будете вы, но если советская власть победит, то победит и моя поэма. Она будет жить, пока жива советская власть». Маяковский неважно разбирался в высоких предметах, но свое Государство он ощущал звериным нюхом, свержчутьем.

Можно ли себе представить, что Государство причислит к социалистическому реализму стихотворение, рисунок или скульптуру авангардистского характера? Да, можно, если Государство почувствует в этом осознанную (или неосознанную) необходимость. Можно ли себе представить, что Государство объявит произведением социалистического реализма повесть, критикующую с немарксистских позиций замкнутой крестьянской общины урбанизм или воспевающую избяной лад в духе «Устоев» Златовратского? Да, можно, потому что Государство знает, как никто другой, всей своей кожей знает, что ему нужно и что ему вредно. Нужно сейчас и вредно сейчас. Краеугольный постулат соцреализма: «Дорого яичко, но к данному дню». Конечно, кто спорит, хорошо, да еще как хорошо, если наша книга служит делу Государства долго, — например, «Поднятая целина» Шолохова, «Разгром» Фадеева, «Василий Теркин» Твардовского, «Как закалялась сталь» Николая Островско-

го. Но и всевозможные бруски и гурты на дорогах сослужили свою службу, они ценны, хотя их теперь никто не читает.

Хватит, однако, рассуждений, прошу позволения вернуться в Политехнический. Убедившись, когда познакомил аудиторию с «Гренадой», что его вкус, его понимание стихотворной работы побеждают, Маяковский выкрикнул приблизительно следующее: «Правда, молодец Светлов? Это вам не какой-нибудь Безыменский или Жуткин!» (Жаров-Уткин). И вдруг по залу покатился, сверху вниз, гул. Привычным ухом Маяковский уловил, что гул исходит не от его всегдашних оппонентов, с которыми он остроумно, а иногда не брезгуя запрещенным моралью приемом обвинения в антисоветизме, расправлялся, а от рабочих кепчонок и красных косынок. «Неужели вам нравится Жаров? — растерялся Маяковский, впервые, кажется, растерялся в Политехническом. — Кто из вас знает наизусть хотя бы одно стихотворение Жарова?»

Поднялся лес мозолистых рук. Маяковский приуныл, но не сдался:

— Пусть кто-нибудь выйдет сюда, на трибуну, и прочтет стихотворение Жарова. Думаю, что такового не найдется.

На трибуну поднялась широкоплечая приземистая девушка в кожанке и прочла только что опубликованный, если память мне не изменяет, в «Правде» жаровский панегирик «Оруженосцу Ильича». Это было чуть ли не первое восхваление Сталина, изложенное в русских рифмах, написанное к 50-летию вождя. Название пока еще скромное, Сталин пока еще всего лишь оруженосец, а не некий равный Государь.

Девушке долго аплодировали. Я сидел сравнительно недалеко и видел, как смутился Маяковский. Может быть, именно в этот вечер он потерял свою мучительную веру в то, что нужен Государству, услышав, как бурно рукоплещут неумелому, скучному ремесленному изделию? Не он ли мечтал о том, чтобы Сталин делал от имени Политбюро доклады о качестве стихов, — и вот, Сталину, выходит, понравились стихи Жарова, если их напечатал главный сталинский орган?

Маяковский ошибался, трагически ошибался. Он стал — и по праву — долгожителем социалистического реализма, а Жаров, при орденах и машине живя на переделкинской даче, перестал жить в сознании молодежи.

У поэта Маяковского счастливая судьба: своеобразный, жгучий талант, он утвердился в ряду второстепенных русских поэтов двадцатого века, в недостижимом для нас, смертных, ряду полубогов.

Второстепенность сильного таланта Маяковского обуславливается двумя его особенностями: поверхностностью мышления и искаженным пониманием прекрасного. Эта искаженность — от малой культуры. Я говорю не об образовательном цензе: деревенская культура Есенина несравненно выше культурного уровня Маяковского — городского глотателя газет и беспорядочного потока отечественных и переводных романов. Ахматова любила повторять, что ценит Маяковского дореволюционного, а Хлебникова послереволюционного. Великая поэтесса права, и все же даже в ранних стихах Маяковского, искренних, страстных, мощных, изобретательных, есть целые пассажи, написанные как бы недоучившимся столичным гимназистом совместно с уездным чеховским Епиходовым.

Маяковский сознательно писал так, чтобы над его строкой читатель не задумывался, чтобы читатель оглушался. Если гениальный Тютчев — наш патент на благородство, то Маяковский — реклама (не самореклама) владельца фирмы или афиша бродячего театра. Дело не в том и не только в том, что Маяковский, как и Игорь Северянин (маленький, но обаятельный талант) и другие футуристы, были поэтами эстрады. Вспомним, что звучащее слово — это слово Ветхого завета, Евангелия, Гомера, бессмертных эпических поэм Запада и Востока. Но при этом никогда не забывалось происхождение слова: божественное. «Солнце останавливали словом», слово имело не только практический смысл полезности, но и внутренний, тайный смысл, т.е. то, чего было лишено слово Маяковского. Хотя «точное и нагое», что свидетельствует о литературном мастерстве поэта, оно не было словом-символом, словом-знаком. В стихах Маяковского слова — не символы, а индексы, они указывают, а не создают. Они обладают правом жительствова, но не творят жизнь.

Недаром самые лучшие литературоведы — богословы, будь то иудейские или христианские, буддийские или мусульманские. Для них слово не равно предмету, слово есть тайна. А каббалисты искали тайну даже в цифровом значении букв.

Я помню, как в калмыцкой степи, в небольшом хотоне, я слушал в глинобитном сельском клубе чабана-джангерчи,

сказителя народного эпоса. Он пел, иногда речитативом, подыгрывая себе на домбре, и вдруг, во время его исполнения, колхозники-слушатели, все как один, закрыли глаза, заснули на несколько тихих мгновений и так же внезапно проснулись. Что же это было? Мне объяснили: сказитель исполнил буддийское славословие потустороннему миру, где не будет страданий, ибо не будет перерождений, и слушатели, восприняв слово-символ, слово-сигнал, показали рапсоду, что поняли его, слились с ним, и как бы на несколько мгновений, благодаря божественности слова, перенесли в прекрасный запредельный мир, в Нирвану.

Маяковский — первый замечательный русский поэт, который, не задумавшись, воинствующе, но по сути испуганно, отверг слово-символ, слово-тайну, — и проиграл перво-степенность.

Для того чтобы прояснить мою мысль, сопоставлю двух поэтов: Будду и Маяковского. Оба они пользовались сравнением как способом познания менее известного с помощью более известного. В превосходных энергических строках Маяковский сравнивает свой стих с водопроводом: как сработанный рабами Рима водопровод вошел в наши дни, так веселый, зримый стих поэта войдет в будущие дни. Ё Для чего войдет? Чтобы приносить пользу Государству будущему. Как римский раб сработал нечто полезное для древнего Государства, так и теперешний раб сработал нечто полезное для будущего Государства. Итак, — стих поэта должен быть полезен, — вот пафос Маяковского. Какая бедность мысли по сравнению с тем, что задолго до нашей эры было сказано Буддой. Шакьямуни тоже определяет труднопонимаемое с помощью общеизвестного, тоже пользуется для своего сравнения водным источником, — ведь Индия слита с водой, ее жители так же хорошо знали океан, как советские горожане — водопровод. «Подобно тому, — говорит Будда, — как воды океана имеют лишь один вкус — вкус соленый, так и мое учение имеет лишь один вкус — вкус спасения». Речь идет не о материальной пользе, наоборот, об отказе от материальной пользы ради духовного счастья, ради грядущей вечной жизни. Будда — истинный футурист, Маяковский — узкий прагматик. «Сердце наше — барабан», — говорит Маяковский. «Я буду бить в барабан бессмертия во тьме этого мира», — говорил Будда. В первом случае — утилитарное сравнение предмета с предметом — низший, примитивный тип изобразительных средств, во втором — в случае Будды — пол-

ное надежды и слияния с будущим сравнение-символ, сравнение-тайна. Маяковский был убежден, что поэзия полезна. Роковая ошибка: поэзия необходима.

Сейчас комсомольские ориентируются на эстраду. Как знать, может быть, в скором времени печатный станок окончательно уступит место радиоприемнику и телеэкрану, а книги — дискам. Но поэзия, упорно и упрямо повторяю, если пожелает остаться поэзией, т.е. боговдохновенной, должна, как во времена (в сущности, столь недавние) Библии и Гомера, Махабхараты и Гильгамеша, быть словом-тайной, словом-символом. Да иначе и быть не может: меняются времена, но не меняется человек, не меняются его мечты, а ведь сказано, что поэзия есть Бог в мечтах земли.

Комсомольские не понимают, не хотят понимать, что поэзия, — в особенности наша, русская поэзия, — немислима без Бога. Я говорю не о вере в Бога, — ее насильственно не навяжешь, как в царское время православие сибирским инородцам, — а об ощущении Бога. Фет был атеистом, но всем существом своим, с помощью Шопенгауэра, стремился к трансцендентности — из бездны эфира к бессмертному солнцу мира, понимая, что земная жизнь — только сон мимолетный. Грубо ощущал это и Хлебников, — цитирую по памяти:

*Мы — мыслящие печи,
Дыханье наше — дым,
А где ж печник? Далече,
За облаком седым.*

Без этого печника никогда не будет в душе вселенского тепла.

В 1977 году в Индии, в небольшом университетском городе Пуна, один из слушателей спросил меня, что сейчас пишет Вознесенский. Признаюсь, мне было приятно, что в далекой Индии знают имя поэта, любимого на его родине. В одном из своих стихотворений Вознесенский хвалит собачью верность как выражение человечности. При этом он утверждает: когда человека не спасал Христос, его спасал человек-сенбернар. Я исповедую иудаизм, но люблю Христа. Вознесенский в праве отрицать христианский догмат божественности Христа. Но противопоставлять Христа — собаке? Вот это и есть комсомольская поэзия. Отказаться бы нашему знаменитому поэту от этих кощунственных строк, отрыжки комсомольства.

Маяковский был богохульник, богоборец, но писал со смутным ощущением существования Бога, — с ощущением, ему часто враждебным. Вот почему его борьба с Богом кончилась не победой Бога, а победой дьявола. Те, кто усвоили эстетику Маяковского, лишены ощущения Бога, и поэтому стали бездушной глиной.

А пролетарские, не желая этого, но что-то помня, ощущали Бога, но и они забыты. Забыты читателем, потому что не блистали талантом, забыты Государством, потому что служили не ему, Государству, а своей идее Государства. Царю не нужен убежденный монархист. Царю нужен раб.

С одним из пролетарских я подружился. Это был человек с биографией не совсем обычной.

В конце прошлого века зажиточная сербская семья отправилась в Россию на поклонение святому Сергию Радонежскому, в честь которого был назван единственный ребенок в семье, маленький Сережа. Двигались по старинке, на подводах, и вот в лесу на паломников напали разбойники, ограбили и убили отца, мать умерла от разрыва сердца, в суматохе пропали документы. Сережу Обрадовича (он стал в России Обрадовичем), осиротевшего так страшно, приютила семья часовщика из Марьиной Роши, тоже направившаяся в Лавру на поклонение. Сергей стал часовщиком. Он пристрастился к чтению, сочинял стихи. В РСДРП(б) не вступил, но сочувствовал большевикам (членом партии он стал поздно, в сталинское время). Сербские слова забыл начисто, по-русски до конца жизни говорил как житель Марьиной Роши, например, вместо «каждый» — «кажный», но, с юности книголюб, был начитан. Он вошел в советскую историю, его стихотворение было напечатано в 1912 году в первом номере «Правды». В 1926 году почтенный пролетарский поэт оказался собственником нескольких торговых судов: скончался в Югославии его дядя, крупный судовладелец. Других наследников не было, племянника сербы разыскали в Советском Союзе. Дядины суда Сергей Александрович отдал Государству, за что был награжден именными золотыми часами.

При всех своих гражданских заслугах и несомненном, хотя и скромном, даровании он был даже не на вторых, а на третьих ролях. Объяснялось это тем, что он понял тщету газетных высказываний и тихой своей строкой стал касаться внутреннего мира человека.

Когда я приехал в Москву в августе 1929 года, он заведовал стихами в альманахе «Земля и фабрика», вотчине

«Кузницы» (и одно время, по совместительству, в погибающих «Недрах»). Напечататься в «Земле и фабрике» было весьма почетно, там помимо «кузнецов» сотрудничали Замятин, Пастернак, Багрицкий. Насколько я знаю, из молодых этой части удостоились только Павел Васильев и я. Приносил стихи еще один ровесник наш, надменный не по годам, не по-комсомольски вежливый, даже несколько церемонный Александр Твардовский, его стихи мне нравились меньше, чем стихи Павла Васильева, но больше, чем мои, я почувствовал в них силу. Обрадовича они не обрадовали, говорил: «Жидко». Меня это до сих пор удивляет, потому что Обрадович был человеком не только доброжелательным, но и с литературным вкусом.

С Твардовским я познакомился в первые дни своего приезда в Москву. Произошло знакомство в помещении редакции журнала «Октябрь», в доме, примыкавшем к Петровскому пассажию со стороны Неглинной. В длинном узком коридоре мне выдали свежий номер журнала с моими стихами и сразу же гонорар. Я двинулся к дверям, раскрыв и читая на ходу журнал.

— Своими стихами наслаждаетесь, — услышал я за спиной. Я повернулся, увидел высокого, красивого блондина моих лет. Я сказал:

— Не своими.

— Чьими же? — продолжал насмешливо спрашивать блондин.

— Какого-то Твардовского, поляка, что ли.

Мой ровесник (я легко догадался, что он тоже начинающий) посмотрел на меня с интересом:

— Чем же это вам так понравился Твардовский?

— Он не попугай, как прочие. Он мыслит. Хорошо рисует.

— А его мысли вам по душе?

— Нет. (Мы уже спускались по лестнице.)

— Я Твардовский. Но я не поляк, коренной русский. Зайдем в «низок» напротив, поговорим.

«Низок» принадлежал нэпману. В трактире было тихо и пусто. Теперь там общественная уборная. Подошел половой, одетый, как до революции, в длинную белую рубаху. Твардовский заказал водку, блины.

Я сказал:

— Как хорошо, что есть частник. А ваш инспектор по качеству (об этом было стихотворение Твардовского) него-

дует на то, что у крепкого, зажиточного единоличника хозяйство развивается успешно.

Твардовский нахмурился, рассердился, потом спросил: — Кого это вы имели в виду, говоря о попугаях?

Я назвал несколько фамилий комсомольских, прибавил модных — Сельвинского, Луговского. Мой собеседник повеселел. Наши вкусы, оказалось, совпали. Мы начали читать друг другу свои стихи. Его мне понравились, мои ему — нет. Со временем он стал относиться к моим стихам с большим интересом, он впервые, после 25-летнего перерыва, напечатал мои стихи в «Новом мире», но всегда подчеркивал, что я мастер перевода, а собственные стихи пишу только для собственного удовольствия...

Мы подружились с Обрадовичем, несмотря на значительную разницу в годах. Я привлек его к переводам. Дело это помимо всего прочего требует хорошей техники. Обрадович компенсировал ее недостаточность старательностью, добросовестностью. Он умер от рака горла, еще не старым.

Обрадович был не первым пролетарским поэтом, с которым я познакомился. Еще в Одессе судьба свела меня с его соратником — Александром Николаевичем Поморским.

Видимо, искали, куда бы пристроить заслуженного старого большевика, сидевшего в царских тюрьмах, не отличавшегося умом и не расталкивающего локтями боевых и жадных единомышленников, и вот нашли ему не блестящее, но и не совсем плохое место при тогдашней безработице в нашем городе, назначили заведующим отдела литературы в «Одесских известиях». Он приехал из Москвы с молоденькой женой, — она была немногим старше меня и лет на двадцать с лишним моложе мужа, толстенная, с богатейшей грудью, курносенькая, щербатенькая, но при всем этом миловидная. Звали ее Таня. Она была внучкой довольно известного в свое время писателя Иеронима Ясинского. Позднее я узнал, что и при старом, и при новом режиме у него была не очень хорошая репутация.

Поморского «проходили» в школе: в хрестоматии для младших классов было напечатано его стихотворение «Рабочий дворец». Детишки декламировали: «Мы, гордые, строим, мы, гордые, строим, мы строим рабочий дворец». У Поморского были остолбеневшие глаза раз и навсегда сильно удивившегося человека, в трудных случаях часто бессмысленно моргавшего. Он казался мне не злым, но не-

много тронутым, хотя и не без житейской хитрости. Он вышел не из народа, его отец был писатель Пружанский. Он неплохо знал литературу, любил щеголять цитатами из Фихте, Фейербаха и, конечно, Маркса и Энгельса. В его памяти прочно отложились произведения «знаньенцев».

Однажды Поморский, столичный гость, читал у нас на кружке поэму. Приезжий поразил нас простодушной наглостью: его поэма была бессильным перепевом «Двенадцати» Блока, — те же ритмы, те же картины петроградских улиц революционной поры, даже сюжет тот же, даже рефрен вроде такой: «На всем белом свете — только ветер, октябрьский ветер». В отличие от «Двенадцати», разумеется, все это было идеологически прицельно, никакого Христа.

Читал Поморский невнятно, у него всегда была каша во рту, но старался быть актером: иные строки пел, иные — выл, закрывая глаза, пританцовывая. Он надоел слушателям, его прерывали с черноморской грубостью, но он самозабвенно продолжал петь и выть.

Началось обсуждение. Оно происходило в литературном кружке при газете «Молодая гвардия», наименее культурном в городе, но даже здесь Поморского по-молодому беспощадно высмеяли. Нашлось у него только два защитника. Назову их Саша Ш. и Паша П. Оба они были комсомольцами — первое отличие от большинства участников кружка — и комсомольскими поэтами (правда, начинающими местного значения) — второе отличие. В кружке они представляли собою рабочий класс. Саша был водопроводчиком, сыном рабочего табачной фабрики, Паша состоял в комсомольской ячейке судоремонтного завода, но устроился так, что на заводе не работал. Он принадлежал к новой элите, был сыном рано умершего видного одесского большевика, чье имя, кажется, до сих пор носит одна из улиц в нижней, портовой, части города.

Поморский обоих регулярно печатал в газете, полюбил, как близких по духу, по классу и по примитивности письма, да и приятно ему было, что эти поэты нового, комсомольского поколения относились к нему как к учителю. И действительно, они защищали его поэму не только из благодарности за то, что Поморский их печатает, не только из почтения к старому большевику, — поэма им взаправду нравилась, а Блока они, кажется, не знали — ни «Двенадцати», ни других его стихов. Да и что они знали? Только нескольких шумных современников.

Во всяком случае за честность Саши я могу поручиться. Это был парень добрый, старательный, душевный. Уже в Москве он пришелся по сердцу Мандельштаму, который охотно печатал мягкого и почтительного студента из рабочих в «Московском комсомольце». Во время своей воронежской ссылки Мандельштам опубликовал в местной печати рецензию на сборник дагестанской поэзии и похвалил Сашу приблизительно в таких выражениях: «человек со скромным лирическим дарованием, способен недурно переводить, если относится к делу добросовестно».

Однажды в Одессе я стоял задумавшись на краю улицы, в уме что-то сочинял и вдруг почувствовал, что мою шею сжимают сзади клещами. Это водопроводчик Саша поднялся на асфальт из канализационного люка и приветствовал меня таким образом. Он скончался в преклонном возрасте, и мы до конца его жизни сохранили с ним добрые отношения, этому не помешали его партийность и мой выход из Союза писателей. Он был из тех людей, в которых человеческое начало главенствует.

Да и Паша казался мне славным. В ранней молодости все мы кажемся друг другу славными, так начинается дружба, и только с годами выясняется, что дружба не должна была начинаться, что люди сошлись чужие, свела их не общность притяжения и понимания жизни, а летучая общность возраста, профессии, территории, — мнимая общность.

Я уже рассказывал в другом сочинении о том, какой донос на меня состряпал Паша, вызванный в 1949 году по делу одного арестованного одессита. Паша вспомнил, что в юности я «пропагандировал белогвардейца Гумилева». Через год, в 1950-м, рухнула долгая, казалось бы, сердечная дружба Паши с Сашей. А ведь какая была дружба — водой не разольешь, всегда и всюду вместе, даже сборники лирических стихов выпускали совместно, две фамилии на одной обложке. Так длилось более двадцати лет — и кончилось разрывом. Саша перестал с ним встречаться и разговаривать до конца жизни.

А с чего началось? Паша, прослужив во время войны первые два года журналистом на Черноморском флоте, сумел устроиться в тыловой каспийской флотилии. В Баку он заново женился, осел. Но после войны ему захотелось назад в Москву. Прописку он там потерял, когда бросил первую жену и двоих детей, и вот остановился у Саши, который с женой и сыном-студентом занимал комнату в коммуналке на Покровке. Живет Паша месяц, живет год, в тесно-

те (крайней) да не в обиде. Вместе с Сашей что-то переводят, когда им дают (очень редко) в издательстве подстрочники, вместе приходят на партийные собрания. Однажды заявляется к жене Саши дворничиха (она эту семью любила, все ее любили) и говорит: «Что надумал ваш жилец. Надо, советует, переписать жилплощадь на меня, а то всех евреев скоро вышлют из Москвы, так пусть комната достанется мне, я же им друг, а не посторонний человек».

Саша выгнал Пашу. Он мне рассказал эту историю со слезами на глазах. Как я уже писал, больше они никогда не встречались, разве что на писательских партийных собраниях. И снова спросим: что есть дружба?

А что меня свело в юности с дурным Пашей или с добрым Сашей? Город, в котором мы родились, литературные кружки, которые мы посещали? Но в действительности оба они уже тогда были мне чужими, и не только они.

Вот эти двое и привели меня в Одессе к Поморскому. Тот с женой занимал номер в гостинице «Империал» на Преображенской, закрытой, предназначенной только для тех, кто у власти. Я впервые в жизни был в гостинице. Меня поразило обилие кожи: кресла в фойе, галифе и куртки постояльцев — все из кожи. И женщины, как правило, широкобедрые, в оттопыривающихся сзади и с боков кожаных куртках.

Поморские встретили нас приветливо, в особенности добродушная Таня. Мне показалось, что между нею и Пашей что-то происходит. Поморский ничего не замечал, он читал нам свои длинные скучные стихи, нарочито лишенные метра и рифмы, жалкие, беззастенчивые копии Уитмена, Верхарна, читал, завывал. Потом стал ругать своих со товарищей по Пролеткульту, по «Кузнице», в особенности преуспевающих, например, Федора Гладкова, мол, забурели, грабастают гонорары, сильно превышающие партмаксимум, обзавелись большими квартирами, обуржуазились, вот у Гладкова два сервиза, обеденный и чайный. Оказалось, он не чужд юмора. Сообщил юношам-провинциалам такой анекдот. В Москве в писательской среде появилась красивая слепая девушка, которая, ощупав лицо человека, называла его имя. Когда к ней подвели Гладкова, она, ощупав его лицо, покраснела и возмутилась: «Какая глупая шутка!»

Посетовав на то, что утратили пролеткультовцы революционный дух, милостиво мне сказал, что я владею стихом, но во мне нет пролетарской твердости, классового ми-

ровоззрения, что всему этому я должен научиться у своих товарищей-пролетариев. Пусть не подумает нынешний читатель, что Поморский был намного глупее других. Так тогда говорили все, руководившие литературой, да, в сущности, и теперь продолжают так говорить, только безо всякой убежденности, а если со страстностью, так наигранной.

Поморские вскоре возвратились в Москву, видимо, Александр Николаевич получил там новое, более достойное его партийного стажа назначение, и в том же году уехали в столицу Паша и Саша, стали студентами филологического факультета Московского университета. Мы переписывались. Они звали меня в Москву, обещали помочь мне поступить в МГУ, обещали (вернее, как бы обещали) крышу над головой, пока не устроюсь в студенческом общежитии. Указали адрес квартиры, где они сейчас живут: Малые Кочки.

А я действительно собирался в Москву. В этом намерении меня укрепил добрый совет Багрицкого, а в особенности драгоценная открытка обожаемого мной Мандельштама: он благожелательно отозвался о моем стихотворении, присланном из Одессы, которое ему попало на глаза в редакции журнала «Молодая гвардия», и даже приглашал меня к себе, если буду в Москве (об этом важном для меня событии я написал в своих опубликованных в Нью-Йорке воспоминаниях об Осипе Эмильевиче «Угль, пылающий огнем»).

И вот в конце августа 1929 года я приехал в Москву. В бесплацкартном вагоне было пыльно, грязно, душно, и я прямо с Брянского (теперь Киевского) вокзала направился со своим чемоданом к Москве-реке, чтобы, по одесской привычке, искупаться, поплавать. Появился милиционер. Он обложил меня матом (первые услышанные мною звуки московского говора), но, узнав, что я приезжий, смягчился, объяснил, что в городе купаться нельзя, даже посоветовал, как мне добраться до Малых Кочек: сесть на четвертый трамвай, а на Арбатской площади пересесть на семнадцатый, а там уже рукой подать.

В трамвае, в отличие от всегда переполненных одесских, имелись свободные места. Мое внимание привлек высокий, толстый блондин в толстовке ниже колен, в широкополой шляпе. Он громко разговаривал с другим пассажиром, из его слов я понял, что он литератор. Как потом оказалось, это был известный юморист Арго, с которым я впо-

следствии познакомился. Вот, значит, каковы московские трамваи: в них запросто едут писатели!

Оказалось, что Паша и Саша временно обитают в квартире Поморского. Сам хозяин сейчас отдыхает в Крыму, его ждут со дня на день. Квартира роскошная, две комнаты: одна — большая, саженей четыре или даже пять, другая — крохотная, кухня с антресолюю. Я узнал, что в крохотной комнате спят, как муж и жена, Паша и Таня. Меня поместили в большой, вместе с Сашей.

Мне еще месяца не хватало до восемнадцати, да и революции не хватало трех месяцев, чтобы стать двенадцатилетней, во мне действительно не было революционного мировоззрения, я не мог понять, как Паша осмелился отбить жену у человека, его приютившего, ему благодетельствующего. Ладно, нет совести, но где же пролетарская солидарность, партийная дружба?

Теперь Паша только и делал, что поносил Поморского. Он и дурак, он и невежда, он и в тюрьме-то не сидел, все врет, все липа, он и бездарность, даже знаменитый «Рабочий дворец» принадлежит не ему, это коллективное произведение молодых рабочих, которое Поморский только кое-как обработал. Щербатенькая Таня, похорошевшая, раскрыв пунцовый ротик, балдея от женского счастья, внимала своему любовнику. Саша относился к событию с непонятным мне сочувствием и с понятным юмором. Только одна его фраза звучала не вполне по-дружески: «Теперь наш Павло будет иметь в Москве собственную жилплощадь». А тогда (как и сейчас, впрочем) это было приобретение серьезное, редкостное.

В МГУ мое дело решилось быстро: меня не приняли, — не комсомолец, не рабочий, нет рекомендации предприятия. Несколько вырезок из газет и вышедший к этому времени номер журнала «Октябрь» с моими стихами (на что я сильно надеялся) оказались ненужными, не имели силы. Но в Одессу я решил не возвращаться.

Мне жилось удивительно хорошо. В «Октябре» мне дали шестьдесят рублей, по рублю за строчку: сумма по тому времени весомая, если учесть, что на еду я тратил в день 70-90 копеек. Трамваем не пользовался, так как тогда надо было брать до центра не один билет, а три, что стоило 15 копеек. Стоял на редкость для Москвы теплый сентябрь, с утра я уходил на ближайший к Малым Кочкам пляж химиков, недалеко от Новодевичьего. Как на родном юге, я там купался до полудня. Мне открылось Новодевичье кладби-

ще. Вход в него был тогда свободный, и все в нем дышало Россией, не мертвой, а живой, — кресты, распятия, деревья, неожиданно, с радостной болью возникавшие памятники — Чехову, Владимиру Соловьеву...

А вечерами я посещал концерты в консерватории. (Я не сразу понял, что у меня нет музыкального слуха.) Полюбил театр. Особенно легко было по контрамарке, полученной в окошке администратора (я предъявлял устаревшее удостоверение сотрудника одесской газеты), попасть в театр Мейерхольда, всегда заполненный лишь наполовину, — московская широкая публика его не жаловала. Сильное впечатление на меня произвели «Мандат» с Эрастом Гариным и «Великодушный рогоносец» с Игорем Ильинским. Гораздо труднее было по тому же удостоверению получить контрамарку в Художественный, но все же мне удалось увидеть «У врат царства» с Качаловым и «Царя Федора Иоанновича» с Москвиным. Эти спектакли меня потрясли, я до сих пор их помню во многих подробностях.

Совсем трудно было проникнуть в излюбленные москвичами театры б. Корша, Сатиры, Вахтанговский, в которые потом я попадал запросто, когда близко познакомился с П.Г. Антокольским, заслуженным вахтанговцем.

Мои сожители наслаждались вечерами по-иному: Саша — чтением жаровских и уткинских сборников, писанием стихов и ежедневных писем жене в Одессу, Таня и Паша — своей любовью. И вот однажды ясным утром раскрываются двери и возникает Поморский с двумя чемоданами и большой плетеной корзиной, из которой полосато выглядывает огромный арбуз. Тяжело дыша, пролетарский поэт поставил поклажу на пол в коридоре, расцеловался с Сашей, со мной поздоровался за руку и спросил:

— А ты что здесь делаешь?

— Живу, — ответил я со спокойной краткостью.

Он посмотрел на меня своими навсегда остолбеневшими глазами, но не сердито, и задал второй вопрос:

— Где Таня?

— Там, — указал я на вторую, маленькую комнату.

Поморский двинулся к ее дверям.

— Туда нельзя, — твердо сказал Саша.

— Почему? — У Поморского усилилось частое моргание.

— Они там с Пашкой. Тебе неудобно.

Поморский спервоначалу как будто согласился с тем, что ему неудобно входить туда, где находились его жена и Паша, потом спохватился:

— Кому неудобно? Почему неудобно?

Окончательно опомнившись, уже начиная понимать ситуацию, он рванул ручку. Дверь была заперта изнутри. Поморский стал исступленно стучать, он выкрикивал что-то невнятное, с дрожащих губ его стекали кипящие капли. Сердце мое сжалось.

Вдруг дверь открылась. Вышел Паша, — в матросской тельняшке, на ходу застегивая брюки, босой. Запомнились большие плоские ступни. Южные, малороссийско-семитские его глаза (кажется, он по матери еврей) налились жестокостью:

— Чего хулиганишь, старый говнюк?

Обе стороны встали на путь определенных. У Поморского они были тривиальны, скажем, «сволочь» или «мерзавец», но одно — в духе тех лет: «погрязший в есенинском разврате», а другое — совсем странное: «растлитель». Определения Паша попадали в цель точнее: «перерожденец», «бездарность», «плагиатор», «импотент» (при этом слове — отчаянный крик и всхлип Тани за дверью) и просто «вонючка», но с эпитетом «забюрократившаяся».

Наконец, Саше удалось оттащить разгневанного и несчастного Поморского в большую комнату, а мне — впихнуть Пашу в маленькую. Поморский несколько раз выбегал в коридор, стучал в бессильном отчаянии в запертую дверь, выкрикивал что-то и возвращался в комнату. Саша посоветовал мне глазами, чтобы я удалился.

Мне было жаль Поморского. Я мысленно осуждал Пашу, Таню я почему-то не осуждал. Спор из-за самки самцов нового типа — старого большевика и студента-комсомольца — был не только комичен, но и грязен.

Я шатался по городу в долгом волнении, но не забыл пообедать, как всегда, в столовой «Правды» на Тверской (так научили меня Паша и Саша), где за сорок копеек борщ давали с большим, как ладонь, куском мяса, зразы крупные, две штуки, гречневой каши от пуза, хлеб — в изобилии, компот почти домашний. В восемнадцать лет едят много.

Потом я двинулся по Бульварному кольцу, пошел по Арбату, приобрел дневной — дешевый — билет в кинотеатр «Арс», на экране хорошо пела Мэри Пикфорд. Вечером вернулся домой.

Поморский и Саша сидели за столом и ели розовый арбуз. Саша пригласил меня к столу. Беседа протекала спокойно. Комнатка, в которой заперлись Паша и Таня, была намертво тиха. Я почувствовал, что Поморский недоволен моим присутствием. Когда Саша мне сказал: «Я раздобыл для тебя у соседки раскладушку», Поморский посмотрел на меня весьма неприветливо.

Я перенес постельное белье с дивана, на котором спал, на раскладушку. Утром я проснулся, услышав чье-то дыхание. Я открыл глаза. Надо мною склонился небритый Поморский. Расставив руки и растопырив пальцы, он сказал:

— Общежитие закрывается.

Изю рта его пахло плохими зубами. Растопыренные пальцы распахнутых рук должны были обозначать то неведомое, безграничное пространство, в котором мне предстояло исчезнуть.

Уселюсь втроем пить чай. Оказалось, что Поморский, помимо арбуза, привез из Крыма мелкий, темно-фиолетовый виноград.

— Бери, — предложил он мне.

Ободренный, я сказал:

— Дай мне пожить у тебя три дня, чтобы я мог подыскать себе угол.

Как и он мне, я говорил ему «ты», согласно партийно-комсомольской этике. Поморский важно поджал губы, усилил частое моргание и с властностью, плохо прикрывающей растерянность и тоску, произнес:

— Через пять дней общежитие закрываю. Саша остается. О недостойном поведении Пашки сообщу в его комсомольскую ячейку. На Таньку мне наплевать, больно нужна мне, толстопятая, получше найду, я еще парень хоть куда.

Итак, мне милостиво была дана отсрочка на пять дней. Собственно говоря, мне не к Поморскому следовало приезжать. Багрицкий обещал устроить меня в Кунцеве, недалеко от себя. Я запомнил его слова: «Живу в Овражном переулке, с видом на болото». Но теперь, вкусив прелести столичной жизни, увлекшись театром, я не хотел покидать город, забираться в деревню.

Я отправился на поиски жилья. Между Малыми Кочками и Новодевичьим имелись деревянные переулки, дома двухэтажные, у ворот — колонки, лавочки. Один из переулков почему-то назывался Учебным. Теперь он уничтожен, в тех местах возведены высокие здания. Я шел от двора к двору, везде получал отказ, но в одном из домов хозяйка

мне сказала, что у нее есть жилец, он сейчас призывается в армию, но придумал себе болезнь, а если его все-таки возьмут, то она на время его отсутствия сдаст мне комнату за 15 рублей в месяц. Комната мне понравилась, сажени две на глаз, чистенькая. Мы условились, что я буду заходить каждый день, справляться, как решилась судьба допризывника.

Успокоенный, я отправился в город, — шел мимо старых клиник на Пироговской, пересек Смоленский бульвар (тогда еще в самом деле был бульвар, посреди него двигался трамвай «Б»), стал любоваться разностильной архитектурой Пречистенки (я уже знал, что так раньше называлась Кропоткинская), вспомнил Андрея Белого:

*Бегу Пречистенкою — мимо:
Куда? — мета — замечена;
Но чистой необъяснимой
Пустая улица ясна...*

Разве могло мне прийти в голову, что через несколько лет я буду жить вблизи этих мест, в Неопалимовском переулке, где буду навещать своего соседа — Андрея Белого — в его полуподвале, а он, подкрепляя математику антропософией, будет страстно опровергать математические оракулы Хлебникова.

Вот и Мертвый переулок (и стихи того же поэта: «Все спит в молчаньи гулком над Мертвым переулком»), вот и Храм Христа Спасителя. Он был уже крепко, жестоко заперт, но на его ступенях, ведущих к нему со всех сторон, было оживление, густо виднелись парочки: студенты и студентки здесь обычно назначали свидания: ведь университет был рядом. Почему они с утра не на занятиях? Да ведь сегодня воскресенье.

Я впервые бродил по улицам воскресной Москвы, среди неспешной, одетой гораздо беднее, чем одесская, трезвой толпы, вдоль осенних деревьев с тяжестью пыли на листьях. Я решил двинуться к Земляному валу, — москвичи говорили просто Землянка, — потому что оттуда начинал свой маршрут 15-й трамвай, довозивший пассажиров до Усачевки, а мои Малые Кочки были недалеко от Усачевки.

По дороге в кафетерий на Мясницкой, где — новшество! — платили, уже насытившись, при выходе предьявляя какие-то блямбы, я пообедал сосисками с горячей, испускавшей пар капустой. Да, что-то справедливое есть в воз-

дыханиях стариков: теперь не те поэты, не те актеры, не те сосиски, сплошная синтетика.

Около Земляного вала был рабочий клуб, — не помню, чье имя он носил. Афиша указывала, что сегодня, в воскресенье, в клубе будет поставлен спектакль «Пигмалион», начало в три часа дня. Я был равнодушен к Бернарду Шоу, но, уже одержимый театром, быстро двинулся в тот переулок, где помещался клуб, и легко приобрел билет. Не знаю, что за труппа играла в тот день, может быть, самодеятельная. В пьесе, где лингвистика заменила скульптуру, исполнительница главной роли была очаровательна. Талант ее жегся, завораживал. Я забыл о Поморском, о своей бездомности, весь мир сиял мне глазами юной англичанки, сперва грубой, как наши одесские пересыпские девахи, потом грациозной, печальной, умной. Актриса осталась для меня безвестной. Гораздо позднее я снова увидел «Пигмалион» в Малом. Играла Зеркалова. Эта роль была ее триумфом. Но в памяти моей живет другая актриса, та, безвестная. Нет так ли, стихи юного, пусть несостоявшегося, ровесника живут в сердце глубже и дольше, чем произведения громкого поэта? Сделаю отступление, может быть, не совсем нужное.

Года через три после того воскресного дня я снова попал в тот же клуб, но уже в качестве выступающего, а выступал я — шутка сказать! — вместе с Пастернаком. Принимали участие в вечере и пародист Архангельский, и Василий Цвелев, такой же, как и я, едва начавший печататься. Мы, все четверо, ехали демократическим способом трамваем по Маросейке, Покровке. С нами был еще представитель — чего? — не помню, возможно, группкома писателей. Союза писателей еще не было. Выступали бесплатно: общественная нагрузка.

На Земляном валу тогда торговали цветами. Пастернак в «Спекторском» выразился об этой улице так: «Живой цветник из Фета». Сейчас я расскажу, почему вспомнил о «Спекторском». Сначала выпустили на сцену нас, молодых. Слушали без всякого интереса, но вежливо. Потом на сцене появился Пастернак. Его встретили жаркими аплодисментами. Видимо, оказавшись вблизи Земляного вала, Пастернак, еще молодой, вдохновенный, красивый, я бы сказал, прекрасный, прочел строки из «Спекторского», описывающие этот самый вал, начав строкой: «Многолошадный, буйный, голоштаный». Раздался гомерический хохот. Я понимаю так: простых людей рассмешило непозитическое, показавшееся им приятно-грубым, слово «голо-

штанный». Выяснилась еще одна подробность: зрителям был обещан поэт-сатирик, т.е. Архангельский, и они решили, услышав слово «голоштаный», что Пастернак и есть тот самый сатирик. Может быть, на сатирический лад настроила их овощная фамилия поэта, и поэтому люди его встретили аплодисментами, надеясь культурно отдохнуть. Они заранее приготовились смеяться. Как же поступил Пастернак? Как гений. Он громко захохотал вместе с публикой, потом загудел: «Вы правы, все, что мы пишем, не достойно вашего внимания, смешны все наши потуги». Его провожали так же горячо, как и встречали.

В тот давний воскресный день я вернулся домой, когда улица была еще светлая, а я все еще находился во власти «Пигмалиона». Дома я застал одного Поморского. Хозяин мне пожаловался:

— Не ожидал от Саши, пошел в кино вместе с Танькой и Павкой, беспринципность проявил. Испортит хорошего парня кабацкая шантрапа, а у него нашей закалки нет.

Раскладушка моя была уже постелена; я понял, что добрый Саша позаботился обо мне. На столе лежала большая, толстая, нестандартных размеров книга, на переплете синего коленкора золотым тиснением было выведено: «Александр Поморский. Карьера Затычкина».

— У тебя вышел роман? Года к суровой прозе клонят? Поздравляю!

Я был искренне рад, что жизнь даровала хоть такое утешение столь скотски-некрасиво брошенному мужу. Поморский остановил на мне остолбеневшие глаза.

— А ты раскрой книгу-то.

Оказалось, что это не книга, а роскошно, любовно переплетенная машинопись. Поморский почему-то засуетился, неожиданно предложил:

— Чаю попьем с ванильными сухариками. А ты моего «Затычкина» почитай, тебе полезно будет. Нашумит вещь-то, нашумит.

Я стал читать. Герой романа — писатель Затычкин, бездарный, малограмотный, без стыда и совести. Приспособленец, карьерист, тайный трусливый развратник. Надо сказать, что в то время это была модная тема. Только что закончился нашумевший процесс. Молодых писателей Альтшулера, Аврущенко и Анохина обвинили в изнасиловании замужней женщины, которую они завлекли в свою разложившуюся, разгульную (в газетах писали: «есенинскую») компанию. В Москве с большим успехом шел (кажется, в саду «Эрмитаж») спектакль-обозрение о грязных походе-

ниях писателя, пройдохи, авантюриста. Нэпманская публика валом валила на завлекательное представление.

Роман Поморского был написан из рук вон плохо, словарь тусклый, композиции никакой, остроты заезженные, но чувствовалось, что Затычкин срисован с живого лица. А это уже кое-что. Свое наблюдение после двухдневного тягостного периода ознакомления с романом я высказал в качестве похвалы. Поморский обрадовался:

— Гришку Санникова изобразил. В «Красной Нови» устроился заведовать стихами, а талантишко-то с куриный помет.

Похвалив хозяина, я получил возможность покритиковать. Говорил о длиннотах, о том, что на шестистах страницах мало действия, что в произведении такого жанра необходимо больше изящества, легкости, блеска, даже эксцентрики.

Поморский заморгал, поджал губы, потом близко склонился ко мне и, обдав запахом нездоровых зубов, хриплым шепотом сказал:

— А ты, того, подбавь эксцентрики. Живи у меня, сколько хочешь, не гоноу тебя. Я же не собственник какой-нибудь, не Тит Титыч.

Я обалдел от неожиданного, такого заманчивого, но и странного предложения. Я читал, что на Дюма работали писатели-негры, но мне и в голову не приходило, что так поступают и в наше время. Однако стоит лишь согласиться — и легко и быстро будет решен жилищный вопрос! Но как быть, я не владею пером прозаика. Поморский, в сильном возбуждении, продолжал:

— Сначала отшлифуем первый том, а там и за второй возьмемся. Я такое задумал, что все ахнут. Эпопея загнивания литературы, лишенной классовых устоев. Они думают — Поморский кончился, а я — вот он, выведу их на чистую водичку.

На другой день я, полный благодарности, отчаяния, стыда, приступил к работе. Проза мне не давалась — все выходило пресным, вялым — диалоги, эпитеты. Саша, которому я рассказал о поручении Поморского, хитро мне советовал:

— Брось прозу, сочиняй стихи, в которых отразилось бы приспособленчество Затычкина.

Дело у меня пошло. До обеда я написал несколько произведений. Тут были и куплеты (подражание старым водевилям), и басни, и гражданская лирика. Когда пришел Поморский, я прочел ему, гордясь и радуясь, написанное. По-

морский был недоволен, — ни одной исправленной, отредактированной страницы, но стихи скорее одобрил.

Постепенно в эту работу вовлекся и Саша. Более того, «погрязший в есенинском разврате», Паша тоже стал писать для «Затычкина». У него получалось, пожалуй, ближе к теме, чем у нас. В его пере было много злости, а злость — коварная дуэль таланта. Поморский не отказывался от его усилий. Теперь мы сидели вчетвером, обсуждая созданное за день, весело дополняя друг друга, а Таня, наслаждаясь нашим согласием, накрывала на стол, хозяйничала, счастливая.

Я понимал, что живу неправильно, свое не пишу, поглощенный нечистым делом. Надоели мне и эксцентрический роман, и автор, и глупые стишки, которые приходилось ежедневно изготавливать. Я пошел в Учебный переулок, надеясь, что комната для меня освободилась и тем самым наступит мое освобождение. Освободилась-то она освободилась, жилец отбыл в армейскую часть, но хозяйка успела сдать комнату другому, так как я перестал справляться. Делать нечего, пришлось снова приняться за Затычкина.

Разразились известные события на КВЖД. Я придумал, что приспособленец Затычкин непременно, как халтурщик, должен откликнуться на эту актуальную тему, напишет стихи, чтобы заработать не только деньги, но и общественное признание. Я предложил Поморскому нижеследующее: стихи начинались строкой о том, что мы крепко стережем границу, чужой земли не хотим, но если даст приказ Союзный ЦИК, то... и т.д.

Поморский выслушал меня крайне серьезно, со значением поджав губы. Сказал:

— Союзный ЦИК уберит. Надо так: по приказу наркомвоенмора.

— Да пойми, — возразил я горячо, в ничтожестве своем уже увлеченный постыдной работой, — что эта нелепая строчка, бюрократическая лексика хорошо характеризует халтурное приспособленчество Затычкина, его безразличие к заботам страны, к опасному инциденту на наших дальневосточных границах.

— А нам вовсе не надо автора превращать в глупую карикатуру.

— Как так? — опешил я.

— Стихи получились хорошие. Их можно использовать иначе. А ты отдохни, походи погуляй. Павке и Саше показывал?

— Не успел им прочесть.

— И не надо, не читай.

Поморский вел себя непонятно. Взял все мною (только мною!) сочиненное, просматривал, что-то записывал. Потом заторопился, ушел, с черным парусиновым портфелем в руке.

Вечером, едва вступив в дом, не глядя на вернувшихся из университета сожителей, сказал мне:

— Давай пройдемся.

Что это нашло на него? Он смотрел на меня не так, как обычно, — не то ласково, не то смущенно. На улице он мне сказал:

— Я поправил. Вместо «Союзный ЦИК» написал «страна труда». Правда, удачно? Весь гонорар отдам тебе, не обижу.

— Какой гонорар?

— А у меня приняли стихи в Музгизе на Неглинке. Срочно отправили текст композитору, члену пролетарской ассоциации. Вот оно как. Ты всегда меня слушайся. Есенин, уж какой поэт, что бы про него ни говорили, а слушался Городецкого.

О, как горько, как больно мне стало! Голова у меня закружилась. Я с детства боялся высоты. А тут мне показалось, что я стою над пропастью. Бежать, скорее бежать к Багрицкому в Кунцево, в Овражный переулок.

Через неделю или две песню запела вся страна...

Как-то я поведал об этой поре своей жизни Василию Гроссману. Он был удивлен, более того, как мне показалось, возмущен:

— Так это твоя песня? Я тоже пел ее в студенческие годы. Но ты врешь. Сейчас придумал. Стал выдумщиком вроде Паустовского. Неужели ты создал песню, которую запел народ, и никто об этом не знает. Быть этого не может.

— Я рассказывал в разное время нескольким близким друзьям. Родственникам. Детям.

— Ну и что?

— Как матери чеховского архиерея, мне никто не верил.

... Много лет я не видел Поморского. Наши пути не пересекались. «Карьера Затычкина» не вышла в свет, я бы знал. Где-то в шестидесятых я случайно встретился с ним. Он, конечно, постарел, но не так сильно, как я ожидал. Он был с женой — пожилой еврейкой. Он сказал:

— А хорошую песню мы с тобой в молодости написали.

Сентябрь, 1985

В ОБРАЖНОМ ПЕРЕУЛКЕ И НА ТВЕРСКОМ БУЛЬВАРЕ

В тот год в Кунцево жили писатели, большей частью молодые и безвестные, родом из двух противоположных областей России: одесситы и сибиряки. У одесситов был лидер — знаменитый поэт Багрицкий, у сибиряков лидера пока еще не было. Когда Павел Васильев обрел внутрилитературную известность, он покинул Кунцево, получил комнату в Москве, где-то недалеко от Трубной площади. Кроме Павла Васильева снимали в Кунцево комнаты в деревянных домах, а то и в избах, сибиряки Сергей Марков и его брат, милый, тихий, больной человек (он рано умер из-за распространенной у нас слабости), Евгений Забелин (не знаю, как сложилась его судьба), Лев Черноморцев, чья фамилия как бы объединяла две группы квартирантов, южную и северную. Навсегда застрявший в Кунцево, он там и умер, его старую могилу я видел, когда мы на Кунцевском кладбище хоронили Надежду Яковлевну Мандельштам.

Однажды (кажется, весной 1930 года) к сибирякам приехали в гости два их земляка. Знакома меня с ними, Васильев сказал, указывая на высокого шатена: «Леонид Мартынов — лучший поэт Сибири». Тем самым он себя как бы ставил на второе место. О другом, который тоже мог бы показаться высоким, если бы не явно коротконог, выразился так: «А это Ёня Фукс — самый худший поэт Сибири». К моему удивлению, Фукс не только не обиделся, а рассмеялся. Теперь, когда он стал видным официальным стихотворцем, он не позволил бы так говорить о себе в своем присутствии. Даже те, с кем он приятельствует, любят за его спиной над ним посмеяться, над его самоуверенностью. Человек он при этом не злой, порядочный.

Павел Васильев был всего на год старше меня, но по своему жизненному опыту опережал меня лет на десять. Сын преподавателя высшей математики, он рано покинул свой казачий Павлодар, служил матросом, завербовался зо-

лотоискателем на Лене. Когда мы познакомились, он уже был автором поэмы «Песня о гибели казачьего войска», вещи оригинальной и сильной. Мелкие его стихотворения тогда мне нравились меньше, он метался, подражая то Гумилеву, то Сельвинскому. Мы сблизились не только потому, что оба жили в Кунцево. Ему импонировало мое славянофильство (должен в этом признаться, рискуя вызвать насмешку читателя). У меня нет тех номеров «Нового мира», альманаха «Земля и фабрика», в которых были напечатаны лишённые самостоятельности мои юношеские стихи, написанные под влиянием жадно прочитанных Лескова, Мельникова-Печерского, Хомякова, Ивана и Константина Аксаковых, Н.Я.Данилевского.

Заслуживал внимания среди сибиряков и Сергей Марков, человек с несомненным и крупным поэтическим даром, знаток истории и географии Востока. Трогательно было видеть, как бережно и ласково он обращается со своим несчастным братом.

Кроме Багрицкого, жительствовавали в Кунцево писатели из Одессы: Семен Олендер, Осип Колычев, Лев Славин, вскоре переехавший в Москву, Давид Бродский, с которым маленькую комнатенку в двухэтажном доме делил я. Настоящая фамилия Колычева — Сиркис. То, что своим псевдонимом он избрал знатную боярскую фамилию, дало повод нашим землякам, Ильфу и Петрову (Евгению Катаеву), вывести его в «Двенадцати стульях» под именем Трубецкого.

Надо сказать, что этот повод был не единственным. Колычев ради заработка изготовлял стихи на случай, в большом количестве, плодovито и регулярно откликаясь на новые праздники и мероприятия правительства. Читатели нашумевшего романа помнят, наверно, что Трубецкой приносит в профсоюзные журнальчики в огромный дом на Солянке (где теперь Академия медицинских наук) стихи, в которых профессия героя меняется соответственно принадлежности печатного органа тому или иному профсоюзу.

Колычев был не лишен литературных способностей, в его стихах попадаются живописные зарисовки (он был художником-любителем), но существовал вне культуры. К тому же он непрочно владел русским языком. Главный оркестр Советской Армии под управлением Александрова до сих пор исполняет песни на его слова.

Не знаю, был ли поэтом Олендер, сын одесского часовщика, но у него бесспорно была поэтическая натура, иногда в его стихах слышалось робкое лирическое волнение.

Он то и дело заболевал наследственным сумасшествием и в это время почти всегда воображал себя то Блоком, то Пастернаком, то еще какой-нибудь другой знаменитостью. Однажды Бродский и я навестили его в психушке на Матросской Тишине. Между ним и нами было открытое, но за решеченное окно. Олендер нас узнал, говорил здраво и внешне запно запел хриплым голосом, но мелодию не перевирая, арию Онегина. Немного помолчав, он пожаловался: «Здесь меня бьют, никто не верит, что я — Норцов». Норцов был популярный в то время баритон.

С годами Олендер заболевал все реже. Он женился на кунцевской девушке, брак оказался счастливым. Он умер спокойной смертью, успев издать несколько сборников стихов, читателем вряд ли замеченных.

У Давида Бродского была феерическая фотографическая память. Он принадлежал к тем редким людям, которые, прочтя газету, могут ее повторить всю, от первой до последней строки, в газету не заглядывая. Он как-то мне рассказал: в годы военного коммунизма он был студентом медицинского факультета нашего Новороссийского университета, но, увлеченный писанием стихов, крайне редко посещал занятия. Наступили экзамены. Профессор покачал головой: «Вы посещали мои лекции? Я что-то вас не припоминаю», — но экзаменовать не отказался. Бродский, выучив наизусть за несколько дней изданный профессором учебник, отвечал с блеском. Профессор был удивлен. «Странно, странно, — бормотал экзаменатор. — А что вы думаете по поводу?..» — и задал трудный вопрос. Бродский на мгновение задумался, потом проговорил: «Ах, да, в сноске», — и ответил правильно. «Что за сноска?» — с недоумением спросил профессор, но выставил незнакомому студенту пятерку.

Тучность Бродского таила в себе нешуточную силу. Однажды Иван Поддубный, выступая в одесском цирке, предложил желающему из зрителей с ним побороться. Вызвался Бродский и устоял в схватке с популярным борцом две минуты (иногда, рассказывая, Бродский увеличивал цифру: четыре или даже пять минут). Поддубный посоветовал ему серьезно заняться ремеслом борца. Как знать, может быть, он дал Бродскому хороший совет. Знакомясь с девушкой, Бродский сгибал руку и просил пощупать его бицепсы.

Был он очень начитан, отлично знал литературу, прежде всего, конечно, русскую поэзию и прозу, — очень многое наизусть, — но также и французскую, которую читал в под-

линнике, и всю мировую — по переводам. У него был тонкий, выверенный вкус, он проявлял его скорее в прочитанном, а не в том, что писал сам. А писал он и свое, и переводы натужно, медленно, ища слова и рифмы незатертые, часто в ущерб музыке и содержательности. Он читал мне наизусть русских поэтов, от Ломоносова до Белого, и французов — от Гюго и Виньи до Аполлинера, обращая мое внимание на звукопись или на необычные синтаксические построения. Например, в пушкинской строке: «И скроется за край окружных гор» в трех «кр» слышится осеннее карканье ворон... Я ему многим обязан, в моей душе залегло чувство благодарности к нему.

Он умело использовал свою память для сугубо материальных выгод. Мне запомнилось: мы вместе приезжаем из Кунцева в редакцию «Нового мира», в котором я начал печататься в 1930 году. Весь штат редакции, размещавшийся в здании «Известий» в двух комнатах, состоял в ту далекую пору из пяти человек. Н. Замошкин заведовал критикой, литературоведением, библиографией, Н. Смирнов — прозой, М. Зенкевич принимал два раза в неделю поэтов, Вера Константиновна Белоконь, зав. редакцией, исполняла одновременно обязанности машинистки, кассира и бухгалтера. Все они сидели в довольно вместительной комнате, из которой дверь вела в небольшой кабинет редактора журнала Вячеслава Павловича Полонского, влиятельного критика. Настоящая его фамилия — Гусин. Был он длинноволос, артистичен, по его всегда спокойному лицу и размеренным движениям нельзя было понять, как ему тяжело, как теряет он свое влияние, преследуемый литературной бандой. Он умер не старым, съеденный РАППом. Рапповцы алкали крови Алексея Толстого, Булгакова, Пильняка, даже Федина, а также крестьянских (по их мнению — кулацких) поэтов Клюева и Клычкова, всех, кого Маяковский грубо и бессмысленно называл «мужиковствующих свора». Полонский их защищал в печати отчаянно, — и тех, и других.

Из кабинета Полонского дверь вела в третью комнату, гораздо большую, чем первая. Здесь помещалась редакция тонкого журнала «Красная Нива», редактируемого тем же Полонским. Из своей проходной комнаты он руководил обоими изданиями, и нередко то, что не достигало уровня толстого журнала, помещалось в тонком. В «Красной Ниве» число сотрудников было примерно таким же, как и в «Новом мире». В моей памяти сохранился только Н.С. Ашукин, литературовед и критик. Вот он сидит, не-

большого роста, сгорбившись над рукописью, уткнув в нее лицо с маленькой бородкой. В «Красной Ниве» можно было встретить не только литераторов, но и фотографов с их трехногими аппаратами. Окна всех трех комнат выходили на Страстной бульвар, куда еще не был перемещен памятник Пушкину и где еще высилось здание монастыря, через несколько лет разрушенное.

Бродский, высокий, тучный, близорукий, устраивал в редакции «Нового мира» концерт. Он знал, что и Замошкин, и Смирнов — страстные поклонники Бунина, и ловко сводил речь на великого писателя, которого после ликвидации нэпа у нас перестали печатать.

— А «Деревню» помните? Хорошо, гы-гы, — ликовал Бродский и начинал читать знаменитую повесть наизусть.

Дойдя до слов: «А бежать от борзых не следует», он смеялся счастливым смехом: гы-гы и продолжал чтение. Редакционная работа прекращалась. Входящим посетителям делали знак: мол, не прерывайте чтения. Открывалась дверь кабинета, появлялся настроенный по-деловому Полонский, измученный баталиями с рапповцами, но, забыв о деле, становился одним из слушателей. Когда раздавался телефонный звонок, Вера Константиновна брала трубку и очень тихо в нее говорила: «Он сейчас занят, заседает редколлегия».

Чтение кончено. В окне Страстным бульваром овладевает закат. Любовь к Бунину распространяется на чтеца. «Что вы нам принесли, Давид Григорьевич?» Этого-то он и ждал — и протягивал написанное печатными буквами стихотворение о приближающемся лете (осени, зиме, весне) с некоторыми социальными черточками: колосятся хлеба, или гудят фабрики, или школы наполняются красногалстучной детворой. Полонский, прочитав, произнес: «Это, разумеется, для «Нивы»?» Бродский так и рассчитывал, и, когда Полонский удалялся к себе в кабинет, выпрашивал у Веры Константиновны авансик, гы-гы. Та, нехотя, выписывала и выдавала поэту небольшую сумму.

Почти каждое утро, часов этак в десять-одиннадцать, сибиряки и одесситы сходились на железнодорожной платформе: у всех были дела в городе, бегали по редакциям. К ним присоединялись не принадлежавшие ни к одной из групп уроженцы европейского севера Вячеславов и Кюн. Вячеславов издал сборник стихов под названием «Северовосток»: название нарочито перекликалось с «Югозападом» Багрицкого. Писал стихи и Кюн, «русский немец бе-

локурый». Он был арестован, кажется, в 1934 году, и больше я никогда его не видел. Впоследствии Вячеславов нашел себя как текстолог: при его участии издавался Бунин.

Однажды на станции, когда вдали показался надвигающийся из Можайска паровоз, Павел Васильев обратился к Бродскому, отдавая честь:

— Ваше высокоблагородие господин полковник, состав подан.

В те годы полковников в Красной Армии не было, слова вроде «полковник», «генерал» были белогвардейскими, они заменялись командармами, комкорами, комдивами и т.д. Бродский, небритый, в долгополой шинели, которую он носил лет десять, со времен гражданской войны (он в ней не участвовал), действительно походил на затаившегося в московском пригороде бывшего белого офицера. Васильев это талантливо уловил.

Когда поезд прибыл на Белорусско-Балтийский вокзал, навстречу нашей литературной бражке быстро направился человек в известной всем военной форме. Приблизясь к Бродскому, он предъявил удостоверение сотрудника железнодорожного пункта ГПУ и приказал: «Следуйте за мной».

Еще блаженно, не имея опыта массовых арестов, мы кричали, требовали объяснить, в чем провинился наш товарищ, но военный только посмеивался, пока не втолкнул большого, до смерти перепуганного Бродского в железнодорожное Белорусско-Балтийское отделение ГПУ.

Все разошлись, разбрелись в поисках заработка, а я решил остаться на вокзале до тех пор, пока не выпустят Бродского. Завечерело, а моего старшего сожителя все нет. Может быть, его выпустили, когда я пошел в буфет за бутербродами? Я вышел на перрон и скоро сел в поезд.

Бродский вернулся поздно ночью. Лаяли пригородные собаки. Хозяйка, Любовь Николаевна, вошла к нам в халатике, чтобы сделать выговор Бродскому за позднее возвращение, но, увидев Бродского, замолкла на полуслове. Он был блее мела, руки и губы его дрожали. Далеко не храброго десятка, он сейчас находился целиком во власти трусости. Кто посмел бы его винить?

Хозяйка покинула нас, сердясь и недоумевая. Я на кухне, стараясь не шуметь, поставил на керосинку чайник. Испив чаю и жадно проглотив два бутерброда, которые я приберег для него, Бродский испуганным шепотом стал рассказывать.

Сперва его заперли одного в маленькой комнатушке. Только часа через четыре начали его допрашивать: возраст (паспортов еще не было), откуда родом, профессия, когда начал службу в белой армии, в каком чине из нее выбыл, где воевал. Представляю себе, что чувствовал при этом допросе наш добрый, боязливый, безвольный и безвестный поэт!

Он отвечал: никогда не служил в белой армии, во время гражданской войны печатался в одесских газетах и журналах, предъявил билет сотрудника «Комсомольской правды» (он был внештатным консультантом по поэзии), попросил позвонить заведующему литературным отделом этой газеты Джеку Алтаузену, тот подтвердит, дал телефон редакции.

— Позвоним, позвоним, — успокаивали его, и опять увели в ту комнатушку, в которой он провел жуткие часы. Бродского заперли. Он не помнит, сколько прошло времени, когда пленника вызвали снова.

— У нас есть сведения, — сказали ему, — что некий Бродский, уроженец Гомеля, занимается спекуляцией, ездит каждую неделю в Москву, в Наро-Фоминске пересаживается в пригородный поезд. Не отпирайтесь, — вы этот Бродский.

— Что вы, я никогда не был в Гомеле, я родился и жил безвыездно до двадцати четырех лет в Одессе, теперь живу в Кунцево, я поэт, никогда не спекулировал, работаю в «Комсомольской правде», вы же видели мое удостоверение.

— Дайте сюда удостоверение. Выясним.

И Бродского опять увели. В начале двенадцатого ночи ему вернули удостоверение, выпустили, не извинившись, разумеется. Он сел в поезд в одиннадцать сорок пять.

Испив несколько стаканов чаю, съев бутерброды, он бросился в кровать не раздеваясь, в ботинках. Спал до двух часов дня. Первые его слова, когда он проснулся, были такими:

— Подлая тварь твой дружок Васильев, недаром Эдя Багрицкий терпеть не может ни его, ни его стихов.

В своих умных и значительных «Воспоминаниях» Н.Я. Мандельштам полагает, что в ночь, когда ее мужа арестовали, Давид Бродский был «подсажен» к Осипу Эмильевичу. Фамилию Бродского она не называет, но догадаться нетрудно. В ее описаниях Бродского узнаешь сразу: огромный, как идол, он сидел с вечера в кресле, безустанно гово-

рил о своих любимых поэтах, о Якове Полонском и Случевском, о французской поэзии, которую знал «до ниточки». Когда «они» пришли, Бродский, закрыв глаза, продолжал сидеть в кресле и то сопел, то храпел. Очень похоже.

Но для чего надо было подсаживать Бродского? Гепеушники в этом не нуждались, так, насколько мне известно по рассказам пострадавших семей, никогда не делали, добыча доставалась охотникам за людьми без каких-либо забот и тягот. Я могу допустить, что Бродского вызывали, что он трухнул не на шутку, что, дрожа от страха, давал какие-то обязательства, но не было нужды в том, чтобы он стерег Мандельштама в запланированную ночь ареста. Бродский отказался бы от этого именно из-за своей трусости. Добавлю к вышесказанному, что Бродский принадлежал к тому типу людей, которые никак не в силах покинуть дом хозяев, а спешить некуда было, однокомнатная квартира Бродского помещалась в том же подъезде в Нашекинском, что и квартира Мандельштамов. К тому же Бродскому несомненно хотелось блеснуть эрудицией перед Мандельштамом и Ахматовой, которая в ту ужасную ночь была в доме своих друзей. Я думаю, почти уверен, что, когда пришли «они», Бродский испугался больше, чем Мандельштам, — отсюда его сопение и храпение. Обвинить советского человека в стукачестве очень легко, иди проверь, ручаться нельзя ни за кого — или почти ни за кого. Такого рода обвинения надо делать крайне осторожно, а Надежда Яковлевна такую осторожность не проявила.

Что же касается давнего кунцевского эпизода, то действительно ли тогда совершил подлость Васильев? Я уверен, что на кунцевской платформе он беззлобно пошутил, не думая о последствиях своей шутки. Да и никому из нас в голову не приходило, что так обернется эта безобидная шутка. Когда Васильев стал входить в славу, литераторы заговорили о его хулиганских выходках, об антисемитских высказываниях. Горький написал в 1934 году:

«Жалуются, что поэт Павел Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин. Но, в то время, как одни порицают хулигана, другие восхищаются его даровитостью, «широкой натурой», его «кондовой, мужицкой силой»... От хулиганства до фашизма «короче воробьиного носа».

Я был в то время студентом-химиком, часто и подолгу выезжал на практику в Дзержинск, на Чернореченский суперфосфатный завод, с Васильевым, как и с другими литераторами, встречался редко, но когда встречался, то не за-

мечал в нем перемены к худшему, не слышал я и о его хулиганских выходках. Новым, помимо его известности, было то, что повсюду его сопровождал, в качестве лакея и собутельника, сибирский парень, стихотворный графоман. По требованию Васильева этот парень всем читал стихи о своих неудачах:

— *Эка жисть, браток Михáил,
Уж кто-кто тебя не хаял.*

Васильев много говорил о своих любовных похождениях, чего раньше не было (ни речей, ни походов), как-то с простодушной гордостью сказал мне: «Я поэт политический». Может быть, перемена заключалась в том, что со мною стал разговаривать покровительственно, сокрушался: «Долго ты будешь на вторых ролях?» А я и на третьих не был.

Он пригласил меня к себе. Был дождливый серый день, когда я пришел в коммунальную квартиру, на дверях которой висел внушительный список жильцов — с указанием, кому сколько раз звонить. На мой звонок открыла дверь жена Васильева: «Паша сейчас придет, он ждет вас, вышел минут на десять подышать воздухом, он любит гулять в дождь».

В комнате Васильева уже стояла на столе выпивка, холодная закуска. Имя жены Васильева я забыл, я был с нею знаком, она работала в бухгалтерии Гослитиздата. (Вторую его жену, свояченицу Ивана Гронского, сменившего Полонского на посту редактора «Нового мира» и через несколько лет репрессированного, я никогда не видел, слышал о ней.)

Довольно скоро появился Васильев, и не один, а с молодой женщиной, явной жертвой социальной несправедливости. Жена Васильева, тоненькая блондинка с богатой косой, кинулась на кровать, затряслась. Потом, поднявшись, сказала:

— Уже сюда, ко мне, стал приводить их с Цветного бульвара. Ты разве поэт? Ты животное, хуже пса!

Васильев, ладный, светлокудрявый, в сером заграничном пиджаке с накладными карманами, не обращая внимания на слова жены, приказал женщине сквозь зубы:

— Разувайся.

Изо рта его сильно пахло водкой. Женщина, конечно, не ожидала, что клиент, пусть пьяный, приведет ее в комнату, где окажутся другие — жена и еще кто-то. Она сняла бо-

тинки и чулки. Ноги ее промокли, были грязны. Васильев, сперва зло стиснув красиво очерченные губы, дал женщине деньги, приказал:

— Обувайся и вон отсюда!

Женщина посмотрела на купюру, осталась довольной, торопясь, обулась и ушла. Я сказал:

— Пашка, ты действительно пес, — и покинул квартиру Васильевых.

Того, что случилось, я до сих пор не понимаю, не понимаю ни Васильева, ни его жены. Видно, я — бюргер, филистер. Пишу, как было.

Павел Васильев был арестован дважды. В первый раз, кажется, в 1934 году. Просидел он недолго. Выйдя из тюрьмы, опубликовал (насколько мне помнится, в «Известиях») стихотворение, в котором провозгласил тост «за ОГПУ». Это ему не помогло. В 1937 году он был арестован снова, — и уже не вернулся на волю, погиб в застенках Лубянки.

Рапповские и пострапповские борзописцы называли его кулацким поэтом. Это поклеп. В стихах и поэмах Павел Васильев стоял, как выражались в те годы, на платформе советской власти. Его поэма «Кулаки» перекликается с «Поднятой целиной» Шолохова хорошо обдуманной объективностью. В отличие от стандартного стихописания того времени (как пародировал талантливый Архангельский: «С одной стороны сидит батрак и что-то там привинчивает, / С другой стороны сидит кулак и что-то там отвинчивает») кулаки у Васильева люди крупные, сильные, яркие. Недаром главного среди них поэт именует Ярковым. Начинается поэма с того, что «Черлак на церквах, на боге и на вере стоит пока». Запомним это «пока». Читателя подкупает то, что во многих поэмах Васильева названы Черлак, Лебязье и другие станицы Прииртышья вокруг родного ему Павлодара. Так создается момент автобиографичности, а отсюда — доверие к автору, как бы снимающее подозрение в лживости его позиции.

Кулак Евстигней Ярков в обиде на бога (бог всюду с маленькой буквы), который, «Выкатив голубые свои глаза, / Глядел на мир подвластный по-бычьей».

*Не было дела ему до земли,
И наплевать ему, что колхозы
К горлу кулацкому подошли.*

Евстигней бьет по иконе кулаком:

*Треснули тяжелые божьи скулы...
И пред Евстигнеем, трясась, деревянный
Рухнул на колени иконостас.*

Клюев, Клычков, даже безрелигиозный Орешин никогда не позволяли себе такого кощунства. Неожиданно для семьи и для соседей Евстигней отдает все: и железом венчаный дом, «со всем имуществом и добром», и двор, амбар, сарай, сад с сиренью «и прочей природой», коней, «способных для пахоты и перевозки чижолых кладов», и к ним машины: одна молотилка, плуги, бороны, сто один пуд пшеницы, сто двадцать — овса.

*Включая сюда порося и птицу
И пегого на привязи пса.*

Он говорит о себе:

*Евстигней Павлович все отдает!
Все! Останусь в рванье дерюжьем
С детьми и сородичами наравне.
Пусть же хозяйство мое послужит
Советской власти, как раньше мне...
За мной пойдут, — понимаете сами.
Пошептал кривыми усами,
Пожевал бровями, шапку снял
И запел «Интернационал».*

Опытный советский читатель догадывается, что Евстигней коварен, хитер, что в станице «кулацкий орудовал агит-проп», что Евстигней себя еще покажет — и в самом деле: Митин, которому Ярков посулил телку, убивает, пестом по виску, активного борца за колхоз «учительшу» Марию Ивановну.

Евстигнею противостоит «сын мужицкой нужды» Редников. «Когда карательные выслал правитель России,/ Его белоштанство адмирал Колчак», Редников

*Еще не мог разобраться толком
В словах «революция», «Советская власть»,
Это было одно чутье, темное, как у волка,
Кровная с революцией связь.*

Короче: все как надо, как учит политграмота, пролетарии идут к коммунизму низом. Отметим, однако, что чутье у деревенского бедняка «волчье». «Кулаки» — поэма растянутая, как и некоторые другие последние поэмы Васильева, многословная и, самой своей сутью, банально-советская. Но если мы вчитаемся в эти строки, то увидим, что Васильев любит «кулака» Евстигнея, ему нравится его хозяйственность, смысленность, нажитое трудом и оборотистостью богатство, его сила и размах. Автор, расставляя своих героев по шаблону, испытывает радость, когда решает чисто художественные задачи. Он очень корректно использует сибирский диалект, в поэме много красочных строк. Великолепно описание одичавшего в дни коллективизации коровьего стада:

*И на бугре, над шатким мостом,
Над камышовой речной прохладой,
Встал, ударяя львиным хвостом,
Пылая, — лютый водитель стада.
И вслед за ним по буграм покатым,
Вслед за мужем, за бугаем,
С хребтами красными от заката,
Багровым осыпанные репьем,
Вслушиваясь в длинный повсвист бича,
Окружены сияньем и ревом,
Четверорогое вымя тяжело волоча,
Шли одичавшие за день коровы.*

Васильев, как и другие слабовольные, но даровитые советские писатели, показывает такой фокус: банальность характеров и положений оживляется цветастыми деталями, мощью красок и словаря. «Кулаки» написаны в 1936 году, т.е. после первого ареста. Может быть, он, перепуганный, решил угодить власти? Конечно, хотел, но был искренним, его миропонимание развивалось, как советское, и только то, что заложено и в душе, и в плоти художника, против его воли, иногда одерживало победу над рассудком. Уже в первой (и лучшей) своей поэме «Песня о гибели казачьего войска», которую он читал изумительно (я ее слушал несколько раз), поэт, что называется, от всего сердца писал еще в 1932 году, за два года до ареста:

*Красная Армия! Бои, бои —
В цоканье сабель, пух и копыт*

*Песни поют командиры твои,
Ветер знамен над тобою шумит...
Слушайте, конники, стук сердец.
Чтобы республика зацвела,
Щедрой рукою посеем свинец.*

Так обожать родное казачье Прииртышье — и славить тех, кто там сеет свинец. Воистину, широк русский человек!

Сыновнее, любовное преклонение Васильева перед советской властью открывается нам во многих его сюжетных стихах и поэмах. Например, в «Принце Фоме» (о кулацком атамане) мы читаем:

*Тысячелетья горы сдвинут,
Моря нахлынут и отхлынут,
Но сохраняют народы их
В сердцах, над всем, что есть на свете,
Как знамя над Кремлем и ветер,
Как сабли маршалов своих!*

В поэме «Женихи» к колдуну приходит девушка Настя Стрегунова; парни не жалуют ее своим вниманием:

*И стоит — высокая, рябая,
Копта на ней дышит голубая,
Кружевной платок зажат в руке.
Шаль с двойной турецкою каймою,
Газовый порхун — само собою,
Туфли на французском каблуке.*

Блестящие строки! Колдун советует Насте вступить в колхоз, работать без отказа, не жалея крепких рук своих: «Будет и тебе к осени жених!»

Колдун и сам вступает в колхоз. Хорошо поработала Настя:

*В урожай, несметный, небывалый, —
Знак Почета, золотой и алый,
Орден на груди горит у ней.*

Как и предвидел сознательный колдун, добросовестный труд приносит девушке и личное счастье:

*Пали, пали на поле туманы,
Развернув заветные баяны,
Собирались к Насте женихи!*

В «Христоролюбовских ситцах» смело, неожиданно возникает проза. Читаем такой диалог:

*Христоролюбов: Где она теперь?
Старик: Уехала. За ОГПУ вышла.
Христоролюбов: Как за ОГПУ?
Старик: А так. За начальника ихнего.
Христоролюбов: ...Ты очень не любишь его?
Старик: Кого?
Христоролюбов: Ну, ОГПУ ихнего.
Старик: ...А за что же мне его не любить?
Душевный человек, рыбачить вместе ходили.*

Далее — совершенный Лебедев-Кумач:

*Горды успехом сталевары,
О счастье девушки поют,
От Мурманска до Павлодара —
Повсюду Молодость и Труд.
Живите радостней, растите!
Цвети, Советская земля,
Ты слышишь, как трепещут нити,
Протянутые из Кремля?
Там разум! Партия...*

Нет никакого основания сомневаться в искренности поэта, — в искренности актера, вжившегося в свою роль, — когда он пишет гимн в честь Демьяна Бедного («Как никому, завидую тебе») или когда в «Песне против войны», звучавшей вполне по-современному, рисует картину, на которой изображены танк, самолет и Сталин:

*И крытый сталью, солнцем, славой,
Танк, охраняя свой Народ,
Наперерез войне кровавой
По Красной площади ползет.
И рокотом взрывая войны,
Проходит самолет, гудя,
И чуть лукаво и спокойно
Сощурены глаза вождя.*

Сделавшись известным, сын преподавателя математики любил себя называть «кондовым мужиком», вместо «если» стал говорить даже не «ежели», а «ежели», но был литератором с головы до ног, и литератором довольно образованным, литератором-актером. И как актер, играющий сегодня Дзержинского, а завтра — более привлекательную фигуру, играющий с волнением, с самоотдачей, — только бы играть, так и Васильев играл свою роль, играл от всего сердца, ничуть не ломая себя, — только бы играть, только бы получить возможность выразить себя с помощью своих, а не чужих, красок, своей, а не чужой, музыки.

«Революция пожирает своих детей». Но и реабилитирует их посмертно. Одним из ее детей был Павел Васильев, проживший всего двадцать шесть лет, за десять своих творческих лет создавший первоклассные вещи, отравленный идеологией Государства, убитый в расцвете сил и тем же Государством воскрешенный. Багрицкий, загоравшийся от огонька любого таланта, отказывал Васильеву в даровании поэта и даже в ранние, кунцевские годы разглядел его дурные черты, так развившиеся позднее. В моей памяти остался не Павел Васильев периода своей славы, чаще высокой, иногда дурной славы хулигана и антисемита, а кунцевский юный житель, робкий с девушками, с которыми мы катались на лодке по Москве-реке, поэт-живописец, автор таких истинных творений, как «Быть мастером», «Песня» («В черном небе волчьи проседь...»), «Анастасия», «Стихи в честь Натальи», к которой он однажды привел меня в гости в очень богатую квартиру, «Другу-поэту» — стихи, обращенные к зятю Есенина, Василию Наседкину, с которым я был хорошо знаком и который погиб в чумный тридцать седьмой год...

Почти каждый вечер Бродский и я бывали у Багрицкого. Вряд ли это нравилось Лидии Густавовне, но она вынуждена была примириться с тем, что в дом ежедневно приходят поэты, иногда рыбоводы, Багрицкий, мучимый астмой, редко выезжал в город, ему нужны были собеседники, общавшие ему литературные и другие новости. Всех надо было принять, пусть кое-как, а угостить, в то время как заработки Багрицкого были скудные, он мало писал, на гонорары прожить было трудно, он переводил то Назыма Хикмета, то Ицика Фефера, уставал от неприятной работы и половину подстрочников отдавал на версифицирование двум своим молодым друзьям, честно делился гонораром с безымянными соавторами. Эдуард Георгиевич с женой и

Севкой (Всеволодом) снимали половину избы в Овражном переулке. Хозяин избы, по фамилии, кажется, Дыба (или Дыга?), белорус, послужил для Багрицкого прототипом «Человека предместья» (так называлась его поэма), а дочка Дыбы, рано умершая девочка, вдохновила Багрицкого на сочинение поэмы «Смерть пионерки», одной из слабых его вещей.

Окно в комнате выходило на болото, а сама комната отделялась от кухни не достигавшей потолка фанерной стенкой, оклеенной полинявшими обоями. Обстановка была бедная, деревенская: постель, на которой Багрицкий всегда полулежал, широкий самодельный стол и такая же скамья, раскладушка для Севки, подаренная мною, когда я купил себе кровать. Украшали комнату аквариумы с пестрыми рыбками: Багрицкий был страстным любителем рыб, хорошо, почти профессионально, их знал. Отчужденно выглядел в деревенской избе телефонный аппарат.

С симпатией Лидия Густавовна встречала трех писателей — Исаака Бабеля, рыжего Н. Огнева (М.С. Розанова, родственника, кажется, двоюродного брата Василия Васильевича), автора чрезвычайно тогда популярной книги «Дневник Кости Рябцева», и своего зятя, одного из основателей акмеизма, В.И. Нарбута, бросившего, как некогда Рембо, писать стихи. Огнева Багрицкий любил, Бабеля — мало сказать любил — обожал, перед Нарбутом благоговел, называл себя его учеником, что соответствовало истине.

У Нарбута была отрублена рука, — говорили, что в годы гражданской войны, одну ногу он волочил (поэтому Катаев в «Алмазном венце» назвал его Колченогим). Несмотря на эти физические недостатки, Нарбут нравился женщинам. Чувствовался в нем человек крупный, сильный, волевой. Он отбил у Олеси жену — Серафиму Густавовну (впоследствии вышедшую замуж за Виктора Шкловского), самую красивую из трех сестер Суок. В какой-то мере черты Нарбута придал Олеша хозяйственнику Бабичеву, одному из персонажей «Зависти». Николай Асеев мечтал:

*Чтобы кровь текла, а не стихи,
С Нарбута отрубленной руки.*

Асеев сложил эти строки, когда Нарбут занимал крупный пост в Цека партии. Потом Нарбут стал директором основанного им издательства «Земля и фабрика», впоследствии преобразованного в издательство «Художественная

литература». Партийность Нарбута, высокий пост не помешали ему преданно дружить с соратниками по акмеизму — Мандельштамом, Ахматовой, Зенкевичем. Ахматова посвятила ему одно из своих стихотворений. Я любил и до сих пор люблю его стихи, в особенности «Александрю Павловну».

Когда Нарбут приехал в Германию (догитлеровскую) с целью закупки типографских станков, в эмигрантской газете была напечатана неприятная статейка. В ней утверждалось, что Нарбут, арестованный контрразведкой, выдал ей имена большевиков-подпольщиков, что руку он потерял, не сражаясь с белыми — это легенда, — а защищая свое имя от озверевших крестьян.

Видимо, Нарбут либо пренебрег этой статейкой, как вздорной, либо она ему не попала на глаза. Когда он вернулся в Москву, его вызвали в ЦКК и исключили из партии. Как сообщала одна столичная газета (забыл какая), за давностью лет и поскольку Нарбут не причинил вреда подпольщикам, — их не успели расстрелять, потому что в город (в Одессу) неожиданно для добровольческого командования победоносно вступила Красная Армия, — против исключенного из партии Нарбута решено было не возбуждать уголовного дела.

Я предполагаю, что завистники — партийные друзья Нарбута — выдумали эту грязную историю и подкинули ее русской зарубежной газете, чтобы избавиться от него, как от видного функционера. Во всяком случае, навет как бы предвещал арест Нарбута в 1937 году. Арестован он был по делу переводчиков украинской прозы (а он стал таковым) вместе с Павлом Зенкевичем (однофамильцем поэта), Игорем Поступальским и Шлейманом-Карабаном. Последний вернулся из концлагеря в хрущевские годы и рассказал, что Нарбут погиб, упав с катера в ледяное море, когда их перевозили с материка на Колыму. Еще он рассказал, что их четверых посадили по доносу Бориса Турганова, тоже переводчика с украинского, между прочим, одного из персонажей знаменитой «Иванькиады» Войновича.

В 1929 году, когда я с ним познакомился у Багрицкого, Нарбут работал заместителем главного редактора Гостехиздата. Как я уже упоминал, он в это время стихов не писал. А поэт он был истинный, поэт плоти (так и называлась одна из его книг — «Плоть»), он терпеть не мог символистов (всех, за исключением Анненского), как поэтов духа. Есть

у него стихи, навеянные событиями ранних советских лет, они неинтересны.

Когда, по предложению Багрицкого, я прочел ему свои юношеские стихи, он определил так: «Очень слабо, от-от, совсем слабо, еще хуже, чем у Блока».

Петербуржец-акмеист никак не мог — или не хотел — избавиться от украинского акцента, хотя черт малороссийского шляхтича, каким он был по происхождению, я в нем не замечал. Запомнилось, как он рассказывал о поэте Рукавишникове: «От-от нарисует уазу (вазу), упишет у нее стихи про ту самую уазу. Аполлинеру подражал. Оригинально, конечно, но наивно».

Его брат Георгий был известным художником, мирискусником. Советская энциклопедия называет его основоположником украинской советской графики. По его рисунку Рада при гетмане Скоропадском выпустила купюру «пятьдесят карбованцев». Не эта ли связь Георгия Нарбута с гетманским правительством выдвигалась следствием при допросах Владимира Ивановича? Свободная вещь.

Довольно часто приезжал к Багрицкому Бабель. Чувствовалось, что они любят друг друга. Были на «вы» (с комсомольскими поэтами Светловым и Голодным, с которыми познакомился гораздо позднее и гораздо менее был близок, чем с Бабелем, Багрицкий был на «ты»). Всегда с теплотой Багрицкий говорил об Олеше, но я не припоминаю, чтобы Олеша его посещал в Кунцево. Прервались его отношения с другим корифеем одесской плеяды — Катаевым. Может быть, из-за давнишнего рассказа Катаева «Бездельник Эдуард», в котором Багрицкий выведен в не очень привлекательном виде, но добродушно, даже с некоторой симпатией.

О чем беседовали Бабель с Багрицким? При мне — о литературных делах того времени. Смеялись, любовно вспоминая смешные черточки одесситов. Бабель не одобрял вступления Багрицкого в группу конструктивистов, их лидера Сельвинского поэтом не считал, называл «бухгалтером с усиками». Бабелю понравился один мой рассказ. В 1921 году, когда в Одессу навсегда вступили большевики, я, десятилетний, невольно подслушал диалог двух пожилых горожан. Одного из них я знал, он был владельцем предприятия по оптовой продаже сукна, английского, конечно. Он спросил у другого по-еврейски: «Что слышно в городе?» — «Ой, а грабеж, хватают на работу», — отвечал тот. Дело в том, что такого рода людей новая власть принужда-

ла подметать улицы, вокзал и т.д. Бабелю рассказ запомнился, и, когда мы с ним изредка встречались, он приветствовал меня на идиш словами: «А грабеж». Однажды мы с ним встретились в фойе Камерного театра. На сцене шла пьеса «Жирофле-Жирофля». Бабель сказал: «Плохие артисты, безвкусный режиссер. Я здесь по требованию моей спутницы, она сейчас в курилке».

Я как-то спросил Бабеля, поскольку он недавно вернулся из Парижа, есть ли среди эмигрантов во Франции такие русские писатели, которые там начали печататься после Октября. «Есть один стоящий, — сказал Бабель, — Сирин. Пишет хорошо, но сказать ему нечего». Как известно, Сирин — псевдоним Набокова.

Два собеседника, известные поэт и прозаик, вздыхали о том, что творится в литературе, говорили о безграмотных, жестоких и бесчестных руководителях Раппа, о плохом, по их мнению, романе «третьего» Толстого «Черное золото», прозорливо увидя в этом большом, талантливом писателе будущего конформиста, о несправедливых, страшных преследованиях Е.И. Замятина, (которого оба ценили) в связи с опубликованным его романом «Мы». Иногда спорили. Багрицкий высоко ставил Сельвинского и Асеева, Бабелю не нравились ни тот, ни другой. Если о Сельвинском, как я уже писал, он говорил «бухгалтер с усиками», имея в виду не только его внешность, но и суть его сочинений, Асеева называл: «пишущая машина». Из новых поэтов современников — так мне казалось — Бабель любил только Есенина. Щедрее хвалил прозаиков: Булгакова, Замятина, Вс. Иванова, Зощенко, Платонова, Олешу.

Беседовали они и о делах политических, но не при мне, возможно, Бабель остерегался высказываться при постороннем, но содержание бесед такого рода я узнавал от Багрицкого. Я не хочу, чтобы у читателя создалось впечатление, что я сочувствовал всем соображениям двух собеседников о литературе и политике. Одни я принимал, другие казались мне неверными. Я привожу их, как имеющие ценность для будущих исследователей. Например, я не согласен с оценкой Бабеля Таировского театра и творчества Набокова. Я уже понимал, что Багрицкий, твердый и страстный в своих литературных вкусах, во всем остальном был беспринципен. Когда он вступил в тот самый Рапп, который они с Бабелем ненавидели, я написал пародийные стихи: «Старик Багрицкий нас заметил / И в Рапп сходя, благо-

словил». Багрицкий был недоволен, обиделся на меня, потом простил.

Он и Бабель, как я услышал от Багрицкого, с тревогой наблюдали действия Сталина, видели в изгнании Троцкого начало русского термидора.

Я понял, что Бабель редко бывает в Москве, живет где-то в деревенской «глубинке», кажется в качестве сотрудника сельсовета, и таким образом получает возможность узнавать не из газет, а видеть собственными глазами то, что происходит в деревне.

Не помню в каком году, летом, приехав на каникулы в родной город, я неожиданно встретил Исаака Эммануиловича на привокзальной площади. Он сказал: «В Одессе я освобождаюсь от уз грамматики. Мне хочется подойти к киоску и произнести: «Налейте мне стакан водá».

В редакции журнала «30 дней» Бабель подарил мне и сотруднику журнала Леониду Боровому тоненькую книжечку-пьесу «Мария». При этом сказал: «Надписи вам, двум землякам, неинтересны, а вот короткое предисловие издательства интересно чрезвычайно».

Он был прав. Таких предисловий у нас никогда не было. Издательство сообщает, что для постановки на сцене пьеса не годится, а печатается только вследствие ее литературных достоинств.

В действительности «Мария» — один из драматургических шедевров Бабеля. Изумительно описан голодный ночной Петроград в первые годы революции и старый, милый, растерявшийся генерал, его дочь, которая крутит роман со спекулянтом Дымшицем. Этот Дымшиц успокаивает генерала: «Поздно не вернемся, ночью ходить опасно. Ленин это нам обеспечил». В те годы такую фразу напечатать могли разрешить только Бабелю.

Однажды мой приятель и земляк Семен Гехт привел меня к Бабелю, который с женой и маленькой дочерью жил на необычной квартире около Яузы — двухэтажной, внизу большая комната на две семьи, соседи, кажется, иностранцы. Бабель похвалил Василия Гроссмана, дебютировавшего в «Литературной газете» рассказом «В городе Бердичеве».

В последний раз я видел Бабеля в феврале или в марте 1939 года. Вместе с писателем Захаром Хацревиным (мы оба жили тогда в переделкинском Доме творчества) мы отправились после ужина к Бабелю, который недавно получил дачу (до него на этой даче обитал Л.Б. Каменев). Ба-

бель жил один, семья еще к нему не приехала. Он встретил нас приветливо, пошли погулять. Шутил, обратил наше внимание на то, как жутко светятся под крупными звездами деревья в серебряном снегу: мертвецы стоят в саване.

Через несколько месяцев его арестовали...

В конце шестидесятых я приехал в составе туристической группы в Мюнхен. В одном доме меня познакомили с немецким драматургом, фамилия которого мне ничего не говорила. Заговорили о Гауптмане. Я заметил, что его пьеса «Vor Sonnenuntergang» напоминает пьесу одного русского писателя, написанную раньше. Похожи и заглавия (у русского писателя — «Закат», у Гауптмана — «Перед заходом солнца»), и коллизии: пожилой человек полубил молодую девушку, что встречает сопротивление детей хозяина. Мой собеседник воскликнул: «Конечно, пьеса Бабея! Гауптман знал о ней, даже где-то о ней говорил!»

Хорошо бы разыскать слова Гауптмана.

Возвращаясь к Багрицкому. Под впечатлением происходивших в стране событий он углубился в чтение истории французской революции. В особенности его привлекал характер Сен-Жюста. По его мнению, в Троцком было нечто от Сен-Жюста. Как свойственно многим истинным поэтам, Багрицкий делился с каждым пришедшим к нему своими соображениями по поводу прочитанного. Поделился он и с нами, со мной и Давидом. Он восторгался: «Сен-Жюст, по дороге в Конвент, зашел в редакцию «Друга народа» и сказал Марату: «Я терпеть не могу равнодушных»».

У Бродского к Багрицкому отношение было не совсем обычное: смесь зависти, восторга и страстного желания сопротивляться его превосходству. Отсюда, естественно, было недалеко до подражания — с намерением затмить образец. Бродский тоже приступил к чтению истории французской революции и, уверенный в своей неслыханной, неестественной памяти, заранее ликовал. И вот он возразил Багрицкому:

— Эдя, Сен-Жюст никак не мог зайти к Марату по дороге в Конвент. Вы что-то перепутали. Редакция «Друга народа» помещалась не между Конвентом и квартирой Сен-Жюста, а позади нее. Хотите, я вам нарисую планчик, гы-гы.

Багрицкий вознегодовал. Он был оскорблен. То, что волновало его душу, превращалось у Бродского, по его мнению (он был прав), в некий спортивный азарт. Он ответил раздраженно:

— Вы — книжный крот. Вы не знаете жизни. У вас одна забота — сбыть свою халтуру. У вас нет дела до того, что сейчас переживает наша страна, что происходит в партии. Вы не можете отличить сосны от ели, соловья от щегла. Вы один из тех равнодушных, о которых говорил Сен-Жюст. Я терпеть таких не могу.

Бродский не сдавался:

— Эдя, вы сердитесь, потому что ошиблись. Дайте сюда карандаш и бумагу, я начерчу...

Багрицкий еще больше разозлился, так как хорошо знал, что память Бродского не знает поражения. Он приказал:

— Севка, достань ружье и стреляй в этого талмудиста!

Десятилетний вихрастый Севка, узколиций, худенький, ловкий и крепенький, освободил охотничье ружье из чехла. Бродский, большой, тучный, выбежал из избы, но на бегу успел выкрикнуть:

— Эдя, что вы делаете, ваш Севка водится с кунцевским хулиганьем, он взаправду может застрелить!

Отходчивый Багрицкий был доволен, он весело затрясся всем своим полным телом:

— Ось, бачте, який боягуз (трус) прийхав до нас з Одессы...

Небольшое, но, увы, нужное отступление. Я не предполагал, что начну когда-нибудь писать воспоминания, и о примечательных встречах с интересными людьми, с писателями, о забавных происшествиях в наших восточных республиках рассказывал друзьям и знакомым. Некоторые из этих друзей и знакомых опубликовали мои воспоминания как свои собственные. Вряд ли они это делали с недобрым умыслом: просто воспоминания чужие стали им казаться собственными. Это может показаться смешным, но мне почему-то не смешно.

Поэтический вкус Багрицкого был широк. Он умел находить прекрасное не только у великих, но и у второстепенных, например, ему нравились некоторые стихотворения Щербины, меевская «Фринэ», был в восторге от Бенедиктова. Близки его сердцу были поэты Серебряного века, не только Блок, но и Бальмонт, не только Анненский, но и Игорь Северянин. Он упивался многими стихотворениями Клюева. Музыкой восторга дышал голос Багрицкого, когда он читал такие строки Клюева:

*Я надену черную рубаху
И вослед за мутным фонарем*

*По камням двора пойду на плаху
С безразлично-ласковым лицом.*

— Семочка, вы понимаете, что только большой поэт мог сказать: «С безразлично-ласковым лицом»? Или также гениальная строка:

Ангел простых человеческих дел...

Свое упоение Багрицкий передал и мне, — так случилось не в первый раз. Мог ли я предвидеть, что познакомлюсь с Клюевым, буду ему читать свои стихи?

Это событие (я не оговорился — событие) произошло в 1931-м или в 1932-м году. Осип Эмильевич Мандельштам мне сказал, что в Москву из Ленинграда приехал Клюев, снял комнату недалеко от дома Герцена, где жили тогда Мандельштам и Клычков, что Клычков хочет представить Клюеву Павла Васильева, а он, Осип Эмильевич, приведет к Клычкову меня.

С Сергеем Антоновичем Клычковым я был немного знаком цеховым, переводческим знакомством. Я увлекался его прозой — «Чертухинским балакирем», «Сахарным немцем». Стихи его, признаюсь, меня мало трогали, мне даже больше нравились некоторые строки Петра Орешина, поэта гораздо менее самобытного, чем Клычков, например, такие:

*Или валя
Голытьбе,
Или в поле —
На столбе.*

Мандельштам со мной сердито не соглашался, считал, что я еще не научился разбираться в поэзии, с удовлетворением читал наизусть одно стихотворение Клычкова, — я позабыл эти строки.

Клычков был высок, плечист, волосы длинные, цыганского оттенка, лицо волевое, скульптурно вылепленное, умное, необыкновенные, сияющей синевы глаза. Разговаривал жестко, нервно — будь то с редактором переводов или с братом-литератором, как бы предчувствуя в каждом из них одного из своих преследователей, объявивших его кулацким поэтом, что можно было бы назвать вздором, если

бы не грозило жизни поэта. Предчувствие его не обмануло, он был арестован в 1937 (1938?) году и уничтожен.

Говорили, что А.К. Воронский, оказывая ему материальную поддержку, привлекает его к обработке рукописей, которые, скрепя сердце, вынужден был печатать редактор «Красной Нови». Мне известно, что одно нашумевшее произведение пролетарской литературы было «отредактировано», т.е. заново написано, Всеволодом Ивановым и Сергеем Клычковым.

Хочу заметить одну странность. Окончательно порвав с направлением, начавшимся чуть ли не с Радищева, советская литература считала хорошим тоном ненавидеть не только нэпманов, мелких торговцев, кустарей-ремесленников и других людей труда, но даже такой класс, такую извечную опору страны, как крестьянство. Этот грех лежит и на больших писателях, например на Горьком, и на посредственных. В речи на VI съезде Советов СССР популярный тогда А. Безыменский убеждал: «В настоящее время традиции воспевания всего того отвратительного, что создавало нищету и забитость крестьянина, продолжают кулацкие поэты типа Клюева и Клычкова, поэты, которые прикрываются некоторыми напудренными под марксизм критиками¹, поэты, которых я не могу назвать иначе, как стихотворными мертвецами. Мы, пролетарские писатели, сыны класса, ведущего за собой миллионы крестьянства, мы объявляем жесточайшую войну кулацким идеологам Рассеюшки-Руси. Против Руси — за СССР...»

Объявить Клычкова воспевателем нищеты и забитости русского крестьянства могли бы только такие соавторы оратора, которые самое страшное учреждение одной страны наименовали «Министерством любви». Никогда, ни одной своей строкой, не воспел Клычков кулака. Впрочем, если бы и воспел, что в этом плохого? Он любил русских деревенских людей, из среды которых вышел, любил свою «скудную» (выражение Ахматовой) тверскую землю, обожал Русь, ее классическую поэзию, но не ограничивал ее Кольцовым или Суриковым, понимал ее всеевропейское значение, которое его восхищало. Ценил, кроме, конечно, Пушкина, Тютчева, Лермонтова, Некрасова, — Бунина, Ахматову, терпеть не мог футуристов и тех, кто увлекался версификацией ради версификации. Вот некоторые из его характерных высказываний, иногда очень резких, ставших известными в близкой к нему среде:

«От того, что курица пестра, не значит, что она кладет золотые яйца».

«Вся нынешняя поэтическая молодежь — сплошь искusstники».

«Самое злейшее злодейство в искусстве — стилизация».

...Когда мы, пересекши двор, пришли к Клычкову, я понял, по устным описаниям, что Клюев у него: в передней висела на вешалке серая поддевка, вроде армяка, и такая же серая, с отворотами, шапка, впоследствии в своем каракулевом виде ставшая модной и названная московскими остряками «Иван Гуревич». Двери нам открыла жена Клычкова, молодая (явно моложе мужа), красивая черноволосой монашеской красотой. В светлой, залитой закатным солнцем комнате сидели за столом сам хозяин, рядом с ним — откровенно волнующийся Павел Васильев, напротив — Клюев в вышитой холщовой рубаше, широкоплечий, лысый, большелобый, рядом с ним — молодой блондин нашего с Павлом возраста, очень миловидный, несмотря на то, что лицо его портили возрастные прыщи. Он стал у нас известным, признанным Государством художником, Клюев к его простой украинской фамилии прибавил старорусское «яр». Рука Клюева лежала на плече юноши. Помню, что, обращаясь к нему, Клюев начинал со слова «кутенька».

На белоскатертном столе — два графинчика с водкой, на рыбных блюдах — селедка с кругами лука, тут же хлеб, моченые яблоки. Клюев привстал, крепко обнял Мандельштама, они троекратно поцеловались, приветливо поздоровался со мной. Среди первых незначащих слов запомнились клюевские:

— Обнишал я в Питере. Сейчас подал прошение в Литфонд о воспомоществовании.

Вот запомнил: не заявление, а прошение.

Я и дальше буду приводить высказывания Клюева, но сильно обедненным виде. За долгие годы из памяти моей улетучилось богатство клюевского языка. Память была недурная, понадеялся на нее, не записывал, содержание слов передаю как будто правильно, но их цвет забыл: картину, увы, не показываю, а пересказываю.

Первым читал Васильев — сперва «Песню о гибели казачьего войска», потом лирику. Успех молодого поэта был огромный.

Клычков: Видишь, Алексеич, какой подарок я тебе приготовил.

Мандельштам: Слова у него растут из почвы, с ней смешиваются, почвой становятся.

Клюев: После Есенина первая моя радость, как у Блока, — нечаянная. И, привстав, поцеловал Васильева.

Потом читать было предложено мне. Конечно, такого успеха, как у Васильева, не было, да и не могло быть, по крайней мере тогда, но слушали серьезно и, как мне казалось, с одобрением. Чтение одного стихотворения Клюев прервал похвалой:

— Хорошо срамное-то белье.

Я не помню этого стихотворения, оно было напечатано в альманахе «Земля и фабрика», но запомнил ту строфу, где были слова, замеченные Клюевым:

*Ты к пруду приближаешься плавно,
Ты стираешь срамное белье,
Ярославна моя, Ярославна,
Соколиное сердце мое.*

Прочел я стихотворений десять—двенадцать. Похвалил их и Клычков. Но неожиданно сказал:

— Еврей не может быть русским поэтом. Немецким может, французским может, итальянским или там американским может, а русским — нет, не может.

Пусть читатель, привыкший к нынешним грязным высказываниям озлобленных ничтожеств, не подумает, что Клычков был антисемитом. Он никогда не страдал национальной нетерпимостью. Думаю, что если выразить его мысль наипростейшим образом, то это надо сделать так: русский писатель не может быть неправославным. И тут пошел разговор, который навсегда врезался в мою память.

Клюев: Проснись, Сергунька, рядом с тобой — Мандельштам (именно так, через о).

Клычков: Мандельштам — исключение, люблю Осипа крепко, ценю его, не то что Пастернака, тот — спичечный коробок без спичек.

Клюев: Не то говоришь, Сергунька. Вот я написал «Мать-Субботу-Богородицу», а еврей Гейне до меня — «Царицу-Субботу». Я — олонецкий, он — из Дюссельдорфа, а Суббота у нас одна. Он писал, что когда умрет, то

*Keinen kadisch wird mann sagen,
Keine Messa wird mann singen.*

То есть как иудею не прочтут ему отходную и как католика не отпоют.

(Прерываю Клюева: немецкие слова он произносил с невозможным акцентом, но легко, свободно.)

— Да и меня как отпоют? И кто? Поп казенный? Я-то ведь древнего благочестия. А кто исходил нашу землю, край родной долготерпенья? Кто понял Русь так, как Он? А ведь был обрезанный; его Мать, Пресвятая Богородица, была еврейкой, а Он, по роду своему Давидову — псалмопевец. И мы эту работу работаем, по нашим силам, кто как может. И кто как верует.

Вошла женщина (не знаю, кем она доводилась хозяевам), внесла из кухни два чайника, большой и фаянсовый, пирог на блюде. Клюев налил рюмочку кутеньке, а Клычков — всем нам. Пропустив рюмочку, отпив чай из блюдца, Клюев сказал:

— Поэму складываю «Погорельщину». Медленно складываю, по виршу в день.

Это был плач о русской деревне. Читал он чудесно. Необыкновенная музыка сливалась с необыкновенной живописью. Каждая строка («вирш») жила и сама по себе, и была частью большого, охваченного злым пламенем, мира. Сколько лет прошло, а не могу забыть:

*Нерукотворную Россию
Я, песнопевец Николай,
Свидетельствую, братья, вам.*

*Я бормотал: «Святая Русь,
Тебе и каторжной молось».*

*Куда-то плыву я на певчем весле.
Идти к красоте через дебри и топь.*

*Краски, киноварь с Богородицы
Прахом веяли у околицы.*

Поэма о неслыханной беде русского крестьянства, всей России, поэма, которую однажды в беседе со мной Ахматова назвала великой, была овеена клюевской давней мечтой о «Белой Индии». Этот, по оплошному выражению Есенина, «ладожский дьячок» (а Твардовский даже отказывал ему в поэтическом даре) мыслил крупно, смело, всемирно. Не случайно рядом с просторечным «овечьим ночлегом» и

«отдыхом телег» у Клюева соседствует «Сократ и Будда, Зороастр и Толстой».

Подражатели Клюева (например, одаренный Рубцов) не только не достигают прозрений своего учителя, но и не мыслят дальше своей околицы. А Клюев?

*В русском коробе, в эллинской вазе
Брежжат сполохи — полюсный щит,
И сапфир самоедского князя
На халдейском тюрбане горит.*

Не помню — до или после чтения «Погорельщины» — зашел разговор о философах. Клюев сказал:

— Читал я Кантову «*Kritik der reinen Vernunft*» («Критику чистого разума»). Ум глубокий, плодоносящий. Не то что Фойербах (так он произнес). Для него, дурнобашкового, Христос не Богочеловек, человеко-бог. Мелок немец.

Не хочу казаться оригинальным, но для меня Клюев не узкодеревенский поэт, вернее, не только деревенский, а величайший, после Тютчева, пантеист в русской поэзии. Он учил:

*К ушам прикормить бы зиждительный Звук,
Что вяжет, как нитью, слезинку с луной,
И скрип колыбели — с пучиной морской.*

Его замучили крошечные бесы в дальней, нищей ссылке. Он грешил легким, смешным грешком лицедейства — смазные сапоги и прочие атрибуты «поэта из народа», грешил и грехом более тяжким, но то было в обыденной жизни, а в поэзии он — ангел простых человеческих дел.

ВЕЧЕР ШЕНГЕЛИ

Почти сто лет назад, в 1888 году, Чехов писал Григоровичу: «Из поэтов начинает выделяться Фофанов. Он действительно талантлив, остальные же как художники ничего не стоят. Прозаики еще туда-сюда, поэты же совсем швах. Народ необразованный, без знаний, без мировоззрения. Прасол Кольцов, не умевший писать грамотно, был гораздо цельнее, умнее и образованнее всех современных молодых поэтов, вместе взятых».

Был ли прав Чехов? Время, о котором идет речь, действительно принято считать периодом упадка русской поэзии, хотя зажигал свои «Вечерние огни» великий Фет, развивалось дерзкое, оригинальное творчество Случевского, завораживал юного Бунина кумир передовой молодежи Надсон, да и Апухтиным, и тем же Фофановым нельзя пренебречь, и уже близились годы, когда начинали печататься старшие символисты — Мережковский, Гиппиус, Минский, предтечи Блока. И все ли тогдашние молодые — и достаточно известные — поэты составляли «народ необразованный, без знаний, без мировоззрения»?

Перебирая в памяти моих неудачливых собратьев той поры (до которых, скажу положа руку на сердце, мне далеко), остановлюсь на самых неудачливых, ныне забытых. Дмитрий Цертелев защитил в Лейпцигском университете диссертацию на немецком языке «О теории познания Шопенгауэра», был удостоен степени доктора философии. В многочисленных трудах развивал взгляды Шопенгауэра и Гартмана. Перевел первую часть «Фауста». На его слова сочиняли музыку Танеев, Ипполитов-Иванов. Запомнились строки:

*За пределами мира земного,
Где кружатся все мысли людей,*

*Есть страна всемогущего Слова
И прообразов вечных идей.*

Последняя строка плоха, но сама мысль о существовании страны Слова и прообразов вечных идей за пределами дольного мира не утратила и поныне своей тепловой энергии.

Знаменитые композиторы охотно сочиняли музыку и на слова Арсения Голенищева-Кутузова. Блеск графского титула он сочетал с блеском образованности, но не догадывался, как нынешние, что банальность можно нарядить в бессмыслицу, украсив ее панельной наглостью и продажностью. Позабыт он не случайно. Время — судья строгий, нередко жестокий, но всегда — всегда! — справедливый, однако и этот судья одобрил бы, как мне кажется, «Плакальщицу» Голенищева-Кутузова:

*Следы побоища постешно
Сначала вьюга замела,
Исчезла кровь, земля бела,
Но вьюга плачет безутешно
И по снегу несет печаль,
Как будто ей убитых жаль.*

Любезный читатель, сойдем с заоблачных вершин Олимпа русской поэзии, минуем предгорья, холмы и холмики, обозрим оползневые берега Леты, да и в Лету заглянем. Господи, какие были люди, как были они, смертные, связаны родственной связью с бессмертными! Вот эта связь резко и счастливо отличает их от многих нынешних, не только малограмотных, но даже и не подозревающих о всей глубине своей болотной тьмы, совершенно чуждых русской культуре, хотя корысть, а также рабство, сознательное и подсознательное, делает их теми Искарриотовыми, патриотами из патриотов, о которых писал Курочкин, переводчик Беранже.

Кто спорит, гениальный Чехов имел право писать о поэтах, своих современниках, что они «совсем швах». Но теперь, через сто лет, не дано ли и нам право удивляться тому, какие яркие были у них биографии! Они могли о себе сказать словами Андрея Белого: «Бывало, боги-женолюбцы сходили к нашим матерям».

В детстве, в годы голодного и холодного военного коммунизма, я жадно при свете копилки читал Бог весть как

сохранившиеся у нас в доме дореволюционные сборники «чтецы-декламаторы», и во всех почетное место занимали стихотворения Аполлона Коринфского, чьи имя и фамилия, в своем сочетании, кажутся безвкусным псевдонимом, что неверно. Аполлон Коринфский (это его настоящие имя и фамилия) поступил в Симбирскую гимназию в первый класс — в тот самый, где учился девятилетний Володя Ульянов. В юношеские годы В.И. Ленин бывал у своего соученика, сына городского судьи, кандидата естественных наук, пользовался его прекрасной библиотекой в языковом доме, где проездом останавливался в Симбирске Пушкин. Все связано, все неразделимо! Стихом Аполлон Коринфский владел великолепно (что, разумеется, еще не свидетельствует о таланте художника). Вот строфы из «Красной весны»:

*Летник — прозелень, оборчатый —
Облегает стройный стан,
Голубой под ним, узорчатый
Аksamитный сарафан.
Ни запястий, ни мониста нет,
Ожерелий и колец,
И без них-то взглянешь — выстынет
Сердце, выгорит вконец!*

Каков Аполлон! Еще до Маяковского, Пастернака, Цветаевой рифмовал «мониста нет — выстынет»! О мои душевные, позабытые, как я вас понимаю, как я вас по-братски люблю! Досягну ли я до вас, сравняюсь ли с вами, уйду ли я, как и вы, из памяти малочисленных читателей в страну Слова за пределами мира земного и кто-то когда-нибудь вспомнит ли и меня, как я вас?

Вот вы, например, великий князь Константин Романов, поэт К. Р., возьмете ли вы с собою и меня, сына одесского ремесленника, обнимете ли вы меня, чтобы в Лету мы канули вместе? Президент Российской Академии наук, вы образовали в ней разряд изящной словесности. Первыми академиками стали не только граф А.К. Толстой, не только дворянин П.Д. Боборыкин, но и сын мелкого лавочника, внук крепостного А.П. Чехов и враг Романовых, революционер В.Г. Короленко. Вы были справедливы, мой добрый К. Р.! Как знать, не будь вы великим и князем и живи в наше время, вы, при своем скромном даровании, могли бы стать классиком советской поэзии. Вы предугадали тот сти-

хотворный пошиб, который предложил нам в советское время сын смоленского крестьянина. Вспоминаю ваше «Письмо из-за границы»:

*Гой, измайловцы лихие,
Скоро ль вас увижу я?
Стосковалась по России
И по вас душа моя.
Я фельдфебеля рассказы
Стану слушать по утрам
Про солдатские проказы
По соседним кабакам,
Про артельную лошадку,
Про количество больных,
Про гимнастику, прикладку
И успехи молодых.*

Узнаешь ли, любезный читатель, стиль и голос Василия Теркина? Тот же ритм, та же солдатская выправка строки, то же пристрастие к прозаизмам: «количество больных», «гимнастика», «прикладка». Стихи, а все понятно. Чувствуется не только литературная, но и духовная близость великого князя и крестьянского сына. Как и Василий Теркин, царский солдат нес тяжелую свою судьбу честно, весело, преданно. Конечно, стихи обоих авторов далеки от жгучего реализма русской литературы, от трагических картин солдатской службы, которые мы увидели в толстовском «После бала» или в купринских рассказах, но отметим с признательностью, что и К. Р. и Твардовский не рисуют сплошь розовыми красками жизнь солдат, которые

*От той же отторгнуты жизни привальной,
От жен, матерей и отцов.
Им стала второю семьею та рота,
Сроднил меж собою их полк,
Одна их связала друг с другом забота,
И царская служба, и долг.*

Далее под пером К. Р. возникает уже совершенно Василий Теркин:

*Веселый и ревностный, бойкий, смысленный,
Он с честью носил свой мундир,
И вышел лихой из него отделенный*

*И взводный потом командир...
Дожди ли над лагерем нашим прольются,
Тоску наводя на людей,
В палатке его и поют, и смеются,
Хоть вымокли все до костей.*

После смерти Сталина Твардовский задумался, одумался, написал «Теркин на том свете», но, кандално зависимый от внешних идеологических обстоятельств, никогда он не достигал той христианской силы сострадания к тяжкому уделу простого люда, какая слышится нам в безыскусственных стихах великого князя:

*Умер, бедняга! В больнице военной
Долго, родимый, лежал.*

И еще одна необычная биография. Граф Петр Бутурлин родился во Флоренции, куда переселился его прадед, вельможа екатерининских времен, камергер и сенатор. Первые стихи Петрино писал по-английски, издал их во Флоренции отдельным сборником. В пятнадцатилетнем возрасте приехав в Россию, начал писать стихи по-русски. Сочинял он всю свою жизнь (недолгую) только сонеты. «Родился я на родине сонета». Чехов не обратил (а мог бы!) внимания на его сонет «Чехарда», написанный в 1895 году:

*Царю тринадцать лет. Он бледен, худ и слаб.
Боишься пушек, гроз, коней и дамового.
Но блещет взор, когда у сокола ручного
Забьется горлица в когтях зардевших лап.
Он любит, чтоб малил правитель-князь, как раб,
Когда для подписи уж грамота готова,
И часто смотрит он, не пророня слова.
Как конюхи секут сенных девиц и баб.
Однажды ехал он весной на богомолье
В рыдване золотом — и по пути, на всполье,
Заметил мальчишков, игравших в чехарду.
И, видя в первый раз, как смерды забавлялись,
Дивился мальчик-царь: и он играл в саду
С детьми боярскими, но те не так смеялись.*

Забудем о том, что так жестко о царе пишет граф. Это примечательно, однако не столь уж важно. Но много ли ты назовешь, любезный читатель, нынешних стихотворцев,

учлененных в Союзе писателей, способных в краткой, трудной форме написать такой сложный психологический портрет, такой красочный по словесной живописи и точный, резкий по рисунку? Да, назовешь шесть или семь имен из числа многих сотен. А между тем Бутурлин читателями забыт. Так прекрасны и могучи боги, полубоги и герои, пребывающие на Олимпе русской поэзии, что забываются те, кто однажды был позван к ним на пир и пригубил их чашу. Что же станет с теми шестью или семью? Бог ведет.

Им тем более трудно, что их жизнедеятельность зависит от невежественного стихотворного скопища, от бесчисленных саламандр, которым талант вынужден порой угождать. Таких же темных, бездарных, безграмотных встречал сто лет назад молодой Чехов в редакциях журнальчиков и газетенок, кое с кем даже вступал в дружеские отношения, но то была нищая, голодная, бессильная братия, иногда пьяная, а нынешняя хотя и пьянь, хотя и столь же бездарная и безграмотная, как и рифмачи прошлого века, но пьянь сытая, самоуверенная, самоуправная, начальственная, по-сиамски срощаяся с компетентными органами.

Я вовсе не хочу сказать, что такие, как Бутурлин, забыты несправедливо. В России никогда не было непризнанных поэтов — «проклятых», как во Франции. Все всегда на своих местах стояло, в худшем случае — на свои места рано или поздно становилось. И беда не в том, что, как писал Чехов, сейчас поэты «совсем швах». Беда наша в том, что этот «народ необразованный, без знаний, без мировоззрения» находится у литературной власти, разрешает (или не разрешает) публикации, определяет тиражи, раздает премии, квартиры, льготы, привилегии, ласки, поощрения и при этом не знает (вернее, не хочет знать), что он «швах». Он не только по злобе (а она велика), но и искренне, по своему невежеству, считал нашу национальную русскую гордость Иосифа Бродского, уже в юности обещавшего нам огромного, драгоценного поэта, — ерундой, он, этот темный, но имеющий власть стихопишущий народец, состоящий из авторов чуть ли не сорока прижизненных книг (у Тютчева — две, у Анненского — одна, если не считать трех трагедий на сюжеты античных мифов, у Ахматовой — шесть), искренно полагал, что никакой цены не имеют стихи Марии Петровых, Александра Кочеткова, Аркадия Штейнберга, Арсения Тарковского (пустившегося на дебют, имея пятьдесят два года от роду). Обсуждая альманах

«Метрополь», все эти сочинители, озлобленные, завистливые и одновременно самодовольные, жадные чиновники, от тайных советников до титулярных, с искренним невежеством издевались над одним из самых значительных поэтов русской современности Юрием Кублановским.

Характерная их черта — они отсекают от таланта культуру. Под культурой я понимаю не стяжательское накопление заимствованных сведений, а наследственную, я бы сказал — легитимную способность деятельного развития духовных ценностей. Добавлю к этому. Если музыка — самый интернациональный род искусства, то стихотворная поэзия — самый национальный, ибо, как душа и плоть, слилась с языком. Даже наиболее отчаянные авангардисты не в силах оторвать поэзию от языка. Терпели поражение даже такие таланты, как Бальмонт, бесспорные шедевры которого загажены волапюком, как Игорь Северянин со своими дешевыми, чужеродными русскому языку неологизмами, Маяковский, обновивший понятие русской рифмы, бедными возможностями которой огорчился еще Пушкин, но так и не вырвавшийся, хотя и всю жизнь пытался, из нерушимых границ нашей метрики. То, что основано на незыблемых законах русского языка и русского трансцендентного миропонимания Кантемиром, Ломоносовым, Сумароковым, Державиным, ни один наш стихотворец не в состоянии разрушить. Истина элементарная. Саламандры ее не знают.

Впрочем, не дадим раздражению, даже объяснимому, даже простительному, управлять нашим пером. Многие советские стихотворцы в частной жизни люди, приближающиеся к порядочным. Суть в том, что они, знаменитые и безвестные, «тихие» и эстрадные, умелые и беспомощные, прогрессивные и реакционные, западники и славянофильствующие, не связаны с русской национальной культурой, для них Державин, или Жуковский, или Тютчев, или Случевский — громкие далекие имена, а не действующие и поныне могучие движущие силы. Они, эти виршеписцы, невежественны и потому, что существуют вне христианской цивилизации, за воздушными стенами того дома, в котором двадцать веков живем мы, будь то атеисты, будь то верующие, принадлежащие к различным конфессиям.

Средневековые восточные поэты, рабски подносявшие шахам и эмирам панегирические свитки, были бесконечно свободнее нынешних чиновников: они имели в душе Бога.

Но что может быть ужаснее и, в сущности, несчастнее раба, не знающего Бога.

Жертвой тотального и правящего стихопишущего рабьего невежества стала и поэзия Георгия Шенгели.

Я часто думаю о его судьбе. Среди не изданных у нас работ Анны Ахматовой сохранился «План книги». Раздел второй называется «Люди». Перечисляются имена. На четвертом месте — Шенгели.

В 1927 году вышел небольшим тиражом памфлет «Маяковский во весь рост». Мне было шестнадцать лет, когда я в Одессе прочел эту книжицу. Имя ее автора, Шенгели, было мне знакомо, но смутно. Маяковский — единственный в мире крупный писатель, которого я никогда не любил и не люблю, но от памфлета Шенгели повеяло на меня чем-то дурным. Чувствовалась вражда не общественно-литературная, а личная. Плохой признак.

Вначале памфлетист скорее сдержан. Он отдает должное своему герою: «Талантливый в 14-м году, еще интересный в 16-м». Беспристрастный исследователь должен был убедительно показать, в чем и как проявился талант в указанные годы. Но памфлетист торопится заявить: «В 27-м уже не подает никаких надежд... и способен лишь реагировать на внешние раздражения вроде выпуска выигрышного займа, эпидемии растрат, моссельпромовских заказов на рекламные стишки».

В чем же причина положительных суждений критики и многочисленных читателей Маяковского? Шенгели находит броскую формулировку. Поэзия Маяковского, по его мнению, — «плод творческого усилия особой социальной прослойки, которую я называю люмпен-мещанством».

Эта мысль выглядела бы, возможно, более убедительной, если бы Шенгели развил ее, если бы на минуту стиховеда в нем сменил философ и социолог. Он пытается это сделать — с некоторой робостью:

«Люмпен-мещанин создает свою поэзию — поэзию индивидуализма, агрессивности, грубости и при наличии некоторого таланта (значит, талант есть!), при болезненной общественной нервности критической эпохи добивается порой некоторого успеха».

Но что это такое — «люмпен-мещанство»? Каковы его роль, его значение в нашем государстве? Здесь Шенгели не хочет (опасается?) додумать, фраза его становится неряшливой.

Шенгели обретает силу, когда исследует особенности мастерства Маяковского. Памфлетист резко и логично отвергает утверждения Маяковского о том, что «старые размеры», «ямбы и хорей» давно «подохли», что современному поэту стыдно, при бешеных темпах жизни XX века, пользоваться этим стихом, которым пользовались в XVIII веке, когда никаких автомобилей не было!

С уверенностью эрудита Шенгели разбивает тезис Маяковского:

«Четырехстопный ямб, которым написан «Евгений Онегин», может быть построен, оставаясь четырехстопным ямбом и имея только мужские и женские окончания, — более чем тремястами способами в одной строке (грандиозное замечание!). Две строки этого размера, следовательно, могут дать девяносто тысяч комбинаций, а четыре строки — свыше восьми миллиардов комбинаций. Целые же стихотворения, в 16, 20 строк, открывают возможности, выражаемые астрономическими числами. Совершенно ясно, что только микроскопическая доля этих возможностей была осуществлена на практике и, следовательно, каждый поэт в рамках «дохлого» четырехстопного ямба может быть вполне индивидуален, может отыскать новые системы ритмических звучаний. То же самое можно утверждать касательно всех других «дохлых» размеров».

Шенгели прозорливо прав. Так оно и случилось. В поэзии нет и не может быть так называемого новаторства. Кто талантлив, тот и нов. Версификаторские новации, порой изобретательные, не новаторство. А те, кого называли или называют новаторами, живут в литературе могильной жизнью.

В чем же беда памфлета Шенгели? В чудовищной пристрастности. Вот он цитирует известные строки раннего Маяковского:

*Время! Хоть ты храмой богوماз,
Лик намалюй в мою божницу
Уродца века.
Я же одинок как последний глаз
У идущего к слепым человека.*

«Здесь, — чуть ли не издевается Шенгели, — жажда оставить хоть какой-нибудь след в «божнице уродца века». Замечание глухого, не услышавшего гениального трагизма заключительных строк:

*Я же одинок как последний глаз
У идущего к слепым человека.*

Не одного Шенгели раздражал свойственный «новой» литературе язык лабазных зазывал. С негодованием приводит он текст афишки, расклеенной Маяковским в Нью-Йорке:

*Состоится вечер
Владимира Маяковского
Великого поэта СССР.*

Афишка вызывает отвращение. Но почему же Шенгели умиляется тому, что Игорь Северянин «честно помещает титул «короля поэтов» на обложках своих книг»? Одна компания. Памфлетист это хорошо понимает: «Самореклама — естественное следствие люмпен-мещанского мироощущения. В ней видят показатель силы, а в действительности она — вывеска глубоко упрятанного бессилия».

Шенгели часто остроумен. Вот его замечание о знаменитых строках Маяковского:

*Кто там шагает правой?
Левой, левой, левой...*

«Шагают и правой, и левой попеременно: прыгать же на одной ножке по меньшей мере утомительно».

Не забывает Шенгели и о том, какие авторитеты одобряли Маяковского. Он напоминает читателю, что о вышеприведенных строках Блок сказал: «А все-таки хорошо». В чем же сущность того хорошего, которое увидел Блок? Шенгели об этом не говорит, а обязан был бы сказать. Так теряется доверие к автору памфлета.

Когда в 1929 году я приехал в Москву, то почувствовал, что многие стихотворцы относятся к Шенгели презрительно, с негодованием приравнивая его нападки на Маяковского к нападкам Булгарина на Пушкина. Еще живя в Одессе, я спросил о Шенгели у Багрицкого. Мне запомнились два слова. О Шенгели-поэте Багрицкий сказал «позер», о человеке выразился нецензурно, хотя и беззлобно. Я узнал, что Шенгели несколько послереволюционных лет провел в Одессе, был близок к кругу местных поэтов. В своей (неизданной) пародии на «Василия Шибанова» А.К. Толстого, описывая завсегдатаев Дома Герцена («За пушкинской зад-

ницей пышно цветет советская литература»), Багрицкий делает такое наблюдение:

*Там Уткин не Уткин, а Шелли,
И корчит поэта Шенгели.*

Забегу вперед. Несколько лет назад Валентин Катаев сказал мне о Шенгели: «Мы его недооценивали». Другой видный представитель юго-западной плеяды, Юрий Олеша, дружил с Шенгели, любил его стихи и, когда мы хоронили Георгия Аркадьевича, произнес прекрасную надгробную речь.

Прочтя в Одессе столь неприятный мне памфлет, я решил познакомиться с поэтическим творчеством автора, раздобыл изданную в 1922 году книгу его стихов «Раковина». Меня поразило стихотворение, открывающее сборник. Так как «Раковина» стала библиографической редкостью, да и имя автора редко кто теперь помнит, я приведу это стихотворение полностью. Написано оно в 1919 году:

*Ты помнишь день; замерзала ртуть; и солнце
Едва всплыло в карминном небосклоне,
Отяжелевшее; и снег звенел;
И плотный лед растрескался звездами;
И коршун, упредивши нашу пулю,
Свалился вдруг. Ты выхватил кинжал
И пальцем по клинку провел, и вскрикнул:
На сизой стали заалела кожа,
Охваченная ледяным ожогом...
Не говори о холоде моем.*

Вот такой ледяной ожог я почувствовал, читая «Раковину» — лучшую, по-моему, книгу Шенгели. Среди тогдашних горячечных, истеричных вскриков и воплей имажинистов, футуристов да и пролетарских, холод стихов Шенгели нес читателю жаркое дыхание. Поэт болезненно обнажал прием:

*Я скрипку в прорубь окуну,
На льдяном ветре заморожу
И легким пальцем потревожу
Оледеневшую струну.*

Нет, холод этих стихов не показался мне холодом поэта, эстета. Он сливался с холодом годов «военного комму-

низма», с холодом нетопленных, заледеневших квартир, замерзшего вокзала, застывшего в своем мрачном движении индигового моря, бездействующего порта. А словарь Шенгели был, в ножнах старых метров, резким, режущим, как клинок. Шенгели убежден, что поэт должен «мысль рассечь ланцетом».

*Да, только в молнийной игре, во вздохах
Насоса нагнетательного, в звонах
Дрожащих исступленных рычагов,
В порхании, свистящем лете поршней,
Отмеривающих стихи и строфы,
Ты золото из глубины подымеешь
И вверх его по желобу косому
Тяжелой песней устремишь.*

Тяжелая песня, тяжелая лира... Есть что-то общее, при всей наглядной разнице в объеме дарования, у Шенгели и Ходасевича. «Жив Бог: умен, а не заумен, хожу среди своих стихов», — писал Ходасевич. А примерно в те же годы — Шенгели:

*Люблю слова, невучую их плоть:
Моей душе, неколебимо пленной,
Их вестниками воли шлет Господь.*

Автор предпочитает старые метры, больше всего — пятистопный ямб и александрийский стих, но найдем у него и верлибр, и изысканные размеры. В «Краткой литературной энциклопедии» в качестве редко встречающегося метра приводится строфа из его «Барханов»:

*Безводные золотистые пересыпчатые барханы
Стремятся в полусожженную неизведанную страну,
Где правят в уединении златолицы богдыханы,
Вдыхая тяжелодымную златоопийную волну.*

В «Раковине» сверкают две жемчужины: «Державин» и «Ермолов». Вот строфы из «Державина»:

*Он очень стар. У впалого виска
Так хладно седина белеет,
И дряхлая усталая рука
Перам усталым не владеет.*

*Вот и вчера. Сияют ордена,
Синеют и алеют ленты,
И в том дворце, где медлила Она,
Мелькают шумные студенты,
И юноша, волнуясь и лёта,
Лицом сверкая обезьяньим,
Державина беспечно, как дитя,
Обидел щедрым подаяньем...
Бессильный бард, вернувшийся дамой,
Забыл об отдыхе, о саде,
Присел к столу и взял было рукой, —
Но так и не раскрыл тетради.*

С таким же острым пониманием человека, с таким же словесным блеском и проникновением в чудо словесности — например, как чутко воспроизведена обида Державина на то, что юноша его, великого поэта, «обидел щедрым подаяньем», — написан портрет Ермолова. Узнать это стихотворение — радость, и я хочу этой радостью, мой любезный читатель, поделиться с тобой.

*Он откомандовал. В алмазные ножны
Победоносная упряталася шпага.
Довольно! Тридцать лет тяжёлый плуг войны
Как вал упрямая влекла его отвага.*

*Пора и отдохнуть. Дорогу молодым.
Немало думано и свершено немало.
Чечня и Дагестан еще дрожат пред ним,
«Ермоловъ» выбито на крутизнах Дарьяла.*

*И те же восемь букв летучею хвалою
В Кавказском пленнике сам Пушкин осеняет.
Чего еще? Теперь Ермолов пьет покой,
В уединении Ермолов отдыхает.*

*И злость безвластия лишь раз его ожгла,
И птицы старости лишь раз ему пропели,
Когда июльским днем с Кавказа весть пришла
О том, что Лермонтов застрелен на дуэли.*

*Он хрустнул пальцами и над столом поник,
Дыбились волоса и клокотали брови,
А ночью три строки легли в его дневник:
«Меня там не было: я бы удвоил крови.*

*Убийцу сей же час я бы послал в поход,
В передовой огонь, в дозоры и патрули,
Я по хронометру расчислил бы вперед,
Как долго жить ему до справедливой пули».*

В эти же годы написаны еще два портрета — «Денис Давыдов» и «Бетховен». Для Шенгели, «поэта большой литературной культуры» (из статьи о нем академика А.И. Белецкого), — искусство, поэзия, люди искусства и поэзии — превыше всего. Художник — «скворещник вольных граждан». Строка Вячеслава Иванова стала заповедью для Шенгели. Не свойство ли это небольших, но истинных талантов? Не оно ли было присуще и Игорю Северянину — учителю и покровителю юного Шенгели? Стихотворение «Бетховен» связано у меня с таким воспоминанием. Мы, уже подружившиеся, выступали с Шенгели в студенческой аудитории. Почему-то в зале стоял гул, мешавший читать всем выступающим. Когда предоставили слово Шенгели, гул усилился. Может быть, слушателям был известен памфлет «Маяковский во весь рост»? Но Шенгели, сверкая огненными восточными глазами из-за стеклянной прохлады очков, с властной громкостью выкрикнул в зал одно слово: «Бетховен». Зал неожиданно затих. Шенгели прочел — не о себе ли?

*Хозяин к ушам прижимает испуганно руки,
Учтивостью жертвуя, лишь бы не резали звуки,
Мальчишка от хохота рот до ушей разевает, —
Бетховен не видит, Бетховен не слышит, — играет!*

«Раковину» завершает поэма «Поручик Мертвецов». Моряк с кладбищенской фамилией, которому, по мнению адмирала, «керосину не выдумать», был отчислен с броненосца, переименован из мичманов в поручики и стал служить в адмиралтействе, «попал в сургучную Валгаллу». Однажды ему приснился «подлый сон»:

*Сидит он нагишом в степи и видит:
Вдали идут покойники, в порядке
И по ранжиру, тоже нагишом;
И каждый тащит курицу под мышкой,
Ощипанную, гнусную на вид.
Подходят чередой к нему, слагают
У ног его всю эту пададь, тихо,*

*Таинственно и ласково шепча:
«Учителю, учителю...» И в страхе
Проснулся унижительном поручик.
Курятины с тех пор не ел он вовсе.*

Безумный сон сменяется в крымском городке безумной явью революции. Собираются в каменоломнях забродчики, фронтовики, гамзеи в клеенчатых фуражках, в бескозырках. Стрекошет фальцет пропагандиста. Голод. Дорожает кокаин. «Протоиерей постыдно окарнал власы седые и рясу снял». С севера текут сермяжные фаланги, и матрос

*С двумя серьгами, пьяный и кудрявый,
Захлебываясь «яблочком», сияя
«Авророю» на двухаршинной ленте,
Уже купал свой пыльный броневик
В водах Салгира.*

Красные отступили. Мертвцов выволок из-под железной крыши «шуплого жиденка» Малкина и повесил его за ноги. Потом повесил за ноги и курицу — субботний обед мальчика.

Георгия Шенгели и позднее часто влекло к эпосу, но лучшей его поэмой, на мой взгляд, остался ранний «Поручик Мертвцов». Хотя литераторы (и сам себя Шенгели) причисляли его к неоклассикам, к парнасцам, хотя многие видели и видят в нем эпитона русской поэзии девятнадцатого века, «Поручик Мертвцов» опровергает это мнение. Шенгели далек от классических образцов нашего «золотого века». Ближе он к прозе и стихам Бунина, с их необыкновенной, почти звериной зоркостью, с их праздником подробностей. Но Шенгели, в отличие от Бунина, мыслил тривиально. Он стремился к поэзии мысли, но мыслить не умел. Он умел рисовать. Наглядный пример — его убогая по мысли и убедительная по живописи поэма «Ушедшие в камень».

В своих воспоминаниях о Мандельштаме я привел сказанные мне слова Осипа Эмильевича: «Каким прекрасным поэтом был бы Георгий Аркадьевич, если бы он умел слушать ритм». Я думаю, что это не совсем так. Истинному поэту Шенгели мешало стать прекрасным другое. Он был лишен крыльев мысли. Бунин уверенно ходил по земле, но он и летал. Таким разным, как Бунин и Пастернак, «всесильный бог деталей» не был преградой для полета.

Когда мы познакомились и подружились, Шенгели подарил мне свою маленькую книжечку «Еврейские поэмы», изданную в 1920 году мифическим издательством «Аониды», а в действительности — иждивением автора. В книжечке тринадцать стихотворений, все они полны сочувствия к многострадальному народу, все они мастерски написаны, но ни в одном нет оригинальной мысли, и, хотя поэт пишет о Иегове, которому «ведомо времен предназначенье», рукой поэта ведет не Бог Книги, а языческий бог деталей — например, в стихотворении «Пустынник»:

*И рыжим золотом под этим бледным небом
Плывет верблюжья шерсть на согнутых плечах,
Там, где Фавор прилег окаменелым хлебом.*

«Окаменелый хлеб Фавора» — как смело сказано, смело — и по-бунински сильно. Кстати, Шенгели — единственный из знакомых мне поэтов своего поколения (кроме Катаева, начавшего как поэт), ценивший стихи Бунина. Шенгели мне рассказывал, как в Одессе он пришел к Бунину и как понравилось Бунину определение, которое Шенгели дал его поэзии: «средиземноморский лиризм».

Когда я приехал учиться в Москву, оказалось, что мои друзья, молодые поэты Штейнберг, Петровых и Тарковский, видели в Шенгели если не своего наставника, то старшего в их содружестве. Не помню, кто из них привел меня к Шенгели. Он жил в одном из арбатских переулков, Малом Ржевском, в квартире, занимаемой детским садом — типично московская фантазмагория тех лет, — и только одна комната принадлежала Шенгели и его жене, поэтессе Нине Леонтьевне Манухиной. Позже я узнал, что в первые годы революции хозяйкой квартиры была Цветаева.

Комната, довольно большая, была разделена книжными шкафами на две или три части, одна из которых служила спальней. Книг было много, очень много, на разных языках. На одной из полок виднелась дощечка с выгравированной надписью: «Книг на дом не даю».

Шенгели был красив, не русской, а новороссийской, смуглой красотой. Хорошего роста, темноглазый, артистичный, с оттенком барственности. Он говорил, что в его жилах течет смесь русской, польской, грузинской и еврейской крови. В стихах он пишет: «Пращур мой — Суворов». Не знаю, троп ли это или же факт биографии? Красива была и Нина Леонтьевна, высокая, тоненькая.

Я прочел юношеские стихи — для этого меня и привели. Стихи понравились, я был признан своим.

Постепенно я кое-что узнал о Шенгели — от него самого и от наших общих друзей. В юности он сблизился с Игорем Северяниным, писал «под него», как и многие тогдашние молодые стихотворцы (например, Юрий Олеша), выступал вместе с ним в различных городах, «легко на эстрады взлетал». Ранние книги Шенгели носят типично эгофутуристические названия: «Лебеди закатные», «Розы с кладбища», «Зеркала потускневшие». Парнасцем он стал величаться потом (тот же путь проделал Бенедикт Лившиц), но благодарную любовь к Игорю Северянину сохранил до конца жизни. Я предполагаю, что его ненависть к Маяковскому основывалась и на грубой неприязни последнего к Игорю Северянину.

Шенгели был не лишен не только честолюбия, но и тщеславия. Он не забывал, что после Брюсова стал председателем Всероссийского союза поэтов, окончившего свое существование к тому времени, когда я приехал в Москву. А жаль. Каждый состоявший в союзе поэтов (а попасть в него было просто) мог издать под его маркой сборник стихов. Для этого надо было внести триста рублей. Деньги по тогдашним меркам немалые, но мне удалось бы их собрать. Я уверен, что тот же Шенгели мне бы помог. А цензура была не слишком хищная.

Я имел возможность убедиться в том, что Шенгели был хорошим, заботливым другом — и Боже упаси было получить в нем врага!

В дружбе он был бесконечно добр. Вся наша четверка испытала это на себе. Тарковский, в двадцать лет оставшийся без жилья, нашел временный приют в его единственной комнате, спал почему-то, как он мне рассказывал, под столом.

Шенгели привел меня на «никитинские субботники», рекомендовал меня как будущего участника заседаний. Это была большая квартира в старинном доме на Тверском бульваре, принадлежавшая Евдоксии Федоровне Никитиной. Во главе длинного стола сидели хозяйка дома, полная, благообразная литературная дама в чепце, Андрей Белый, чья лысина была увенчана ореолом седых кудрей, а синие глаза пылали, как у пророка или гипнотизера, профессор-филолог С.К. Шамбинаго, над монгольским лицом которого половецки чернела академическая ермолка. Пили чай с печеньем. Публика разношерстная, некоторых я уже видел

раньше или даже знал: Уткин, Луговской, Георгий Оболдуев, Сергей Бобров (у этих двух был свой маленький литературный салон на Кузнецком мосту), Марк Тарловский, Лидин, Новиков-Прибой, Буданцев. Для нас нашлись места в самом углу у окна, где сидела пара: крутолобая красавица-еврейка и человек лет сорока с необыкновенно выразительным, необыкновенно завораживающим лицом бедуина, одетый в длинный черный пиджак. Шенгели поздоровался, ему ответили небрежным, даже брезгливым кивком. Я тихо спросил: «Кто это?» «Пастернак с женой», — раздраженно произнес Шенгели. Чета Пастернаков вскоре ушла. Я заметил, что поэт, пробираясь между занятыми стульями, слегка волочил ногу.

Может быть, я когда-нибудь расскажу о том, как я читал стихи на «никитинских субботниках», как Андрей Белый сказал только одно снисходительное слово — «музыкально», как благодаря этому, поселившись через несколько лет в Неопалимовском переулке и став неожиданно соседом Андрея Белого, жившего в полуподвале высокого дома, где, однако, было центральное отопление, я получил возможность выслушивать его бессвязные, безумные, волшебные речи, касавшиеся, главным образом, математики, которые он выпевал, приплясывая на снегу узкого тротуара — там, где на месте уничтоженной церкви Неопалимой Купины теперь возвышался дом, построенный в стиле «раннего сталинизма». Однажды, резко оборвав свои математические рассуждения, Белый выкрикнул, взвизгнул: «Малый театр в постановке «Мертвых душ» выдал из Гоголя весь гоголин!» Но перейду к делу.

Зимой 1930 года, скорее всего в феврале, в Доме Герцена был объявлен вечер Шенгели. Об этом возвещала афиша в парадной.

Я пришел со своими новыми друзьями — поэтами Марком Тарловским и его женой Ладой Руст, умной, милой, образованной, некрасивой, старше мужа лет на десять, ближайшей подругой Нины Леонтьевны. Лада была чисто русская, Екатерина Александровна (впрочем, в отчестве неуверен, а теперь уже некого спросить). В аляповатом постдекадентском вкусе она избрала себе псевдоним, потом, придя в себя, оставила от псевдонима Руставели первые четыре буквы, а имя Лада за ней закрепилось.

У входа в дом уже стояли Нина Леонтьевна и широкоплечая женщина, прикуривавшая от спички: поэтесса Софья Парнок. Появился и Георгий Аркадьевич. Лицо его вы-

ражало тревогу и обиду — публики не было. Мы неловко молчали. Только у Нины Леонтьевны вырвалось: «Бедный Йорик». То не было знаменитым восклицанием Гамлета — в детстве Георгия Аркадьевича так называли домашние. Шенгели повел себя превосходно, подшучивал над собой, рассказывал о подобных происшествиях, случившихся с другими литераторами, но видно было, что ему не до шуток.

Почему никто не пришел? Был ли тому причиной трехлетней давности памфлет? Либо в годы, когда в литературных кругах гремели Пастернак, Сельвинский, Луговской, Багрицкий, Тихонов, Светлов, Заболоцкий — столь разные и по манере письма, и по масштабу дарования, — никого не интересовал эпигон традиционного стихотворства? А где были близкие друзья? Как потом выяснилось, у того заболела жена, та заболела сама, третий уехал на охоту в подмосковную глушь.

Минут через двадцать—тридцать, когда стало ясно, что ждать слушателей не имеет смысла, Шенгели, гордо и зло улыбаясь, сказал:

— Пойдем поужинаем. Угощает герой несостоявшегося вечера.

Ресторан Дома Герцена описан не раз, лучше всех, конечно, Булгаковым («Дом Грибоедова»). Умиравший нэп медлил расставаться со своей вкусной приманкой.

Шенгели сорвал в парадной афишу со своим именем. Мы спустились вниз, в полуподвал. Скучно освещенный длинный и узкий зал был пуст. Большие мягкие люстры низко озаряли сервированные столики. Мы уселись. Подошел официант с записной книжечкой в кожаном переплете. Шенгели заказывал, не заглядывая в меню, как завсегдатай. Названия некоторых блюд я услышал впервые. «Что будем пить? — спросил герой несостоявшегося вечера. — Я, как всегда, «Кюрдамир».

Три наши дамы пожелали водки. Тарловский и я к ним присоединились.

Пили, закусывали, болтали, смеялись, у всех на душе было тяжело. Сидевшая рядом с Шенгели Софья Яковлевна Парнок иногда гладила его по плечу. В ее чертах мужская вольтеровская язвительность то и дело сменялась нежной женской беспомощностью.

И вдруг появилось новое лицо. Маяковский. Он вошел в пальто, в кепи, с тростью. Не глядя на нас, на единственный занятый столик, он двинулся в конец зала. Мы слыша-

ли, как он шумно снимал пальто, усаживался. К нему устремился бородатый важный мэтр. В затихшем зале раздались: «Бутылку моего вина, пачку моих папирос».

Не в другой, а именно в этот позорный для него вечер Шенгели оказался под одной ресторанной крышей со своим заклятым врагом. И когда? За два месяца до самоубийства Маяковского. Как не поверить в эллинский Рок?

Мне Маяковский не был виден, так как Тарловский, Лада и я сидели к нему спиной, а обернуться хотелось, но было неудобно. Мы продолжали болтать, пить, есть, смеяться, но нервно чувствовали присутствие этого молчащего человека в этот необычный вечер. А что чувствовал Маяковский? Знал ли он в лицо того, кто написал «Маяковский во весь рост», того, кто «молотобойцев обучает анапестам», того, чью фамилию он зарифмовал с издевательским «не в шинке ли»? Знал ли он в своем смятенном состоянии, что скоро по собственной воле уйдет туда, откуда никто еще не возвращался?

Я не раз бывал на выступлениях Маяковского в Политехническом, а незадолго до этого вечера, может быть недели за две, сидел близко от него — и тоже за столиком. Дело было так.

Мы, несколько молодых стихотворцев (я запомнил Павла Железнова, бывшего беспризорного, автора книги «От «пера» к перу», других выступающих не помню), выступали за какие-то гроши по радио. Студия помещалась в новом здании телеграфа на Тверской, входили с переулка по пропускам. Вскоре пришел Маяковский, он тоже должен был выступить — надеюсь, не за гроши. Мы, четверо или пятеро, Маяковский в том числе — времена были демократические, — собрались в небольшой комнате перед аппаратурой. Кто-то из молодых с ним заговорил, Маяковский не ответил. Диктор, видимо еще малоопытный, включив все, что надо, заглянув в список, возвестил на всю страну: «Свои стихи читает поэт Маяковский». Да, да, Маяковский! Маяковский прочел то, что ему надлежало прочесть, а когда закончил, с нарочитой внятностью произнес: «Вэ, Вэ Маяковский» — и вышел, рассерженный. Отбарабанив каждый свое, тихо выходили и мы. Приятное было в том, что предназначенные нам гроши выплачивались тут же, надо было подождать полчаса, от силы час. Мы ожидали в буфете. Как я уже заметил, нэп умирал, вводились продуктовые карточки, в буфете имелись для нас только бутерброды с кабачковой икрой и чай без сахара. Мы уселись за столик,

а Маяковский, пренебрегая буфетом, за другой. Пренебрег он и нами.

Буфет располагался как бы в большой нише между двумя коридорами. Из одного торопилась в другой молодая брюнетка, по всему — сотрудница Радиокомитета. Маяковский окликнул ее: «Таня». Она присела к нему. Мы услышали слегка глуховатый бас Маяковского:

— Выходите за меня замуж. Нет? Почему нет? Красив? Красив! Богат? Богат! Знаменит? Знаменит!

Брюнетка, видимо довольная, весело, грудным голосом, зазвенела:

— Вы не тот, кто мне нравится, — и убежала по своим делам.

То была зима накануне его самоубийства. Я, конечно, понимал, что он шутит, но не понимал того, что творилось в его душе. И вот он сейчас один, за бутылкой «своего» вина, а рядом — чуждые, неинтересные ему люди.

Он покинул ресторан довольно скоро. Нина Леонтьевна сказала:

— Вы знаете, он был сегодня какой-то особенный. Мне даже стало его жаль. Мне кажется, что у него горе. Будет беда.

Есть умные женщины, наделенные даром предвидения, я это заметил уже в ранней молодости...

Через год после своего несостоявшегося вечера Шенгели предложил мне поехать с ним в Коктебель к Волошину. Поезд прибывал в Феодосию на рассвете. Мы наняли таратайку. Шенгели удивил меня, заговорив с возницей-татаринном на его языке. Потом он мне объяснил, что по-татарски знает слов сто, не больше. Он хорошо владел английским, французским, немецким, латынью. Он был по-настоящему, по-дореволюционному образован. Интересовался не только гуманитарными науками, но и точными — математикой, физикой, астрономией. Напомню, что он был автором не утративших и ныне своего значения стиховедческих работ: «Трактат о русском стихе» и «Техника стиха».

В 1923 году он выпустил драматическую поэму «Броненосец «Потемкин» (в издательстве «Красная новь»). В коротком послесловии автор счел нужным остановиться на проблемах версификации. Он пишет, что белый пятистопный ямб «по словосмкости своей ближе всех прочих подходит к слогаударным константам русского языка, а его пятистопность, ритменная планомерность, дает возможность обойтись без красозвучия. Следует упомянуть, что в этом

метре автор допустил долгие хориямбы и в мужских стихах пиррихизирование последней стопы».

Так-то оно так, есть хориямбы, есть и пиррихизирования, неожиданные для парнасца решения, например, поставить слово «революция», придав ему мужское окончание, в конце ямбической строки, есть точность (книжная) морского словаря и точность (не книжная) феодосийской, севастьяпольской или одесской топонимики, и есть места поэтические, например, в монологе лейтенанта Семенова:

*В глубине России
Овраги разъедают чернозем,
Как бы волчанка, и мелеют реки,
И мутные их воды к нам несут
Тот хлеб, что не родился. В мутных устьях
Восходят мели, косы, островки.
Гниет трава, и воздух полон пара.*

Чего же нет? Нет очарования исторического мышления, нет того, что есть в «Борисе Годунове», в «Царе Федоре Иоанновиче», в пастернаковском «1905 году», в ахматовской «Поэме без героя». Все задано: и червивое мясо, и «амальгама индивидуального сознания и классового инстинкта» (из послесловия автора), и оптимизм концовки: «Мы победим: матрос, мужик, рабочий».

Но неужели только неумение мыслить делает поэта не первостепенным? Такими ли уж мудрецами были Дельвиг, Языков, Полонский, Есенин? А какие упонительные поэты! Нет, здесь что-то другое, а что — определить не могу, хотя смутно чувствую.

Шенгели много переводил. Ему близки были Леконт де Лиль, Эредиа, Роллина. Его привлекали пышный Гюго и урбанист Верхарн. Но как раз урбанистские вещи Верхарна ему редко удавались. Зато он, поэт-живописец, почувствовал фламандские стихи бельгийца:

*В столовой, где сквозь дым ряды окороков,
Колбасы бурые, и медные селедки,
И гроздь рябчиков, и гроздь индюков,
И жирных каплунов чудовищные четки,
Аля, с черного свисают потолка,
А на столе, дымясь, лежат жаркого горы
И кровь и сок текут из каждого куска, —
Сгрудились, чавкая и грохоча, обжоры...*

Плотно, вкусно. Другие переводы, за исключением поздних, пока не напечатанных, — недурные, но и только. В них нет главного: ни один из них не становился явлением русской поэзии.

Но вот возникла новая отрасль перевода, новая в самой своей структуре и свойственная только нашему Государству. Не в том дело, что стихи переводились с подстрочников. Жуковский, не зная греческого, персидского, санскрита, переводил с немецких подстрочников «Одиссею», «Наль и Дамаанти», «Рустема и Зораба» Фирдоуси. С подстрочников переводил и Бальмонт — «Витязя в тигровой шкуре» Руставели и драмы Калидасы (санскрит). Новая отрасль перевода отличалась своей единственной целью — служением ленинско-сталинской национальной политике. Не случайно, что перевод нового типа стал развиваться после ликвидации РАППа и в канун создания единого союза писателей. Предмет, достойный специального исследования, во многих отношениях весьма плодотворного, но здесь не будем на нем останавливаться.

Прежде всего, конечно, ради заработка, но и с искренним увлечением занялись переводческой деятельностью Антокольский, Заболоцкий, Пастернак, Тихонов. Переводить начали с языков старописьменных — грузинского, армянского, со славянских — украинского и белорусского. Особенно привлекательна была грузинская поэзия с ее высокой культурой, с близостью ее старейшин символизму, да и поездки в эту республику сказочной красоты были весьма заманчивы. Пастернак, для которого творческая связь с Грузией стала важной страницей его трудов, писал, как всегда, умно и наглядно:

*Мы были в Грузии. Помножим
Нужду на нежность, ад на рай,
Теплицу льдам возьмем подношьем,
И мы получим этот край.*

В Гослитиздате, самом крупном издательстве Государства, была создана редакция литератур народов СССР. По разделу поэзии в качестве редактора (единственного, штаты тогда еще не раздувались) был приглашен Шенгели. Заведующей редакции (а это номенклатура ЦК) была назначена Александра Петровна Рябинина, эффектная красotka лет тридцати пяти, в пенсне, необразованная, но смышленная, ловкая, энергичная, купеческая дочь с харак-

терной советской биографией. В ранней, романтической молодости она действовала на Дальнем Востоке вместе с Александром Фадеевым (возможно, именно он рекомендовал ее), потом работала шифровальщицей в нашем постпредстве в Берлине. У нее были прочные, давние связи где надо. Она обладала несомненным качеством менеджера, бюрократической дерзостью, решительностью, умела разговаривать с иноязычными авторами, особенно с пожилыми, богатыми и влиятельными.

Во время сталинских чисток над Рябининой сгустились тучи. Многие беспартийные (и я в том числе) посещали собрания, на которых происходили чистки. Это было крайне интересно и поучительно. Обнажался механизм. В Гослитиздате чисткой руководил некто Магидов, бородатый (а таких было мало в тридцать седьмом году), приспособивший схоластику местечкового мышления к партийному делопроизводству. Завидующие коммунистки издательства обвиняли красивую, удачливую Александру Петровну в том, что она долго находилась под вредным влиянием председателя грузинского Совнаркома (фамилию забыл), разоблаченного врага народа. Как положено, дали слово Рябининой. Речь ее была краткой, но великолепной:

— Я с ним спала. Как мужчина он мне нравился. Не уставал, мог замучить. А до его политических взглядов мне не было дела, мы с ним этим не занимались.

Всех эти слова ошарашили. Напомню, что годы были фарисейские. Большевистски-набожный Магидов смутился, опешил. Ограничились выговором.

Вспоминается и другое симпатичное событие. В 1939 году отмечался юбилей Тараса Шевченко. Среди приехавших в Киев были корифеи советской словесности. Блестящий доклад сделал Корней Чуковский. Потом нас повезли на пароходе в Канев — поклониться могиле Кобзаря.

В каютах пили и пели. Я был среди тех, кто с верхней палубы любовался днепровскими берегами. Вдруг по палубе, красная от сильного волнения, пробежала Александра Петровна. Она потеряла партийный билет. Дело пахло керосином. Видели, как она в смятении металась по всему пароходу, расспрашивала членов команды. Наконец из радиорубки раздался голос:

— Товарищ Рябинина, вещь, которую вы потеряли, найдена в постели Янки Купалы. Зайдите к старпому.

Как потом выяснилось, партбилет нашел Фадеев и, пьяный, решил весело подшутить над своей боевой соратницей годов гражданской войны.

И еще один случай, без иронии — симпатичный, происшедший через десять лет, в 1949 году. Арестовали еврейских поэтов, и среди них, несчастных, — Самуила Галкина, может быть самого выдающегося из них. Между тем уже была в издательстве готова верстка его стихотворений в русском переводе. Поэтов, как известно, убили, вернулся один беспартийный Галкин, не реабилитированный, а активированный. И что же? Оказалось, что Рябинина не уничтожила верстку, более того, хорошо ее спрятала, надеясь на лучшие времена, и нищий, больной поэт получил гонорар за вышедший вскоре сборник.

Что заставило Рябинину совершить такой поступок, для нее вовсе не безопасный? Человечность? Отвращение к антисемитизму, испытываемое некоторой частью старых партийных функционеров? Истинный писатель, если он талантлив, обязан спокойно и серьезно совершить художественное исследование такого рода поступков.

Александре Петровне хватило ума целиком довериться редакторскому умению Шенгели. Он-то и привлек нас к переводам — Петровых, Тарковского, Штейнберга, Звягинцеву, меня и других поэтов, постепенно лишившихся возможности печатать собственные стихи, — Александра Кочеткова, Владимира Державина, Константина Липскерова. Кто из нас знал, что эта работа станет на долгие десятилетия нашей судьбой?

Что же касается Шенгели, то явно улучшалась материальная, бытовая сторона его жизни. Начать с того, что они с Ниной Леонтьевной вырвались из комнаты в детском саду, получили отличную трехкомнатную квартиру в доме сотрудников ТАСС на Первой Мещанской (теперь — проспект Мира). Квартиру устроил Сергей Малашкин, автор нашумевшего в молодые советские годы романа «Луна с правой стороны», посвященного сексуальному буму в комсомольской среде. Малашкин был старый большевик, начинал партийную деятельность вместе с Молотовым, с помощью которого и была получена квартира. Я бывал на ней часто, слушал стихи хозяев и читал сам. Особенно мне памятна эта квартира потому, что уже после смерти Шенгели я там читал Нине Леонтьевне и жившей у нее Ахматовой свою поэму «Техник-интендант», и Анна Андреевна

заплакала. Она так и надписала мне на одной из своих книг: «А один раз плакала».

Благодаря сотрудничеству в Гослитиздате Шенгели удалось выпускать, том за томом, свои переводы сочинений Байрона, приносившие изрядный доход. Переводы, увы, более чем посредственные, скучно-буквалистские. Впрочем, Анна Ахматова писала Нине Леонтьевне: «На днях перечитывала его «Дон Жуана». Какая благородная и огромная работа!» А надо сказать, что Анна Андреевна редко хвалила переводы поэтов-современников. Мне, например, запомнились ее положительные отзывы только о переводах Лозинского, Пастернака, Петровых.

Самой большой жизненной удачей Шенгели во время его сотрудничества в Гослитиздате было издание в 1935 году сборника избранных его стихов «Планер». Это была удача необыкновенная, потому что в те годы Гослитиздат выпускал мало стихотворных книг русских поэтов, только знаменитостей, и Шенгели не по чину попал в этот ряд. Думаю, что ему помогла Рябинина.

«Планер» вышел через двенадцать лет после «Раковины». Все эти годы Шенгели редко печатал свои оригинальные стихи. Открывало сборник стихотворение, давшее название всей книге. Хотя оно может нас отвлечь чисто брусковским преклонением перед достижениями техники, в нем есть очарование ритма:

*Небо на горы брошено,
Моря висит марина
Там, где могила Волошина,
Там, где могила Грина.
Именно над могилами
Тех, кто верил химерам,
Скрипками острокрылыми
Надо парить планерам.
Там, где камни оцерились,
Помнящие Гомера,
Надо, чтоб мальчики мерялись
Дерзостью глазомера...
Иначе требовать не с кого,
Иначе не нужны нам
Радуги Богаевского,
Марева по долинам.*

Читатель заметит, что Шенгели, всю жизнь преклонявшийся перед Волошиным, внезапно от него как бы отрека-

ется, потому что тот «верил химерам». Каким химерам? Предначертаньям Бога? Таинственности Рока? Нехорошо, некрасиво. Предисловие автора и того хуже. Оно принадлежит перу перепуганному. «Перестройка творческого метода, — заранее кается Шенгели, — мною еще не осуществлена с достаточной полнотой... Что же, не знаю я, что лишь пролетарская революция может ликвидировать мир частной собственности? Знаю». Но, признается в своей слабости автор, он пока еще не может «с надлежащей конкретностью изобразить развертывание и реализацию революционной воли класса».

Бедный поэт! Как чувствуется в этом наборе трафаретных фраз его бессилие, его страх, его желание печататься. Шенгели это сам хорошо понимает. Как бы желая перед читателем оправдаться, он пишет стихотворение «Льстец». Пушкин внимает капральскому басу Николая I: «Пиши, — твое отечество и мой престол прославишь». — «А, право? — думает Пушкин. Может быть. — Что, если станс другой кого-нибудь из тех, товарищей кандалных, хоть в чем-нибудь спасет?»

Нет, никого не спасет шенгелевский станс, и его самого не спасет от прижизненного забвения. Не та эпоха, не те обстоятельства, да и поэт не тот.

В «Планере» есть вещи, перепечатанные из «Раковины» и «Норда». Из новых самая значительная и по содержанию и по объему поэма «Пиротехник». В ней двадцать глав, и каждая снабжена эпиграфом в подлиннике и в дословном переводе — из Овидия, Брийа-Саварена, маркиза де Кюсси, Томаса Мора, Гюго, Эредиа, Бодлера, Верлена, Уэллса, — есть даже изречение Гекльберри Финна: «Каждая баба может заездить человека». Суть дела в том, что переплетчик Аваланш, переплетчик-художник (к слову: Шенгели сам искусно переплетал книги), возненавидев мир буржуа, «Париж дипломатов, рантье, журналистов, лореток», решается на безумный шаг: бросает бомбу в ресторан. Приговор ясен... Перед нами проходит прошлое Аваланша. Нарисованы некоторые его клиенты. Вот глава правительства. Броская строфа:

*Лоб — как булка; глаза точно устрицы в масле? ощечья
Поросычьим подобны отваренным окорочкам;
Рачья шейка губы шевелится сквозь пегие ключья
Кирасирских усов, угрожающих штатским очкам.*

Вот и тот, кого «не будем называть». Его описание начинается двусмысленной строкой: «Лет под восемьдесят, — а стоит как пивная бутылка». Это Дантес. Его путь

*Из дырявого замка — в кипение жизненных каверз,
От баронской картошки — в каскады цветочных гирлянд,
И в карьерном карьере — в орлянку с Фортуною: аверс —
Герцогине Беррийской, а реверс — послу Нидерланд.*

Намек в последних двух строках прозрачный. Приведу и заключительную строфу:

*Пиротехника! Снег бертолетовой соли и магний,
Прах селитры и серы. Невзрачный кристалл для сурьмы, —
И прекрасную голову вскинет смеющийся Агни,
Древний друг человека, ему поборающий тьмы.*

Я с умыслом цитирую так щедро. Пусть читатель увидит, как богат словарь поэта, как остер его глаз, гибок синтаксис, изобретательны и свежи при своей традиционности рифмы. Но странное дело: любишь стихом, а чувствуешь, что все это уже читал раньше — у Бальзака, Золя, Мопассана, Пруста, Жида. Но у них действительно индуистский бог Агни «поборал тьмы», а здесь... Какая дьявольщина таится в литературе! Золя, Гюго, наш Куприн нередко пишут из рук вон плохо, а есть в них сила, они умерли, а их продолжают читать, они влекут к себе, а у другого — все качества, и то есть, и это, но не дано его работе долготы жизни, и наступает суд Времени, и оправдательный вердикт выносится и грубому «Чреву Парижа», и многословным «Отверженным», и пошловатому «Гранатовому браслету», а изысканное перо, полное блеска, уносит река забвения. О, если б знать, что так бывает!

Каждая стихотворная глава «Пиротехника» заканчивается прозаической ремаркой. В сущности, мы могли бы узнать содержание поэмы, ограничившись прочтением этих ремарок. Именно в них — двигательные силы поэмы, ее кочегарка, машинное отделение, а все стихотворные главы — только нарядные, первого класса каюты. Прием примечательный, но не упряталось ли в нем неверие в способность стиха подчинять себе любую прозаическую задачу, — как это явственно видится нам в непохожих друг на друга поэмах Пушкина, Некрасова, Ахматовой?

Есть в книге «Плάνер» и другая эпическая вещь: «Пятый год. Отрывки из поэмы». Не понимаю, как автор решился напечатать эти отрывки после пастернаковской поэмы на ту же тему, хотя и написал их, может быть, до нее. Не говоря уже о новом, изумительном ритме, вызвавшем сотни подражаний (кстати, Шенгели с мастерством стиховеда пользуется этим ритмом, слегка его аранжируя, в «Пиротехнике»), у Пастернака — поэзия и правда жизни, рождающиеся в слиянии музыки, живописи, мысли, связь мальчика («Мне четырнадцать лет, через месяц мне будет пятнадцать», «О, куда мне бежать от шагов моего божества») — с историей родины: «Крепостная Россия выходит с короткой приструнки на пустырь и зовется Россиею после реформ».

А «Пятый год» Шенгели — это стихотворные примечания к официальному учебнику истории:

*Спустя двенадцать лет,
Великий ледоход побед
Нам зазвучал бесенней новью!*

Мне кажется, что Георгия Аркадьевича мало интересовала первая русская революция. Он и не собирался ее осмыслить как художник. Для чего же надо было слагать стихи об одном из самых важных и грозных событий в истории России? Неужели только для того, чтобы получить возможность написать такой действительно отличный натюрморт:

*В Охотном
Бруски мороженой наваги, бревна
Растленного навкозь балыка,
В жестянках голубых сурьмянный блеск
Зернистой дроби, паюсный шагрень,
В кленовых бочках клювовые бусы,
Нефрит моченых яблок, хризопраз
Ядреных огурцов под эстрагоном,
И — грудой восковые поросята
С развратной ранкой в горле сквозь жирок.*

Ничего не скажешь, хороша эта развратная ранка, но Клио женщина мудрая, ее на нефрите моченых яблок не проведешь, и она, надменная и простая, прошла, так и не заметив этого натюрморта, — навстречу «Реквиему» Ахма-

товой, «Веку-волкодаву» Мандельштама, «Августу» Пастернака, в которых — живая, страдающая душа России. Скорее уже внимание Клио мог бы к себе привлечь «Поручик Мертвецов», перепечатанный в слегка искаженном виде в «Планере» из «Раковины». Есть в новом сборнике прелестные маленькие стихотворения. Например, о шпионке — с одной только рифмой на все стихотворение, чей ритм пленяет новым музыкальным решением:

*Панамская соломка
И ленты ультрамарин,
И глупенькая забота
О стрелках вдоль чулка.
И в тужельку мотоциклетки
Легко ложится она,
И двести тысяч взрывов
Вдаль унесут ее...
И в самом дальнем кармашке,
В пудренице стальной,
Спрятана фотоленка
В марку величиной.*

Поэт понимает, что он из последних, что «уже навек умирает Врубель»:

*Друзья! Мы последние, кто видали
Этих дымных глаз непреклонную муку,
Этих крыл остывающие эмали
И захлестнутую по локоть руку!*

Да, он хорошо сказал о себе, тем-то он для нас и дорог, что он из «последних», из тех, кто видел, как «с грунтом слился Демон крылатый, чтобы бунт утонул в желчи и мраке». Отважная мысль! Не для того ли, чтобы она стала частью книги, написал он о том, как в город, где были тиф, и лед, и блокада, где все кончилось: патроны, уголь, хлеб, вдруг, прорвав блокаду, прибыл бронепоезд. Жители устремляются на вокзал.

*Протискавшись, на погнутой броне
Я прочитал впервые имя: «Сталин»...
Оно как символ прозвучало мне.*

Какая чушь! Кто в годы гражданской войны, разрухи, голода, болезней знал имя Сталина? Как оно могло про-

звучать символом, когда оно тогда никого и ничего не означало? «Польсти, польсти!» Может быть, этот сонет помог выходу в свет «Планера», но не помог автору сколько-нибудь прочно утвердиться в государственной литературе. Теперь, наверно, обратили бы благосклонное внимание на то, что поэт, принадлежавший к той общественно-литературной прослойке, с какой был связан Шенгели, пишет стихотворение, восхваляющее руководителя Государства, но в 1935 году, когда писатели выстраивались в длинную очередь, чтобы влажными от умиления губами приложиться к заду Сталина, а более ретивые их отталкивали, выталкивали, — тогда это стихотворение казалось ненужным, в нем не было сливочного масла искренности, сама его сонетная форма ощущалась как буржуйское канотье и чем-то буржуйским пахивало от слова «символ».

Недавно знакомый мне молодой поэт, рывшийся для своей литературоведческой работы в архивах ЦГАЛИ, случайно обнаружил цикл стихов Арсения Тарковского, посвященных Сталину и отвергнутых журналом «Знамя».

— Почему их не напечатали, — спросил меня человек иного поколения. — Они здорово написаны.

Вот потому-то их не напечатали, что они были необычно хорошо, интеллигентно написаны. Оргазма не чувствовалось. Другой поэт, Марк Тарловский, желая влить свежую струю в поток приветствий, решил написать о Сталине языком XVIII века. Он так и начал свою оду: «Лениноравный». Стихи были с негодованием возвращены автору.

Умный хозяин (а у нас в этом смысле все умные) всегда понимает, кто ему слуга, кто верный, преданный раб, что называется, свой, пусть продажный, но чувствительный, свой, — а кто чужак с какими-то непонятными замыслами. Свой иногда болтает лишнее, иногда подписывает что-то, а все же свой — и шкура его, и пасть — все свое. А другой и не болтает, и ничего не подписывает, а затаился в себе, враженек, иди знай, что выкинет: вроде служит, а не раб, честен, подлец...

К 25-летию литературной деятельности Георгия Шенгели вышли его «Избранные стихи». Кроме уже упомянутой поэмы «Ушедшие в камень» новых вещей там всего лишь несколько. В дарственной мне надписи автор называет этот сборник «клоком седины». Ему было сорок пять лет, по теперешним понятиям — «молодой поэт». Но сугубо печальна его медитативная лирика:

*Поздно, поздно, Георгий!.. Ты пятый десяток ломаешь,
Стала зубы терять клинописная память твоя,
Слово стало черстветь...*

Переводы Шенгели, печатавшиеся в большом (слишком большом) количестве, были даже для его коллег малопривлекательны. Современники его покинули. Младшие друзья постепенно от него удалялись, теряли к нему интерес, а если говорить о старших, то Мандельштам был арестован, Ахматова приезжала в Москву редко. Обоих Шенгели боготворил.

Когда я познакомился с Анной Андреевной, как-то зашла речь о Шенгели. Оказалось, она ценила его как друга и как поэта. Ей очень нравились его переводы из Верлена (до сих пор не изданные). Она находила, что они выше старых переводов Сологуба и Брюсова, и ставила их в один ряд с известными переложениями Пастернака. Отзвуки верленовских повторов с их гипнотической мелодией слышала Ахматова в таком стихотворении Шенгели:

*Мы живем на звезде. На зеленой.
Мы живем на зеленой звезде,
Где спокойные пальмы и клены
К затененной клонятся воде.
Мы живем на звезде. На лазурной.
Мы живем на лазурной звезде,
Где Гольфштрим извивается бурный,
Зарождаясь в прозрачной воде.
Но кому-то захочется славой
Прогреть навсегда и везде, —
И живем на звезде, на кровавой,
И живем на кровавой звезде.*

Шенгели был одним из немногих московских литераторов, выказавших Ахматовой сердечное и — что очень важно — материальное участие после отвратительной речи Жданова. На миг отвлечемся от шенгелиевской темы. Мало сказать о речи Жданова, что она отвратительна, — она бессмысленна. Причем — даже с точки зрения интересов Государства. После войны, когда прежнее, дореволюционное значение в идеологических установках приобрели слова «Русь», «Россия», казалось бы, надо было гордиться патриотической гордостью тем, что за все двадцать веков нашей эры единственная в мире женщина, ставшая великим поэ-

том, была русская. К тому же не надо было волноваться: среди стихов, опубликованных Ахматовой, не было ни одного антисоветского. Речь, произнесенная по приказу Сталина, была, в сущности, направлена против России. Утробная злоба мешала хитрому деспоту видеть предмет во всех его измерениях.

Опричников нашлось множество. От созданных для травли псов вроде Еголина или Ермилова до вступившего на выгодный путь Владимира Огнева.

В последний год войны мне посчастливилось провести несколько дней в Москве. Я навестил Шенгели, заночевал у него. Я рассказывал ему о военном быте, он жадно меня слушал. Не мог я не коснуться еврейской катастрофы. Мне стало кое-что известно о лодзинском гетто. Глава гетто, председатель юденрата, получивший от немцев титул «старейшина (der Älteste) лодзинских евреев», был человек властолюбивый и жестокий. В гетто были даже пущены в обращение деньги, на которых был изображен его портрет. Он рабски служил оккупантам, участвуя в депортации жертв, обреченных на смерть в газовых камерах, пока сам не стал одной из этих жертв.

Уже после войны Шенгели прочел мне пьесу, написанную на рассказанный мной сюжет. Напечатать ее не удалось. Я не могу утверждать, что пьеса меня поразила красотой или силой художественного открытия, но бесспорно то, что она заслуживает сосредоточенного внимания читателей, а может быть, и зрителей.

Шенгели скончался в ноябре 1956 года. В Доме литераторов гроб не был выставлен. В «Литературной газете» был напечатан некролог. Провожавших поэта в последний путь было немного, но все же нас было больше, чем в тот несостоявшийся вечер Шенгели в 1930 году. Похоронили его на Ваганьковском кладбище. Я уже упоминал, что надгробную речь произнес Юрий Олеша. Впоследствии (в феврале 1958 года) он писал:

«Одним из тех, кто был для меня ангелами, провожавшими меня в мир искусства, и, может быть, с наиболее пламенным мечом, был именно Георгий Шенгели... Я славлю его в своей душе навсегда!.. Я.. знал в своей жизни поэта — одного из нескольких — странную, необычную, прикасающуюся к грандиозному фигуру».

Олеша, возможно, выразил в немногих словах то, что я так длинно пытаюсь доказать: истинный поэт, пусть не-

большой, отличается от виршеписца тем, что он «прикасается к грандиозному».

Примечательно и то, что Олеша, преклонявшийся перед талантом Маяковского, так высоко и выразительно определил значение в поэзии недруга Маяковского.

Была, как водится, создана комиссия по литературному наследию Шенгели. Ее председателем стал Сергей Аркадьевич Векшинский, соученик Шенгели по гимназии. Он не был литератором, но зато был академиком, создателем ряда электронных приборов, Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии. Нина Леонтьевна предложила его кандидатуру, потому что надеялась, что его подпись под различными петициями повлияет на положительный ход дела. Надеждам не суждено было осуществиться. Кроме Векшинского в комиссию вошли известный литературовед и близкий приятель Шенгели Леонид Петрович Гроссман, Сергей Малашкин (была надежда и на него как на ветерана партии), Тарковский, я, Нина Леонтьевна. Может быть, я кого-нибудь забыл.

Все члены комиссии были деятельны. У всех были знакомства, связи в издательствах, в редакциях журналов. Но усилия наши не имели успеха. Не только оригинальные стихи, но и переводы Шенгели отвергались. И происходило это не потому, что имя Шенгели вызывало раздражение: его нападки на Маяковского были давно забыты, никого не интересовали. Творчество Шенгели казалось начальникам нашего стихотворства неэмоциональным, мертвым, позавчерашним, попросту ненужным. Не тот голос, не тот словарь. То же самое случилось с Александром Кочетковым. Его «Баллада о прокуренном вагоне» («С любимыми не расставайтесь») облетела всю страну. Двадцать лет понадобилось его друзьям, чтобы добиться издания сборника избранных его стихов и поэм. С точки зрения официальной идеологии у Кочеткова нет ничего порочного. Но сама структура его стиха (кстати, только внешне традиционная, в действительности же насыщенная взрывчатостью второй половины нашего столетия), круг тем, его мироощущение было чуждым, враждебным стихотворцам, власть имеющим. По этой же причине от русского читателя оказался насильственно отторгнутым Иосиф Бродский, а разве это не ущерб престижу нашей поэзии?

Нам удалось в 1960 году переиздать только «Технику стиха» Шенгели (с предисловием Л. Тимофеева). Я уже писал о важности стиховедческих работ Шенгели. Как-то я

присутствовал на лекции А.Н. Колмогорова, посвященной применению методов теории вероятности к исследованию стихосложения. Академик с большим уважением отозвался о трудах Шенгели в этой области.

Вот уже тридцать лет минуло со дня смерти Шенгели, а читатель не имеет ни одного сборника поэта. Между тем, по данным печати, у нас ежегодно выпускается три тысячи стихотворных книжек. Но среди них нет места для стихов Шенгели.

И в то же время кое-что изменилось. Два-три поэта старшего поколения, связанные с русской культурой, стали вспоминать стихи Шенгели. Его поклонники нашлись и среди молодых поэтов, спокойно, даже весело не печатающихся. В конце 1978 года редактор сборника «День поэзии» Л. Васильева предложила мне составить подборку стихов Шенгели и написать несколько вступительных слов. Планы у Васильевой были обширные: она задумала опубликовать и подборку Гумилева. Стихи Шенгели и мое маленькое предисловие были набраны, но тут разразилась метропольская история, на меня наложили запрет на профессию, все мои работы были вышвырнуты из издательских планов, сняты с наборных станков, заодно выбросили из «Дня поэзии» стихи Шенгели.

Но, слава Богу, русская поэзия живет не один день и не единым днем. Через несколько лет все же появились в ежегоднике «День поэзии» стихи Шенгели (вступительные слова А. Межирова), и среди них такое значительное, как «Жизнь». Для поэта жизнь — женщина, которой под шестьдесят, когда ему шесть. Идут годы, взаимоотношения меняются, и вот уже поэту шестьдесят, а жизнь — младенец. А когда поэт был полон сил, то получалось так, что

*...Ей в глаза, как в кодекс уголовный,
В минуту пауз медленно глядишь.*

Я помню, как мы, члены комиссии, разбирали бумаги Шенгели, и Леонид Петрович Гроссман, сам когда-то начинавший как поэт, убедительным адвокатским голосом читал эти стихи, потом сказал (ему уже было много лет):

— Я не доживу до того дня, когда «Жизнь» напечатают.

Мы все подумали, что он прав. Он не дожил до этого дня. А «Жизнь» все же напечатали. И Государство не рухнуло. Да и что в этом стихотворении было вредным для Государства? Откуда страх? Ответить не трудно...

Нет сомнения в том, что имя Шенгели останется в истории русской словесности. А будет ли оно жить в живой, никогда не умирающей нашей поэзии? Не знаю. Уверен лишь в том, что еще далеко Шенгели до вечера, еще не занялось его утро. Медленно, мучительно, подспудно, под сугробами, завалами, нарождается новое поколение стихотворных писателей. Не все они талантливы, но все без исключения понимают, что невозможно творчество без связи с культурой, связи не только духовной, но и генетической. Да и некоторые представители официальной стихотворной литературы уже не прежние дикари, а цивилизованные. Кажется, Шпенглер впервые указал на пропасть, отделяющую культуру от цивилизации. Цивилизация лишена движения. Это ее характерный признак. Ее главная черта, ее цель, ее стремление — быть современной. Она не понимает, что современность не конечная точка, а мгновенный отрезок движущейся в бесконечность линии. Математический знак культуры — опрокинутая 8. Рождение и развитие культуры подобно рождению и развитию человека. Цивилизация, искусственно возникшая на традициях, их по-дикарски отвергает, сбрасывает с парохода современности. Культура уверенно, по-хозяйски обновляет традиции, стремясь к бесконечности, к абсолюту.

«Поэзия есть Бог в святых мечтах земли». Формула Камю прочнее формул Ньютона и Эйнштейна. Нет на земле силы, которая могла бы ей противостоять, как нет на земле силы, которая могла бы изменить ход созидания всего живого. Не мы создаем, а Создатель, и только Он. Можно изобрести новые способы выделывания кукол, а дети продолжают рождаться так же, как родились Каин и Авель. Бессмысленным был призыв современного поэта — перестать жить законом, «данным Адамом и Евой». Это невозможно. Даже при самодержавном неверии поэзия — подножие той горы, вершиной которой является молитва.

Март 1986

УГЛЬ, ПЫЛАЮЩИЙ ОГНЕМ

Ранней осенью 1931 года я во второй раз в жизни увидел Мандельштама. Встреча произошла на Чистых Прудах. Небритое лицо его (бородки тогда еще не было) показалось мне помолодевшим от загара, — обычно он выглядел старше своих лет. В глазах, вместо им свойственной какой-то воспаленной, гневной тревоги, появилось выражение спокойствия, даже веселости. Это выражение, как я мог потом убедиться, вскоре исчезло. Я обрадовался тому, что он узнал меня. Услыхав, что я учусь на химическом факультете, он сказал: «Теперь вы стали благополучным советским студентом». Странная фраза должна быть объяснена.

Стипендия была крохотная, в общежитии на Стромынке, в бывшем Вдовьем доме, мы жили в комнатах по 6—8 (а то и больше) человек, уже была в стране введена карточная система, в столовой над каждым счастливецом, успевшим воссесть за тарелкой, томился напряженно ожидавший своей очереди, не хватало вилок и ложек (ножей не давали), чаем у нас назывался просто кипяток, — и все это Мандельштам именовал благополучием? Надо его понять. У студентов был быт, у Мандельштама быта не было. Студенты были веселы, молоды, здоровы, твердо верили в то, что живут как надо, что лучшее — впереди, а Мандельштам жил неуверенно и вряд ли знал, что впереди.

Конечно, он догадался, что я хочу прийти к нему со своими стихами (прямо сказать об этом я не посмел), и он был так внимательно-добр, что дал мне свой адрес, новый, не на одной из Бронных, где я у него был в первый раз, а поблизости от Чистых Прудов, если не ошибаюсь, в Старосадском переулке, назначил день, час.

Я с отроческих лет восхищался им. Стихи новых поэтов тогда к нам в провинцию доходили редко, книг почти не было, хотя, в то же время, «Версты» Цветаевой и «Тяжелую лиру» Ходасевича я приобрел на развале за гроши. О Ман-

дельштаме я узнал от Багрицкого, моего старшего земляка и наставника. «Я лечу свою астму, читая вслух Мандельштама», — как-то мне сказал Багрицкий, великолепно знавший и благоговейно любивший русскую поэзию. Я не расставался с книгой Мандельштама «Стихотворения», выпущенной Госиздатом в твердом, кирпичного цвета переплете. А до этого мне на глаза попался «Лёт» — сборник произведений советских прозаиков и поэтов о первых шагах отечественной авиации, и в сборнике неожиданно оказалось стихотворение Мандельштама «Ветер нам утешенье принес...», весьма условно соответствующее заданию сборника, и меня поразили ассирийские крылья стрекоз. Я не мог бы сказать толком, в чем была причина моего преклонения перед Мандельштамом, преклонения почти молитвенного. Мне нравилось как будто совсем другое — ясность, строгость, точность, девятнадцатый стихотворный век ценил выше двадцатого, а в двадцатом недосыгаемыми образцами казались мне Бунин, Ахматова, Ходасевич, Сологуб. И что-то чудное, волшебное, — «не радость, а мученье» — властно притягивало меня к Мандельштаму, и строки, которые я не понимал, были еще притягательней, чем строки, мне понятные, хотя футуристической зауми я уже тогда терпеть не мог.

Как-то в журнале «Молодая гвардия» сотрудник познакомил Мандельштама с рифмованным самотеком, и Мандельштам отметил мое, присланное из Одессы, стихотворение «Пригород», я получил от поэта ободряющую открытку, приглашение присылать ему стихи, и, таким образом, у меня возникла возможность, когда я вскоре приехал в Москву, попасть к нему. Мандельштамы жили не то у родственников, не то снимали комнату.

Мои рукописные листы Мандельштам разложил на три неравные стопки. О первой, самой большой, он ничего не сказал: значит, говорить не стоило. Перебирая гораздо меньшую вторую, указывал на неправильные ударения, банальности, но не сердился. Третья стопка состояла из трех стихотворений. Об одном, со сложным строфическим построением, сказал: «Здесь хороши только эти бе, бе (рифменные окончания), напоминают Белого». Другое прочел дважды, пристально, вскинув длиннейшие, равнинские ресницы, посмотрел на меня, — стихотворение называлось «Петр и Алексей», — сказал: «Концепция, того-этого, не стала стихом. И после словесных открытий Тынянова уже

нельзя так писать на темы русской истории». Вот как он разобрал начальную строфу:

*У нас и недорослей, и ябед
Хоть пруд пруди,
Но все же страшен постылый Запад
И боль в груди.*

— Сперва пошло хорошо. Недоросли, ябеды — восемнадцатый век, Фонвизин, Капнист. На «ябед» найдена новая рифма, но вся строка с западом — перепев символистов, вернее — их славянофильствующих эпигонов, всяких родственников известных поэтов. Что же касается «боли в груди», то это уже вовсе Аполлон Коринфский. А дальше и того хуже. Ум острый, языка нет.

Третье стихотворение ему понравилось, — не по-настоящему, а как ученически-способное. Он при мне позвонил своему старому товарищу по акмеистической группе М.А. Зенкевичу, который заведовал стихами в «Новом мире», и стихотворение это очень быстро появилось в журнале. Никаких напутственных слов он мне не сказал, только разрешил позвонить, подал мне, мальчишке, плащ, и когда я, раздавленный, пытался этому воспротивиться, сказал: «Есть английская поговорка: «В борьбе человека с пальто стань на сторону человека». До сих пор не знаю, действительно ли есть такая английская поговорка.

Разрешением позвонить я стеснялся воспользоваться, но вот помогла случайная встреча, я опять его увижу. Дом был доходный, высокий, дореволюционной хорошей постройки. Потом я узнал, что здесь жили родственники Мандельштама, своего жилья у него не было.

В широкой парадной было не очень светло, но я довольно ясно увидел человека лет тридцати, спускавшегося по лестнице мне навстречу. В руке он держал толстый портфель. Человек был явно чем-то напуган. Сверху низвергался высокий, звонко дрожащий голос Мандельштама:

— А Будда печатался? А Иисус Христос печатался?

Вот что произошло до моего прихода. Посетитель принес Мандельштаму свои стихи. Это была, по словам Мандельштама, обычная, довольно интеллигентная дребедень, с которой к Мандельштаму иногда приходили надоедать. Мандельштам рассердился на неудачного стихотворца еще и по той причине, что в этом виршеплетении была фронда, Мандельштам этого не выносил, во-первых, потому, что

опасался провокации, а во-вторых — и это главное, — он считал, что поэзия не возникает там, где идут наперекор газете, как равно и там, где тупо следуют за газетой. Неумный автор стал жаловаться на то, что его не печатают, Мандельштам вышел из себя, он сам печатался с большим трудом, крайне редко, и выгнал посетителя. Когда я поднялся на указанный мне этаж, Мандельштама уже у перил не было (а я снизу видел, как он над ними, крича, наклонялся чуть ли не до пояса), мне открыла дверь длиннокосяя девушка и, впустив меня, посмотрела на меня жалостными восточными глазами.

Через много-много лет я рассказал о происшествии с Буддой и Христом Ахматовой. Анна Андреевна весело рассмеялась:

— Узнаю Осю.

Мандельштам успокоился не сразу.

— И почему вы все придаете такое значение станку Гутенберга? — характерным для него певучим и торжественным, при беззубом рте, голосом укорял он меня, и мне стало нехорошо оттого, что он как бы соединял меня с предыдущим посетителем. Я прочел несколько стихотворений, может быть, десять, и остановился. Мандельштам спросил:

— Сколько вам лет?

— Двадцать.

— Да, верно, в тот раз вам было восемнадцать, — неодобрительно вспомнил он и добавил:

— Плохо, плоско, — и дважды повторенный звук «пло» ударял особенно больно. — Вы кое-чему научились в столице, не стало южных оборотов, больше теперь у вас, того-этого, заемного лоску. Вы мне напоминаете небогатого бессарабского помещика. Почти весь год он трудился, обрабатывал свои скудные виноградники, более или менее удачно продал виноград, и вот, в парусиновом длиннополом балахоне, в парусиновых сапогах, приехал в город, и все, что выручил, бессмысленно пропил в дешевой харчевне.

Он ругал меня еще долго и возбужденно, как бы с кем-то, более зрелым и значительным, споря, заодно досталось и моим друзьям, молодым поэтам Тарковскому и Штейнбергу, чьи стихи он однажды выслушал, неожиданно стал нападать на «Столбцы» Заболоцкого, не помню, чем вызван был его гнев, в комнату вошла девушка, открывавшая мне дверь, может быть, его родственница, она мне понравилась, но взгляд ее, мне сочувствовавший, был, увы, взглядом су-

щества высшего, пожалевшего существо низшее. А Мандельштам, уже при ней, продолжал:

— Мне в Армении рассказали легенду. Гончар лепит в своей хижине горшки из глины. Уже тех горшков стало столько, что они не умещаются в хижине, лежат вокруг навалом, а гончар все лепит да лепит. «Глупец, для чего ты лепишь горшки, их и так у тебя много!» — осуждают соседи. А гончар: «Чтобы пришел лев, ударил их своей лапой и разбил их». Вы, того-этого, не оказались тем львом.

Я узнал, что Мандельштам недавно приехал из Армении, что он, после долгого перерыва, после «черной измены» стихам, вернулся к стихам. — Хотите, прочту, — и не дожидаясь ответа, уверенный в ответе, начал читать, потому что ему нужен был слушатель, очень нужен был слушатель, заменяющий станок Гутенберга.

Он был одинок. Я это понял, когда начал посещать его чаще. У него не было той, пусть в те годы негулкой, но сияющей славы, какая была у Ахматовой, и от которой сердца не только дряхлеют, но и утешаются, не было у него и внутрилитературной, но достаточно мощной славы Пастернака, его почитали немногие, почитали восторженно, но весьма немногие, и, большей частью, люди его поколения или чуть-чуть моложе, а среди моих ровесников почитателей было раз-два и обчелся. А он нуждался в молодежи, хотел связи с временем, он чувствовал, он знал, что он в новом времени, а не в том, которое ушло. Он не любил тех, кто любил его ранние стихи, хотя вряд ли ему было бы приятно, если бы кто-нибудь стал их бранить в его присутствии. Он не терпел своих подражателей, в особенности таких, которые обидно легко усваивали и присваивали манеру его письма. Он ощущал себя не в прошлом, даже не в настоящем, а в будущем. Внешне рано постарев, он дышал, как почти никто из современных ему поэтов, аквилонном грядущего, тем пространством, где не сани правоведа катятся, а лопастью пропеллер лоснится. Он сам был тем львом, который ударом лапы разбивал горшки гончара.

Мандельштам служил в газете «Московский комсомолец», редакция помещалась сперва на Старо-Басманной (ныне улица Карла Маркса), потом переехала а здание на Тверской, где теперь театр имени Ермоловой. Я стал у него бывать и в том, и в другом зданиях. На Тверской размещались и редакции других газет. В широком зале с верхним, если не ошибаюсь (давно там не был) освещением, — нечто вроде пассажа, — была устроена для газетчиков сто-

ловая. Как-то мы с Мандельштамом сидели за столиком. К нам приблизились поэт-переводчик Давид Бродский и поэт Николай Ушаков, оба — знакомые Мандельштама и мои. Действие происходило в пору известного конфликта Мандельштама с Горнфельдом. Группком писателей (союза тогда еще не было) стал на сторону Горнфельда, Мандельштам был этим оскорблен, и, поднявшись навстречу двум литераторам, церемонно, но твердо произнес:

— Товарищи, к глубокому моему сожалению, я не могу подать вам руки, поскольку вы являетесь членами московского группкома писателей, подло оскорбившего меня.

Большой, толстый Бродский в ответ протянул свою руку и соврал:

— Я не член группкома.

— Это меняет дело, — с радостью сказал Мандельштам и поздоровался с переводчиком. Тогда стеснительный Ушаков, смущенно улыбаясь, тоже протянул руку:

— Собственно говоря, я в этом смысле тоже не член группкома, я киевлянин.

Мандельштам и ему пожал руку. Конечно, он понимал, что его обманывают, но понимал и то, что обманывают его ради общения с ним. Да и я, с которым он обедал, состоял в группкоме. Мандельштам вовсе не хотел ссориться с двумя литераторами, он, измученный, через их посредство хотел дать знать обществу, как остро его ранила несправедливая позиция группкома в деле Горнфельда. Я не буду касаться существа дела, оно известно по мандельштамовской «Четвертой прозе» и по другим литературным источникам, скажу только, что Мандельштам — в который раз! — показал, что он не понимает людей, не видит среди них себя, не в силах взглянуть на себя их глазами. Он полагал: я виноват, но я извинился перед Горнфельдом, я, Мандельштам, перед каким-то Горнфельдом, и материальная сторона ссоры решается для Горнфельда хорошо, чего же он хочет? А Горнфельд, несчастный калека, в прошлом — влиятельный критик народнического толка, близкий сотрудник самого Короленко, придерживался в советское время благородных демократических взглядов, что же касается литературных, то они, думаю, были такими, что Мандельштам представлялся ему пустым декадентом. А Мандельштам никогда не был эпиком, его характер не позволял ему взглянуть на себя со стороны, у него не было бесслезной силы и надменной выдержки Ахматовой. Я это увидел ясно, когда — один из горсточки сторонников обвиняемого — присутствовал

на товарищеском суде над Мандельштамом в полуподвале Дома Герцена.

Произошла, неточно говоря, жилищная склока. Сосед Мандельштама по Дому Герцена, печатавшийся под именем Амира Саргиджана, обвинил Мандельштама в том, что он нанес пощечину его, Саргиджана, жене, но скрыл, что сначала он сам ударил Мандельштама и Надежду Яковлевну. В рукоприкладстве Мандельштама я сомневаюсь. Он мог больно оскорбить женщину, но не ударить. Амир Саргиджан принадлежал к самому опасному виду некоторых наших сограждан: неглуп, начитан, в обращении мягок, позволял себе вольности, обсуждая литературное начальство. Его жена тоже что-то писала, кажется, о первой мировой войне. Поговаривали, что она кололась. Амир Саргиджан был женат многократно. Однажды он женился на официантке из дома творчества в Малеевке, на доброй женщине по прозвищу «Колхозная Венера». Официантка, известное дело, профессия прибыльная, Саргиджан поселился в ее деревенском доме, и соседи-колхозники чисто по-лесковски называли его Содержаном. Когда русский народ был объявлен первым среди равных, оказалось, что татароликий Саргиджан — в действительности русский, фамилия его Бородин. Впоследствии он получил сталинскую премию за роман «Дмитрий Донской». Но в ту пору он был неизвестным литератором. Я не исключаю того, что всю эту свару он затеял с насмешливого одобрения компетентных органов.

Подавляющее большинство присутствующих на товарищеском суде явно было на стороне Саргиджана. Я с облегчением вздохнул, когда председательское место занял А.Н. Толстой. Специально для этого из Ленинграда приехал, что ли? Ну, думаю, он-то, талантливый, образованный, да еще и граф, петербуржец, знает цену Мандельштаму, защитит его. Но не тут-то было. А.Н. Толстой обращался с Мандельштамом, когда задавал ему вопросы и выслушивал его, с презрительностью обрюзгшей, брезгливой купчихи. Мандельштам вел себя бессмысленно. Вместо того, чтобы разумно объяснить, как обстояло дело в действительности, он, нервно и звонко, почти певуче вскрикивая, напирал на то, что Саргиджан и его жена — ничтожные, дурные люди и плохие писатели, вовсе не писатели. Присутствующие, будучи в большинстве своем литераторами того же типа, что и Саргиджан, симпатизировали Саргиджану. Унижая его, Мандельштам задевал и их. Не помню формулировку

решения суда, но хорошо помню, что решение было не в пользу Мандельштама. Опять Мандельштам показал, что плохо разбирается в людях, не видит себя среди них. Он еще долго и красноречиво бушевал у себя в полутемной комнате, куда мы, два или три человека, зашли после суда. Надежда Яковлевна держала себя лучше, спокойней.

Я часто вспоминал этот грязный суд, когда Мандельштама арестовали. Я представлял себе, как его мучают во время допросов, и как он, умный, порой гениальный, бессилен в лапах следователя. Там, уже тогда я угадывал, надо быть волком среди волков, а ведь Мандельштам не был волком по крови своей, он — высокое пламя, но хрупок, слаб пламенник...

В редакцию «Московского комсомольца» к Мандельштаму приходили молодые пишущие, он читал их рукописи добросовестно, разбирал при них каждую строчку, ум его при этом был щедр и снисходителен, но я, свидетель тех бесед, видел, что нач. нающие не знают его как поэта, знают Уткина, Жарова, Безыменского, Светлова, и, конечно, Есенина, в те годы еще не отмеченного печатью классика, а более понаторевшие увлекались Багрицким, Сельвинским, Луговским. Исключением был Ваня Пулькин (он погиб на фронте), он хорошо знал русскую поэзию, учился у Оболдуева, любил Мандельштама, и Мандельштам к нему благоволил. В своих суждениях Мандельштам был резок, но никогда — никогда! — эти суждения не диктовались личными отношениями. Я к этому еще вернусь...

А пока вернемся в дом в Старосадском. Вот Мандельштам читает мне стихи об Армении, читает высоко, с беспомощным чванством задрав голову, подчеркивая просодию стиха, его гармонию. Беззубый рот не мешал ему, или ему казалось, что не мешал, и мне не мешал, я жадно ловил то, что, как потом я от него услышал, он рассматривал как второстепенное, — смысл, глубокий, опьяняющий смелой новизной, как горной крутизной, смысл этих огромных стихов. Но нет, он притворялся, смысл для него не был делом второстепенным. Стихи то потрясали необыкновенной наблюдательностью, сказочным блеском подробностей, например, замечанием, что жены здесь «как детский рисунок просты», или про армянский алфавит, «где буквы кузнечные клещи, а каждое слово — скоба», то заставляли поновому и напряженно думать о народе, чьи «церковки бащенного христианства» граничили с миром мусульманским: «Я бестолковую жизнь, как мулла свой коран, замусолил».

И какое сверхпонимание географической, исторической сути Армении: «Орущих камней государство».

Мне встречались и встречаются любители поэзии, которые, отдавая должное Мандельштаму, не удерживаются от упреков в литературности, будто бы ему присущей. Теперь, после сорока шести лет, прошедших с того незабываемого дня, когда Мандельштам читал мне стихи об Армении, стихи, которые не всегда можно отчетливо понять, не зная истории Армении и сопредельных с нею стран, истории ее христианства, ее «казнелюбивых владык», ее связей с Византией, с Персией, с античной философией, — теперь я хочу поразмыслить вместе с читателем о том, что же такое пресловутая литературность в стихах.

Литературны, в дурном смысле этого слова, всегда литературны стихи подражателей, даже если авторы дремуче невежественны, даже если их произведения изобилуют новейшими бытовыми частностями, приметами дня, наполнены сельской или городской утварью, укреплены частоколом собственных добродетелей, орошены слезами любовных неудач (и удач). Какая странность — и в то же время закономерность: даже у тех подражателей, которые мало читали, даже у тех, которым образцы мало знакомы, — словосочетания почти всегда — бледные копии давно написанных и переписанных. Но литературности нет у Пушкина, ни тогда, когда у него плещут волны Флегетона, ни тогда, когда он переиначивает стихи греков, римлян, французов и даже своих скромных русских современников. Каким литературным с виду может показаться Пастернак, когда он в одной строке соединяет название философского труда древнего грека со стихами малоизвестного английского драматурга, да еще в пушкинском переложении, но разве литературна эта строка: «На пире Платона во время чумы»? Разве не полна она жгучей человеческой боли?

Когда поэзия рождена жизнью (иначе она не поэзия), то и литература, слившаяся в нашем сознании с жизнью, растущая вместе с жизнью, тоже становится, соединенная с пережитым, одним из источников поэзии. Мандельштам и в молодости, и в более поздние годы любил и умел твердо, неожиданными штрихами, очерчивать литературное произведение, вошедшее в наш жизненный обиход. Он прочел, кажется, в Армении, «Шахнаме» Фирдоуси во французском переводе — прозаическом — Жюля Моля, и проникновенно заметил, что характеры героев поэмы меняются по произволу автора, — проникновенно, потому что гениально

догадался, что Фирдоуси считал так: нет людей хороших и дурных, пока чтить светлого Ормузда, — ты хорош, начинаешь служить дьяволу Ахриману, — становишься плохим. «У Чарльза Диккенса спросите, что было в Лондоне тогда», — советовал Мандельштам читателям, и дальнейшие строки этого раннего стихотворения вовсе не пересказывают какой-то определенный роман Диккенса, мы не припоминаем именно те страницы, где веселых клерков каламбуры не понимает Домби-сын, или где клетчатые панталоны, рыдая, обнимает дочь, но все стихотворение в целом рисует скорее наше восприятие диккенсовской Англии, нежели саму диккенсовскую Англию, и перед каждым встают картины того детства, которое для многих невысказано без прочитанных в ту пору книг. Я хотел бы к этому добавить, что и Диккенс воспринят Мандельштамом через Россию, через Достоевского, что лондонский Сити — это и Петербург Достоевского.

Некоторые замечательные и значительные стихотворения Мандельштама, навеянные памятниками литературы, не излагают содержания этих памятников, а выражают как бы наше (сначала, разумеется, его) к ним отношение, нашу с ними совместную жизнь на протяжении годов, наше понимание характеров их героев, предметов, в них описанных («Я список кораблей прочел до середины»), нам слышится русский отзвук тех чужеземных арф.

Нет ли, однако, в этом пристрастия к литературным первоисточникам нарочитой отстраненности от злобы дня? Любой ответ на этот вопрос прозвучит упрощенно, все решает, в конечном счете, талант художника. Шестьдесят лет существует советская поэзия, — и что же в итоге? Дыхание эпохи мы слышим не в сочинениях государственных стихотворцев, они бездыханны со дня рождения, а в стихах «далеких от жизни» Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Цветаевой, Хлебникова. Когда говорят о гражданственности поэзии, редко кто обходится без крылатого пушкинского призыва — глаголом жечь сердца людей. Не все помнят, что в основе «Пророка» лежит литературный текст — мотивы VI главы книги пророка Исаи. Пушкин довольно далеко отошел от библейского сюжета, но шел-то он от него. В примечаниях к академическому изданию сочинений Пушкина (1956), относящихся к «Подражанию Корану», указывается: «Тема первого подражания позднее развита в «Пророке». Чтобы убедиться в этом, я перечитал два перевода Корана, понял, что действительно некоторые библей-

ские мотивы в «Пророке» Пушкин воспринял через их кораническое истолкование (он, видимо, читал Коран в русском переводе М. Веревкина, изданном в 1790 году), но прямых соответствий я не нашел, кроме одного. В суре 94 Аллах говорит своему посланнику: «Разве мы не раскрыли тебе грудь?» (Коран, перевод М.Ю. Крачковского, М., 1963), и, конечно, вспомнилось: «И он мне грудь рассек мечом». И далее:

*И сердце трепетное вынул,
И уголь, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.*

Какое жуткое хирургическое вмешательство! И как мучительно, и поэтому прекрасно призвание поэта. Да, да, только при том неприменном (но еще недостаточном) условии, что человек томим духовной жаждой, и в его рассеченной мечом, отверстой груди пылает уголь, можно стать поэтом, не празднословным и лукавым, а, обходя моря и земли, глаголом жечь сердца людей. Именно эта пророческая, учительская сущность сделала русскую поэзию величайшим проявлением человеческого, а, значит, и Божественного гения новых веков. Чиновник синода или синагогии — не учитель, не пророк. Становясь чиновничьим писанием, стихотворная литература перестает быть писанием пророческим. И согласимся с другой бесспорной истиной: чтобы глаголом жечь сердца людей, надо этот глагол знать. Хорошо знать. Проникнуть в его строение, как физики проникали и продолжают проникать в строение атома. Глагол, слово порождается не только тем, что пережито, но и тем, что узнано, прочитано, услышано. Не будь бессмертных литературных образцов, не было бы, может быть, и этого пушкинского стихотворения. Конечно, книгами не ограничешься, хорошо бы еще с детских лет иметь свою Ариону Родионовну — няню, мать или «московскую просвирню» — в широком, современном смысле этого понятия, но я не принимаю тех стихотворцев, которые уныло бахвалятся своей кондовостью, «нелитературностью», своим незнанием основ ремесла. Наше дело, как всякое дело, надо уметь делать. Нужна школа, нужны учителя. Обращение «виждь и внемли» содержит в себе, думаю, совет видеть не только картины жизни, но и прежде, до тебя, написанное, чтобы пойти дальше, слышать не только голоса всего, живущего вокруг, но и голоса прежде сказанные. Интерес к

метрическим и изобразительным средствам стиха, знание версификации проявляли, и весьма настойчиво, Сумароков и Ломоносов, Державин, Пушкин и Тютчев, не говоря уже о более близких нам по времени, и это вовсе не исключает приверженность к первенствующему значению содержания, к пророческому началу поэзии. Та кровавая операция, которую проделал с будущим стихотворцем шестикрылый серафим (а сколько еще будет других кровавых операций!) была бы бессмысленной, если бы стихотворец не научился своему делу, не образовал бы свой вкус, не выработал свое представление о прекрасном, ибо глагол лишь тогда будет жечь сердца людей, лишь тогда станет огненным, когда станет прекрасным.

В первый раз я пришел к Мандельштаму восемнадцатилетним, сравнительно начитанным, но, по сути, невежественным. Звание поэта в моем сознании сопрягалось, как у многих пишущих юношей, со славой, с житейским блеском. И вот я увидел несравненного поэта, почти неизвестного широкой публике, бедного, странного, нервного, стряхивающего почему-то пепел от папиросы на левое плечо, отчего образовывался как бы серебряный эполет, и я не разочаровался, я понял, что именно таким должен быть художник, что возвышена, завидна, даже великолепна такая тяжкая, нищая судьба моего необыкновенного собеседника.

Я часто начал бывать у Мандельштама, когда он поселился в довольно плохонькой комнате в Доме Герцена, в строении бывших конюшен. Это была, кажется, первая за много лет комната, принадлежащая Мандельштамам. Он ко мне относился хорошо, приветливо (старомодно-приветливо обращался к юнцу по имени-отчеству), происходило это, возможно, потому, что я ему не подражал, а это было редкостью среди того крайне небольшого круга стихотворцев, молодых и не очень молодых, с которыми он общался. Одному из таких стихотворцев он в раздражении сказал:

— Разделим землю на две части, в одной половине будете вы, в другой останусь я.

Мои литературные взгляды (в особенности пристрастие к Бунину-поэту) казались ему нелепыми, хотя и простиительно-смешными, но иногда они его выводили из себя, он метался по комнате, пустой и полутемной, как келья, и кричал мне: «Народник! Златовратский!»

Стихи мои по-прежнему большей частью ругал, едко и остроумно, но однажды неожиданно, с лестной для меня

серьезностью, похвалил стихотворение «Мир», и только поэтому я, сравнительно недавно, опубликовал его в сборнике, вышедшем в калмыцком издательстве. Он выделял — и чудесно читал вслух — строки: «Где шушера теснилась по углам, / А краденое прятали по складам». Но если мои стихи нравились ему редко, то он с покровительственным любопытством, порою, смею сказать, с интересом, выслушивал мои комментарии газетных сообщений, всевозможные пылкие соображения, рожденные только что прочитанными Шопенгауэром, Шпенглером, Бергсоном. Убедившись в моей прочной любви к нему, он мне позволял, без большой радости, себя критиковать. Как-то я ему сказал, что в прославленном среди его поклонников стихотворении «Золотистого меда струя...» есть неточность: Пенелопа не вышивала, как у него написано, а ткала, именно в этом суть известного эпизода. К ней, в отсутствие Одиссея, приставали женихи, она, чтобы они отвязались, обещала, что выберет одного из них, когда кончит ткать, а сама ночью распутывала пряжу. С вышивкой так не поступишь.

Мандельштам рассердился, губы у него затряслись:

— Он не только глух, он глуп, — крикнул он Надежде Яковлевне.

Я эту историю рассказал через много лет Ахматовой, и она стала на мою сторону: «В ваших словах был резон. Он не хотел исправить из упрямства».

Но так ли это, думаю я теперь? Поэтика Мандельштама жила на тогда мне неизвестных, да и сейчас не всегда мне ясных основаниях. Прежде всего, как и в давнишнем случае с Диккенсом, Мандельштам не излагал эпизод гомеровского эпоса, а свое, которое долженствовало стать нашим, ощущение эпоса, мифа, эллинистической культуры, достигшей Тавриды, дикой и печальной, где всюду «Бахуса службы».

Миф есть поэзия целого. Он отвергает поэзию частных: они ему нужны только как слуги целого. Миф может упомянуть вскользь собак и сторожей, а Мандельштам скажет: «Как будто на свете одни сторожа и собаки». Такая мысль не придет в голову аэду. Миф может указать на время года и приложить нежный эпический трафарет к имени героини, а Мандельштам скажет с обдуманым просторечием: «Ничего, голубка Эвридика, что у нас студеной зима». Используя миф, Мандельштам преобразовывал поэзию целого в поэзию частных и поэтому считал себя вправе не только изменять частности, но и выдумывать их.

Он писал: «Собирались эллины войною /На прелестный остров Саламин». Гомер мог бы назвать прелестной женщину, но никогда — остров.

Для понимания его поэтики важнее этих соображений то, что слово для него было не частью фразы, а частью ритма. О нет, это не было заумью в крученыховском стиле, избави Боже, но теперь я понимаю так. Подобно тому, как истинный живописец требует, чтобы сюжет картины выражался с помощью рисунка и цвета, а не, скажем, с помощью заранее нам известной исторической фабулы, Мандельштам требовал от стихотворного слова, чтобы оно прежде всего было музыкой, чтобы в самом его звучании жил и победоносно раскрывался смысл, чтобы смысл ни в коем случае не предрешал слова. Мандельштам много и часто говорил об этом, и без какой-нибудь утонченности, он расшвыривал метафоры, но был чужд краснобайству, здание его фразы строилось причудливо, но основанием всегда было здоровое понятие. Не в коня, как говорится, корм, я не обладал достаточной подготовленностью для того, чтобы со всей полнотой воспользоваться счастьем быть собеседником Мандельштама. Я усваивал только мне доступное. Здесь я не могу избежать небольшого отступления.

Мандельштам был на дружеской ноге с поэтом Георгием Шенгели, ныне несправедливо неиздаваемым, полузабытым. Шенгели, немного, кажется, моложе Мандельштама, был человек добрый, яркий, очень образованный, интересовался не только гуманитарными науками, но и точными, владел главными европейскими языками, опубликовал труды по стиховедению. Мария Петровых, Тарковский, Штейнберг и я многим ему обязаны. Его стихи мне нравились и теперь нравятся.

Однажды Шенгели пригласил меня в гости. Он жил в одном из арбатских переулков, занимал с женой странную комнату, большую, но в квартире, где размещался детский сад, нужно было пройти к нему по ломаной линии коридора, на стенах которого низко начинались вешалки, и над каждой, чтобы еще не умевшие грамоте дети различали свое место, пестрело изображение зверька или цветка. Из этого пестрого эдема вы попадали в комнату, разделенную на две или три части книжными шкафами. Книг было много, все ценные. Оказалось, что в гостях у Шенгели был Мандельштам. Хозяйева хорошо нас накормили (Мандельштам любил званые обеды, не очень часто его на обеды приглашали), потом Шенгели читал нам стихи, удивительно искусно

написанные, а в некоторых мне слышалась поэзия. Мы вышли вместе с Мандельштамом, и он, прощаясь со мною, заметил:

— Каким прекрасным поэтом был бы Георгий Аркадьевич, если бы он умел слушать ритм.

Я опешил. Известный поэт, автор, к тому же, трудов по стиховедению (о них и сейчас отзываются с уважением специалисты) не умеет слушать ритм! Что Мандельштам, легко удалявшийся от меня по Собачьей площадке, хотел этим сказать?

После многих бесед с Мандельштамом о ритме, после многих лет работы я попытаюсь ответить. Мы, стихотворцы, часто действуем, заколдованные ритмами данной литературной эпохи, даже данного десятилетия. Есть не только словоблоки, есть и метроблоки. Картина общеизвестная. Как вырваться из этого колдовского плена? Никакие советы не помогут, кроме разве плодотворного разъяснения, что дело обстоит именно так. Уметь слушать ритм есть умение врожденное, от Бога данное. Суть в том, чтобы мысль, слово и ритм возникали одновременно. Не обязательно, чтобы мысль была сногшибательно новая. «Бывал я рад словам неизреченным», — сказал Рудаки одиннадцать веков назад на языке фарси, сказал с помощью размера, основанного на чередовании долгих и кратких слогов. «Мысль изреченная есть ложь», — сказал в прошлом веке Тютчев с помощью русского четырехстопного ямба, совершенно не похожего на такой же ямб Пушкина: другой ритм.

Мандельштам открыл для себя, что слово не живет в стихе отдельной жизнью, что оно связано семейными, родственными, дружескими, историческими, общественными узами с другими словами, эти узы, существуя, нередко сокрыты от читателей, и поэт обязан их раскрыть и даже пойти на тот риск, что слово будет связано со словом не прямой связью, а с помощью не прямых, не сразу замечаемых, но, бесспорно, физически существующих связей, порой более сильных, чем наглядные прямые. Вот они-то и рождают ритм, сами обязанные своим появлением ритму. Мандельштам обычно подчеркнуто уважительно говорил о Хлебникове. В ответ на мое замечание, что в Хлебникове изумительно дерзкое соединение культур высокой и первобытной, например, в «Шамане и Венере», он сказал:

— Айхенвальдовщина какая-то. (Т.е. мои слова айхенвальдовщина.) Дело не в этом. Хлебников расщепил слово, как зерно, на дольки. Он слушал ритм, как слушают рост

зерна. Он и сам был деревом, по его жилам бежал древесный сок.

Позднее в дневнике Гонкуров я прочел мысль Флобера о Гюго, почти совпадающую с выражением Мандельштама, но уверен, что о древесном соке в жилах поэта Мандельштам говорил без подсказки Флобера, он был слишком богат для того, чтобы снизойти к заимствованию мысли. Он говорил: «Размеры ничьи, размеры Божьи, принадлежат всем, а ритм есть только у поэта, принадлежит ему одному», — и подкреплял это положение примерами: четырехстопный ямб «Евгения Онегина» совершенно не похож на четырехстопный ямб тютчевский или некрасовский, и совсем уже иной, послефофановский четырехстопный ямб Блока: «Вновь оснеженные колонны...» и, того-этого, «Возмездие» у Блока не получилось, потому что ритм рабски заимствован у Пушкина: «Больной и хилый Достоевский/ Туда ходил на склоне лет». Гимназический ямб! (Впоследствии я услышал отрицательное мнение о «Возмездии» от Анны Ахматовой, но соображения были иные.)

В те годы нас, пишущих юношей, обвораживал метр поэмы Пастернака «1905 год», журналы были наполнены стихами, написанными этим метром на всевозможные темы. Я заметил, что, если перевернуть строки стихотворения «Золотистого меда струя...» так, чтобы оно начиналось строкой с женским окончанием, то получился бы этот метр, и не взял ли его невольно Пастернак у Мандельштама. В самом деле, сравним: «Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела» и «Это было при нас, это с нами вошло в поговорку».

— Вздор, — отрезал Мандельштам. — У Пастернака другой ритм. Это ритм событий тех лет. Не путайте ритм с размером.

Между тем он был не всегда последователен. Когда он мне прочел «За гремучую доблесть грядущих веков», — я, потрясенный, воскликнул: «Это лучшее стихотворение двадцатого века!», — но Мандельштам, указав на жену, которая обычно сидела в дальнем углу, небрежно произнес:

— А в нашей семье это стихотворение называется «Надсоном».

Почему Надсон? При чем тут Надсон? Только потом, на улице, я понял, что имел в виду Мандельштам: размер стихотворения напоминал надсоновское «Верь, настанет пора и погибнет Ваал». Неужели такое поверхностное, лишенное внутренней связи сходство тревожило Мандельштама? Значит, он придавал значение не только ритму, но и его час-

тному, случайному виду — размеру? Или он хотел, с педагогической целью, обратить мое внимание на то, что другие его стихи не хуже, что дело не только в содержании, которое поразило меня своим пророческим духом? Не думаю. А, может быть, хорошо понимая мощь этого стихотворения, он просто позволил себе пококотничать? Последнее я не исключаю. В нем было много детского. И не только потому, что он, как ребенок, любил сладости (я впервые видел взрослого мужчину-сладкоежку). Он, разгорячась, бывал баснословно умен, хотя, повторяю, я не мог тогда насладиться умом его бесед, и в то же время, снова повторяю, он плохо разбирался в людях, не видел себя со стороны (а видеть себя со стороны есть, по-моему, признак умного человека), видел себя одним из крупнейших (не крупнейшим ли?) поэтов современности и не видел, что далеко, далеко не все смотрят на него точно так же, отсюда — его бытовые ошибки, нередко очень тяжелые, отсюда — несуразности в поведении. Он рассказал мне такой случай. Испытывая какие-то затруднения (сейчас не помню, какие именно, но легко могу себе их представить), он, по совету знакомых, позвонил Енукидзе, тогдашнему секретарю ВЦИКа. Узнав от секретарши, что звонит Мандельштам, Енукидзе весело сказал в трубку:

- Это ты, Одиссей? Куда ты запропастился?
- Одиссей? Какой Одиссей?
- Кто со мной говорит?
- Поэт Осип Мандельштам.

Не помню, что произошло дальше, но помню, что Мандельштам долго негодовал на то, что его спутали с каким-то однофамильцем, а то был почтенный старый большевик, чья партийная кличка была «Одиссей», в Москве, в районе Усачевки, мне помнится, был сад имени Мандельштама. А Осип Мандельштам во время этого краткого разговора обиделся, подумал, что по телефону смеются над его стихотворениями в антологическом роде, не понимая, что они известны только узкому кругу читателей, во всяком случае, не таким, как Абель Енукидзе. Мандельштам (не на словах, конечно) то преувеличивал свою известность, то видел себя окончательно затерянным в толпе. Вот мы гуляем по Тверскому бульвару вдоль его дома, из которого мы вышли вместе с его отцом, ровесником которого казался Мандельштам. Отец сидит во дворе на скамеечке, а его преждевременно состарившийся сын читает мне стихи о немецкой речи, спрашивает, нравится ли, и, получив утвердительный

ответ, гордо заявляет: «Мое», — как будто я мог в этом усомниться, как будто мне могла прийти мысль, что он читает не свои стихи, как будто, наконец, можно было допустить, что в России есть другой поэт, который мог бы написать так, как написал он. К замечаниям тоже относился по-детски, терпел их с трудом. Когда я ему сказал, что вряд ли кони гарцуют (так у него), гарцуют всадники, он осыпал меня неестественной для него, неумелой бранью. Кажется, в тот же день (я не уверен в своей хронологической памяти) он прочел мне известные ныне строки:

*Довольно кукситься, бумаги в стол засунем,
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа.*

Я пошел в наступление:

— Осип Эмильевич, почему такая странная, нищая рифма: «Обуян-Франсуа»? Почему не сделать «Антуан», и все будет в порядке, и ничего не меняется.

— Меняется! Меняется! Боже, — нарочито по-актерски, обращаясь в бульварное пространство, закричал, чуть ли не завопил Мандельштам, — у него не только нет разума, у него нет и слуха! «Антуан-обуян!» Чушь! Осел на ухо наступил!

В самом деле, думаю я теперь, может быть, он слышал так, как не слышим мы, смертные, ему в данном случае важна была не школьная точность рифмы, а открытый, ничем не замкнутый звук в конце строфы — Франсуа.

Я уже писал о том, что он был одинок, но я не сразу понял, что он не выносил одиночества, радовался, когда к нему приходили. Считается, что он мало (редко?) работал, но я с этим не согласен, он работал всегда, в особенности во время чтения, мысль его страдала бессонницей, плодотворной бессонницей, тому доказательство, например, «Разговор о Данте». Когда он чем-нибудь из прочитанного увлекался, он только и говорил о предмете увлечения. Помню месяцы его увлечения Батюшковым, он написал о нем упительное стихотворение, героем которого, как это часто бывает с истинными поэтами, стал он сам. Он рассказывал о Батюшкове с горячностью первооткрывателя (он никогда не говорил о литературе банально), не соглашался с некоторыми критическими замечаниями Пушкина на полях батюшковских стихов, искал, находил линию Батюшкова в даль-

нейшем движении русской поэзии, называл при этом Языкова и Веневитинова. Запомнилась (неточно) фраза: «Прекрасно обливаться слезами над вымыслом, а Батюшков и слезы превращал в вымысел».

Надежда Яковлевна никогда не принимала участия в наших беседах, сидела над книгой в углу, изредка вскидывая на нас свои ярко-синие, печально-насмешливые глаза. Я, каюсь, в ней тогда не видел личности, она казалась мне просто женой поэта, притом женой некрасивой. Хороши были только ее густые, рыжеватые волосы. И цвет лица у нее всегда был молодой, свеже-матовый. Как-то Осип Эмильевич, говоря о чем-то возвышенном, вдруг тонко закричал:

— Надюша, Надюша, клоп!

Он засучил над локтем рукава пиджака и рубашки. Надежда Яковлевна молча приблизилась к нему на своих кривоватых ногах, уверенным щелчком смахнула клопа с руки мужа и так же молча уселась в своем углу. А ведь если бы я был понаблюдательней, то мог бы понять, что Надежда Яковлевна была человеком незаурядным, — хотя бы потому, что Мандельштам, прочтя свои стихи, часто ссылался на мнение о них Надежды Яковлевны, хотя бы потому, что эта чета была неразлучной, по всем делам всегда отправлялись вместе, а дела большей частью были какие? Перехватить денег в долг, редко с отдачей, и это дало повод не всегда доброму, но всегда остроумному Валентину Катаеву, иногда кормившему поэта и его подругу в ресторане, выразиться так:

*С своей волчицею голодной
Выходит на добычу волк.*

Только в конце сороковых, снова, через много лет, — и каких лет! — встретившись с Надеждой Яковлевной у Ахматовой на Ордынке, я мог оценить блестящий, едкий ум Надежды Яковлевны, превосходное ее понимание государственной машины, не столь часто наблюдаемое даже у людей неглупых. А когда, позднее, я прочел ее книги (вторая, на мой взгляд, сильно уступает первой), то, к своему изумлению, открыл оригинального, страстного (и, увы) пристрастного писателя. Она совершила подвиг, сохранив в памяти все неопубликованные стихи Мандельштама и заслужив вечную благодарность русских читателей. Я до сих пор

храню подаренное ею машинописное собрание стихотворений Мандельштама, не вошедших в его прежние книги.

Вместе с И.Л. Лиснянской и молодым поэтом П. Нерлером, деятельно занимающимся изданием мандельштамовской прозы, я посетил Надежду Яковлевну незадолго до ее смерти. Вид ее меня не порадовал. В том, как она говорила, не было знакомой мне злости, была какая-то примиренность, поругивала, правда, одну нашу общую знакомую, уехавшую из Союза, ей, как мне казалось, преданную, но поругивала вяло, без присущей ей страсти. Она сказала о себе: «Восемьдесят лет стукнуло девочке». Стали вспоминать прошлое — и давнее, и более близкое. Она напомнила мне, что Анна Андреевна называла меня своим великим визирем: я занимался некоторыми ее переводческими делами. Такой элегический ход разговора позволил мне сказать Надежде Яковлевне, что во второй ее книге много несправедливого (я выразился мягче), и это соседствует с прекрасными мыслями, наблюдениями, что особенно мне неприятен в книге портрет М.С. Петровых, благородной женщины, истинной христианки, замечательного поэта, чей облик автором искажен, а я дружил с ней с юношеских лет и знаю, что она виновна только в том, что Мандельштам — дело прошлое — был в нее влюблен, а она ему не отвечала взаимностью. Надежда Яковлевна встретила мои слова неожиданно спокойно, спросила задумчиво: «Вы так думаете?» Станный вопрос...

Потом опять пошли воспоминания. Я сказал:

— Надежда Яковлевна, мерещится мне или в самом деле в «Александре Герцовиче» была одна строфа, позднее не вошедшая в окончательный вариант? Я даже слышу голос Осипа Эмильевича, читающего мне приблизительно так:

*Он музыку приперчивал,
Как жаркое харчо.
Ах, Александр Герцович,
Чего же вам еще.*

Надежда Яковлевна оживилась:

— Да, да. Ося эту строфу выбросил. Вам жаль? А я считаю, что так надо было сделать.

Между тем строфа говорит о характерной подробности быта. Музыканты из консерватории направлялись по короткому Газетному переулку до Тверской, в ресторан «Арагви», помещавшийся тогда не там, где теперь, а в доме, ото-

двинутом во двор новопостроенного здания, брали одно лишь харчо, на второе блюдо денег им не хватало, но жаркое, острое харчо им наливали щедро, полную тарелку...

Не всегда те, чье общество было интересно Мандельштаму, общались с ним. Не могу поклясться, охотно допускаю, что ошибаюсь, но у меня тогда возникло впечатление, что к нему был холоден Пастернак, они, по-моему, редко встречались, хотя одно время были соседями по Дому Герцена. Однажды я застал Мандельштамов в дурном настроении. Постепенно выяснилось, что то был день рождения Пастернака, но Мандельштамы не были приглашены. А поэзию Пастернака Мандельштам ставил чрезвычайно высоко.

Вот кого из современников он при мне хвалил всегда: Ахматову, Пастернака, Хлебникова, Маяковского. Иногда Андрея Белого, Клюева. Ему нравились ранние стихи Есенина («Хотя Кольцову больше доверяешь»), нравились «Пугачев» и «Черный человек», отрицательно отзывался о «Персидских мотивах»: «Не его это дело, да и где в Тегеране теперь менялы? Там банки, как всюду в Европе. А если и есть, то почему перс дает рубли взамен местных денег? Надо бы наоборот».

Что-то привлекательное слышалось ему в некоторых строчках Асеева, позднее — Павла Васильева. По-корнелевски высокогласно, чуть ли не как сам Тальма, произносил «Николай Степаныч», но я полагаю, что в Гумилеве он видел прежде всего друга, авторитетного, умного вожака бывлой литературной группы и, конечно, жертву разбойного деспотизма. Расстрел Гумилева потряс его навсегда. Не помню, чтобы Мандельштам вслух читал его стихи.

Чудесной чертой Мандельштама, ныне не очень часто встречающейся, была его литературная объективность. Не то, что суд его был всегда правым, но свои оценки писателей он не связывал с отношением этих писателей к себе. Он восторгался Хлебниковым, который его мало ценил, называл, кажется, «мраморной мухой», восторгался Маяковским, между тем и Маяковский, и круг Маяковского его не очень жаловали, и Мандельштам знал это. И другая чудесная черта: он никогда не злился на знаменитых, не завидовал им, взирал на них спокойно, издали, даже, по-моему, с некоторым добродушием. Цену себе знал.

Приведу пример его независимой объективности. Я рассказал ему, как его любит Багрицкий, можно сказать, боготворит его, а Багрицкий был тогда гораздо популярнее

Мандельштама и среди читателей, и в литературных кругах. Но Мандельштама мое сообщение не тронуло. «У него в мозгу фотографический аппарат, — сказал он. — Выйдет на Можайское шоссе, так непременно увидит Наполеона. Лучшее у него от Нарбута.»

Году в 1933-м был устроен в Политехническом вечер Мандельштама. Я получил билет. В тот день, проводя студенческую практику на Дербеневском химическом заводе, я задержался в связи с оформлением цеховой стенгазеты, немного опоздал. Вступительное слово произносил Борис Эйхенбаум. Публики было довольно много, больше, чем я ожидал, но кое-где зияли пустые скамейки. А публика была особенная, не та, которая толпилась на взрыхленной строительством метрополитена Москве, на узких мостках вдоль Охотного ряда, деловая, целеустремленная, аскетически одетая, — то пришли на вечер поэта люди, обычно на московских улицах незамечаемые, иные у них были лица и даже одежда, пусть бедная, была по-иному бедная. Увидел я и десятка полтора моих сверстников, запомнился один красноармеец. Признаюсь со стыдом, я плохо слушал маститого докладчика, думал о слушателях, об этом вечере, устроенном внезапно, как вдруг откуда-то сбоку выбежал на подмостки Мандельштам, худой, невысокий (на самом деле он был хорошего среднего роста, но на подмостках показался невысоким), крикнул в зал: «Маяковский — точильный камень русской поэзии!» — и нервно, неровно побежал вспять, за кулисы. Потом выяснилось, что ему показалось, будто Эйхенбаум недостаточно почтительно отозвался о Маяковском (этого не было, Мандельштам ослышался). Не все в зале поняли, что на подмостки выбежал герой вечера. А вечер прошел превосходно, слушали так, как следовало слушать Мандельштама, даже горсточка случайных неофитов была вовлечена во всеобщее волнение, к тому же, к большой радости давних поклонников, Мандельштам читал много новых стихов, еще не опубликованных.

Мне казалось странным, что Мандельштам, так восхищаясь далеким ему Маяковским, довольно небрежно, порой неприязненно отзывался о поэтах, которые, как я тогда думал, должны были ему быть ближе, чем Маяковский. Он не любил символистов, ругал Бальмонта и Брюсова, поругивал Вячеслава Иванова, делал исключение, не говоря уже о Блоке, для Сологуба и Андрея Белого, с которым с удовольствием встречался. Вышла в свет «Форель разбивает лед» Кузмина, я и мои друзья были очарованы этой книгой,

несмотря на то неприятное, что в ней было и что Блок деликатно назвал «варварством». Мандельштам разругал «Форель»:

— Это ядовитый плод болезненно цветущего ствола.
Стилизация — не дело поэта.

— Но вы же сами советовали мне следовать за Тыняновым, учиться у него воспроизводить речевой стиль эпохи.

— Тынянов возродил живые голоса времени, а Кузмин в «Форели» обезьянничает.

Я не согласился, прочел:

*Кони бьются, храпят в испуге,
Синей лентой обвиты дуги...*

Или это:

*То Томас Манн, то Генрих Манн,
А сам рукой тебе в карман.*

— Да, хорошо. Но Кузмину лучше удаются свободные метры. Птица певчая:

*Золотое, ровное шитье — вспомнить твои волосы,
Бег облаков в марте — вспомнить твою походку...*

Я любил, знал наизусть почти всю книгу «Версты» Цветаевой. Стихов ее, написанных в эмиграции, я в те годы не знал. И вот попалась мне «Царь-девица». Вещь мне не понравилась. Мандельштам со мной согласился. «Я антицветаевец», — сказал он, озорничая, улыбаясь, и стал резко критиковать подругу своей юности. Из потока слов я запомнил фразу: «Ее переносы утомительны. Они выходят не в прозу, — признак высокой поэзии, — а в стилизацию. Она слышит ритм, но лишь слуховым аппаратом, ухом, а этого мало».

Опять ритм! И возникает в памяти замечание Мандельштама о Петрарке:

— Его сонеты скучно переводят пятистопным ямбом или театральным александрийцем, и беззаконная страсть монаха превращается в переводах в адвокатскую напыщенность. Послушайте его почти уличную итальянскую речь.

Он прочел несколько сонетов Петрарки в подлиннике, один или два наизусть, другие — глядя в книгу, прочел так,

как обычно читал собственные стихи. То было почти пение.

— Мне кажется, — сказал я, имея в виду размер, — что русской кальки не получится.

— И пусть не получается! Вообще стихи переводить не надо. В переводе можно читать прозу, стихи следует читать только в подлиннике. Напрасно вы начинаете заниматься переводами, потом пожалеете.

Он был неправ. Я не пожалел и не жалею. Конечно, и дрянь приходилось перекладывать на язык родных осин, но переводя классику, я узнал Восток — мусульманский, индуистский, буддийский, его древнюю поэзию, его еще более древний эпос. Для Мандельштама переводы были сущей пыткой (из его переводов мне по-настоящему нравятся только тот сонет Петрарки, где шепот клятв каленых), Ахматова, переводя, испытывала удовлетворение крайне редко, а Пастернак и Заболоцкий переводили с увлечением.

Не столь пристрастный, какой оказалась Надежда Яковлевна, Мандельштам довольно часто и горячо менял свои суждения. Отрицая значительного поэта, (например, Заболоцкого или Вагинова), он вдруг, ни с того, ни с сего, начинал хвалить заурядного стихотворца, да еще, на мой взгляд, ему чуждого. Так мне запомнились неожиданные для меня похвалы Кирсанову.

Поучая меня, принаравливаясь к моему молодому советскому невежеству, Мандельштам вел со мною разговоры не только о различных особенностях литературного ремесла. Разговаривали мы и на более важные темы, например, о христианстве и иудаизме. В отличие от Пастернака Мандельштам духовно ощущал свое еврейство (в молодости он крестился, но то был акт чисто внешний — ради возможности поступить в университет он принял лютеранство. Надежда Яковлевна родилась в крещеной семье, но религиозные чувства пришли к ней очень поздно). Я опрометчиво понадеялся на свою память и ничего не записывал. Память в то время у меня была хорошая, но я чувствую, что даже те фразы, которые я запомнил, я воспроизвожу, обедняя их.

Интересовали Мандельштама и политические вопросы, и немудрено: политика властно и жестоко входила в повседневный быт советских людей. У Мандельштама не было того обстоятельного, поразительного ясного политического мышления, которое впоследствии восхищало меня в Ахма-

товой, зато некоторые его прозрения были гениальны. Запомнилось:

— Этот Гитлер, которого немцы на днях избрали рейхсканцлером, будет продолжателем дела наших вождей. Он пошел от них, он станет ими.

В последний раз я видел Мандельштама, посетив его вместе с Г.А. Шенгели. Он жил, после воронежской ссылки, полулегально. Квартира была хорошая, в писательской надстройке в Нащекинском переулке (теперь улица Фурманова). Мандельштам читал нам чудные воронежские стихи, и мне вспомнилось, как я с тем же Шенгели, за несколько лет до этого, пришел к Мандельштаму в комнату в Доме Герцена, и Мандельштам прочел нам стихотворение об осетинском горце, предварительно потребовав поклясться, что никому о стихотворении не скажем. Я понял, что он и боится, и не может не прочесть эти строки. Откуда, однако, он уже в те годы знал об осетинском происхождении Сталина?

Шенгели побледнел, сказал:

— Мне здесь ничего не читали, я ничего не слышал...

Во время допроса Мандельштам составил список лиц (он теперь известен, хотя и неточно), которым он читал это стихотворение. Моя фамилия в списке не указана. Забыл или пожалел? Но почему же он не пожалел М.С. Петровых, которая была ему ближе, чем я?

В лагере он сошел с ума. Его убили. Теперь о нем пишут статьи, он знаменит, как никогда при жизни. Ахматова еще в начале пятидесятых предсказывала его славу. Даже у нас издали в «Библиотеке поэта» укороченный томик его стихов с оскорбительным предисловием. Мне рассказывали, что секретарь калмыцкого обкома партии, храбрый солдат, генерал-лейтенант в отставке, вряд ли прочитавший за всю свою жизнь более двух-трех книг, самолично распределял присланные в республику экземпляры книги Мандельштама среди партийной элиты: все-таки ценность! Как всегда, Поэт оказался сильнее Государства. Уголь, пылающий огнем, не гаснет.

1977 — 1981

У ВОЛОШИНА В ТРИДЦАТОМ

Я сказал Г. А. Шенгели, что собираюсь на каникулы в родную Одессу. Он тоже решил отправиться — в Крым, в родную Керчь, но по дороге заехать в Коктебель к Волошину и предложил мне сопровождать его. Я с радостью согласился.

Поезд прибывал в Феодосию на рассвете. Мы наняли таратайку. Шенгели удивил меня, заговорив с возницей-татарином на его языке. Потом он мне объяснил, что по-татарски знает слов сто, не больше.

Мы въезжали на таратайке в еще холодную степь, удаляясь от моря. В воздухе, однако, чувствовалось приближение жары. Чабрец, мята, полынь, виноградники — как под моей Одессой, но там земля была ровней. Но вот мы снова повернули к морю, вдали засинела бухта, вот и селенье — болгарское, как сообщил мне Шенгели. Ехавшая с нами жена Шенгели, поэтесса Нина Леонтьевна Манухина, сказала: «Неужели мы сейчас увидим великого Макса? Сколько раз бывала здесь и всегда замираю от счастья».

Когда мы приблизились к похожему на корабль дому Волошина, Георгий Аркадьевич мне сказал: «Все еще спят, но мы здесь свои люди, а вы погуляйте часок, если хотите, искупайтесь в море, покуда я вас устрою.купаются здесь в костюмах Адама и Евы, мужчины — справа, женщины — левее».

Я двинулся вправо. У самого моря стояла спиной ко мне голая, крупная женщина, видимо, не очень молодая, судя по жировым отложениям. Шенгели ошибся? Я пошел влево. Там, хохоча, плескались две девушки. Делать нечего, снова пустился вправо. Голая женщина одевалась, шурясь на солнце. Я узнал по портретам: то был Алексей Толстой. Я, не будучи знаком, поздоровался с ним по-деревенски. Он сказал: «Холод смертный. Бодрит, мерзавец». Действитель-

но, мое Черное море здесь оказалось холодным. Но Алексей Толстой был прав — холод бодрил.

Вернувшись к дому, я увидел, что около одноэтажного флигелька, посредине террасы, одиноко стоит мой чемодан. Из флигелька вышла приземистая женщина, смуглая и усатая, она назвала мне свое имя и отчество, сказала: «Пойдемте, я отведу вас в вашу комнату». Мы, в другом флигеле, поднялись по крутой лестнице, вступили в комнатенку. Она оказалась мансардой со скошенной крышей, так что в одном ее углу не мог бы встать в рост и десятилетний мальчик, тем более я, двадцатилетний, хотя и невысокий. «Здесь жил Гумилев», — значительно сказала усатая. Не знаю, как он здесь жил. Крыша за день так раскалялась, что в комнате невозможно было дышать.

Завтрак. Свежее, цвета топленого молока, масло, горячий домашний хлеб, чай. За столом собралось человек пятнадцать. Кроме знакомых мне супругов Тарловских и Шенгели — Алексей Толстой, профессор Десяницкий из Ленинграда, поэтесса Звягинцева, с которой на всю жизнь подружился, переводчица Рыкова, две женщины, имена которых забыл, — высокие, плоскогрудые, седые, стриженные по-мужски, как потом оказалось, отличные пловчихи. Во главе стола сидел Волошин, напротив — его жена Мария Степановна, маленькая, остроглазая. Меня представили Волошину. Он показался мне похожим на памятник первопечатнику Федорову. Шенгели сообщал последние московские литературные новости. Так же как и сейчас, в наше время, интеллигентные группы писателей негодуют и смеются, узнавая о жестоких или низменных, корыстных поступках некоторых своих руководителей, — негодовали и смеялись мы, слушая о рапповских зловещих невеждах. Волошин относился ко всему добродушней, чем его гости, олимпийски спокойно. Я уже тогда понимал, что он немного актер, но его «правда, так надо играть».

Вечером Алексей Толстой читал свой рассказ «День Петра». На чтение приглашены были все гости. Пили отузское вино, восхищались рассказом. Волошин сказал: «Алихан, ты удивительно талантлив, какой огромный писатель вышел бы из тебя, если бы ты был образован». Я с горечью подумал: «Если уж Алексей Толстой мало образован, то что сказать о таких, как я?»

У Волошина был необычный голос: высокий, дребезжащий, удивительный при его мощной фигуре, и вдруг этот

голос сменялся низким, густым. Все его называли «Макс». Шенгели и Алексей Толстой были с ним на «ты».

Против дома, к тополию, рядом с рукомойником, был прибит ящик, вроде почтового, самодельный. В него каждый опускал деньги — кто сколько может. На этих деньгах держалось хозяйство, и кое-что оставалось на зиму. Не помню, кто мне сказал, что Алексей Толстой, уезжая, каждый раз оставлял Марье Степановне солидную сумму. Гонорара у Волошина не было, его не печатали.

Из того Волошинского, что теперь известно, я знал только сборник «Иверни» (он и сейчас стоит у меня на полке), ходившее по рукам великолепное стихотворение «Дом поэта», да я еще прочел в каком-то альманахе (забыл в каком) небольшую поэму «Россия» — произведение огромной силы. Навсегда запомнились строки:

*А печи в те поры
Топились часто, истово и жарко
У цесаревен и императриц.*

И еще одна важная строка: «Великий Петр был первый большевик». Цитирую, как запомнил.

Шенгели попросил Волошина послушать мои стихи. Слушал он доброжелательно, но никак их не оценил. Я — не очень точно — помню его слова:

— В молодости многие пишут стихи, иногда неплохо. Но поэтом бывает только личность. Личность создается Богом. Та глина, из которой Бог лепит личность поэта, состоит из страдания, счастья, веры и мастерства, а мастерство есть знание, навыки и еще что-то, а это «что-то» называют по-разному: природы примитивные, но чистые — волхвованием, более тонкие — тайной или музыкой. Года два тому назад нас навестил Андрей Белый, изрек: «Мной установлен закон построения пушкинского четырехстопного ямба, я заключил закон в математическую формулу». — «Боренька, — отвечаю я, — вот и напиши как Пушкин.»

Был день, когда Волошин оказал мне честь — позвал с собой на прогулку, повел меня к тому месту, где теперь его могила. Хорошо знавшие его люди так его описывают: длинные волосы, обтянутые античным ремешком, длинная тога, сандалии на босу ногу. В тот день был и ремешок, и сандалии, не было тоги: на нем была рубаха до колен, подпоясанная шнурком. Дорога была нелегкая, жаркая, ветреная, ветер высушил стебли трав и колючки по бокам тропы,

свою тучность, ступал легко. При этом он безудержно говорил, главным образом, о греческом и итальянском прошлом этих одичавших мест. Если Брюсов, охотно перелагая в стихи античные мифы, ничего оригинального к ним не добавлял, то Волошин даже в беседах с юнцом связывал воедино Элладу и Среднюю Азию, север Европы и наше Причерноморье. Между прочим от него я впервые узнал, что Чуфут-Кале это Джегуд-Кале — «Еврейская крепость». Он рассказал мне историю возникновения караимской ереси. Последователь французских символистов, заметивший, что «в дождь Париж расцветает, словно серая роза», он любил и хорошо знал Восток, разбирался в сложном этногенезе крымских татар, которых ценил за их честность, трудолюбие, сказал о них: «Древние виноградари и тайноводцы подземных вод». Я представляю себе его неистовую боль, если бы он дожил до выселения татар из Крыма.

Но вечерам только избранные допускались в «кают-компанию» — в кабинет Волошина, а мы, остальные, гуляли вдоль пустынного моря до дачи Юнге и обратно, некоторые купались в море под звездами. Коктебель тогда не был модным курортом, о нем мало знали, и если не считать коренных жителей болгарской деревни, то его обитателями были только семья Волошина и ее летние гости, а также приезжавшие на дачу Юнге. Однажды пришел с этой дачи В.В. Вересаев, маленький, в белой бухгалтерской кепке, в парусиновой толстовке. Чувствовалось по выражению его умных усталых глаз, что ему не нравятся люди, гостившие у Волошина. Я тогда подумал, что мало общего у автора «Записок врача», повестей о том, как народничество уступало свои позиции социал-демократическому марксизму, с Волошиным, эстетом, парижанином, «христианским коммунистом», как он сам себя называл. Но, видимо, Вересаев скучал в малолюдном «безрадостном» Коктебеле, вот и решил навестить соседа. Впрочем, может быть, их сближала любовь к античности, знание древнегреческого — ведь Вересаев переводил «Илиаду» и послегомеровских лириков.

Там, где теперь лодочная станция, стояла будка, ее владелец — не то грек, не то караим — жарил по вечерам шашлыки, варил кофе, торговал невероятно дешевым вином.

И вот в один из вечеров Лада Руст — жена Марка Тарловского — сказала мне, что будут выбирать короля и принца поэзии. Еще она мне сказала, что королем принято избирать Волошина. Как это получалось, я до сих пор не знаю.

Число претендентов было ограничено: Волошин, Шенгели, Тарловский и, кажется, Звягинцева. Билетики опускались в «амфору», как объяснил руководивший выборами профессор Десницкий. Я опустил два билетика: в короли выдвигал Волошина, в принцы — Шенгели. Результаты голосования: король — Волошин, принц — Тарловский.

Шенгели не сумел и не хотел скрыть обиду, ушел с Ниной Леонтьевной. Никто ему не посочувствовал, пили отузское вино. Король поэзии читал стихи, то повышая голос до женского, то понижая и громокипя, как Зевс:

*И скуден, и неукрашен
Мой древний град
В венце генуэзских башен,
В тени аркад...*

А дальше:

*Суда бороздили воды
И борт (пауза) о борт
Заржавленные пароходы (женски-высоко)
Врывались в порт...*

И еще строфа, кажется, такая:

*Выламывали ворота,
Вели сквозь строй,
Расстреливали кого-то
Перед зарей...*

...Через два года после незабвенного Коктебеля я пришел на Малый Ржевский к Шенгели. Он, всегда смуглый, был темен, черен. Нина Леонтьевна плакала. «Умер Волошин, ушел Макс», — вздрагивающим голосом сказал Шенгели.

1989

ВЕЧЕР И ДЕНЬ С ЦВЕТАЕВОЙ

В конце ноября или начале декабря 1940 года мне позвонила моя приятельница, поэт и переводчица Вера Звягинцева:

— С тобой хочет познакомиться Марина Цветаева. Приходи ко мне сегодня вечером.

Я знал со слов Веры, что в молодости она, когда была начинающей актрисой, дружила с Цветаевой, даже одно время они снимали вместе комнату (квартирку?). Услышав или почувствовав мое удивление, Вера добавила:

— Не пойму, чем объяснить ее желание. Стихов твоих, конечно, она не знает.

Итак, я увижусь с Цветаевой, с той Цветаевой, чью книгу «Версты» я в свои отроческие годы приобрел за гроши на одесском развале. Новизна, сила, ярость этих стихов потрясли меня, через несколько дней я знал книгу наизусть. Писатели, мои старшие земляки, рассказывали, что в эмиграции она стала поэтом огромным, что у нас ей равны только Пастернак и Маяковский. Мне было известно, что Цветаева вернулась из Парижа в Москву, что ее муж и дочь приехали раньше, что в старомосковских литературных кругах все о ней говорят, называя ее по имени, как императрицу: не произнося фамилии. О том, какая страшная участь постигла С.Я. и А.С. Эфронов, я не знал.

В назначенный час я пришел в Хоромный тупик у Красных Ворот. Двери открыл мне Александр Сергеевич, муж Звягинцевой:

— У нас Марина.

Первое впечатление: женщина немолодая, начинающая сесть, лицо неровное, серое. Глаза особенные: выразительные при сильной выпуклости. Когда смотрела на собеседника, было неясно, видит ли она его. Быстрые жесты, быстрый, юный поворот головы. Темное, почти монаше-

ское, широкое платье — странного для советского человека покроя.

Разговор сначала пошел незначительный. Пили вино, закусывали. Все четверо сидели за накрытым столом, как бы чего-то ожидая. И дождались: Марина Ивановна пожелала нам прочесть свою поэму «Попытка комнаты». Предварила чтение словами о том, что она никогда не встречалась с Рильке, только переписывалась с ним, и в одном письме он обронил замечание: «Какова будет комната, в которой мы встретимся?» Поэма — ответ на этот вопрос.

Читала Марина Ивановна наизусть. Читала просто, без каданса, голос свежий, прелестный, чисто московский, но мне показалось, что как-то резко, отрывисто произносила строки, нарочито подчеркивая их отстраненность от привычной стиховой музыкальности.

Чтение кончилось, наступило напряженное молчание. Должен признаться, что «Попытка комнаты» мне в тот вечер не понравилась. Когда через много лет удалось прочесть поэму в книге, я нашел прекрасные по своей глубине мысли, услышал и музыку, но отрицательного своего мнения не переменял. Как выяснилось дня через два, поэма не понравилась и Звягинцевой, и ее мужу. Если теперешний читатель решит, что сказались узость и незрелость нашего литературного вкуса, то спорить с таким читателем мне будет трудно.

Александр Сергеевич вопросительно произнес:

— А не послушать ли нам Звяжкины стихи?

Марина Ивановна бросила быстрый выпуклый взгляд на Веру Клавдиевну:

— Так ты не только переводишь?

Звягинцева прочла несколько стихотворений. Цветаева ничего не сказала. Через десять молчаливых минут обратилась ко мне:

— Теперь ваша очередь.

Я тоже прочел несколько стихотворений. Марина Ивановна и тут ничего не сказала.

Содержание дальнейшей беседы не помню, кажется, о делах переводческих, бытовых. Около полуночи мы простились с хозяевами. Я провожал Марину Ивановну. Жила она тогда недалеко от Красных Ворот, где-то на Покровке. Посреди Садовой она внезапно, порывисто вытащила руку из-под моей руки и сказала:

— У меня к вам несколько вопросов. Мне предложили редактировать французский перевод одного эпизода кал-

мыцкого эпоса «Джангар». Перевод с вашего перевода сделал московский француз... (она назвала фамилию, я забыл). Французский язык не так приспособлен, как русский, к тому, чтобы передать всю вашу азиатскую орнаментику, аллитерации и прочее. Наш француз вообще не рифмуется. У вас размер такой же, как в подлиннике?

— Чтение подлинника мало что дает. В исполнении сказителя, джангарчи, иные гласные редуцируются, иные растягиваются. Я записывал со слов сказителя.

— Кто такой Эрлик-хан?

— Судья умерших. Владыка ада.

— Халвынь?

— Халвинг. Головной убор замужней калмычки.

— Вроде наших хористок в кокошниках?

— Нет. Этот убор в быту и сейчас.

— Чиндамани?

— Три драгоценных талисмана, которые на берег ежедневно выбрасывает океан Бумба.

— Океан, как я поняла, священный, а словцо какое-то детское: Бумба. Мне не очень по душе ваш способ перевода. Думаю, что словарь кочевничьего эпоса должен быть более прост, груб.

— Калмыки действительно раньше кочевали, образ жизни их и сейчас прост, но их эпос на протяжении веков отделяли буддийские монахи, благодаря буддизму «Джангар» связан с оригинальной индуистской философией. А калмыки вовсе не грубы. Расскажу вам один случай. В глубине степи, в слабо освещенном сельском клубе, я слушал одну песню эпоса. С помощью домбры ее исполнял джангарчи, еще не старый. И вдруг он заснул. И зал затих. Тишина длилась несколько минут, пока сказитель не запел снова. Потом я спросил своего спутника, драматурга Баатра Басангова: «Что же произошло?» Он мне объяснил: сказитель дал знак слушателям, что святые, сладостные звуки эпоса перенесли его на несколько мгновений в nirvanу. Слушатели поняли и тоже заснули, как бы удалились из нашего иллюзорного мира в мир вечный.

— Вот это чудо. Ваш рассказ лучше вашего перевода.

— Спасибо. Помните ли вы, Марина Ивановна, что калмыками интересовался Пушкин? Наш гений нашел время, чтобы сделать пространственные выписки из трудов монаха Иакинфа Бичурина, посвященных истории калмыков. В своем «Ехегі monumentum» Пушкин сначала написал «сын степей калмык». Узнав от Бичурина, что калмыки пришли в

приволжскую степь из горной Джунгарии, он слово «сын» заменил «другом».

Цветаева восхитилась:

— Вот это святость. Святая точность. Святость ремесла. Вот так надо работать.

У Земляного Вала мы свернули на Покровку. Прощаясь, Марина Ивановна неожиданно предложила:

— Хотите прогуляться по Москве?

— Когда? — Я был польщен.

— Завтра. С утра.

— Заехать за вами на такси?

— Нет, будем долго ходить пешком. Я к такси не привыкла. Встретимся в десять утра. Я приеду на «подземке», выйду у Охотного рьяда.

Марина Ивановна появилась ровно в десять. Ее сопровождал сын Мур, подросток на вид лет пятнадцати, красивый, в иностранной курточке и в крагах. Я увидел его в первый и в последний раз. Он простился с нами (с матерью довольно сухо) и направился к метро. На Марине Ивановне был широкий синий берет и показавшийся мне тоненьким длинный плащик, ниже лодыжек, на плече — ремешок от сумки. Я подумал, что она одета не по сезону. В Москве уже было холодно, лежал на земле неплотный слой снега.

По предложению Марины Ивановны мы двинулись через Красную площадь к Замоскворечью. Она его хорошо знала, вспоминала мне неизвестные прежние названия улиц, сказала: «В этих местах жил Островский», и действительно мы скоро увидели особнячок с мемориальной доской на белой, в мокрых пятнах, стене.

Марина Ивановна была первым человеком «оттуда», с которым я встретился, и я жадно ее расспрашивал о тамошней русской жизни, о писателях, прежде всего — о любимых, о Бунине и о Ходасевиче.

О Бунине она говорила нехотя, с явным неодобрением. Рассказала что-то нехорошее о его семейном быте. Стихотворный его талант отрицала. С еще большим неодобрением, даже враждебно, говорила об Адамовиче и Георгии Иванове — о «двух жоржиках». По ее словам, оба повинны были в том, что ее вещи отвергались «Последними новостями», в которых эти литераторы имели вес, лишали ее, пусть жалкого, заработка. Как поэтов обоих ни во что не ставила, хвалила некоторые критические статьи Адамовича. О Ходасевиче говорила с уважением и симпатией. Когда Ходасевича укоряли, что он сотрудничает в крайне пра-

вой эмигрантской газетке, Ходасевич пожимал плечами: «Разве одна газета отличается от другой?»

Воодушевилась, когда в ответ на мой вопрос стала рассказывать о Бальмонте. Оказалось, что, несмотря на большую разницу в возрасте, они дружили. Вспоминала: Бальмонт крепко пил. Решили его вылечить. Собрали эмигрантские франки, да и у него кое-что тогда было, поместили в хорошую частную клинику. Исцелили, пить перестал, но и писать перестал, потерял память, и редкими были минуты просветления. Однажды он в рваной крылатке стоял на улице недалеко от своего дома, что-то шептал, и проходившая мимо него женщина дала ему милостыню. Мысль вспыхнула в нем, он швырнул деньги на тротуар...

Перед отъездом в Москву Марина Ивановна пришла с ним проститься. Бальмонт сидел молча за столом, взглянул на гостью как бы умершими глазами. Марина Ивановна спросила:

— Бальмонт, много ты за свою жизнь написал?

Глаза Бальмонта осмыслились, он поднял руку высоко над столом, чтобы показать, сколько томов им создано, потом опустил руку к полу и снова поднял на прежний уровень над столом и внятно произнес:

— А с братушками — вот столько.

Марина Ивановна поняла: он имел в виду свои переводы со славянских языков.

Зная по дореволюционным публикациям ее пристрастия, я удивился тому, что она сочувственно отзывалась о Мережковском, ценила его, правда, больше как мыслителя, чем как художника. Рассказала, что незадолго до войны, году, кажется, в тридцать седьмом, Мережковского принял Муссолини. Услыхав от знаменитого русского писателя, что он — продолжатель дела Юлия Цезаря, Муссолини проявил скромность:

— Piano, piano.

Я забыл, что говорила Цветаева о Зинаиде Гиппиус, жене Мережковского, только помню, что говорила с осуждением, с раздражением. На мой вопрос, как парижане, русские литераторы, относятся к поэтам, работающим на родине, получил ответ:

— По-разному. Адамович и Набоков признают только Ахматову и Мандельштама, не приемлют Пастернака, великого поэта, не терпят Маяковского. Молодежь любит Багрицкого.

— А вы его любите?

— Нет. Южный эпигон Гумилева. Порой бывает чем-то интересен Кирсанов, но уж очень пуст. Мощный мотор придан игрушечному автомобильчику. Вам известно имя Бориса Поплавского?

— Только имя. Стихов не читал.

— Постарайтесь прочесть — самый зрелый из молодой эмиграции.

Я с юных лет восхищался стихотворением Цветаевой, начинающимся словами: «Ты запрокидываешь голову — затем, что ты гордец и враль». Тогда я не знал, что стихотворение посвящено Мандельштаму. Одна строфа меня завораживала:

*Преследуемы оборванцами
И медленно пуская дым,
Торжественными чужестранцами
Проходим городам родным.*

Из Риги, ставшей недавно нашей, мне привезли сборник Цветаевой. Вместо «Преследуемы оборванцами» было напечатано: «Позвякивая карбованцами». Я спросил, чем вызвана эта замена:

— Ведь такая яркая картина. Людям кажется, что идут иностранцы, да еще женщина курит на улице, это необычно, и оборвыши бегут за ними.

— У вас допотопное понимание поэзии.

— Но ведь и ударение неправильное. Не «карбованцы», а «карбóванцы».

— Разве?

— Конечно. Именительный падеж единственного числа — карбóванец. Знаю точно, родился на Украине, при Петлюре держал этот карбóванец в руках.

— Вот это замечание серьезное, надо подумать.

Так, беседуя, мы медленно, как в ее стихотворении, шли по замоскворецким улочкам и переулкам, мимо складов, которые когда-то были храмами. Марина Ивановна сначала каждый раз крестилась, потом перестала. Вдруг, с той простотой, которая была свойственна Руссо или Толстому, она сказала, что ей нужно в уборную. В Москве это и сейчас проблема, а в те годы — почти неразрешимая. Я задумался. Вспомнил, что сравнительно недалеко, на Большой Полянке, я как-то заметил здание райисполкома, и утешил мою спутницу:

— Придется потерпеть минут двадцать.

Повел Марину Ивановну наугад, переулками, и, к большой радости, скоро увидел заветное административное здание. Не знаю, почему, но я уверенно вел Марину Ивановну по длинному коридору, не обращая внимания на встречных чиновников и посетителей-просителей, и нашел то, что ей было нужно. На улице Марина Ивановна меня спросила:

— Все москвичи так поступают?

— Только те, кто уважает райисполкомы.

Я хотел ее рассмешить, но Марина Ивановна как бы меня не расслышала. Она предложила посетить — не в первый раз после своего возвращения, как я узнал, — Музей имени Пушкина, созданный ее отцом. Мы спустились к Каменному мосту, пересекли широкую площадь, по которой, как бы преодолевая близорукость, она пошла твердым, почти мужским шагом.

Никто из сотрудников не обратил на нее внимания. Она предложила осмотреть египетский раздел и проявила нешуточное знание истории и мифологии Древнего Египта. Я привык богиню называть «Изида», она поправила: «Исида».

В музее мы пробыли часа два. С тех пор как мы встретились у Охотного ряда, прошло не менее шести часов. Я спросил Марину Ивановну, не проголодалась ли она. Марина Ивановна кивнула. А я еще утром запланировал, что поведу ее в «Националь», предвкушая удовольствие вкусно ее накормить, выпить коньячку — деньги у меня тогда водились. Но когда мы вышли из музея, Марина Ивановна заметила рядом, на улице Грицевец, столовую. Вывеска сообщала, что столовая принадлежит «Метрострою».

Оказалось, что вход в нее открыт для всех. Я ужаснулся. Я хорошо понимал, что собой представляет эта столовая, и туда я поведу волшебную поэтессу, парижанку? Но как я не убеждал Марину Ивановну не вступать в обжорку, в двух шагах — «Националь», она заупрямилась. Мы открыли дверь. Нас обдал пар, мутно дышавший кислым запахом квашеной капусты. Я усадил Марину Ивановну за свободный столик, о котором в прошлые времена написали бы: «сомнительной чистоты». Сейчас он был несомненно грязен. Сомнительной чистоты был поднос. Я встал с ним в небольшую очередь. Меню: щи суточные, мясные котлеты из хлеба с разваренными макаронами, зеленовато-желтая жидкость под названием «компот». Все это Марина

Ивановна уплетала без брезгливости, даже с некоторым удовольствием.

Видя, что я не ем, она вынула из сумки и дала мне прочесть страничку, на которой было отстукано машинкой несколько абзацев, подпись — К. Зелинский. Это была рецензия на сборник стихов, предложенный Мариной Ивановной издательству «Художественная литература». Рецензент полагал, что с точки зрения политической в стихах нет ничего особенно дурного, разве что в отдельных местах, но наша советская поэзия в своем развитии ушла так далеко вперед, что формальные изыски Цветаевой покажутся читателям анахронизмом, давно пройденным этапом...

Недавно из превосходной книги Марии Белкиной о жизни и творчестве Цветаевой я узнал, что рецензия была гораздо длиннее, поэту дали только последнюю страницу (в те годы авторов знакомили с рецензиями), потому что на предыдущих страницах было написано такое, что даже далекие от сентиментальности сотрудники издательства постыдились показать их Марине Ивановне.

Она спросила, что я об этом думаю. Рассерженный грязной бумажкой, я забыл свою почтительность, у меня вырвалось односложное ругательное слово, но Марина Ивановна ответила спокойно:

— Вот именно.

Покинув обжорку, мы пошли по Волхонке к Тверской, свернули в Камергерский переулок. Указав на дом в начале переулка, Марина Ивановна сказала:

— Я здесь была у Асеева.

Последовал рассказ: обида на Асеева. У нее не было крыши над головой, на Покровке она жила временно у знакомых, единокровная сестра отказалась от общения с ней, вот и пришла Цветаева к Асееву, близкому ей, как поэту, просить, чтобы тот помог с жильем. Асеев сказал, что это не в его силах, если она не против, он позвонит Фадееву. Неужели он, такой важный человек, любимец правительства, не в состоянии раздобыть для нее хоть какую-нибудь комнатенку?

Я объяснил, — нет, не в состоянии, для жилищного управления Моссовета этот важный писатель — ничто. Его предложение позвонить Фадееву было правильным. Я добавил, что за год советской жизни она не успела понять нашей системы. Другого способа ей помочь у Асеева не было.

Марина Ивановна вспыхнула, мое возражение резко отбросила. Недовольна она была и Пастернаком, оговорившись, что она ему благодарна за то многое, что он для нее сделал. Недавно он пригласил ее к себе на переделкинскую дачу, там происходило шумное грузинское застолье, лукуллов пир, изобилие вин и яств, великий хозяин был навеселе.

— Марина Ивановна, вы и тут не поняли нашего литературного быта. С помощью Бориса Леонидовича вы начали переводить с грузинского. Вот он и решил познакомить вас с грузинскими поэтами. Это у нас в обычае. Борис Леонидович заботится о вас.

— Конечно, заботится, он ко мне добр, но я ждала большего, чем забота богатого, я ждала дружбы равного. Вы любите его?

— Очень люблю. Согласен с вами — поэт великий. Как и Мандельштам.

— А Ахматова?

— Она мне роднее. Она, Бунин, Ходасевич.

— Я так и думала. Но трех этих Бог сотворил из разной глины. Повзрослеете — поймете.

— Мне пошел двадцать девятый год.

— Значит, самое время понять.

Теперь, когда я пишу эти беглые страницы, мне пошел семьдесят седьмой. Литературные мои пристрастия остались те же, что и в молодости. Консерватор...

Мимоходом замечу, что стараюсь передать не только смысл, но и стиль разговора Цветаевой, но далеко не уверен в том, что это мне удастся, ведь прошло пятьдесят лет.

...В «Национале» было светло, уютно, пусто и тихо. Марина Ивановна предоставила мне право выбора блюд и вина, а сама на несколько минут удалилась. Я оглядел зал. В его глубине я увидел двух известных писателей, с которыми был знаком. Один, прозаик, — москвич, другой, поэт, — киевлянин. Я так и буду их называть — Москвич и Киевлянин, почему — станет видно из дальнейшего. Москвич подошел ко мне пружинистой походкой футболиста, держа в руке рюмочку, наполненную наполовину. Синие его глаза из-под густых бровей остро сверкали умом и любопытством:

— Кто ваша дама? Лицо ее я где-то видел. Я назвал.

— Сама Цветаева! Можно к вам подсесть?

— Я у нее спрошу.

Я услышал, что Марина Ивановна высоко ценит Москвича, рада с ним познакомиться. Имя Киевлянина было ей неизвестно. Я пошел за ними. Видимо, оба чувствовали себя за нашим столиком неловко, в особенности Москвич. Он молчал, пристальным, как у живописца, взглядом смотрел на Марину Ивановну. Я подумал: как странно, признанный Демосфен ресторанов молчит. Киевлянин с украинским акцентом взволнованно говорил Марине Ивановне о своем преклонении перед ее поэзией. Несколько провинциально, но чувствовалась искренность, сердечность. Между тем он почему-то раздражал Москвича, тот то и дело прерывал его, нередко грубо, например, так:

— Надо уметь говорить о поэзии. Жмеринковские трюизмы тошно выслушивать.

Киевлянин, наконец, вышел из себя и произнес страшное слово:

— Всем известно, что вы стукач.

Москвич молча поднялся, не забыв взять свою рюмочку, но уже с нашим коньяком, и медленно, тяжело направился к своему столику. Смущенно попрощавшись, покинул нас и Киевлянин, двинулся к выходу.

Марина Ивановна поднялась:

— Уйдем отсюда. Немедленно.

Когда мы пересекли Тверскую по дороге к метро, спросила меня, правду ли сказал Киевлянин. Что я мог ответить?

— Не думаю. У кого есть возможность оправдаться, если ему бросят в лицо такое слово? Но опыт говорит, что крупные писатели на эти роли не берутся. Используются мелкие, безвестные или с именем ложного блеска.

— В старину такая сцена кончилась бы дуэлью. А как мы в эмиграции им восторгались, его метафорами...

Так и не исполнилось мое желание — угостить Марину Ивановну ужином в «Национале». Больше мы никогда не виделись.

Несколько раз она мне звонила по телефону. Не говорила «здравствуйте», а начинала, будто продолжая только что прерванный разговор:

— А знаете, вы были не правы...

Беседа, иногда длинная, что было не очень удобно в коридоре коммунальной квартиры, касалась, главным образом, дел переводческих. Запомнил: Марина Ивановна переводила поэму Важа Пшавелы. Она спросила:

— Надо ли сохранить размер подлинника? Как это у вас принято?

— Не обязательно. К тому же есть традиция. Пушкин перевел стихотворение Мицкевича «Будрас и его сыновья» размером подлинника, а переводя другую вещь Мицкевича, «Воевода», сохранил строфику, но анапест заменил четырехстопным хореем.

Помолчав несколько секунд, Марина Ивановна сказала:

— Мне надо подумать.

Перед своим отъездом в Узбекистан, а уезжал я надолго, на два-три месяца, я ей позвонил. Марина Ивановна позавидовала мне: как хорошо в теплых краях!

В Москву я вернулся в июне, протелефонировал, мне ответили, что Марина Ивановна сейчас за городом. Я решил, что приеду навестить ее в ближайшее воскресенье. В воскресенье началась вторая мировая. На пятый день ее я был направлен в Кронштадт для прохождения военной службы на Балтийском флоте. Поздней, холодной, мглистой, блокадной осенью начальник нашей писательской группы Вишневский сказал нам:

— Есть сведения из Москвы, что в эвакуации покончила с собой Марина Цветаева.

Нож прошел по моему сердцу.

20 февраля 1988

НЕСКОЛЬКО СТРАНИЧЕК О ЗАБОЛОЦКОМ

Не имея дерзкой потребности писать воспоминания о Николае Алексеевиче Заболоцком, я хочу высказать несколько соображений и суждений о его поэзии. Да и навряд ли у меня есть право на то, чтобы делиться с читателями воспоминаниями о замечательном русском поэте, с которым мы были только добрыми знакомыми. Нечего говорить, что мое уважение к нему сочеталось с преклонением перед его огромным самобытным талантом.

Люди, стоявшие к нему гораздо ближе, чем я, дружившие с ним — по-разному и в разные годы, — единодушно отмечают в Заболоцком одну и ту же черту: его веру в свое поэтическое призвание, твердо жившее в нем сознание важности и необходимости своего дела.

Были ли у него, как у многих других, почти у всех, сомнения в правильности избранного пути? Однажды он сказал мне: «Не буду предлагать редакциям оригинальные стихи, буду публиковать только переводы». Эти слова он сказал после одного эпизода, о котором я еще расскажу, но все же я полагаю, что то была минутная вспышка, я убежден, что Заболоцкий не только сознавал истинность своего призвания, но и упорно верил в то, что его поэзия нужна людям, нужна для того, чтобы их радовать и учить. В этом смысле он достойный продолжатель великой русской поэзии, чей учительский, проповеднический характер общезвестен.

Вскоре после того, как Заболоцкий вернулся из Казахстана и получил вместе с семьей временное пристанище в Подмоскowie, я познакомил его с одним поэтом, весьма искусным и тонким мастером. Заболоцкий выслушал его стихи, а потом сказал мне: «Он работает, как слепой».

Я не раз мысленно возвращался к этой фразе. Хотел ли Заболоцкий сказать, что поэт должен мыслить рационально, знать наперед свои возможности, видеть ясно предме-

ты, подлежащие описанию? Нет, понял я, Николай Алексеевич хотел от этого поэта ясного понимания своей художественной цели, хотел, чтобы тот с помощью слов создавал существо жизни, а не умножал литературные образцы, хотя и безупречного вкуса.

Некоторые полагают, что творчество Заболоцкого делится на две чуждые друг другу части: сначала «Столбцы» и «Торжество земледелия», в которых он видится якобы как модернист крайнего, авангардистского толка, а потом — новый, совершенно другой Заболоцкий, апологет традиционного стиха, последователь Тютчева и Баратынского.

Этот насильственный раздел души поэта неверен, ибо невозможен.

«Девственность не дозируется», — заметил некогда Бальзак. Не дозируется и душа поэта.

Случается, что сам поэт решает стать иным, решается, а не может, потому что его поэзия сильнее его самого. Он может перестать быть поэтом, но он не может стать иным поэтом. Даже резкое изменение политических взглядов не меняет поэта. Как художник Достоевский периода петрашевцев и увлечения философией Фурье — тот же, что и после каторги. Душу и облик поэта не в силах изменить изменение его изобразительных средств. Да и так ли изменились эти средства?

Я впервые прочел «Столбцы», по совету Багрицкого, в том году, когда они вышли в свет, — в 1929-м. Меня, юного стихотворца, они поразили не только оригинальностью содержания, трагизмом абсурда, не вымысленно-литературного, а того, который возникает из-за разрыва между духовно-прекрасным и угрюмо-низменным, — поразили меня эти стихи и классичностью формы, той строгой простотой и естественностью, с которой слово двигалось в строке. Напомню, что первая книга Заболоцкого вышла на фоне словесной вакханалии, которая имела место в ту пору. Многие пишущие разрывали стих, природную мерность его воспринимали как наивность сладкопевца, рифме придавалось некое самостоятельное значение, отделенное от смысла стихов, эпитеты не объясняли суть дела, а часто запутывали его, так как намеревались восхищать не глубиной увиденного, а необычностью.

А в «Столбцах» наш старый, но удивительно по-молодому энергичный мэтр, оригинальный не от преднамеренности, не от задуманности, а от нового содержания стихов, и традиционная рифма, не притягивающая к себе, как у

иных, ненужного, специального внимания (разве что иногда непрофессиональной бедностью, например: «меня — говоря»), и точный, реалистический эпитет — реалистический при всей своей внезапности, неожиданности, — и становилось ясно, что у ракеты живот именно бенгальский, у больного вспотевший лоб — прямоуголен, у коров улыбка — бледная, и рядом — эпитеты совсем уж простые: стремительное тело футболиста, а герой — воинственный, а стены — каменные, все, как должно быть. И рифмы, если вернуться к ним, все дельные, самые необходимые: стены — сирены, колес — волос. А если рифма не получается, то строки остаются без рифмы:

*Но вот все двери растворились,
Повсюду шепот пробежал:
На службу вышли Ивановы
В своих штанах и пиджаках.*

Не зарифмовано, значит, так и надо, это ведь лучше, чем звонкая, яркая, острая лжерифма, как честное безденежье лучше фальшивого купона.

Поразил меня тогда впервые узанный Заболоцкий своей торжественно-подчеркнутой и бесстрашной связью с русской классикой, — по тем временам это было большой редкостью. Вот те же «Столбцы»:

*Гляди: не бал, не маскарад.
Здесь ночи ходят невпопад,
Здесь, от вина не узнаваем,
Летает хохот попугаем.
Здесь возле каменных излучин
Бегут любовники толпой...
...А на Невке
Не то сирены, не то девки,
Но нет, сирены, — на заре,
Все в синеватом серебре,
Холодноватые...
Обман с мечтами пополам!*

Что мне вспомнилось, когда я читал эти не похожие ни на какие другие стихи?

«Всемогущий Невский проспект! Единственное развлечение бедного на гуляние Петербурга!.. Сколько ног оставило на нем свои следы! И неуклюжий, грязный сапог от-

ставного солдата, под тяжестью которого, кажется, трескается самый гранит, и миниатюрный, легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы... Создатель! Какие странные характеры встречаются на Невском проспекте! Какая быстрая свершается на нем фантазмагория!»

Теперь я понимаю, что эта гоголевская фантазмагория и поразила меня в стихах Заболоцкого, поразила меня и связью с неумирающим былым русской литературы, и новизной замеченных, и живым, жизнетворным стихом воспроизведенных «странных характеров».

Спокойный пятистопный ямб «позднего» Заболоцкого спокоен только с виду. «Прекрасное должно быть величаво». Заболоцкий это знал и утверждал, но он также знал и утверждал следующее: прекрасное неизменно от Библии или Гомера до наших дней, но понятие величавости подвержено влиянию времени, рождается временем. Потому-то Заболоцкому «и голос Пушкина был над листвою слышен, и птицы Хлебникова пели у воды». И во «Второй книге», и в скупом издаваемых последующих осталась та же, что и в «Столбцах», резкость сравнений, та же неожиданность словосочетаний. Прекрасная величавость «Лебеди в зоопарке» веет смелостью литературы XX века; раньше поэт не сказал бы о высокой лебеди: «Красавица, дева, дикарка», а тем более — «Животное, полное грез».

С последней строкой в моей памяти слит один невеселый вечер. Николай Алексеевич позвонил мне, просил зайти (мы тогда были соседями). Я только что вернулся домой, устал, ответил в трубку, что увидимся завтра. Мне показалось, что Николай Алексеевич был недоволен моим отказом. Через час, кажется, позвонила Екатерина Васильевна, попросила, чтобы я, если могу, пришел сегодня, хотя было уже поздновато. Я понял: что-то случилось.

Когда Екатерина Васильевна открыла мне двери в крохотную прихожую, я увидел: в комнате, за большим круглым столом, уставленным бутылками с непроданным грузинским вином (видимо, прислали друзья), спиной ко мне сидел Николай Алексеевич. Он не сразу, ощутимо не сразу, обернулся, а когда наконец обернулся, чтобы поздороваться, мне навсегда запало в душу выражение его глаз: без обычных очков эти глаза стали очень русскими, мужичьими, в них была воспаленная тоска. Может быть, он раньше плакал.

Вот что я узнал. Сотрудница «Нового мира», давняя поклонница поэзии Заболоцкого, попросила, чтобы он принес

стихи. Такого рода просьбы Заболоцкий тогда получал не часто. Через некоторое время Николая Алексеевича вызвал в редакцию Александр Трифонович Твардовский. Случилось так, что Твардовскому стихи не понравились, но, уважая Заболоцкого, он решил с ним переговорить, и в разговоре он как бы призывал автора чистосердечно разделить его, редактора, здравомысленную точку зрения. Мне запомнилась в передаче Николая Алексеевича фраза, которую с добротой, но укоризненно произнес Твардовский: «Не молоденький, а все шутите».

Можно себе представить, что почувствовал в эти минуты Николай Алексеевич. Как это нередко бывает с большими поэтами-современниками, оба они, Твардовский и Заболоцкий, относились тогда холодно к творчеству друг друга. Потом, после совместной поездки в Италию, в их отношениях, насколько я знаю, наметилась какая-то близость, но в тот давний день, видя, что автор вежливо, но без интереса относится к ходу его рассуждений и даже тяготеет ими, Александр Трифонович обратился к кому-то из сотрудников журнала, как бы ища поддержки: «Он говорит о лебеди, что она — животное, полное грез». Сотрудники рассмеялись.

Николаю Алексеевичу было больно и горько. Боль и горечь его были не от того, что он усомнился в себе, а от того, от чего бывает горечь и боль, и ему захотелось, чтобы кто-нибудь, в чье сочувствие он верил, выслушал его, успокоил.

У нас была общность взглядов на пути русской поэзии, общность переводческих интересов. Не только физически невозможно отделить раннего Заболоцкого от позднего — нельзя отделить и Заболоцкого — оригинального поэта от Заболоцкого — переводчика, ибо о чем бы ни пел поэт и в каком роде ни пел бы он, всегда, всю жизнь, он поет одну песню.

В 1929 году Заболоцкий начал писать поэму «Торжество земледелия», в которой, между прочим, размышляет о проявлении разума у животных. Впоследствии он присвоит разум и растениям. В поэме конь говорит:

*Люди! Вы напрасно думаете,
Что я мыслить не умею...*

Бык заявляет:

На мне сознанья есть печать.

Через много лет Заболоцкий переведет с грузинского поэмы Важа Пшавелы, и мы прочтем в переводах, ставших классическими:

*Кому вдамек, что у цветов,
Столь силен дух самозабвенья?
Чтобы болящий был здоров,
Готовы жизнь отдать растенья!*

Готовы, как мыслящие существа...

Видный украинский поэт опубликовал рассказ о том, как он переводил «Евгения Онегина». Переводчик обратил внимание на некоторые музыкальные и версификационные стороны одной строфы, действительно заслуживающие этого внимания, и показал на примере, как он ради воспроизведения этих особенностей на украинском языке пожертвовал даже некоторой точностью мыслей. Николай Алексеевич удивлялся простодушию маститого переводчика. «Вот уж действительно, — говорил он, — выиграл полушку, а потерял червонец».

Когда для настоящих заметок я решил перечесть переводы Заболоцкого и достал с полки его Важа Пшавела, я увидел на томике такую надпись, которая еще раз может показать, как весел и добр был Заболоцкий в обыденной жизни:

*Семен, напрасно люди врут,
Что Цезарь — я, а Липкин — Брут,
А потому, хоть я и крут,
Дарю тебе сей дивный труд!*

Мы, переводчики, любили после секционного заседания посидеть в клубе литераторов небольшим кружком. Мне кажется, Николаю Алексеевичу по сердцу были эти беседы, как и разговоры на узкопрофессиональные темы, — во всяком случае, он принимал в них заинтересованное участие.

Николай Алексеевич превосходно знал русскую поэзию — от Ломоносова и Державина до Хлебникова и Мандельштама. Но он был не просто читателем классиков, он чувствовал себя их младшим собратом, он считал себя вправе и ценить их, и судить. В каждом из русских поэтов он находил то, что ему было не только близко, но и нужно. Он восторгался строкой Лермонтова: «Не для меня красы

твоей блистанье», и, когда он произносил ее, строка как будто приобретала новый, прежде скрытый для меня смысл.

Ему не нравились переводы Фета, и, приводя те или иные переводные строки, казавшиеся ему нескладными, он удивлялся, как мог их написать тот самый поэт, который создал такой шедевр, как «Измучен жизнью, коварством надежды...» Н. А. обращал внимание на то, что стихотворение Фета, как и державинский «Снегирь» («Что ты заводишь флейту военну...»), по своим ритмам принадлежит скорее XX веку, нежели XVIII и XIX.

Заболоцкий, насколько я мог понять, был равнодушен к Блоку и Маяковскому. Он все больше любил Ходасевича и Бунина — и прозаика, и поэта, который восхищал его четкостью стихотворного рисунка, чистотой голоса, презрением к эффекту. Вообще, я заметил, что с годами Николаю Алексеевичу переставали нравиться стихи броские, нарядные. Он разделял мнение Пушкина о том, что женщины, как правило, мало понимают в стихах, и считал, что женщинам писать стихи не следует. Мои доводы и общеизвестные примеры не производили на него никакого впечатления.

Мне кажется, что Н. А. несколько позднее, чем это бывает со всеми, узнавал русскую прозу, — зато с каким восторгом он читал ее вслух, как великолепно улавливал ее музыку! В последние годы он очень увлекся Чеховым и, сам будучи натурой оригинальной, увидел Чехова с неожиданной стороны. Юмор Чехова он понимал и чувствовал во всех тонкостях. Ему много говорила фраза: «Душ Шарко, ваше превосходительство», — и в стыке двух «ш», повторенных в слове «ваше», он как бы открывал суть чеховского персонажа.

Как и о других русских поэтах, от Пушкина до Блока и Пастернака, не прекращаются споры и о Заболоцком. Мне иногда приходилось слышать такое мнение, что он холоден. Думаю, что так могут высказываться только стихотворцы или читатели, которые привыкли к так называемому «самовыражению», к художественному крику, к тому, что Бунин метко, хотя и зло, назвал «писарской душещипательностью». В действительности Заболоцкий душевен высшей душевностью, душевностью ума. И опять — не только поздний, но и ранний. Вспомним форварда из «Столбцов»:

*Все так же вянут на покое
В лиловом дамике обои,
Стареет мама с каждым днем...
Спи, бедный форвард!
Мы живем.*

Или написанное тридцать шесть лет назад стихотворение «Все, что было в душе...». Поэт лежит на траве, читает книгу, на странице которой нарисован чертеж цветка. И в самую душу нашу входят строки и зовут к тому, чему и названия нет, но что — мы хорошо это знаем — прекрасно, а потому вечно:

*И кузнечик трубу свою поднял, и природа внезапно
проснулась,
И запела печальная тварь славословье уму,
И подобье цветка в старой книге моей шевельнулось
Так, что сердце мое шевельнулось навстречу ему.*

Через несколько лет после войны мы, несколько литераторов, тоже лежали в подмосковной траве, и Заболоцкий нам читал стихи, и эти, и другие, новые, и голос его доньше звучит во мне.

1973

КИПАРИС ДОСКИ

Старый богатырь, вождь племени, держа в руках плеть, сидит на траве. Он в голубом кафтане, и седина его тоже голубой стала от движения времени, от дряхлости. За его спиной табун одномастных коней, стадо быков — его труд, его богатство, а впереди, перед его глазами, — будущее, мы, читающие книгу о нем.

Таким изобразил его художник, сделавший сначала несколько рисунков со знакомого мне старика, сторожа при складе на элистинском базаре. Как угадал в нем художник то, что, думается, сам старик и не ощущал в себе? Это и есть единственно верный путь искусства — от повседневного к прекрасному. Тогда-то становится ясно, чем привлекло к себе внимание В. А. Фаворского лицо этого, казалось бы, ничем не примечательного старика. И теперь — после Фаворского — вспоминаешь, каким пристальным был взгляд узких, уже выцветавших глаз, как бы заглядывающих вам в душу.

Сколько лиц, сколько мест вижу я, когда смотрю на гравюры «Джангариады»! Хорошо помню того загорелого, широкоплечего калмыка, каспийского рыбака, с которого написан богатырь Хонгор, Алый Лев, и ту молоденькую актрису с некрасивым умным лицом, которая изображена на гравюре в качестве мудрой Зандал-Герел, и то местечко в степи около Яшкуля, которое, возродившись в душе художника, стало фронтисписом к вступлению.

Вспоминаются мне и наши поездки по калмыцкой степи, и в особенности одна такая поездка летом, когда трава сгорела и волны песка двигались навстречу нашей машине по сухой и, казалось, очень твердой земле, но так только казалось, а на самом деле мы вскорости попали в ерик, и машина надолго в нем застряла, и мы ее толкали вчетвером: и водитель, и Баатр Басангов, и я, и уже тогда седобородый Владимир Андреевич Фаворский в старенькой чистой па-

русиновой толстовке, из бокового карманчика которой выглядывали толстый карандаш и дерматиновый потертый очечник.

Машина наконец вырвалась из соленого вязкого плена, сумерки широко, полно и густо легли на половину видимой степи, а другая половина еще насквозь золотилась дневным червонным золотом, и на небе одновременно зажглись круг солнца и круг луны.

— Видите, — сказал Владимир Андреевич, — на буддийских иконах тоже бывают одновременно солнце и луна, считают, что это условность, а какая же условность — вот они два круга на небе.

Заночевали мы не помню уж в каком селении — или то было отделение совхоза? Хозяева дома, твердо соблюдая обычаи калмыцкого гостеприимства, сперва угостили нас маханом и чаем, а потом уже спросили, кто мы. Пришли соседи, и в кибитке запахло степным жильем — кизячным дымом, овцой, перегнанным молоком. Владимир Андреевич был удивительно хорош с простыми людьми, хорош, потому что естествен. Когда перед маханом выпили по чарочке «тепленького» — водки из молока, Владимир Андреевич произнес нечто вроде тоста:

— Вы, калмыки, сначала показались мне чудными, а теперь кажетесь чуждыми.

И все удовлетворенно смотрели на то, с каким удовольствием московский профессор, зурач (художник), пьет золотистый калмыцкий чай, о котором поэтесса сказала, что вкус его зависит от той, кто этот чай приготовил.

Владимир Андреевич, взявшись за иллюстрации к национальной эпической поэме, изучал не только буддийские иконы, калмыцкий орнамент, но и довольно-таки большую литературу о калмыках, монголах, о буддизме. Книгами его снабжал Баатр Басангов. Фаворский полюбил степной народ так, как может полюбить русский, чье сердце чисто и радостно открыто всему человеческому в человеке. И как бы смущенно, словно оправдываясь, объясняя эту любовь, говорил:

— Пушкин целые страницы выписывал из трудов монаха Иакинфа Бичурина, из разных книг по истории калмыков. И сказочка, которую рассказывает у него Пугачев в «Капитанской дочке», — калмыцкая.

Осталось в моей памяти и такое его мимолетно произнесенное высказывание:

— Неправильно говорят, что степь однообразная. Степь разная. Иная в «Слове о полку Игореве» (он делал ударение на первом слоге — полку), иная она у Чехова, иная в калмыцком эпосе.

Мы часто, на протяжении нескольких лет, встречались с ним и его учениками во время общей работы над «Джангариадой». Учеников своих он всегда хвалил, появились у него и ученики-калмыки, среди которых он выделял безвременно ушедшего Ивана Нусхаева, а о своем сыне Никите говорил с какой-то лукавой гордостью:

— Есть такие, кто считает, — сын, мол, отца превзошел!

Нет сына, он пал на фронте, нет и пережившего его отца. Я приходил к ним на квартиру на Мясницкой, против почтамта, подъезд был в глубине двора. На высоком этаже, с окном во двор, была их — отца и сына — мастерская. Они сидели друг против друга, Владимир Андреевич и Никита, и работали на самшитовых досках. Сидели они босиком, в рубашках навывпуск. Рядом с возникающими гравюрами был рассыпан на доске побольше колотый сахар и стоял большой фарфоровый «трактирный» чайник. У Никиты была маленькая шелковистая светло-каштановая бородка, борода отца — серебро с чернью. Что-то простое и вместе с тем величаво-значительное было в этой сцене, почему-то вспомнились прочитанные в юности строки:

*От братии прилежной
Апостола Луки
Икону Тайны Нежной
Писать — мне испытанье.
Перенесу ль мечтанье
На кипарис доски?*

Как возникла творческая связь В.А. Фаворского с калмыцким эпосом? Я преклонялся перед гением художника — не только графика, но и сценографа. Уже в юности меня поразило его оформление «Фамари» — поэмы А. Глобы, его ксилография «Достоевский». Я был убежден, что в душу одного из величайших писателей мира Фаворский проник глубже, чем знаменитый Перов. Когда я заканчивал перевод «Джангра», то решил приложить все старания к тому, чтобы оформление книги было поручено Фаворскому. Батр Басангов одобрял мое решение. У меня был приятель, молодой художник, мой ровесник, — мы вместе с ним учились в одесской художественной профшколе. Я доверил

ему свою мечту. Оказалось, что он немного знаком с Владимиром Андреевичем, он устроил мне свидание с ним. Это свидание состоялось в помещении архитектурного института на Рождественке, на самом верхнем этаже которого была небольшая мастерская Фаворского и Л. Бруни. Я прочел обоим начало «Песни о поражении свирепого хана шулмусов Шара Гюргю», прочел с умыслом, так как в этом отрывке было описание дворца Джангара, что, как я подумал, должно было заинтересовать двоих моих слушателей. Стихи понравились обоим, Владимир Андреевич попросил меня принести всю рукопись полностью. Когда Владимир Андреевич с ней ознакомился, он дал согласие оформлять книгу.

Я был счастлив. Теперь осталось получить согласие издательства. Заведующим художественной редакцией Гослитиздата был тогда А.Д. Гончаров, известный график. Оказалось, что он высоко ценит работу Владимира Андреевича. Он обещал поговорить с директором издательства и уговорить его. А уговаривать надо было: Фаворскому в те годы жилось трудно, его обвиняли во всевозможных грехах. Отсюда и неказистая мастерская в архитектурном институте.

Все складывалось хорошо. Издательство заключило договор с Владимиром Андреевичем. Но отзвуки недоброжелательного отношения к нему еще слышались долго. Однажды председатель Совнаркома Калмыкии Н.Л. Гаряев, принимавший горячее участие в подготовке к празднованию юбилея эпоса, сказал Баатру Басангову и мне:

— Был я в Москве, познакомился с художником Александром Герасимовым. Уважаемый товарищ, рисует портреты вождей. Он не одобряет кандидатуру Фаворского, говорит, что Фаворский — формалист.

Хитроумный Баатр быстро нашелся:

— Формалист — это не политическое обвинение. Это значит, что Фаворский придает большое значение не только содержанию, но и форме.

Конечно, Нальджи Лиджиевич хорошо знал, как опасна кличка «формалист», но и он уже находился под обаянием личности и таланта Фаворского и сделал вид, что объяснение Басангова его удовлетворило.

Забегу вперед. Вспоминаю, что уже после войны тот же мой приятель-художник передал мне слова А. Герасимова, сказанные на каком-то собрании: «К чему нам эти две борды — Фаворский и Коненков?»

У Владимира Андреевича была своя система взглядов на искусство книжной иллюстрации. Насколько я вспоминаю и понимаю, суть этих взглядов сводилась к тому, что книжные иллюстрации не должны быть картинками, живущими отдельно от книги жизнью («как стены в Сандуновских банях» — запомнилось мне едкое сравнение). Иллюстрация должна быть связана и с типом шрифта, и с видом набора, и с буквицами, и с орнаментами, и с титулами, и даже с размером полей.

Владимир Андреевич как-то спросил меня:

— Вы бывали на станции метро «Новокузнецкая»? Поднимаешься по эскалатору, и на тебя падают два света: внутренний электрический и внешний яркий летний свет, льющийся из раскрытых дверей станции, а ты неподвижен на движущемся эскалаторе. Вот это — живая гравюра.

Иллюстрации к «Джангариаде» кажутся мне гениальными. Русский художник выразил душу небольшого степного народа, знавшего, по выражению монголоведа Б.Я. Владимирцова, не только перекочевки с четырьмя видами скота, но и ставки властителей полумира и пагоды храмов. Художник, иллюстрируя народный эпос, изобразил и народ, и его идеалы, его сердечный мир, его представления о красоте. Великий художник скромно совершил подвиг дружбы и братства.

Давид Кугультинов рассказывает: он, еще школьник, принес нам свою рукопись — он тогда писал по-русски. Мы, как заправские командированные, жили втроем в маленькой и единственной элистинской гостинице, чуть ли не в одном номере. Баатр Басангов угадал в подростке будущего поэта. После хвалебных слов последовали и критические. Тогда, заметив на лице юного Давы огорчение, В. А. Фаворский сказал ему:

— Учился я в ваши годы, или чуть-чуть постарше был, у скульптора. Дал он нам лепить полотенце, но сначала погрузил край полотенца в воду. Он требовал, чтобы у нас и в глине край полотенца был мокрый... Искусство — это тяжелый труд. Бывает мастерство без искусства, но не бывает искусства без мастерства.

Я чувствовал, что Владимир Андреевич полюбил и «Джангар», и калмыков прочной любовью. Может быть, здесь сказались особые обстоятельства, а именно: в Прикаспийской низменности он встретил у степного народа ту любовь и ласку, в которых так нуждалось тогда его сердце.

Мы были у него в дни его ярко разгоревшейся славы в мастерской в Новогирееве. Бем Джимбинов обратился к нему с просьбой проиллюстрировать антологию калмыцкой поэзии, издание которой тогда предполагалось. Владимир Андреевич жарко и молодо согласился, сказал, что надо к этому делу привлечь В. Федяевскую и других его учеников. А потом весело и просто напросился к Джимбинову на калмыцкий чай.

Но настало 31 декабря 1964 года, и в канун Нового года я пришел в зал Академии художеств, чтобы поклониться и ему, и его великому искусству, чтобы проститься с ним в последний раз. Он лежал на столе как живой. Так он лежал когда-то на калмыцкой земле, степные цветы наклонялись к нему, разговаривали с ним.

1974

ВТОРАЯ ДОРОГА

В 1928 году литературная Одесса еще продолжала жить. Хотя ее звезды первой и второй величины покинули неповторимый город ради Москвы, где засияли всероссийской славой, их отсветом еще светились менее подвижные астероиды. Литературные взгляды отнюдь не были провинциальными, барабанное виршеписание презиралось. Не прекратило своего существования Южно-Русское общество писателей, к которому до революции были близки подолгу жившие в Одессе Бунин и Куприн. Оно rispetабельно заседало два раза в месяц в Доме ученых на Елизаветинской улице, седые профессора, адвокаты читали свои длинные, старомодные поэмы, написанные неправильным белым ямбом. Душой общества был настоящий писатель и видный специалист в области виноградарства Александр Кипен, автор знаменитого «Бирючьего острова», когда-то печатавшийся в столичном «Русском богатстве», в горьковских сборниках «Знания». Кажется, председателем общества был Наум Осипович, в прошлом — народоволец, известны были в свое время его очерки тюремной жизни, замеченные Короленко. Семнадцатилетний автор этих строк был горд и счастлив, когда его приняли в общество.

Молодежь — студенты, безработные, школьники старших классов — собиралась каждую субботу в помещении редакции одесских «Известий». То был кружок при газете, задуманный как рабкоровский. Рабкоров я там не припомню, начинающие читали свои стихи и рассказы, их слушали девушки и юноши, писавшие тайно, среди них выделялся своей сосредоточенной молчаливостью приземистый, большеголовый, склонный к полноте, бедно, но чисто одетый паренек, о котором говорили, что он будущий великий математик. То был Сережа Королев, впоследствии прославленный конструктор ракетно-космических систем.

«Станком» руководил блестящий, образованный П.А. Пересветов. Первая половина заседания была посвящена его лекциям. Он доказывал нам, что Фет и Полонский были несравненно выше Маяковского и Сельвинского, громкоязыкий Гюго тускнеет в сравнении с Бодлером и Верленом. Увы, самонадеянная молодежь плохо его слушала, смеясь и болтая в нетерпеливом ожидании своего выхода, но, к счастью, ему не мешала, он страдал глухотой. Он читал русские и французские стихи, поглаживая лежавшую у него на коленях плебейскую собачку Жужу. А когда наступала наша очередь читать, он раковинной прикладывал руку к уху, закрывал глаза и, вдруг их открыв, радовался каждой живописной, музыкальной, на худой конец внятной строчке.

И вот однажды на субботнем заседании появляется незнакомец. Его, как выяснилось, привел постоянный посетитель «Станка» поэт и художник Владимир Стамати и попросил предоставить своему товарищу, приехавшему из Москвы, прочесть стихи не в очередь. Незнакомец стал читать. Слушатели, которые (что, наверно, понятно из предыдущего) вовсе не были периферийными, темными виршешплетами, а находились на уровне стихолюбов обеих столиц, восхитились уже первыми строками: «Шито-крыто, ночь-ворона, спит дебелая Верона». Голос автора с южными вопросительными интонациями гремел, карие глаза, то левантийски-лукавые, то магически-безумные, сверкали, и весь он — смуглый, стройный, высокий, самоуверенный и в то же время робкий — показался нам чудным вестником истинной поэзии. Вот, поняли мы, как надо писать!

Поражал мускулистый, упругий и нервный стих, очень богатые, глубокие рифмы, построенные по классическому образцу, но почему-то неожиданные, да и вся поэма о Вероне была неожиданная, смелая какой-то благородной, отнюдь не модернистской смелостью: все в ней дышало нашим смутным временем. Мы, влюбленно почитавшие поэтов серебряного века, взволнованные и более поздними, но еще не умевшие отличить живую, теплокровную новизну Пастернака от муляжной новизны Асеева или Сельвинского, увидели, поняли, слушая Аркадия Штейнберга (так звался незнакомец), что классический русский стих таит в себе небывалые возможности. Пересветов торжествовал. Даже Сережа Королев впервые принял активное участие в заседании, выкрикнув: «Ух!» Другой посетитель кружка сочинил большое стихотворение, которое начиналось так:

«Скажите, Штейнберг вам знаком? О как владеет он стихом!»

За какие-нибудь две недели Штейнберг стал у нас общепризнанным мэтром. Он читал и на заседаниях Южно-Русского общества писателей, и характерно, что даже немалодые завсегдатаи общества, застрявшие на Надсоне и Фруге, в лучшем случае на Бальмонте, были обворожены словесным волхвованием необычного, но притягательного таланта.

Он и как человек оказался необычным. Не будучи провинциальной литературно, наша молодежь была провинциально-мещанской, и вот приехал из Москвы двадцатилетний поэт, нигде не печатавшийся, нигде не работавший, нигде не учившийся. Странно! Теперь я думаю, что прежде таких поэтов в России не было ни среди дворян, ни среди разночинцев, ни среди — тем более — крестьян. Мне кажется, что молодой Штейнберг всем своим существом был чем-то похож на таких французов, как Аполлинер или Андре Сальмон.

Мы подружились. Как оказалось — на всю жизнь. Он был старше меня на четыре года, гораздо начитанней, знал не только русскую, но и немецкую поэзию (он отлично владел немецким языком, так как учился в Одессе в реальном училище св. Павла, где все предметы преподавались по-немецки). От него я впервые услышал имена Рильке и Георге.

Штейнберг и его юная жена Нора, худая, высокая, большеглазая, настойчиво поддерживающая свое сходство с цыганкой, занимали комнату в квартире одесских родственников Аркадия на Ремесленной улице. Комната была пуста. Единственная мебель — два венских стула. Супруги спали на полу на матраце. Утром матрац свертывался вместе с подушкой и простынями и превращался в валик для сидения. Впрочем, мы сидели и прямо на полу.

На какие средства жила молодая чета? Кажется, Штейнбергу помогала мать, присылая ему немного денег тайно от отца, доктора Акима Петровича Штейнберга, крайне недовольного ранним браком сына, непутевого художника, отказавшегося продолжать учение во ВХУТЕМАСе, потому что, когда Аркадий был на четвертом курсе, ВХУТЕМАС переехал из Москвы в Ленинград.

Мамина помощь, однако, была скудна, Аркадий через биржу труда устроился недели на две на черную работу мостовщиком при укладке дороги от Александровского парка до Ланжерона. Запомнилось: мы возвращались с мо-

ря беспечной гурьбой вдоль этой дороги, увидели Аркадия, он подошел к нам, в трусах, босой, в рваной красной в белую полоску рубаше, и церемонно поцеловал руку девушки. Рваная рубаша сидела на нем как смокинг.

В пустую комнату на Ремесленной мы приходили с купленным в складчину на постоялом дворе у молдавских крестьян ведром дешевого вина и несколькими караваемы ситного хлеба. Аркадий разговаривал стихами и прозой, а мы внимали. Восхищенные, внимали ему и молодые художники — и те, кто поклонялись Кандинскому и Малевичу, и те, кто вслед за таможенником Руссо и Пиросмани увлекались базарным лубком, стилизованными вывесками. Они приносили свои полотна, Аркадий с пониманием всех тонкостей ремесла оценивал эти работы доброжелательно, но при этом умно, с южной страстностью говорил о старой живописи, вечная новизна которой, по его мнению, должна быть направляющей силой для настоящего мастера. С пылким восторгом говорил он о голландской живописи, он видел в ней, казалось, и то, к чему не всегда, полагал он, успешно стремились современные художники, начиная от первых импрессионистов и кончая Гончаровой или Ларионовым. Собственно говоря, те же положения он развивал, рассуждая о современной поэзии. Замечательным в его рассуждениях было то, что в нашей классике он видел не ее классичность, а прежде всего ее живое движение, ее жизненную необходимость нам. Получалось так — и это очаровывало и волновало, — что Рембрандт, Рубенс или Ван Дейк, Державин, Батюшков или Жуковский уже хорошо знали и умели делать то, чего не знают и не умеют делать новомодные художники и стихотворные писатели. Я до сих пор благодарен ранним урокам Штейнберга.

Через год я приехал учиться в Москву. Я был ошеломлен изобретательной ловкостью моих ровесников, столичных штучек-стихотворцев. Мои писания показались мне жалкими, никчемными. В тяжелом унынии пришел я к Аркадию. Но, выслушав мои стихи, он похвалил их с уже знакомой южной, громкой страстностью, с уверенностью мастера, он развеял мое уныние, помог мне поверить в себя. И так было всегда — и не только со мной.

Аркадий обладал редким и благородным свойством: он умел радоваться чужому успеху, радоваться от души, заразительно — и доказательно. Он мне сказал: «Я тебя познакомлю с двумя поэтами, лучше которых нет среди молодых. Мы вчетвером составим могучую кучку». Так я узнал

Марию Петровых и Арсения Тарковского. С тех пор прошло пятьдесят шесть лет, и я, как и тогда, и сейчас считаю, что Тарковский, Петровых, Штейнберг — самые значительные поэты моего поколения.

Из «могучей кучки» один только я успел кое-что напечатать в толстых журналах. На счету у Тарковского была лишь одна публикация в журнале «Прожектор» — стихотворение «Хлеб» размером в восемь строк. Штейнберг совершенно серьезно именовал это стихотворение «трудом Тарковского».

Под водительством Штейнберга мы вчетвером устроили вечер в Доме печати. Докладчик А. Миних назвал нас неореалистами. Мы имели успех. Это неудивительно — половину зала составили знакомые Штейнберга.

Трудно объяснить, почему нас неохотно печатали. Проще всего как будто дело обстояло со мной. Мои стихи носили религиозную окраску, я увлекался чуждым тогдашней эпохе славянофильством. При желании (а оно было упорным) можно было отвергнуть стихи Петровых и Тарковского — грустные, интеллектуальные, без примет «нашей бучи, боевой, кипучей». Но стих Штейнберга, звучный, живописный, оптимистичный — чем он настораживал редакторов? Конечно, все мы четверо не писали на газетные темы дня, но беда наша заключалась не только в этом. И самый тон, и настроение наших вещей, и лексика, и даже — трудно поверить — строфика, и неприятие расхлябанности, неряшливых усеченных рифм — все это вызывало отталкивание, порой враждебное. Мы были чужими своему литературному поколению.

История поэзии, да и вообще история искусства, есть история преодоления естественного недоверия читателей, зрителей, слушателей к тому, что с помощью слов, звуков, красок, глины можно создавать живые существа. Как раньше действовали пигмалионы всех родов? Они завоевывали доверие, опираясь на разум и воспроизведение действительности. Чем безудержней фантазировали Гоголь и Гофман, тем крепче они вбивали в землю опоры разума и действительности. Художники начала нашего века решили разрушить эти две опоры. Разум они заменили заумью, реализм — сюрмом. А нам хотелось, чтобы каждый из нас, вслед за Ходасевичем, имел право о себе сказать: «Умен, а не заумен», мы хотели создавать живые существа, выпекать хлеб, а не «картонные показные булки». Это встречалось, в лучшем случае, недоумением и со стороны признанных

мастеров, и тем более со стороны официальных литераторов, заведующих поэзией в журналах, издательствах.

Впрочем, были исключения. В начале 1930 года Штейнберг опубликовал в «Литературной газете» стихотворение об охоте на волков. Насколько я помню, оно было написано под впечатлением «Смерти волка» Виньи. В одном интервью Маяковский, не называя автора, похвалил метафору из этого стихотворения: «курки осторожно на цыпочки встали». Если поразмыслим над тем, что интервью было взято у Маяковского за месяц, кажется, до его самоубийства, то похвала приобретает особое значение.

Высоко ценил талант Штейнберга знаменитый в то время Эдуард Багрицкий. Он оказал честь неизвестному поэту, поставив его имя рядом со своим под переводами из французской поэзии.

В краткой автобиографии Штейнберг вспоминает: «До начала тридцатых годов довольно широко печатался в центральных журналах». Это самообман. Я думаю, что в период 1929-1937 гг. он опубликовал не более 10—15 оригинальных стихотворений.

Материальные его дела складывались неважно. Родился ребенок, пришлось уйти из родительского дома, снять комнату на Якиманке. Он писал песни для музыкального издательства, их никто не пел, но одна из них была включена в спектакль «Последний решительный», поставленный Мейерхольдом; писал (вместе с Тарковским) многостраничные очерки для радио — мне запомнился один, посвященный истории стекла, он начинался цитатой из Ломоносова: «Неправо о стекле те думают, Шувалов, которые стекло чтут ниже минералов».

Заказы для радио были нерегулярными, наступала пора безденежья. Однажды Штейнберг изготовил копии нескольких картин голландских мастеров и продал их, не скрывая, конечно, что это копии, но цену за них запросил как за копии старые, написанные чуть ли не в ту эпоху, когда создавались подлинники. Покупатели верили — так искусно была сделана работа.

Тут надо понять Штейнберга. Эти копии были не только возможностью получить мелкий заработок, но и выражением озорства его богатой южной природы. Другим выражением озорства были абсурдистские стихи, отчасти навеянные только что вышедшими «Столбцами» Заболоцкого. Штейнберг придумал и устно разработал биографию автора этих забавных стихов — караима Симхи Баклажана. Хо-

рошо было бы найти эти остроумные сочинения, да, видно, они пропали во время двух арестов. Озорство, игра были свойственны Штейнбергу до самого последнего дня и составляли пленительную черту его характера. Не случайно, а поэтически постигая себя, он написал:

*Я ж снова мальчик с карими глазами,
Играю лодками и парусами,
Играю камешками и судьбой,
Летучей рифмой и самим собой.*

Наш старый друг и до сих пор недооцененный поэт Георгий Шенгели, став редактором в Гослитиздате, привлек нашу четверку к стихотворным переводам. Мы тогда не предполагали, что происходит важный поворот в нашей судьбе. Штейнберг и Тарковский стали совместно переводить черногорского поэта-политэмигранта Радуде Стийенского. Эту работу я не сумею лучше обозначить, чем термином «переводы нового типа». Автор не столько писал, сколько пересказывал своим переводчикам произведения фольклора, замечательным знатоком которого он был, и дальше все уже сочинялось втроем.

Стихи Стийенского, цветистые, как черногорский наряд, в переводах Арсения Тарковского и Аркадия Штейнберга стали широко известны. Казалось, нашли свое продолжение илирийский вымысел Мериме и пушкинские песни западных славян. Об этих переводах восторженно высказался (кажется, в «Известиях») талантливый, требовательный критик, вернувшийся из эмиграции отпрыск княжеского рода Святополк-Мирский (вскоре репрессированный). Дела налаживались, обоих переводчиков приняли в Союз писателей, Штейнберг даже получил возможность приобрести дом в Тарусе. И тут его арестовали.

Что было причиной ареста? Об этом тогда не спрашивали. Был бы человек, а статья найдется. Может быть, его взяли потому, что он слишком броско, ярко одевался, вообще был вызывающе ярок? Или потому, что был знаком с каким-нибудь иностранцем, работавшим в Советском Союзе? Лишнего он никогда не болтал.

Он просидел недолго, кажется, года полтора. Отец его был членом партии с 1920 года, у него были связи, хлопоты легли на мать, Зинаиду Мойсеевну, и увенчались успехом. Возможно, что благоприятному исходу способствова-

ло то, что был смещен Ежов, его заменил Берия, а новая метла спервоначалу метет по-новому.

Пришла огромная беда — война, мы расстались: я был направлен на Балтику, стал военным моряком, он — на один из южных фронтов.

Он служил в так называемом 7-м отделе, целью которого была пропаганда в войсках противника. Доходили сведения, что Штейнберг вступил в партию, отлично работает, даже пишет стихи по-немецки, агитируя гитлеровских солдат сдать в плен. И вдруг — ужасный слух — его опять арестовали.

Причина второго ареста несколько более понятна, чем причина ареста первого. Когда, отсидев длинный срок, Аркадий, в полушубке-«московке», сшитом зековским портным, вернулся в Москву, он показал мне свое письмо, обращенное к Ворошилову с просьбой о реабилитации. Вникнув в письмо, я стал понимать суть дела. Аркадия в армии охватил восторг: он приобщился к власти, стал коммунистом, майором, орденоносцем, как и всюду, приобрел любовь сотоварищей. Когда наши войска вступили в Румынию, он, в состоянии этого восторга (а в Аркадии жил Тартарен, солнце русского Прованса пылало в его крови), начал, как сотрудник 7-го отдела, устраивать приемы, самовольно приглашая на них видных румын, которые с достаточным на то основанием казались ему нужными, но командование рассматривало их как ненужных, оно было крайне раздражено, придралось к тому, что Аркадий тратил средства на эти приемы, — и вот восемь лет каторги.

Один зек, сидевший с ним, мне потом рассказывал: «Прибыли на место, нас погнали на лесоповал. Штейнберг сидит на пенечке, не шелохнется. Бригадир его толкает, а Штейнберг: «Никуда я не пойду, я в законе».

Для несведущих: «в законе» означало, что он вор, аристократ лагеря, а не политический, работать не собирается. Конечно, над ним посмеялись те же воры, заставили работать.

Вскоре он устроился фельдшером: сын врача, он разбирался в медицине. К тому же он, помимо таланта поэта и живописца, обладал разнообразными способностями, у него были ловкие руки, хорошая голова. Быть в лагере фельдшером означало жизнь в сыти и тепле. Медицина спасла Штейнберга, он даже попал на лагерные курсы повышения квалификации среднего медперсонала.

Возникла в лагере и любовь. Он рассказывал мне об этой женщине — участнице украинского националистического движения. Он писал о ней:

*Нас не одно и то же поле
Взрастило в давние года,
Но здесь, в безвыходной неволе,
Свела всеобщая беда.*

Он вернулся из лагеря не как реабилитированный, а по амнистии, распространившейся на участников войны. В отличие от большинства он решил в партии не восстанавливаться. Оказалось, что в Союзе писателей ему и восстанавливаться не надо, — его забыли исключить. Пришлось только внести за все эти каторжные годы членские взносы — сумма небольшая.

Штейнберг занялся переводами — по подстрочникам — современных поэтов Средней Азии. Делал он это с техническим блеском, но, кроме скудного гонорара, ничего не извлек, переводы эти не имели успеха, ни государственного, ни литературного. Он слабо чувствовал мусульманский Восток, а воспроизведение национального характера его не увлекало. Жил бедно. Он вспоминает в одном из самых важных своих стихотворений этого периода «Вторая дорога»:

*...Когда мне едва не пришлось в Ашхабаде
Просить на обратный билет Христа ради.*

Эта кратковременная нищета была связана с романтическим приключением, поэт описывает, как он бродил дурак-дураком вдоль арыков, не в силах смириться «с невозможной утратой, обугленный болью, отравленный желчью».

Тяжкий для Аркадия год стал и годом его творческого счастья. Вышел в свет созданный при его ближайшем участии нашумевший альманах «Тарусские страницы», в котором была помещена внушительная подборка стихотворений Штейнберга. Прочитав их, я убедился в справедливости изречения Комоэнса, пересказанного Жуковским: «Страданием душа поэта зреет». Огромные стихи!

Альманах подвергся удару со стороны официальной критики, но знатоки, истинные ценители прекрасного, запомнили имя доселе неизвестного им поэта. Справедливо-

сти ради следует сказать, что многочисленная масса читателей и слушателей, увлеченная несколькими молодыми именами (заслужившими свою знаменитость не случайно), осталась к поэзии Штейнберга равнодушной.

Это закономерно. Поэзия Штейнберга жива содержательностью. Содержательность есть основа всякого искусства. Не надо путать содержательность с содержанием. Содержательность — дух, а содержание — одна из телесных оболочек. Кто видел дух без тела? Между тем как тело, даже лишенное духа, доступно всеобщему обозрению. Содержательность является нам, одетая в то тело, которое ей потребно. Она может нам являться в любом облике, а мы легко принимаем облик за содержательность. Короче. Хотите отличить истинное искусство от ложного? Вникайте в его содержательность (не в содержание) — и вы познаете дух в соответствующей ему плоти. Можно подражать телу, облику, оболочке, но невозможно подражать содержательности, ибо кто видел, чтобы подражали духу?

Стихотворение Штейнберга «Человек», одетое в обычный пятистопный ямб, обутое в обычные строфические сандалии перекрестных рифм, находится в авангарде поэзии благодаря своей содержательности. Речь идет о пожилом лилипуте:

*Коротконогий, щуплый, безбородый,
Неравный нам по росту и судьбе,
Ограбленный безжалостной природой,
Он главное сумел вернуть себе.
И стал он в нашем царстве гулливерском
Таким, как мы, с начала до конца.
На старческом лице, по-детски дерзком,
Сквозила мысль того же образца.*

Мы видим не платье оригинального покроя, не оболочку, это дух сквозит сквозь тело слов, это Бог искусства — содержательность.

Вершиной штейнберговской содержательности я считаю его неопубликованную поэму «К верховьям». Развитие русской поэмы еще не исследовано. Грандиозные успехи нашей прозы привели к тому, что пушкинские и лермонтовские романы в стихах уступили место некрасовским поэмам натуральной школы, поэмам-символам Блока, поэмам-монологам Маяковского, пленительно-загадочной, многосодержательной «Поэме без героя» Ахматовой. Из-за

внешних обстоятельств за пределами интересов наших литературоведов остались, например, поэмы Бродского, зачинающие собой новое направление русской стихотворной эпики.

Поэма «К верховьям» построена с дорической простотой и совершенством: на маленьком суденышке каботажного плавания собрались люди разных судеб. Это очерк в стихах — именно такой подзаголовок к поэме «Бродяга» сделал в свое время Иван Аксаков, — и какая высокая поэзия в этом очерке, какая пронзительная музыка, какая волнующая душу содержательность! Я убежден, что «К верховьям» — одно из тех творений, которые, обогатив представление читателей о жизнеспособности русской поэмы, откроют многое в понимании человека. А это извечная задача искусства.

Штейнберг предложил издательству «Советский писатель» свою книгу, в которую вошли поэма и лучшие его стихотворения. Отзывы рецензентов были весьма положительные. Известный поэт и прозаик Александр Яшин, уроженец русского Севера, где до сих пор бьются, кипят родники нашей речи, не мог не обрадоваться языку Штейнберга — богатому, точному, крепкому, чистому, красочному. Книгу — первую книгу немолодого автора — приняли к печати, даже заплатили 25 процентов гонорара. Серьезные сомнения вызывала у молодых редакторов поэма. По их предложению Штейнберг несколько обеднил поэму, убрав из числа пассажиров речного парохода Гуревича (еврейская тема). Редакторов эта операция, казалось бы, удовлетворила. Но вот рукопись попала в руки главного в издательстве сотрудника, ведающего поэзией, — Бориса Соловьева. Это был не простой малый. Он хорошо знал русскую поэзию XX века, мог приватно восхищаться, цитируя наизусть, Гумилевым, Ходасевичем, Мандельштамом, но его редакторская секира действовала жестоко, беспощадно. Я это испытал на себе. Он «зарезал» поэму Штейнберга. Согласиться на то, чтобы книга вышла (как предложил Соловьев) без поэмы, Штейнберг не хотел. Он считал, что было бы бессмысленно впервые предстать перед читателем без самого совершенного из своих оригинальных произведений. Я его понимал, поддерживал в том, что в его годы не надо издавать первую книгу без поэмы. Теперь я вижу, что мы оба ошибались. Книга «Вторая дорога», пусть скромная по объему, открыла бы читателю одного из лучших поэтов современной России.

Я испытывал боль от того, что попытка Штейнберга кончилась крахом. Какую же боль должен был чувствовать сам поэт, оставшийся без изданной книги. Я не верил Штейнбергу, когда он говорил, что самой главной его книгой будет не эта, не вышедшая, оригинальная, а перевод «Потерянного рая» Мильтона. Я думал, что он утешает себя. Я и тут ошибся. Для меня важное в переводческой работе заключалось не в лирическом излиянии. Меня властно притягивала возможность выразить по-русски черты национального характера восточных народов, их мусульманское или буддийское мирозерцание. Для Штейнберга же англичанин Мильтон или китаец Ван-Вей были интересны не как поэты своих наций. Их стихи он ощущал как продолжение, вариацию своего лирического «я». Моими путеводными звездами были Гнедич с его «Илиадой», Бунин с «Песней о Гайавате». Суть названных книг составляли греческий и индейский эпос: сначала они, а переводчик — потом. Путеводной звездой для Штейнберга был Жуковский, который заявлял: «В моих стихах все чужое и все мое». Штейнберг с полным правом мог сказать эти слова о себе.

Он переводил «Потерянный рай» одиннадцать лет. Ему помогала Наташа, хорошо знающая английский язык. Аркадий был женат четыре раза, три предыдущие спутницы его жизни были хорошие, красивые женщины, две из них родили ему троих сыновей. Наташа украсила последние двадцать лет его земного бытия не только своей молодой любовью, но и творческим пониманием его работы, — и результатов ее, и ее трудностей.

Эти двадцать лет Аркадий Штейнберг был счастлив. Вспоминаются его довоенные строки:

*Я счастлив, я страдаю вновь, —
Тем вечным счастьем, тем страданьем,
Перед которым все мертво,
Страданьем, ставшим оправданьем
Существованья моего.*

Не прекращал он занятий живописью. Мне нравятся его картины. Он никогда не писал с натуры, но всегда о ней помнил. Если его стихи построены по известной волошинской формуле — «безвыходность, необходимость, сжатость, сосредоточенность», то его картины — видения, призраки, видения трав, призраки башен, сочетание совре-

менного чувства цвета с композиционными приемами старых мастеров.

Он получил признание как поэт-переводчик, вошел у нас в стране в первый ряд мастеров этого нелегкого искусства. У него появились ученики, обожавшие своего образованного, требовательного, но всегда добросердечного наставника. Его нельзя было не любить. Я не был обделен судьбой, был знаком с великими поэтами — очень близко с Мандельштамом и Ахматовой, приходилось беседовать с Андреем Белым, Волошиным, Пастернаком, Цветаевой. Я не хочу сравнивать с ними Штейнберга как поэта, но уверен, что как человек он был так же значителен, крупен, как и они. Он неохотно рассказывал о лагерных годах, но часто говорил, что благодарен судьбе за все тяжкое, выпавшее на его долю. Страданием душа поэта зреет. Он умер как поэт — недалеко от своей деревенской избы, упав на августовскую твердую траву возле своей моторной лодки. А собирался он на ней в дорогу, во вторую дорогу.

Апрель 1985

БУХАРИН, СТАЛИН И «МАНАС»

В отличие от литературы читатель у нас разнообразный. Находится и такой, который интересуется народно-эпической поэзией Востока. Я мог в этом убедиться на основании читательских писем. Нельзя сказать, что число их было велико, но они ко мне в давние годы приходили, и, как правило, то были хорошие письма хороших, видимо, людей.

В середине тридцатых годов Гослитиздат учинил закрытый конкурс на лучший перевод главы из киргизского эпоса «Манас». Главными арбитрами были директор издательства, старый большевик, агент «Искры» Николай Николаевич Накоряков, поэт Илья Сельвинский, крупный, европейски образованный киргизский писатель и ученый Касымалы Тыныстанов (вскоре репрессированный и погибший в лагере), выходец из бай-манапской семьи, т.е. из феодально-кочевой аристократии, и молодой литературовед Умеркул Джакишев.

Соискателей (у каждого — свой девиз, у меня — «тулпар», крылатый конь) было много, человек двадцать, среди них — именитые: Сергей Клычков, Василий Казин, Георгий Шенгели. Победителей оказалось трое: Лев Пеньковский, Марк Тарловский и я, самый молодой (мне было двадцать три года). Нам и поручили перевести центральный эпизод «Манаса», названный кодификаторами «Великим походом» («Чон казат»), объемом тридцать тысяч строк.

Академик Василий Васильевич Радлов, русский немец, утверждал, что «Манас» по своим художественным достоинствам не уступает «Илиаде». Этот авторитетный востоковед, автор замечательного собрания «Образцы народной литературы тюркских племен», сделал в шестидесятых годах прошлого столетия записи эпоса и опубликовал их на киргизском языке в русской транскрипции в 1885 году. Еще до Радлова, в 1856 году, во время своего путешествия в Джунгарию (область в Китае), отрывки из «Манаса» запи-

сал и опубликовал в русском прозаическом переводе отпрыск казахской родовой знати, офицер русской армии, друг ссыльного Достоевского Чокан Чингисович Валиханов. Ему принадлежит классическое определение: ««Манас» есть энциклопедическое собрание всех киргизских мифов, сказок, преданий, приведенное к одному времени и сгруппированное вокруг одного лица — богатыря Манаса. Образ жизни, обычаи, нравы, география, религиозные и медицинские познания киргизов и международные отношения их нашли себе отражение в этой огромной эпосе».

Один из эпизодов «Манаса» опубликовал в 1911 году венгерский тюрколог Г. Алмаши. В советское время талантливое исследование «Манаса» написал (но долго никак не мог опубликовать) казахский писатель Мухтар Ауэзов (хотя казахи и киргизы — различного тюркского корня, языки, обычаи, кочевой уклад этих соседей весьма сходны). Многие писавшие потом о «Манасе» хищнически черпали сведения из неопубликованной работы Ауэзова. Между прочим, он первым заметил, что сказители — «манасчи» — делятся на «жомокчу» — певцов-импровизаторов, творящих стихи, и на «ырчи» — певцов-исполнителей, заучивающих эпизоды эпоса наизусть. Так и в гомеровские времена сказители делились на аэдов, т. е. поэтов, и на рапсодов, т. е. певцов.

Энергическая деятельность киргизских фольклористов, заключающаяся в записях эпоса, насчитывающего более трехсот тысяч строк, со слов сказителей, внезапно и насильственно обрывалась. То и дело киргизскую народную поэму обвиняли в панисламизме, в пантюркизме, в воспевании захватнических войн и межнациональной вражды. Ученые-энтузиасты преследовались как буржуазные националисты. Правда, до арестов сперва не доходило, они начались позднее.

Преграды, стоявшие на советском пути «Манаса», объяснимы. Это не совсем обычный эпос. В нем, как точно подметил Чокан Валиханов, среди волшебных сказок, легенд, мифов слышались явственные отзвуки действительных событий, трактовка которых вызывала у властей ту растерянность, что раздражала их и легко становилась неприязнью и даже ненавистью.

В начале X века кочевые племена монгольско-тунгусского происхождения — китаи — основали обширную империю, простиравшуюся от Великого океана до Байкала и Тянь-Шаня. Они завоевали также и киргизов. По имени

племени — китаи — пошло и название нынешнего Китая. В XIII веке Киргизия, как и весь Китай, подпала под власть Тулуя, младшего сына предводителя монголов Чингисхана. Киргизы неоднократно поднимали восстания против монголов. В конце XVII века вся Средняя Азия была завоевана ветвью монголов, от них отделившейся, — калмыками. По-тюркски слово «калмык» и означает «отделившийся». Самоназвание этого народа — ойраты. На монгольском языке «Дербен ойрат» означает «Союз четырех». Речь шла о союзе четырех племен, отказавшихся подчиняться потомкам Чингисхана. Племя калмыков, во многом загадочное, волновало воображение Пушкина.

Киргизы вместе с казахами боролись и с ойратами, а в середине XVIII века, когда калмыцкое владычество сменилось маньчжурским, и с маньчжурскими богдыханами династии Цинов, свергнутой гоминьданом лишь в 1911 году.

Во всяком эпосе исторические события, действительные в своей основе, выражаются своеобразно. Сказители «Манаса» путают чужеземных завоевателей, называя их то калмыками, то китайцами, но всегда «веропогаными», поклоняющимися бронзовым идолам. В одном варианте главный противник Манаса Конурбай — китаец, в другом — калмык. На территории Киргизии, недалеко от Пржевальска (Каракола) поныне обитает небольшое количество калмыков — потомков былых удачливых завоевателей. Их называют кара-калмыками. В отличие от волжских своих соплеменников они не буддисты, а мусульмане. Другое отличие — Сталин их не выслал. Сказители «Манаса», бывавшие в их среде, слушавшие их эпопею — «Джангар», утверждают, что имя Конур (Конурбай) есть искажение имени «Хонгор», а Хонгор — один из главных героев калмыцкой народной поэмы. Монголовед-академик С. А. Козин и другой академик, В. М. Жирмунский, соглашались со сказителями. Отзвук имени Хонгор-Конурбай слышится нам в наименовании ныне известной местности Байконур.

Итак, мы можем понять, что препятствовало «Манасу» утвердиться на разных этапах советского пути, и в национальных рамках, и в общесоюзных. Первая преграда: мусульманское миропонимание (хотя киргизы никогда не были фанатиками ислама). Вторая преграда: врагами киргизов в эпосе именуется китайцы, а Китай — давняя наша болячка. Третья преграда: страстное стремление народа, рассеянного поработителями на пространствах от Туркестана до Алтая, сплотиться в единое целое. А нужна ли Государ-

ству эта национальная идея малого народа? Рождение Манаса внушает одному киргизскому клану, изгнанному на далекий Алтай, такую надежду:

*Ту страну, где родились мы,
Где растили нас, мы найдем.
Те равнины и те холмы,
Что хранили нас, мы найдем.
Эти речки, где мыли нас,
Где трава цветет, мы найдем.
Край, где грудью кормили нас,
Свой родной народ мы найдем, —
Ибо ныне родился Манас.*

Я думаю, что через посредство коранического истолкования на сказителей киргизской поэмы повлияла история Моисея (Мусы), выведшего евреев из Египта.

Кстати (или некстати), похвастаюсь. Когда Мухтар Ауэзов спросил меня, как это мне, городскому жителю, удалось передать поэзию перекочевков, запахов дымных юрт, овечьих отар, луговых трав, я ответил: «Я вспоминал». Мухтар Омарханович понял и рассмеялся.

Беспримерным в народно-эпической литературе по своему трагизму и художественной красоте кажется мне образ китайского царевича Алмамбета, перешедшего на сторону киргизов из религиозных побуждений: он с детства был воспитан в мусульманской вере. Вместе с киргизами он воюет против своей родины. Его ненавидят ханы-соплеменники, ему не доверяют и некоторые киргизские воины. Чувство религиозного долга побеждает в нем чувство крови.

«Манас» встречал всегда в партийных органах в лучшем случае подозрительность, в худшем — враждебность. Труден и горек был его путь и в родных горах, и в Москве.

Кратковременный перелом произошел в 1934 году. Появились замечания Сталина, Кирова и Жданова по вопросам русской истории. Общепринятый учебник Покровского был осужден как вульгаризаторское искажение марксизма. Отмечались заслуги православных монастырей, труды иноков-летописцев. Положительно оценивалась роль некоторых государей, например Ивана Калиты, Дмитрия Донского, Ивана Грозного, Петра Великого, — в то время как По-

кровский огулом втапывал в грязь всех Рюриковичей и Романовых.

Казалось, власти поняли, наконец, всю глупость и вредность длившегося семнадцать лет жестокого подавления русского национального самосознания. Получалось так, что мелкие, временные выгоды оборачивались тяжким, продолжительным недугом, охватившим нацию. Вот, например, в Казани уничтожили памятник одному екатерининскому вельможе. А вельможа этот был наш великий Державин. Акция, нужная Сталину, у которого тогда были сложные отношения с казанской чиновничьей верхушкой, и направленная против почитания царского губернатора, превратилась в акцию антирусскую, она болью отозвалась в сердцах местного русского населения. Я могу, как очевидец, назвать не сотни, а тысячи подобных примеров подавления всего русского. Само слово «Русь» постепенно становилось запретным. Любовь к России, к ее самобытности воспринималась властями как нечто антисоветское, чуть ли не монархическое. А уж о православии и говорить нечего: внутренний враг. Мой приятель по студенческому общежитию был исключен из института, сослан в дальнюю архангельскую деревню на пять лет: выследили, что он посещает церковь. Клюева, Клычкова, Орешина истребили как кулацких поэтов. Ни одной строки в защиту кулаков не найдешь в их книгах. Их беда была в том, что русское объявлялось синонимом кулацкого.

Одновременно русское население развращалось духовно. Власти поощряли крестьян, когда те жгли помещичьи усадьбы замечательной архитектуры. Так, среди многих тысяч была сожжена усадьба в Петровском, связанная с именем Пушкина. В детстве я был свидетелем того, как в моей многонациональной Одессе русские рабочие, матросы, пригородные мешане грабили церкви, уносили дорогие оклады, рвали на куски, крича, матерясь, парчовые епитрахили, хоругви, а древки использовали как топливо. Между прочим, обыватели-евреи не участвовали в уничтожении синагог, греки и армяне — в уничтожении своих церквей, поляки и немцы — в уничтожении кирки и костела, а старообрядцы (я это видел сам) активно воспротивились хулиганам в военной форме, когда те пришли закрывать их старую церквушку в конце Екатерининской, около Привоза, почему-то называвшуюся «единоверческой».

Но времена менялись. Сталин, самый умный из большевиков, первым понял, что его держава есть прежде всего

наследница русской монархии. Надо осторожно, без излишней поспешности, восстановить ее природное русское начало. Задача была не из легких: подавляя, воскрешать.

Намерения Сталина были ясны. Он почуял весьма развитым в нем нижним чутьем, что для неминуемой войны с немецким национал-социализмом коммунистическая идея не выдохнет, нужна идея национальная, т. е. русская, державная. Он был прав. Но, как всегда, не умел ухватить взглядом всей сделки в целом. Он был узок, хотя и глазаст. Хорошо понимая мощную, заразительную силу немецкого национализма, он не принял в расчет то обстоятельство, что немцы составляли подавляющее большинство населения рейха, а наше Государство — многонациональное. Между тем интеллигенция нерусских народов гораздо сильнее, острее испытывала боль национального угнетения, чем интеллигенция русская. В свои молодые и более зрелые годы я крайне редко встречал русских интеллигентов, даже относившихся к режиму критически, которые страдали бы от того, что попораны русское национальное сознание, русская православная церковь. Встречал, но — повторяю — редко. Но те интеллигенты Средней Азии, Татарии, Северного Кавказа, которые мне доверяли, болезненно реагировали на свое национальное неравенство, на гибель мусульманской культуры. Татарские писатели с печальным остроумием мне говорили, что татарскую речь в Казани услышишь только в помещении Союза писателей. Объясняется это тем, что большевики в начале своего владычества сами прагматически способствовали развитию национального самосознания малых народов, используя его в первую очередь на Северном Кавказе, на Волге и в Сибири, в борьбе с белым движением. Объясняется это и тем (что важнее всего), что русская интеллигенция была отторгнута от народа, от его веры, в то время как интеллигенция народов мусульманских, хотя и испытала в начале века влияние русского революционно-демократического мирозерцания, никогда не отделяла себя от религиозных убеждений народа, от его обрядов (даже коммунисты Средней Азии до сих пор, храня мусульманский обычай, обрезают мальчиков), от его не столько социальных, сколько национальных чаяний. Между ней и народом не было и нет пропасти. Мне известны антиклерикальные высказывания мусульманской интеллигенции, но я никогда не слышал антирелигиозных.

И вот мусульмане и немусульмане воспрянули, заволновались. А чем хуже русских монастырей грузинские и ар-

мянские? А чем хуже русских князей и царей Бабур, поэт и завоеватель Индии, Хромец Тимур, украсивший Самарканд поразительными медресе и мечетями, его внук Улугбек, всемирно знаменитый астроном, имам Дагестана Шамиль, возглавивший справедливую войну горцев? Стали появляться произведения, посвященные выдающимся деятелям прошлого. При этом, в отличие от русских авторов, обрадовавшихся, как Эйзенштейн и Сельвинский, августейше предоставленной возможности, наперекор литературной и народной традиции, изображать Ивана Грозного как образцово-положительного героя, нерусские авторы отнеслись к своему прошлому, не следуя указаниям свыше (да их пока и не было), а выражая свои национальные чувства. Многие были потом за это жестоко наказаны.

Грузины и армяне вспомнили о том, что они стали христианами, т. е. приобщились к европейскому просвещению, создали свою письменность еще тогда, когда о русских и помину не было. Таджики стали выпускать, пользуясь латинской графикой, антологии родной поэзии, насчитывающей одиннадцать столетий и запечатленной арабской вязью в древних фолиантах, украшенных изумительными средневековыми миниатюрами. Азербайджанцы, не желая отставать от соседей, при благосклонном одобрении Сталина присвоили себе великого персидского поэта Низами, не знавшего ни слова по-азербайджански. Он был сыном чиновника-перса и, кажется, христианки греческого происхождения, родился в Гяндже (это слово персидское, означает «сокровищница»), в провинции Ирана, а Гянджа, ныне Кировабад, находится на территории Азербайджана. С тем же основанием алжирцы могли бы назвать Камю арабским писателем. Впрочем, когда персоязычные таджикские литераторы выражали мне по этому поводу свое недоумение, я им возражал: «А будут ли народы спорить о нас? Слава Богу, что азербайджанцы любят и почитают Низами». Возможно, что для читателя раннего средневековья, западного и восточного, талант, религия и место рождения автора были важнее его языка. Не надо забывать и то, что Сталину был на руку литературный спор тюрков-шиитов с шиитами-персами: он задумал отнять у Ирана Южный Азербайджан. А поэты, чьи сочинения умирают от физической смерти авторов, пусть завидуют тем своим братьям, из-за которых спорят народы.

Младописьменные народы, лишённые возможности похвастаться древними фолиантами, но воодушевленные за-

мечаниями Сталина, Кирова и Жданова, громогласно заявили о своих изустных словесных богатствах — о калмыцком «Джангаре», о киргизском «Манасе», о каракалпакских «Сорока девушках», о бурятском «Гэсэре», о якутском «Олонхо», об осетинских, кабардинских и абхазских «Нартах», о казахском «Кобланды-батыре». К младописьменным присоединились и народы давней восточной культуры, о своем эпическом наследии заговорили на всю страну армяне («Давид Сасунский»), те же азербайджанцы («Сказания о деде Коркуде», «Кер-Оглы»). Притаились одни татары, их жгла Каинова печать татаро-монгольского ига. А когда зашевелились и они, то дорого заплатились за своего «Идегея», как, впрочем, за свои эпосы и энтузиасты-азербайджанцы, узбеки, киргизы, калмыки, буряты.

Сталин не сразу понял надвигающуюся опасность. Только во время войны и после нее он увидел, что у него нет другого выхода, как подавлять национальные чувства нерусских народов, ибо все нерусское могло стать антирусским, а он, ловкий, стремился представить советское как русское. Мне рассказывали: когда Сталин провозгласил свой знаменитый тост за многотерпеливый русский народ, кто-то из видных генералов (фамилию забыл) подошел к вождю и поблагодарил его за то, что он, грузин, так замечательно понял характер русского народа. Сталин недовольно, сердито ответил: «Я — русский человек». Не сразу, не торопясь, после долгих размышлений пришел он к своей коварной мысли. И тогда-то он стал выселять, в назидание остальным, из родных мест чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, крымских татар, калмыков, подверг истреблению наиболее талантливых представителей интеллигенции — азербайджанской, узбекской, киргизской, бурятской, казахской, татарской. Идею пролетарского интернационализма он растоптал уже тогда, когда выслал в Среднюю Азию и Сибирь всех волжских этнических немцев — рабочих, крестьян, коммунистов, комсомольцев. Он убедился в том, что национальное чувство органичнее и сильнее классового. Он с опаской поглядывал на освобождение Индии и арабских стран от колониального ига. Он понимал притягательную силу свободного, в особенности мусульманского, Востока для своих восточных окраин. Он враждебно относился к Неру, а потом к молодому офицеру Насеру (есть сведения), этот грузин не пощадил грузинских месхов, выслал их из Грузии только потому, что они испо-

ведовали ислам, значит, могли сочувствовать сопредельным туркам.

Но спервоначалу Сталин поощрял своих восточных верноподданных в их национальных устремлениях. Что побуждало его так поступать? Я не в состоянии дать исчерпывающий ответ на этот мучительный для меня вопрос. Думаю, что причин было несколько. Остановлюсь на мне понятных.

Во-первых, Сталину, пока он не стал в глазах всего мира чудотворным победителем «коричневой чумы», приходилось все-таки считаться с многонациональным характером своего Государства (потом, осознав свою силу, он на это начал). Ему казалось, что нельзя было запретить нерусским то, что он поощрял для русских. Во-вторых, именно советский Восток, где веками расцветала придворная панегирическая поэзия, где строились и почитались, как священные, усыпальницы венценосных владык, — именно советские восточные краснобаи воспевали Сталина в цветистых коленопреклоненных стихах, не стесненных русской реалистической традицией, именно советский Восток воздвигал ему грандиозные прижизненные памятники, внушавшие подданным страх, трепет, почти религиозный восторг.

Я вовсе не хочу сказать, что Сталин был мелко тщеславен: эти рабские стихи, эти поражающие своей фараоновой величиной, языческим варварством монументы были нужны ему как свидетельства его превосходства над раздавленными, но пока еще живыми противниками внутри партии, над всеми этими умниками вроде Бухарина, Зиновьева, Рыкова, Каменева и еще не убитого в Мексике Троцкого. В возвеличении своего имени он искренно видел еще одно действенное средство построения социализма в одной, отдельно взятой, стране.

О своем народе он говорил: «Мы, советские люди». Сейчас утвердилось у нас формула: есть новая национальная общность — советский народ. Давайте задумаемся в это словосочетание. Не дико ли оно звучит? Как можно целый народ назвать, исходя из системы административного управления? Разве мы называем норвежцев стортинговым народом? Или американцев — штатским? Или разноязыких швейцарцев — кантонским? Между тем мы механически произносим это словосочетание, не видя его искусственность, бессмысленность.

До узаконения сталинской Конституции Киргизия была не союзной, а автономной республикой, входившей в состав Российской Федерации. Во главе ее стоял не ЦК, а обком. Первым секретарем обкома, киргизским царьком, был Белоцкий, которого обожала зарождающаяся киргизская интеллигенция. Будучи евреем, он хорошо ее понимал, сочувствовал ей, с преданными слугами был мягок, не хамил, много уделял внимания вопросам культуры, увлеченно занимался созданием национальной оперы, драматического театра, филармонии, филиалом Академии наук и «Манасом». Конечно, занимался он этим потому, что таково было идеологическое направление всей партии, верным солдатом которой он себя считал, служа ей со времен гражданской войны. Поговаривали, что в ранние советские годы он сочувствовал Троцкому. Но видно было, что такая деятельность отвечала его душевным потребностям. Беседуя с поэтами, художниками, музыкантами, актерами, учеными, этот прокуратор отдыхал от кровавых расправ с недавними простодушными кочевниками-скотоводами, упрямо и наивно не желавшими понять необходимость коллективизации сельского хозяйства, разграбление их табунов, стад и отар. О Белоцком была в Киргизии сложена песня, — как и о другом царьке-еврее, о Бройде, в Таджикистане. Я слышал, как эти песни пели в горах. Фамилия Белоцкого кое-как влезала в киргизский одиннадцатисложник, а вот с Бройде не ладилось дело, его фамилия звучала по-таджикски как Биройде.

Наиболее приближенными к Белоцкому слугами были председатель Совнаркома Исакеев, секретари обкома — Джумабаев (по пропаганде) и Торекул Айтматов (по сельскому хозяйству) — отец знаменитого ныне писателя. Все они, в числе многих, погибли в 1937 году.

Стараниями Белоцкого в Москве, в Союзе писателей, был устроен вечер, посвященный «Манасу», а заодно — и современной поэзии и музыке киргизов. Тогда на такого рода вечера — они были в новинку — приходили и видные, влиятельные московские писатели; теперь в это трудно поверить. Художественная мощь восточного эпоса кочевников удивила литературную публику. Мы, три переводчика, имели большой успех. Нас поздравили Асеев, Фадеев, Твардовский, молодой, приехавший из Смоленска, заинтересовавшийся народной поэмой. Думаю (по крайней мере, надеюсь), что нам в переводе удалось воспроизвести главное — тон, музыку древней поэмы. Большая заслуга в этом

принадлежит Льву Пеньковскому, он стал первопроходцем, а Марк Гарловский и я, каждый по-своему, каждый со своими решениями, пошли по проложенному им пути.

Переводя эпос, мы не ограничивались подстрочниками. Как прилежные ученики, мы штудировали грамматические и синтаксические основы киргизского языка, вслушивались в пение и речитатив сказителей, по праву возглавляемых великим аэдом Саякбаем Каралаевым, знавшим всю огромную поэму наизусть, но исполнявшим ее каждый раз по-новому, изучали историю киргизов и их соседей, а также их тюркоязычных родичей, погружались в научные исследования на доступных нам языках — русском и немецком. Мы были внимательными учениками киргизских и русских востоковедов. Среди последних мне особенно и благодарно запомнились Константин Кузьмич Юдахин, Сергей Ефимович Малов и гениальный Евгений Дмитриевич Поливанов, японист и тюрколог. Он был выслан в Киргизию, за что — не знаю. Вместе с женой он занимал комнату в четырехэтажном, обшарпанном доме гостиничного типа, в котором жили местные журналисты, ученые, актеры. Удобств в доме не было, уборная на улице. В нишей комнате Поливановых было грязно, душно, стоял какой-то странный, стойкий запах. Позднее я узнал, что Евгений Дмитриевич и его жена кололись. У него не было одной руки, из-под рукава торчало нечто железное. О нем говорили (передаю то, что слышал), будто бы он открыл язык айнов — племени, обитающего в Японии, но ничего общего с японцами не имеющего, — бородатые европеоиды. Доступ к этому племени для иностранцев был закрыт, и Поливанов на основании двух-трех десятков слов, зафиксированных в записках путешественников, начиная с Марко Поло, создал словарь айнов. Когда после победы над Японией русские ученые получили возможность встретиться с айнами, оказалось, что Поливанов правильно разгадал и сконструировал их язык. Так мне рассказывали. Многие рассказывали о Поливанове. Например, утверждали, что он знает чуть ли не семьдесят языков.

В нем чувствовалась озлобленность. Предметом его особой постоянной ненависти был академик Н.Я. Марр, тоже полиглот, утверждавший, что язык есть понятие классовое, что языки всего человечества развивались точно так же, как общественные формации. Поливанов считал его авантюристом, писал об этом. Н.Я. Марр и вся его школка, обвинял Евгений Дмитриевич, выдвинули бездоказатель-

ную, антинаучную теорию, отрицавшую общеизвестные факты передвижения кочевых и полукочевых народов, племенные союзы огузов и кыпчаков, отрицавшую древнюю языковую общность народов Средней Азии. В Марре Евгений Дмитриевич видел причину своей ссылки. Евгений Дмитриевич не дожил до 1952 года, когда «большой ученый» Сталин выступил против аракчеевских методов Н.Я. Марра в области языкознания.

Евгений Дмитриевич помогал нам, переводчикам, разъясняя трудные места, идиомы, архаизмы. Разговаривал он сердито, возражений не терпел. В киргизском эпосе есть такой эпизод. Манас и его кыркчоро — сорок дружинников — женятся на бухарских девушках. Каждый из них познает новобрачную, подражая тому или иному животному или могучей птице. Сам Манас — как верблюд верблюдицу. Я перевел это место довольно близко, но опустил нецензурные выражения: сказитель называл вещи своими именами. Поливанов требовал, чтобы я слово за словом следовал за сказителем. Киргизские ученые меня поддержали, а Поливанов кричал и на них, и на меня. В 1937 году его арестовали как японского шпиона. Мне передавали рассказ следователя-киргиза, что всемирно известного ученого, русского гения, били смертным боем, что ему не давали морфия, доводили до иступления, пока он не признался в своей преступной деятельности — с подробностями, подсказанными следователем.

Слава Богу, он реабилитирован, его труды возвращены русскому востоковедению. О нем в свое время увлекательно написал Вениамин Каверин в романе «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове». Евгений Дмитриевич выведен в романе под именем Бориса Драгоманова.

Теперь, несколько удаляясь от эпической темы, я хочу рассказать об одном мелком событии, нужном мне только для того, чтобы мое лицо, по кавказской поговорке, выглядело таким, какое оно есть.

Накануне манасовского вечера мне позвонили из Союза писателей: завтра в три часа дня меня приглашает к себе Лахути. Этот родившийся в Иране курд, писавший на фарси, вынужден был покинуть родину как коммунист, возглавивший второе тебризское восстание («восстание Лахути-хана»), и стал у нас крупнейшим таджикским поэтом, поскольку у таджиков и персов — один язык. Поэт-панегрист, он великолепно знал восточную поэзию — арабскую, персидскую, тюркоязычную. В те годы он был любимцем

Сталина. У него дома, на улице Серафимовича, я видел в рамке на письменном столе портрет Сталина с дарственной надписью: «Выдающемуся революционному поэту Востока». В Ташкенте и Сталинабаде (Душанбе) были — при его жизни — улицы имени Лахути. В только что возникшем Союзе писателей он заведовал нерусскими литературами. Потом Сталин его невзлюбил, кажется, потому, что Лахути принадлежал к той части иранских коммунистов, которая робко не одобряла замышленного Сталиным присоединения Южного (иранского) Азербайджана к Азербайджану советскому.

Я отпросился в институте с последней лекции (я был еще студентом) и с двумя-тремя учебниками по химии под мышкой, обернутыми в газету, отправился на Поварскую в Союз писателей. В кабинете Лахути сидел Белоцкий — высокий, подтянутый, лет под сорок, в полувоенной одежде, как было принято у тогдашних партийных руководителей. Иронический взгляд его еврейских глаз был природным, командирский голос показался мне актерским. Он и Лахути встретили меня приветливо, улыбались. Белоцкий сказал:

— Вы сами понимаете, вот и товарищ Лахути со мной согласен (Лахути кивнул черно-белой головой), сегодняшний вечер надо открыть стихотворением, посвященным Сталину. Эпос не должен уводить нас в далекое прошлое, а, наоборот, связать с боевой, кипучей современностью. У наших знаменитостей ничего подходящего мы не нашли. Вот, посмотрите, стихи вашего ровесника. Если понравятся — быстро переведите.

Он протянул мне тетрадку. Все ее восемь страничек были уписаны большими школьными буквами полуграмотного подстрочника. Обширное сочинение называлось «Товарищу Сталину». Я прочел до конца. В пользу сочинения можно было сказать только то, что оно было искренним. Была запоминающаяся красноречивая строка: «Когда мы поем, наша речь — Сталин». Пока я углубился в тетрадку, я чувствовал на себе испытующие, подозрительные взгляды Белоцкого и Лахути. Я сказал осторожно:

— Стихи незрелые, но есть живые места. Стихотворение растянуто. До нашего вечера осталось несколько часов. Как я успею перевести? Ведь сначала нужно договориться с автором о сокращении.

Мой ответ, однако, обрадовал Белоцкого. Он понял, что я готов сдать. Он ласково сказал:

— Вы молоды, а мы вам поручили перевод «Манаса». Дело ответственное. Доверие надо оправдать. Нам нужно это стихотворение, другого у нас нет. Мы хотим поощрить автора. Переведите быстро и хорошо, сокращайте, как вам захочется. Вы ведь знаете, что Манас являлся сказителям во сне и приказывал им петь о своих подвигах. Воспринимайте нашу просьбу как приказ Манаса, но не советую вам думать, что это вам снится.

От Союза писателей до моего Неопалимовского переул-ка сравнительно недалеко, я решил пойти пешком, через Трубниковский попасть на Арбат, по дороге все обдумать. В конце Арбата я зашел в «Смоленский гастроном», купил колбасы, хлеба, коробку крабов. Дома оказалось, что я потерял тетрадку с подстрочником. Искал среди учебников — нет. Возвратился в сильном волнении в магазин, спросил у кассирши, у продавцов — не нашел ли кто тетрадку, ученическую, в серой обложке. Оказалось, нашли!

Чтобы работа пошла веселее, я задал себе трудную техническую задачу: в народно-киргизском стиле прошить русский текст рифмами сплошь — и анафорическими, и концевыми, и редифными, а некоторые строки изготовить так, чтобы в них друг с другом рифмовалось каждое слово.

Перевод был на вечере прочитан, а потом напечатан, кажется, в «Литературной газете». Или в «Правде»? Автор был счастлив. Добродушный паренек. Стихотворение много сталинских лет помещалось во всех соответствующих антологиях и сборниках. В 1937 году, когда влиятельные киргизские литературные кадры были арестованы или ждали ареста, молодого автора выдвинули в депутаты Верховного Совета — не помню, республиканского или всесоюзного. Но поэт, и ныне здравствующий, не сумел закрепить свою небывалую удачу. Скромный, стеснительный, честный, он так и остался в родной литературе на вторых ролях.

Между тем русский «Манас» рос, хотя и не сказочно, не по дням и часам, а все же за месяцем месяц. Увлеченно работали поэты и художник Г. Петров (потом, в беседе со мной, о его пышных картинках резко отрицательно высказался В.А. Фаворский, но как человек Г. Петров нам нравился, милый, преданный искусству). Мы не знали, что из Киргизии некоторые местные партийные ортодоксы атаковали издательство письмами, в которых грозно предупреждали, что «Манас» — создание байско-феодальной верхушки, орудие буржуазных националистов — и разоблаченных, и притаившихся. Киргизское руководство, конечно, знало

об этих письмах и, как часто бывает в таких случаях, хотелось, чтобы всю ответственность взяла на себя Москва, московское издательство. А издательство ждало решающего указания от киргизского руководства. В конце концов, издательские хитрецы решили, чтобы поэты отправились в Киргизию, постарались очаровать фрунзенское начальство своей почти готовой работой. Ведь инициатива издания эпоса принадлежит киргизам, московское издательство пошло навстречу их просьбе, что же они там затеяли волюнку? Было задумано так, что представитель издательства — штатный редактор — во Фрунзе не поедет, поедут только беспартийные поэты, свободные художники: мол, дело не в политике, в республике должны решить, насколько красиво и близко к подлиннику сделан перевод.

Марк Гарловский и я отправились в семидневное путешествие поездом Москва — Алма-Ата. Прямого поезда во Фрунзе тогда не было, недалеко от киргизской столицы наши вагоны отцеплялись от состава и прицеплялись к рабочему поезду, шедшему до Фрунзе от небольшой узловой станции. Не помню, почему с нами не мог поехать Лев Пеньковский.

На вокзале нас встречал поэт Кубанычбек Маликов, который в знании «Манаса» мог состязаться с иным сказителем. Впоследствии он стал одним из трех кодификаторов различных вариантов эпоса (двое других — поэт Аалы Токомбаев и прозаик Тугельбай Сыдыкбеков).

Кубанычбек отвез нас на дачу киргизского Совнаркома — километрах в сорока от столицы. Дорога, сначала пыльная, все время шла мимо свекловичных полей в горы, к подножию увенчанного снежной чалмой Алатау: так киргизы называют Тянь-Шань (по-китайски Небесные Горы). Запомнилась по пути медленная, но шумная река. Вдоль ее берегов цвели белые и желтые цветы шиповника, розовая жимолость, красная таволга.

Дача Совнаркома располагалась посреди густого обширного сада, богатого яблонями. Я никогда не видел так много больших яблок, они, как фонари, светились в полдневной зеленой тьме. Белое одноэтажное здание было предназначено для сравнительно важных командированных и для отдыхающих второстепенных аппаратчиков местной номенклатуры. В царстве зелени белело и другое здание — столовая и кухня. А за воротами взбирались к предгорьям одноэтажные домики, в которых летом и ранней осенью жили руководители республики со своими семья-

ми. Один или два домика обычно пустовали — их построили для московского высшего начальства на случай приезда. Я не заметил, чтобы домики правящих охранялись; только у въезда на дачу был милицейский пост.

Нас вдвоем поселили в большой светлой комнате, в окно которой заглядывал тополь. Не помню, сколько таких комнат было в коридоре. Была еще и бильярдная, в которой вечером собирались обитатели дачи и домиков — играющие и болельщики. Других развлечений не было. Теперь все это перестроено, воздвигнуты роскошные корпуса, великолепные персональные дачи, здания для правительственных приемов. Здесь видно, как богатеет руководство страны.

Официантками в столовой служили семиреченские хохлушки и русские, все как на подбор молодые, крепкие, грудастые, круглобедрые. Они украшали досуг начальников, охранников и менее занятых, чем их хозяева, шоферов.

Маликов простился с нами, обещав, что скоро появится. Действительно, он приехал на другой день за нами в обкомовской «эмке» — нас вызывают в обком.

Сейчас Фрунзе довольно чистый многозеленый город, менее поэтичный, чем описанная приятелем моей юности Юрием Домбровским казахская столица, но достаточно привлекательный. Высокие дома, сады, фонтаны. Молодые киргизские интеллектуалы недовольны тем, что, в то время как все остальные среднеазиатские столицы носят национальные наименования (Ташкент, Алма-Ата, Душанбе, Ашхабад), только их главный город называется некиргизским именем. Впрочем, я не уверен, что Пишпек (прежнее название Фрунзе) — слово киргизского происхождения. Когда мы приехали во Фрунзе, этот бывший Пишпек был, в сущности, большим кыштаком. Лишь в центре города возвышалось несколько десятков приличных зданий, а вокруг — глиняные мазанки, пыльные, сонные улицы без деревьев.

Обком помещался в доме недурной постройки, окна выходили в сквер, на противоположном конце которого, в доме такой же точно архитектуры, разместился ЦИК республики и несколько наркоматов. Стены обкома были украшены росписями венгерского художника-политэмигранта Белы Уитца и отечественного «фламандца» Василия Яковлева. Самая большая роспись — голые пограничники, загорелые, сильные, русские и киргизы, купают в реке лошадей, прикрывая их крупами срамные места.

В обкоме нам сказали, что тех, кто нас вызывал, сейчас нет, просят зайти часика через два-три. Марк Тарловский предложил прогуляться по городу, познакомиться с ним.

— Действует ли мечеть? — спросил он. Маликов вежливо, но начальственно сказал:

— Пойдем в дунганскую шашлычную.

— Ты же только что плотно с нами позавтракал на даче. Лучше погуляем.

Маликов не снизошел до ответа, молча и сурово повел нас к дунгану. Дунгане — китайцы мусульманского вероисповедания, они хорошо ужились с единоверцами-киргизами, говорили и по-китайски, и по-киргизски, а по-русски плохо, с характерным китайским акцентом. В республике они славились своим земледельческим трудолюбием (они разводили рис и опиумный мак), а также кулинарным искусством.

Когда мы уселись за грязноватый столик, Маликов сказал по-киргизски (мы понимали):

— Сорок четыре палочки.

Сорок, сорок четыре (как семь и двенадцать) — сакральные числа в эпосе шумерском, аккадском, тюркском, монгольском. Я спросил:

— Почему именно сорок четыре?

Маликов сощурил свои узкие глаза так, что они превратились в едва намеченные черточки:

— Неужели для вас по две палочки много?

Значит, он съест сорок! Действительно, прав был В.В. Радлов, когда писал, что киргизы обладают чудовищной пищеварительной способностью. Потом мы узнали, что Маликов в этой области — герой многих легенд.

Все же, выйдя из шашлычной, мы погуляли по городу. Кубаньчбек показал нам неказистые здания театра, гостиницы, НИИ языка, истории и литературы, где нам потом пришлось бывать очень часто, жилища руководителей — кстати, весьма скромные на вид. В обкоме нам сказали, что нас сегодня не примут. Маликов отвез нас на дачу.

На следующее утро, когда мы, возвратясь после завтрака из столовой, разложили свои манускрипты, в дверь постучали. Вошедший сказал:

— Прошу простить меня, кажется, я вам помешал. Узнал, что здесь москвичи-литераторы, пришел познакомиться с земляками. Позвольте представиться: Николай Иванович Бухарин.

Можно ли сейчас, в нынешние времена, вообразить, чтобы редактор «Известий», второй по важности газеты Государства, кандидат в члены ЦК, пришел первым знакомиться с двумя рядовыми литераторами. Да и редактор-то какой — не теперешний бонза-чиновник, а всему миру известный Бухарин.

Внешность Бухарина меня поразила: я не ожидал, что он такой русский. Да, это был с виду русский рабочий, таких я видел среди типографов, темный блондин, немного курносый, широкоплечий, не очень высокий, рано лысевший — о таких говорят: «бог лба прибавил». И речь у него была вкусная, ярко-русская. До Бухарина я видел близко трех большевистских лидеров: Ларина, Стеклова и Каменева. К первым двум у меня были письма от отца, рабочего социал-демократа, участвовавшего в движении под их руководством. Оба они жили со своими семьями в том отсеке гостиницы «Метрополь», который упирался в стену у Воскресенских ворот. С Каменевым я познакомился, когда он был директором издательства «Academia», куда, по рекомендации Горького, были приняты к печати мои переводы стихотворений латышского классика Яна Райниса.

Ларин был высок, худ, одна рука была парализована. Лицо семитское, выразительное. Стеклов и Каменев — вальяжные господа, особенно крупен физически был Стеклов, но еврея не обманешь, а эти бары были явными евреями. Речь у всех троих была интеллигентная, но какая-то тусклая, я бы сказал, провинциальная. Впрочем, Каменев на заседаниях в издательстве порою произносил немецкие или французские присловья.

Бухарин быстро нас покинул, сказав: «До вечера». Я имел возможность убедиться в том, что он резко отличался от своих соратников, мне знакомых. Он разговаривал живописно, свободно, весело и совсем не книжно. Как выяснилось, он приехал на недельку отдохнуть, поохотиться в киргизских горах. Его сопровождал секретарь-известинец Семен Ляндрес, отец популярного ныне детективного литератора Юлиана Семенова. Мы поняли, что накануне вся республиканская верхушка встречала Бухарина, потому-то не было кому принять нас в обкоме. Поселили Бухарина и Ляндреса в отдельном домике.

Визит Бухарина взволновал нас. Марк Тарловский и я вспоминали всевозможные события его политической жизни (частной его жизни мы не знали), высказывания о нем Ленина и Сталина, чьи-то стихи о комсомолке: «У нее заме-

сто юбки пятый том Бухарина». Мы оба сочувствовали его экономическим взглядам, но опасались друг другу в этом признаться, говорили с осторожностью.

Вечером к нам снова постучался Бухарин:

— А не пройтись ли нам, милостивые государи, перед ужином по этому парадизу, подышать благорастворенной прохладой?

Предложение лестное. Мы вышли в сад, сели на скамью под чинарой, видевшей, может быть, вступление русских войск в эти края. Тишина раннего азиатского вечера, только светятся лампа на столбе и мусульманский полумесяц в тяжелом, черном небе и, кажется, еще выше — снежные вершины гор, старейшины каменных племен. Бухарин продекламировал что-то по-латыни. Тарловский подхватил, продолжил. Потом он мне сказал, что то были строки из «Метаморфоз» Овидия.

— Похвально, что молодые наши поэты знают Овидия в подлиннике, — одобрил Бухарин. Тарловскому тогда было тридцать четыре года, он был на десять лет старше меня. Впрочем, в ту пору и я уже не считался молодым поэтом, я уже шесть лет печатался. Тарловский, несмотря на свою болезненность, выглядел моложе своих лет. Он еще в 1922 году окончил филологический факультет Московского университета, был хорошо образован. У него была такая странность: он крайне редко читал художественную прозу, даже классическую, любимым его чтением помимо, конечно, поэзии были словари, энциклопедии и записки путешественников.

Узнав о причине нашего приезда в Киргизию, Бухарин сказал:

— Давайте, отужинав, устроим поэтический вечер. Подумать только, «Илиада» кочевников! Эпос — золотое детство человечества, об этом хорошо сказал Энгельс. У старика был литературный вкус, хотя собственные его стишки мало способствовали его украшению, уж очень беспомощные. — И прочел по-немецки несколько строк в псевдонародном духе, как оказалось, начало какой-то баллады Энгельса.

По дороге в столовую Бухарин продолжал:

— Вспомнив об Энгельсе, нельзя забывать о Марксе. — И, заразительно рассмеявшись: — Вы, надеюсь, не станете меня упрекать в том, что отхожу от Маркса? У него есть примечательная мысль о том, что не всякая мифология может стать основой истинного, большого искусства. Напри-

мер, мифология египетская ничего бы не дала грекам. Интересно было бы узнать, какова мифология киргизов?

Я что-то начал рассказывать о Кайипе — мифологическом покровителе парнокопытных, о камушке джай, извлекаемом из желудка овцы и обладающем волшебным свойством с помощью заговорных слов изменять погоду и времена года.

Мы дошли до столовой. У дверей уже собралось начальство, киргизы и русские, ожидая Бухарина. Все удивились, особенно Белоцкий, единственный, которого мы знали, когда нас представил Бухарин, и возникла неловкость, когда нас пригласили в отдельную комнату — обычное наше место было в общем зале.

Не помню, о чем шла беседа за ужином. Разговаривали, главным образом, Бухарин и Белоцкий, киргизы помалкивали. Только Торекул Айтматов, не помню в связи с чем, рассказал о прелести охоты с беркутом на лисиц. Кто-то из охотников принес к ужину бурдюк со свежим кумысом. Бухарину напиток понравился. Киргизы заулыбались, узнав, что мы будем читать перевод «Манаса». Чтение решили устроить в бильярдной — видно, другого подходящего помещения не нашлось.

Уселись вокруг зеленого стола. Первым, по старшинству, как принято на Востоке, читал Тарловский, потом я. Слушали внимательно, а киргизы — прошу меня простить — даже восторженно. Когда я прочел:

*Ночью — девушка, днем — кумыс, —
Так проводит время киргиз,
Скачет по луговой траве
С куньей шапкой на голове,*

предсовнаркома Исакеев, прервав меня, радостно продекларировал эти строки по-киргизски, и все рассмеялись. Видимо, киргизов забавляло и удивляло, что по-русски получается в стихах то же самое, что и на их родном языке. Только рифма в подлиннике была другая: кыргыз — кыз (девушка).

Когда чтение кончилось, заговорил Бухарин — он понимал, что все ждут его слова. Он высоко оценил киргизский эпос, назвав его великим памятником изустной поэзии (киргизы были счастливы), одобрил и нашу переводческую работу, сказав, обращаясь к Ляндресу, что по возвращении

в Москву надо будет в «Известиях» дать целую полосу, посвященную «Манасу» (что было исполнено).

— Одно место мне показалось странным, — сказал Бухарин. — Может быть, переводчик напутал? Киргизский воин удивляется тому, как пляшет Албамет, его товарищ по разведке. Получается так, что разведчика поражает не красота китайского танца, а то, что человек вообще способен плясать. Неужели киргизы не знали искусства танца?

— Не знали, — ответил Белоцкий. — Так утверждают специалисты. Мы только сейчас начали в республике развивать это искусство.

— Трудно поверить, — возразил Бухарин. — У каждого народа есть танцы, связанные с религиозным культом, этнографические, наконец. Не думаю, что киргизы так обделены судьбой.

— Товарищ Белоцкий не совсем прав, — осмелел Исакеев, поправляя хозяина. — Когда табунщик, с помощью укрука, ловит неука из табуна, он поет и приплясывает.

— А сейчас так пляшут? Жаль, что не увидим, — огорчился широкоплечий русак, недавний любимец партии. Исакеев встал с места:

— Почему не увидите? Сейчас увидите и услышите.

Он направился к дверям бильярдной, вытянул руку, как будто держит жердь с петлею на конце, и запел — протяжно, одногласно. То был пастуший зов из далеких огузских времен. Потом, изображая, будто ловит неука, маленький, но складный Исакеев, не переставая петь, приплясывал, то приближаясь к бильярдному борту, то плавно, изящно от него отступая.

Бухарин заплодировал. Самый молодой из начальников, вожак республиканского комсомола (по фамилии, кажется, Камбаров) предложил продолжить чтение. Бухарин сказал:

— Уже поздно, а нам завтра рано выезжать. Да и устали мы. Стихи чудесные, но и лошадь околеет, если ее кормить одними пирожными.

Кто-то пригласил Бухарина, прежде чем разойтись, сыграть партию на бильярде. Бухарин отказался:

— Пивной спорт. Не люблю.

Через год его арестовали...

То ли одобрение Бухарина, то ли и впрямь наш перевод, то ли — вернее всего — надежная информация сверху, из Москвы, а вышло так, что уехали мы с письмом издательству, подписанным Белоцким, о необходимости быстрей-

шего издания «Манаса» и о том, что перевод одобряется. Однако дело двигалось обидно медленно. Работники издательства объясняли это тем, что издание задумано богатое, подарочное (кстати, оформление получилось безвкусное), надо терпеливо ждать.

А до «Манаса» ли было в стране шумных театральных процессов, постановщиками которых были заплечных дел мастера, в стране массовых арестов и расстрелов? Оказалось, что и вожди Октябрьской революции, и ее полководцы — герои гражданской войны — агенты иностранных разведок, жалованья им не хватало, вот и стали они шпионами на службе у Германии, Японии, Англии, Франции, Турции.

Все подсудимые признавались в своих преступлениях: да, шпионы. Бухарин пытался на суде найти менее противную формулировку, но ничто ему не помогло, его расстреляли. У человека есть больше возможностей околеть, чем у лошади.

За связь с Бухариным арестовали и Семена Ляндреса, он выжил, просидев в концлагере восемнадцать лет. Когда он освободился, мы встретились, вспомнили Киргизию. В лагере ему перебили позвоночник. Не знаю, дожил ли он до дней блестящего преуспевания своего сына, прославляющего в киносценариях подвиги наших разведчиков.

Дружба народов между тем развивалась. Киргизия стала союзной республикой. Была образована коммунистическая партия Киргизии, возглавляемая, как водится, собственным центральным комитетом. В издательстве решили, что «Манас» нуждается в одобрении этого республиканского ЦК, прежнее одобрение утратило силу, поскольку Белоцкий, разоблаченный как враг народа, был арестован и, возможно, расстрелян. Та же участь постигла его ближайших сотрудников. Между прочим, крестьянский писатель Петр Замойский, автор «Лаптей», просидевший недолгое время в московской тюрьме, встретив меня на улице, сказал:

— Тебе привет от моего сокамерника.

— Кто это?

— Исакеев.

— Что с ним стало?

— Думаю, в раю гурия его утешает...

Издательство решило командировать в Киргизию редактора Евгения Мозолькова и меня. В одном из наших чемоданов был текст тридцати тысяч строк перевода, образцы

иллюстраций, заставок, концовок и красный макет тяжелого, необъятных размеров переплета.

Поехали мы осенью, в середине октября. Не помню, кто нас встречал и отвез на дачу, но хорошо помню, что по дороге мы узнали об аресте Аалы Токомбаева, основоположника киргизской советской поэзии и одного из трех составителей сводного варианта эпоса. К счастью, он просидел недолго, около двух лет. Теперь он Герой Социалистического Труда.

Он мне рассказывал, когда вышел на волю, что тюрьма была битком набита колхозниками, неграмотными, не понимающими по-русски чабанами, не понимающими, чего от них хотят. Их взяли потому, что они состояли в родстве с арестованными руководителями республиканского и районного масштаба. А в Киргизии родовые связи сильны и поныне, каждый киргиз знает, к какому роду он принадлежит, и если роды между собой враждовали в давние времена, то коммунисты из этих родов продолжают питать друг к другу враждебные чувства. Следователи принуждали чабанов, хлопкоробов, свекловодов признаться в том, что они троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы, их били, и они признавались, не понимая, что означают эти слова кафи́ров (неверных). У Токомбаева были две рубахи, черная и белая, да еще иглу ему удалось припрятать, он разодрал черную рубаху на нитки, с помощью которых вышивал на белой рубахе стихи, в которых славил Сталина, внушал колхозникам надежду, что великий отец освободит их и сурово накажет тюремщиков. За эти стихи его били конвойные.

Мне кажется, что, останавливаясь на этом эпизоде, я продолжаю тему «Манаса».

На даче — или так мне чудилось — все было полно тревогой. Она мерещилась мне в глазах милиционеров, садовников, праздных шоферов, официанток, собак, и только яблони молча, но торжественно и победно справляли праздник своей осенней зрелости. Шоферы и поневоле бездействующие охранники с утра до обеда гоняли шары в биллиардной или забивали «козла» на садовой скамье. Их было меньше, чем официанток, — не потому ли после ужина официантки подходили к нашим окнам, пели украинские песни, со значением хохотали.

К нам никто не приезжал, никто нас не вызывал, о нас, видимо, забыли. Книг не было. В комнате Мозолькова мы нашли в шкафу пухлый роман Я. Ильина «Большой конвейер», но, как я ни старался, дальше второй страницы

прочсть его был не в состоянии. В сторожке милиционеров, как выяснилось, накопилось большое количество газет, русских и киргизских. В одной из них мы прочли примерно следующее:

«Презренный холуй Исакеев, унижая свое партийное и национальное достоинство, как угодливый раб перед пьяным и сытым бай-манапом, плясал и пел перед Бухариным за куски жирного беш-бармака с барского стола».

Вот как откликнулся этнографический экскурс председателя Совнаркома, удовлетворявшего любознательность Бухарина. Я привел пассаж из выступления комсомольского вожака, того самого, который за два года до этого присутствовал на чтении перевода «Манаса» в миллиардной. Но и ему ничто не помогло, и его арестовали, превратили в лагерную пыль.

Непонятную жизнь вели все эти дни на правительственной даче переводчик и редактор национального эпоса. В город мы не могли попасть из-за отсутствия транспорта. Под снежными вершинами Алатау было тихо, пусто и грозно. В столовую, кроме нас, и то лишь к завтраку, иногда заходил один военный — и весьма важный, с ромбом. Он был немолод, у него было открытое, загорелое, солдатское лицо. Нам сказали, что он — военный комиссар республики, зовут его Иван Васильевич Панфилов. Он, кажется, был единственным из крупного руководства, оставшимся на свободе. Только его домик светился по вечерам в густой среднеазиатской темноте. Это был тот самый генерал Панфилов, который через несколько лет, во время войны, прославился как отважный командир 316-й стрелковой дивизии. Он погиб в бою — так же как и те двадцать восемь панфиловцев, о которых созданы сказки и песни.

В столовой Иван Васильевич с нами здоровался, усмехаясь, а один раз заговорил: «Творите? Ну и творите». Мы понимали, каким бессмысленным казалось этому боевому солдату наше пребывание на правительственной даче в такое страшное время.

Официантки и шоферы, единственные наши собеседницы и собеседники, потрясенные участью своих недавних господ, но и ликовавшие ликованием вольноотпущенников, рассказывали нам подробности. Не знаю, насколько они достоверны. Запомнилось: жена Белоцкого, тоже, как и муж, заслуженная коммунистка, сама русская (или грузинка?), устроила в бюро пропусков НКВД скандал из-за ареста мужа. Ее тут же взяли. Умно и ловко, по мнению слуг,

поступила жена Айтматова, по национальности татарка. Она, взяв с собою двух маленьких детей, мальчика и девочку, с хозяйственной сумкой в руках, села в рабочий поезд и уехала неизвестно куда. Татарки, они всегда хитрее русских. Если даже все это было не совсем так, то бесспорно, что эта женщина (я ее раньше видел — красавица) спасла для нашей литературы одного из самых одаренных ее деятелей.

Настал теплый, зелено-золотой ноябрь. Ко мне поступался милиционер и протянул мне плотный конверт. Признаться, у меня засосало под ложечкой. В конверте оказалось два пропуска: Мозолькова и меня приглашали 7 ноября на правительственную трибуну. Господи, сколь прекрасен твой мир!

Как, однако, мы доберемся до города? Машины нет, а наши новые друзья-шоферы без машин ничего не стоят. Один из них посоветовал нам обратиться к Панфилову. Иван Васильевич посмотрел на нас внимательно, мне даже почудилось, что он нам подмигнул, и обещал взять нас с собою.

Мы выехали праздничным ранним утром. По дороге Панфилов расспрашивал нас о нашей работе, вздыхал, качал головой в командирской фуражке. Спина шофера была угрюмой, казалось, что он не верит в благополучную судьбу своего хозяина.

Правительственная трибуна представляла собой балкон, протянувшийся почти во всю длину здания киргизского ЦК. Первым секретарем ЦК, недавно назначенным на эту должность, был Максим Кирович Аммосов, якут, член партии с 1917 года. У него было умное, интеллигентное лицо. Рядом с ним стояли новые руководители республики, как и он, нам незнакомые. Панфилов выбрал себе место на самом краю балкона. Мы притулились к своему покровителю.

Внизу проходили стройные радостные ряды, вздымая знамена, портреты Ленина и Сталина, портретики членов Политбюро. Трудящихся приветствовали с балкона то маханием рук, то лозунгами. И вдруг мы услышали, остолбенев:

— Да здравствует победа фашизма во всем мире!

Это выкрикнул Аммосов, и тут же его жесткие, прямые, слегка посеребренные волосы поднялись. Он опомнился, исправил ошибку, а слова его дрожали:

— Под гениальным руководством великого Сталина — вперед к победе коммунизма во всем мире!

— Что же теперь с ним сделают? — тихо спросил Мозольков у Панфилова. Тот так же тихо ответил:

— Уже сделали. За ним еще рано утром пришли, поджигают в его кабинете. Дали на часок-другой отсрочку, надо же кому-то приветствовать участников демонстрации. А заберут всех. Он ошибся, потому что голову потерял. Страшно ему.

Через несколько дней мы прочли в газете, что Аммосов и все бюро киргизского ЦК — враги народа.

Нам пришлось вернуться в Москву без руководящего указания. Да и кто мог бы нам его дать? В издательстве решили рукопись русского «Манаса» законсервировать, пока окончательно не распогодится.

Но эпос держался еще крепко. По его мотивам композиторы Молдыбаев, Власов и Фере написали оперу. Она была показана в Большом театре во время Декады киргизского искусства и литературы в 1940 году.

Среди участников декады был и знаменитый сказитель Саякбай Каралаев. Мы с ним дружили. Я любил его, восторгался им, и он это чувствовал, благосклонно мне говорил: «Ты тоже мастер». Он боролся с басмачами во время гражданской войны, поэтому ему особенно удавались батальные сцены, которыми изобилывал эпос, он, держа в руках комуз, вскакивал со стула, его лицо, два круглых и смуглых яблочка, заливалось пламенем, узкие глаза сверкали, как два лезвия, он заражал своим волнением слушателей, забывал себя и весь окружающий мир, вдохновляясь картинами богатырских схваток и битв, каждый раз находя неожиданные сравнения, краски, глубокие рифмы. Как-то он мне сказал:

— Помни, Семеке (уважительно-ласковое от Семен), что манасчи должен чистую душу иметь. Нельзя нам грязную душу иметь. Плохо для нас грязную душу иметь. Манас накажет, если будешь грязную душу иметь. Даже если ты русский манасчи, ты должен закон Бога и лицо пророка в душе иметь.

Во время декады мы часто выступали вместе. Ему нравилось, когда я, подражая ему, пел зачин своего перевода (шесть—восемь строк) на мотив эпоса. В угоду эстраде я даже пытался повторять движения Саякбая, и он меня подбадривал, крича: «Дабай! Дабай!» — что по-русски означало: «Давай!» Возвращались из какого-нибудь дома культуры,

иногда подмосковного, в предназначенном нам автобусе. Однажды, когда въехали в центр Москвы, он меня попросил:

— Зайдем со мной в лавку. Для меня тройку выберем.

— Какую тройку?

— Я же теперь не в аиле, а в Прунзе живу, да? В пилармонии служащий, да? В контору хожу, да? Одеться надо. Костюм-тройка надо. Московский костюм-тройка.

Мы направились в бывший «Мюр-Мерилиз». Саякбай был хорошо сложен, ему легко было подобрать костюм. Я не сразу уговорил его приобрести respectable темный, он все норовил купить поярче, поцветастей. Он примеривал брюки в кабине перед большим зеркалом, и мне странно было увидеть сказителя древней поэмы в трусах. Гомер в трусах! Саякбай был доволен, благодарил меня за консультацию, а когда мы оказались на улице, задал неожиданный, ошеломляющий вопрос:

— Семеке, где в Москве блядский базар?

— Что ты, Саяке, разве теперь старое время? Разве теперь царствует белый падыша Николай? Нет в Москве блядского базара.

Он посмотрел на меня с недоверием. За его плечами были столетия азиатской мудрости.

Когда закончилась декада, нам выдали пропуска, пригласили в Кремль на правительственный прием. Мне поручили опекать Саякбая. Я зашел за ним в номер «Грандотеля». Мой друг был горд и взволнован: он увидит Сталина. Мы двинулись в Кремль. Сказитель был в своей новой тройке, на голове — ак-колпак, национальный головной убор. Прохожие на него оглядывались. Он мне негромко, но с торжеством сообщил:

— Ты, оказывается, незнающий человек. В Москве, оказывается, есть блядский базар.

Наслаждаясь моим удивлением, он продолжал:

— Вчера вечером вышел на улицу. Русская девка стоит. Такой не очень хороший, худой, беленький. Я спросил ее: «Скажи, дочка, где тут блядский базар?» Она подумала, наверно, что я узбек, ударила себя ручкой где надо, сказала: «Раис, тут блядский базар».

Раисом узбеки называют председателя колхоза. «Худой, беленький», видно, хорошо знала свое ремесло: раис — выгодный клиент. В качестве цивилизованного старшего брата я внушительно ответил:

— Саяке, ты же мне говорил, что манасчи должен иметь чистую душу, иметь в душе закон Бога и лицо пророка. А сам такое грязное дело сделал.

Саякбай рассердился:

— Э, оказывается, никудышный ты человек! Разве ты молдо (мулла)? Ты ишан, что ли? Я плювал на закон ишана. Зачем акыну (поэту) закон толстобрюхого ишана? Акын закон Бога должен знать, лицо пророка всегда видеть. Если ты действительно акын, то разве какой-то стакан водки заставит тебя забыть закон Бога? Разве какая-то чужая женщина помешает тебе видеть лицо пророка?

...Через год началась война, я на пятый день был направлен на Балтику, в Кронштадт. Не до «Манаса» было. Но, когда война кончилась, русский «Манас» был издан в 1946 году — огромная книга в красном, прочном, как металл, переплете. Официально она была встречена хорошо, русскими читателями — без интереса. Меня наградили орденом «Знак почета». Я написал повесть «Манас Великодушный» по мотивам эпоса. Освободясь от жестких уз перевода, я по-своему построил сюжет, выразил, как умел, свое понимание киргизской национальной поэзии. Работа доставляла мне удовольствие. Повесть вышла сначала в «Советском писателе», а потом в «Детгизе». В 1948 году она получила вторую премию на конкурсе на лучшую книгу для детей. Ее перевели на несколько языков народов СССР (прежде всего почему-то на литовский), вышла она и в Праге на чешском языке. Появились хвалебные рецензии в московских журналах и газетах, в киргизской прессе. Я не мог предвидеть, какие неприятности принесет мне вскоре эта повесть. Да и вообще рано было радоваться.

Принято считать, что начавшаяся на рубеже 1948-1949 годов антикосмополитическая кампания с ее кровавыми жертвами была направлена только против евреев. Это верно в своей основе, но не верно в трагических частностях, которые для наших республик вовсе не были частностями. Начав, еще во время войны, с высылки целых народов, Сталин любовно и терпеливо выращивал ядовитое древо геноцида, истребляя интеллигенцию не только еврейскую по крови, но и в национальных республиках. Он вовсе не считал процесс врачей-убийц дрейфусианско-бейлисовским апофеозом своего страшного спектакля. У него были далеко идущие режиссерские планы. После того как Хрущев разоблачил так называемый культ личности, многие коммунисты, да и многочисленные рабы, стали высказы-

ваться в том духе, что Сталин в конце жизни заболел паранойей. Раньше, мол, был великим и мудрым, а вот стал параноиком. Это чепуха, рожденная желанием покорных и подлых слуг как-то оправдать себя в собственных глазах. Решившись на геноцид в многонациональной стране, Сталин был, как никогда, дерзок, как никогда, смел его бесовский ум.

У нас о многом забывают, хотят забыть. Забывают, например, о том, как жестоко напала партийная и литературная печать на безобидное стихотворение «Любите Украину». А ее автором был знаменитый украинский поэт Владимир Сосюра, член партии с 1920 года. Как он посмел любить Украину! Петлюровская отрывка! Говорят, что затеял травлю Каганович, сменивший к тому времени — на краткий срок — на посту первого секретаря украинского ЦК Никиту Хрущева, которому, тоже на краткий срок, Сталин перестал доверять: мол, строит из себя освободителя Киева от немецких захватчиков, поддается угодливой лестии украинских националистов, тайных петлюровских недобитков. И сам, кажется, хохол. Или поляк?

Каганович смутно помнил по своей прежней работе на Украине, что Максим Рыльский — далекий от жизни неоклассик, писавший триолеты о средневековом Лангедоке. Во время войны, страдая в эвакуации от ностальгии, Рыльский написал поэму «Путешествие в молодость», недурную вещь, в которой нарисовал мастеровитым стихом портреты нескольких дореволюционных деятелей украинской культуры, посещавших дом его отца-шляхтича. Не приняв во внимание, что Максим Таддеевич давно стал другим, давно стал панегиристом вождя, Каганович, понукаемый Сталиным искать на Украине врагов, приказал и на Рыльского напасть — и сильно напасть. Довольно скоро Сталин понял, что Каганович бьет не тех, кого надо, преследует верных ему и преданных слуг, но сначала он искал: кого бить? Где враги? Где таится опасность для его державы-монолита?

Каганович бьет сильно, в этом ему не откажешь, но глупо. Кого из писателей он выбрал себе в помощники? Первомайского. Данные объективки: комсомолец двадцатых, коммунист, участник войны, орденосеиц, настоящая фамилия — Гуревич. Нет, так дело не пойдет. Гуревичи нам не нужны. Когда немцы временно оккупировали Украину, огромное количество украинцев стало служить Гитлеру. Они не забыли годы коллективизации. А кто свирепствовал

во время коллективизации? Надо объяснить украинцам: вот такие Гуревичи. Они и есть враги, космополиты, поклоняющиеся Западу, а не украинские патриоты социалистического отечества.

Не забывал Сталин и о других врагах.

Вдоль восточных границ империи, на необъятном пространстве от прикаспийского Баку до среднеазиатского Фрунзе, от вершин Кавказа до вершин Тянь-Шаня, распространились мусульманские народы Азербайджана, Дагестана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана, а поглубже, вдали от этих станом, вплоть до самого сердца Великороссии, молятся Аллаху кавказские горцы (правда, большая часть их заблаговременно выслана), башкиры на Урале, татары на Волге. Между тем неслыханные перемены происходят на старом земном шарике. Одна за другой, под зеленым знаменем мусульманского пророка, добились и добиваются независимости арабские страны, и рядом — шиитский Иран (а с шиитами Сталин встречался в Баку — изуверы, боевитые, смелые) и Афганистан, и узкая пятнадцатикилометровая полоска афганской земли отделяет нас от новой исламской страны, от Пакистана, «Страны чистых». Ничего себе чистые, от них надвигается на нас панисламистская зараза!

Сталин всегда терпеть не мог евреев, особенно тех цехиков, которые с высокомерием европейцев смотрели на него, практика-кавказца, но он их недооценивал, надо себе самому в этом признаться, видел в них натасканных болтунов, а не разглядел их национальной сплоченности, их воинственной решимости утвердиться как нация. Он потому первым и признал Израиль (ошибся!), что надеялся: это крохотное государство, населенное большим количеством выходцев из России, государство, чьи коммунисты разговаривают по-русски, поможет ему оградиться от губительного влияния арабского панисламизма на советских мусульман, которым никогда не доверял картвел-семинарист. От евреев, конечно, надо избавляться, но они пригодны как жертвы. Что же, устроим торжественное, на радость всем, жертвоприношение. Но кто наиболее вреден внутри страны? Кто грозит нашему единству?

Сталин шупал — и нащупал: опасность исходит от недобитых восточных буржуазных националистов. Возвеличивая свои национальные эпосы, своих древних классиков, султанов и полководцев, они становятся рассадниками

панисламизма, по сути — агентами зарубежных мусульманских стран. Их надо уничтожить.

Хуже всех татары. Он с ними боролся, когда был еще наркомнацем. Мнят о себе. Кичатся тем, что у них есть большевики с дореволюционным стажем. Как евреи по всему миру, они расползлись по всей Средней Азии, по Кавказу, по Поволжью, — муллы, партработники, торговцы, врачи, педагоги, артисты. Они знают русский язык лучше, чем тамошние местные жители, вот и выдвигаются, искусно вползая в щели нашей недостаточно продуманной кадровой политики. С них надо и начать.

Один узбек, честный товарищ, прислал в ЦК интересное письмо: почему узбекский совет министров стоит на улице Тукая? А кто такой Тукай? Татарский поэт. А какое отношение он имеет к узбекам? А то отношение, что был джадидом, таким же националистом, как те узбеки и таджики, с которыми большевикам пришлось бороться в Бухаре, когда был свергнут эмир. Окопавшиеся в Узбекистане татарские пантюркисты навязали имя Тукая одной из лучших улиц Ташкента. И еще один сигнал: татары собираются издать на родном и русском языках свой эпос «Идегей», широко отпраздновать это событие. А кто такой Идегей? Историки доложили: временщик, правитель Золотой Орды. Он жег рязанские деревни. Разгромил великого литовского князя Витовта на реке Ворскле в 1399 году. А потом, негодяй, предпринял поход на Москву. И этого головореза прославляют в одной из наших республик! Националисты хотят поссорить Сталина с русским народом, а заодно и с литовцами, которые и без того плохо себя ведут. Надо принять постановление о буржуазных националистах в Татарии, вознамерившихся; через свой антихудожественный, антигуманистический эпос, напомнить нам о своем былом могуществе, о том, что они когда-то владели Русью. Нет прошлого у этого неполноценного народа, у татар, их история начинается с 1917 года.

И постановление было принято. Насколько оно соответствовало фактам?

Действительно, исторически существовавший Идегей был личностью для России не очень привлекательной. Но в эпосе Идегей — простой пастух, ставший еще в детстве знаменитым благодаря своей мудрости. Он — «посох для слепца, опора для униженного». Он — потомок девы-лебеди. Ничего общего с ордынским мурзой не имеет герой дивной поэмы. Я вправе это утверждать, потому что пере-

вел татарскую национальную поэму. Она до сих пор не издана, и не потому, что на меня с 1979 по 1986 год был наложен запрет на профессию, а потому, что не отменено постановление ЦК о феодальном, националистическом, нам враждебном характере эпоса.

Сказание об Идегее бытует не только у казанских татар, но и у татар крымских, узбеков, башкир, каракалпаков, казахов, ногайцев — у всех народов, которые раньше входили в Золотую Орду, распространившуюся от Сибири и Казахстана до причерноморских степей и Крыма. Но крымские татары, уже ликвидированные как нация, не то что права на свой эпос — жемчужину изустной поэзии, — они лишились права на родную землю, которую неустанным, многовековым тяжким трудом превратили в истинный вертоград. Неразумные казанские татары, желая доказать, что «Идегей» зародился в их среде, что остальные претенденты обладают лишь копиями татарского подлинника, соединили, слили героя народной поэмы с личностью золотоордынского правителя. Их доказательства подкреплялись тем, что во всех вариантах действие поэмы разворачивается у них, на волжских берегах, кстати поэтически нарисованных звучным татарским стихом.

Я опубликовал в «Литературной газете» большую двухподвальную статью «Народный эпос и современность» (кажется, так она называлась), в которой, между прочим, высказал следующее соображение об «Идегее»: ничего общего нет у эпического героя, доброго и мудрого пастуха, с ордынским правителем, воевавшим с Тамерланом и устраивавшим набеги на Москву и Литву. Меня пригласили в ЦК.

Разговаривал со мной заведующий отделом агитации и пропаганды ЦК Александров, тот самый, который потом срамно погорел, слетел с высокого поста за то, что устроил для себя и своих друзей подмосковный бордель закрытого типа, набрав штат из юных сотрудниц торговой сети. Вместе с ним постоянным посетителем борделя был его заместитель Еголин, пожилой, полуграмотный профессор русской литературы (Жданов, покушавшийся на духовное убийство Ахматовой и Зощенко, назначил в свое время Еголина, для оздоровления литературной общественности колыбели революции, редактором журнала «Ленинград»).

Я не запомнил внешности Александрова, мне врезалась в память только его вкрадчивость, цинизм (не худшая из черт высокопоставленного чиновника) и полная неосведомленность в том вопросе, по которому он меня пригла-

сил к себе. Еще я о нем знал, что он был любовником одной посредственной переводчицы с подстрочников (ему, видимо, нравились жирные бабы). Она теперь ускоренными темпами переводит ту классическую поэзию, которую я переводил с подлинника, потому что мои работы запрещены.

В нашем разговоре с Александровым принимал безмолвное участие Еголин. В приемной ожидал аудиенции секретарь татарского обкома по пропаганде Шафиков, вызванный по тому же вопросу из Казани. Александров сказал, что прочел мою статью, что она содержательная, проливает свет на обстоятельства дела, что он и Еголин ознакомились с моим переводом эпоса, вещь яркая.

— Вот только хотелось бы знать, — спросил Александров, — что вы понимаете под патриотизмом, о котором пишете в своей статье? Как называлась та страна, патриотами которой, как вы утверждаете, были создатели эпоса?

— Она называлась Дешти-Кыпчак. А в русских летописях — Золотая Орда.

— Значит, речь идет о таких патриотах, которые были угнетателями русского народа. Вы подумали об этом?

— Французские коммунисты, участники Сопротивления, признаны самыми отважными патриотами Франции. А разве Франция не была — и не остается — угнетательницей своих колоний, например стран Магриба?

— Вы находчивы, — сказал Александров и добавил на прощание: — Продолжайте спокойно работать, мы вас ценим.

Я простился с начальниками, секретарша впустила в кабинет Шафикова, а мне сказала, чтобы я Шафикова подождал в приемной. Минут через десять Шафиков вышел довольный, сияющий. Секретарша подписала мой пропуск, мы с Шафиковым спустились в буфет. Шафиков мне сообщил, что все в порядке, эпос будет издан, благодарил меня за перевод и за статью.

На другой день, взбудоражив нашу коммуналку, одетый по-военному курьер из ЦК привез мне пакет, запечатанный сургучом. Это был мой перевод «Идегея». Записка Еголина: «Возвращаю Вам Вашу рукопись. Благодарю за доставленное удовольствие».

А еще через два-три дня подписчики получили журнал «Большевик», в котором было опубликовано постановление ЦК об антинародном, феодально-националистическом характере эпоса «Идегей», о неблагоприятии в татарской партийной организации. Не могло же это постановление

быть принято Центральным Комитетом и напечатано в журнале в промежутке тех нескольких дней, которые прошли после моего свидания с Александровым и Еголиным?! Ясно, что оба давно уже знали об этом постановлении, может быть, сами его составляли. Для чего же играли они со мной? Ладно, я беспартийный, маленький человек, но для чего они играли с секретарем татарского обкома, вызвали его из Казани, когда дело уже было решено? До сих пор не могу их понять. Издевательство? Но к чему им оно? Или они подражали императору Павлу, который, за что-то разгневавшись на одного сановника, закончил свое письмо так: «Впрочем, пребываем к вам благосклонными».

Постановление о «Идегее» испугало ученых и писателей и в национальных республиках, и в Москве, и в Ленинграде. Враждебные вихри начали вейти над азербайджанским «Китаби деде Коркуд», узбекским «Алпамышем», киргизским «Манасом», да и над остальными восточными эпосами. То, что раньше сверху поощрялось, что всесоюзно праздновалось, теперь становилось подозрительным, антисоветским, а следовательно, антирусским. Порочной была признана книга В.М. Жирмунского и Х.Т. Зарифова «Узбекский народный героический эпос». Хади Тилляевичу Зарифову, великолепному знатоку древней поэзии (он меня консультировал, когда я переводил поэму Навои «Лейли и Меджнун»), был нанесен двойной удар. В то время у нас произошла девальвация рубля, Зарифов отдыхал на юге, а когда приехал в Москву, то получил только десятую часть гонорара: если бы он успел позаботиться о том, чтобы деньги перевели на сберкнижку, то пострадал бы не так сильно. Мораль: не пиши порочных трудов.

Любопытно то (хотя это было нетрудно предугадать), что закоперщиками, наиболее ярыми, злыми преследователями национальных словесных сокровищ, стали всевозможные деятели в республиках. Подвергшийся ненависти Багирова, сталинского опричника, покончил самоубийством азербайджанский молодой ученый, написавший книгу о русско-кавказских общественных связях и возвеличивший Шамиля, а Шамиль, по указке Сталина, из героя-освободителя был превращен в английского шпиона. Прокатившиеся по Средней Азии в 1916 году восстания были признаны антинародными. Замечательный исследователь Востока, профессор А.А. Семенов, бывший в те времена вице-губернатором Самарканда, сказал мне, хитро улыбаясь: «А мы-то, дураки, и не подозревали тогда, что англичанка га-

дит». Арестовали в Узбекистане писателей Максуда Шейхзаде, Саида Ахмада, Шухрата. Волю им принесли через несколько лет смерть Сталина и доклад Хрущева.

Шейхзаде был азербайджанцем, в молодости преподавал в школе в Темир-хан-Шуре (ныне Буйнакск, в Дагестане), был сослан в середине двадцатых в Узбекистан, стал благодаря близости двух тюркских языков узбекским поэтом и ученым, профессором университета. Образованный, остроумный, при этом выпивоха, он был богом для студентов. Его присудили к 25 годам каторги как турецкого шпиона. Видимо, готовилось дело на первого секретаря узбекского ЦК Усмана Юсупова, огромного, толстого, умелого сталинского выдвиженца, принимавшего посильное участие в истреблении своих предшественников. Он благоволил к Шейхзаде, это было известно. Шейхзаде отказался дать показания против него, тогда поэту предъявили фотоснимок: голый, брюхатый и лысый Юсупов сидит рядом с голой женой Шейхзаде. Поэт разгадал фальсификацию. А жена его, милая, добрая азербайджанка, была детским врачом, гораздо более популярной в городе, чем ее муж. У них был превосходный особняк, наверно принадлежавший до революции русскому чиновнику, на той улице, где кончался новый, когда-то русский Ташкент и за которой медленно-азиатски начинался старый город. Писатели говорили, что Шейхзаде потому арестовали, что председателю их союза приглянулся этот особняк. Возможная вещь. Председатель действительно занял отличный дом с садом, предоставив жене Шейхзаде свою малогабаритную квартиру. Когда после смерти Сталина Шейхзаде вышел на волю, дом ему не вернули.

Юсупова не тронули, перевели в Москву, сделали министром по хлопководству. Сменивший его на посту первого секретаря узбекского ЦК Ниязов в одной из своих речей назвал националистическими не только эпос «Алпамыш», но и величайшего поэта своего народа Алишера Навои. Каким бы ни был Юсупов, от него такого не дождались бы, поэту и убрали из республики. Еще недавно торжественно и пьяно отпраздновали 500-летие со дня рождения Навои, а теперь необходимо было вспомнить, что основоположник узбекской литературы был знатным тимуридом, хранителем печати, а потом везиром (первым министром) в период правления своего соученика, султана Хусейна Байкары в Герате, что его произведения проникнуты философией суфизма, воспринимавшей мир как эманацию Божества. Сгу-

щались тучи над Айбеком, автором романа «Навои», но с ним приключился инсульт, который спас его от ареста.

Однажды я сидел в маленькой комнатке редакции журнала «Дружба народов» — к редактору надо было пройти через эту комнатку. Открылась входная дверь, появились приехавшие из Ташкента два местных русских писателя — Шевердин и Мильчаков. Они (в особенности Мильчаков) при поддержке председателя узбекского Союза писателей Уйгуна были главными борцами против буржуазного национализма. Шевердин, посредственный литератор, был интеллигентен, знал хорошо узбекский и таджикский языки. Мильчаков, темный и тупой, думаю, пришел в литературу из лагерных конвойных. Он сочинял самодеятельные стихи. Я сказал вошедшим узбекистанцам:

— Вот, как раз сижу над гранками перевода стихотворения «Кремлевские ели» вашего земляка Аскада Мухтара.

— Как Аскада Мухтара? — возмутился громила Мильчаков. — Ведь его должны арестовать!

Они вошли к редактору. Послышались голоса, доходившие до крика. Перекричал редактор журнала Виктор Гольцев:

— Откуда вам известно, что его арестуют? Это не в вашей компетенции. Не мешайте работать редакции!

Приезжие вышли, красные от высокого волнения. Действительно, Аскада Мухтара беда миновала, он не был в их компетенции.

Аресты, преследования ученых и писателей разразились и в других республиках. Бурятский писатель Африкан Бальбуров, причастный к подготовке издания эпоса «Гэ-сэр», спасся только потому, что бежал из Улан-Удэ, спрятался в глухой сибирской деревушке. Аалы Токомбаев улепетнул подальше от греха в Москву, в свои уже немолодые годы поступил на Высшие литературные курсы. Киргизские манасоведы в трепете ожидали ареста. Многих (среди них сведущего, дельного Саманчина) прогнали с работы. Местная печать неистовствовала. Особенно свирепствовал критик Самаганов, озлобленный собственной бездарностью и древней родовой ненавистью. Его статьи были настолько бездоказательны, настолько глупы, что всем было понятно, каких сильных, тайных покровителей имеет этот разбойник.

В Москве первым напал на «Манас» Л.И. Климович, ныне здравствующий. Фадеев привлек его как специалиста по Востоку в штатском к работе в аппарате Союза писате-

лей, сделал его заведующим национальными литературами. В молодости он пытался изучить арабский язык, но, одолев алфавит, не очень легкий, дальше не пошел, и глава нашей арабистики Игнатий Юлианович Крачковский, чудный человек, отстранил неспособного студента от занятий. Климович, где-то что-то окончив, занялся борьбой с исламом, выдвинулся как эрудированный атеист, стал профессором (без докторской степени), печатал в солидном количестве компилятивные статьи, паразитируя на трудах серьезных ученых. Он отомстил своему бывшему учителю. На заседании востоковедов в Ленинграде обвинил И.Ю. Крачковского, недавно удостоенного Сталинской премии, в космополитизме (поляк). После этого заседания всемирно известный арабист скончался от сердечного приступа.

Климович составил для Фадеева печально известное выступление, в котором Фадеев бичевал родоначальника нашей исторической поэтики А.Н. Веселовского (умершего в 1906 году), обвинив его в компаративизме, т.е. в теории миграции сюжетов: следовательно, А.Н. Веселовский и его школа отрицали самобытность русской изустной и письменной литературы, низкопоклонничали перед Западом. Климович подвел Фадеева, спутав А.Н. Веселовского с другим Веселовским, у которого были те же инициалы, но в пылу сражения этой ошибкой решили пренебречь. Пренебрегли же несколько позднее ошибкой Сталина, который в своем эпохальном труде о языкознании причислил русский язык к славянским.

В институте востоковедения я присутствовал на заседании, на котором Климович клеймил космополитами всех видных иранистов. Нельзя сказать, что он был совершенно безоружным: не зная ни персидского, ни арабского, вообще ни одного восточного языка, он обладал сильной, своеобразной памятью нетворческого человека, цитировал наизусть страницы из прочитанных трудов, хорошо, даже эффектно произнося арабские или персидские имена, заглавия книг, но при этом нес такую чепуху, что небольшой старинный зал гудел от негодования. Кто только не возражал ему: и востоковед И.М. Рейснер (брат известной Ларисы Рейснер), и восточные коммунисты-политэмигранты, сотрудники института, возмущенные наступательным, губительным невежеством Климовича, но тот стоял как скала — его подпирала та сила, с которой у нас в стране бороться

невозможно до тех пор, пока она, будучи величиной векторной, сама не изменит свое направление.

Настал день, когда мы сразились с ним из-за «Манаса». Дискуссия происходила в Союзе писателей. Климович настаивал на антинародности эпоса, на его вредности. Он противопоставлял ему скабрёзную пародию на «Манаса», нечто вроде наших нецензурных гимназических пародий на «Евгения Онегина», предлагая ее-то и считать истинно народной. Как ни спокойна и ни убедительна была моя аргументация, потому что я ничего оригинального не говорил, просто называл белое белым, Климович меня и слушать не хотел. Да что меня! Его не убедила и обстоятельная, умная статья крупного тюрколога А.К. Боровкова «О народности киргизского эпоса «Манас»», помещенная в журнале «Дружба народов». Только после смерти Сталина признал Климович народными (в своей основе) «Манас» и «Алпамыш» и даже критиковал тех, кто нигилистически отрицал художественную ценность этих изустных поэм. Когда ему напоминали о его непоследовательности, он не смущался: «Я всегда там, где партия». Да, насилие, будучи видом силы, — величина векторная.

И был еще день, и меня вызвали по телефону на Лубянку. Следователь — фамилию его я забыл, помню только, что она мусульманская, скорее всего татарская или башкирская, — просил в письменной форме изложить мои мысли о «Манасе» и принести ему, желательно побыстрее. Я выполнил эту просьбу. Припоминаю такие положения: а) «Манас» глубоко народен. Следуют доказательства с помощью цитат из эпоса; б) народно-эпическое творчество имеет свои особенности, свои, только ему свойственные способы характеристики героев, среди этих способов важную роль играет гипербола; в) эпос — не летопись, исторические события отражаются в нем своеобразно и сообразно народному чувству; г) не может быть эпоса, на Востоке в особенности, вне религиозного мирозерцания; д) в эпосе есть наносные напластования, от которых составителям и переводчикам следовало бы избавиться; е) есть в эпосе несколько эпизодов, посвященных не освободительному, справедливому походу, а походам захватническим, в частности несуразно составленному походу на орусов (русских), нами не переведенному. Ошибкой было и то, что эпос издан по-русски прежде, чем он вышел в свет на родном языке, что не была произведена предварительная серьезная кодификаторская работа (должен сказать, что она ны-

не сделана киргизскими учеными), что, помимо наносных напластований, не были выброшены многострочные повторы, естественные для изустного произведения, но ненужные, когда произведение стало письменным. Используя популярность эпоса, господствующие классы стремились испортить бочку меда ложкой дегтя, но мед не надо уничтожать, надо его очистить от дегтя.

Последняя часть последнего пункта — единственная моя уступка нечестному, но всесильному противнику. Она не могла меня не огорчать, не унижать в собственных глазах. Замечание, правильное по существу, я мог бы высказать раньше, во время свободного обсуждения рукописи, а не в навязанных мне условиях уже после выхода книги. Я был рад, когда через много лет Аалы Токомбаев мне сказал, что республика располагает несколькими показаниями по «Манасу», но мое — самое благоприятное для эпоса, даже самое смелое. Не знаю, что показал он сам, хочется думать о нем только хорошее.

В беседе со мною следователь играл роль человека интеллигентного, рассудительного, беспристрастного, играл по системе Станиславского, вдумчиво — как не играют в теперешнем МХАТе. И все же сквозь это актерство проступало то, что ему не нравится вся эта антиманасовская затея. Он, конечно, знал, что в киргизском народе росло, пусть бессильное, пусть глухое, а все же сопротивление и московским, и местным недругам «Манаса». Власти, видимо, это учитывали. В печати был разброд, что у нас не любят. Между тем Саякбаю Каралаеву запретили исполнять «Манас». При встрече он мне с горечью сказал: «Поеду в горы, в родной аил, спать со своей старушкой» (он выразился грубее).

Я покинул Лубянку немного успокоенный, но худшее было впереди. Почему из всех, более или менее заметных восточных переводчиков, я вызвал особую ненависть у некоторых одиозных фигур писательского начальства? Не объясняется ли это тем, что я не только переводил, но и пропагандировал изустную и классическую поэзию Востока, писал статьи, участвовал в дискуссиях, а по мотивам «Манаса» даже повесть написал, которая пользовалась некоторой популярностью у тогдашних детей. Когда в «метропольские» дни я познакомился с Андреем Битовым и Юрием Карабчиевским, они рассказали мне, с каким удовольствием в детстве читали «Манаса Великодушного». Добавлю к этому, что я в Союзе писателей был председате-

лем комиссии по киргизской литературе, был членом правления Союза писателей Киргизии — и это в пору, когда разгоралась борьба с космополитизмом.

Сначала меня вывели из состава правления СП Киргизии. Меня это ничуть не трогало, бодал я это дело. Меня освободили от обязанностей председателя киргизской комиссии — сущий пустяк по сравнению с теми напастьми, которые обрушились на других. Но вот из Фрунзе пришло письмо о том, что я, написав повесть «Манас Великодушный», вознамерился присвоить себе авторство киргизского эпоса. Казалось бы, бред неуча, но в Москве к письму отнеслись серьезно. Вспомнили все мои тяжкие грехи: и то, что я перевел «Джангар» — эпос высланных калмыков, сотрудничавших с немецкими оккупантами, и то, что я перевел татарский «Идегей», подвергшийся суровой, но справедливой марксистской критике в известном постановлении ЦК, и то, что я не только перевел поэмы Навои, но и писал статьи, в которых восхвалял этого проповедника мусульманского мракобесия.

Было назначено рассмотрение моего дела на секретариате Союза писателей. Признаюсь, что я изрядно струсил. Меня страшило исключение из Союза писателей — из того самого, из которого впоследствии я вместе с Инной Лиснянской вышел по собственной воле. Василий Гроссман, разделявший мою тревогу (исключение из Союза писателей в те годы грозило арестом), попросил Константина Симонова за меня заступиться. О том же попросила Фадеева Мария Петровых — она была с ним в дружеских отношениях. Да и со мной раньше Фадеев был в хороших отношениях. Маруся сказала, что Фадеев меня примет у себя дома в 10 часов утра — за день до заседания секретариата.

Я пришел в назначенное время к Фадееву на улицу Горького. Я бывал у него прежде на Большом Златоустинском, а здесь — впервые. Кабинет у Фадеева был таким, каким полагается быть кабинету писателя. Строгая мебель, нет нынешней роскоши нуворишей, много книг, рукописи на письменном столе и на тумбочках. Не помню живописи, помню фотоснимки — Ангелина Иосифовна Степанова в какой-то роли, сам Фадеев — то с Горьким, то с Маяковским.

Принял меня Фадеев сухо, как будто не было прежнего давнего знакомства, веселых бесед, совместных поездок, его добрых высказываний обо мне. Говорил я долго, изла-

гал дело во всех подробностях. Фадеев слушал внимательно. Когда я кончил, он сказал:

— Вы оказались в самой середке того поля, которое теперь обстреливается. Да еще анкетные данные. Это судьба, ничего тут не изменишь. Вас не исключат из Союза, мы вам вклеим выговор. Я вам помогу, обещаю, хотя мне будет нелегко, в руководство Союза проникли охотнорядцы, но я надеюсь, что с помощью Кости Симонова с ними справлюсь.

Вдруг он звонко рассмеялся:

— Пришел ко мне Хачим Теунов, председатель Союза писателей Кабарды. Я ведь у них в Нальнике «Разгром» писал. Просит содействия в издании перевода на русский язык кабардинских «Нартов», а перевод поручить вам. Я ему сказал: «К чему вам Липкин, у него тяжелая рука, как переведет эпос, так объявляется эпос феодальным».

И он снова рассмеялся, еще звонче. Он хорошо смеялся, от всей души. Я, ободренный, сказал:

— Когда вы были председателем джангаровского юбилейного комитета, а я его секретарем, документация скапливалась у меня. Я сохранил копию постановления Политбюро ЦК ВКП(б), подписанного Сталиным. Копия заверена Чадаевым. Там, среди прочих, указан такой пункт: «Поручить Гослитиздату издать калмыцкий эпос «Джангар» в переводе С. Липкина». Сам Сталин подписал! Я думаю, что будет неплохо, если на секретариате оглашу этот документ. Хотите посмотреть? Я взял его с собой. Он ударит по охотнорядцам.

Лицо Фадеева налилось кровью. Он крикнул:

— Дурак!

Я поднялся, оскорбленный. Фадеев пришел в себя, положил руку мне на плечо, сказал:

— Умоляю вас, ради ваших детей, не вспоминать об этом постановлении. Имя Сталина не произносите, не произносите! На секретариате скажите в двух словах: благодарю, мол, за справедливую критику, учту в дальнейшей работе... Еще раз твердо вам обещаю: вас из Союза не исключат. Они и Павлика Антокольского хотят съесть. Его, конечно, занесло, его часто заносит, но в обиду я его не дам.

У себя дома я все же решил подготовиться к большой речи. Перечитывал статьи — свои и чужие, документы, делал выписки. Перед тем как отправиться в Союз писателей, пропустил стакан водки, закусил куском куриного студня.

Почувствовал веселую готовность к битве — никого не боюсь!

В кабинете Фадеева в Союзе я занял место в углу, у окна, около входа. У другого окна, в глубине кабинета, уселись Панферов и Корнейчук. За столом, на председательском месте, — Фадеев, спиной ко мне — Симонов, Софронов, стенографистки, напротив — Сурков, Леонов, может быть, еще кто-то.

Излагать дело поручили Софронову. Повернул он его неожиданно, с полицейской изобретательностью. Мои договоры на перевод «Манаса» — и это не случайность — подписаны врагами народа: Лупполом и Лозовским. Последний арестован как сионист, и опять же не случайно в депутаты Верховного Совета СССР он пролез от Киргизии: покровительствовал местным националистам. Зловонный сионистско-пантюристский букет.

Надо сказать, что академика Ивана Капитоновича Луппола я никогда в глаза не видел. Слишком я был в те ранние годы молод, чтобы иметь непосредственный контакт с главным редактором или директором издательства. Что же касается Соломона Абрамовича Лозовского, в прошлом — председателя Профинтерна, в первый год войны — председателя Совинформбюро, то я действительно общался с ним в бытность его директором Гослитиздата. Как бы обрадовался Софронов, думал я, сидя на секретариате, если бы ему рассказали такой эпизод. Однажды Лозовский пригласил меня, чтобы поделиться теми трудностями, которые непрестанно возникали на пути издания «Манаса». По неопытности, я сказал:

— А почему вам не обратиться прямо в ЦК, спросить там, как поступить?

Он ответил на идише:

— А каше ист ойх трейф.

Приблизительный перевод: вопрос — тоже грех, запрещен. Вот бы возликовал Софронов: в нашем русском издательстве директор и переводчик беседуют по-еврейски!

Далее Софронов уже говорил то, что я ожидал, к чему был готов: тут и «Джангар», и «Идегей», и повесть «Манас Великодушный». Он потребовал моего исключения из Союза писателей.

— Мало! — крикнул Панферов. Сидевший рядом с ним Корнейчук возразил:

— Строже наказать нам не дано, этим займутся другие. Помолчав добавил: — Все ж человек талантливый.

Такие оговорки не бывают случайными. Я подумал, что Фадеев с ним предварительно побеседовал. Фадеев предоставил слово Симонову. Тот назвал меня мастером перевода, предложил объявить мне строгий выговор, из Союза не исключать. Леонов — вопросительно: «Может быть, на вид поставим?» Сурков поддержал вопросительное предложение Леонова. Дали слово мне. Как научил меня Фадеев, я поблагодарил за критику, обещал ее учесть в дальнейшей работе. Потом сказал:

— Разрешите зачитать один документ.

Фадеев, забыв, что все на него смотрят, схватился за голову. Он решил, что я его подведу и себя погублю, что я сейчас прочту постановление Политбюро, произнесу имя Сталина. Но я огласил другой документ. У меня сейчас нет его под рукой. Содержание его такое. В джангаровский юбилейный комитет обращается с письмом ростовская писательская организация. Она давно и тесно связана со своим соседом — Калмыкией. Ростовский литературовед Закруткин опубликовал ценное исследование калмыцкого эпоса. Между тем на юбилейные торжества в Элисте ростовской организации выделены только два места. Просят хотя бы четыре. Подпись — секретарь ростовского отделения Софронов, 1940 год.

Боже, как обрадовался Фадеев, как он смеялся, как ему громко вторил торжествующий Сурков и тихо — явно довольный Леонов. Я не видел лица Софронова, но услышал его смущенный голос, сменивший прежние уверенные интонации:

— Все мы сидим в этом говне.

Рассказ мой близится к тому концу, за которым непременно последует новое — и пока неизвестное — начало.

Умер Сталин. Эпические поэмы Востока вновь постепенно восстанавливались в своих древних правах. На Первой Всесоюзной конференции востоковедов в июне 1957 года академик В.М. Жирмунский в своем докладе «Некоторые итоги изучения героического эпоса народов Средней Азии» заметил: «Живому интересу и потребности в широкой популярности разноязыких произведений народного творчества отвечают многочисленные переводы эпических памятников... Пеньковского, Тарловского, Липкина, Тарковского, Державина, Шенгели и других».

В 1960 году перевод «Манаса» переиздали (предисловие С. Дароняна и мое). Та часть, которую перевел Марк Тарловский, в новое издание не вошла — в ней были сосре-

дотолены наиболее неприемлемые места, а переводчик исправить уже ничего не мог, он к тому времени скончался.

В «Библиотеку всемирной литературы» включили два тома эпосов народов СССР (тираж — 300 000). Были опубликованы те произведения, которые при Сталине оказались на грани гибели, у самой бездны на краю, за исключением «Идегея». Мои переводы в этих томах представлены обильно, грех мне жаловаться.

Были возвращены на родину и калмыки, восстановили их республику. Мне было присвоено звание народного поэта Калмыкии.

В ГДР вышла на немецком языке моя повесть «Манас Великодушный». Тираж для переводной книги, да еще такого жанра, немалый: 20 000. К повести приложен перевод одной из глав «Манаса», «Письмо Канькей», сделанный, как указано в послесловии поэтом Эрихом Милльштаттом, с моего перевода. В Киргизии выход книги на немецком языке был встречен с большим удовлетворением. Мне присвоили почетное звание заслуженного работника культуры Киргизской ССР. Стихи эпоса по-немецки звучат превосходно. Единственный упрек переводчику — переносы предложения из одной строки в следующую, что несвойственно изустной поэзии.

Означают ли все эти приятные факты окончательную победу разума? Поживем — увидим.

Что же касается моего перевода «Манаса», то он запрещен. Я почти не общаюсь с собратьями-переводчиками (вернее — они со мной), но вот какие слухи дошли до меня: мол, большой бригаде поручено изготовить новый перевод киргизского эпоса. Называют имена: Солоухин, Цыбин и другие.

Солоухин — видный писатель, особенно удались ему очерковые книги: «Владимирские проселки» и «Письма из Русского музея». Казалось бы, ничего дурного нет в том, что он после меня берется перевести «Манас». Переводили же после Кроненберга пьесы Шекспира Лозинский, Радлова, Пастернак, финскую «Гайавату» после Михайловского — Бунин, «Витязя в тигровой шкуре» Руставели после Бальмонта — Заболоцкий. Но почему Солоухина привлекают только те эпические поэмы Востока, «Манас» и бурятский «Гэсэр», которые перевел я, на которого Государство наложило запрет на профессию? Почему его не волнуют другие произведения, переведенные другими поэтами, чьи

имена не находятся под запретом? Странно, не правда ли? Впрочем, совсем не странно.

Цыбин, начальник секции московских поэтов, много переводит заново то, что я переводил до моего выхода из Союза писателей. Способ он применяет не совсем обычный, довольно-таки интересный. Он оставляет мои ритмы (восточная версификация не похожа на русскую, вообще ни на одну европейскую, поэт-переводчик должен найти русский ритм, лишь напоминающий ритм подлинника), оставляет мои метры, мои рифмы, чуточку переделывает левую половину строк, а правую, устремленную к рифме, оставляет мою вместе с рифмой. До сих пор я мог быть спокоен, что хотя бы правая сторона его переводов не искажает подлинника. Но что будет с «Манасом», в котором, помимо концевой рифмы, есть и рифма в начале строки, анафорическая. Неужели Цыбин и левую сторону моих переводов оставит без изменения? Хорошо бы. Он уже так поступил с моим юношеским переводом киргизского акына.

Новый перевод «Манаса» издан. Книжки я не видел, но мне известно, что под переводом есть только одно имя — В.Солоухина. Есть ли у него в душе то, о чем мне говорил Саякбай Каралаев, — закон Бога, отражается ли в нем лицо пророка?

ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Впервые имя Инны Лиснянской я услышал от ее бакинского земляка, милого человека. Он с патриотическим воодушевлением поставил это имя рядом с именами Ахматовой и Цветаевой, что не могло тогда не вызвать моей улыбки. Разговор происходил в 1959 году. Мой собеседник сообщил мне, что стихи поэтессы охотно печатает Твардовский в «Новом мире». Я был многолетним подписчиком журнала, но не запомнил этого женского имени. Когда в ближайшем номере я увидел стихотворение Инны Лиснянской, я внимательно и с любопытством его прочел. Оно было посвящено Заполярью. Обычное, характерное своей пустотой и ненужностью, свойственное нашей рифмованной продукции произведение. Так я решил исходя из того, основанного на опыте, положения, что о прозаике можно судить по первой странице, о стихотворце — по одному стихотворению. Я не подумал о том, что если поэт трудный, то редакция норовит выбрать у него вещь наименее удачную.

Но, как заметил Василий Гроссман, есть жизнь и есть судьба, и судьба свела мою жизнь с жизнью Инны Лиснянской, и я узнал поэта, чье имя не только заслуживает, но и требует того, чтобы сопоставлять его с именами других истинных поэтов, обозначить его место среди них. При этом невольно, поскольку речь идет о поэте-женщине, Ахматова и Цветаева вспоминаются раньше других, ибо значением своим отодвинули от нас Каролину Павлову, Евдокию Ростопчину, Миру Лохвицкую, Зинаиду Гиппиус.

Самый значительный русский поэт нашего времени, с присущей ему зоркостью заметив, что Лиснянская, может быть, точнее, чем кто иной, пишет о смерти, а это ведь одна из самых главных тем в литературе, — это поэт, Иосиф Бродский, различает в стихах Лиснянской «ахматовское эхо». Другому зарубежному автору при чтении книги Лиснянской тоже припоминаются Ахматова и Цветаева.

Я не совсем с этим согласен. Я не удивился бы, если бы в книге Лиснянской прочел нечто подобное строкам Верлена: «Что ты сделал, ты, что плачешь, с юностью своею?» Мне почему-то кажется, что Лиснянская ведет свою родословную от тех французских поэтов, которых принято называть «проклятыми». От них ее «вдохновение и усталость», вера в Бога и неверие в себя, афористичность ее печали и противоречивость ее афористичности.

*Я с подозрительностью скряги
Свое бесславие храню.*

Горечь этого признания не только тяжела, но и необычна. В самом деле, какой поэт может спокойно терпеть свое бесславие? Но для чего его хранить, да еще с подозрительностью скряги? Так начинается то противоречие, которое в самом существе печали рождает некий оптимизм.

Максим Горький однажды поставил такой вопрос: «Почему с начала XIX века буржуазия — класс-«победитель» — выдвинула из своей среды так много крупных поэтов-пессимистов?» Ответ на этот вопрос он излагает тоже в вопросительной форме, потому что — отдадим должное его честности — ответа не знает. Может быть, размышляет Горький, бесчеловечное, грязное дело наживы, безумный процесс накопления денег способствовал тому, что у этих поэтов «развилось отрицание смысла жизни, презрение к ней, склонность к «мировой скорби», к пессимизму и мизантропии?»

Думаю, что Горький искал не там, где нужно, пытаюсь сочетать это явление с победоносной буржуазией. Вряд ли можно назвать Баратынского или Фета оптимистами, но они дворяне, а не буржуа. С другой стороны, совсем уже не буржуа Сологуб, сын нищего деревенского портного и прачки, а как печальна его поэзия. Печальна, но не пессимистична. Горький вывел в одном из своих произведений Сологуба под именем Смертяшкина, но не понял поэта-символиста: Сологуб печален, но твердо верит в иную, лучшую жизнь. Не правильной ли видеть истоки пессимизма в том разрушении веры в Бога, которое деятельно и убежденно начал восемнадцатый век, «энциклопедии скептический причет»? Да, мы заплатили дорогой ценой за просвещенное неверие энциклопедистов. Не потому ли родилась бесфигурная, абстрактная живопись, что художника перестал интересовать человек как подобие Бога? Не пото-

му ли еще раньше один из героев Тургенева — уж на что далекого от всякого буржуа — вспоминает:

*Я сжигал все, чему поклонялся,
Поклонялся всему, что сжигал.*

А младший современник Тургенева, умный и дерзкий Случевский, сокрушается:

*Я Богу пламенно молился,
Я Бога страстно отрицал.*

У Ахматовой таких метаний и таких сомнений нет. Единственная женщина, за все двадцать веков нашей эры ставшая великим поэтом мирового значения, чем, к слову, русские должны быть горды, Ахматова с христианской кротостью и суровой мудростью принимает весь мир, и его земную красоту, и его горе, как дар Божий. Цветаева миром недовольна, но она хочет его полюбить, она неистово ищет его красоту и правду то в узурпаторе Бонапарте, то в белом движении на Дону, то в героическом подвиге челюскинцев, ищет и — не находит. Для Лиснянской этот мир — хорош он или плох — долго был чужим:

*Я не гостья и не хозяйка,
Не прислуга и не родня,
Не захожая попрошайка —
Просто бабочка у огня.*

Мандельштам первым обратил внимание на то, что поэзия Ахматовой рождена русской прозой. Можно уточнить: прежде всего прозой Достоевского и Толстого, и ни в коем случае — прозой Тургенева и Чехова. Героиня любовной лирики Ахматовой — человек очень сложный: она и кроткая, и страстная, и негодующая, и обманутая, но всегда — всепонимающая, и боль ее от этого всепонимания особенно остра. Цветаева — другая, она не только не понимает, она не хочет понять, она уверена в себе: тот, кто ее отверг, «попрал Синай», заменил мрамор Каррары «трухой гипсовой». С виду может показаться, что Лиснянская обуяна той же исступленной гордыней:

*Я тебя очеловечила,
Ты меня обожествил.*

Но так только кажется. В действительности «Ты меня обожестви» не приказ, а просьба: мне трудно, я слаба, помоги мне, на худой конец, притворись, что ты меня благодаришь за то, что я тебя очеловечила.

Ахматова не ищет сострадания: она ищет соучастия, неподкупной общности. Цветаева ищет, кому сострадать, но так, чтобы тот, кому сострадаешь, стал ее собственностью. Бывает ли робка Цветаева? Всегда. Но у этой Робости есть царственная сестра — Гордость. Лиснянская даже на сочувствие не надеется:

*Господи Боже, кому мои слезы?
Господи Боже, кому я сама?*

Поэзия Лиснянской есть поэзия виновности. «Сама виновата, сама виновата», — повторяет она как бы в бреду. «Все мы бражники здесь, блудницы», — спокойно говорит Ахматова, спокойно, потому что знает, к какой высоте она причастна. «Ну да, я плясала и пела, ну да, я спиртное пила», — хочет в отчаянии оправдаться Лиснянская, хочет — и не может, потому что долго еще не слышит Того, кто один может простить. Но пока, понимая свою беспомощность, одиночество своего дара, и уже предчувствуя, что спасение придет, что оно — в единственном существе прощении, боязливыми шагами нащупывает путь к нему в замечательном стихотворении двадцатилетней давности:

*Забвенья нету сладкого,
Лишь горькое в груди, —
Защиты жди от слабого,
От сильного не жди.
Такое время адово
На нынешней Руси —
Проси не у богатого,
У бедного проси.
Наглядны все прозрения,
Все истины просты, —
Не у святых прощения,
У грешников проси.*

Когда-то было сказано: «Блаженны нищие духом». И человек нынешней Руси, приняв эти слова в сердце, просит защиты и прощения у слабого, у бедного, у грешного. Да, он слаб, он беден, он грешен, но он — человек, он — подо-

бие Бога, ищешь его — значит, ищешь Бога. Так срывает с себя поэт оковы пессимизма и приходит к спасительному смирению, к пониманию того, что «казнить себя — нет гордости страшней». И все же поэт продолжает себя казнить, ибо невыносимо жгуче клеймо вины, и мы слышим крик:

*Вот она я — унижайте меня!
Вот она я — распинайте меня!*

Может показаться, что у Лиснянской есть и более простой способ уйти от чувства своей виновности — перед кем? — от своей безысходности: рисовать жизнь со стороны. Но пейзаж, натюрморт, фигурная композиция всегда превращаются у нее в автопортрет. Некрасов в одном из самых, как теперь выражаются, исповедальных своих стихотворений, описывая, как на площади бьют молодую крестьянку, назвал ее родной сестрой своей музыки. Сам он при этом только зритель: «Часу в шестом я вышел на Сенную». Лиснянская, даже сравнись она гениальностью с Некрасовым, так никогда не скажет: это не сестру ее музыки бьют, даже не ее музу, а ее, поэта. Боль Руси — это ее физическая боль, топчут Русь — это ее топчут, не музе она сестра, а кровавым подснежникам:

*Предвидено, предсказано —
Цветком не прорасту,
Я к времени привязана,
Как к конскому хвосту.
О плоские бульжники
Крутым затылком бьюсь.
Молчат твои подвижники,
Затоптанная Русь!
Молчат твои утешники,
Лежат в сырой земле,
Кровавые подснежники
Им чудятся со мгле,
Да снится, как расплющило
Их младшую сестру, —
Лишь волосы распущены
И тлеют на ветру.*

Быть привязанной к конскому хвосту и помнить, что волосы ее распущены, — какая власть субъекта над объектом!

Разумеется, среди ее полотен есть и такие, на которых художник не изображен, например «Набрань», где в вагоне узкоколейки желтобородый старик то ли спит, то ли мыслит, то ли вспоминает ссыльные годы, когда «тряслись в малярийном огне непривычные к морю крестьяне», или слепой, который жил и действовал в каспийском городе:

*Был концлагерь на Востоке,
А на Западе — война.
Перещупывал он строки
Возле темного окна.
Мир земной и мир надземный
Вновь осмысливал старик —
Поэтапно, потюремно
Вел он тайный временник.
Но однажды на рассвете
Вновь слепого увели
И сожгли страницы эти,
Но потомки их прочли,
Потому что было Слово,
И в воздушную тетрадь
Он иголкой еловой
Приспособился писать.*

И еще один портрет: в санаторном отделении особенной больницы без конца пишет Иуду больной антисемитским бредом:

*Его Иуда был курчавый,
Змееобразный, без ребра,
Одна рука была кровавой,
Другая в пятнах серебра.
Помешивал художник краски
В памятой банке жестяной,
А на него не без опаски
Поглядывал другой больной.*

Может быть, поглядывал не больной, а больная? Лиснянская не раз возвращается к этой недолгой, но тяжелой поре своей жизни, с наибольшей художественной силой изобразив ее в венке сонетов «Круг». Беглой, но твердой, порою жесткой кистью написаны психиатр-провокаатор, санитарка-алкоголичка, орущая на больных, и та, которая навешает свою дочь, — посетительницу ждут машина главка

и ужин в доме чешского посла, и вот уже в изысканную форму сонета облекается далеко не изысканная, страшная обыденность:

*Судьба меня за шиворот берет,
Бросает в ночь сорок второго года.
Перевернет мне душу этот год:
Стоит брезентом крытая подвода
У госпиталя, там, где черный ход,
Гружу я трупы за мензурку меда,
За черный с красным джемом бутерброд.
Мне лед мертвецкой руки ест, как сода,
Я — школьница, подросток, худоба,
Впервые вижу я мужское тело,
Но мертвое. Опричница-судьба,
О как ты далеко вперед глядела, —
Как эта смерть, что здесь во льду лежит,
Передо мною обнажится быт.*

Повторяю: кисть твердая, жесткая, не хочет автор приспособиться писать еловой иглой в воздушную тетрадь — вообще не хочет приспособливаться! Еще раз убеждаешься в том, что нет изобразительных средств сильнее, чем подробности обнаженного быта, окрыленные мыслью и музыкой. И еще одно наблюдение, может быть, мелкое, ремесленное: как хороши здесь традиционные рифмы, как ново они звучат, ибо содержательность (не содержание!) новая, и как чужеродны трагической поэзии Лиснянской беззвучные игрушечные ассонансы, до которых, пугливо следуя моде, она иногда опускается, вроде проза — просьба, завтра — олеандра и совсем уже невозможных кинохроника — тутовника. Пусть этим тешатся те, для которых «как» важнее, чем «что», потому что не понимают единства, слитности этих понятий. Дело не в брюзгливом пуризме, дело в гармонии.

Между тем чувство гармонии, то, что Заболоцкий обозначил когда-то аббревиатурой МОМ (мысль, образ, музыка), развито у Лиснянской так, как оно должно быть развито у истинного художника. Если вспомнить тех немногих, ныне здравствующих подлинных русских поэтов, прежде всего, конечно, Бродского, Тарковского, Кублановского, то, может быть, их подлинность открывается нам в гармонии, в той высокой душе, которая облачена в единственно предназначенную ей плоть ритма. Исходя из этого я хотел бы

остановить внимание читателя на тех стихах Лиснянской, которые приближаются к русской народной лирике. И здесь Лиснянская имеет предшественниц в лице Ахматовой («На Малаховом кургане» и «Я с тобой не стану пить вино») и в особенности Цветаевой, сделавшей в этой области существенные открытия. С удовлетворением замечаешь, что у Лиснянской такого рода стихи обладают чертами, только ей свойственными. Бросается в глаза, что она пользуется редко теперь встречающимися короткими (дву- или двухсполовиностопными) размерами. Если придерживаться женской линии, то начало ее, быть может, в «Рудокопе» Каролины Павловой:

*Здесь я мал и слаб,
Сплю в золе, как тварь;
Здесь я подлый раб,
Там я — грозный царь!*

Не отсюда ли происходят такие стихи Лиснянской, как «На излете лет...», «Разлетелся дым...», «Прощальная песня» и «Не затем я шла...»? Последние две пьесы как бы родились вместе, но они, при внешнем сходстве, не близнецы, да и пути их разошлись. «Прощальная» начинается так:

*Но прости-прощай,
Хлебом не стращай,
Я ведь шла не для
Твоего рубля,
Я ведь шла к тебе
Как судьба к судьбе.*

Метрический близнец этого стихотворения менее трагичен, менее наступателен, более скромнен и поэтому более естествен:

*Не затем я шла,
Чтоб тебя обидеть,
А затем я шла,
Чтоб тебя увидеть.
Не затем жила,
Чтоб не знать о боли,
А затем жила,
Чтоб не знать неволи.
Не затем ушла,*

*Чтобы схоронили,
А затем ушла,
Чтобы не забыли.*

Этот маленький шедевр, как бы пропетый с помощью пастушеской дудочки, обвораживает нас гармонией. Ведь Лиснянская верит, что Гармония (с большой буквы) возродится, и именно здесь, «в этом воздухе глухо закрытом», хотя сейчас

*Сама себе Гармония надоела,
Как только может себе надоест старуха.
Полгода сидит в рубахе когда-то белой,
А перед ней бордовая бормотуха.
А ведь давно ли в Санкт-Петербурге в белые ночи
Шпорой серебряной век перед нею звякал.
Что же с Гармонией делаться стало нынче?
Блок бы ее увидел — навзрыд заплакал.*

У серебряного века, у гусара, шпора из того же металла. Когда же кончился серебряный? Ахматова считает, что наш двадцатый век наступил вместе с первой мировой войной, отстав от календаря на четырнадцать лет. Если говорить о поэзии, то, на мой взгляд, кончина серебряного века совпадает с двумя страшными кончинами — Гумилева и Блока. Пошли дни, каждый из которых — длиною в год. Русская литература достойно их описала, но возвращается к ним снова и снова, потому что страшна и прекрасна, безнравственна и целомудренна их долгота.

Есть у Лиснянской стихотворение «Дни», как мне представляется, самое глубокое из тех ее устремленных к эпосу творений, где на полотне только объект, а субъект в нем растворяется. Мы не видим на этом полотне тех трех чудовищ, которые пожирали и пожирают отпущенные нам дни, — мы не видим тюрьмы, войны и больницы. Но самые ужасные бездны начала двадцатого века, бездны «На дне» или «Мелкого беса» — наконец, андреевской «Бездны», — райские кущи по сравнению с тем, что происходит день за днем в обычной, обыденной коммунальной квартире:

*Зачем, опершись о порог,
Часа эдак три иль четыре
Трет замшевой тряпкой сапог
Тишайший сосед по квартире?*

*Зачем в коммунальном аду,
Где все наши песенки спеты,
Выкрикивает какаду
Название центральной газеты?
Зачем тугодум-управдом,
На восемь настроив будильник
И спрятав его в холодильник,
В шкафу удушился стенном?*

Да, безумие тереть четыре часа тряпкой свой сапог, да, безумны и какаду и управдом-самоубийца, безумны наши дни, а поэт не ужасается. Слабый и безоружный, он вооружается опытом:

*Но есть жесточайший порядок
И в том, что безумны они,
И в том, что они без загадок.*

Только художник, черпающий мужество в смирении и вере, может определить безумие наших дней, ничуть его не страшась, как порядок, пусть жесточайший. И все же загадка есть. Это загадка русского поэта. Через какие только муки ада не прошел человек, а всегда оставался подобием Того, Кто создал его. Кто устами Своих поэтов говорил убийцам: «Не волк я по крови своей, и меня только равный убьет». И еще говорил: «Смерть можно будет побороть усилием воскресенья». И еще говорил: «И в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас». И даже та, чья поэзия родилась из чувства вины, говорит убийцам как высшая, как сильная:

*Не мучайте меня, — умру от жалости,
Мне жалко вас, не мучайте меня.*

В унижении и бесправии непобедимую высоту дала Ли-
снянской вера.

Май 1986

БЕСЕДЫ С АХМАТОВОЙ

Разрозненные воспоминания

Эту комнату в квартире Ардовых на «легендарной Ордынке» воспоминатели называют нежно: «уютная». Комната в большой квартире дореволюционного дома когда-то, видимо, предназначалась для прислуги. Очень маленькая, с окошком почти под самым потолком. Ахматова к старости стала туга на ухо, но разговаривать громко я затруднялся, потому что все было слышно за стеной, в главной комнате, где собиралась семья, сидели гости — шумные, веселые, пожилые и молодежь, писатели и актеры. Среди писателей, часто посещавших хозяина дома, был один, пользовавшийся дурной славой. Ахматова предупреждала меня об этом, между тем она охотно, по крайней мере со мной, беседовала на жгучие политические темы, мне приходилось повышать голос, опасный гость мог услышать. Так вправду ли была уютной эта легендарная комната?

Я встречался с Анной Андреевной у Марии Петровых на Беговой, и у Ники Глен на Садово-Каретной, и у Большинцовой-Стенич на улице Короленко в Сокольниках, на пятом этаже без лифта, и у Нины Леонтьевны Манухиной, вдовы поэта Георгия Шенгели, на Первой Мещанской (теперь проспект Мира). Во всех этих временных ее пристанищах к ней относились любовно, я бы сказал, восторженно-почтительно. И все же она всегда рвалась на Ордынку, даже из огромной квартиры Манухиной-Шенгели, где три женщины — мать, дочь и домработница — обхаживали Анну Андреевну, где в ее распоряжении была большая светлая комната и замечательная библиотека покойного Шенгели, книги на разных языках. Почему же Анна Андреевна тянулась на Ордынку, к маленькой комнате с окошком под самым потолком?

Я думаю, что ее влекла не только доброта и самоотверженная отзывчивость Нины Антоновны Ольшевской, жены Ардова, актрисы и режиссера. Анне Андреевне была по ду-

ше вся атмосфера в шумной актерской семье Ардовых, милые мальчишки Миша и Боря, молодежь, их посещавшая, ужин и разговоры после полуночи за широким без скатерти столом. Чем-то — так я предполагаю — это напоминало «Бродячую собаку», но там, признавалась она в стихах, всем было невесело, а здесь, на Ордынке, в ее скудную и трагически трудную жизнь врываются новые голоса, новые словечки новой улицы, уже не совсем безъязыкой. Здесь происходили наши самые долгие беседы под многоголосицу за стеной.

Что мне особенно сильно запомнилось, если не повторять других воспоминателей, в особенности автора замечательных записок — Лидию Корнееву-Чуковскую?

О Гумилеве. Всем было известно, что Гумилева расстреляли за участие в монархическом заговоре. До Анны Андреевны дошла каким-то образом книга Ирины Одоевцевой «На берегах Невы», в которой утверждалось, что молодая поэтесса нечаянно увидела в ящике стола Гумилева большое количество кредиток и револьвер. Отсюда — вывод Одоевцевой — подтверждение участия Гумилева в таганцевском заговоре. Видимо, Одоевцева хотела, чтобы читатели окончательно поверили в героический монархизм Гумилева, в русского Андре Шенье.

Понятно, как вознегодовала Анна Андреевна, читая эту красивую выдумку об отце ее репрессированного сына, о поэте, с чьим именем навсегда и грозно связано ее имя. Она точно знала, что Гумилев в таганцевском заговоре не участвовал. Более того, по ее словам, и заговора-то не было, его выдумали петроградские чекисты для того, чтобы руководство в Москве думало, что они не даром хлеб едят. Гумилев, говорила Анна Андреевна, шел к советской власти. «Увидишь, — сказал он ей, — это будет первая настоящая русская власть в России». Он с удовольствием работал в горьковской «Всемирной литературе».

Теперь, когда я пишу эти записки, стало окончательно доказанным, что расстреляли ни в чем не повинного человека, но Ахматова мне говорила об этом тридцать лет назад.

Еще Анна Андреевна мне говорила, что Гумилев в годы войны разочаровался в династии, ему отвратителен был Гришка Распутин. Эти рассуждения она от него слышала, когда он на краткий срок приезжал с фронта.

Как-то я сказал, что талант Гумилева особенно ярко выразился в «Огненном столпе». Анна Андреевна со мной согласилась:

— Это его последняя книга. Он только начал развиваться как поэт. Мысль его стала глубже, от христианства бытового, обрядового он поднимался к постижению высочайшей христианской философии. Неизвестно, как бы сложилась его жизнь, если бы его не расстреляли, в последующие годы, но бесспорно то, что мы бы имели еще одного огромного русского поэта.

Когда Гумилева арестовали, Анна Андреевна пошла просить заступничества у Горького. По ее словам, Алексей Максимович вел себя безукоризненно. При ней звонил Ленину, Троцкому, но их секретари его с ними не соединяли. Удалось ему дозвониться только до Луначарского, тот обещал поговорить с Лениным, но неизвестно, состоялся ли такой разговор.

Были о Гумилеве и более веселые рассказы. Я их передаю своими словами. Гумилев читал в литературной студии начинающим стихотворцам лекцию по версификации. Однажды занятия посетил Горький, под началом которого служил Гумилев. Когда слушатели разошлись, Горький спросил Гумилева:

— Скажите, все это надо поэту знать? Обязательно?

— Надо, — твердо сказал Гумилев.

Тут Горький задал каверзный вопрос:

— Николай Степанович, что вы скажете мне о моих стихах?

— Я их плохо знаю. Признаться, не помню, чтобы я их читал.

Горький не обиделся, но возразил:

— А между тем одно мое стихотворение имело большой успех, особенно среди молодежи, студенческой и рабочей. Его и сейчас декламируют. «Буревестник» называется оно.

— Да, да, вспоминаю, четырехстопный хорей со сплошь женскими окончаниями. Размер — подражание «Гайавате». Простите меня, Алексей Максимович, это беспомощно. Мне как-то попала на глаза одна ваша строчка: «Высоко в горы вполз уж и лег там». Если бы вы знали русское стихосложение, вы не составляли бы стопу амфибрахия из односложных слов. Нельзя это делать, неграмотно. «Вполз уж и лег там». Неужели ваше ухо талантливого писателя не

слышит этого совершенно невозможного сталкивания слов — и не только в стихах?

Когда Гумилев рассказал о том, что случилось, Анне Андреевне, она рассмеялась, но и встревожилась: не рассердится ли Горький, не лишится ли Гумилев работы, а значит, и пайка, столь нужного в тот голодный год? Горький не только не рассердился, но стал, по словам Анны Андреевны, еще уважительней относиться к Гумилеву.

Многое у меня связано с комнатой на Ордынке, всего и не упомнишь, но кое-что то и дело всплывает в слабеющей памяти.

Однажды я возвратился домой поздно вечером, после какого-то никому не нужного переводческого совещания. Вдруг — звонок Анны Андреевны:

— Приезжайте ко мне. Сейчас.

— Может быть, отложим на завтра? Уже поздно...

— Вы мне нужны сейчас. — И повесила трубку.

Я оделся, спустился в метро, благо пересадки не было, минут через сорок был уже у Анны Андреевны. Сразу было видно, что она очень взволнована. Не полулежала, как всегда, на твердой тахте, ходила по комнате, поднимая руки, что было ей несвойственно, под рукавами виднелись прорехи. Я решил, что случилось нечто ужасное, — вся жизнь Анны Андреевны подготовила меня к тяжелому предчувствию.

— Читайте, — сказала она и дала мне зарубежный русский журнал. Не помню ни названия журнала, ни автора статьи, взволновавшей Анну Андреевну. Смутно мерещится мне, что автор — княгиня Шаховская. Если это не так, то заранее прошу прощения у читателя.

Я прочел указанные мне Ахматовой строки. Они повергли меня в недоумение. Прочел снова. В чем причина столь сильного волнения Анны Андреевны? В статье-воспоминании сообщалось следующее (передаю, конечно, не дословно, а самую мысль). Гумилев бросил великого поэта Анну Ахматову ради хорошенькой, пустенькой Ани Энгельгардт.

Что я должен был сказать? Что ужасного было в этом сообщении? Но не напрасно же Анна Андреевна позвала меня так поздно вечером к ней приехать. Вот я и сказал:

— Нехорошо вмешиваться в личную жизнь поэта, слава Богу, живого.

— Какой вздор! При чем тут личная жизнь? — В голосе Анны Андреевны слышался знакомый ее друзьям

гнев. — Не Николай Степанович бросил меня, а я бросила Николая Степановича.

У меня отлегло от сердца, ничего дурного не произошло, этот женский гнев меня умилил и восхитил. Великий, боготворимый мною поэт все-таки женщина.

Но вдумаемся в то, что произошло. Всю жизнь на Анну Андреевну клеветали. Клеветали враги, клеветали непрочные друзья, клеветали мелкие люди и свирепые власти. Одно из ее стихотворений так и называется «Клевета». Она, такая точная в своих литературоведческих работах, в своих, к сожалению, кратких воспоминаниях, она, обладавшая волшебной, завораживающей точностью в своих стихах, терпеть не могла неточности в любом жанре, а тем более — лжи, и, как это часто бывает, пустяк, прочитанный в зарубежном журнале, был еще одной каплей, переполнившей чашу, горькую чашу ее жизни.

Как и все мы, Анна Андреевна была возмущена тем скандалом, который учинил Хрущев в Манеже, обрушившись на молодых художников. Разговаривая об этом, я почему-то вспомнил фразу из «Автобиографии» Тамерлана (по-тюркски Аксак-Темира, Железного Хромца): «Мир подобен золотому сундуку, наполненному змеями и скорпионами».

Фраза понравилась Анне Андреевне, но она заговорила о другом.

— Моя прародительница Ахматова была в родстве с князьями Юсуповами. А Юсуповы — ветвь от потомков Тамерлана. Сам же Тамерлан был потомком Чингисхана, следовательно, Чингисхан — мой предок.

Я объяснил, что это не так, и на следующий день принес ей «Автобиографию» Тимура в переводе с тюркского и джагатайского В. Панова и с его же предисловием и комментариями. Комментатор отрицает претензию Тимура на то, что он будто бы внук Чингисхана: «Это обычная манера генеалогий «Автобиографии» — сближать «героя» с великим родоначальником».

Анна Андреевна была явно недовольна, но примирилась с тем, что она не потомок Чингисхана: «Быть потомком Тамерлана тоже неплохо».

Будучи редактором переводов стихотворений татарского поэта-классика Габдуллы Тукая, я предложил Анне Андреевне перевести несколько его стихотворений. Она сказала:

— Я сейчас плохая, но своего перевода непременно.

Замечательное свойство Анны Андреевны, не мной первым замеченное: в своих поступках, в своих беседах она была высока, но никогда — высокопарна. Любила шутку и шутила сама. Могла о людях, которых почитала, порою выразиться не очень почтительно, но не осуждающе. Всегда с гордостью говорила о том, что она акмеистка, и чувствовалась в ней давнишняя неприязнь к старшим, к символистам. Оказывалось, что у всех, за исключением Блока, были дурные черты характера. Часто рассказывала мне (а я жадно слушал) о том, что за люди были Брюсов, Вячеслав Иванов, Бальмонт, Мережковский, Гиппиус. Всех не любила, хотя признавала, что символизм — важное, значительное явление в русской общественной жизни.

Она с интересом следила за тем, что происходило в молодой русской поэзии и в многочисленных толпах поклонников этой поэзии. При мне хвалила только Иосифа Бродского, уже тогда видела в нем первоклассного поэта. О другом поэте, который был, кажется, годами старше Бродского и широко печатался, говорила: «Изящен, но мелок». Отрицала талантливость самых знаменитых. Я назвал одного из них недурным, часто острым фельетонистом, Анна Андреевна удивилась:

— К чему мне фельетоны в стихах?

Когда Анна Андреевна приезжала из Ленинграда в Москву, к ней каждый день приходили друзья и знакомые. Ей было неприятно, если в одно и то же время сталкивались разные люди, и для каждого она определяла не только день, но и час. Так было назначено время и мне, но, когда я пришел, застал на Ордынке Пастернака. По его облику и поведению было заметно, что он собирался уходить, но заговорился. Говорил же он почему-то о Голсуорси, «Сагу о Форсайтах» называл нудной, тягучей, даже мертвой. Вскоре он ушел. Анна Андреевна развеселилась:

— Вы догадываетесь, почему Борисик вдруг набросился на Голсуорси? Нет? Когда-то, много лет назад, английские студенты выдвинули Пастернака на соискание Нобелевской премии, но получил ее Голсуорси.

— Анна Андреевна, помилуйте, разве это пристало такому великому поэту?

— Великий этот поэт — совершенное дитя.

Надо заметить, что разговор происходил задолго до того, как Пастернаку была присуждена Нобелевская премия. «Борисик» звучало ласково, Ахматова преклонялась перед гением Пастернака. Она твердо верила в бессмертие поэзии

Пастернака, между тем как в прочности, нужности своих стихов сомневалась часто, искренно. Она была довольна, хотя и несколько удивлена, когда я ей сказал, что она — единственная в двадцатом веке продолжательница Некрасова, что его щемящий, за душу хватающий анапест слышен в ее строках из «Реквиема»: «И ненужным довеском болтался возле тюрем своих Ленинград». И одновременно со своими сомнениями, как это нередко бывает у больших художников, она догадывалась о своей силе, о своем месте в ряду бессмертных.

Году в 1958 или в 1959-м она мне позвонила, сказала, что находится близко от меня, сейчас ко мне приедет. Потом я узнал, у кого она была в гостях — всего в десяти минутах ходьбы от меня, но ей уже была тяжела и такая дорога, приехала в такси.

Я поставил на стол бутылку «Лидии», тогда модного молдавского вина, но Анна Андреевна сказала, что это вино ей не нравится.

— Может быть, водочки? — предложил я.

— Немного — с удовольствием, хотя врачи запрещают, — согласилась Анна Андреевна и достала из кармана то ли нитроглицерин, то ли валидол. Я тогда был здоров и не знал назначения этих лекарств. Мы выпили по рюмочке, потом по второй, далее уже пил один я. Анна Андреевна прочла мне главу из «Поэмы без героя». Это было так ново, так мощно, так непохоже на прежнюю Ахматову и так пахматовски умно, притягательно, прекрасно. Я был потрясен и сказал Анне Андреевне, что никто из теперешних русских поэтов не понимает с такой глубиной русскую боль, русскую жизнь, как она, что никто еще не написал о предвоенных десятых годах, а это было очень важное, переломное для России время. Все могло бы быть у нас иначе, если бы не первая мировая, ненужная царскому правительству и ужасная для народа. Об этом времени, может быть, еще и напишут, но пока она — первая. Анна Андреевна раскраснелась, то ли от двух рюмочек, то ли от моих слов, и похвалила меня:

— Никто не понимает в стихах так, как вы.

Обычно она говорила такие слова только о Чуковских — об отце и дочери.

Создалась такая шутливая, даже радостная атмосфера, да к тому же я выпил полбутылки, что, забыв свой всегдашний трепет, я сказал:

— Так что же получается? Среди женщин — выше всех Ахматова. Ну, давайте посмотрим, кто был раньше да и позже. Цветаеву я в счет не беру, потому что по-настоящему мне нравятся только ее «Версты» и несколько стихотворений из последующих книг, не люблю ее поэм, кроме «Крысолова», «Поэмы Горы».

Ахматова улыбнулась, промолчала. Я начал свой экскурс:

— Была в восемнадцатом веке Бунина, родственница Ивана.

— Ее никто не читал, я тоже. Следующая!

— Евдокия Ростопчина.

— Это очень поверхностно.

— Каролина Павлова.

— Ценный поэт, но не первого класса.

— Мирра Лохвицкая.

— В ней что-то пело. Но на ее стихах лежит печать эпохи безвременья — Надсон, Минский, Фофанов.

— Кто же тогда остается? Одна Сафо?

— Сафо — это прелестный миф. Мне ее читал по-гречески Вячеслав Иванов. От строк Сафо остались одни руины.

— Я, разумеется, Сафо не читал в подлиннике, только в переводах того же Вячеслава Иванова, в книге «Алкей и Сафо». Назову последнюю — Деборд-Вальмор. Пастернак сравнил с ней Цветаеву.

Анна Андреевна возразила с горячностью:

— Еще Пушкин писал о слабости французской поэзии. Ведь еще не было Бодлера и Верлена. А Деборд-Вальмор хотя и мила, но чересчур сентиментальна, наивна...

Через несколько лет после этой веселой беседы произошло важное событие в моей жизни — важное потому, что оно связано с Ахматовой.

Был объявлен мой вечер в ВТО¹, — впервые я должен был читать свои оригинальные стихи. Анна Андреевна заволновалась:

— Я непременно приду.

Я просил, даже умолял Анну Андреевну не делать этого, ей будет тяжело, зал, возможно, душный, лифт, как это часто бывает у нас, выйдет из строя. Меня поддержала Ни-

¹ Всероссийское театральное общество.

на Антоновна Ольшевская, но Анна Андреевна упрямо повторяла:

— Я непременно приду. Должна прийти.

И пришла. До сих пор организаторы вечеров «Устной поэзии» в ВТО с гордостью вспоминают о том, что Ахматова у них была. Они даже прибавляют к этому, что Ахматова будто бы одобряла их вечера. А все дело в том, что Анна Андреевна своим присутствием хотела помочь немолодому, но неизвестному другу.

В 1961 году я закончил свою главную стихотворную работу — поэму «Техник-интендант». Анна Андреевна выразила желание послушать поэму. Ахматова жила тогда на проспекте Мира у Нины Леонтьевны Манухиной-Шенгели. Я часто бывал в этом доме, так как дружил с покойным Георгием Аркадьевичем, потом там собиралась комиссия по его литературному наследию, членом которой я был.

Поэму я читал обеим — Анне Андреевне и Нине Леонтьевне, читал долго, больше часа. Я заметил слезы на глазах Анны Андреевны.

Пришло лето. Анна Андреевна подарила мне свою маленькую книжицу в черном переплете, вышедшую в серии «Библиотека советской поэзии». Вот надпись:

«С. Липкину, чьи стихи я всегда слышу, а один раз плакала.

*Ахматова
6 июля»*

У меня — несколько книг с добрыми надписями Анны Андреевны. Эта — самая драгоценная. Она была не только моей гордостью, — она для меня стала правом на существование в те восьмидесятые годы, когда на родине, в советской печати, я не существовал.

9 мая 1989

СИЛА СОВЕСТИ

С Борисом Слуцким я познакомился благодаря В.С. Гроссману, который, в свою очередь, услышал о Слуцком от Эренбурга. Слуцкий, служивший во время войны в армии в качестве юриста, принес Гроссману свои записки о солдатах и офицерах, судимых военным судом за различного рода преступления.

Записки эти показались Гроссману чрезвычайно ценными, отлично изложенными. Он мне сказал, что материальные обстоятельства складываются у молодого литератора неважно, просил меня помочь Слуцкому раздобыть переводы и, конечно, послушать его стихи.

Слуцкий пришел ко мне на Беговую. Насколько я помню, произошло это еще в сталинское время, но, может быть, в ранне-хрущевское. Переводческий вопрос был решен быстро: я предложил Слуцкому перевести несколько стихотворений из одного сборника, который я тогда редактировал. Забегая вперед, скажу, что Слуцкий справился с этой новой для него работой на хорошем профессиональном уровне.

В день знакомства Слуцкий прочел мне много своих стихов. Некоторые из них вскоре стали знаменитыми, как, например, баллада о тонущих лошадях. Стало ясно, что мой гость принадлежит не к распространенному у нас виду сочинителей стихов, а к чрезвычайно редкой и драгоценной породе поэтов. Хотя те, от которых явно шел Слуцкий, — Маяковский, Асеев, Сельвинский — были мне чужды, талант поэта был неоспорим в своей значимости и объемности. Оказалось, что литературные взгляды Слуцкого вовсе не были узкими, он понимал красоту и важность других наших поэтических направлений, отдавал должное Хлебникову, Цветаевой, Белому, Кузмину, Ходасевичу и даже Бунину, о стихах которого мало кто из советских стихотворцев тогда знал.

Собственные стихи Слуцкий читал не совсем обычно — ни в эстрадной манере левого толка, ни в спокойной классической. Казалось, он зачитывает рапорт или приказ, и при этом бесстрастными были его голос и глаза, да и весь его внутренний облик. Он знал, что и я не только перевожу, но и пишу в стол, послушал меня и, что называется, принял. Между нами установились приятельские отношения, постепенно переходящие в дружеские.

Мне нравился характер Слуцкого. Человек серьезный, уверенный в себе, преданный друзьям. Убежденный коммунист, но противник Сталина. Поклонник Маркса, но читающий и порой почитающий Бердяева и других веховцев. Интересы широкие, не только литература, но и политика, история, живопись, и острое любопытство к людям, к повседневному быту. Непрочь был поделиться литературной или политической сплетней — кто ее не любит?

Гроссмана и меня он приохотил к художественным выработкам, приводил в мастерские художников, весьма разных, — к Тышлеру, к Сидуру, к Глазунову в крохотное ателье на Сретенке, к Вейсбергу. Прелестная его черта — желание, когда стал известен, помочь поэтам, молодым и не очень молодым, много тратил времени на то, чтобы пробить их сочинения в редакциях журналов, издательств, подробно рассказывал о том, как движутся его усилия в этой области. Он привел ко мне Глазкова, Куняева, Лимонова, красивого блондина, который продал мне, рублей, кажется, за пять, машинописную тетрадочку своих стихов и предложил сшить мне брюки. Когда я сказал Слуцкому, что Глазков — талантливый, Куняев — способный, Лимонов — вздор, он обрадовался за Глазкова, горячо возражал против оценок двух других. Осторожно хвалил знаменитостей — Евтушенко, Рождественского, Вознесенского, отдавая предпочтение последнему. Ахмадулина его удивляла и умиляла. С бóльшей симпатией отзывался о тогда менее известных — Самойлове и Корнилове. О стихотворении Межирова «Коммунисты, вперед!» (а ставил он этого поэта высоко) сказал: «Сам-то он не коммунист, коммунист — я, в этом-то и наши расхождения. Хотя у него есть партбилет».

После войны Слуцкий, не имея собственного жилья в Москве, вынужден был снимать пристанище за большие для него деньги. Наконец Союз писателей предоставил ему и его жене Тане небольшую комнату в писательском доме на Ломоносовском проспекте, в коммунальной квартире. В Москве это называлось подселенка. Благодаря энергии Та-

ни комнату в коммуналке удалось обменять на двухкомнатную квартиру в доме полубарачного типа у самой рижской железной дороги. Таня превратила это бедное жилище в нечто уютное и милое. Мы сделались довольно близкими соседями, стали с Борисом видеться гораздо чаще, чем прежде, совершали прогулки по нашим аэропортовским местам. О чем говорили? О разном: о политике, о еврейском вопросе, о литературных делах, о прочитанных книгах по истории и философии, о стихах. Радость бесед заключалась в их откровенности.

Началась травля Пастернака в связи с выходом за рубежом «Доктора Живаго». Членов Союза писателей вызвали на общее антипастернаковское собрание. Сосед по писательскому дому, всегда внушавший мне недоверие, позволил мне, приглашая в собственную машину. Я ответил, что мне надо в поликлинику, покинул дом, чтобы вернуться поздним вечером. Потом выяснилось, что такой же путь абсентеизма избрали все литераторы, считавшие себя порядочными людьми. На большую храбрость не осмеливались.

Вернувшись домой, я с помощью телефона узнал, что против Пастернака выступил Слуцкий. Через несколько дней он ко мне пришел без предварительного звонка. Он был небрит, его обычно бесстрастное, командирское лицо налилось краской. Вот что он мне рассказал.

Его, члена партии, партком обязал уговорить обрушиться на Пастернака поэта Леонида Мартынова, с которым Слуцкий почтительно дружил. Кандидатура Мартынова нравилась парткому потому, что Мартынов был беспартийным, талантливым и негосударственным. Было известно, что Пастернак его ценил. Мартынов нехотя согласился, но за полчаса до начала собрания сказал Слуцкому: «А почему вы не берете слова? Я выступлю только в том случае, если выступите вы».

Растерявшись, Слуцкий повел Мартынова в партком. Секретарь парткома (забыл его фамилию) обратился к Слуцкому: «В самом деле, почему тебе не выступить? Леонид Николаевич прав». Слуцкий вынужден был согласиться. Все это он мне рассказывал зло, злясь, как я подумал, на себя. Но и я не был расположен к добродушной беседе:

— Боря, вы понимаете не хуже меня, что никакое общее собрание не может исключить из русской литературы великого поэта. Вы, умный человек, совершили поступок не только дурной, но и бессмысленный.

Слуцкий беспомощно возразил:

— Я не считаю Пастернака великим поэтом. Я не люблю его стихи.

— А стихи Софронова вы обожаете? Почему же вы не потребовали исключения Софронова?

— Софронов не опубликовал антисоветского романа за рубежом.

— Но ведь он уголовник, руки его в крови. И этого бездарного виршеплета вы оставляете в Союзе писателей, а Пастернака изгоняете?

...Когда Слуцкий тяжело заболел, я почувствовал, что не должен был с ним так разговаривать. Несколько лет назад Межиров сказал мне, что симптомы психического заболевания случались у Слуцкого и раньше, например сразу же после войны.

Пастернак умер. Когда я вернулся с похорон, домашние мне сообщили, что звонил Слуцкий. Я протелефонировал ему, мы условились о завтрашней встрече на углу Черняховского и Планетной. Слуцкий нервно стал меня расспрашивать о похоронах. Я рассказывал: у входа на ступеньках стояла Ивинская в траурном платье, из известных писателей я запомнил Паустовского, с которым стоял в почетном карауле, Каверина, Вознесенского, гроб с телом поэта несли на руках через поле, а напротив, вдоль забора, выстроились писательские и иные аппаратчики, я узнал Воронкова, тогдашнего секретаря Союза писателей по оргвопросам, на нас нацелили фотоаппараты, у могилы прекрасно, умно говорил В.Ф. Асмус, потом замечательно выступил молодой монах... Слуцкий вбирал в себя каждое слово. Мне стало его жаль.

Мы продолжали встречаться, читали друг другу свои стихи. Однажды, выслушав мою поэму «Техник-интендант», Слуцкий сказал:

— Хватит вам сидеть дома. Вот Тарковский наконец издал книгу. Теперь ваша очередь.

— Ничего из этого не выйдет.

— Выйдет. Дайте мне рукопись. Я отнесу в «Советский писатель».

И отнес. Мало того, сопроводил рукопись своей рецензией. Официальной силы рецензия не имела, так как Слуцкий не значился в списке рецензентов, утвержденном высшей инстанцией, но сочувственные, даже хвалебные слова известного поэта сделали свое дело. Книгой заинтересовались, ее дали на отзыв Адалис и Кожинovu, отзывы были положительные, и через три года, в урезанном виде, на

56-м году моей жизни, издали первую книгу моих стихов «Очевидец». Я храню в сердце благодарность Слуцкому.

Основной круг моих знакомых составляли переводчики, в смысле культуры — передовой отряд Союза писателей. Когда я начал общаться с советскими поэтами, меня удивили две их черты: они в большинстве своем были малообразованны и любили говорить о себе. Слуцкий был очень начитан, книгу любил, как жизнь, и крайне редко говорил о себе, только в случаях необычных. Вот один из них: готовилось выступление по телевизору известных деятелей литературы и искусства еврейского происхождения, направленное против агентов ЦРУ — сионистов, против государства Израиль, которым управляют «фашисты с голубой звездой». Я знал об этой акции, так как, хотя не принадлежал к известным, выступить предложили и мне: один из секретарей Союза писателей (московского отделения), генерал-лейтенант КГБ Ильин, прельстился такой коллизией: я — еврей и в то же время — народный поэт Калмыкии, здесь — дружба народов, там — фашистская нечисть. Чтобы закончить о себе: я немедленно вылетел в Душанбе для переводческой работы.

Слуцкого вызвали высокие инстанции, может быть, ЦК КПСС (не ручаюсь за точность памяти). Слуцкий так сказал: «Меня интересуют заботы русского мужика, заботы израильского мужика оставляют меня равнодушным». Ответ, видимо, понравился, к Слуцкому больше не приставали.

Я ничего не знаю об интимной жизни Слуцкого до Тани, разговоры на такого рода темы Слуцкий не терпел (и в этом он отличался от своих сверстников — советских стихотворцев), я видел только, что Таню он любил всем своим существом, гордился ее красотой и умом — и было чем гордиться. Она заболела смертельной болезнью, и он боролся за ее жизнь, добился того (а это было нелегко), что она получила возможность лечиться во Франции, здоровье ее несколько улучшилось. Последние дни ее жизни мы — двумя семьями — провели в писательском Доме творчества в Малеевке. Таня участвовала в наших беседах, молодая, прелестная, смеялась шуткам, воля у нее была сильная. Много гуляли, Слуцкий приноравливался к тому, что Таня и я (сердечник) шли медленно. Случалось, что Таня не выходила, ей недужилось, мы прогуливались втроем, о состоянии Тани Слуцкий сообщал отрывисто, кратко. Однажды он мне так же отрывисто, глядя не на меня, а в снежное пространство, неожиданно сказал: «Мое выступление про-

тив Пастернака — мой позор». И замолчал. Молчание длилось долго.

Тане стало очень плохо. Инна Лиснянская находилась неотлучно у ее постели. Слуцкий вызвал «скорую помощь». Таню увезли в больницу. В больнице она скончалась. Мы хоронили ее в новом — дальнем — крематории. Во время похорон Слуцкий несколько раз благодарил Инну Львовну, видимо забывая, что повторяется. Держался он по-солдатски стойко, но напряжения не выдержал, заболел, слег в больницу.

Началась метропольская история, мы со Слуцким не встречались год или больше. Причина — наше с Инной Львовной особенное положение и болезнь Слуцкого. Случайно я встретился с ним на улице, пошли по направлению к его дому. Глаза у него были больные, неподвижные, он не смотрел на собеседника, пересохшие губы покрылись какими-то мелкими белыми точечками. Он сказал, глядя не на меня, а перед собой:

— У меня цензура выкинула из сборника шесть стихотворений. — Помолчал и добавил: — О вас и Инне слышал по радио. Ваш выход из Союза писателей не одобряю.

Когда мы проходили мимо нашего дома, я позвал его к нам пообедать. Он отказался:

— Привет Инне. Я помню ее заботу о Тане. — И замолчал, по-прежнему не глядя на спутника. У Ленинградского рынка прервал молчание: — Я был в поликлинике. Врачи мне не помогут. Я пропал.

— Вам прописали лекарства? Вы их принимаете?

— Я скоро умру.

Через некоторое время мы снова встретились на улице. В руках у него была сумка. Я опять позвал его к нам, он опять отказался, с безумным упорством просил передать привет и благодарность Инне. Сказал: «Я никого не хочу и не могу видеть. Кроме брата. Уеду к нему в Калугу (или в Тулу?). Я скоро умру».

Ему надо было в молочный. Их было несколько по дороге к его дому, но он повел меня в противоположную сторону, по направлению к «Соколу». Объяснил: «Там меня знают». И действительно, продавщица встретила его приветливо, как знакомого.

Я проводил его до дому. Он немного оживился, начал разговор на политические темы, вполне разумно, но глаза его были как бы из замутненного стекла, болезненными казались подрагивающие губы и даже усы. Одет он был нор-

мально, кепка, чистая куртка, но выбрит был плохо. Спросил меня:

— Вы пишете?

— Как это ни странно, и я, и Инна пишем много, как никогда раньше.

— И я пишу много.

— Почитаем друг другу?

— Не могу. Я очень болен. Скоро умру.

Мы расстались у его дома. К себе он меня не позвал.

В годы, последующие за его смертью, опубликовано огромное количество его стихов. Поражает и огромность их содержания. Даты не всегда обозначены. Когда Слуцкий писал эти стихи — до болезни или во время болезни? Жуковский говорил, что поэзия — это добродетель. Мандельштам считал поэзию сознанием своей правоты. Нельзя ли предположить, что поэзия — это сила совести, и мощь этой силы побеждает страшную немощь безумия.

ЖИЗНЬ И СУДЬБА ВАСИЛИЯ ГРОССМАНА (2 письма Гроссмана)

Среди моих бумаг почему-то оказалась копия следующего документа:

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем, что шинель специального корреспондента «Красной звезды» тов. подполковника Гроссмана В.С. за три года работы на фронте пришла в состояние полной изношенности.

*Полковник (И. Хитров)
Полковник (П. Коломийцев)
Подполковник (Л. Гатовский)
28 июля 1944 г.*

Каждая фраза этого акта по-своему замечательна. «Три года работы на фронте!» — именно работы — в дыму, в огне атак, в грязи и снегу бездорожья, в пыли окопов, в крови раненых, в болотной, речной, озерной воде. Я видел в том же Сталинграде известных писателей — спецкоров центральных газет. Иные — не все — не чуждались передовой, ходили иногда вместе с бойцами в атаку, но их отчаянность, лихость были однодневными, одноразовыми, потом в землянках больших военачальников начиналась роскошная выпивка. «Это что-то нерусская храбрость», — вспоминается замечание Лермонтова о Грушницком. Храбрость Гроссмана была храбростью чернорабочего войны, солдата жестокой поэзии войны. В то время как его коллеги умудрялись каждый год, а то и два раза в году, одеваться в генеральских пошивочных, шинель Гроссмана «пришла в состояние полной изношенности». Вот в такой, залитой бензином, заляпанной грязью шинели он запомнился мне в Сталинграде.

Если не считать той мелочи, что я остался в живых, мне на войне не везло. Я ее начал на Балтике, а там меня послали в морскую пехоту — в качестве корреспондента конечно, но понимающие люди знают, что такое морская пехота на Ленинградском фронте. Пережив несколько месяцев блокады, я был временно откомандирован для работы среди войск нерусской национальности в 110-ю кавалерийскую калмыцкую дивизию, в июле 1942 года мы попали в окружение в районе Мечетинской, больше месяца наш разрозненный отряд блуждал в степях по немецким тылам, мы вышли из окружения в районе Моздока в августе, а потом я был направлен в Сталинград, в Волжскую военную флотилию, труднейшую пору Сталинградской битвы находился на борту канонерской лодки «Усыскин», которая погибла, приходилось на бронекатерах переправляться и на правый берег, к полковнику Горохову на Рынок, и в родимцевский штаб в трубе. Однако все мои действия не были результатом моей личной смелости. Я не могу сказать о себе, что рвался в бой, — я просто подчинялся приказам.

Однажды комиссар «Усыскина» предложил пойти вместе с ним и двумя матросами по обстреливаемому немцами волжскому льду, чтобы передать письма, водку, еду повкуснее нашим морякам, установившим свой НП на чердаке одного из сталинградских полусгоревших домов на улице, занятой немцами. Комиссар мне только предложил, не приказал, он не был моим прямым начальником, и, если бы не стыд, я бы отказался.

Другое дело Гроссман. Он подчинялся не сталинградскому военному начальству, а московской редакции. Никто на фронте не мог ему приказывать. Но он с жадностью и отвагой художника искал истину войны, искал ее на той огневой черте, где смерть выла, пела над головой. Бог охранял его, он не был ни разу ранен. Его настигла не немецкая пуля, а другое страшное оружие.

На войне он был целомудренно чист, презирал тех литераторов, кто заискивал перед начальством, то униженно, то нагло выпрашивал награды и звания, кто ленился появляться на передовой. Был верен жене, в отличие от многих нас, грешных.

Его нравственную, а не только художественную силу чувствовали все. Порой боялись ее. Когда мы вступили в Германию и начались постыдные, дикие происшествия, кто-то из фронтовых стихотворцев, пародируя известную песню, сочинил:

*Средь огня и насилий
Едет Гроссман Василий,
Только он не берет ничего.*

Далее следовали строки об одном корреспонденте «Правды», родственнике дирижера Большого театра: «Серебро и посуду он везет Самосуду...»

В этих записках я хочу прежде всего рассказать о некоторых событиях, связанных со сталинградской диалогией: «За правое дело» и «Жизнь и судьба». Я хочу рассказать о них не только потому, что этими событиями обозначаются последние годы жизни Василия Гроссмана, но и потому, что они с необычайной выпуклостью выявляют черты нашей литературы и — шире — нашей страны. Мне бы хотелось написать не только о том неизмеримо тяжком, что выпало на долю этих романов и свело преждевременно в могилу их создателя, но написать портрет одного из самых крупных русских писателей нашего столетия, поскольку я единственный оставшийся в живых из его друзей, могу сказать, самый близкий его друг на протяжении двадцати с лишним лет. Однако я не чувствую себя сейчас достаточно готовым выполнить эту задачу полностью.

Наша духовная близость, наша будничная близость (если один из нас не был в отъезде, мы встречались ежедневно) не мешали мне понимать, что мой спутник-брат со всеми его мелкими, мне, как никому другому, открытыми недостатками намного выше меня и по таланту, и по своим душевным качествам. «Вася, ты же Христос», — говорил ему при мне Андрей Платонов, и я понимал, почему он так говорил.

Сосредоточив свое писание на истории вышеназванных романов, я все же чувствую, что обязан, хотя бы кратко, может быть, импрессионистично, кое-что рассказать и о самом Гроссмани, и о других его вещах последних лет, надеясь, что Бог пошлет мне годы и силы для более обстоятельного рассказа. Надеюсь и на то, что, если у меня найдется читатель, он не посетует на те отступления, на те беглые зарисовки, которые покажутся мне заслуживающими читательского внимания.

Нас познакомил незадолго до войны писатель С. Г. Гехт, наш общий приятель, мой земляк. Хотя литературный стаж Гроссмана к тому времени был невелик, его имя, по крайней мере в писательской среде, произносилось с уважением и было уже более громким, чем имя его почтенного од-

нофамильца Л. П. Гроссмана, автора литературоведческих исследований и популярного романа о дуэли Пушкина «Записки д'Аршиака». Славу Василию Гроссману принес его первый небольшой рассказ «В городе Бердичеве», напечатанный в апреле 1934 года в «Литературной газете». Лучшие наши писатели открыли в Гроссмане человека оригинального таланта, подлинного художника. С похвалой о рассказе говорил мне Бабель: «Новыми глазами увидена наша жидовская столица». А Булгаков сказал: «Как прикажете понимать, неужели кое-что путное удастся все-таки напечатать?»

Позднее я узнал, что до этого рассказа Гроссман написал повесть «Глюкауф». Этим немецким словом, которое приблизительно переводится так: «Со счастливым подъемом», наши шахтеры встречали поднявшихся на землю из ее глубины своих сотоварищей. Гроссман по окончании химического факультета Московского университета работал химиком-аналитиком на шахте «Смолянка-2» (он с гордостью говорил, что это самая глубокая, самая жаркая угольная шахта в нашей стране) и в своей повести, по-моему превосходной, описал тяжелую жизнь донбасских шахтеров — забойщиков, крепильщиков, коногонов, — полную опасностей при плохой системе охраны труда, и такое описание вызвало недовольство Горького, которому Гроссман через посредство одной своей высокопартийной родственницы (впоследствии репрессированной) отправил свою рукопись. Горький ответил:

«Автор рассматривает факты, стоя на одной плоскости с ними; конечно, это тоже «позиция», но и материал, и автор выиграли бы, если бы автор поставил перед собою вопрос: «Зачем он пишет? Какую правду утверждает? Торжества какой правды хочет?»

Не странно ли, что Горький, обладавший крупным дарованием, а художественный дар всегда рождается от правды, мог предполагать, что правд имеется несколько. А ведь когда-то, осуждаемый Лениным, сам искал Бога — единственную правду...

На западе уже шла война, а в Москве стоял мирный светлый день, когда Гехт нас познакомил. И мы вчетвером (Гроссман был с женой Ольгой Михайловной) направились в летнее кафе-мороженое на Тверском бульваре, сели за столик. Я к тому времени прочел первую часть недавно вышедшего романа Гроссмана «Степан Кольчугин» и сказал, что роман отлично написан, но мне кажется непродуман-

ным образ старого большевика Бахмутского — он скорее похож на старого меньшевика, и вряд ли во второй части судьба Бахмутского сложится благополучно, если автор будет правдив. Гроссман свернул пальцы рук, бинокликом приставил их к своим очкам, посмотрел на меня, а губы его улыбались. Он часто делал такой жест — биноклик из пальцев, если ему казалось, что собеседник что-то угадал. Кстати, не случайно вторая часть «Степана Кольчугина» так и не была написана.

Я подумал, что Ольгу Михайловну, большеглазую статную блондинку малороссийского типа, я где-то уже встречал. Впоследствии Гроссман рассказал мне историю своей женитьбы. Ольга Михайловна была женой писателя-перевальца Бориса Андреевича Губера (потомка поэта пушкинской поры Эдуарда Губера, переводчика «Фауста»).

Здесь я должен прервать рассказ, чтобы остановиться на перевальцах. Главой «Перевала», как известно, был А. К. Воронский, тот самый, которому Ленин после окончания гражданской войны поручил «собирать» новую советскую литературу. Не буду касаться программы «Перевала», я ее плохо знаю, вернее, никогда толком не знал, скажу только, как воспринимались перевальцы пишущей молодежью, мной и моими друзьями. Прежде всего — как порядочные люди, в отличие от рапповских разбойников: Авербах был той же самой породы, что и Софронов. А перевальцы хотели истинной, не прикладной, литературы, а главное, противопоставляли рапповскому национальному нигилизму искреннюю, бескарьерную любовь к России. Напомню, что это было в годы, когда само слово «Русь» считалось чем-то нелепым, глупо и даже враждебно старомодным. Рапповская критика с площадным визгом высмеивала строки Николая Зарудина (между прочим, немца, как и Пильняк): «Хорошо это счастье — поплакать над могилкою русской души». Костяк «Перевала» составляли, помимо Воронского, Иван Катаев, Николай Зарудин, Ефим Вихрев (автор первой работы о Палехе), Абрам Лежнев. К ним примыкал Пильняк. Был среди них и Петр Павленко. Считается, что он их погубил. Но, конечно, он был только орудием, перевальцы были обречены. Я был с ними немного знаком (ближе всех — с А. З. Лежневым и Борисом Пильняком), потому что в Москве писателей было мало, не то что нынешнее многотысячное поголовье, и все печатавшиеся в толстых журналах близко ли, далеко ли знали друг друга, начинающие и известные.

Когда «Перевал» был разогнан, но еще не репрессирован, я однажды встретил на узкой лестнице Гослитиздата на Большом Черкасском А. К. Воронского, спросил его о здоровье, об А. З. Лежнев. «Разойдись, иудей, по своим шатрам», — ответил мне своим семинарским голосом бурсак-большевик и удалился в ту комнату, где работал одним из рядовых редакторов. Это, кажется, было за год до его ареста. А был он еще не стар, крепкий, красиво седеющий.

Гроссман, приехавший в Москву из Донбасса после развода со своей первой женой, был радостно встречен перевальцами, подружился с ними. Я думаю, что в дебютном рассказе Гроссмана их привлекал образ Вавиловой, написанный без ангажированного романтизма тех лет. Вавилова, комиссар Красной Армии, лежит в бердичевской хате беременная. Идет гражданская война, а комиссар — беременная. Это должно было понравиться перевальцам. Так еще никто не писал о девушках в походной шинели.

И вот Гроссман влюбился в Ольгу Михайловну. Настал 1937 год. Бориса Губера, в числе других перевальцев, арестовали. Вскоре взяли и Ольгу Михайловну. На попечении Гроссмана оказались два мальчика, Миша и Федя, дети Губера и Ольги Михайловны. Гроссман мне рассказывал: «Ты не представляешь себе, какова жизнь мужчины, у которого на руках маленькие дети, а жена арестована». И тут он совершил один из тех поступков, которые делали Гроссмана — Гроссманом. Он написал всеильному железному наркому НКВД Ежову письмо, в котором сообщал, что Ольга Михайловна — его жена, а не Губера, и поэтому не подлежит аресту. Казалось бы, это само собой разумеется, но в 1937 году только очень храбрый человек осмелился бы написать такое письмо главному палачу государства. И, к счастью, письмо неожиданно подействовало: просидев около года в женской тюрьме (она помещалась в переулке за теперешним зданием американского посольства), Ольга Михайловна была выпущена на свободу. К слову сказать: Ольга Михайловна говорила, что по тюрьме пошел слух, будто бы там в это время сидела Мария Спиридонова.

Когда мы с Гроссманом познакомились, я чувствовал, что он счастлив. Литературный успех, особенно осязаемый после полунищенской, одинокой жизни донбасского инженера (первая жена и дочь Катя жили отдельно в Киеве), новые умные, интересные друзья, красивая жена. «Меня поразило: какие красивые жены у писателей!» — говорил он мне, когда мы сблизились и когда он вспоминал о своих

первых шагах в литературе. Он был высокого роста, курчавый; когда он смеялся (а смеялся он в те дни часто, не то что потом), на щеках у него появлялись ямочки. Необыкновенными были его глаза — близорукие, одновременно пытливые, допрашивающие, исследующие и добрые: редкое сочетание. Женщинам он нравился. От него веяло здоровьем. Тогда я еще не знал, что он боялся переходить московские площади и широкие мостовые: общая болезнь с другим моим великим другом — Анной Ахматовой.

В кафе-мороженом Гехт предложил мне кое-что прочитать. Я прочел два или три стихотворения. Гехт и Ольга Михайловна выслушали их равнодушно, а Гроссман сказал: «Хлебопек» — и пояснил: в девятнадцатом веке поэты были хлебопеками, в двадцатом стали ювелирами. Через много лет он высказал мысль о хлебопеках и ювелирах в последней своей книге «Добро вам», о которой я кое-что расскажу.

После первой последовали другие встречи: то у него в коммуналке на улице Герцена против Консерватории, то у Гехта, то у Фраермана, куда приходили также Паустовский, Осип Черный, иногда Гайдар. Гроссмана и меня потянуло друг к другу. Наши встречи прервала война. На пятый ее день я был мобилизован и вместе с Александром Кроном и Леонидом Соловьевым (автором «Возмутителя спокойствия») был направлен в Кронштадт, а Гроссман стал сотрудником «Красной звезды» и отправился на передовую. Мы свиделись только в октябре 1942 года в Сталинграде, где базировалась наша Волжская военная флотилия, — вернее, на левом берегу Волги против Сталинграда. Свиделись мы не случайно. Он знал, что я близко от него. К тому же он захотел побеседовать с моряками. Он был худ, небрит, в грязной шинели, испытующие, исследующие его глаза блестяли одушевлением. Мы выпили водки в каюте, которую я делил с начальником БЧ-5 (машинное отделение), потом сошли на берег, чтобы поговорить по душам, без посторонних. Я к тому дню был на Сталинградском фронте всего лишь две недели, а он успел уже пройти через все круги августовского и сентябрьского ада, уже был опален тем сталинградским пожаром, который он впоследствии так мощно описал в романе «За правое дело». Между прочим, я ему сказал, что у нас каптеркой ведаёт мичман, украинец, по фамилии Шульц, он всем нужен, на берегу моряки кричат: «Шульц! Шульц!», и это испугало приехавшего из Москвы важного политработника. Тот со страху решил, что немцы

высадились на наш берег. Есть у нас, добавил я, еще один моряк с громкой немецкой фамилией, командир бронетанкера старшина Каутский, но он еврей. Гроссман усмехнулся, потом сказал с укором: «Анекдоты, анекдоты, а люди гибнут. И какие прекрасные люди. Сталинград почти весь в руках немцев, но здесь будет начало нашей победы. Вы согласны со мной?»

Я ответил, что в военных делах разбираюсь плохо, на все воля Божья. Гроссман не сомневался в том, что идет война между интернационализмом и фашизмом. Эта война, по его мнению, смывает всю сталинскую грязь с лица России. Святая кровь этой войны очистила нас от крови невинно раскулаченных, от крови 37-го года. Я не помню дальнейших его рассуждений, но приблизительно он говорил то, что написал в романе «За правое дело»: «Партия, ее Цекка, комиссары дивизий и полков, политруки рот и взводов, рядовые коммунисты в этих боях организовали боевую и моральную силу Красной Армии».

Я проводил его до Средней Ахтубы, где он должен был сесть в машину. Длинный путь мы прошли почти молча, холодно расстались, недовольные друг другом.

В Сталинграде мы больше не встречались. Я не помню, когда он оттуда уехал. Хорошо только знаю, что нашего вступления в город он не видел. Я ему рассказывал, как в победную ночь на 3 февраля мы, моряки, шли по льду Волги с хлебом и водкой для жителей, с гармошками, с многоцветными ракетами.

Сталинградские очерки Василия Гроссмана, которые регулярно печатались в «Красной звезде», самой читаемой газете военных лет, сделали его имя широко известным и в армии, и в тылу. Кажется, некоторые из этих очерков публиковались за рубежом. Особенно знаменит был очерк «Направление главного удара», в котором слышался вопль воздуха, раскаленного авиабомбами, грохот, которым «можно было оглушить человечество», горел огонь, которым «можно было сжечь и уничтожить государство». Сталин приказал «Правде» перепечатать очерк из «Красной звезды», несмотря на то, что не любил Гроссмана. Было известно, что Сталин еще до войны самолично вычеркнул «Степана Кольчугина» из списка произведений, представленных на соискание Сталинской премии, единогласно утвержденного комитетом по этим премиям. Сталин назвал роман меньшевистским. Между тем в ночь накануне опубликования списка лауреатов Гроссману звонили из главных газет стра-

ны, поздравляли. Потом, через несколько лет, Гроссман, рассказывая мне об этом, заметил, лукаво смеясь: «Ты проявил классовое чутье, твое мнение совпало со сталинским».

«Направление главного удара» привлекло к себе всю страну. Точность деталей, пылающая правда сражения рождали мысль о том, что «героизм сделался будничной, каждодневной привычкой». «Вы теперь можете получить все, что попросите», — сказал Гроссману Эренбург. Но Гроссман ни о чем не просил.

Известность его упрочила повесть «Народ бессмертен», первая сравнительно большая вещь об Отечественной войне. Даже после опубликования за рубежом повести «Все течет» и романа «Жизнь и судьба» эта повесть, хотя и гораздо реже, чем прежде, упоминается в нашей печати в почетном перечислении. Написана она выразительно, но сердца моего не затронула.

Летом 1943 года меня вызвал в Москву Военмориздат, который выпускал отдельной книжкой мой очерк боевых действий канонерской лодки «Усыскин». Я должен был кое-что исправить, учесть, как водится, замечания редактора. Не скрою, что я обрадовался вызову, возможности поехать в Москву.

Оказалось, что в столице находятся Гроссман и Платонов: они приехали с передовой на какое-то совещание военных корреспондентов. Где мы встретились — не помню, может быть, в Доме литераторов, в восьмой комнате которого кормили сносными (а для военного времени весьма сытными) обедами писателей-фронтовиков, вызванных по тому или иному делу в Москву. Были среди них и такие, которые фронта не нюхали, их называли земгусарами.

Мы с Гроссманом крепко обнялись, холод сталинградской встречи был забыт. Я не сразу узнал Платонова в форме армейского капитана, мы с ним были и прежде знакомы, но шапочно. А Платонов, увидев меня, пробормотал несколько насмешливо: «Моряк красивый сам собою». Думаю, что с Платоновым Гроссман подружился во время войны, оба служили в «Красной звезде».

Однажды, рассказал мне Гроссман, им пришлось зимой ехать по фронтовой дороге вдвоем в машине. Водителем у них был татарин, пожилой, низкорослый и некрасивый. Фамилия его была Сейфутдинов, а Платонов называл его Сульфидиновым. Этот Сульфидинов пользовался большим успехом у женщин. Продрогшие, усталые, они останови-

лись в прифронтовой избе. Нестарая хозяйка бросила быстрый взгляд на водителя. «Сульфидинов, — сказал Платонов, — забрось палку, а нам скажи зажарить яичницу».

Мы условились вечером встретиться у Платонова, поскольку семья Платонова в эвакуацию не выезжала, а значит, у него был какой-то домашний уют. Решили, что каждый постарается достать выпивку.

Теперь о Платонове пишут, что он чуть ли не работал одно время дворником. Это вздор. У Платонова была в Доме Герцена отдельная (тогда большая редкость) квартира из двух светлых смежных комнат, семья его не голодала, хотя каждая копейка была на счету. Платонова преследовали с первого дня его вступления в литературу. На полях «бедняцкой хроники» «Впроку» Сталин написал одно слово, кажется, «сволочь», и с тех пор пошла писать губерния.

Фадеев, редактор «Красной Нови», в которой «Впроку» был опубликован, обрушился на Платонова со статьей о вылазке классового врага. Вслед за Фадеевым начали топтать Платонова его клеветы. Среди них мне запомнился Гурвич, впоследствии — несчастный, преследуемый космополит. Ветхозаветный Бог мести наказал Гурвича. Что же касается Фадеева, то он в этом случае, как и во многих других, был неискренен. Он ценил Платонова, у него вообще был недурной вкус, чуткость к слову, но он всегда с варфоломеевским иступлением выполнял указания Сталина.

Несмотря на страшный отзыв вождя, Платонова не тронули. Но все, что он публиковал, всегда подвергалось такой губительной критике, что все думали: судьба его предрешена. Он жил трудно, его одолевали материальные заботы, ради заработка он то писал с Фраерманом пьесу для детей, то занимался обработкой сказок. Но его талант был настолько оригинален, что даже работы, написанные ради хлеба насущного, вызывали недоумение в редакциях и редко печатались и оплачивались.

В те годы значение литературной среды было бóльшим, чем сейчас (да и есть ли эта среда сейчас?), ее мнения соперничали с государственными, были достаточно влиятельны, и существовали писатели, которые произносили имя Платонова уважительно, нередко с восхищением. Журнал «Литературный критик» вдруг, отступая от своего профиля, опубликовал рассказы Платонова, вызвав гнев литературного и нелитературного начальства. В этом журнале, где главенствовали политэмигрант, венгерский философ-марксист Георг Лукач, и другой марксист, Михаил Лившиц,

охотно помещались критические статьи Платонова, подписанные псевдонимом Человеков. Может быть, псевдоним этот не случаен: Платонов говорил, что хотел бы написать роман «Путешествие в глубь человека» — название пародировало популярные книги вроде «Путешествие в глубь Африки» и т. п.

Критические статьи Платонова мне не нравились, за редким исключением, например, у него была прекрасная статья об Ахматовой. Его литературные взгляды не раз меня поражали. Он считал, что в «Войне и мире» Толстой пренебрег правдой о тяжелом положении русских крепостных крестьян. Восхищаясь Горьким, ставил его выше Бунина. Из современных поэтов особенно ценил Ахматову и Есенина, не принимал Мандельштама и Пастернака. Говоря о молодежи, хвалил рассказы Бокова.

Вспоминается замечание Платонова по поводу одного места в поэме Пастернака «Высокая болезнь». Пастернак пишет, что вокзал в годы военного коммунизма

*...спорил дикой красотой
С консерваторской пустотой
Порой ремонтов и каникул.*

Платонов говорил: «Писатель, заботясь о читателе, сравнивает неизвестное либо с малоизвестным, либо с известным. Пастернак поступает наоборот: вокзал, хорошо знакомый миллионам людей, уподобляется консерватории в пору каникул. А многие ли видели консерваторию в эту пору?»

Я возразил: Пастернак смотрит на опустевшую консерваторию глазами человека, хорошо знакомого с консерваторским бытом. Платонов не принял моего возражения.

Я прочел ему стихотворение Волошина «Дом поэта». Оно ему понравилось, он задумчиво повторил: «При жизни быть не книгой, а тетрадкой». Он, когда ему читали, не высказывался, а несколько раз повторял понравившееся ему выражение, и оно в его устах приобретало особый, значительный смысл. Так, он повторил одну строку из моих стихов «Затоптать свои следы», и я понял, что он придал этой строке, как и строке Волошина, смысл, выстраданный собственной жизнью.

Когда Гроссман читал нам главы из романа «За правое дело», Платонов тоже не высказывался, а повторял после чтения запавшие ему в душу выражения, например: «От-

ставить матери!» или «Хана — и перестал существовать» — это относится к фразе о водителе: «Возник нарастающий вой бомбы, он прижал голову к баранке, ощущая всем телом конец жизни, с ужасной тоской подумал: «Хана» — и перестал существовать».

При мне Платонов читал две свои вещи: чудесную «Джан», где с библейской простотой и живописностью рассказал о маленьком племени («джан» по-персидски — «душа»), кочующем в советские годы в пустыне, и рассказ о солдате, вернувшемся к жене, которая ему изменила, пока он воевал. И, читая, Платонов в смешных местах смеялся первым.

Я не помню каких-нибудь пространных высказываний Платонова, обычно он как-то хмыкал, что-то бормотал под нос, поджимал губы. И это хмыканье, бормотание, поджиманье губ казались мне значительнее и умнее многих слов. Но он умел кратко и красочно определить самую суть дела.

Об одной литературной дискуссии он сказал: «Совокупление слепых в крапиве». В тот вечер в июле 1943 года, когда мы собрались в его доме (и Гроссману, и мне удалось достать водку по талонам) и мы выпили по граненому стакану, я взял со стола кусок американской колбасы из фронтového пайка, кусок показался Платонову слишком большим, и наш хозяин выразился обо мне так: «Садист на закуску». Как-то уже после войны мы зашли к Платонову, и Гроссман, поддразнивая его, сказал: «Что-то, Андрюша, давно тебя в прессе не ругают», а Платонов серьезно ответил: «Я теперь в команде выздоравливающих».

Во время этой встречи заговорили о том, что в печати мощным потоком движутся на нас произведения, лишённые не только таланта, но и профессионального умения. Платонов сказал: «В литературу попер читатель».

В моей памяти осталось только одно распространенное предложение Платонова, касающееся вопросов литературы. Он говорил, что не всякое угодливое слово нравится властям: надо, чтобы это лакейское слово было сказано вовремя. Не годится, если оно произнесено с опозданием, и оно часто вызывает гнев, если высказано до срока, — власти терпеть не могут забегальщиков.

Запомнилась мне и такая черта Платонова: его не удивляло самое сногшибательное, порой нелепейшее сообщение, касалось ли оно политических событий или литературных. В ответ на такое сообщение он всегда спокойно произносил одну и ту же фразу: «Свободная вещь».

К Платоновым был вхож необычный гость — Шолохов. Видимо, он понимал значение Андрея Платоновича, порой заступался за него, добывал для него литературную работу. Очень гордилась таким знакомством Марья Александровна, жена Платонова, красивая, «холодная и злая», если употребить выражение Андрея Белого. Многое в ее характере было мне и Гроссману чуждо, но подчеркну ее преданность таланту мужа. Марья Александровна считала, что Платонов выше всех писателей незаслуженно, по ее мнению, знаменитых, а такую преданность писательской жены надо ценить.

Среди литераторов нашего круга никто не знал Шолохова, и Гроссман спрашивал: «Ну, скажи, какой он? Умный?» Но Платонов в ответ бормотал что-то невыразительное.

Гроссман всегда живо интересовался Шолоховым — автором первоклассного, по его мнению, романа «Тихий Дон» и весьма посредственной «Поднятой целины». Низкопробными он считал различные его выступления. У Платоновых я упомянул о таком эпизоде. Член Военного совета нашей флотилии взял меня с собой в конце февраля 1943 года в Камышин. Я должен был описать в газете церемонии вручения наград тяжелораненым морякам, находившимся на излечении в камышинском военно-морском госпитале. Оказалось, что в Камышине в большом, видимо, бывшем купеческом доме живет с семьей полковник Шолохов, живет безвыездно, как сообщили жительницы города.

После вручения наград состоялся банкет, на который был почтительно приглашен Шолохов. Предоставили ему слово. Покалеченные войной, безногие, безрукие, ослепшие ждали, что им скажет любимый русский писатель. Шолохов посреди напряженного молчания произнес тост: «Выпьем за Советскую Украину!» И больше — ни слова. Гроссман очень удивился. «Вы слышали?» — переспрашивал он, потом сказал: «Человек-загадка». А Платонов пробормотал: «Слова из сердца выходят редко, из головы чаще».

Они любили друг друга — известный в ту военную пору, признанный государством член правления Союза писателей Гроссман и гонимый Платонов, чье имя долго ничего не говорило широкой массе читателей. У них было много общих черт, но чувствовалось и различие в каждой из черт. Оба ненавидели и презирали лакейскую литературу, и даже у писателей, считавшихся приличными, даже у тех, с кем

приятельствовали, терпеть не могли полуправду, позерство, пустословие, выверты.

Но Гроссман не только в своих писаниях, но и в своих вкусах, относилось ли это к литературе, живописи или музыке, был более привержен традиции, русской и западноевропейской классике девятнадцатого и начала двадцатого века, а Платонов в своих суждениях был независимей. Оба чувствовали влечение к простым людям, к рабочим, крестьянам, но у Гроссмана это шло от социал-демократических воззрений его юности, может быть, внушено ему отцом, Семеном Осиповичем, в прошлом меньшевиком, а у Платонова — от преклонения перед простейшими проявлениями жизни в природе, в человеческом обществе.

Помню, с каким ликованием говорил Платонов о своей работе машиниста: «Паровоз в исправности, и ты летишь, тебе навстречу земля и небо, и ты хозяин всего простора мира». Оба, и Гроссман, и Платонов, не верили в Бога, но над моими религиозными чувствами не смеялись, как это делали многие мои сверстники. Я бы сказал, что оба исповедовали материалистическую философию, но Гроссман, по крайней мере до определенного времени, считал себя марксистом, а материализм Платонова был пантеистическим, чем-то близким мировоззрению Федорова. Я как-то рассказал обоим сюжет из индийской «Махабхараты».

Паломники, направляясь к месту поклонения, видят на пути коровьи лепешки и, боясь, что даже взгляд на нечистоты загрязнит их благочестивые намерения, спешат омыть свое тело в реке. Но тут же из лепешек восстает бог Индра и говорит им: «Жалкие люди, это я превратился в коровьи лепешки, ибо нет на Земле ничего чистого и нечистого».

Гроссман сказал: «Интересно». А Платонов медленно повторил: «Нет на земле ничего чистого и нечистого».

Длинное это сопоставление я заключу тем, что оба охотно выпивали, но Гроссман любил и вкусно закусывать, к чему Платонов был равнодушен. Разница была и в том, что Платонов, в отличие от Гроссмана, пил с кем попало, лишь бы его угощали, ведь на выпивку денег ему обычно не хватало. Он мог выпивать и с грязным черносотенцем. Гроссмана это возмущало, он был требователен к себе и властно требователен к друзьям, кричал на Платонова, но при этом, как всегда, смотрел на Платонова влюбленными глазами. И такими же глазами смотрел Платонов на Гроссмана.

После войны мы иногда втроем сживали на Тверском бульваре против окон Платонова. Любимым занятием было

сочинять истории о том или ином заинтересовавшем нас прохожем. Я это делал бледно, не обо мне речь, а Гроссман и Платонов в этой забаве проявляли каждый свои свойства. Изустный рассказ Гроссмана изобиловал подробностями, если он считал, что прохожий — бухгалтер, то уточнял: на кондитерской фабрике, если — рабочий, то мастер на электростанции. Далее шли портреты жены, детей, старого пьяницы отца, можайского мужика, много юмора и печали. Не то — рассказы Платонова. Они были бессюжетны, в них рисовалась внутренняя жизнь человека, необычная и в то же время простая, как жизнь растения.

Вот так мы сидели как-то в жестокую пору борьбы с космополитизмом на все той же скамейке. Гроссман пошел на угол к табачному киоску, и в это время к нам приблизился шаркающей походкой профессор-стихолоб, милейший старик Иван Никанорович Розанов, и сказал, широко улыбаясь, показывая длинные редкие зубы: «Чувствуете, как воздух очистился, чесноком стало меньше пахнуть», — и удалился, опираясь на палку. Видимо, он по старости забыл о моем происхождении. Когда Гроссман вернулся с папиросами, я рассказал о происшествии. Гроссман сначала опешил: «Такой чудный старик», потом набросился на меня и на Платонова, кричал, как это мы не нашли ответа на противные слова, покорно их выслушали, матерился. Платонов вяло говорил: «Брось, Вася», но был смущен. В «Жизни и судьбе» фразу Розанова произносит старик педагог.

Когда Платонов заболел (он заразился туберкулезом от своего несчастного умирающего сына — в каком-то безумии целовал его в губы), Гроссман навещал его почти каждый день. Один раз мы пришли вместе. Никогда не забуду колюче-свещающей долгой тоски в запавших глазах Платонова, его пожелтевшее худое лицо, тихий частый кашель.

Смерть Платонова потрясла Гроссмана. При этом, как он мне писал, выехав после похорон за город, он еще измучился «из-за похорон и хлопот, которых никто из писателей в Союзе пис[ателей] не взялся делать».

Я помню проникновенную речь, которую Гроссман произнес над гробом друга в присутствии немногих, пришедших почтить память покойного в Союз писателей (а наша кучка еще больше поредела, когда мы хоронили Платонова на маленьком чистом армянском кладбище напротив Ваганьковского). Речь Гроссмана содержала в себе насыщенную умом и болью характеристику драгоценного писателя, умершего недооцененным, почти в неизвестности. На-

печатать эту речь долго не удавалось: не желали. В январе 1960 года Гроссман мне писал:

«Предложили мне из Радиокomiteта выступить по радио об Андрее Платонове. Я согласился, написал маленькую статью. Посмотрим, выйдет ли что-нибудь. Может быть, в жанре акына мне больше повезет».

Статью, основанную на речи на похоронах, Гроссман по радио прочел — это было первое разумное и достойное слово, сказанное в России о Платонове. В виде рецензии на посмертно вышедшую книгу Платонова статья была напечатана в «Литературной России». Еще о Платонове мало знали, когда Гроссман писал: «А. Платонов — писатель, пожелавший разобраться в самых сложных, а значит, в самых простых основах человеческого бытия!» Поразительная по своей глубине и изящной, математической краткости формула! Гроссман иначе вел свой поиск, чем Платонов, но оба искали одного и того же, и не случайно Гроссман сказал о своем друге, что Платонов «не стал бы писать, если б неумоимо, иступленно и безудержно, всегда и повсюду, не искал человеческого в человеке».

До конца своей жизни Гроссман не переставал вспоминать Платонова, перечитывать его. В одном из поздних своих писем он мне писал:

«Читаю рассказы Платонова. Большущая сила в них — «Такыр», «Третий сын», «Фро». Словно в пустыне слышишь голос друга — и радостно и горько. Человек написал книгу, а это не шутка».

В 1943 году Гроссман приступил к роману «За правое дело». Помню, что Гроссман мне об этом сказал после пережитой им трагедии. Его семья жила в эвакуации в Чистополе, и старшего пасынка Мишу взяли в чистопольский военкомат на допризывное обучение. Во дворе военкомата взорвалась бомба, и Миша погиб. Ему еще не было шестнадцати лет. Ольга Михайловна мне рассказывала, что могилу копал их чистопольский сосед Борис Пастернак, делал это очень умело, с его помощью в татарском городе нашли священника, похоронили мальчика по православному обряду. Горе Ольги Михайловны живет на страницах «Жизни и судьбы!» — там, где жена Штрума Людмила Николаевна (Ольга Михайловна вообще ее прототип) приезжает в Саратов на могилу сына, умершего после тяжелого ранения в госпитале.

Гроссман построил «За правое дело» так, как военачальник строит свои войска. Мы видим быстрые перебро-

ски героев, молниеносные концентрации отдельных фабул, маневры и подвижность сюжетных линий, словесные контрудары и прорывы флангов, скорости моторизованного оружия фраз и картин. Не случайно некоторые знакомые мне молодые прозаики — их можно назвать авангардистами — очарованы конструкцией обоих романов, с которыми познакомились после выхода на Западе «Жизни и судьбы».

Автор не только не скрывает, но нарочито подчеркивает сходство плана книги «За правое дело» с планом «Войны и мира». У Толстого в центре романа — семья Ростовых, у Гроссмана — семья Шапошниковых. У Толстого «за автора» говорит и размышляет Пьер Безухов, у Гроссмана — Штрум. И если семья Ростовых биографически близка Толстому, то сестры Шапошниковы — это Ольга Михайловна и ее сестры. И от толстовской мысли о дубине народной войны происходит мысль Гроссмана о том, что в роковые часы гибели Сталинграда — «в крови и в раскаленном каменном тумане рождалось не рабство России, не гибель ее... Неистребимо жила и упрямо пробивалась сила советского человека».

Параллель с планом «Войны и мира» была откровенным приемом и приемом осталась. Степени сравнения с «Войной и миром» достигает не «За правое дело», а «Жизнь и судьба» — вершина творчества Гроссмана. Но и «За правое дело» — один из самых значительных романов советского периода русской литературы. Еще до выхода «Жизни и судьбы» отдельным изданием читатель зарубежного журнала «Время и мы» мог познакомиться с главой из романа. Глава выбрана важная, сильная; предварительная статья Е. Эткинда — умная, дельная, я бы сказал — отличная. Будущие читатели будут благодарны С. Маркишу (сыну поэта) и Е. Эткинду за ту огромную, трудную работу, которую они проделали, опубликовав роман полностью. Заслуживает похвалы и предисловие Е. Эткинда к отдельному изданию, но в предпосланной роману безымянной заметке «От издательства» есть одно место, с которым никак нельзя согласиться. Автор заметки, полагая, что до «Жизни и судьбы» Гроссман был обычным, благополучным советским писателем, считает, что «За правое дело» ничуть не лучше «Белой березы» Бубеннова. Он пишет: «За правое дело» — обыкновенный роман сталинской эпохи — в одном ряду с «Белой березой» Бубеннова и симоновскими «Днями и ночами».

Против этого я должен, я обязан резко и доказательно возразить.

Прежде всего, Гроссман не был благополучным советским писателем. В литературе он понадобился на краткое время для войны — так же, как для нее понадобились все умные, храбрые и умелые солдаты и офицеры. Надо отдать должное и писателям — не случайно среди них так много павших на полях войны. Но из тех литераторов, кто до войны всю трубил о героизме, о своей боевой готовности сражаться за Родину, одни, оказавшись на фронте, заболели медвежьей болезнью (буквально), другие сдавали свою мочу на анализ, чтобы не попасть в армию, третьи, надев военную форму, ловко отсиживались в тылу, а скромный, близорукий Гроссман, а гонимый Платонов с талантом и бесстрашием несли свою воинскую службу. Да, был жизненный взлет, но еще шла война, когда очерк Гроссмана «Украина без евреев» вызвал злобу начальства и был с большим трудом напечатан во второстепенном издании. А разгром вскоре после войны пьесы «Если верить пифагорейцам»? А мучительный, страшный, долгий путь романа «За правое дело», когда мы с Василием Семеновичем затаились у меня на даче в Ильинском и каждый ночной порыв ветра, стук ставен, шаги в безлюдной улице пугали: «Они пришли». Да и само «За правое дело» с его реалистическими портретами простых людей, крестьян, рабочих, измученных женщин, с горькой правдой советской обыденной жизни, с гениальным описанием Гитлера, и пожара в Сталинграде, и гибели батальона Филяшкина, и встречи майора Березкина с женой, — нет, это необыкновенный роман. Как можно было его уподобить плоским, ныне забытым «Дням и ночам» или «Белой березе»? И разве на обыкновенный советский роман обрушился бы столь тяжелый удар, который чуть не уничтожил и «За правое дело», и самого автора?

Надо сказать: если героям романа, написанным творящим пером, суждена долгая жизнь, то рассуждения автора примут не все читатели. «За правое дело» писалось в пору перелома Отечественной войны, когда, после того как немцы водрузили флаг со свастикой на Эльбрусе, Красная Армия погнала их назад, освобождая русские, белорусские, украинские села и города. Гроссман-художник решил ответить на вопрос: как мог произойти такой перелом в ходе войны? И отвечал: побеждали люди, которые жили и воспитывались в вере в интернациональное равенство трудя-

щихся, побеждали рабочие и крестьяне, ставшие управителями России. К тому же топор, занесенный противником над нами, «был топор, занесенный над человеческой верностью свободе, над мечтой о справедливости, над радостью труда, над верностью Родине». По разумению Гроссмана, верховное командование знало об «уже реально существующем превосходстве советской силы над немецким насилием».

С такими мыслями Гроссман начал писать свой роман. Подчеркивая разум верховного командования, он тогда не думал о том, что нас ведет другой, истинно Верховный Разум.

Как-то в пятидесятых годах, незадолго до венгерских событий, мы, пообедав в шашлычной в парке Горького и слегка захмелев, заспорили о прошедшей войне. Спор разгорался, мы, как безумные, бегали по аллеям парка и кричали каждый свое, наконец, сели в изнеможении на скамью, но спор продолжали и опомнились только тогда, когда увидели рядом сидящего и прислушивающегося к нам человека. Опомнились и испугались. Среди героев военных очерков Гроссмана был полковник (впоследствии маршал бронетанковых войск) Бабаджанян, с которым Гроссман поддерживал знакомство, начатое на войне. Я его не знал, но во время нашего спора высказал некоторые предположения о том, как он и такие, как он, повели бы себя в чрезвычайных обстоятельствах. И вот вскоре после нашего сумасшедшего спора Гроссман узнал, что Бабаджанян участвовал в подавлении венгерского восстания. Гроссман мне позвонил, предложил: «Давай выйдем» (мы уже были соседями по Беговой) и, ничего не объясняя, сказал в трубку: «Дьявол, ты как в воду смотрел».

Вернусь к книге «За правое дело».

Уже с первых страниц романа советский читатель узнает то, о чем ему не сообщали государственные писатели. Старый крестьянин Пухов убежден, что на крестьянине всегда государство стоит, а государство, оно тяжелое. Нынешнюю жизнь он считает хуже прежней, при царе, — и заключает: «Только бы не колхозы». С сочувствием, невысказанным для других советских писателей сталинского времени, говорит Гроссман о репрессированных «врагах народа» — о сыне старухи Шапошниковой Дмитриии и об Абарчуке, о работавших на стройке, рядом с комсомольцами, раскулаченных, «а мороз для всех один». И были «овраги, пыль, бараки, проволока». Так другие советские писа-

тели стройку не изображали, разве что намекал Малышкин. О стройке пел Маяковский: «Я знаю, город будет», но в пасторали агитатора и главаря нет репрессированных, нет проволоки. В блиндаже, под грохот разрывов, гул дальнотбойных пушек, цоканье зениток, расспрашивает начальник отдела кадров подполковника Даренского — где его жена, а Даренский ничего не знает о жене (он до войны сидел).

Я мог бы привести еще десятки, сотни подобных мест, но суть, в конце концов, не в них, суть в том, что «За правое дело» всей лексикой своей, всей музыкой, всей живописью, всем пристальным вниманием к таким подробностям быта, человеческих отношений, на которые сознательно закрывала глаза чиновничья литература, всем способом рассуждать (а рассуждения сверх положенного, даже в марксистском духе, не поощрялись, раздражали), наконец, всем своеобразием, всей неуправляемостью истинного таланта было чуждо социалистическому реализму. А ведь иногда читаешь произведения, написанные с позиций несоветских, но не только их словесная оболочка — самый состав их так и прыщет социалистическим реализмом.

Хочу остановиться на одном персонаже романа. Среди неудач романа «За правое дело» я назвал бы фигуру старого большевика Мостовского. Правда, в «Жизни и судьбе», при встрече в немецком концлагере с одноглазым меньшевиком (кстати, отец Гроссмана — Семен Осипович — был одноглазым), Мостовской обретает плоть и кровь, но в романе «За правое дело» высказывания его кажутся мне пресными, оптимизм — казенным. Но и тут дело не так просто. Сталин преследовал старых большевиков, уничтожил их Общество, выгнал их из жилищ на улице Стопани, многих расстрелял или замучил на каторге, и Гроссман, рисуя Мостовского как идейного, образованного большевика дореволюционной закалки, бросает вызов Сталину. Заметим, однако, что зоркость Гроссману не изменила. Мостовской, который, решив остаться в занятом немцами Сталинграде, хвалится своим прежним опытом конспирации, сразу же, ничего не успев сделать, попадает в плен к немцам. Война перечеркивает весь большевистский опыт Мостовского.

Гроссман часто и сознательно прибегает к тому, что Тургенев, говоря о Достоевском, называл «обратным общим местом». Так произошло с Мостовским, так произошло и с няней детского сада Соколовой, на которую заведено дело, она пьет, но именно она, пьяница, своей любовью выходила мальчика Гришу Серпокрыла, мозг которого пому-

тился после того, как погибли при воздушном налете его отец и мать. И как ни ортодоксален Крымов, нас, читателей, что-то в нем тревожит, и на протяжении всего большого романа нас не покидает тяжелое предчувствие.

И случилось неминуемое: роман (он сначала назывался «Сталинград») был отвергнут «Новым миром» — редактором Симоновым и его заместителем Кривицким. Больше года они молчали. Гроссман нервничал, серьезная, столь важная для него работа будто в пропасть канула. И вот наконец ответ: печатать не будем, нельзя. Но не успел Симонов вернуть роман автору, как сменилась редколлегия журнала: редактором был назначен Твардовский, его заместителем — критик Тарасенков. Первым прочел роман Тарасенков — и пришел в восторг, поздно ночью позвонил Гроссману. Потом прочел Твардовский — и разделил мнение своего заместителя. Оба приехали к Гроссману на Беговую. Твардовский душевно и торжественно поздравлял Гроссмана, были поцелуи и хмельные слезы. Роман было решено печатать. Опомившись, Твардовский выставил три серьезных возражения.

1. Слишком реально, мрачно показаны трудности жизни населения в условиях войны — да и сама война.

2. Мало о Сталине.

3. Еврейская тема: один из главных героев, физик Штрум — еврей, врач Софья Левинтон, описанная с теплотой, — еврейка. «Ну сделай своего Штрума начальником военторга», — советовал Твардовский. «А какую должность ты бы предназначил Эйнштейну?» — сердито спросил Гроссман.

К обязанностям редактора романа Твардовский отнесся с любовью и ответственностью. На полях машинописи он сделал немало полезных заметок. Между прочим, он заметил следующее. У Гроссмана Крымов назывался раньше Крыловым, а в романе действует другой Крылов, историческое лицо, генерал, начальник штаба 62-й армии, и Твардовский посоветовал назвать этот персонаж Крымовым: замена всего лишь одной буквы в фамилии облегчает правку.

Несмотря на свои возражения, уверенный в том, что автор согласится внести исправления, Твардовский страстно хотел роман напечатать. Он действовал обдуманно, искал поддержки. Твардовский отправил роман члену редколлегии «Нового мира» Шолохову, надеясь, что великого писателя земли советской не могут не привлечь художествен-

ные достоинства романа и Шолохов, если он даже почему-то не терпит Гроссмана (был такой слух), все-таки поддержит его своим огромным авторитетом.

Ответ Шолохова был краток. Несколько машинописных строк. Я их видел. Главная мысль, помнится, такая:

«Кому вы поручили писать о Сталинграде? В своем ли вы уме? Я против».

Гроссмана и меня особенно поразила фраза: «Кому вы поручили?» Дикое, департаментское отношение к литературе.

Но Твардовский держался молодцом, был непоколебим, упорен. Он обратился за помощью к Фадееву, возглавлявшему Союз писателей. Такая помощь была необходима, потому что у романа были влиятельные противники на разных уровнях государства. Фадеев прочел роман очень быстро — и согласился с Твардовским: надо печатать. Седоголовый член ЦК приехал к Гроссману вечером, засиделся до глубокой ночи, говорил ему с любовью: «Какой вы нахал», т.е. восхищался художественной дерзостью писателя.

Машинопись размножили, дали прочесть членам секретариата Союза писателей. Заседание вел Фадеев. Гроссман был приглашен. Все высказывались положительно, за исключением, кажется, одного из секретарей, кого, точно не помню. Решили:

1. Рекомендовать «Новому миру» роман печатать.

2. Название романа «Сталинград» изменить, чтобы не получилось, что право писать о величайшей битве берет на себя писатель единолично (в эпоху борьбы с космополитизмом подтекст был ясен).

3. Штрум несколько отодвигается на задний план, у Штрума должен быть учитель, гораздо более крупный физик, русский по национальности.

4. Гроссман пишет главу о Сталине.

Все эти предложения — и другие, менее значительные — Гроссман принял, иного выхода у него не было. Когда он меня спросил, что я об этом думаю, я сказал, что надо согласиться, но мне было бы противно писать о Сталине. Гроссман рассердился: «А сколько ты напереводил стихов о вожде?» Я привел поговорку моего отца: «Можно ходить в бардак, но не надо смешивать синагогу с бардаком». Гроссман ответил мне словами из армянского анекдота: «Учи сэбе».

Против романа, тайно и явно, выступали все грязные и грозные силы — литературные и сверхлитературные, но

Фадеев и Твардовский не сдавались, и Гроссман, разумеется, видя в них своих покровителей, шел им навстречу. Написал главку о Сталине, стараясь изобразить его с человеческим лицом, без общепринятых космогонических сравнений, ввел в роман новый персонаж — видного ученого Чепыжина, учителя Штрума.

Раньше относившийся к Гроссману холодно, подозрительно, быть может, враждебно, Фадеев несколько раз встречался с ним у него на квартире, он понимал значение романа для русской литературы. При мне зашел разговор о заглавии. «Сталинград», как я уже упоминал, не годился. В то время официальная критика высоко отзывалась о произведении Поповкина «Семья Рубанюк». Это словосочетание почему-то смешило Гроссмана, и он с досадой предложил: «Назову роман «Семья Рубанюк». Фадеев звонко, с детской веселостью расхохотался: «Да, да, «Семья Рубанюк», что-нибудь в таком роде». Было решено во время этой беседы назвать роман «За правое дело» (выражение из речи Молотова, произнесенной в первый день войны), не помню, чье это предложение — Фадеева или самого Гроссмана.

Неожиданное хорошее отношение Фадеева к роману, как и потом его предательство, нетрудно объяснить. Фадеев любил русскую литературу всем сердцем (а оно у него было), терпеть не мог хлынувшую на нас пакость, но вынужден был, чтобы оставаться у власти, публично хвалить то, что считал бездарным. Может быть, личность Фадеева, наложившую свой отпечаток на целую литературную эпоху, читатель лучше поймет, если я остановлюсь на одном эпизоде.

Когда кончилась война, моя семья жила в такой невыносимой тесноте, что мне пришлось зимой, чтобы иметь место для работы, поселиться с Николаем Чуковским на полупустой даче его отца в Переделкино (дачи в Ильинском у меня еще не было). Дружили мы с вернувшимся из карагандинской ссылки Николаем Заболоцким, нашедшим пристанище неподалеку, часто собирались вместе. К нам иногда приходил по вечерам Фадеев, чтобы прочесть отрывки из «Молодой гвардии», которую он в ту зиму заканчивал, либо — во время запоя, когда он становился удивительно человечен. Вот однажды он нам говорит: «Что делается в нашей литературе, конец света. Прислали мне из Пятигорска повесть «Кавалер Золотой звезды!», кому-то наверху она понравилась. Дорогие мои Коли и Сема, дальше идти некуда, дальше табуретки. Остается кричать: «Спасите на-

ши души!» Потом он читал с чувством, наизусть, строки Пастернака «Синий цвет», куски из «Страшной мести» Голя, пел «Выхожу один я на дорогу», хорошо пел.

Проходит некоторое время, и меня приглашают в Союз писателей на заседание президиума, посвященное выдвижению книг на соискание Сталинской премии. Как председатель комиссии по киргизской литературе я должен был доложить президиуму мнение нашей комиссии о книге одного киргизского поэта. Сижу, жду, когда очередь дойдет до меня. Заходит речь о «Кавалере Золотой звезды» Бабаевского. Хвалят. Берет слово Фадеев, тоже хвалит и вдруг, налившись краснотой, устремляет волчьей синевы глаза на меня и произносит со злостью: «Есть еще у нас чистюли, которые воротят нос от таких повестей». Никто не понимает, почему Фадеев смотрит на меня, ведь моя роль маленькая, специальность узкая, и я действительно Бабаевского ни при какой погоде не читал. А Фадеев, видимо, вспомнил, что ругал этого «Кавалера» при мне, рассердился на себя и перенес гнев на меня...

Но вот наконец все преграды сметены, роман Гроссмана печатается в четырех номерах «Нового мира». Редколлегия волновалась, Тарасенков сказал автору: «Я только тогда поверю в нашу победу, когда куплю в киоске номер журнала». В январе 1950 года Гроссман написал мне в Малеевку: «В Москве, в «Новом мире», проходит сейчас третий кусок, верстка, завтра начнут мне раньше срока, чтобы мог в Коктебель поехать, давать гранки последнего, четвертого куска. Разговоров много, пока без шипов, но по закону ботаники будут и они. А ты что слышишь? Ну, что ж! Ты ведь знаешь мое чувство: главное свершается. И я, знаешь, по-прежнему остро и, кажется, глубоко чувствую и понимаю это. Ощущение такое, как при напечатании первого рассказа «В городе Бердичеве». А пожалуй, даже сильнее. Должен сказать тебе, что я пишу понемногу, до чего же графоманы все же упорны».

Впечатление от романа было огромное как в литературной среде, так и в интеллигентных слоях читателей, истосковавшихся по правдивому и поэтическому слову. Не забудем, что роман печатался в годы одичания общества, когда борьба с космополитизмом довершала медленное вырождение литературы и искусства, когда, как выразился смысленный циник, редактор «Литературной газеты» Ермилов, автор убойной статьи в «Правде» о пьесе «Если верить пифагорейцам», — «Маразм крепчал», когда на сцене

МХАТа, столь дорогой русской душе, шли — и с успехом! — пьесы Сурова, о котором остроумный Э. Казакевич сложил сонет: «Суровый Суров не любил евреев», — того самого Сурова, которого впоследствии вынуждены были исключить с позором из Союза писателей, так как выяснилось, что даже на бездарные пьесы у него не хватало силенок, их за него писали литературные негры, в том числе и евреи.

Итак, все великолепно. В библиотеках за номерами «Нового мира» длинные очереди, весь тираж журнала мгновенно распродан, в литературных кругах, в печати — восторги. «В колокола ударили и, хотя крестного хода еще не было, хоругви уже поднимают», — сказал Гроссману старый пролетарский писатель Бахметьев. Его фраза, как и другие хвалебные высказывания о романе, отнесена в «Жизни и судьбе» к открытию Штрума в области атомной физики. Формулировки математиков и физиков вроде «классическая работа» или «триумф, настоящий триумф» передают ту атмосферу, которая образовалась вокруг романа «За правое дело». Одна статья о романе была названа «Эпопея народной войны» — в советской печати такое название означает многое.

Уже Военгиз и «Советский писатель» собирались издать роман отдельной книгой, но тут вступили в действие те «законы ботаники», о которых писал мне Гроссман. И какие там шипы — отравленные стрелы и копьё вонзились в роман. И что примечательно: именно Чепыжин, которого Гроссман ввел в свою книгу по настоянию Фадеева для «нейтрализации» Штрума, подвергся нападкам партийной критики. Мысли Чепыжина о том, что общество представляет собой опару и что в трудные, черные дни в обществе поднимается снизу все дурное, мысли о том, что добро воплощает в себе вечную энергию — «будь то космическая энергия или духовная энергия народа», — эти мысли показали критику антимарксистскими. Вот особенность таланта как дара Божьего: даже под давлением извне он остается верен истине, он не может ей изменить.

13 февраля 1953 года «Правда» опубликовала двухподвальную статью Бубеннова «О романе В. Гроссмана «За правое дело». Припадочный автор той самой «Белой березы», с которой безымянное зарубежное предисловие «От издательства» сравнивает роман Гроссмана, писал, конечно, то, что думал сам, снедаемый завистью и злобой грызуна, но не только собственные соображения излагал

он. Отдавая должное знанию войны, проявленному Гроссманом как участником Сталинградской битвы, соглашаясь, что «свежи, правдивы главы, в которых показывается немецко-фашистская армия», одобряя «сцены в госпитале, бомбежки... случайной встречи Березкина со своей женой и дочерью», Бубеннов быстро переходит к главному заданию:

«Эти отдельные удаchi не могут заслонить одной большой неудачи, постигшей В. Гроссмана. Ему не удалось создать ни одного крупного, яркого, типичного образа героя Сталинградской битвы, героя в серой шинели, с оружием в руках... Таких героев, которые были бы типичны, несли в себе основные черты характера советского народа, наиболее полно выражали сущность его, нет в романе «За правое дело». Нет в нем героев, которые поразили бы воображение читателя богатством и красотой своих чувств... Образы советских людей в романе «За правое дело» обеднены, принижены, обесцвечены. Автор стремится доказать, что бессмертные подвиги совершают обыкновенные люди... Но под видом обыкновенных он на первый план вытащил в своем романе галерею мелких, незначительных людей... В. Гроссман вообще не показывает партию как организатора победы — ни в тылу, ни в армии. Огромной теме — организующей и вдохновляющей роли коммунистической партии — он посвятил только декларации... Они не подкреплены художественными образами...»

Вот я переписываю пассажи из бубенновской статьи, и меня охватывает то жуткое чувство, которое испытывали люди моего поколения, читая подобное в «Правде» при жизни Сталина. Это пахло тюрьмой, а может быть, смертью. Надо признать, что Бубеннов вместе со своими невидимками-соавторами отчетливо увидел, какую опасность для них представляют собой «обыкновенные», т. е. реальные, люди.

Социалистический реализм не боится декаданса, модернизма, преследует их, ибо должен преследовать, но не боится. Социалистический реализм боится реализма. Так антихрист не боится неверия или язычества, он может их взять в соратники. Антихрист боится Христа.

У Бубеннова в запасе было оружие, хотя и не новое, но испытанное веками, а в советское время пущенное в ход только в последние годы жизни Сталина. Бубеннов пишет о родственных семьях Шапошниковых — Штрумов: «В качестве близкого человека в этой семье живет еще врач

Софья Осиповна Левинтон...» Прервем на минуточку Бубеннова. Софья Левинтон — врач, а в стране задуман процесс врачей-убийц. Бубеннов старается, чтобы читатель понял самую суть: «Семья эта ничем не примечательная и вообще мало интересна как советская семья... А В. Гроссман выдает эту семью за типичную советскую семью, достойную быть в центре эпопеи о Сталинграде».

Действительно, что это за русская семья, хотя имя ее основателя, самарского революционера Шапошникова, носит одна из улиц в городе Куйбышеве; что это за семья, породнившаяся, подружившаяся со Штрумами, Левинтонами, с врагом народа Крымовым, о статье которого изверг рода человеческого Троцкий сказал в свое время: «Мраморно»? Кому Гроссман поручил быть семьей? Разве это не кощунство, что какой-то Штрум «больше всех думает и говорит об исторических событиях»? Каких людей показывает нам Гроссман? Но вернемся к Бубеннову:

«Заняв огромную площадь романа серыми, бездействующими персонажами, В. Гроссман, естественно, не смог уделить серьезного внимания таким героям, которых должен был показать на первом плане в романе «За правое дело»... Неверно идейно осмыслен героический подвиг советских воинов. В ряде эпизодов автор упорно подчеркивает мотивы обреченности и жертвенности... В печати появились статьи, захваливающие роман... Проявилась идейная слепота, беспринципность и связанность некоторых литераторов приятельскими отношениями. Нетрудно видеть, какой ущерб наносит все это развитию советской литературы».

Статья Бубеннова — палаческая, мы, к нашему несчастью, привыкли к палаческим статьям о литературе и искусстве, но тут в палаческом ремесле намечалась какая-то новация, и читатели это поняли. Под «связанностью некоторых литераторов приятельскими отношениями» подразумевался кагал.

Нынешние палачи ловчее, искуснее Бубеннова, и как ужасно, что оборотни превращают великую русскую идею страдающего народа, чью землю Царь Небесный исходил, благословляя, в плаху, на которой обезглавливают как бы во имя России, от имени России русскую красоту, если ее создателями являются Левитан или Мандельштам, Пастернак или Гроссман. Еще много вреда принесут они нашей стране. Одна надежда, что их — кучка и есть у нас люди с умом и сердцем.

В 1970 году Анатолий Бочаров выпустил критико-библиографический очерк «Василий Гроссман». Это хорошая, благородная по замыслу книга. Уже сам тот факт, что А. Бочаров избрал своей темой творчество Гроссмана, заслуживает уважения и признательности. На одной из последних страниц своей довольно объемистой книги критик пишет: «Усилившаяся в его характере неуступчивость, неуживчивость, прямота подчас оставляли его в тягостном одиночестве».

Критик имеет в виду время после ареста «Жизни и судьбы», когда Гроссман заболел раком. Но характер Гроссмана стал меняться раньше, когда началось уничтожение романа «За правое дело». И не прямота оставляла его в тягостном одиночестве, а те друзья-приятели, которые испугались этой прямоты, покинули его в тяжкую пору. О том, что с ним происходило, Гроссман с печальной точностью рассказывает в «Жизни и судьбе», когда его alter ego Штрум (между прочим, как и он сам, боявшийся переходить площади) оказывается в сходном положении:

«Видимо, началась эпидемия близорукости, знакомые, сталкиваясь с ним нос к носу, проходят в задумчивости мимо, не здороваются... Виктор Павлович вел счет — кто отвернулся, кто кивнул, кто поздоровался с ним за руку... Те, кто звонили каждый день, стали позванивать, а те, кто позванивали, вообще перестали звонить».

Гроссман не знал, что худшее впереди, что его ждет еще более ужасное горе — арест книги, и тогда-то его покинут почти все, а сейчас все-таки кое-кто оставался. Но и среди тех считанных, кто оставался, иные вызывали его раздражение. Ему казалось, что они себялюбивы, холодны, отягощены никчемными заботами и сознательно не хотят понять огромность его беды. Нередко у него были на то основания. Еще в начале своей литературной деятельности Гроссман познакомился с одним критиком, похвалившим его рассказы. Знакомство это растянулось на годы. Критик был человек далекий, в сущности, от литературы, мало знающий, но глубоко порядочный, и он безбоязненно не переставал посещать Гроссмана в описываемое время. Однажды Гроссман стал ему рассказывать, как для него тяжело складываются события, а наш критик возьми и скажи: «У меня тоже неприятности, сдал статью в «Учительскую газету», прошел месяц, а ее все не печатают». Гроссман разгневался, прогнал своего знакомого. Действительно, глупо было сравнивать ничтожную, написанную для заработка статей-

ку с романом, на который обрушилась имперская мощь. Критик сделал это не со зла, а по недомыслию, но уж слишком болела душа Гроссмана, кровавилась его рана.

Не надо, однако, думать, что все это время Гроссман находился в непрестанном унынии. Были друзья, которые оставались друзьями. Гроссман выделял и любил Бориса Ямпольского, Виктора Некрасова, литературоведа Николая Богословского, человека чистого, по-детски верующего. У нас на Беговой образовался тесный кружок соседей: Гроссман, Заболоцкий, Степанов (профессор-филолог), к нам приходил Николай Чуковский (потом Гроссман и я с ним разошлись). Гроссман, чтобы на миг забыть о надвигающейся тьме, решил устроить, как он выразился, «маленький пирок во время чумы». Он предложил, чтобы каждый из нас написал биографию друг друга, воспоминания — шуточные конечно, «материалы для будущих энциклопедических трудов». Остроумнее всех написал Заболоцкий — как раз о Гроссмане. Заболоцкий рассказывает о том, как они вдвоем с Гроссманом долго гуляют по городу. Спутник поражает его своей наблюдательностью, все-то он видит, все замечает, каждый пустячок, каждый камешек, кто как одет и прочее. Когда они подходят к дому, Заболоцкий говорит: «Вот и кончилось солнечное затмение». — «Как, — удивляется Гроссман, — разве было солнечное затмение?» Развертывалось все это смешнее и ярче, чем в моем пересказе по памяти, и Гроссман от души смеялся. Не знаю, куда делись эти странички.

Почти каждое воскресенье мы проводили в гостях у моей мамы, которая с удовольствием готовила нам традиционный набор еврейских кушаний, до которых Гроссман был большой охотник. С. М. Михозлс определял это как «гастрономический патриотизм». Гроссман любил мою маму, умел с ней говорить, он вообще умел говорить с каждым человеком, и с крестьянином, и с уборщицей, и со знаменитым физиком, и все, насколько я мог заметить, даже не зная, кто их собеседник, чувствовали в нем человека необыкновенного. Чувствовала это и моя мама, и не только потому, что он известный писатель. Он умел понять ее повседневные заботы, ее горе о дочери, умершей молодой, рассуждал с ней с завидным знанием дела о способах приготовления того или иного блюда, о соседях по коммунальной квартире, запоминая некоторые сообщенные мамой подробности для своей работы.

Посещали мы с ним кафе, рестораны. Запомнился один забавный случай. Впрочем, не такой уж забавный. Мы не могли попасть в знакомые нам «Арагви», «Националь», «Асторию», — происходила какая-то конференция, и эти рестораны были закрыты для простых граждан. Решили попытаться счастья в «Метрополе», в котором никогда не были. Нас впустили. Все столики были заняты, но за последним, то есть первым от входа, сидел всего лишь один посетитель. Мы попросили разрешения, подсели. Официант довольно быстро принес заказ. Наш сотрапезник был широкоплеч, коренаст, невысокого, видимо, роста, смуглый. Приступили к делу, чокнулись с соседом. Вдруг из глубины зала к нам подошел едок — большой, толстый и не очень пьяный. Он, вертя одним указательным пальцем вокруг другого на уровне своего живота, проговорил: «Пузики-животики-жидочки, пузики-животики-жидочки». Наш сосед поднялся, сделал едва заметное движение рукой, и большой толстяк упал, не только упал, но и немного покатился по ковровой дорожке. Зал настороженно молчал. Упавшему помогли встать. Он удалился, чуть пошатываясь. Мы познакомились с нашим соседом. Оказалось, то был знаменитый в свое время атлет Григорий Новак. Мы ждали вмешательства администрации, но нас никто не потревожил. «Вы нашли единственно правильный аргумент», — сказал Новаку Гроссман.

Между тем опара всходила, снизу в обществе поднималось все дурное. После статьи Бубеннова, чьи положения были автору явно продиктованы, появились другие, еще более сердитые — и страшные. Распространялся достаточно точный слух, что роман вызвал гнев Маленкова, самого приближенного из слуг Сталина. Сумасшедшая в свою пользу Мариэтта Шагинян выступила со статьей против романа в «Известиях». Наконец, по роману ударил Фадеев — коротким, но сильным ударом. Твардовский на секретариате Союза писателей каялся в том, что опубликовал роман в своем журнале. Печатно отреклась от романа и редколлегия журнала.

Заставляли каяться и Гроссмана. Круг друзей и знакомых все больше редел. Случилось так, что и у меня в это время положение стало неважным, хотя, конечно, не шло ни в какое сравнение с положением Гроссмана. Еще осенью 1949 года на меня завели грязное дело. Вопрос обо мне стоял на секретариате Союза писателей: я, мол, пропагандирую как переводчик и пересказчик байско-феодалные

эпосы тюркоязычных народов «Манас» и «Идегей», эпос высланных калмыков «Джангар». За меня заступились Фадеев и Симонов (последний — по ходатайству Гроссмана), дело кончилось выговором, но кончилось ли? Были арестованы мои добрые друзья, еврейские поэты, которых я переводил, — Самуил Галкин и Перец Маркиш. Пассажиры в трамваях, автобусах, электричках, прочитав о врачах-убийцах, говорили о том, что еврей-провизоры отпускают такие лекарства, которые заражают людей сифилисом.

Мы с Гроссманом решили это смутное время пережить, вернее, укрыться на моей даче в Ильинском по Казанской железной дороге. Жили мы так. Я закупал в закрытом городке Жуковском провизию (тогда это было просто), мыл посуду, а Гроссман готовил обед, каждый день один и тот же наваристый суп.

Однажды к нам приехала Ольга Михайловна, очень взволнованная: звонил Фадеев, зовет Гроссмана к себе домой, срочно. Гроссман выехал ранним утренним поездом. К сожалению, я не помню всего разговора между ними — Гроссман мне его пересказал, — я помню только суть: Фадеев настойчиво советовал Гроссману покаяться, публично отречься от романа, «ради жизни на земле», — процитировал он Твардовского. Гроссман отказался. Помню еще мелочь: увидев Гроссмана, Фадеев надул щеки, удивленно показывая, как Гроссман поправился. А все наш наваристый суп.

Перед нашим отъездом на дачу у Гроссмана произошло событие, о котором он часто и мучительно вспоминал. Гроссмана пригласили в «Правду»: позвонил ему профессор-историк Исаак Израйлевич Минц, сказал, что он должен прийти, в помещении редакции пойдет речь о судьбе еврейского народа. По пути в «Правду» Гроссман зашел в «Новый мир». Он хотел выяснить свои отношения с Твардовским по поводу того, что тот отрекся от романа «За правое дело». Оба, как я мог судить по рассказу Гроссмана, говорили резко, грубо. Твардовский, между прочим, сказал: «Ты что, хочешь, чтобы я партийный билет на стол выложил?» — «Хочу», — сказал Гроссман. Твардовский вспыхнул, рассердился: «Я знаю, куда ты отсюда должен пойти. Иди, иди, ты, видно, не все еще понял, там тебе объяснят».

В «Правде» собрались видные писатели, ученые, художники, артисты еврейского происхождения. Минц прочитал проект письма Сталину, которое собравшимся предлагалось подписать. Смысл письма: врачи — подлые убийцы,

они должны подвергнуться самой суровой каре, но еврейский народ не виноват, есть много честных тружеников, советских патриотов и т.д. По словам Гроссмана, особенно противно выступил карикатурист Ефимов, родной брат репрессированного и погибшего журналиста Михаила Кольцова. Письмо так и не было послано Сталину, вообще оно было задумано не наверху, а оказалось, как нам потом объяснил хорошо информированный Эренбург, затеей высокопоставленных партийных евреев, испугавшихся за свою судьбу со всеми ее привилегиями. Но Гроссман, в каком-то затмении решив, что ценою смерти немногих можно спасти несчастный народ, вместе с большинством собравшихся поставил под письмом свою подпись. А может быть, на его состояние повлиял разговор в «Новом мире»? Гроссман возвращался из «Правды» к себе на Беговую пешком — это сравнительно близко, — выпил по дороге полтораста граммов — водку при Сталине женщины в грязных халатах поверх тулупов продавали прямо на улице — и чувствовал себя противно. До конца жизни он казнил себя за этот поступок. Читатель «Жизни и судьбы» вспомнит, что и физик Штрум совершает нечто подобное — и горько раскаивается.

Ссора Гроссмана с Твардовским впоследствии оказалась на тяжкой участи «Жизни и судьбы». О, не надо было им ссориться, не надо было! Гроссман любил Твардовского, и его самого, и его стихи, тем более его раздражали некоторые поступки и высказывания Твардовского. Одно время они крепко дружили, в 1948 году их дружба прервалась, потом помирились, и, хотя прежних отношений уже не было, было взаимное уважение и стремление друг к другу. Тем большей была обида Гроссмана на Твардовского, не того Гроссман от него ждал. Обида эта не угасала, а усиливалась. Вот что Гроссман мне написал в Душанбе в сентябре 1956 года — через три года после ссоры с Твардовским:

«Расскажу тебе о событиях за время твоего отсутствия. Ходил в Союз. Подал Ажаеву¹ петицию о том, что нужно создать комиссию, которая от имени Союза возбуждала бы ходатайства о реабилитации погибших писателей, не имеющих родных. Назвал А. Лежнева, Пильняка, Анд. Новикова, Святополка-Мирского. Предложение встретило

¹ Ажаев Василий Николаевич (1915-1968) — советский писатель, секретарь СП СССР.

сочувствие, Ажаев обещал рассмотреть его на секретариате.

Взял в архиве стенограмму президиума, где Фадеев делал доклад обо мне. Прочел все выступления. Самое тяжелое чувство вызвала у меня речь Твардовского. Ты знаешь, прошло три года, я растерялся, читая его речь. Не думал я, что он мог так выступить. Он умнее других, и ум позволил ему быть хуже, подлее остальных. Ничтожный он, хоть с умом и талантом.

В Союзе встретился с Симоновым. Он очень горячо и очень по-деловому настаивал, чтобы я печатал вторую книгу в «Новом мире». Любопытно, что в момент нашего разговора Кривицкий звонил мне домой с тем же предложением. Сказал Ольге Михайловне: «Как я рад, что попал на вас, зная сложный характер В. С., думал, что он меня пошлет по матушке».

Кстати, я прочел в этой же стенограмме речь Симонова. Он сказал: «Если Гроссман будет дальше молчать, мы с ним заговорим другим языком. Пусть знает, что разговор будет другим».

Вот я и подумал, что он заговорил со мной другим языком, предлагая печатать вторую книгу».

Надо объяснить, что в это время Симонов опять стал редактором «Нового мира», а Кривицкий — его заместителем, а просили они у Гроссмана будущую «Жизнь и судьбу», еще не зная ее содержания. Симонов и Твардовский, как некоторые древние иранские шахи, попеременно надевали на себя корону владык «Нового мира».

Да, другим языком заговорили с Гроссманом после смерти Сталина. Эту смерть мы встретили в Ильинском. Ни радио, ни газет у нас не было, мы ничего не знали, когда одним мартовским утром соседка Маруся, иногда помогавшая нам по хозяйству, сказала: «Слыхали, Сталин болен».

Мы не поверили. Слишком радостным, сказочно прекрасным показалось нам Марусино сообщение. Взволнованные, мы не могли успокоиться. Решили пойти на станцию, узнать поточнее, там был газетный киоск.

Три километра шли в мартовском рыхлом снегу, в вечернем безлюдье. Не верили и хотели верить. Киоск был закрыт, но рядом с расписанием пригородных поездов висела газета. Все правильно, Сталин болен.

Всю ночь не спали, разговаривали, гадали: подойдет? Конечно, подойдет, иначе не объявляли бы в газете, что бо-

лен. А может, его уже нет в живых? Что-то будет? Лучше или еще хуже?

Не сразу, но стало лучше: прекращение дела врачей-убийц, казнь Берии. Если же перейти от крупных событий в жизни страны к делам литературным, то через год после смерти Сталина был созван, после двадцатилетнего перерыва, Второй съезд писателей, Гроссман и я были делегатами съезда. На съезде выступил Фадеев. Он нашел в себе силу, чтобы в присутствии иностранных гостей, что называется, всенародно, извиниться перед Гроссманом за то, что несправедливо напал на «За правое дело» и на автора романа. И предсмертная речь, и самоубийство Фадеева суть выражение доброго начала в этом человеке, обреченном стать жестоким. Его самоубийство не грех перед Богом, а желание искупить смертью свои грехи. Он обладал талантом весьма скромных размеров, но подлинным, и, живи он при царе, он тоже был бы пусть второстепенным, а писателем, не то что нынешние тусклые, стерильноликие руководители писательского Союза. Этим дела нет до судеб русской литературы, голова у них не болит, и утечка ярких талантов их никак не волнует, наоборот, облегчает им и без того спокойную, сытую жизнь. Им плевать, что книга, здесь не изданная, вышла и пользуется успехом за рубежом, — их больше тревожит предполагаемый конкурент здесь, на родине. На них, правда, нет крови, своими преследованиями они никого не довели до смерти, разве что косвенно, но тут причиной внешние обстоятельства. Думаю, что, будь они на месте Фадеева в годы ежовщины или борьбы с безродным космополитизмом, они превзошли бы его своей жестокостью.

Роман «За правое дело», еще недавно считавшийся политически вредным, решил выпустить Военгиз. Гроссман мне сообщил об этом в Душанбе в июле 1954 года:

«Здравствуй, дорогой друг!

Получил наконец твое письмо. Хотя оно не шло, а летело, полет его длился семь суток.

За время твоего отсутствия в моей жизни произошли значительные события. В Загорянку¹ пришла телеграмма от Фадеева: «Роман «За правое дело» сдается в печать. Обсуждения на секретариате не будет. Вопрос решен положи-

¹Местность под Москвой, где Гроссманы снимали дачу. Свою дачу в Лианозове Гроссман отдал бездомным людям, поселившимся там во время войны.

тельно и окончательно. Крепко жму вашу руку». Я настолько был далек от подобного сообщения, что даже подумал — не розыгрыш ли это. Но в Москве меня ждало письмо полковника Крутикова: «Вас.Сем.! Все в порядке. Звонил Сурков, сказал, что сделаем большое дело, если В / книгу выпустим к съезду писателей. Был разговор с руководящей инстанцией. Туда не надо посылать».

В тот же вечер (приезда с дачи в Москву) мне позвонил Фадеев и рассказал некоторые подробности (он решил, видимо, перекрыть евангельское чудо и принял посильное участие как в погребении Лазаря, так и в воскрешении Лазаря).

На совещании в связи с предстоящим писательским съездом, где были оба А. А.¹, выяснилось, что нет никаких задерживающих книгу причин и что обсуждать ее на секретариате Союза не нужно.

Вот краткое изложение фактов. Книга уже подписана к печати, и Крутиков привез мне показать макет переплета и заодно новый договор на массовое издание. Выпустить книгу предполагают в сентябре-октябре. Генерал Щербаков² вдруг прислал мне письмецо, что в 1955 году Военгиз предполагает повторить издание романа вторым массовым тиражом.

Дорогой мой, уверен, что ты прекрасно представляешь себе пережитое мною чувство. Но ты, конечно, не представляешь себе, как было мне горько, что тебя нет в Москве и я не мог поделиться с тобой своими мыслями и чувствами. Долгая, трудная была дорога у книги, но дружба с тобой помогла мне пройти ее, ты по-братски поделился со мной этот путь. Но я вовсе не думаю, что дорога кончилась и начался Парк культуры и отдыха. Я рад тому, что она не кончилась, и, если суждено, пусть будет нелегкой, только бы шла.

Вспомнилось мне Ильинское, дачная идиллия, печь, игра в дурака, суп из макарон, прогулки на станцию, оттепель, гремящая ведрами Маня. «Многое вспомнилось, слышная грохот колес непрерывный».

Сема, когда думаешь в Москву, очень уж надолго уехал ты. Напиши, пожалуйста, точно, когда планируешь возвращение. Письмо твое прочел, и вдруг очень захотелось по-

¹ Фадеев и Сурков.

² Щербаков Александр Николаевич — главный редактор издательства Военгиз.

бывать в этом далеком краю, в котором ни разу не бывал, походить по чудесному саду, поэтически тобой описанному. Печально было читать о смерти Айни¹ и то, что ты пишешь о его последних днях, так грустно. Чувствую, что хороший он был человек.

Ты спрашиваешь о Москве, о новостях? Я не был на докладе Фадеева, но мне говорили, что это было коротенькое сообщение, просьба освободить его от большого доклада на съезде. Просьбу уважили, доклад будет делать Сурков, а Фадеев — вступительное слово...»

Как предвидел он, что не кончилась его нелегкая дорога! Между тем съезды — съездами, а вместе с горестями и горькими радостями шла и работа — и внутренняя, и на бумаге. Писалась «Жизнь и судьба».

Когда я как-то спросил, как будет называться вторая книга, Гроссман ответил: «Как учит русская традиция, между двумя словами должен стоять союз «и»».

Двигались годы ежедневного труда, и Гроссман мне читал главы, сцены из романа. Я видел в них изобразительную силу, уже знакомую мне раньше, но находил и новое. Гроссмана стала волновать тема Бога, тема религии. Не случайно появляются в немецком концлагере католический священник Гарди и несчастный, так и не нашедший Бога, русский богоискатель Иконников, который не верит в добро, а верит в доброту. Я не мог согласиться с тем, что «Бог бессилен уменьшить зло жизни», но меня поразила мысль Иконникова о том, что «дурья доброта и есть человеческое в человеке... Она высшее, чего достиг дух человека».

Мне стал дорог майор Ершов, заключенные в немецком концлагере «чувствовали веселый жар, шедший от Ершова, — такое простое, всем нужное тепло исходит от русской печи». Сын раскулаченного, майор становится главарем советских военнопленных командиров. И далее — слова, которые многое объясняют в настроении и убеждениях самого автора: «Власовские воззвания писали о том, что рассказывал его отец. Он-то знал, что это правда. Но он знал, что эта правда в устах у немцев и власовцев — ложь... ему было ясно, что, борясь с немцами, он борется за свободную русскую жизнь, победа над Гитлером станет победой и над теми лагерями смерти, где погибли его мать, сестры, отец».

¹ Айни (1878—1954) — старейший таджикский писатель.

И мы видим эти лагеря, советские лагеря. Гроссман собрал воедино и воссоздал все, о чем на протяжении лет, смертельно страшных лет нашей родины, настойчиво расспрашивал выживших чудом и чудом вышедших на свободу лагерников, людей ему близких и далеких, и первым нарисовал обширную картину погибающей за каторжной проволокой России. Ведь один день Ивана Денисовича для читателей еще не занялся, и я, слушая Гроссмана, уже не по отдельным рассказам, а впервые во всей своей безумной и с ума сводящей всеобщности узнал то, что болело, обливалось кровью во мне, о чем я думал постоянно и что в книге Гроссмана ошеломило меня точностью, подробностью изображения.

Есть такое мнение: Гроссман сам в лагере не сидел, писал, значит, понаслышке. Это нелитературный разговор. Державин деятельно участвовал в погоне за Пугачевым. Но не он изобразил крестьянского вожака, а живший в другом столетии Пушкин. И пугачевский тулупчик, и калмыцкая сказочка, которую рассказывает Гриневу Пугачев, памятны нам с детства. Надо ли еще раз говорить о том, что талант художника, соединенный с душевным напряжением и добросовестностью исследователя, способен творить чудо жизни.

В немецком лагере что-то сдвинулось в затвердевшем, казалось бы, сознании старого большевика Мостовского, «многое в его собственной душе стало для него чужим» и все же сидит в нем крепко, он одобряет жестокое решение коммунистов-лагерников способствовать с помощью доноса транспортировке в погибельный Бухенвальд «чудного парня» Ершова, потому что Ершов — «беспартийный, неясный, чужой».

Но и Мостовского убили в лагере, и по-иному погибает — он удавился — другой старый большевик, Магар. Перед смертью он говорит своему бывшему ученику, теперь тоже заключенному: «Мы не понимали свободы. Мы раздавили ее. И Маркс не оценил ее... Там, за проволокой, самохранение велит людям меняться, иначе они погибнут, попадут в лагерь — и коммунисты создали кумира, погоны недели, мундиры, исповедуют национализм, на рабочий класс подняли руку, надо будет, дойдут до черносотенства...»

В романе «За правое дело» совсем иначе думают и говорят о Марксе идейные большевики Мостовской и Крымов, иначе думает и говорит и сам Гроссман.

Один неглупый литератор сказал мне, прочитав «Жизнь и судьбу»: «Как Гроссману не повезло! Если бы свой роман с таким точным, потрясающим описанием лагерей он опубликовал до Солженицына!»

Я с этим не согласен. Конечно, что и говорить, было бы лучше, если бы люди, каким-то образом сохранившие роман, нашли в себе смелость позаботиться о судьбе рукописи раньше, но я твердо убежден, что открытия в литературе не ограничиваются темой.

Открытием в литературе всегда является человек. И каждый по-своему — Солженицын и Гроссман — открыли человека в концлагере. А что касается темы, то она глобальна. Какой современный русский писатель вправе пройти мимо нее? Ведь лагерь, тюрьма властно и грозно вступили в дом почти каждого советского человека — в столичную ли квартиру, украинскую хату или кишлячную кибитку, — в семью почти каждого, выражаясь по старинке, обывателя. Если шутливо говорят, что суть русской литературы девятнадцатого века можно определить названиями двух произведений: «Кто виноват?» и «Что делать?», то суть русской литературы нашего века, века тюрьмы, больницы и войны, можно обозначить названиями «Архипелаг Гулаг», «Раковый корпус», «Жизнь и судьба».

Многое поведали мне в чтении Гроссмана главы о войне. Сам я в Сталинграде видел только то, что мне было положено видеть, — наши корабли, бронекатера, наши НП на правом берегу, штаб Родимцева в трубе, пятачок Горохова на Рынке. А Гроссман рассказал о том, что рядовой участник войны не мог видеть, не мог знать. Гроссман развернул панораму одной из величайших битв, и развернул ее не только сверху, как бы с вертолета, когда наглядны все фронты, армии, корпуса, дивизии. Он увидел битву и снизу, глазами солдата в окопе. До него только Толстой таким двойным зрением увидел войну.

И вот возникает глава о знаменитом «Доме Павлова». Гроссман называет этот дом «шесть дробь один». Дом окружен немцами со всех сторон. И воюет с немцами, да еще как воюет. Командира обреченных Грекова прозвали «управдомом». И в этом доме, гибель которого куда страшнее гибели дома Эшеров у Эдгара По, потому что все в нем проще — и жизнь, и смерть, — в этом аду сияет любовь Сережи и Кати, светлеет дерзкий разум Грекова. И вот не стало дома, не стало и Грекова, но не умирает в нашей душе стчаянный капитан, обвораживая ее русской удалей, прон-

зительной русской тоской своего острого, грубого и сердечного ума.

Злоключения Жени Шапошниковой в Куйбышеве, кажется, тускнеют в сравнении с ужасами немецких и советских концлагерей, торем, газовых камер, дома «шесть дробь один», но после того, как Гроссман прочел мне эти куйбышевские страницы, я долго находился под впечатлением услышанного. Странное дело, большинство писателей, исходящих из формулы «бытие определяет сознание», обожают писать о сознании и крайне неохотно, стеснительно касается бытия. Читая Бальзака, Диккенса, Толстого, Достоевского, мы всегда знаем, каковы материальные, житейские заботы персонажей, даже сколько у кого денег в данную минуту. А во многих нынешних книгах деньгами интересуются только отрицательные герои, а у положительных заботы либо производственные, либо — это появилось в последние годы — семейные. До Гроссмана почти никто не писал о ссорах и мелких дрызгах на кухнях коммунальных квартир, о скученности в жилищах, когда в одной комнате спят рядом и пожилые родители, и их дочь с мужем, и внуки, «аж хата хыть-хыть», как сказал мне на Кубани один крестьянин, никто не писал о долгих очередях в продуктовых лавках, о скудной зарплате, о духоте в переполненных по утрам автобусах и трамваях, о бескислородном бюрократизме, в котором задыхается беспомощный человек. Нам близки мучения Евгении Шапошниковой, которая не может получить прописку — право на жизнь в городе, мы узнаем знакомых нам мучителей в написанных как бы на заднем плане портретах трусливого начальника конструкторского бюро, в котором работает Шапошникова, и начальника паспортного стола, чьи немигающие глаза выражают задумчивое равнодушие, а в длинной, безнадежной очереди к нему «Евгения Николаевна наслушалась рассказов о дочерях, которых не прописали у матерей, о парализованной, которой отказали в прописке у брата, о женщине, приехавшей ухаживать за инвалидом войны и не получившей прописки».

Когда Гроссман прочел мне письмо матери Штрума, он снял очки, чтобы вытереть слезы. Апокалипсис еврейства двадцатого века спалил Гроссмана. Мне известны высказывания читателей («Жизни и судьбы»), что Гроссман как человек и писатель изменился под влиянием гитлеровских лагерей уничтожения евреев и жесточайшей борьбы с космополитизмом в нашей стране. Я думаю, что люди, придержи-

вающиеся такого мнения, имеют на то некоторые основания, но они забывают, что Гроссман прежде всего — русский писатель. Прелесть русской природы, прелесть русского сердца, его невыносимые страдания, его чистота и долготерпение были Гроссману важнее всего, ближе всего. Не случайно в письме еврейской матери из-за колочей проволоки гетто есть такие слова: «Как крестьяне грабили кулаков, так соседи грабили евреев».

Эти слова — из последнего дошедшего до Гроссмана письма его матери Екатерины Савельевны, памяти которой посвящена «Жизнь и судьба». Екатерина Савельевна была замучена, убита в бердичевском гетто. На протяжении многих лет ей, мертвой, Василий Семенович писал письма, с ней, мертвой, делился своими мыслями, волнениями, сообщал ей о ходе работы над романом. Письма сохранились у пасынка Гроссмана Ф. Б. Губера.

Еврейская трагедия была для Гроссмана частью трагедии русского, украинского крестьянства, частью трагедии всех жертв эпохи тотального уничтожения людей. Есть ли в украинской литературе книга, которая рассказала бы о поголовной гибели украинских крестьян в годы коллективизации, как это сделал Гроссман в повести «Все течет»? Он не был бы подлинным русским писателем, если бы не искал человеческого в человеке любой национальности.

В этих-то поисках он шел от романа «За правое дело» к «Жизни и судьбе» и, проникая в глубь человека, освобождаясь от прежних, не всегда правильных представлений, и все больше и больше приближался к божественной правде, к тому «чуду отдельного человека», которое возникает перед Софьей Осиповной Левинтон на пороге газовой камеры. Старая дева подружилась с мальчиком Давидом в теплушке, они вместе вступают в камеру, и вот маленький мальчик с птичьим телом ушел раньше, чем она, тело мальчика осело в ее руках. «Я стала матерью», — подумала она. Это была ее последняя мысль. А глаза Давида перед смертью встретились с любопытствующими глазами немецкого солдата Розе, глядевшего в камеру через стекло. Человек ли Розе? Ведь «человек существует как мир, никогда никем не повторимый в бесконечности времени. Лишь тогда он испытывает счастье свободы и доброты, когда находит в других то, что нашел в себе».

Гроссман, как и его Штрум, знал лишь с десяток слов на идиш. Широко образованный, сведущий в различных областях знания, читавший с детства французские книги в

подлиннике — его мать преподавала французский язык (особенно он любил — и декламировал наизусть — целые страницы «Писем с мельницы» Доде, «Жизни» Мопассана, стихи Мюссе), — он был слабо осведомлен в еврейской истории. Увидев у меня тома еврейской энциклопедии на русском языке, спросил без особого интереса: «Ты здесь находишь что-нибудь важное для себя?»

Но разве он, открывший во время одной из фронтовых поездок Треблинку (очерк Гроссмана «Треблинский ад» в виде брошюры распространялся на Нюрнбергском процессе), разве он, впервые в литературе описавший газовую камеру (главки о ней под названием «Газ» были опубликованы в одной из наших газет еще до ареста «Жизни и судьбы»), разве он, познавший гонения на евреев в стране победоносного социализма, разве он, один из инициаторов и составителей «Черной книги» — о поголовном истреблении евреев гитлеровцами на временно захваченной территории Советского Союза, книги, уничтоженной на Родине и вышедшей за рубежом, — разве он мог, не только как еврей, но, повторяю, прежде всего как русский писатель, остаться равнодушным к одной из самых ужасных катастроф человечества в нашем столетии?

Его мучило, оскорбляло то, что писатели, русские по крови, не ранены в сердце этим ужасом, ему было стыдно за них перед живым взором великих русских писателей, философов, ученых. Когда в начале шестидесятых появилось в печати стихотворение Евтушенко «Бабий яр», Гроссман сказал: «Наконец-то русский человек написал, что у нас в стране есть антисемитизм. Стих сильно так себе, но тут дело в ином, дело в поступке — прекрасном, даже смелом».

Я рассказал о том впечатлении, которое производили на меня отдельные главы «Жизни и судьбы», когда Гроссман — в течение многих лет — читал их мне своим негромким, слегка скрипучим голосом. Но когда он в начале зимы 1960 года привез мне на Черняховскую весь роман, тысячу страниц, и я прочел их и, прочтя, начал тут же читать снова, я понял всем своим существом, разумом и сердцем, что Бог даровал мне счастье одному из первых (до меня, возможно, роман прочли только члены семьи и, конечно, машинистка) узнать творение великое и, надеюсь, бессмертное.

Я настаиваю на том, что было бы неосторожно рассматривать «Жизнь и судьбу» только с той точки зрения, что,

мол, политические и философские взгляды автора изменились по сравнению с тем временем, когда он писал «За правое дело». Конечно, было и это, темные стороны действительности часто становятся источником света для сознания художника. «Жизнь и судьба» намного выше, намного важнее романа «За правое дело», но оба романа принадлежат одному и тому же таланту, цельному и мощному, как Пушкину принадлежат «Руслан и Людмила» и «Борис Годунов», Блоку — «Стихи о Прекрасной Даме» и «Двенадцать». И если Пушкин, написав «Бориса», воскликнул: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!», а Блок, завершив «Двенадцать», записал в дневнике: «Сегодня я гений», то нечто вроде этого мог бы о себе сказать и Гроссман, создав «Жизнь и судьбу». Но, увы, невеселы были мысли Гроссмана, когда он заканчивал свой шедевр. Он написал мне 24 октября 1959 года из приморского селения недалеко от Коктебеля:

«Хороши здесь прогулки по пустынному берегу, мне очень хотелось бы, чтобы ты побывал здесь. Очень тут чувствуешь море, оно тут не ялтинское, а какое-то особое, широкое, пустынное, оно для тех, кому есть о чем мечтать, у которых все впереди, и для тех, кому не о чем мечтать, у кого все позади. Ну и, конечно, хорошо оно и для поэтов — им ведь внятны и волнения юности, и печаль прожитой жизни. Вот и хотелось мне, чтобы ты тут побродил несколько дней, объял необъятное...

Я много работал здесь, закончил работу над третьей частью. Правил, сокращал, дописывал. Больше всего сокращал. Вот и пришло мое время проститься с людьми, с которыми был связан каждый день на протяжении шестнадцати лет. Странно это, уж очень мы привыкли друг к другу, я-то наверное. Вот приеду в Москву и прочту всю рукопись от начала до конца в первый раз. И хотя известно — что посеешь, то и пожнешь, — я все думаю: что же я там прочту?

А много ли будет у нее читателей помимо читателя-писателя? Думаю, что тебя она не минет. Узнаешь — что посеял.

Я не переживаю радости, подъема, волнений. Но чувство хоть смутное, тревожное, озабоченное, а уж очень серьезное оказалось. Прав ли я? Это первое, главное. Прав ли перед людьми, а значит, и перед Богом? А дальше уж второе, писательское — справился ли я? А дальше уж третье — ее судьба, дорога. Но вот сейчас я как-то очень

чувствую, что это третье, судьба книги, от меня отделяется в эти дни. Она осуществит себя помимо меня, отдельно от меня, меня уже может не быть. А вот то, что связано было со мной и без меня не могло бы быть, именно теперь и кончается.

Это все, как выражаются наши газеты, думы слесаря Пустякова.

Помимо дум есть и житейская часть — ведь Пустяков ест, ходит в бакалею, пьет пиво. Питаюсь я жутко — со стола не сходит копченая скумбрия. Почему-то Феодосия в этом году завалена скумбрией. Ем я эту скумбрию и запиваю ее белым, мутным молодым вином. Стоит это мутное вино 7р. 50к. литр. Иногда я питаюсь кефалью. Хожу очень много, и ты прав — действительно похудел и загорел. Строен, как тополь, не очень молодой, правда. По вечерам играю с Ольгой Михайловной в тысячу.

Дорогой мой, писать мне сюда не надо, письма идут долго, и боюсь, что мы разминемся с письмом. Если санаторный эвакуатор не подведет с билетами, то пятого ноября будем уже в Москве, вечером. И если ты окажешься дома в этот вечер, то поговорим по телефону, условимся о встрече — у основоположника¹ наверное. Придумал я народную пословицу: «Рано птичечка запела, вырвут яйца из гнезда». Но это так, не думы, а вообще... Хочется тебя видеть.

Целую крепко Вася».

Я перечитываю эти строки, и сердце мое сжимается. Какая пророческая печаль в письме, написанном в такие дни, когда художника должно было охватить победное, великое счастье. Как он предчувствовал: «Судьба книги от меня отделяется. Она осуществит себя помимо меня, отдельно от меня, меня уже может и не быть». Все сбылось, ведь истинные поэты всегда пророки. А в тот день, когда я читал это письмо, не предвидел я, не мог предвидеть того, что свершится, только с радостью обратил внимание на то, что мой друг впервые написал слово «Бог», как полагается, — с прописной буквы.

В этом же письме есть такое место: «Прочел рассказы Фолкнера, большинство из них печаталось в «Иностранной литературе». Сильный, талантливый писатель, манерный несколько, но манера служит серьезному делу, человек ду-

¹Памятник Горькому у Белорусского вокзала.

мает всерьез о жизни, прием существует не ради приема. Отлично изображает, ярко, лаконично. Талант».

Мысли Гроссмана о манере письма дают мне возможность заметить здесь, что в искусстве ничто не устаревает так быстро, как манера письма. А что живет долго, не старея? Характер. Конечно, мы помним, с восхищением повторяем метафоры, тропы, остроумные или глубокие по мысли выражения из любимых книг, и не только из русских, но и переводных. Можно ли забыть фразу Гамсуна: «Любовь — это не глицерин, любовь — это нитроглицерин», или Анатоля Франса о Гамелене: «Он был непостижим. Все люди непостижимы», или сообщение Сервантеса о том, что Санчо Панса отошел в сторонку и сделал в кустах то дело, «которое за него не мог сделать никто». Однако все эти блестящие фразы лишь тогда имеют смысл, когда работают для создания характеров — таких вечных, как Дон Кихот и Санчо Панса, Растиньяк и князь Мышкин. Если писатель не создал долгожителей, то быстро кончится его писательская жизнь.

И вот, прочтя «Жизнь и судьбу» целиком, я увидел, что, как выразился Версиров у Достоевского, «мысль пошла в слова» и среди рожденных словом людей есть по крайней мере два человека, которые встанут в одном ряду с характерами, созданными великой литературой. Я имею в виду Гетманова и Грекова.

Удались все персонажи романа, они живут с нами, эти красноармейцы и генералы, молодые люди и старики, крестьяне и академики, немцы и русские, армяне и татары, арестованные и следователи, лагерники и вертухаи, красавицы и дурнушки. Всех не перечислить, остановлюсь на Березкине, который запомнился нам еще в романе «За правое дело».

Этот майор средних лет в многократно стиранный, но опрятной гимнастерке храбро, умно воевал с лета 1941 года в лесах Западной Белоруссии, прошел через все испытания войны без наград, не замеченный начальством. Его когдатошний подчиненный, преуспевающий военный хозяйственник Аристов думает, оглядывая — уже под Сталинградом — выцветшую гимнастерку и кирзовые сапоги майора: «Эх, брат ты мой, отвоевал бы я хоть ноль целых две десятых того, что ты, я бы здесь не сидел». А старуха, в доме которой Аристов на постое, говорит в его отсутствие майору: «Я вас вполне вижу, настоящего человека сразу понимаю, на ком держава стоит, кем держится. А вот этот

приятель ваш, это уж воин. Такой разве понимает? Для него все государство на спиртах стоит».

В свой трудный час держава начинает понимать, на ком она держится — на комбате Филяшкине, на беспартийном полковнике Новикове, на загнанном людьми из Отдела науки физике Штруме, на близоруком, отважном писателе Гроссмане. Только вот капитана Грекова держава не сразу поняла — и, по-своему, действовала правильно.

Майора Березкина в Сталинграде повышают в звании, ему доверяют командовать полком, тем самым, которому подчинен грековский дом «шесть дробь один». Накануне решающего боя Березкин тяжело заболевает. Он лежит в блиндаже «с горящим лицом, с нечеловечески, хрустально ясными бессмысленными глазами». Казалось, он ничего не слышит из того, о чем говорят в блиндаже. Приходит письмо от жены Березкина — давно от нее не было вестей. Один из командиров читает: «Здравствуй, ненаглядный мой, здравствуй, мой хороший». Березкин приходит в себя, поворачивает голову и говорит: «Дай сюда». И, прочтя письмо, приказывает: «Меня сегодня надо оздороветь»¹. И вот влезает Березкин в бочку из-под бензина, налитую до половины кипятком, «дымящейся от жара мутной волжской водой». Ночью выздоровевшему Березкину звонит генерал Чуйков: «Ты охрип сильно, так тебе немец даст попить горячего молока...» — «Понял, товарищ первый». — «А понял, — проговорил с угрозой Чуйков, — так имей в виду, если вздумаешь отходить, я тебе дам гоголь-могелю, не хуже немецкого молока».

Бой идет в цехах Тракторного завода. Полк Березкина выдерживает напор противника. И опять зазуммерил телефон, и в трубке тугой, низкий голос Чуйкова: «Березкин? Командир дивизии ранен, заместитель и начальник штаба убиты, приказываю вам принять командование дивизией. И после паузы: — Ты командовал полком в невиданных, адских условиях, сдержал напор. Спасибо тебе. Обнимаю тебя, дорогой».

Изумительно написан Березкин — и все же: не нов этот характер, это толстовский капитан Тушин в наше время. А вот таких, как Гетманов и Греков, до Гроссмана не изображал никто, и никто и не мог их изобразить, даже Толстой,

¹В книге напечатано «оздоровить». Когда я читал рукопись, я тоже, как и издатели, решил было, что «оздороветь» — опечатка, но Гроссман мне сказал: «Не опечатка. Так задумано».

ибо для этого надо было проникнуть в глубь человека, возвращенного нашей действительностью.

«Секретарь обкома одной из оккупированных областей Украины Дементий Трифионович Гетманов был назначен комиссаром сформировавшегося на Урале танкового корпуса. Прежде чем выехать на место службы, Гетманов на «Дугласе» слетал в Уфу, где находилась в эвакуации его семья».

Такими спокойными словами начинает Гроссман повествование о Гетманове. Еще в романе «За правое дело» Гроссман пытался нарисовать секретаря обкома, но Пряхин как тип не получился, путешествие в глубь человека тогда не состоялось. Не обладая талантом критика, трудно в кратких заметках показать колоссальность характера Гетманова, так и хочется, облегчив себе задачу, выписать все, что сказал о крестьянском сыне Гетманове Гроссман, это, кажется, невозможно, — и все же короче не скажешь:

«Он не участвовал в гражданской войне. Его не преследовали жандармы, и царский суд его никогда не высылал в Сибирь... Он был когда-то толковым, дисциплинированным пареньком... Его мобилизовали на работу в органы безопасности, а вскоре он стал охранником секретаря крайкома... А вскоре после тридцать седьмого года он сделался секретарем обкома партии, как говорили — хозяином области... Партия доверяла ему! Подчас суровы были жертвы, которые Гетманов приносил во имя духа партийности. Тут уж нет ни земляков, ни учителей, которым с юности обязан многим, тут уж не должно считаться ни с любовью, ни с жалостью. Здесь не должны тревожить такие слова, как «отвернулся», «не поддержал», «погубил», «предал». Но дух партийности проявляется в том, что жертва как раз-то и не нужна — не нужна потому, что личные чувства — любовь, дружба, землячество — естественно, не могут сохраняться, если они противоречат духу партийности. Сила партийного руководителя не требовала таланта ученого, дарования писателя. Она оказывалась над талантом, над дарованием. Руководящее, решающее слово Гетманова жадно слушали сотни людей, обладающие даром исследования, пения, писания книг, хотя Гетманов не только не умел петь, играть на рояле... но и не умел со вкусом и глубиной понимать произведения науки, поэзии, музыки, живописи... Слово его могло решить судьбу заведующего университетской кафедрой, инженера, директора банка, председателя профессионального союза, крестьянского коллективного хозяйства, театральной постановки...»

Гроссман зорко замечает, что Гетманов, собираясь на фронт, не противником интересуется, а своим комкором Новиковым, человеком не из «номенклатуры», неясным, выдвинутым военного времени. Гетманов крайне озабочен не формированием корпуса, а тем (он уже это знает, есть материал), что Новиков собирается жениться на бывшей жене Крымова (которого Гетманов на фронте погубит), а у того понатыкано связей и с правыми, и с троцкистами с давних времен.

Перед отъездом Гетманова к нему заходят проститься друзья, среди них — свояк его Сагайдак, ответственный работник украинского ЦК, и старый товарищ Машук, сотрудник органов безопасности. Сагайдак раньше работал редактором газеты. Если он считал «целесообразным пройти мимо какого-либо события, замолчать жестокий недород, идейно невыдержанную поэму, формалистическую картину, падеж скота, землетрясение, гибель линкора, не видеть силы океанской волны, внезапно смывшей тысячи людей, либо огромного пожара на шахте, — события эти не имели для него значения... Ему казалось, что его редакторская сила, опыт, умение выражались в том, что он умел доводить до сознания читателей нужные, служащие воспитательной цели взгляды».

Во время проводов Гетманова происходит нечто неприятное. Перелистывая альбом, Машук находит портрет Сталина, чье лицо размалевано цветными карандашами, к подбородку пририсована синяя эспаньолка, на ушах висят голубые серьги. И хотя собрались свои, близкие люди, Гетманову и его жене становится страшно, и больше других, конечно, страшит их Машук. «Что ж, детская шалость», — успокаивает Сагайдак. «Нет, это не шалость, это злостное хулиганство», — вздыхает Гетманов.

Не стоило бы о Гетманове говорить, если бы он был написан одной краской. Нет, он по-своему умен, неплохо разбирается в людях, а уж в государственной машине разбирается отлично. Он умеет побеседовать с рядовым красноармейцем, понравиться ему своей народностью, простонародностью. Хотя он на фронте никогда не был, в бригадах о нем говорили: «Ох, и боевой у нас комиссар». До Гроссмана были в художественной литературе характеры, чем-то напоминающие Гетманова, но таких, как Гетманов, не было. Его открыл Гроссман. Самое удивительное в Гетманове то, что он всегда искренен. Заведя уже в корпусе любовницу, он искренне негодует на командира Белова, женатого,

но полобившего медсестру, и с непритворным гневом говорит ему: «Не срами себя по личной линии». Когда комкор Новиков с перепугу предлагает выпить за Сталина, Гетманов добродушно поддерживает тост: «Что ж, ладно, за старичка, за батьку нашего. Доплыли до волжской воды под его водительством». Может сказать и так, похохатывая: «Наше счастье, что немцы мужику за один год опротивели больше, чем коммунисты за двадцать пять лет». Эта смелость, замечает Гроссман, «не заражала собеседника, наоборот, поселяла тревогу».

Искренность Гетманова внушает страх. Он и предательство искренне считает прекрасным поступком, если предательство, по его разумению, необходимо. Новиков, послушавшись командующего фронтом, послушавшись даже верховного, то есть Сталина, задерживает наступление на восемь минут — и достигает успеха, его расчет был правилен. Сталин выражает ему благодарность, все корпусное начальство ликует. «Спасибо тебе, Петр Павлович, русское, советское спасибо, — говорит Гетманов Новикову, — спасибо тебе от коммуниста Гетманова, низкий тебе поклон». И Гетманов искренен. И так же искренне он пишет наверх донос: командир корпуса самовольно задержал на восемь минут начало решающей операции, нарушил приказ товарища Сталина.

Таков этот человек с большой головой, со спутанными волосами, невысокий, но широкоплечий, с большим животом, с пронизательным взглядом умных маленьких глаз, неутомимо деятельный. Таким он запомнился нам, таким он запомнится тем, кто прочтет «Жизнь и судьбу», когда нас уже не будет.

О «Доме Павлова» написано множество статей, стихов, он стал священным для тех, кто приезжает в Сталинград (Волгоград), чтобы поклониться подвигу наших воинов. Гроссман — единственный военный корреспондент, кто своими глазами видел этот окруженный немцами дом, но перо его нарисовало не только то, что он увидел в доме смертников, а и то, что увидел в родной стране. Когда я как-то его спросил, есть ли у Грекова черты реального Якова Павлова, Гроссман мне сказал: «У Грекова есть кое-что от Чехова», имея в виду героя своего очерка, снайпера. Очерк был броско назван «Глазами Чехова», привлек к себе во время войны внимание читателей. Эренбург, написавший в 1946 году рецензию на сборник военных рассказов и очерков Гроссмана, назвал рецензию «Глазами Гроссмана». За-

мечу, что обе фамилии — Чехов и Греков — двухсложные, имеют в своей основе наименование нации, и это тоже говорит о близости героя романа к прототипу.

Уже оборвалась беспроволочная связь с домом, то ли передатчик вышел из строя, то ли «управдому» Грекову надели строгие внушения командования. Уже близится гибель дома вместе с его сражающимися обитателями, но комиссара полка все еще тревожат сведения, полученные от информатора: Греков совсем распустился, говорил бойцам черт знает какую ересь. Правда, с немцами Греков воюет лихо, этого информатор не отрицал. Что же это за ересь говорил Греков бойцам? А вот, например, такую: «Нельзя человеком руководить как овцой, на что уж Ленин был умный, и тот не понял. Революцию делают для того, чтобы человеком никто не руководил. А Ленин говорил: «Раньше вами руководили по-глупому, а я буду по-умному». Между прочим, и мне приходилось в землянках слышать нечто подобное: страх перед начальством отступает, когда наступают смерть и чувствуешь ее дыхание.

В доме «шесть дробь один» люди не были просты. Молоденький Сережа удивляется: как это люди с такой смелостью осуждают наркомвнудельцев, с такой смелостью и болью говорят о бедствиях и мучениях, выпавших крестьянству в период сплошной коллективизации?! И эти же люди отчаянно бьются за последний крохотный кусочек своей родины, за этот дом, находящийся на оси вражеского удара.

Знаменитая загадка русской души разгадывается так: это душа людей. Во время немецкого авиационного налета лейтенант Батраков, до войны преподаватель математики, близорукий, которому не подходят ни одни очки, снятые с убитых немцев, спокойно над обрывом лестничной клетки читает книгу, и Греков произносит замечательную, чисто русскую фразу: «Нет уж, ни хрена немцы не добьются. Ну что они с таким дураком сделают?» Он называет дураком Батракова с тем же основанием, с каким русская сказка называет дураком самоотверженного, душевного Иванушку. И никто из этих «дураков», даже имея на то возможность, не покидает дом, в котором — они это хорошо знают — погибнут все. Более того, Сережа без разрешения начальства возвращается в дом Грекова из штабного блиндажа. «Правильно, — одобряет Греков, — дезертировал к нам на тот свет».

Впервые мы узнаем о Грекове от политрука Сошкина, побывавшего в доме «шесть дробь один»: «Все этого Гре-

кова боятся, а он с ними, как ровня, лежат вповалку, и он среди них, «ты» ему говорят, зовут «Ваня». Не воинское подразделение, а какая-то Парижская коммуна». Так по донесению Сошкина заводится на Грекова дело на уровне — шутка сказать! — Политуправления фронта. А знало бы Политуправление, какие разговорчики ведут между собой смертники, когда тот же Сошкин приводит к ним радистку Катю:

— В дамочке бюст для меня основное.

— Конечно, в наших условиях и такая Катька сойдет, летом и качка прачка. Ноги длинные, как у журавля, сзади пусто, глаза большие, как у коровы.

— Тебе бы только сисястая. Это отживший, дореволюционный взгляд.

— Кому даст? Грекову — это точно.

Так о своем командире рядовые бойцы говорить не вправе. А Грекову, диктующему Кате донесение в штаб полка, хочется схватить ее, ощутить ее тепло. Греков — хозяин, волевой, иногда жестокий, ему в доме подвластно все, и он приказывает Сереже, который любит Катю и любим, отправиться из дома в штаб полка, он дарит ему жизнь, а Сережа думает: «Изгнание из рая, как крепостных разлучает». Он смотрит на Грекова с ненавистью, взгляд Грекова кажется ему отвратительным, безжалостным, наглым, но Греков неожиданно говорит: «С тобой пойдет радистка, доведешь ее до штаба полка».

И вдруг Сережа увидел, «что смотрят на него прекрасные, человечные, умные и грустные глаза, каких он никогда не видел в жизни». Греков спасает влюбленных, новые Дафнис и Хлоя — дети войны — избегают смерти в доме «шесть дробь один».

Пехотный капитан Греков до войны читал книжечки, ходил в кино, играл с приятелем в преферанс, пил водочку, ссорился с женой, которая ревновала его ко многим девушкам и дамам. На войне он поражает бойцов и командиров, восхищает их удивительным соединением силы, отваги, власти — с житейской обыденностью. Штаб приказывает ему по радио ежедневно в девятнадцать ноль-ноль подробно отчитываться, но Греков сбивает у радистки ладонь с переключателя, говорит с усмешкой: «Осколок мины попал в радиопередатчик, связь наладите, когда Грекову нужно будет», ему некогда заниматься отчетностью, он воюет.

В доме «шесть дробь один», за которым «следит весь мир», сталкивает Гроссман с еретиком Грековым ортодокса Крымова, который с опасностью для жизни пробирается в дом, чтобы разобрать дело Грекова. «Все в нем — и взгляд, и быстрые движения, и широкие ноздри приплюснутого носа — было дерзким, сама дерзость... «Ничего, ничего, согну я тебя», — подумал Крымов».

Нет, не согнет. Многообразованный сотрудник Коминтерна, знававший Троцкого, Бухарина, видных деятелей международного коммунистического движения, храбрый участник гражданской и Отечественной войн со всем своим марксистско-ленинским учением оказывается бессильным перед народной правдой пехотного капитана. Не ладится у Крымова и связь с бойцами, возникшее в них чувство близкой смерти ослабляло их связь с комиссаром. Сапер с головой, перевязанной грязным, окровавленным бинтом, спросил:

— А вот насчет колхозов, товарищ комиссар. Как бы их ликвидировать после войны?

— Оно бы неплохо докладик на этот счет, — сказал Греков.

— Я не лекции пришел вам читать, — сказал Крымов, — я военный комиссар, я пришел, чтобы преодолеть вашу недопустимую партизанщину.

— Преодолевайте, — сказал Греков. — А вот кто будет немцев преодолевать?

— Найдутся, не беспокойтесь. Не за супом я пришел, как вы выражаетесь, а большевистскую кашу варить.

— Что ж, преодолевайте, — сказал Греков, — варите кашу.

— А понадобится, и вас, Греков, с большевистской кашей съедят.

И вот честный, порядочный Крымов решил съесть Грекова, написал донос на него, а подлые, ничтожные карьеристы съели Крымова. Но таково наше родное безумие, что еретик Греков погибает как герой, ему воздают должное, а ортодоксу Крымову суждена бессмысленная мучительная смерть в застенке.

Когда зимой 1960 года я прочел «Жизнь и судьбу», когда я думал о людях, с которыми встретился в романе, рождалась во мне такая мысль: как не похожи друг на друга эти русские люди — Гетманов и Греков, Крымов и тот особист-подполковник, который бил Крымова. «Но, — думал я, — незаметный поворот судьбы — и их жизнь сложилась бы

иначе, они могли бы стать близкими друг другу». Недаром «в человеке, топтавшем его, Крымов узнавал не чужака, а себя же, Крымова, вот того, что мальчишкой плакал от счастья над потрясшими его словами Коммунистического манифеста: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Это чувство близости поистине было ужасным».

Не сразу понял я, читая книгу, что иной связью, куда более сложной, чем я думал раньше, связаны жизнь и судьба. Эта связь непостижна нашему разуму. Судьбу не изменишь, ее рождает жизнь, а жизнь есть Бог. И напрасно писатели, философы, политики гадают, что было бы с Россией, если бы умнее был царь Николай, серьезней и деятельней Керенский. Все это пустые разговоры. Путем, ей определенным, пошла Россия, и на этом пути, как светильники надежды, светятся Березкин, Греков, Штрум, Ершов, Левинтон, Иконников. Я не знаю, возможно ли Царство Божие на земле, но твердо знаю, что Царство Божие есть в нас. Поэтому мы сильнее зла, Россия сильнее зла.

Возникли во мне при чтении романа и мысли гораздо менее важные, но — как бы выразиться лучше — приятные. С удовольствием я узнавал в некоторых персонажах известные мне прототипы, вспоминал, кто при мне, при каких обстоятельствах произносил ту или иную фразу. Рюрикович Шаргородский — это, конечно, наш общий знакомый князь Звенигородский, который писал стихи, отмеченные прелестным влиянием Фета, и говорил нам по-старчески хриплым, густым голосом: «Мои стихи признает у нас вся советская и антисоветская общественность, а их не печатают».

Дочь Гроссмана Катя еще девушкой случайно подслушала, как молодые парни рассуждают о ее внешности, рассказала об этом отцу со свойственным ей юмором. Точно такие же рассуждения красноармейцев (приведенные выше) в доме «шесть дробь один» случайно подслушивает другая Катя, радистка.

Комиссар родимцевского штаба, расположенного в трубе, рассказывает Крымову: «Пришлось мне везти к фронту на своей машине московского докладчика Павла Федоровича Юдина. Член Военного совета мне сказал: «Волос потеряет, голову тебе снесу». Главка о родимцевской трубе была опубликована в одной из наших газет. И я вспомнил, как Елена Усиевич, Михаил Лифшиц и еще кто-то направили Гроссману резкое письмо: им показалось, что комиссар непочтительно отзывается об их друге, партийном филосо-

фе-академике Юдине, которого Гроссман на самом деле презирал.

В Марье Ивановне Соколовой я легко узнавал Екатерину Васильевну Заболоцкую. Так же, как Штрум с Соколовой, совершал с ней Гроссман прогулки по Нескучному саду. Есть и другие в их отношениях знакомые мне подробности. Я ничего не пишу о последней любви Гроссмана, принесшей ему много счастья и страдания и оказавшейся мучительной для четырех чистых, хороших людей. Я не пишу об этой любви, потому что рано и трудно о ней писать...

У Гроссмана летчики в блиндаже поют песню «Машина в штопоре кружится». Я вспомнил, как летом 1943 года нам пел в Москве эту песню Твардовский, голос у него был слабый, а слух отличный. И Гроссман с тех пор часто повторял слова этой песни.

Старый кавалергард Тунгусов рассказывает в бараке лагерникам роман, всаживая в свою баланду знаменитого Лоуренса, события из жизни трех мушкетеров, плавания жюльверновского «Наутилуса». Точно так же поступал, чтобы задобрить уголовников, наш приятель С. Г. Гехт, отсидевший восемь лет. И если слушатели находили в повествовании противоречия, Гехт, как и Тунгусов, бойко изворачивался: «Положение Надин лишь казалось безнадежным».

Николай Чуковский, когда мы с ним еще дружили, рассказал нам: у него в Харькове жил дядя Хаим, который называл себя Эдуардом и на недоуменный вопрос племянника объяснял: «Разве ты не знаешь, что в Англии все Хаимы — Эдуарды». Точно так же двойность своего имени объясняет в романе Эдуард Исаакович Бухман, бухгалтер.

Тот же Гехт нам рассказывал, что во время ночного допроса, измученный следователем, он в отчаянии заявил о том, что его хвалили в печати. А следователь сказал: «Вы что, почетную грамоту сюда пришли получать?» Те же слова говорит следователь Крымову.

Гроссман любил поддразнивать своего пасынка Федю в пору его созревания гоголевской фразой: «Эко тебя, брат, вывездило». Точно так же поддразнивает Штрум своего пасынка Толло.

В годы борьбы с космополитизмом была напечатана в «Правде» статья Юрия Жданова, сына члена Политбюро. В статье теория Эйнштейна сопровождается унижающими словами «так называемая». Гроссмана это оскорбило. В ро-

мане молодой человек из Отдела науки тоже говорит о теории Эйнштейна «так называемая», и Штрум на это реагирует с тем же негодованием, что и Гроссман.

Таких мест немало в романе, и, разумеется, с особенным волнением читал я те фразы, страницы, в которых отразились мои рассказы и стихи, например стихи о том, как немцы жгли на берегу Волги цыганку, или о калмыцкой степи, о чувстве воли во время моих блужданий по ней. «Воля... воля», — повторяет подполковник Даренский, двигаясь по калмыцкой степи, а мое стихотворение так и называется «Воля» (Иосиф Бродский, впоследствии составивший мою книгу для издательства «Ардис», по этому стихотворению назвал всю книгу, — лучше я бы сам не мог назвать).

Как-то во время работы над романом Гроссман мне сказал: «Ну и въедливый ты. Помнишь моего Даренского? Так я ему подарил твои ощущения степной воли. Будешь знать, как не печататься».

Кстати, о подполковнике Даренском. Он — действующее лицо и в романе «За правое дело». Твардовский, печатая роман в своем журнале, попенял автору, что и эта фамилия еврейская. А фамилия принадлежала домработнице Гроссмана, подмосковной крестьянке Наташе.

Теперь коснусь тех роковых причин, которые привели Гроссмана к решению отдать роман в журнал «Знамя». Прежде всего, конечно, воспаленная обида Гроссмана на Твардовского. Это — самая роковая и самая главная причина. Бессмысленно предполагать, что «Новый мир» напечатал бы «Жизнь и судьбу», но могу твердо поручиться, что роман не был бы арестован, если бы рукопись была сдана в «Новый мир». Твардовский не отправил бы рукопись «куда надо». Но Гроссман ни за что не хотел иметь дело с отрекшимся от него редактором. Это была обида не только автора, но и бывшего друга.

Другая причина заключается в том, что Гроссманом овладела странная мысль, будто бы наши писатели-редакторы, считавшиеся прогрессивными, трусливей казенных ретроградов. У последних, мол, есть и сила, и размах, и смелость бандитов. Они скорее, чем прогрессивные, способны пойти на риск. Странную эту мысль укрепило в Гроссмане одно событие. Гроссман отдал в либеральный альманах «Литературная Москва» свой замечательный рассказ «Тиргартен» (впоследствии был напечатан в «Нашем современнике»). Редактором альманаха был Э. Г. Казаке-

вич, чей ум и одаренность Гроссман ценил. Правда, он был сердит на Казакевича из-за меня: по рекомендации Гроссмана Казакевич взял у меня для первого номера альманаха большую подборку стихотворений, а я не печатался как оригинальный поэт почти четверть века. Но в последнюю минуту Казакевич, ссылаясь на вышестоящие инстанции, отказался от подборки, утешая меня тем, что такая же участь постигла стихотворения Пастернака. У Гроссмана с Казакевичем был тяжелый разговор, в результате которого Казакевич решил поместить в альманахе одно мое стихотворение, хотя и безобидное, но все же в обезопасивающем сопровождении перевода. Гроссман был в какой-то мере удовлетворен. Отношения двух писателей вроде бы наладились, но разладились опять из-за «Тиргартена»: Казакевич не решался опубликовать рассказ в своем альманахе. Смело напечатав яшинские «Рычаги», в которых бичевались некоторые проявления бюрократизма, рождающие в людях двойственность сознания, Казакевич не без основания усмотрел в «Тиргартене» ту зеркальность, которая побуждала бы читателей думать о сходстве двух режимов. После смерти Гроссмана Атаров в предисловии к книге «Добро вам», в которой помещен «Тиргартен», умело хвалит рассказ, называя его антифашистским. В сентябре 1956 года Гроссман написал мне в Душанбе:

«С Казакевичем все это дело принимает чудовищные формы. Я наконец позвонил Никитиной¹ и сказал: «Передайте Каз[акевичу], пусть позвонит мне сегодня же: я привык к редакционному хамству, но это превосходит то, к чему я привык». Думал, что он позвонит мне через час, но идут дни, и опять мертвое молчание. Фантастическое хамство. Я уже письмо написал ему, да не знаю, стоит ли стрелять по воробью из пушки. Вот тут бы с тобой посоветоваться. Семушка, мне твое пребывание в Ср[едней] Азии на этот раз с первых дней кажется особо тягостным».

В конце концов редколлегия альманаха во главе с Казакевичем отвергла рассказ. Этих людей можно понять, они пытались доказать властям, что вполне благонамеренные писатели способны делать хорошее издание. Альманах, однако, подвергся партийной критике и вскоре был вынужден прекратить свое существование. Гроссман понять их не хо-

¹ Секретарь альманаха.

тел, считал их трусами, считал, что после смерти Сталина пора им всем выдавить из себя раба.

Именно в это время, когда нервы Гроссмана были так напряжены, редактор «Знамени» В. М. Кожевников попросил его дать роман в «Знамя». Гроссман сидел без копейки, и Кожевников, возможно, имея об этом сведения, предложил ему солидный аванс — под произведение, которого не читал. Гроссман согласился не сразу, он попробовал испытать Кожевникова, предложил ему «Тиргартен». Журнал пожелал рассказ напечатать. Кожевников довел его до верстки, но цензура запретила рассказ, увидев в произведении о немцах аллюзии с советской действительностью. Кожевников тут ни при чем, он не хитрил, он и впрямь хотел рассказ напечатать. Гроссман в этом убедился. По крайней мере, Кожевников сумел его убедить. И Гроссман окончательно решил связать судьбу романа со «Знаменем». Надо учесть и то, что Гроссман в свое время был близок этому журналу, несколько его вещей увидело свет на страницах «Знамени». А журнал был заинтересован в романе Гроссмана, потому что первая книга — «За правое дело» — пользовалась прочным успехом, и вторая книга привлекла бы огромное количество читателей, подняла бы весьма поблекший — по сравнению с блеском «Нового мира» — авторитет журнала.

К этому надо добавить, что несколько (два или три) отрывков из «Жизни и судьбы», напечатанных в разных газетах (один отрывок, странно сказать, — в «Вечерке»), взбудоражили литературную среду, о них заговорили, и в то же время, читая их, нельзя было угадать всей сути романа. Предполагаю, что определенную роль во всем деле сыграл Кривицкий, ставший влиятельным членом редколлегии «Знамени»: после смерти Сталина он понял, что совершил оплошность, отказавшись заодно с Симоновым печатать «За правое дело». А вдруг и вторую часть ожидает такой же успех? Впрочем, может быть, я ошибаюсь. Кривицкий — это орешек. Во время войны он благодетельствовал Платонову. Однажды, заранее условившись, мы с Гроссманом пришли к Платонову, и вдруг в темноте узкого коридорчика приблизился к нам Платонов и прошептал: «Братцы, у меня Кривицкий, так что...» Но быстро вслед за Платоновым появился Кривицкий и сказал, заикаясь: «Здравствуйте, я вышел к вам, чтобы Андрей Платонович не успел меня обругать».

30 июля 1960 года Гроссман мне писал: «В Москве жара невероятная, держится упорно. Переношу ее с трудом — в двойном смысле, но, к сожалению, не в тройном. Дело в том, что «Труд», которому я пошел полностью навстречу, все же не напечатал отрывка. Мотивировка настолько лжива и лицемерна, что тошно.

«Зная» наседает, торопит, просит уточнить дату сдачи рукописи».

Насколько мне помнится, в середине 1960 года Гроссман окончательно завершил работу над романом. Перед тем как отнести рукопись в редакцию, Гроссман попросил меня прочесть весь роман снова и ответить ему на два вопроса: 1. Считаю ли я, что после неизбежных купюр, вставок, тяжелых и легких ранений есть все же реальная возможность того, что роман будет опубликован? 2. Какие места, по-моему, следует снять заранее, — такие, что их даже показывать нельзя?

И вот я прочел «Жизнь и судьбу» в третий раз и, как часто бывает, нашел много прекрасного, раньше мной не замеченного, со всей силой почувствовал свое приобщение к художественному познанию человека в мире и мира в человеке. Окончив чтение, я отвез на такси две тяжелые папки на Беговую. На первый вопрос Гроссмана я ответил так: нет никакой надежды, что роман будет опубликован. Я умолял Гроссмана не отдавать роман Кожевникову, облик которого был всем литераторам достаточно известен. На лице Гроссмана появилось ставшее мне знакомым злое выражение. «Что же, — спросил он, — ты считаешь, что, когда они прочтут роман, меня посадят?» — «Есть такая опасность», — сказал я. «И нет возможности напечатать, даже оскопив книгу?» — «Нет такой возможности. Не то что Кожевников — Твардовский не напечатает, но ему показать можно, он не только талант, но и порядочный человек». Гроссман взглянул на меня с гневом, губы его дрожали: «Я не буду таким трусом, как ты, я не намерен четверть столетия прятать свои рукописи в стол. А ты, пока Платонов прал против рожна¹, пока меня били и топтали, спокойно переводил своих восточных клиентов, предаваясь неге и холе».

Я подумал, что Гроссман ко мне несправедлив. Я делал при Сталине попытки печататься, Гроссман мне сам гово-

¹Выражение «прал против рожна» — из рассказа Сергеева-Ценского «Пристав Дерябин».

рил, что попытки эти напрасные. В то же время я чувствовал, что по сути он прав, я не прал против рожна. Надо сказать, что если Гроссмана порой заставляли задумываться мои рассуждения о нашем обществе, о важности развития национального самосознания советских народов, мои экуменические мечтания, то на меня серьезное и важное влияние оказывала нравственная сила Гроссмана. И когда впоследствии я сделал решительный поворот в своей жизни, я мысленно спрашивал совета у Гроссмана, и мне казалось, что слышу одобрение оттуда, где мы еще, может быть, встретимся.

Наступило тяжкое молчание. Наконец Гроссман, астматически дыша, спросил: «Ты отметил места, которые предлагаешь выбросить?» Я начал читать по приготовленной записке. Наиболее опасных мест я отобрал немного — все в романе было опасным, — скажем, 15—20. Иногда это касалось нескольких страниц, иногда — нескольких строк. Думаю, что общий объем предлагаемых сокращений составлял полтора или два печатных листа, не больше. Помню, что посоветовал выбросить всю сцену беседы Лисса с Мостовским, где гестаповец говорит старому большевику: «Когда мы смотрим в лицо друг друга, мы смотрим в зеркало... Наша победа — это ваша победа». Обратил я внимание Гроссмана на несколько строк — не с точки зрения их опасности, а с другой. Вот эти строки: «Поэт, крестьянин от рождения, наделенный разумом и талантом, пишет с искренним чувством поэму, воспевающую кровавую пору страданий крестьянства, пору, пожравшую его честного и простодушного труженика-отца». Гроссман безропотно со мною соглашался, он выбросил из рукописи все отобранные мною места, и среди них те строки, в которых легко угадывается Твардовский. Потом, когда рукопись попала к Твардовскому, Гроссман был доволен тем, что в ней нет этих строк.

Когда до меня дошла изданная за рубежом книга, я нашел в ней и место о Твардовском, и беседу Лисса с Мостовским и отсюда сделал вывод, что издатели получили копию не того экземпляра, который был сдан в «Знамя», а полного, без сокращений. В книге имеются, по техническим, как сообщают издатели, причинам, пропуски разной величины. Если память мне не изменяет, пропуски эти небольшие.

Возвращаясь к нашему свиданию, остановлюсь на одной мелочи, которая, однако, кое-что объясняет в состоянии Гроссмана. В конце разговора я сказал: «Вася, у тебя

дико расставлены знаки препинания. Я пытался выправить, надо перенести правку в другие экземпляры». Гроссман обозлился, вспылал: «Ты, кроме знаков препинания, ничего в романе не разглядел». Встретившись с моим изумленным взглядом, он быстро обнял меня, слезы стояли в его глазах.

Шли за неделей неделя, за месяцем месяц, от «Знамени» — ни звука. Звонить первым в редакцию Гроссман не хотел, ждал. Однажды Гроссману обещал кое-что разведать Виктор Некрасов, он был вхож в эту редакцию, сказал, что придет в такой-то день, час. Ольга Михайловна, хлебосольная не по средствам, приготовила обильную выпивку и еду. Был приглашен и я, мне хотелось встретиться за дружеским столом с высокоталантливым писателем. Мы были немного знакомы по Малеевке, но не более того. Ждали допоздна. Некрасов не пришел, забыл, видно, загулял. Гроссман был обижен до глубины души, он любил Некрасова — и писателя, и человека.

А месяцы идут, а «Знамя» молчит. Вконец измученный, Гроссман надумал вот что. В это время сильно пошел в литературно-бюрократическую гору Николай Чуковский.

Он стал членом редколлегии «Знамени». Я с ним поневоле продолжал встречаться на переводческих заседаниях — встречаться все же реже, так как эти заседания мне надоели. Гроссман поручил мне порасспросить нашего бывшего приятеля. Коля охотно откликнулся на мой вопрос такими словами: «Я не читал романа Василия Семеновича. Насколько я знаю, не читали его и другие беспартийные члены редколлегии. В редакции говорят, что роман прячут ото всех Кожевников, Кривицкий и Скорино. На прошлой неделе мы поехали на читательскую конференцию в Ленинград, я был в одном купе с Кожевниковым, спросил его о романе Гроссмана. Он буркнул: «Подвел нас Гроссман», — и перевел разговор на другую тему».

Переводческое заседание затянулось до одиннадцати вечера, но я знал, что Гроссман волнуется, ждет меня, и решил заехать к нему, несмотря на поздний час. Гроссман, его жена, Федя и его жена Ира и их дочь Леночка занимали на Беговой трехкомнатную квартиру. Две маленькие комнаты были смежными, а отдельная, та, что чуть побольше, служила и кабинетом Гроссмана, и общей столовой, и гостиной. Я застал такую картину. Посреди комнаты за квадратным столиком Ольга Михайловна, Зинаида Николаевна Пастернак и Берта Яковлевна Сельвинская играли в китай-

скую игру маджонг (не уверен, что правильно транскрибирую это слово). Мы примостились в углу, я шепотом пере-сказал сообщение Николая Чуковского. «Повтори», — ска-зал Гроссман. Выслушав меня во второй раз, сказал, и губы его, как всегда при сильном волнении, дрожали: «А Люся играет в маджонг». Он потом нередко вспоминал и этот несчастный маджонг, и другие большие и малые грехи и прегрешения Ольги Михайловны, — он, например, считал, что его мать, погибшая в бердичевском гетто, осталась бы жива, если бы Ольга Михайловна незадолго до войны не воспротивилась бы тому, чтобы мать приехала к ним в Мос-кву, и та вынуждена была навсегда расстаться с сыном. Но я думаю, что Ольга Михайловна была ему неплохой женой. Все дело в том, что он разлюбил ее и полюбил другую.

Между тем через знакомых, имевших какое-то отноше-ние к журналу, стали просачиваться слухи, что «Знамя» не хочет печатать роман. Наконец Гроссмана вызвали на засе-дание редколлегии. Он не пошел — и правильно сделал. Ему прислали стенограмму. Все выступавшие, среди кото-рых малюты скуратовы чередовались с тартюфами, едино-душно отвергли роман как произведение антисоветское, очернительское. Николай Чуковский в заседании не участ-вовал.

Гроссман уже давно стал понимать, что совершил непо-правимую ошибку, отдав «Жизнь и судьбу» в руки Кожев-никова и Кривицкого. Он попытался возобновить отноше-ния с Твардовским. Вот что он мне написал в Малеевку 1 февраля 1961 года — еще до рокового заседания редколле-гии:

«Дорогой Сема, получил твое письмо. Вольный сын ке-фира, поэт и переводчик! Я снова заболел, но на сей раз обошлось дело, кажется, без воспаления легких.

Поздравляю тебя с тем, что твоя дочь Зоя Семеновна вступила в законный, зарегистрированный брак. Дай им бог всего хорошего.

Имел перед болезнью беседу с Твардовским. Встрети-лись у него, говорили долго. Разговор вежливый, осадок тя-желый. Он отступил по всему фронту, от рукописи и от де-ловых отношений отказался полностью, да и от иных форм участия в литературной жизнедеятельности собеседника отстранился. Так-то».

Однако на этом отношения Гроссмана с Твардовским не оборвались окончательно. Поздней осенью Гроссман с Ольгой Михайловной поехали в Коктебель. Там в это вре-

мя отдыхали Твардовский и Мария Илларионовна. Жены, в прошлом соседки по Чистополу, помирили мужей. Твардовский сказал: «Дай мне роман почитать. Просто почитать». И Гроссман, вернувшись в Москву, отвез ему, видимо с некой тайной надеждой, роман в редакцию «Нового мира». После ареста романа к Гроссману чуть ли не в полночь приехал Твардовский, трезвый. Он сказал, что роман гениальный. Потом, выпив, плакал: «Нельзя у нас писать правду, нет свободы». Говорил: «Напрасно ты отдал бездарному Кожевникову. Ему до рубля девяти с половиной гривен не хватает. Я бы тоже не напечатал, разве что батальные сцены. Но не сделал бы такой подлости, ты меня знаешь». По его словам, рукопись романа была передана «куда надо» Кожевниковым.

Смеясь, Гроссман мне рассказывал: «Как всегда, водки не хватило. Твардовский злился, мучился. Вдруг он мне заявил: «Все вы, интеллигентники, думаете только о себе, о тридцать седьмом годе, а до того, что Сталин натворил во время коллективизации, погубил миллионы мужиков, — до этого тебе дела нет». И тут он стал мне пересказывать мои же слова из «Жизни и судьбы». «Саша, одумайся, об этом я же написал в романе». Глаза у него стали сначала растерянными, потом какими-то бессмысленными, он низко опустил голову, сбоку с его губ потекла струйка».

В феврале 1961 года роман был арестован. Гроссман мне позвонил днем и странным голосом сказал: «Приезжай сейчас же». Я понял, что случилась беда. Но мне и в голову не приходило, что арестован роман. На моей памяти такого не бывало. Писателей арестовывали охотно, но рукописи отбирались во время ареста, а не до ареста авторов. Только недавно я узнал, что еще в 1926 году изъяли рукопись у Булгакова.

Заявились двое, утром, оба в штатском. Ольги Михайловны дома не было, пошла на Ваганьковский рынок. Дверь открыла домработница Наташа. Когда эти двое вошли в комнату к Гроссману, Наташа сказала его невестке Ире: «Кажется, нехорошие люди пришли». Предъявили Гроссману ордер на изъятие романа. Один, высокий, представился полковником, другой был и званием, и ростом помельче. Вот этот второй постучался к Ире и сказал: «У него что, большое сердце? Дайте что-нибудь сердечное». Ира дала капли и спросила: «По какому поводу вы пришли?» — «Мы должны изъять роман. Он ведь написал роман? Так

вот, изыдем. Об этом никому не говорите, подписку с вас не берем, но болтать не надо».

Этот же, званием пониже, вышел на двор и вернулся с двумя понятыми. Ясно было видно, рассказывал Гроссман, что понятые — не первые попавшиеся прохожие, а из того же учреждения, что и незваные гости. Обыск сделали тщательный. Забрали не только машинописные экземпляры, но и первоначальную рукопись, и черновики не вошедших глав, и все подготовительные материалы, эскизы, наброски. Другие рукописи, не имеющие отношения к роману, обыскивателей не интересовали. Например, несколько рассказов, повесть «Все течет» (первый вариант). Действовали по-военному точно, выполняя определенное задание — изъять только роман и все, что связано с романом. Обыскивали только в той комнате, где Гроссман работал. Были вежливы. Тот, кто помельче званием, обратился к Гроссману: «Извиняюсь, дело житейское, где тут у вас туалет?»

Обыск длился час с чем-то. Полковник, когда кончился обыск, спросил, имеются ли где-нибудь другие экземпляры. Гроссман ответил: «У машинистки, она оставила один экземпляр у себя, чтобы получше вычитать. Другой — в «Новом мире». Был еще в «Знамени», но тот, наверное, у вас».

С Гроссмана хотели взять подписку, что он не будет никому говорить об изъятии рукописи. Гроссман дать подписку отказался. Полковник не настаивал.

Гроссмана увели. Сказали Ире: «Не волнуйтесь, часика через полтора он вернется, мы едем с ним к машинистке».

Поехали не только к машинистке, но и на Ломоносовский проспект, где Гроссман был прописан: вследствие семейных обстоятельств он временно получил через Союз писателей комнату в коммунальной квартире по этому адресу. Там ничего не нашли.

Гроссман вернулся, сказал, что у машинистки забрали ее экземпляр. Потом стало известно, что пришли в «Новый мир», приказали вскрыть сейф, изъяли рукопись... Я никогда не видел, чтобы Гроссман был так подавлен, как после ареста романа.

Борис Ямпольский верно передает его состояние, когда описывает встречу с нами в Александровском саду (я читал его воспоминания в рукописи).

Когда в 1953 году ударили по роману «За правое дело», когда мы каждый день ждали ареста, когда была реальная опасность, что Гроссмана приобщат к делу врачей-убийц,

он был менее подавлен, чем сейчас. Конечно, он предполагал, что вслед за романом могут арестовать и его самого, но не это его мучило, а ужасная судьба — он это понимал — его самого главного, самого серьезного произведения. «Как быть, как быть?» — повторял он. Но что я мог ему сказать? Разве что горько-шутливо: «Беги на Дон к Каледину». И он улыбался, но улыбка не прогоняла тоску из его глаз.

Теперь, когда я пишу эти записки, я думаю вот о чем. Почему Гроссману не приходило в голову предложить «Жизнь и судьбу» какому-нибудь зарубежному издательству, скажем, в какой-нибудь более либеральной, чем наша, социалистической стране? Ведь уже был пример, уже разлилась травля Пастернака, когда итальянское коммунистическое издательство опубликовало роман «Доктор Живаго». Почему Гроссмана, по его собственному выражению, «задушили в подворотне», почему об аресте романа не узнали читатели ни у нас, ни за рубежом?

Затрудняюсь ответить на эти вопросы. Возможно такое объяснение: в те годы не в обычае были знакомства с иностранными корреспондентами, издателями. Во всяком случае, Гроссман никого из них не знал. Впрочем, мне вспоминается следующее. Однажды в больнице за месяц-полтора до своей смерти Гроссман спросил у меня: «Ты читал Жореса Медведева о шарлатане Лысенко?» Я не читал. «Говорят, что автор отправил свою рукопись за границу, а она вернулась к нам уже в виде книги, по Москве ходит. Мне об этом на днях рассказали. Как ты думаешь, и я мог бы так поступить?...» Ответа моего он не дождался, впал в забытие, закрыл глаза...

У Гроссмана вышел отдельной книжечкой рассказ «Жизнь» в Югославии, кое-что печаталось в Польше. Из Чехословакии он получил роскошное издание романа «За правое дело», один его рассказ был переведен в Китае, какие-то вещи переводились на английский, немецкий, испанский. Но все это происходило самотеком, без какого-либо контакта с издателями, переводчиками. Мне известно, что даже в годы более поздние, даже после выхода в свет повести «Все течет» иностранные корреспонденты не проявляли к судьбе Гроссмана никакого интереса. Станный народ, нам их не понять, как и им — нас.

При всей своей подавленности Гроссман тайне не терял надежды на то, что отношение к роману может перемениться. Он видел не только отрицательные, но и положительные черты импульсивного Хрущева, считал его доклад

на XX съезде партии замечательным, ему внушали, как он говорил, «этюды оптимизма» документы XXII съезда партии. Он решил поговорить с Д.А. Поликарповым. Поликарпов был одно время оргсекретарем Союза писателей, потом покатился вниз, как раз в это время Гроссман с ним встретился в Гаграх, они часто беседовали на пляже, потом Поликарпов опять поднялся, стал в ЦК заведовать культурой. Я его тоже знал, он был из тех, кто делает зло только по приказу. Поликарпов, однако, как бы забыл о гагринском пляже, был с Гроссманом суров, резок, между прочим, со вздохом заметил: «Множественный орденосец, член правления Союза писателей, а что написал!» Посоветовал Гроссману обратиться с письмом в ЦК. Если не ошибаюсь, он же посоветовал поговорить с руководителями Союза писателей, читавшими роман, помог устроить встречу с ними.

Состоялась у Гроссмана беседа с секретарем правления Союза писателей СССР Марковым, с секретарем правления Союза писателей РСФСР Сартаковым, с председателем правления московского отделения Союза писателей Щипачевым. По словам Гроссмана, его собеседники вели себя жестко, но чувствовалось, что арест романа им не по душе. Признали, что в романе нет очернительства, многое было так, как написал автор, но в нынешнее сложное время издание романа нанесло бы вред нашему государству, если и можно будет издать роман, то лет через 250. Мягче других был Щипачев: слову «вредный» он предпочитал «субъективный».

Гроссман написал письмо Хрущеву. Копия письма сохранилась. Письмо составлено в том духе, в каком, начиная от Пушкина, составлены все письма писателей на высочайшее имя, и исполнено собственного достоинства, бесстрашной веры в свою правоту, в то, что немыслимо новое общество «без непрерывного роста свободы и демократии».

Вот это письмо:

«Первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву

Дорогой Никита Сергеевич!

В октябре 1960 года я отдал рукопись моего романа «Жизнь и судьба» в редакцию журнала «Знамя». Примерно в то же время познакомился с моим романом редактор журнала «Новый мир» А. Т. Твардовский.

В середине февраля 1961 года сотрудники Комитета Государственной Безопасности, предъявив мне ордер на

обыск, изъяли оставшиеся у меня дома экземпляры и черновики рукописи «Жизнь и судьба», рукопись были изъяты из редакций журналов «Знамя» и «Новый мир».

Таким образом закончилось обращение в многократно печатавшие мои сочинения редакции с предложением рассмотреть десятилетний труд моей писательской жизни.

После изъятия рукописи я обратился в ЦК КПСС к тов. Поликарпову. Д. А. Поликарпов сурово осудил мой труд и рекомендовал мне продумать, осознать ошибочность, вредность моей книги и обратиться с письмом в ЦК КПСС.

Прошел год. Я много, неотступно думал о катастрофе, происшедшей в моей писательской жизни, о трагической судьбе моей книги.

Я хочу честно поделиться с Вами моими мыслями. Прежде всего должен сказать следующее: я не пришел к выводу, что в моей книге есть неправда. Я писал в своей книге то, что считал и продолжаю считать правдой, писал лишь то, что продумал, прочувствовал, перестрадал.

Моя книга не есть политическая книга. Я, в меру своих ограниченных сил, говорил в ней о людях, об их горе, радости, заблуждениях, смерти, я писал о любви к людям и о сострадании к людям.

В моей книге есть горькие, тяжелые страницы, обращенные к нашему недавнему прошлому, к событиям войны. Может быть, читать эти страницы нелегко. Но, поверьте мне, — писать их было тоже нелегко. Но я не мог не написать их.

Я начал писать книгу до XX съезда партии, еще при жизни Сталина. В эту пору, казалось, не было ни тени надежды на публикацию книги. И все же я писал ее:

Ваш доклад на XX съезде придал мне уверенности. Ведь мысли писателя, его чувства, его боль есть частица общих мыслей, общей боли, общей правды.

Я предполагал, отдавая рукопись в редакцию, что между автором и редактором возникнут споры, что редактор потребует сокращения некоторых страниц, может быть, глав.

Редактор журнала «Знамя» Кожевников, а также руководители Союза писателей Марков, Сартаков, Щипачев, прочитавшие рукопись, сказали мне, что печатать книгу нельзя, вредно. Но при этом они не обвинили книгу в неправдивости. Один из товарищей сказал: «Все это было или могло быть, подобные изображенным людям также были

или могли быть»: Другой сказал: «Однако печатать книгу можно будет через 250 лет».

Ваш доклад на XXII съезде с новой силой осветил все тяжелое, ошибочное, что происходило в нашей стране в пору сталинского руководства, еще больше укрепил меня в сознании того, что книга «Жизнь и судьба» не противоречит той правде, которая была сказана Вами, что правда стала достоянием сегодняшнего дня, а не откладывается на 250 лет.

Тем для меня ужасней, что книга моя насильственно изъята, отнята у меня. Эта книга мне так же дорога, как отцу дороги его честные дети. Отнять у меня книгу — это то же, что отнять у отца его детище.

Вот уже год, как книга изъята у меня. Вот уже год, как я неотступно думаю о трагической ее судьбе, ищу объяснения происшедшему. Может, объяснение в том, что книга моя субъективна?

Но ведь отпечаток личного, субъективного имеют все произведения литературы, если они не написаны рукой ремесленника. Книга, написанная писателем, не есть прямая иллюстрация к взглядам политических и революционных вождей. Соприкасаясь с этими взглядами, иногда сливаясь с ними, иногда в чем-то приходя в противоречие с ними, книга всегда неизбежно выражает внутренний мир писателя, его чувства, близкие ему образы и не может не быть субъективной. Так всегда было. Литература не эхо, она говорит о жизни и о жизненной драме по-своему.

Тургенев во многом выразил любовь русских людей к правде, свободе, добру. Но Тургенев совершенно не был иллюстратором идей вождей русской демократии, он выражал по-своему, по-тургеневски, жизнь русского общества. И так же выражали, переживали добро и зло русской жизни, ее радость, ее горе, ее красоту и страшные уродства — Достоевский, Толстой, Чехов. Ведь ни Толстой, ни Чехов не были иллюстраторами взглядов тех, кто возглавлял русскую революционную демократию, они полировали свое зеркало русской жизни, и зеркало это бывало отлично от тех, что создавали политические вожди русской революции. Но ни Герцен, ни Чернышевский, ни Плеханов, ни Ленин не ополчались за это на русских писателей, они видели в них своих союзников, а не врагов.

Я знаю, что книга моя несовершенна, что она не идет ни в какое сравнение с произведениями великих писателей прошлого. Но дело тут не в слабости моего таланта. Дело в

праве писать правду, выстраданную и вызревшую на протяжении долгих лет жизни.

Почему же на мою книгу, которая, может быть, в какой-то мере отвечает на внутренние запросы советских людей, книгу, в которой нет лжи и клеветы, а есть правда, боль, любовь к людям, наложен запрет, почему она забрана у меня методами административного насилия, упрятана от меня и от людей, как преступный убийца?

Вот уже год, как я не знаю, цела ли моя книга, хранится ли она, может быть, она уничтожена, сожжена?

Если моя книга — ложь, пусть об этом будет сказано людям, которые хотят ее прочесть. Если книга моя — клевета, пусть будет сказано об этом. Пусть советские люди, советские читатели, для которых я пишу 30 лет, судят, что правда и что ложь в моей книге.

Но читатель лишен возможности судить меня и мой труд тем судом, который страшней любого другого суда — я имею в виду суд сердца, суд совести. Я хотел и хочу этого суда.

Мало того, что книга моя была отвергнута в редакции «Знамя», мне было рекомендовано отвечать на вопросы читателей, что работу над рукописью я не закончил еще, что работа эта затянется на долгое время. Иными словами, мне было предложено говорить неправду.

Мало того, когда рукопись моя была изъята, мне предложили дать подписку, что за разглашение факта изъятия рукописи я буду отвечать в уголовном порядке.

Методы, которыми все происшедшее с моей книгой хотят оставить в тайне, не есть методы борьбы с неправдой, с клеветой. Так с ложью не борются. Так борются против правды.

Что же это такое? Как понять это в свете идей XXII съезда партии?

Дорогой Никита Сергеевич! У нас теперь часто пишут и говорят, что мы возвращаемся к ленинским нормам демократии. В суровую пору гражданской войны, оккупации, хозяйственной разрухи, голода Ленин создал нормы демократии, которые во все сталинские времена казались фантастически большими.

Вы на XXII съезде партии безоговорочно осудили кровавые беззакония и жестокости, которые были совершены Сталиным. Сила и смелость, с которой Вы сделали это, дают все основания думать, что нормы нашей демократии будут расти так же, как выросли со времен разрухи, сопутст-

вовавшей гражданской войне, нормы производства стали, угля, электричества. Ведь в росте демократии и свободы еще больше, чем в росте производства и потребления, существо нового человеческого общества. Вне беспрерывного роста норм свободы и демократии новое общество мне кажется немыслимым.

Как же понять, что в наше время у писателя производят обыск, отбирают у него книгу, пусть полную несовершенства, но написанную кровью его сердца, написанную во имя правды и любви к людям, и грозят ему тюрьмой, если он станет говорить о своем горе.

Я убежден, что самые суровые и непримиримые прокуроры моей книги должны во многом изменить свою точку зрения на нее, должны признать ошибочным ряд кардинальных обвинений, высказанных ими в адрес моей рукописи год-полтора назад — до XXII съезда.

Я прошу Вас вернуть свободу моей книге, я прошу, чтобы о моей рукописи говорили и спорили со мной редакторы, а не сотрудники Комитета Государственной Безопасности.

Нет смысла, нет правды в нынешнем положении, в моей физической свободе, когда книга, которой я отдал свою жизнь, находится в тюрьме, ведь я ее написал, ведь я не отрекался и не отрекаюсь от нее. Прошло двенадцать лет с тех пор, как я начал работу над этой книгой. Я по-прежнему считаю, что написал правду, что писал я ее, любя и жалея людей, веря в людей. Я прошу свободы моей книге.

Глубоко уважающий Вас В. Гроссман.

Москва, Беговая, 1-а, корп. 31, кв. 1.

Тел. Д-3-00-80. доб. 16».

Гроссман надеялся на то, что сумеет убедить Хрущева, что если книгу не напечатают, то хотя бы вернут ему рукопись. Он не видел «смысла в нынешнем положении». Но разве мощь насилия не заключается в его бессмысленности?

Ответ пришел не сразу, но сравнительно скоро — через месяц или два после отправки письма. Все это время Гроссман никуда не выходил из дому, ждал звонка. Однажды вышел на часок подышать воздухом, а тут и позвонили. Трубку взяла Ира, ей дали номер телефона, по которому Гроссман должен был позвонить как можно быстрее. Так он и сделал, когда вернулся с прогулки. Его приглашали к Слову.

Они беседовали около трех часов. Гроссман записал дома по памяти (а она у него была великолепная) эту беседу. Когда Гроссман умер, вдова передала эту существовавшую в единственном экземпляре запись беседы с серым кардиналом в спецхран ЦГАЛИ. Ольга Михайловна с удовлетворением мне сообщила, что секретарь московского отделения Союза писателей генерал В. Н. Ильин одобрил этот ее поступок. Святая простота.

Увы, я помню из этой записи, крайне интересной, — что легко себе представить, — далеко не все. Суслов похвалил Гроссмана за то, что он обратился к первому секретарю ЦК. Сказал, что партия и страна ценят такие его произведения, как «Народ бессмертен», «Степан Кольчугин», военные рассказы и очерки. «Что же касается «Жизни и судьбы», — сказал Суслов, — то я этой книги не читал, читали два моих референта, товарищи, хорошо разбирающиеся в художественной литературе, которым я доверяю, и оба, не сговариваясь, пришли к единому выводу — публикация этого произведения нанесет вред коммунизму, Советской власти, советскому народу». Суслов спросил, на что Гроссман теперь живет. Узнав, что он собирается переводить армянский роман по русскому подстрочнику, посочувствовал: трудновата, мол, такая двухступенчатая работа, обещал дать указание Гослитиздату — выпустить пятитомное собрание сочинений Гроссмана, разумеется, без «Жизни и судьбы». Гроссман вернулся к вопросу о возвращении ему арестованной рукописи. Суслов сказал: «Нет, нет, вернуть нельзя. Издадим пятитомник, а об этом романе и не думайте. Может быть, он будет издан через двести — триста лет».

Не знаю, как двигалась эта космическая цифра, снизу — от писателей-функционеров к Суслову или сверху — от Сулова к ним. Разговаривая, Суслов перебирал рукой обе рецензии, заглядывал в них, читал вслух наиболее, с его точки зрения, предосудительные цитаты из романа. По словам Гроссмана, рецензии были довольно большие, на глаз — по 15—20 страниц каждая.

Недавно выяснилась примечательная подробность. Два дачных соседа Черноуцана, некогда ответственного работника отдела культуры ЦК, сообщили мне, каждый в отдельности, что Черноуцан им сказал, что он был одним из рецензентов «Жизни и судьбы» и посоветовал изъять роман, а Гроссмана не трогать; последнее он ставит себе в заслугу.

Чтобы покончить с пятитомником. Собрание сочинений Гроссмана так и не вышло в свет, обещание Суслова осталось невыполненным. В Гослитиздате долго мурыжили, в одном из писем ко мне Гроссман жалуется на то, что директор издательства Владыкин «крутит, увиливает от ответа». В другом письме, в конце 1961 года, Гроссман писал:

«Сегодня позвонили из «Нового мира», Дементьев¹ сообщил, что рассказ у них не пойдет. Разговор противный.

Не поздравляй меня пока с собранием сочинений, ведь план издательства еще не утвержден. А если будут резать план, то кого же, как не меня, вышибут из него — стою на подножке».

Как Гроссман предсказывал, его вышибли из плана. После его смерти я как член созданной правлением Союза писателей комиссии по литературному наследству Гроссмана имел по поводу собрания его сочинений (Гроссман успел составить подробное содержание каждого тома) разговор с новым директором издательства — В.А. Косолаповым, который при всей своей официальной тертости мог увлечься литературным событием. Косолапов отнесся к делу сочувственно, посоветовал, чтобы я выступил с предложением издать пятитомник Гроссмана на ближайшем заседании редсовета, но чтобы перед этим в издательство обратились с письмом видные писатели. Было подготовлено письмо. Его подписали Эренбург, Твардовский, Паустовский, и с помощью Косолапова собрание сочинений Гроссмана снова вставили в план редакционной подготовки. С Ольгой Михайловной заключили договор на составление пятитомника, она сдала в издательство первые два тома, даже получила мелкие (для нее крупные) деньги, но издание отпихивали из года в год, пока эту позицию (такое слово они употребили) не вычеркнули из плана навсегда — после выхода за рубежом повести «Все течет».

Гроссман старел на глазах у близких. В его курчавой голове поприбавилось седины, появилась на макушке лысинка. Астма, которая отпустила его на некоторое время, вернулась к нему опять. Походка его стала шаркающей. Телефон у него замолк, многие старые друзья его покинули. Болезненно воспринял он поведение детского писателя Р. И. Фраермана, давнего своего друга, которого он любил.

¹ Заместитель Твардовского в «Новом мире». Не помню, о каком рассказе пишет Гроссман. Думаю, что о «Тиргартене».

Гроссман мне писал: «Звонил Рувим, разговор длился долго — четыре минуты. Но все же позвонил, хорошо и это».

А Гроссману нужны были друзья, приятели, собеседники. Чего эти люди испугались? Ведь Сталина уже не было. Я с особенной силой понял положение Гроссмана в последние годы, когда после моего выхода из Союза писателей нечто подобное, в меньшем объеме, произошло со мной. Два моих школьных товарища, а мне пошел 73-й год, нетрудно прикинуть, сколько лет мы были дружны, перестали со мной общаться. Я даже не знаю, живы ли они. Но у меня появились и здесь, и там новые, чудесные друзья. А Гроссмана этим судьба не баловала. Правда, в Коктебеле он познакомился с критиком Л. Лазаревым и поэтом Н. Коржавиным. Они были к нему внимательны, понимали значение его таланта. Оба пришлись ему по душе, особенно его поразила Коржавин с его поэтическим мышлением и непоэтической внешностью. Гроссман был обоим благодарен за доброе к нему отношение.

Не печатающийся, изгнанный из литературы, он продолжал не только писать, но и живо интересоваться всем новым, что появилось в печати. Его удивил своим озорством «Звездный билет» Аксенова. Он обрадовался повести Войновича «Мы здесь живем», «Большой руде» Владимова. Он говорил, что у этих писателей большое будущее. Он не дождался до того, чтобы узнать знаменитого Чонкина, верного Руслана, магаданские страницы «Ожога», двор посреди неба, но я уверен, что высоко оценил бы эти прекрасные фундаментальные вещи. Он увидел по телевидению вечер поэзии в Лужниках и с большим удовлетворением сказал мне, что задорные молодые имели у многочисленной публики гораздо больший успех, чем стихотворцы-чиновники, одетые в броню званий и должностей.

Однажды он позвал меня к себе и с ликованием, неожиданным для меня, дал мне рукопись. Это был рассказ, напечатанный с одним интервалом на папиросной бумаге. Имени автора не было, рассказ был озаглавлен каторжным номером зека. Я сел читать — и не мог и на миг оторваться от этих тоненьких помятых страничек. Читал с восторгом и болью. Гроссман то и дело подходил ко мне, заглядывал в глаза, восторгался моим восторгом. То был «Один день Ивана Денисовича». Гроссман говорил: «Ты понимаешь, вдруг там, в загробном мире, в каторжном гноище рождается писатель. И не просто писатель, а зрелый, огромный талант. Кто у нас равен ему?»

О Солженицыне более подробно Гроссман узнал от сотрудницы «Нового мира» Анны Самойловны Берзер. Он почему-то ждал, что Солженицын придет к нему, хотел встречи с ним. Но им так и не суждено было встретиться.

Гроссман дал мне прочесть и другую попавшую к нему рукопись — «Крутой маршрут» Е. С. Гинзбург. Он с похвалой отозвался об авторе, считал, что книга написана очень талантливо, удивлялся памяти незнакомой ему писательницы.

В письмах ко мне разных лет есть замечания Гроссмана о литературных произведениях. Думаю, будет уместно, если я эти замечания здесь приведу.

«Прочел роман Кочетова «Братья Ершовы»». Подлое, ничтожное произведение, построенное по схеме столь примитивной, что она может возникнуть в голове петуха, судака, лягушки. Тираж 500 000. Одно утешение — бездарно. Знаешь, ведь особенно больно, когда имеешь дело с Гамсунном, тогда возникает сложность. А здесь этой сложности нет, все просто и ясно, как в пословице о пчелах и меде¹.

«Читал ли ты Эренбурга в № 1 «Нового мира»? Читается с интересом, но в 70 лет можно бы подумать поглубже, посерьезней. Зато Мафусаилова мудрость в понимании того, что лъзя, а чего нельзя».

«Прочел я книжку Лема «Вторжение с Альдебарана». Редко книга нагоняла на меня такую тоску, как эта, — тоску не от скуки. Книга интересная, и автор с искрой в голове, но от книги тоска и противно».

«Прочел Моруа «Жизнь Флеминга», — прочти, если попадется тебе, довольно интересно, а местами и вовсе интересно, шотландец он, характер — вещь в себе, но вещь».

«Читаю мало, прочел книжку Датта «Философия Махатмы Ганди». Читал ли ты ее? Если нет — дать тебе ее, интересная очень».

«Прочел книгу Юрия Давыдова «Март» — о народовольцах. Прочти ее непременно. Что-то в ней есть очень хорошее. Хотя автор не крепкий, а в книге много хорошего. Там интересно и много о Плеханове, без «но». Впервые, пожалуй, так у нас о Плеханове написано без «но».

«Прочел в «Огоньке» рассказ маленький Казакова. Мне кажется, автор талантлив. Не зря шум. Он несколько манерен, сильно влияние Чехова. Но, слава богу, есть на кого влиять. Елизару Мальцеву такого упрека не сделаешь».

¹ Гроссман любил эту пословицу: «Г... пчелы, г... мед».

«Прочел в «Огоньке» перевод поэмы Турсун-Заде. Переводчик — Семен Липкин. Читая, вспомнил и перефразировал одесскую формулу: «Форма — во! Но морально тяжело». Хорошо поет, проклятая цыганка!»¹

«Прочел Дудинцева в двух номерах — хорошая, смелая вещь. Отношения между людьми (деловые) реальны. Это очень важно, т.к. литература отвыкла от реальных отношений между людьми. Личные отношения написаны плохо — любовь, дружба. Но спасибо и за деловые. Живые фигуры служащих, чиновников, ученых. Тут дело не в оценке таланта, а в определении вида литературы, как-то: чет — нечет, черное — белое, брехня — правда. Это не брехня. А что талант не так велик, это уже второй, следующий вопрос. Им будет интересно заняться, когда таких произведений — реальных — станет много. Пока же хочется радоваться появлению в прериях первых скрипучих телег, на которых едут смелые пионеры. Честь им и хвала и всяческой удачи!»

«Прочел очень прелестные и пустые стихи Пастернака «Быть знаменитым некрасиво». Я думаю, что если бы Бор[ис] Леон[идович] хоть полчаса думал, что он не знаменит, то он, подобно другому поэту, «повесился бы на древе»², не смог бы жить. Но и он въехал в прерию, удачи ему! Путь его нелегок, долгий, трудный».

«Читал ли ты рассказ Войновича в «Новом мире»? Прочти, талантливо. Талант в правде. Об авторе с симпатией рассказывала Анна Самойловна».

«Продолжаю читать Ямпольского. Странное дело. Талантливо написано, все мило и все не то. Как песок».

«На днях прочел у Вольтера: «Надо быть новым не будучи странным, часто высоким и всегда естественным». Как хорошо сказано!»

Конечно, не все гроссмановские высказывания о литературе заключены в его письмах, мы ведь разлучались не очень часто, а встречались, когда не были в разъездах, каждый день и беседовали и о литературе, о людях, и о многих других превосходных вещах — от археологических раскопок Бактрийского царства до новейших открытий физики.

¹ Слова матери Тургенева о Полине Виардо.

² Единственные стихи моего младшего сына Георгия, когда ему было 12 лет: «Когда б я увидел древо, повесился бы на месте»
Строки эти рассмешили моих друзей, их не раз в тяжелую минуту по вторяла А. Ахматова.

Читателя может покоробить замечание Гроссмана о стихах нашего великого поэта. Необходимо разъяснение.

Гроссман хорошо чувствовал, понимал силу стихотворного слова. Напомню, что в «Жизни и судьбе» он полностью приводит насыщенное страстной, страдающей мыслью стихотворение Волошина или удивительное стихотворение безымянного поэта «Мой товарищ, в смертельной агонии...». Он любил, отлично знал Пушкина, Тютчева, Лермонтова, Некрасова, из более поздних — Бунина, Есенина, но то, что теперь принято называть «магией», не завораживало его, если в «магических» стихах не было ясного смысла, важного для людей. Отсюда его отношение к Пастернаку, Мандельштаму, ко всем поэтам серебряного века, начиная с Блока. Он брал у них только то, в чем нуждались его душа и разум. Поскольку зашла речь о Пастернаке, мне вспоминается такой эпизод.

Где-то в середине пятидесятых, будучи в Доме творчества в Дубултах, на Рижском взморье, мы познакомились с писателем Д. Я. Даром, очаровательным человеком. Дар был мужем В. Ф. Пановой. Он покидал Дубулты раньше нас и приглашал в Ленинград, обещав забронировать для нас номер в гостинице. По его словам, Панова давно мечтает познакомиться с Гроссманом. Вот мы и приехали из Риги в Ленинград, позвонили Дару и были приглашены в гости. Панова оказалась женщиной острого ума, с ней интересно было беседовать. Гроссман заметил — нельзя было не заметить, — что чуть ли не полстены в ее кабинете увешаны фотоснимками Пастернака. Гроссман удивился. Панова объяснила: «Пастернак — самый любимый, самый дорогой мне из современных русских поэтов, он мой кумир». Когда мы покинули гостеприимный дом и пошли пешком до гостиницы «Октябрьская», Гроссман мне сказал с раздражением: «Не верю ей. Что ей, с ее беллетристической, трудной, сложный Пастернак? Выкомаривается».

Проходит несколько лет, начинается тотальная травля Пастернака, его собираются исключить из Союза писателей, и вот из Ленинграда приезжает в Москву Панова, чтобы как член правления участвовать в «процессе исключения». «Для чего она это сделала? — бушевал Гроссман. — Ведь даже писатели-москвичи, сохранившие немного порядочности, сидели дома, объясняли, что больны. А эта из Ленинграда приехала, чтобы исключить самого дорогого, самого любимого своего поэта, своего кумира. Помнишь, как Коля Чуковский с придыханием в своем гут-

таперчевом голосе читал нам стихи Пастернака, и вот он выступил, подал этот самый голос за исключение поэта. Господи, почему так огромен твой зверинец!»

Сам он в эти тяжкие для русской культуры дни написал Пастернаку письмо. Насколько я помню, в письме он не касался трагических событий, только с большой сердечностью пожелал поэту здоровья и покоя.

Я долго пытался познакомить Гроссмана с Ахматовой, но безуспешно. Ни он, ни она не проявляли особого желания. Я не уверен, что Ахматова читала Гроссмана, хотя, когда случилась с ним беда, участливо расспрашивала меня о нем. Что же касается Гроссмана, то я думаю (это звучит малоубедительно), что он разочаровался в ней, узнав от меня, что она терпеть не может Чехова. А Гроссман боготворил Чехова, знал наизусть многие страницы его произведений, даже многие его письма. «Как может русский писатель не любить Чехова», — возмущался он. Гроссман часто в бытовой речи цитировал расхожие строки Ахматовой, вроде «Как ты красив, проклятый» или «У разлюбленной просьб не бывает». Он понимал прелесть ее поэзии, но не постиг величия этой поэзии. Анна Андреевна подарила мне экземпляр рукописи «Поэмы без героя». Я позвал Гроссмана к себе, прочел эту поэму. Потом он стал читать ее сам, подняв на лоб очки, но восторгов моих не разделил.

Из писателей-современников Гроссман выше всех ценил Булгакова, Платонова, Зощенко, Бабеля, восхищался «Печалью полей» и некоторыми рассказами Сергеева-Ценского, в особенности его «Приставом Дерябиным», «Ибиксом» и «Детством Никиты» А. Н. Толстого, как я уже писал, «Тихим Доном». Были у него и неожиданные пристрастия, например, высоко ставил рассказ Никандрова «Во всем дворе первая». Он почитал Вересаева как человека, запомнил его роман «В тупике». Однажды спросил меня, читал ли я вересаевский перевод «Илиады». Я сказал, что в этом переводе нет музыки, нет той мощи, которая есть в переводе Гнедича. «Знаешь, — сказал Гроссман, — я «Илиаду» не читал. Неужели ты ее осилил?» Я ответил, что с детства самые любимые мои книги после Библии, конечно, «Илиада» и «Одиссея», что Толстой изучил древнегреческий, чтобы прочесть «Илиаду» в подлиннике. Через некоторое время он поделился со мной впечатлениями от прочтения «Илиады». Он был ею восхищен: «Мы спешим прочесть современников, а многие ли из них останутся? Какая живая книга «Илиада», она о нас».

Гроссману нравилась «Россия, кровью умытая» Артема Веселого, «Растратчики» Катаева, он считал, что истинное призвание этого блестящего писателя — юмор, что напрасно Катаев, житейского успеха ради, пошел не своей дорогой.

Сурово-прямой, непримиримо-требовательный, аскет-францисканец в литературе, он то с горечью, то негодуя наблюдал, как постепенно теряют свой облик крупные таланты, например А.Н. Толстой. А о тех, у кого, по его мнению, Божьего дара не было, а только литературные способности, говорил без горечи, презирал их.

Он пытливо, сосредоточенно выслушивал мои рассказы о знакомых мне писателях, погибших в сталинское время, о Мандельштаме, Бабеле, Булгакове. Гораздо меньше других я знал Марину Цветаеву, с которой впервые встретился у ее подруги ранних лет поэтессы В.К. Звягинцевой. Марина Ивановна пожелала со мной познакомиться, потому что редактировала тогда перевод на французский язык главы из калмыцкого эпоса «Джангар», мной переведенного на русский. Я провел с ней целый памятный день, от девяти часов утра до поздней ночи в ноябре или в начале декабря 1940 года. Больше с того дня я с ней не виделся. Мы только разговаривали несколько раз по телефону. Странно, что Цветаева, более туманная, чем бывал Пастернак, не говоря уже о прозрачной Ахматовой, была близка душе Гроссмана, который упорно следовал вольтеровской максиме — «надо быть новым, не будучи странным». «Как просто, — радовался он, — Цветаева спрашивает: «Мой милый, что тебе я сделала?» Просто и сильно». Возможно, что Гроссмана восхищала наступательная ярость Цветаевой, ее открытость, буйно разрывающая синтаксические завесы.

В моей памяти жива реакция Гроссмана на эти рассказы. Когда я рассказал Гроссману о внутренней рецензии Зелинского на сборник Цветаевой, предложенный ею «Художественной литературе», у него под роговыми очками заблестели глаза. Он сказал: «Все ужасно, и не только эта б... Зелинский. Ты знаешь, мелочи, конечно, плащик зимой, кислые щи, а есть в них нечто чудовищное. Цветаева — тонкий, изысканный поэт — и метростроевская обжорка. Я думаю, что судьбы Цветаевой, Ахматовой потруднее судьбы княгини Волконской, вот о них, о таких, как они, и создать бы поэму «Русские женщины». Написал бы, а?»

«Мне было восемнадцать лет, — в другой раз рассказывал я ему, — когда поселился в Кунцево недалеко от Баг-

рицкого. Он-то и приискал мне пристанище. Обычно я проводил у него вечера. Однажды — это было в апреле тысяча девятьсот тридцатого года — к Багрицкому приехал Бабель. Я впервые увидел его: невысокого роста, плотного, с мудрыми раввинскими глазами. Из слов Бабеля я понял, что он давно не был в Москве, жил где-то в деревенской «глубинке». Он произнес фразу, которую я запомнил навсегда: «Поверите ли, Эдуард Георгиевич, я теперь научился спокойно смотреть на то, как расстреливают людей».

Гроссман сказал: «Как мне жаль его, жаль не только потому, что он так рано погиб, что они убили его, но и потому, что он, умница, талант, высокая душа, произнес эти безумные слова. Что стало с его душой? Зачем он встречал Новый год в семье Ежова? Правда ли это? Почему таких необыкновенных людей — его, Маяковского, твоего Багрицкого — так влекло к себе ГПУ? Что это — обаяние силы, власти? И почему Бабель водился с темными личностями на бегах, с приставленным к нему Кожевниковым? Стоит над этим задуматься, явление нешуточное, страшное».

Во время «великого перелома» в Москве заканчивал свое существование альманах «Недра». Станный это был альманах! Им завладели «кузнецы» — пролетарские ортодоксы Гладков, Новиков-Прибой, Ляшко, Бахметьев, Никифоров, высокий, усатый, похожий на пожилого рабочего из плохого кинофильма, его все называли Жора, он был впоследствии репрессирован, но активно продолжали сотрудничать в альманахе и такие писатели совершенно из другого мира, как Вересаев, Замятин, Булгаков.

«Недра», по рекомендации заведующего стихами С. А. Обрадовича, приняли к печати мою юношескую слабенькую поэмку об убийстве селькора на Одессине: убил его земляк из ревности, но в газетах загудели, что по идейным соображениям, — классовая ненависть. Прихожу я в редакцию (она помещалась на Варварке, в старинном ветхом доме), а секретарь редакции, писатель-кузнец Дмитриев, говорит мне, что цензура зарезала мои стихи: «Возьми на память гранки». Так, девятнадцатилетний, я впервые столкнулся с цензурой. Я был в замешательстве, не знал, что мне делать. Уйти или чего-то ждать. В глубине комнаты сидел человек, лицо которого мне показалось не только красивым, но и значительным. Что-то было в этом лице необычное, несоветское, что-то из прежней жизни. Посмотрев на меня, он дернул головой в сторону, и я подумал, что этот человек почему-то мной недоволен. Не потому ли, что

цензура запретила мою поэму? Позднее я узнал, что он страдал нервным тиком. Незнакомец был в мятом, заношенном, кургузом пиджаке, в накрахмаленной белоснежной манишке, галстук бабочкой, из-под рукавов с потертыми краями виднелись старорежимные твердые манжеты. Он мне сказал: «Выше голову, мой юный пиит, вы начинаете в лучших русских традициях — с цензурного запрета!» Это был Булгаков. Он великодушно предложил мне пообедать с ним в Доме актера у Страстной. Мы направились к площади Ногина, чтобы сесть в пятнадцатый номер трамвая. На площади чернела большая толпа: давно не было трамвая. «Видно, давно нет трамвая», — тонко заметил я, а Михаил Афанасьевич сказал: «Меня не то удивляет, что трамваи не ходят, меня то удивляет, что трамваи ходят».

Гроссману мой рассказ (дальнейшее продолжение которого здесь неуместно) запомнился. Подобно всем нам, Гроссман еще не знал «Мастера и Маргариты», но всегда воспринимал Булгакова как чудо русской литературы. «Подумай, — говорил он. — Габрилович¹ был его соседом по Нащокинскому, у них был общий балкон, разделенный перегородкой, но ни разу не попытался поговорить с Булгаковым, видно, были дела поинтересней. Не дела — делишки». Когда возникали не совсем понятные события, Гроссман любил повторять: «Меня не то удивляет, что трамваи не ходят, меня то удивляет, что трамваи ходят».

Несмотря на арест романа, несмотря на горестные обстоятельства в личной жизни, несмотря на материальные затруднения, несмотря на ухудшение здоровья, Гроссман продолжал ежедневно работать. «Графоманы все же упорны». Он написал несколько великолепных рассказов — только часть их напечатана. Наново переписал повесть «Все течет» — увеличил ее почти вдвое. Сохранилась магнитофонная запись одного его рассказа. И мы, близкие, чтобы услышать его голос, включаем 12 декабря, в день рождения Гроссмана, магнитофон. Рассказ называется «В большом кольце». В основе рассказа лежат впечатления дочери его друга студенческих лет, Вячеслава Лободы.

Подмосковная дача. Девочка, дочь высокоинтеллектуальных родителей, только и слышит в семье «Дмитрий Дмитриевич» (Шостакович), «Лев Давыдович» (Ландау). Она обожает отца, видимо известного искусствоведа, тако-

¹ Известный сценарист. Гроссман во время войны служил с ним в «Красной звезде».

го умного, ироничного. И вот у нее приступ аппендицита, ее отвозят в ближайшую районную деревенскую больницу. А там — другая жизнь. В палате — старуха-матерщинница, злая и одновременно, как часто у Гроссмана, добрая, роженица — безмужняя девушка, работающая на стройке, которая сама точно не знает, от кого у нее должен родиться ребенок. И чего только не наслушалась в палате девочка из советского истеблишмента! Оказывается, не в ее доме, а в деревенской больнице — правда жизни, грубая, нищая и прекрасная. Слышит она и такую утешительную притчу. Лежат в одной больнице две роженицы: жена лейтенанта из расположенной поблизости военной части и простая девушка, на которой отец будущего ребенка не хочет жениться. Обе рожают в один день. Жена лейтенанта не хочет кормить ребенка, ей надо сохранить красивую грудь, и обоих детей кормит простая девушка. Об этом узнает лейтенант и, когда наступает день выписки, увозит к себе не жену, а безмужнюю девушку с двумя детьми — с ее ребенком и со своим. Дочь искусствоведа, вернувшись домой, начинает иными глазами смотреть на своего отца, на знакомых, видит их ложь, пустоту, черствость. Пронзительный рассказ, хорошо бы его напечатать, чтобы читатель узнал первоисточник, а не мое топорное изложение.

Так и вижу Гроссмана, выгуливающего вечером на дворе пуделя Пуму, порой собака вырывается из его рук, поскольку он подолгу стоит на месте, заглядывая в чужие окна на первом этаже, — его писательское любопытство было выше условностей. Бывая в гостях, любил он заходить на кухню коммуналки, хотел узнать, что совершается в глубине квартиры, в ее сокрытом от гостей тылу. Точно так же, когда он писал книгу об Армении, он заходил во внутренние дворы, потому что там открывалась «людская жизнь: и нежность сердца, и нервные вспышки, и кровное родство».

Однажды ко мне подошла в Доме литераторов неприменная, многочасовая его посетительница Асмик (фамилию забыл), армянка, похожая на черный колобок, и сказала мне, что она перевела с армянского большой роман Рачия Кочара на военную тему, но автор считает, что ее перевод лишь подстрочник (так оно и оказалось), нужен для обработки хороший писатель, желательно с именем и фронтовик, так не могу ли я кого-нибудь порекомендовать. Писателя-переводчика пригласят работать в Армению, республика оплатит дорожные расходы, местное издательство заключит с ним договор. Я подумал, что неплохо бы Гросс-

ману поехать в Армению, да и гонорар за перевод романа нужен сейчас Гроссману позарез, и обещал обрадованной Асмик с ним поговорить.

Впоследствии, в «Добро вам», Гроссман выведет Асмик под именем Гортензия («Асмик» по-армянски — жасмин).

Я не был уверен в удаче своего предприятия. Гроссман, даже когда с деньгами было туго, не любил писать на заказ. Давно, после неожиданного удара по пьесе «Если верить пифагорейцам», он спросил у жены: «Что же мне теперь делать?», а Ольга Михайловна ответила: «Пиши сценарию». Он часто вспоминал и не мог ей простить эти слова. На моей памяти он только один раз откликнулся на предложение заказчика — театра имени Вахтангова — написать пьесу. Он инсценировал один из своих военных рассказов. В центре пьесы — старый учитель Розенталь, который полагает, что истребление евреев было «арифметикой зверства, а не стихийной ненавистью... но счетоводы просчитались». Пьеса получилась печальная, умная, по-моему, очень сценичная, однако Вахтанговский театр от нее отказался: уже в 1947 году еврейская тема вызывала отталкивание. Гроссман отдал пьесу С.М. Михозлсу — с тем, чтобы ее перевели на идиш. Соломона Михайловича пьеса «Учитель» восхитила. Я с ним был хорошо знаком (нас еще до войны познакомил Самуил Галкин, в поэтическом переводе которого театр Михозлса поставил «Короля Лира»), мы вместе с Гроссманом несколько раз посетили Михозлса в его квартире около старого здания ТАСС, он делал автору замечания, в которых блестящий ум неназойливо сочетался с прирожденным чувством театра, пили вишневку, приготовленную женой Михозлса — единственной, кажется, в нашей стране представительницей знатного польского рода.

Мы провожали Михозлса в его последний путь, он уезжал в Минск по пустяковому делу — для просмотра какой-то пьесы, выдвинутой на соискание Сталинской премии. Помню перрон Белорусского вокзала, помню прекрасное уродливое лицо Михозлса, его глаза каббалиста и колдуна, сардонически выпяченную нижнюю губу — и неспешные слова, произнесенные на великолепном, по-актерски артикулированном русском языке: «Я уверен, что сыграю роль учителя. Это будет моя последняя роль». Помню и другого неповторимого актера — В.Л. Зускина. Мы втроем махали рукой отъезжающему Михозлсу. Он так и не сыграл свою последнюю роль. Нет, он сыграл ее, но не на сцене. Как и

герой пьесы Гроссмана, он умер от руки убийц. Минской темной ночью его сбил грузовик, его убили те же силы, которые убили учителя Розенталя.

Провожали мы Михоэlsa и в последний земной путь. Огромная толпа двигалась по Тверскому бульвару и по боковым улицам от здания ВТО, где Михоэls лежал в гробу, до Малой Бронной, где помещался ГОCЕТ — Государственный еврейский театр. Михоэlsa хоронило Государство, хоронило торжественно — иначе, совсем иначе хоронило оно ближайших друзей великого артиста — поэтов, писателей, актеров. Настоящая фамилия Михоэlsa — Вовси, он двоюродный брат знаменитого врача Вовси, профессора, одного из главных обвиняемых по процессу врачей-убийц. Врача после смерти Сталина освободили, он остался жив.

Я не думаю, что отклонился далеко в сторону. Перейду от еврейской темы к армянской. Гроссману понравилась возможность поездки в Армению. Он сказал: «Если роман не подлый, буду переводить. Хорошо, что он, как ты говоришь, большой. И деньги нужны, и на душе скверно, может быть, поденщина поможет».

Асмик принесла свой толстенный подстрочник, роман с точки зрения морали удовлетворил Гроссмана, он спросил только: «Подстрочники всегда такие безграмотные?» Первого ноября он сел в поезд. Из Армении он мне часто писал. Я хочу, чтобы читатель познакомился с некоторыми из этих писем. Интересно будет сопоставить последнюю книгу Гроссмана «Добро вам» с его непосредственными армянскими впечатлениями. И какая жизненная сила заключена в письмах писателя, «задушенного в подворотне». Я привожу эти письма с сокращениями, касающимися обстоятельств — его и моих — сугубо личного характера.

4.X1.1961

Дорогой Сема, вот я приехал в Армению. Мне кажется, что именно ты с особой силой ощутил бы то, что составляет душу этой совершенно удивительной страны, это соединение невероятной суровости каменной земли, синего базальта, тысячелетних храмов, дивной древности и сегодняшней жизни. Знаешь, я все думаю, что ты удивительно глубоко ощутил бы Армению — с ее библейским совершенно прошлым, с ее библейским пейзажем и с ее живой сегодняшней, южной, смуглой, трудной, шумной жизнью, — с невероятным трудом вырубавших хлеб из ба-

зальта крестьян и мощных ереванских деляг, звенящих от личной инициативы.

Боже, если бы ты знал, сколько в Ереване армян! Сами-сыньки армяны...

В Ереване меня должен был встретить Кочар, но перепутал сроки прихода поездов, и я оказался на перроне один. Вспомнил наше прибытие в Тифлис и твои команды: «Цветы вперед, дети к вагону, он это любит, оркестр отойдите, речей не надо, он это не любит»¹.

Вот я и стоял с довольно-таки горьким чувством на опустевшем перроне, потом сдал вещички на хранение, потом пошел садиться в автобус, искать Кочара. Что скажешь, кроме того же: он это любит.

В Грузии тепло, зелено, проехали Гори, там огромный портрет Сталина в форме маршала, по бокам скромные портреты Ленина и Хрущева. В Тбилиси вокзал веселый, оживленный. Окон там не стеклили. Ереван хорош, хороши дома из розового туфа, площадь грандиозная. Но нет той прелести, что мы видели в Тбилиси. Над городом могучий монумент на холме в военной шинели — Сталин. Он настолько величественен, огромен, что в памятнике какая-то мистическая, нечеловеческая мощь. Сегодня Кочар возил меня на Севан. Но знаешь, Иссык-Куль все же сильнее², все горы вокруг него белее. Но зато на Иссык-Куле нет ресторана «Минутка», где подают розовую, выловленную только что из воды форель. Завтра по твоему завету еду в Эчмиадзин — резиденцию католикоса. Напишу тебе об этой поездке. Живу в гостинице «Армения» на втором этаже, комната маленькая, но с ванной и — да простит меня Шолохов³, — с добрым клозетом индивидуального пользования. Вероятно, 10—12 поедем работать в дом отдыха под Ереваном...

9.XI.1961

¹ В 1956 году мы с Гроссманом совершили поездку по маршруту Москва — Нальчик — Махачкала — Баку — Тбилиси — Сухуми. Всюду нас хорошо встречали благодаря моим крепким связям, за исключением Баку, там связей не было, устроиться в гостинице мы не могли, поехали в Тбилиси. Гроссман был огорчен, и в поезде я сочинил и играл сцену его предполагаемой торжественной встречи в Тбилиси.

² В 1948 году мы поехали в Киргизию, были на высокогорном озере Иссык-Куль. Гроссман об этой поездке написал очерк.

³ Шолохов в своей речи на одном из партийных съездов призывал писателей для подъема творчества покинуть столицу с ее санитарными удобствами и жить на селе.

...Я живу в Ереване, город мне нравится. Погода хорошая, днем тепло, солнце, а ночью дожди. Позавчера лил такой ливень, что я подумал — хорошо, что Арарат рядом.

Арарат перед моим окном. Утром он розовый, днем сияет белизной, вечером тоже розовый. А иногда его закрывает облаками дым ереванских фабрик.

Был в Эчмиадзине, храмы огромной древности сохранились до наших дней. Конечно, они обновляются. Архитектура их поражает — гениально простая. Под главным, ныне действующим собором в земле скрыт языческий храм 1-го века, и прямо под алтарем находится жертвенник языческий, страшный, темный котел. А в храме при мне крестил девочку молодой армянский священник.

Принял меня католикос — Восген Первый — в патриарших покоях. Это светский человек в черной шелковой рясе, лет 50-ти, с добрыми красивыми глазами и с губами Куаньяра, любившего «хвалить господу в творениях его». Католикос выпил за мое здоровье рюмку коньяка. Мы беседовали о литературе и пили черный кофе. Обслуживал это дело монах, молодой человек, невероятно красивый. Любимый писатель Восгена Первого — Толстой, тот, которого церковь предала анафеме. Восген — автор работы о Достоевском, он сказал мне, что без Достоевского невозможно человекознание. Все было хорошо, интересно, но бога в Эчмиадзине я не видел.

Едят тут вкусно — все, что должно нравиться человеку. К еде подают много пряных приправ. Пьют коньяк — три звездочки. Цены на рынке высокие, московские, фрукты дорогие. Но в магазинах много продовольствия. Видел драку — молодой армянин хотел зарубить топором толстую даму, тоже армянку, видно, жену свою. Его окружили старухи, но он и на них занес топор. Все обошлось без крови, но крику было много. И произошло это на фоне Арарата, знаешь, это какое-то особое впечатление — снежная святая гора и топор в руках жгучего брюнета.

Я работаю, твоему совету в данном случае следовать не могу — уж очень нервы у меня напряжены, спешу, спешу... Не отдыхается. Да и тоскливо бывает очень, хотя впечатлений много...

Я прерву выписки из армянских писем В. С. Гроссмана, чтобы сказать несколько слов о Вазгене (так правильно — не Восген, как у Гроссмана, — пишется имя католикоса всех армян).

Я тоже имел честь быть представленным католикоосу, когда мы вместе с Инной Лиснянской приехали весной 1972 года в Эчмиадзин. В один день с нами католикос принял известную актрису из Латинской Америки Лолиту Торрес.

С ней католикос говорил по-испански, со мной — по-немецки. Он сказал, что мы хорошо поступили, приехав в Армению в печальную годовщину геноцида 1915 года. Он обворожил нас своей приветливостью, его прекрасные глаза лучились умом и добротой. В отличие от Гроссмана, я увидел в нем человека, глубоко и простодушно верующего. Истинное религиозное чувство всегда явственно, всегда открыто собеседнику.

Он заботливо сказал нам, что сейчас он проследует в храм и чтобы мы пошли вслед за ним, иначе не пробьемся сквозь толпу. И вот по длинному коридору двинулся католикос в сопровождении высших иерархов армянской церкви, все — в фиолетовых рясах, а за ними — мы, безвестные гости.

Началась молитва поминовения усопших. Во время богослужения католикос молчал, проповедь произнес необычайной, благородной красоты священник. Никогда не забуду стройного, многоголосого пения хора, овладевшего мною чувства соединения с вечной правдой, чувства живого торжества жертв над палачами. Инна Лиснянская, армянка по матери, плакала и крестилась. Но в храме больше никто не плакал.

Когда кончилось богослужение, к ногам католикоса бросилась маленькая, худенькая армянка, приехавшая из США. Католикос благословил ее.

Все вышли из храма радостные, просветленные. Не было уныния, была радость всечеловеческой общности, какая-то детская радость. Толпа на площади расступилась перед католикосом, матери протягивали к нему своих детей, и он благословлял их.

То была одна из самых славных минут в моей жизни. Я написал стихотворение «Годовщина армянского горя», в котором говорил о всеобщем храме людей. Продолжаю выписывать строки из писем Гроссмана.

15.XI.1961

...Сегодня днем и вечером, после заката солнца, все без пиджаков — мягкая, ясная, чудная погода. Платаны стоят в золоте... Я много работаю — ямщик гонит лошадей. Живу в Ереване до сих пор, через несколько дней переберемся с

Кочаром в писательский дом под Ереваном, не знаю, как буду там себя чувствовать, он высокогато, 1800 метров. Там начнем перепечатку 1-го тома. Я тут не очень здоров, но теперь вроде лучше. Совершил две чудные поездки — на развалины языческого храма в Гарни, ему 2 тысячи лет, и в скальный, пещерный храм Гегард. Эти скальные храмы поражают — представляешь, в сплошной скале пробиты туннели, а из туннеля внутри скалы создан храм — алтарь, колонны, купол — все совершенство и все внутри камня. Только вера могла создать это зрение мастера внутри горного камня. «Помяните мастера» — высечено древними армянскими буквами на камне. А возле входа стоит старый священник в черной рясе и продает открытки — одну из них посылаю тебе. Священник приехал из Палестины, служил в Иерусалиме в армянской церкви. И вот он стоит среди базальтовых камней и улыбается добрыми карими глазами. А камни у входа в храм забрызганы свежей кровью — это верующие люди приносят жертвы, режут овец и кур.

Был в хранилище древних рукописей, показали мне такие чудеса, такую тысячелетнюю жизнь мысли, слова, краски... Есть и древнейшие, тысячелетние, еврейские рукописи, и сочинения армянина Давида Непобедимого, названного так потому, что он победил в диспуте греков. Есть огромная книга — для создания ее пергаментных страниц было убито 600 телят.

И есть жизнь сегодняшнего Еревана — шумная, живая. Утром я завтракаю в кафе при гостинице, обычно в 8 ч. утра — ем творожник, а рядом мои смуглые кузены едят ранний шашлык и вместо чая чинно, спокойно выпивают бутылочку утреннего коньяка. Город европейский во многом, а на главной улице, залитой светом, среди машин, мимо роскошной гостиницы Интуриста и здания Совмина, по тротуару идут овечки, их гонят на закланье, идут охотно, стучат копытцами, а рядом стучат дамские каблучки, гуляют местные стилиги. А у прокуратуры — она рядом с гостиницей — стоят печальные толстые старики, женщины с горем в глазах — родичи тех, кто нарушали.

Что касается опыта Звягинцевой и Петровых, то могу подтвердить своим небольшим опытом — точно, товарищ техник-интендант!¹ Но при этом стоит подумать — может

¹ Так он меня часто называл после того, как я ему прочел свою поэму «Техник-интендант»: название принадлежит ему. В.К. Звягинцева и М.С. Петровых — поэтессы, переводившие с армянского.

собственных Алиханянов и быстрых разумом Амбарцумянов армянская земля рождать.

Милы моему еврейскому сердцу базары, особенно фруктово-овощные. Горы, арараты синеньких, айвы, перцев, яблок, гранатов, виноград тут янтарный, необычайно сладкий. Но царит на рынке редис, редька, горы — пудовые, мощные, красные, полуаршинной длины, и притом толстые. Какое-то порождение огородного культа фаллоса.

А вечером я включаю армянское радио, не дикторский, слышный в Москве текст, а музыку. Утром, в полутьме, подхожу к окну, смотрю, виден ли Арарат. Еще темно, а воробьи кричат со страшной силой, голоса, как нигде, — армянские воробьи. И в небе узенькая турецкая луна.

Из наблюдений Козьмы Пруткива могу поделиться следующим — заметил, что многие жители, даже и самые нарядно одетые, вдруг, на ходу, яростно царапают зад, полагаю, это от обилия волос.

Ну, вот, дорогой мой, выполнил твою просьбу, написал побольше о своей ереванской жизни, и хоть отъехал далеко, а проболтал с тобой весь вечер, почти по-московски...

Жаль мне, что Ахматова тяжело больна...

22.XI.1961

...Я уже четыре дня живу в горном поселке Цахкадзор, над Ереваном, около часу езды, здесь Дом творчества. Поселок красивый, дома, дворики — все лепится по склону горы. Но погода чудовищно плохая — день и ночь льет холодный дождь, смешанный со снежной крупой. Тучи сидят на горах, закрыли все вокруг. Говорят, что такой дождь может лить месяц. А в Ереване дождя почти нет и гораздо теплее. Я работаю очень много, с утра до позднего вечера, сильно устаю. Вечером мыслей нет, одна усталость.

В доме живут Кочар с женой, они почти каждый день уезжают в Ереван, гуляют на свадьбах, сплошные свадьбы: затем — толстая Асмик, у нее лишних 40 килограммов, переводчик Гроссман — у него лишних семь кило, весит он 85 кило. Ты спрашиваешь, чем питается переводчик Гроссман? Шашлыками, форелью, которую привозят с Севана в ведре, душистыми травами, овечьим сыром, мацуном, редиской, армянским супом спас, лавашем, сметаной. В общем, рацион у переводчика Гроссмана, как у орангутанга в столичном зоопарке, — разнообразный, из многих компонентов. И представь, при этом переводчик не прибавляет в весе, очевидно, характер у него неважный. По дурости

Гроссман не взял черного костюма, хотя ему советовали взять его. А оказывается, в Ереване это любимый цвет, все солидные люди ходят в черных костюмах.

Два первых дня в Цахкадзоре была хорошая погода, и я много гулял, очень мне понравилось здесь. Все построено из камня, пустынный храм XIII века, удивительной простоты и ясности постройка, — и кровь, и куриные перья на камнях: верующие приносят жертвы. Коровы, телята, овечки ходят по тротуарам, ослики по мостовой. Людей почти не видно. Встречаясь с тобой, старики и молодые здороваются, улыбаются. Дети милые, живые, задорные. Ночью при луне во дворах на веревках сохнет белье — говорят, воров нет. Кроме армян во дворе живут молокане — бородатые. У каждого медный самовар, норма — 20—40 стаканов в день. На свадьбах ставят самовары — пьют чай. Цахкадзорские молокане не прыгуны, прыгуны, главным образом, в Ереване. А теперь двое суток льет дождь, Кочары уехали на очередную свадьбу, толстая Асмик отбыла с ними, и я один в большом двухэтажном доме на горе. Где-то внизу ночной сторож старик Ованес, его сын осужден за убийство, зарезал в драке человека. Ованес носатый, небритый, по-русски не знает, но, когда я прохожу мимо, он поднимает палец и смеется: «Один ты остался, на свадьбу не взяли». Среди армян часто встречаются сероглазые, голубоглазые. Русские все прекрасно говорят по-армянски. Армяне многие совсем не знают по-русски, а если говорят, то большей частью неправильно.

Пишу тебе, а дождь гудит, а час назад прогремел несколько раз гром. Спасибо, что выписал длинную цитату из «Иностранной литературы», меня она удивила и внесла оживление в мою жизнь, знаешь, я за эти недели совсем забыл о своих прежних занятиях, может быть, оттого, что с утра до вечера работаю и сильно устаю, да и вообще — ходить в ремесле по жизни, как в хомуте. Зато форелью кормят...

26.XI.1961

Сегодня съездил в Ереван, получил письма, представь, в Ереване тепло, по-прежнему ходят в пиджаках многие, на платанах золотится листва. А у нас в Цахкадзоре скрипит под ногами снег, дети катаются на санях, на лыжах.

Семушка, милый, как тут красиво, по белому снегу ходят бессчетные овцы, туман молочный, синее небо, сахар-

ные горы, и Араратище из облаков выходит, сияет своей белой головой.

Порадовался и я, что будет передача телевизионная по твоей книге переводов, напиши мне, как она прошла, не забудь. Неужели ты поедешь к 18 декабря в Казань, — ты ведь знаешь, как я не выношу твоих отъездов, даже когда сам нахожусь в Ереване. Но теперь, видимо, ты поедешь на 2—3 дня, это еще терпимо.

Получил письмо от своей редакторши московской — Ивановой. Книгу¹ пустят без задержки, письмо милое, но все хочет снять те же четыре рассказика, на которые покушался и Федор Левин, и Вера Панова в своих рецензиях. Да что уже там, — могу сказать, как мужик из «Кому на Руси жить хорошо»: «...да нас бивал Калашников»². Теперь у меня нет уже здесь сплошного набора новых впечатлений, перестал ездить, сижу с утра до ночи за столом (не обеденным), устаю. И в то же время все накапливаются совсем иные впечатления — это скорее мысли, а не впечатления, — нечто о природе вещей, о природе людей, — знаешь, как Чехов написал в своей записной книжке, статья под заглавием «Тургенев и тигры»...

11.XII.1961

...Ты спрашиваешь о моих делах. Работа моя сильно двинулась вперед, думаю закончить в конце декабря. Теперь ее сроки определяются не только мной, а деятельностью машинисток. С ужасным, безграмотным подстрочником я покончил, довел дело до последней — 1420-й страницы. Сейчас буду читать и править рукопись после машинисток. Первые 100 страниц уже прочел, — после подстрочника это примерно то же, что работа литсотрудника журнала «Красноармеец» по сравнению с пребыванием у Горохова на Рынке в октябре 1942 года. Буквально «отдыхаю душой». Только сейчас понял всю мудрость истории с козой, взятой в дом. Блаженствую — коза уже не в комнате, а в сенях. Каково-то будет, когда она уйдет из сеней и я поеду недели на 2, на 3 к морю. А впрочем, может быть, я скажу, что в помещении скучно без козы. Нет, нет, этого не будет. Мне ясно — хочу к своему разбитому корыту.

¹ Небольшой сборник «Старый учитель», повести и рассказы, с трудом вышел в «Советском писателе» в 1962 году.

² Неточная цитата из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Савелий говорит: «...нас дирал Шалашников».

Я уже привык к тому, что автор безразлично и как-то сонно относится к тому, что пожилой господин работает над его книгой с таким усердием, что по вечерам у него лицо и лоб покрываются фиолетовыми пятнами. Две недели назад меня это поразило, а сейчас я искренне был бы удивлен, услышав слово—мерси. Но, говоря по-рабочему, — харчи хорошие, общежитие чистое, теплое, платят справно, бельешко постельное меняют раз в 7 дней. Грех жаловаться. Я и не жалуясь...

Я уж тут старожил: здороваюсь с десятком людей. Дышится тут легко, и хорошо очень гулять утром, идешь по горной дороге, — по склону гор овечки, леса, монастырь, часовни, небо синее. Встретишь старика, поздороваешься, — улыбнется, и я ему говорю: «барев цез» — добро вам. Знаешь, армяне христиане с IV века, но мне кажется, что они все язычники — добрые, трудолюбивые, вспыльчивые язычники. Христианского я не чувствую...

12.XII.1961

...На днях ездили мы в Дилижан. Знаешь, когда человеку исполняется 55 лет, ему нужно жить в Дилижане, после 50 это тоже хорошо, самый раз. Боже, какая это прелесть — вдали от железной дороги в горной котловине среди сосен лепятся по склону горы домики, обнесенные открытыми террасами. Какой мир, какая тишина. Да и воздух, говорят, целебный для сердечников и астматиков. А ехать в Дилижан нужно мимо озера Севан, по горам через Семеновский перевал, и по дороге снежные вершины, сосны, армяне, молкане, овечки, ишачки, горные речушки.

Это был мой коротенький отдых. Продолжаю работать очень напряженно. Если б.ж.¹, то закончу работу в декабре. Начали поступать чистые страницы от машинисток, мой клиент читает их с кислым лицом, а мне кажется — все в порядке, — работа сделана большая, и сделана добросовестно. Меня раздражает и огорчает сдержанность клиента, право же, мог бы сказать рабочему — спасибо. Ну да что, — это ведь эпизод в моей жизни, прожитой жизни. Как я уже тебе сказал — «меня бивал Калашников». Какое уж там спасибо.

Рад я, что смогу отдохнуть, — знаешь, я очень устал. Столько сижу за столом, что не только внутри головы уста-

¹ «Если буду жив» — любимое присловье Льва Толстого.

лость, а на лице пятна выступают, и спина, и плечи болят. И так мне кажется хорошо отдохнуть после этих нештучных трудов.

Боюсь, что от прочтения статейки, которую обо мне написал Жоржик Мунблит¹, будет ощущение, как от тараканчика съеденного. Может быть, есть такая еврейская фамилия — Тараканчик? От Рувима² Тараканчика нет вестей, звонил ли он тебе или все еще на прогулке? Вот и от него у меня чувство, как от съеденного таракана, а ведь с Фраерманчиком-Тараканчиком дружили мы четверть века. Ну, ничего, «меня бивал Калашников».

25.XII.1964

Я снова переехал в Ереван, в гостиницу, простился с чудным Цахкадзором, что означает «долина цветов». Но так складывается, что на последнем этапе работы жить в горном поселке нельзя — приходится иметь дело с издательством, редактором. Надеюсь, что к концу месяца справлюсь со всеми делами, меня, правда, тревожит, не задержит ли меня получение денег, без коих, как ты легко можешь понять, до Сухуми не доедешь... Но надеюсь, что если и будет задержка, то на 2—3 дня.

У меня тут вновь появились значительные впечатления — в вечер накануне отъезда из Цахкадзора. Я был в гостях у пресвитера молоканской общины деревенской — бородатого старика, и знаешь, какое-то хорошее, светлое, ясное чувство от его веры. Куда образованному, просвещенному, блестящему католику всех армян Восгену Первому до этого косноязычному, почти неграмотному мужику Михаила Алексеевича. Верит! Знаешь — чувствуется сразу: верит по-настоящему, слив свою судьбу, судьбу жены, детей, внуков со своей верой. Верит в добро, в доброту, в то, что нельзя обижать людей и зря, для забавы, убивать животных. Пили мы чай и говорили, и я увез хорошее чувство от человека этого и от его речей.

А потом я поехал уже из Еревана, вчера, в деревню Сасун, на склоне Арагаца: сестра Кочара, старуха, женила сына-шофера. Эта поездка, конечно, самое сильное мое армянское впечатление. И знаешь, дело даже не в замечатель-

¹ Речь идет о посвященной Гроссману статье критика Г.Н. Мунблита для «Литературной энциклопедии».

² Писатель Р. И. Фраерман.

ном, поэтичном, грубом, сложном и многоступенчатым свадебном обряде и не в красивых старинных песнях, которыми славится Сасун, деревня, связанная с Давидом Сасунским. Дело, Сема, в чудных людях, деревенских армянских стариках, в армянских мужиках — чудных людях. На свадьбе было 200 человек, и я наслушался человеческих, добрых речей — впервые в жизни. Десятки людей в своих речах, обращаясь ко мне, перед толпой мужиков, баб, говорили горячо, страстно, со слезами. А говорили пастухи, шоферы, землекопы, каменщики сельские. В этот день я особенно сильно жалел, что тебя не было в этой деревне, — я все думал, что ты бы стоял тут и плакал, и написал бы стихи, читая которые люди бы тоже плакали.

И все это среди суровых груд камней, на фоне синего неба и сияющей вершины Арарата, того самого, на который смотрели люди, писавшие Библию. Ох, Сема, сильно это берет за душу... А увидимся, я тебе расскажу все это подробно, а может быть, ты и сам увидишь все своими глазами, стоит, надо...

Что Мунблит ограничился датами и названиями, то меня можно поздравить. А касаясь Вали и Рувочки¹, то надо сказать, я нахожусь на той низкой (или высокой) ступени смирения, что эти звонки к тебе меня порадовали, вот и трубку наконец Рувим взял, сам поговорил с тобой. Думаю, что на ступени смирения я все же не удержусь...

30.XII.1961

...Сема, вот я и окончил работу, — «доругаюсь» с автором, получу деньги и поеду в Сухуми, куда ты мне пиши по адресу «До востребования». Очевидно, выеду третьего. Я так устал, что, кроме нервного расстройства и бессмысленного желания плакать, ничего не чувствую, совсем что-то разболтался. С клиентом идут острые разговоры. Он человек очень неглупый, понимает, что ему сделано хорошо, но в то же время невольно меня ненавидит, как зверь, попавший на остров в лапы доктора Моро. А доктор Моро, действительно, его сильно резал и мял и несколько приподнял его на лестнице литературной эволюции. Но знаешь, очень больно: «Где моя шерсть, зачем отрезан мой хвост? Я не хочу быть голым, без шерсти». А в то же время и приятно. Ты ведь тоже старый, стажированный доктор Моро, при-

¹ Чета Фраерманов.

знайся, что тебе стоит¹. Понимаешь эти ситуации лучше меня. Вчера я кончил эту костоломную работу, а сегодня стал писать, записывать армянские впечатления. Как Жорж Занд — в 4 утра кончила роман и, не ложась спать, начала второй. Правда, есть разница, — ее печатали, а меня уж совсем трудно понять. Куда спешить?

Хочется тебя видеть, время идет, и все больше накапливаются разговоры, и перо, как принято выражаться, бесильно. Возможно, что до отъезда поедем с Кочаром в Араратскую долину к его родственникам. Там совсем не так, как на Арагаце, очень богато живут, долина эта райская.

30.XII.1961, вечером

...Получил деньги в издательстве, конечно, потиражных не заплатили, их платят по выходе книги, как и в Москве. Очевидно, автор решил, что я буду резвее работать, полагая получить деньги за тиражи по сдаче рукописи. Все же интересно — за 2 месяца жизни здесь ни один писатель не пришел ко мне, не позвонил, не позвал, а при случайных и неминуемых встречах на улице даже не спросил — здоров ли я, впервые ли в Армении, — такого собачьего равнодушия я никогда не видел, да больше и не может быть. Да это уже не равнодушие, а неприличие, потому что спросить пожилого приезжего человека о его здоровье и нравится ли ему на новом месте — это вопрос, диктуемый элементарным приличием. А автор мой сегодня при последнем нашем разговоре предлагал, и притом крайне настойчиво, чтобы в рукописи слово «люди» было заменено словом «человеки», он поражается, как же я это не понимаю, что «человеки» звучит более мягко, сердечно, тепло. Ну, ладно, зато я видел чудную Армению...

11.I.1962

Дорогой Сема, вот мы и дожили до 1962 года и пишу тебе в этом Новом году из Сухуми, — море, вечная зелень, то теплый дождь, то теплое весеннее солнце... Перед отъездом из Армении, вернее в день отъезда, получил последний заряд впечатлений, — с утра поехали на знаменитый ко-

¹ Последние несколько слов нуждаются в разъяснении. В 37-м году на открытом партийном собрании прорабатывали критика Елену Усиевич. В перерыве к ней подошел поэт Михаил Голодный и сказал: «Усиевич, признайся, ты же враг народа, что тебе стоит».

ньячный завод «Арагат», где усердно дегустировали коньяк, а затем — в благословенную Арагатскую долину, в деревню, а я уж точно выяснил для себя, что больше армянских храмов и гор мне нравятся армянские деревенские люди, очень с ними хорошо, сидя в сложенном из больших камней доме, пить виноградную водку и разговаривать, смотреть на милые стариковские лица...

Очень мне хочется, чтобы с «Новым миром» у тебя завязались отношения, — ну, год впереди, но тянуть нельзя, ведь годы позади. А у меня Новый год начался, как вся моя жизнь: и хорошо, счастливо, и горько, тревожно, путанно, с радостью на сердце, с желанием труда — таким же неразумным, как инстинкт жизни, таким же бессмысленным и непреодолимым. Ну, ладно, обо всем хорошем и светлом, тяжелом и трудном расскажу тебе при встрече, а встреча не за армянскими горами...

Получил я очень тяжелое письмо с Беговой от О. М.¹ Я написал ей, что знал о том, что Катя² едет в Сочи, но что я поехал в Сухуми и хочу перед отъездом в Москву побывать в Сочи и повидать всех. Ох, горькая это путаница.

Вспоминаю наши с тобой походы за хачапури, прогулки. Думаю в районе 20-го двинуться в Москву. Тебе сердечно кланяются море, пальмы, но не только они...³

Гроссман вернулся в Москву в начале нового, 1962 года. То, что он похудел и сильно загорел, не делало его моложе. Он казался больным. Когда он даже шутил, смеялся, боль стояла в его глазах и было видно, что боль мучительная, не физическая, а душевная. Он переехал в однокомнатную кооперативную квартиру недалеко от моего дома, но ему трудно, тоскливо было жить одному, и, когда я его утешал, — мол, заманчива холостая жизнь, рисовал ее прелести, — он слабо и беспомощно улыбался. Живший за стеной сосед Гроссмана, ему не знакомый, постучался к нему, сказал, что пришли электрики, спрашивали, действительно ли именно Гроссман его сосед, — не оборудовали ли они подслушивающую аппаратуру. Гроссман отнесся к сообщению без особого интереса.

¹ Ольга Михайловна.

² Е. В. Заболоцкая.

³ Намек на мою поэму «Нестор и Сария», действие которой происходит в Сухуми.

Сила духа его была велика: он работал, он написал несколько рассказов, создал поэму — иначе не назову его армянские записки — «Добро вам». Повторяю, если в России найдется читатель моих воспоминаний и если к тому же он окажется литератором, то я думаю, что он с любопытством прочтет армянские письма Гроссмана и увидит, как они преобразовались в сознании художника. Последнее произведение Гроссмана — неожиданное для характера его письма. Никогда он не писал с такой откровенностью о себе, обнажая не только свою душу, но и физиологию, плоть. Никогда он не был так близок себе и никогда с таким наслаждением не приближался к лицу человека: «Казалось, не свечи, а глаза людей светились мягким, милым огнем».

Я позволю себе задержать читателя на одной мысли. После смерти Сталина произошло оживление в нашей литературе. Вместе с произведениями реалистическими, без которых литература задыхалась, появились стихи, о которых говорили, что в них есть самовыражение, и проза, которую называли исповедальной. Не странно ли — какой художник не самовыражается, какое его творение не является исповедью? Но дело в том, что после придворной сталинской литературы, унаследовавшей и развившей каноны придворной поэзии Востока, читатель имел все основания заметить нечто новое, и действительно, некоторые вещи послесталинского периода в области самовыражения и исповедальности носят на себе отпечаток таланта, — но далеко не все. Стали самовыражаться, а выразить было нечего, стали исповедоваться, а получилось, что и грешили-то примитивно и все — одинаково. И тогда-то, чтобы как-то отличиться один от другого, прибегли к метафоричности, к орнаментальности. Точно так же поступали и придворные персидские поэты средневековья. Одни и те же причины привели к одинаковым следствиям. Исповедь, самовыражение интересны и глубоки только тогда, когда глубок и интересен художник.

В «Добро вам» есть все то прекрасное, печальное, светлое, мощное, что было и в прежних книгах Гроссмана, но есть и новое, оно, это новое, бросается в глаза, и все же не так просто очертить его пером критика. Да я и не пытаюсь высказывать свои размышления об армянской поэме Гроссмана, мне кажется, гораздо важнее рассказать историю ее публикации, тоже печальную, но не светлую.

Закончив работу, Гроссман отдал ее «Новому миру». Твардовскому она понравилась, на полях рукописи есть

только одна его пометка. Там, где Гроссман пишет: «Пьющие и выпивающие братья средних и пожилых лет, вы, наверное, знаете, каково это проснуться после тяжелой выпивки среди ночи». Твардовский сбоку заметил карандашом: «Еще бы!»

Других замечаний не было, очерк-поэму набрали, и цензура поставила на верстке свой жизнедательный штамп, но предложила-приказала — выбросить один абзац... Пусть читатель вспомнит то место из письма от 25 декабря, где Гроссман говорит: «Эта поездка (в Сасун), конечно, самое сильное мое впечатление... Я наслушался человеческих, добрых речей — впервые в жизни». Вот в какие строки, испугавшие цензуру, вылилось это самое сильное впечатление:

«Я низко кланяюсь армянским крестьянам, что в горной деревушке во время свадебного веселья всенародно заговорили о муках еврейского народа в период фашистского гитлеровского разгула, о лагерях смерти, где немецкие фашисты убивали еврейских женщин и детей, низко кланяюсь всем, кто торжественно, печально, в молчании слушал эти речи. Их лица, их глаза о многом сказали мне, кланяюсь за горестное слово о погибших в глиняных рвах, газовых и земляных ямах, за тех живых, в чьи глаза бросали человеконенавистники слова презрения и ненависти: «Жалко, что Гитлер всех вас не прикончил». До конца жизни я буду помнить речи крестьян, услышанные мною в сельском клубе».

Гроссмана оскорбило, обожгло решение цензуры. По его настоянию Твардовский пытался уговорить своего прижурнального главлитчика, но безуспешно, в этих строках тот бдительно усмотрел опасность для государства, упрямо настаивал на своем. Гроссман отказался печатать «Добро вам» в журнале.

Я его понимал. Давняя подпись под письмом Сталину мучила его, он не хотел еще раз поступаться своей честью. Да и противно было его душе после ареста романа идти на уступки, принести в жертву то, что помнил до конца жизни. Я надеюсь, что не принадлежу к тем писателям-рабам, которым непримиримость Гроссмана кажется глупостью, проявлением вздорного характера, но все же я тогда считал, и теперь считаю, что Гроссман совершил ошибку. Конечно, дороги, очень дороги были Гроссману 10 или 12 строк новмирского набора, окаймленные красным запретительным карандашом, но в «Добро вам» около ста страниц, и какие бесценные мысли нашел бы в них читатель, какое глубокое чувство охватило бы его...

Об армянских записках узнали в литературной среде: Верстку читали. Вот что написала Гроссману писательница, человек высокого сердца Ф.А. Вигдорова:

«Я прочитала «Добро вам». Это так прекрасно, как только может быть. Горько, нежно, пронзительно. Вы писатель замечательный, и эти сто страниц принадлежат к лучшему, что Вами написано. Всех видишь. Вместе с Вами думаешь. Плачешь. Смеешься. И такая радость их читать, эти сто страниц, хоть это чтение нелегкое».

После смерти Гроссмана с версткой «Добро вам» познакомилась поэтесса Сильва Капутикян. О многом поведали армянке-патриотке эти записки, и она увезла произведение, посвященное ее народу, на родину, чтобы попробовать там его напечатать, поскольку, за исключением нескольких строк, это произведение получило разрешительный штамп московской цензуры, весьма, естественно, почитаемой в Армении. Проходит около года, о записках ни слуху ни духу. Выполняя завет Гроссмана, я поехал в Армению. Выяснилось, что верстка находится в журнале «Литературная Армения», выходящем на русском языке, но из-за строк, выброшенных цензурой, редакция опасается печатать «Добро вам», хотя и очень этого хочет. С помощью моего знакомого, профессора-литературоведа Левона Мкртчяна, удалось убедить редакцию в безопасности и необходимости напечатать работу Гроссмана — о записках уже заговорили в Ереване, — и в 1965 году «Литературная Армения» опубликовала «Добро вам».

Мой приезд в Ереван совпал с пятидесятилетием со дня геноцида, когда турки вырезали миллион армян. Газеты никак не отметили это страшное событие, русская газета вышла с передовицей о своевременном поднятии зяби, а армянская — о дружбе народов, в городе начались волнения, с утра не расходилась огромная толпа на площади у театра имени Спендиарова, молодежь требовала присоединить к Армении Карабах, населенный армянами, отторгнуть эту территорию от Азербайджана, и я вижу нечто символическое в том, что переговоры с редакцией о записках Гроссмана велись под отдаленный гул все разрастающейся, несмолкающей, разгневанной толпы.

Когда «Литературная Армения» появилась в Москве, давний друг Гроссмана, сотрудница «Нового мира» А. С. Берзер, посоветовала мне пойти к Твардовскому с предложением перепечатать «Добро вам» в разделе «По страницам журналов»: был такой раздел в «Новом мире», в нем

помещались небольшие произведения, взятые из провинциальных журналов. Твардовский, как и я, был членом комиссии по литературному наследству Гроссмана, и моей обязанностью, среди прочих, было информировать Твардовского о наших заседаниях, которые он не посещал. Как раз комиссия поручила мне просить Твардовского о том, чтобы он, используя свой большой авторитет, помог добиться разрешения передать рукописи «Жизни и судьбы» с Лубянки в спецхран ЦГАЛИ, несравненно более доступный для членов комиссии. Твардовский обещал помочь, только сказал, что не надо его торопить, он должен для успеха дела выбрать подходящий момент встречи с кем-нибудь из руководителей государства.

Тут я перешел ко второй просьбе. Твардовский наотрез отказался перепечатать «Добро вам». Он сказал, что высоко ценит моральные качества Василия Семеновича, но что писатель он средний. Я напомнил Твардовскому о его прежних, известных мне отзывах о Гроссмане, весьма хвалебных, даже восторженных. Твардовский крепко выругался, я ответил ему в том же духе, в общем, только Юз Алешковский отважился бы воспроизвести в печати нашу литературную беседу.

История «Добро вам» на этом не кончается. Нашей комиссии удалось добиться в «Советском писателе» издания небольшой книжки Гроссмана, в которую вошло несколько его рассказов разных лет (в том числе и поздних, написанных после ареста романа) и «Добро вам», давшее название всей книжке, вышедшей в 1967 году. Редактор, покойная В. Острогорская, хорошая женщина, сказала мне, что главная редакция свирепствует, выбрасывая из «Добро вам» уже не строки, а страницы, даже главки. Замечу — свирепствует редакция, в которую входили писатели, а не Главлит.

Я доложил об этом на заседании нашей комиссии, и члены ее постановили не спорить с издательством. Я сначала намеревался добиться от комиссии решения — отказаться от публикации «Добро вам» в искаженном виде, но после долгих раздумий решил этого не делать, во-первых, по соображениям, уже изложенным выше, во-вторых, — вряд ли я пересилил бы комиссию. И теперь я чувствую и радость от того, что большая часть «Добро вам» все-таки стала достоянием русских читателей, и свою вину перед умершим другом: ведь нарушена его воля.

Главка, помеченная в книжке цифрой «2», есть, в сущности, третья, а вторая выброшена целиком. Вот кусок из нее:

«Над Ереваном, на горе, стоит памятник Сталину. Откуда ни посмотришь, виден гигантский бронзовый маршал.

Сталин одет в длинную бронзовую шинель, на голове его военная фуражка, бронзовая рука его заложена за борт шинели. Он шагает, шаг его медлителен, тяжел, плавен — он не спешит. В нем странное, томящее соединение — он выражение силы, которой может обладать лишь бог, так огромна она; и он выражение земной грубой власти — солдатской, чиновной. Кажется, облака касаются головы Сталина. Высота фигуры Сталина семнадцать метров. Фигура вместе с постаментом — пятьдесят два метра. Когда шла сборка памятника и части огромного бронзового тела лежали на земле, рабочие проходили, не сгибая головы, внутри полой ноги Сталина. Этот памятник установили в 1951 году. Я приехал в Ереван в дни XXII съезда партии, в дни, когда проспект Сталина, красивейшая улица города, обсаженная чинарами, широкая и прямая, ночью освещенная фонарями, вчekanенными в асфальт мостовой, — была переименована в проспект Ленина.

Мои ереванские собеседники говорили изящно: «Пусть металл, пошедший на создание этого памятника, обретет свою первоначальную благородную сущность...»

Мне рассказывали, что в одной деревне в Араратской долине на общем собрании колхозников было предложено снести памятник Сталину. Крестьяне заявили: «С нас государство собрало сто тысяч рублей, чтобы поставить этот памятник. Пожалуйста, разрушайте, но верните нам наши сто тысяч».

Кажется, один только старый Андреас, сошедший с ума после массовых убийств армян, совершенных турками, гневается на то, что разрушили памятник Сталину: «Он потрясал посохом, он бросался на шофера, на детей, на студентов-лыжников, приехавших из Еревана. Для него Сталин был победителем немцев. А немцы были союзниками турок. Значит, памятник Сталину разрушили агенты турок».

Из главы пятой (в книге — четвертой) выброшены четыре страницы. Там, между прочим, есть рассказ о старике Саркисяне. Был он в молодости большим партийным деятелем, встречался с Лениным в эмиграции. Затем объявили его турецким шпионом, били смертно, послали в си-

бирский лагерь, где он прожил девятнадцать лет. Мы читаем:

«Он рассказал мне, как в тесной маленькой камере ереванской тюрьмы сидели восемьдесят человек, все это были ученые люди: профессора, старые революционеры, скульпторы, архитекторы, артисты, знаменитые врачи, и как мучительно долго, каждый раз сбиваясь со счета, пересчитывали их стражники. А однажды стража вошла вместе со старым угрюмым человеком, он оглядел человеческий сплошняк на нарах, на полу быстрым взглядом и вышел. Так стало повторяться каждый день. Потом выяснилось, что этот старик — чабан. Администрация тюрьмы использовала при проверке заключенных его феноменальную способность мгновенно подсчитывать сотенные и тысячные стада овец.

Он рассказывал, как, приехав из лагеря, некоторое время продавал газированную воду на улице Абовяна и как пришедший из района старик колхозник, попивая шипучую водичку, обстоятельно беседовал с ним. Саркисян рассказывал старику, что участвовал в подпольной работе, потом в 1917 году свергал царя, потом строил Советскую власть, потом сидел в лагере. «А вот теперь продаю газированную воду».

Старик подумал и сказал:

— И зачем ты сбрасывал царя, разве он мешал тебе продавать газированную воду?»

Далее следовала трогательная история о том, как недавно две большие молуканские русские семьи перешли вброд ночью через Аракс из Турции в Армению, как их сердечно встретил начальник нашей заставы, как из пограничного поселка прибежали жены офицеров, неся одежду для женщин и детей. Не понимаю, почему этот эпизод вырезали редакторы, ведь не от нас бегут, а к нам, даже лестно.

Предисловие к книге написал Н. Атаров, написал неплохо, кое-что увидел. Читаем о Гроссмане: «В жизни он был нелюдимый, угрюмый и грозный, как правосудие... И только сейчас, перечитывая его посмертный сборник рассказов, понимаешь, как этот нелюдимый человек неутомимо искал дороги и тропинки к людям, как этот порою обижавший близких человек ненавидел предательство дружбы».

Правильно, Гроссман был неудобный человек для легкой дружбы, ненавидевший предательство дружбы. Но что это за дружба, если она легкая и способна на предательст-

во? Знакомство, завязавшееся в редакции, в Доме творчества, во время пирушки, всегда ли превращается в дружбу? Гроссман требовал от дружбы честности, стойкости, самоотверженности. Разумное требование в разумном обществе. Ему нужна была дружба «в упор, без фарисейства».

Беда Гроссмана заключалась в том, что он был доверчив, и в этой доверчивости жила одна слабость: он привечал тех, кто восхищался им. Немало легких друзей приобрел он в военные годы, когда он был в чести, когда разных людей временно объединили общие горести и трудности, и они, эти люди, тоже на время, стали лучше, честнее. Но вот военные трудности сменились другими, и люди стали другими, то есть прежними. Тот же Атаров льнул к нему, приходил к нему, как ученик к учителю, и Гроссман встречал его благосклонно, но, вступив в партию, Атаров стал функционером, его назначили редактором журнала «Москва», он постепенно отстранился от преследуемого Гроссмана, и, конечно, когда они случайно встречались, Гроссман смотрел на него «угрюмо и грозно». Фронтовые дороги свели Гроссмана с Борисом Галиным, этот правдистский очеркист гордился тем, что они с Гроссманом на «ты», и Гроссману, я видел, льстило такое поклонение, но и Галин, как теперь выражаются, «слинял», когда Гроссман попал в беду, и если бы Гроссман узнал, как уже после его смерти подло повел себя Галин, когда за рубежом вышло в свет «Все течет», то, бесспорно, говорил бы о Галине «угрюмо и грозно».

Был у Гроссмана друг детства, ставший профессором-математиком. Во время борьбы с космополитизмом он сказал: «Во имя идеи коммунизма допустимо пожертвовать целым народом». У профессора были поздние дети, как все отцы такого рода, он обожал их, а между тем говорил: «Во имя коммунизма я готов пожертвовать своими детьми». Что это было — лицемерие раба или глупость раба? И, наверно, он удивлялся тому, что Гроссман смотрит на него «угрюмо и грозно».

Гроссман хорошо относился к критику Федору Левину (в скобках не побоюсь сказать: потому что тот высоко ценил творчество Гроссмана), он жалел Левина, когда тот, по навету сослуживца-стихотворца Коваленкова, был судим и арестован на Северном фронте за необдуманно откровенные речи, но тот же Федор Левин, когда Ермилов выступил в «Правде» со статьей, уничтожающей пьесу «Если верить пифагорейцам», сказал Гроссману: «Поручили бы это мне,

я написал бы мягче, деликатней», — так удивительно ли, что с тех пор Гроссман стал смотреть на него «угрюмо и грозно».

Был у Гроссмана приятель-поклонник Осип Черный. Он был Гроссману по душе не только как поклонник, но и как знаток музыки, которую Гроссман не столько знал, сколько любил. Однажды Черный сказал Гроссману: «Вы Веньяминчик», т. е. любимчик, тем самым объясняя невезением свое собственное положение в литературе. Гроссман ему ничего не ответил, но мне пересказал, значит, запомнил, обиделся. И вот Черный выпускает роман о музыкантах, в котором вслед за Сталиным нападает на формалистов, создающих сумбур вместо музыки, в героях романа легко угадываются прототипы — Шостакович, Мясковский, Прокофьев. Эти композиторы не были близки Гроссману, он предпочитал им Моцарта или Бетховена, но Черный, лягающий их, вызвал его гнев, он и на него стал смотреть «угрюмо и грозно».

Не помню, кто рассказывал мне, что в Коктебеле в одно время с Гроссманом отдыхал АрдаMATский, автор нашумевшего фашистского фельетона «Пиня из Жмеринки», напечатанного в «Крокодиле». Никто из порядочных людей не здоровался с АрдаMATским, кроме Гроссмана, и на недоумение этих порядочных людей он отвечал: «Не вижу, почему АрдаMATский хуже других, он такой же, как все, что же я, по-вашему, со всеми должен перестать здороваться?» — И эти слова крепко задели его собеседников.

Однажды жертвой непримиримости Гроссмана оказался я. Это было в 1948 году. На одном заседании, посвященном проблемам перевода и созванном высокой инстанцией, поэт-переводчик Л. Пеньковский выступил с критикой переводов Пастернака. Присутствовавший на заседании Асеев, карточный партнер Гроссмана, сказал ему, что против Пастернака выступил я: очевидно, он потому спутал меня с Пеньковским, что оба мы переводили киргизский эпос. И вот до меня дошло, что Гроссман разбушевался, всюю меня ругает. Я перестал с ним встречаться. Прошло несколько месяцев, — и мы с Гроссманом в одном зале, нам вручают медали 800-летия Москвы. Гроссман ко мне подошел, улыбаясь. Оказалось, он уже узнал от Николая Чуковского о своей ошибке. Мы помирились, поцеловались. Я ему сказал: «Можно же было спросить у меня, как в действительности обстояло дело», а Гроссман повинно ответил: «Я поверил. Такие времена, что плохому всегда веришь».

Гроссману приятно было отношение к нему Эренбурга — внимательное, ласковое, уважительное. Гроссман ценил его талант, особенно ярко, по его мнению, выразившийся в «Хулио Хуренито», ценил его военные статьи, его образованность, превосходное знание живописи, ценил, как я заметил, то, что его хвалит писатель старше его годами, с мировой славой. Гроссман пожал плечами, когда я сказал, что Эренбург настоящий, хотя и небольшой поэт, недурной переводчик, средний прозаик и выпендренно-беспринципный журналист, — мое мнение показалось ему парадоксальным, бездоказательным, за исключением последнего пункта. Однажды, где-то в начале пятидесятых, мы с Гроссманом были в гостях у Каверина, заночевали у него на даче в Переделкине, об этом узнал Эренбург, живший тогда на соседней даче у Лидина, и пригласил нас к себе. Гроссман шел к нему раздраженный, — Каверин скупко выставил водку, и вот, когда мы пришли к Эренбургу, Гроссман на него обрушился, как на борца за мир, выложил все, что он думал о его политической деятельности. Эренбург держался мужественно, оскорбительные слова Гроссмана выслушивал спокойно. Я был согласен с Гроссманом, но, признаюсь, не одобрял его поведения: со многими Гроссман рассорился, теперь рассорится с Эренбургом, который так любил его как писателя, да и как человека. Общество наше особенное, нового типа, и трудно, порой невозможно в обществе нового типа жить с людьми, как в прежнем, пусть несовершенном, но нормальном обществе старого типа.

Нет, Гроссман не был угрюмым, нелюдимым. Таким его сделали. Он любил веселье, шутки, дружеские беседы и застолья, карточную игру (иногда покер или преферанс длились всю ночь напролет, целыми сутками). Он был обращен к людям всей душой своей, но его доверчивость, грубо и много раз обманутая, превратилась в недоверчивость. А те, кем он был обманут и предан, чтобы как-то оправдать себя в собственных глазах, объявляли его угрюмым, грозным, нелюдимым, трудным в общении.

12 декабря 1984 года ему исполнилось бы 79 лет. Понятно, что большинство его сверстников ушло из жизни. Осталось в Москве лишь несколько литераторов, которые знали его. В связи с выходом в свет книги «Жизнь и судьба» интерес к нему возродился. Те, кому посчастливилось книгу прочесть, взволнованы ею и, встречая меня, говорят и о книге, и об ее авторе, — и опять: «Он был человек нелег-

кий, нелюдимый, обозленный». Я напоминаю им, как они избегали его в тяжкую годину, привожу постыдные для них случаи, но так как высказываюсь без злобы, улыбаясь, потому что своих собеседников не уважаю, то они на меня не обижаются. Ошибка Гроссмана, по-моему, состояла в том, что он литераторов нового типа мерил старой меркой русской интеллигенции, принимая их всерьез.

В конце 1962 года Гроссман сказал мне, что у него в моче появилась кровь. Лечащий его литфондовский врач Райский посоветовал ему обратиться к урологу, но посоветовал не настойчиво. Гроссман лечиться не любил, к урологу не пошел.

Мы оба думали, не результат ли это той невыразимо острой пищи, которой он ублажал себя в Армении. Неприятное явление прекратилось, и Гроссман успокоился. Врачи-онкологи мне потом говорили, что, если бы он не запустил болезнь, его можно было бы спасти или, по крайней мере, продлить ему жизнь на 5—6 лет.

Он как бы забыл о случившемся, много, с увлечением работал, но на здоровье иногда жаловался, что раньше было ему несвойственно. Однако, несмотря на недомогание, читал газеты, ловил «вражеские» голоса, отзывчиво и любовно следил за литературными делами своих друзей. Вот что он мне в это время написал в Малеевку:

«Дорогой Сема, получил твое письмо. Рад, что чувствуешь себя лучше. Рад, что твое стихотворение наконец опубликовано в «Литер[атурной] газете». Неожиданно ли это для тебя? Ведь перед отъездом ты говорил мне, что редакция решила не публиковать этих стихов. Так или иначе — очень рад этому, девятому, по-моему, из опубликованных твоих стихотворений. Рад, что ты гуляешь сам с собой и общаешь, что «такой спутник мне никогда не может наскучить». Как бывает тяжел этот спутник, как мучительно бывает общение с ним. Помнишь «...читая жизнь мою, я трепещу и проклиная, и горько жалуясь, и горько слезы лью». Ох, уж этот нескучный, он человек обоюдный, как с ним поведешь себя. У меня совершенно нет нового, — «тишина немая и не слышно лая псов сторожевых». Кстати, Катя¹ рассказала мне, что Диккенс (она сейчас переводит его письма) разошелся с женой, когда у них было 10 детей. Пишу это без страха вызвать в ком-либо опасные мысли по

¹ Дочь Гроссмана.

этому случаю, так как знаю, что заразительны лишь дурные примеры...»

Письмо от 4 февраля 1963 года:

«...Меня очень порадовала заметка-статейка Дорофеева¹ о тебе. Прочел ее несколько раз. Лучше не напишешь. Все вспоминаю, как ты часто повторял: «Хоть бы 5 строчек за 30 лет». Ну вот, наконец, и пришли эти строчки. Мне кажется, что они много помогут и в издательских делах, хотя, конечно, особого оптимизма проявлять не следует. Но есть в них и нечто большее, чем практическое их приложение, они хороши и важны сами по себе, важны в первую очередь для тебя, а не только для тех, кто прочтет их. И потому-то я радовался, читая и перечитывая их. Между прочим, я подумал, что в газете можно опубликовать отрывок из поэмы, если всю целиком они не решат дать...

Гехту² лучше, температура упала, врачи настроены оптимистически. Гехт стал проявлять интерес к внешнему миру, просил газеты. Но опасность еще не прошла полностью.

У меня ничего нового нет, молчавшие продолжают молчать...»

Письмо от 13 февраля 1963 года:

«...Меня радует, что есть продвижение «Нестора»³ в «Литер[атурной] России». Но, конечно, еще много, много препятствий впереди. Как со сборником — ты не написал мне, как Слуцкий⁴ отнесся к нему и какой ему предсказывает гороскоп? Почему ты не пишешь, кто в Малеевке, мне всегда интересно читать твои перечисления с комментариями.

¹ Я впервые в жизни читал на совместном заседании секций поэтов и переводчиков собственные стихи. Об этом «Литературная газета» опубликовала сочувственную заметку.

² С. Г. Гехт — наш приятель, о котором я писал выше. Ему сделали операцию аденомы, но сказались восемь лет лагерей, он сильно ослабел, вскоре после операции умер в больнице.

³ Речь идет о моей поэме «Нестор и Сария». «Литературная Россия» собиралась было ее напечатать, но после выступления Хрущева на выставке в Манеже ее отклонила. Поэма впервые напечатана в журнале «Время и мы».

⁴ Поэт Б.А. Слуцкий решил отнести сборник моих стихотворений в издательство «Советский писатель». Этот первый мой сборник, «Очевидец», вышел в 1967 году.

О своих делах не пишу, так как ничего значительного ни со знаком плюс, ни со знаком минус не произошло. Даже Анна Самойловна как-то неопределенно разок позвонила и сказала, что пока рассказа не возьмет, повременит. Меня это немного удивило, ведь прочесть его она, во всяком случае, могла, независимо от редакционной ситуации.

Березко¹ не подает признаков жизни.

«Сам себя» чувствую не очень хорошо, вновь подскочило давление. Был у меня вчера Райский — дон Померанцо все пишет и пишет».

Письмо от 21 февраля 1963 года:

«...Катя² приехала вчера из Ленинграда. Там дело совсем плохо, у мужа ее сестры оказался рак, от операции врачи отказались, считают, что ничего не даст, его выписали из больницы. Представь, он сам хирург-онколог, но не понимает, что болен раком. Новости все такие печальные. Когда люди стареют, им кажется, что весь мир полон гипертонии, склероза, злокачественных опухолей, стенокардии. А было нам по двадцать лет, и казалось, что ничего, кроме триппера, нет на белом свете..

Анна Самойловна взяла рассказ у меня — шансов нет, мне кажется. Этот жанр определяется — для «редакционного чтения».

Пиши, когда приедешь. Тебе что, катаешься, как датский сыр в вологодском масле, кругом астрономы да Соколовы-Микитовы...»

В апреле дурные симптомы повторились. Врачи решили положить Гроссмана в больницу. Накануне майских праздников его устроили в Боткинскую, в палату на двоих. Его соседом был политический обозреватель «Правды» Маринин, чуждый Гроссману, но отвлекавший его от тяжелых мыслей интересной информацией. Оперировать Гроссмана должен был опытный хирург-уролог Гудынский. Врач нам сказал, что болезнь запущена — рак почки, что он удалит почку, но не уверен, что нет метастазов. Перед операцией Гроссман чувствовал себя неплохо. Мы каждый день сидели на лавочке в больничном садике, Василий Семенович был какой-то тихий, примиренный. Раздражали его только

¹ Г.С. Березко, литератор, впоследствии председатель комиссии по литературному наследству Гроссмана.

² Е.В. Заболоцкая.

больные, их грубость, пустые разговоры, чавканье за столом, — в общем, он уже не смотрел на таких людей, как раньше, «превозмогаая обожанье».

Мы ему сказали, что у него нефрит, вещь неприятная, но не опасная, почка не действует, придется ее удалить. Он слушал настороженно, но верил, по крайней мере, мне показалось, что он нам верил. Посещали его Ольга Михайловна, Е.В. Заболоцкая, писатель А.Г. Письменный, дочь Катя. Один раз пришла приехавшая из Харькова в Москву первая его жена, Галина Петровна, он был этим недоволен.

Операция прошла благополучно. Гудынский сказал: «Может быть, обойдется». Через несколько дней я должен был срочно вылететь на две недели в Душанбе, я договорился с Е.В. Заболоцкой, что она мне будет подробно писать. Вот ее письмо от 11 мая 1963 года:

«...Васе разрешили встать на ноги, сделать несколько шагов и сесть в кресло. И сегодня его выкупали в ванне. Рассказывает, что в ванне он испытал блаженство, хотя очень боялся купаться. Вечером, при мне, он продемонстрировал все свои достижения: прошел по палате к окну и, сидя в кресле, поужинал. Передвигается он медленно, с трудом, но старается без поддержки. Стало видно, как он похудел и какой у него плохой цвет кожи.

Девятого у него были три дамы — Анна Самойловна, Мариам Наумовна¹ и Асмик, — говорят, сильно шумели, обсуждали редакционные новости и сильно утомили его. Десятого долго не делали перевязку, и перевязка была в плохом состоянии. Вася говорит, что по лицам врачей он видит, что им не нравится его рана. По-прежнему из нее много выделений. Говорят, что теперь, когда он сможет сидеть и немного ходить, кровообращение станет лучше и все будет заметно улучшаться.

Объективно как будто все лучше, но он стал еще печальней, подавленней. Сегодня, когда впервые после операции подошел к окну, сказал: «Подошел вдохнуть воздух и посмотреть в окна онкологического института»².

Вася просил передать Вам сердечный привет. Мы собирались вместе писать Вам, но сегодня он так устал от путешествий, что не смог даже продиктовать несколько фраз...»

¹ М. Н. Черневич, переводчица с французского.

² Онкологический институт им. П. А. Герцена, рядом с Боткинской больницей.

Из письма Е.В. Заболоцкой от 16 мая 1963 года:

«Дорогой Сема, пишет Вам бабушка. Внучка родилась вчера в 10 ч. 50...

У Васи все хорошо, и, кажется, дело идет на поправку. Он выходит на улицу. Спускают и поднимают его на лифте, а ходит один, без поддержки. Я застала его сидящим на скамейке на улице. Настроение у него получше, хотя говорит, что ничто его не радует — ни весна, ни зелень, которую он так хотел увидеть...»

После выписки из больницы Гроссман заметно окреп. К нему вернулся хороший цвет лица. Можно было бы радоваться, если бы не знать о грозящей ему опасности. Мы каждый день гуляли вдвоем недалеко от дома, иногда по влечению, свойственному обоим, садились в трамвай и проделывали весь маршрут его длинный от начала до конца, наблюдая меняющихся пассажиров. Если против него сидели дети на руках у матерей, Гроссман строил им рожицы, и дети смеялись. А иногда мы в такси отправлялись к Речному вокзалу, сидели в парке, любовались рекой, пароходами. Со слезами в голосе он мне рассказывал, что молодой писатель Овидий Горчаков пришел к Гудынскому, предлагал для Гроссмана свою почку.

Кажется, в августе он прочел мне окончательный вариант повести «Все течет», — все эти месяцы, выйдя из больницы, над ней работал. Я уверен, что «Все течет» — новое слово в русской прозе. Ее незавершенность кажущаяся. Соединение художественных страниц с публицистикой — результат обдуманного решения, а не поспешности, как полагают некоторые. Гроссман в этой повести рассказал о том, о чем до него никто не писал. Я никогда не видел ее напечатанную. Прототипы ее главных героев мне хорошо известны.

Ранней осенью с помощью Литфонда устроили Гроссмана в военном подмосковном санатории Архангельское. Он мне писал оттуда 11 сентября 1963 года:

«Здравствуй, дорогой Сема!

Вот я пишу тебе из санатория Архангельское, сидя в отдельной, не проходной комнате. Санаторий хороший, богатый, природы очень много, и вся она красивая — парк старинный, с огромными деревьями, под обрывом Москва-река. К красоте природы относятся кино и бильярд, а особенно столовая.

Знакомых не видно, дух воинский, от коего я отвык с осени 1945 года. В первый же день очень много гулял, хороши на фоне зелени мраморные статуи — античные. Прелестна фигура 22-летней Юсуповой умершей — работы Антокольского. Куда Павлу¹ до дзядзи... Уехал из Москвы в плохом, тяжелом настроении...»

Из письма от 16 сентября 1963 года:

«...Я тебе дважды звонил (отсюда можно, сюда нельзя), в пятницу, но телефон молчал...

Погода, к сожалению, день ото дня портится, немного донимает меня астма — вероятно, от сырости, большого количества зелени. Но не страшно, да и врачей тут много — медицина сильная... Хожу тут каждый вечер в кино, знакомых нет. Тут отдыхает Яблочкина². Не развлечься ли, не поухаживать за актрисой? Звонил Анне Самойловне, в «Неделе» меня похоронили, видимо...»

Из последнего письма ко мне — от 6 октября 1963 года:

«...Чувствую себя лучше, окреп, астма почти не тревожит в последние дни, похудел на 2 кило. Через 2—3 дня отправлюсь к Гудынскому. Отвык от больницы, и она стала пугать меня...»

Но в больницу он лег не сразу после санатория, а в начале зимы. Он стал очень плох, видно было, что не жилец. Причины раковых заболеваний мало исследованы, но нельзя игнорировать одну: тяжелое нервное потрясение. Не сомневаюсь, что он заболел оттого, что арестовали «Жизнь и судьбу». Он мог бы жить долго. Его отец умер, когда ему было за восемьдесят. В расцвете творческих сил Гроссман был выброшен, извергнут из литературного процесса. Накануне войны такая же судьба постигла другого корифея русской литературы — Михаила Булгакова. Истории болезни у них разные, а болезнь одна и та же. Вспомним, что и у Булгакова арестовали «Собачье сердце».

И вот Гроссман опять в Боткинской больнице. На этот раз он один в палате, а палата узкая, длинная, как гроб. Оперировать не стали: у больного нашли рак легкого. Дальнейшее его пребывание в больнице врачи сочли бессмыс-

¹ Поэт П.Г. Антокольский, племянник скульптора.

² А.А. Яблочкиной было в то время 97 лет.

ленным. Один из них сказал: «Пусть умрет в домашней обстановке».

Наступили тоскливые месяцы. Гроссман пробовал работать, читать. Он стал угрюм, раздражителен, уже не верил нашему обману, что поправится. Узнали мы, что в Баку имеется лекарство — какое-то производное от нефти, которое исцеляет от рака легкого. Через руководителя азербайджанских писателей Имрана Касумова удалось достать это лекарство. Гроссман стал его принимать под наблюдением врача, — улучшения оно не дало. Заговорили о другом лекарстве, французском, тоже якобы чудодейственном. Оказалось, что немного его есть у Лили Брик. Она была знакома с Гроссманом, поделилась с ним заграничным снадобьем, но и оно не помогло. Профессор-консультант литфондовской поликлиники предложил попытаться лечить Гроссмана с помощью химиотерапии, для чего применялось экспериментальное лекарство, изобретенное профессором Эмануэлем.

Корпус химиотерапии представлял собою одноэтажное деревянное здание, расположенное на задворках 1-й Градской больницы. Гроссмана поместили в отдельной палате, за стеной лежал поэт Светлов, тоже умиравший от рака. Светлова навещали ежедневно десятки людей, было лето, многие из них дожидались очереди во дворе. К Гроссману приходило несколько человек — одни и те же. Он лежал на высокой кровати, слушал посетителей, старавшихся развлечь его всякими новостями, а в глазах его светился один вопрос: «Буду ли жить?» А он хотел жить, он опять стал верить нашему обману, что врачи обещают хороший исход.

Однажды, когда мы с ним остались наедине, он показал мне маленькую таблетку и спросил с безнадежной улыбкой: «Ну скажи, разве такая крохотуля может спасти человека?» Тогда я вынул из кармана стекляшку с нитроглицерином, высыпал на ладонь таблеточку и сказал: «Посмотри, эта еще меньше, а меня она спасает», — и я почувствовал, что мне удалось хотя бы на минуту успокоить Гроссмана, убедить его в пользе лечения, потому что он хотел, чтобы его убедили, хотел жить.

Беда не приходит одна. В это же время заболела раком моя мать. Ее положили в Яузскую больницу по Ярославской железной дороге. Приходилось делать большие концы от одной больницы до другой. Гроссман спрашивал о моей матери, но как-то безучастно, внешний мир отделялся от него. Седьмого августа мы похоронили мою маму на Вос-

тряковском кладбище. Е. В. Заболоцкую поразила суровость еврейского обряда омовения покойницы (мужчины при этом не присутствуют). Екатерина Васильевна рассказала об этом Гроссману. Он слушал внимательно, но думал о своем. Он скончался в ночь на 15 сентября 1964 года. Начались похоронные хлопоты. Писателей у нас хоронят по шести (я сосчитал) разрядам. Первый, самый высший: с усопшим прощаются целыми делегациями в Колонном зале Дома Союзов. Так хоронили Фадеева. Разряд последний, шестой: гроб стоит в доме покойника (так хоронили в Переделкино Пастернака) или — еще хуже — в больнице (так возле морга больницы им. Склифосовского говорились речи над гробом А. Ахматовой). Гражданскую панихиду по Гроссману, как и по Платонову, провели — таково было решение — по пятому, предпоследнему разряду: в одной из больших комнат Союза писателей. Но и этого надо было добиваться: Союз писателей определяет не только обстоятельства жизни, но и обстоятельства смерти своих членов. Дать или не дать объявление о смерти в «Вечерней Москве»? Дать или не дать некролог в «Литературной газете»? И каких размеров? И какой тональности? С портретом или без портрета? Со статьей видного писателя под некрологом или без такой статьи? Кому выступить на гражданской панихиде? На каком кладбище — по степени могильной престижности — хоронить? Например, на Немецком кладбище теперь хоронят только тех писателей, которые 50 лет пробыли в рядах КПСС. Все надо тщательно обсудить, а в особых случаях посоветоваться с вышестоящими инстанциями.

Конечно, это суета сует, бесчувственному телу все равно где истлевать, но человек так устроен, что ему — живому — нужна такая суета сует, чтобы утихла боль утраты.

Хлопоты легли на меня. Союз писателей представляет собой министерство, и доступ к тем, кто все решает, не такто прост. Я по старой памяти обратился за помощью к Николаю Чуковскому, который к тому времени высоко взобрался по бюрократической лестнице. Он сразу согласился мне помочь и повел меня к Тевекеляну. Не помню, кем был Тевекелян, то ли одним из секретарей московской писательской организации, то ли ее главным партийным. Будучи человеком восточным, он в отличие от русского на его месте умел казаться приветливым, сердечным, но я неплохо знал Восток.

С первых слов моего прежнего товарища в кабинете Тевекеляна я понял, что мне от Николая будет мало толку. Он сказал: «Видите ли, в последнее время я с Василием Семеновичем не встречался, мы разошлись», — и Тевекелян ответил с одобрением в голосе: «Да, да, я вас понимаю».

Я представил список писателей, выразивших согласие произнести речь на панихиде: Эренбург, Паустовский, Каверин. «А вы?» — спросил Тевекелян, обращаясь к Николаю Чуковскому. Тот отказался. Тевекелян не настаивал. Записав три фамилии, он мне сказал: «Мы подумаем, а по остальным вопросам обратитесь к Воронкову, я ему позвоню, чтобы он сейчас же вас принял».

Воронков был оргсекретарем Правления так называемого Большого Союза. Я отправился к нему один. Николай сказал мне, что он больше мне не нужен. И был прав. Воронков — важный, вернее, важничающий, чиновник — принял меня сухо, но я знал, что приветливость Тевекеляна равняется сухости Воронкова. Я положил на стол некролог, составленный мной и Эренбургом. «Оставьте, мы отредактируем и пошлем в «Литературную газету», — сказал Воронков. Я спросил: «Неужели Эренбурга надо в этом случае редактировать?» — «Его-то и надо», — отрезал Воронков и улыбнулся беззлобно. И я еще раз понял, что все эти функционеры, в сущности, крепостные актеры, играют каждый свою роль, чтобы умиловить господина, а не то — под ярем барщины, на скотный двор. Понял и то, что под этими гольдониевскими масками надо искать человеческие черты.

На другой день рано утром мне позвонил Тевекелян, сказал, что гражданская панихида состоится в конференц-зале Союза писателей, что выступать будут Евгений Воробьев, Эренбург и Александр Бек, что в крематории могу выступить я, но я должен свою речь написать и предварительно показать ему, Тевекеляну, что отредактированный некролог уже отправлен в «Литературную газету» и в «Советскую культуру», что я должен принести как можно скорее портрет Гроссмана и текст своего выступления, что вопрос о кладбище будет решен позднее, это не к спеху, поскольку речь идет об урне. Я спросил, все ли должны принести ему тексты своих выступлений. Тевекелян не ответил, сказал: «Жду вас к двенадцати».

Я набросал текст своей речи, заехал к Ольге Михайловне за фотоснимком, отправился к Тевекеляну. Хотя я явился в назначенный час, Тевекеляна не было, его секретарша

сказала, что она в курсе дела, фото Гроссмана надо оставить ей, о тексте моего выступления — ни слова.

На гражданскую панихиду пришло, на глаз, около ста человек, все больше литераторы и их жены, читателей было мало. Евгений Воробьев (книг его я не знаю) говорил сердечно, взволнованно. Чувствовалось, что он любит и почитает Гроссмана. Умную, серьезную речь произнес Эренбург. Он поставил Гроссмана в один ряд с крупнейшими писателями России. Он честно признал, что Гроссман в последние годы относился к нему крайне критически, перестал с ним встречаться. «В некрологе, — сказал Эренбург, — напечатано, что лучшие произведения Гроссмана останутся достоянием советского читателя. Но кто возьмет на себя право определять, какие произведения — лучшие?» Все поняли, что имел в виду Эренбург.

Речь талантливого Александра Бека произвела на меня и на друзей Гроссмана неприятное впечатление. Он крутил. Более того, как бы подмигивал слушателям: мол, смотрите, кручу. Он хотел сказать то, что думал о Гроссмани, а думал он о нем высоко и в то же время боялся, трепетал. Он как бы задним числом обелял покойника в глазах незримого руководства, забыв, что мертвому это уже не нужно. Литературное начальство представлял один Тевекелян, он же поехал с нами в крематорий, простые люди — в двух автобусах, он — в персональной машине.

В крематории я читал речь, как мне было велено, по записи. Среди прочего я сказал следующее: «Мы, читатели Гроссмана, уверены, что в ближайшее время будут изданы все его сочинения, как уже опубликованные, так и пока еще не опубликованные». Когда я произнес эти слова, Тевекелян при всеобщем молчании покинул зал крематория.

Родственники Гроссмана, Е. В. Заболоцкая и я хотели захоронить урну с пеплом на Ваганьковском кладбище, рядом с могилой отца Гроссмана, близко от Беговой, где Гроссман жил долгие годы, близко от центра Москвы. Но Ольга Михайловна настаивала — и упорно — на Новодевичьем, самом престижном кладбище страны. Там похоронили Михаила Светлова, умершего почти в одно время с Гроссманом, и она хотела той же участи для останков своего мужа. Союз писателей отказался ходатайствовать о Новодевичьем: не положено.

В Москве на посту заместителя председателя Верховного Совета РСФСР находился кабардинский поэт Алим Кешоков, стихи которого я переводил. Впоследствии, в качес-

тве главы Литфонда, он исключил меня и мою жену, поэтессу И. Л. Лиснянскую, из этой крайне полезной организации.

Но тогда мы с Кешоковым были в добрых отношениях, и с его высокопоставленной помощью удалось добиться разрешения захоронить урну с прахом Гроссмана на Троекуровском кладбище, за Кунцевом. И название звучное, и кладбище многозеленое, оно было задумано как филиал Новодевичьего. Там и стоит теперь гранитный бюст Гроссмана работы скульптора Письменного (сына писателя).

Рядом с Гроссманом покоятся Светлов (другой, не Михаил — цыганский писатель) и мать бывшего министра МВД Тикунова.

Доступ к Троекуровскому труден, автобус к нему идет от станции метро «Кунцево» нечасто и нерегулярно, в последние годы кладбище решили законсервировать, филиалом Новодевичьего стало находящееся поблизости Ново-Кунцевское кладбище, а Троекуровское запущено, там никого не хоронят. Безмолвный городок мертвых, редко посещаемый живыми. Читатели не знают, где лежит Гроссман...

По решению руководства московского отделения Союза писателей в комиссию по литературному наследию Гроссмана вошли Георгий Березко (председатель), Твардовский, Борис Галин, Александр Письменный, Миральда Козлова (от ЦГАЛИ), Ольга Михайловна и я. Предложили было председательское место Твардовскому, мы этого горячо желали, много значила бы его подпись под различными ходатайствами, но Твардовский, согласившись стать членом комиссии, от председательствования отказался, сославшись на свою занятость в качестве редактора «Нового мира». Кандидатуры Эренбурга и Паустовского, выдвинутые нами, были отклонены писательским руководством.

Березко имел те основания возглавить комиссию, что был хорошо знаком с Гроссманом, ценил и любил его талант, Гроссман посещал с ним рестораны, ему импонировали светскость и непринужденность Березко в этих славных учреждениях. Однажды в машине приятельницы Березко мы поехали в Ясную Поляну, и Березко сказал у могилы Толстого: «У меня сейчас такое чувство, будто я целую край гвардейского знамени». К его литературной деятельности Гроссман относился насмешливо, но добродушно.

Поначалу комиссия работала довольно слаженно, даже энергично, особенно если вспомнить, что мы занимались литературным наследием автора арестованного романа.

Что нам удалось? Опубликовать в журналах несколько рассказов Гроссмана, его дневниковые записи военных лет, «Добро вам» — увы, в искаженном виде. Не удалось главное: издать пятитомное собрание сочинений, изъять из Лубянки и передать в ЦГАЛИ «Жизнь и судьбу».

Мы решили просить сталинградское (волгоградское) начальство о присвоении имени Гроссмана, как храброго участника великой битвы, одной из улиц или библиотек города, решили для этой цели отправить меня в Волгоград. Союз писателей, видимо, не одобрил решения комиссии, отказался оплатить командировку, я поехал за свой счет, добился приема у секретаря обкома по пропаганде Небензи, он знал произведения Гроссмана, обещал подумать о присвоении имени писателя одной из новооткрывающихся библиотек, но, видимо, хорошенько подумав, с кем надо посоветовавшись, отцы города отказались от этого намерения.

Большой урон нашей комиссии нанесли две смерти: Твардовского и Письменного, людей разной степени литературной авторитетности, но одинаково порядочных. То, что их не стало, я особенно остро почувствовал в один памятный день, когда мы собрались на очередное заседание в маленькой комнатке Дома литераторов. Я не могу сказать о себе, что отличаюсь интуицией, электрической силой предчувствия, во всех обстоятельствах жизни предпочитаю опираться на факты, но в тот день, пока мы рассаживались, в воздухе чудились отрицательные ионы, которые прыгали от Березко и Галина. Наконец Березко высказался, нервно и неуверенно, больше чем обычно заикаясь: «В моей голове не укладывается, — сказал он, — что писатель-патриот, каким я всегда считал Гроссмана, написал грязную, враждебную нам повесть «Все течет», теперь изданную за рубежом и прославляемую всяким охвостьем. Я предлагаю поместить от имени всей нашей комиссии письмо в «Литературной газете», в котором мы должны с гражданственным гневом осудить и самого Гроссмана, и буржуазных писак, его хвалителей, заявить, что считаем нашу комиссию распущенной». Галин присоединился к предложению Березко, тоже выразил недоумение — как это Гроссман, создавший нужные нашему народу произведения, написал клеветническую повесть, и добавил с надеждой, обратившись ко мне: «Может быть, не Гроссман ее написал? Вы читали?» Я ответил вопросом: «А вы читали? А вы, Георгий Сергее-

вич, читали?» Березко и Галин молчали, видно было, что они здорово напуганы.

Я спросил у Березко, получил ли он указания о письме в «Литературную газету» и о самороспуске нашей комиссии от секретариата московского отделения Союза писателей, в частности от секретаря по оргвопросам В. Н. Ильина. Выяснилось, что такого указания не было. Березко и Галин стремились опередить события, они были, как любил выражаться Платонов, забегальщиками. «Ярость к врагам, — признался Березко, — не нуждается в указке».

Я сказал, что, как учит нас Лебедев-Кумач, пусть ярость благородная вскипает, как волна, однако я не понимаю тех, кто рассуждает о произведении, даже не прочитав его, что решение о роспуске нашей комиссии должно исходить от секретариата, а, поскольку этого нет, мы обязаны спокойно продолжать работу, порученную нам секретариатом, — заниматься изданием и популяризацией литературного наследия Гроссмана.

Неожиданно меня поддержала сотрудница ЦГАЛИ Миральда Козлова. Я давно заметил, что она, как многие деятели такого рода, высказывается всегда толково, чуждается демагогии. Она сказала, что опубликование в «Литературной газете» предлагаемого Березко письма будет только на руку врагам, что мы должны сохранить Гроссмана как советского писателя, не отдавать его нашим недоброжелателям. Там, за рубежом, считают, что «Все течет» есть вторая часть романа, и пусть продолжают так считать, хорошо, что ничего они не знают, пусть трепшутся.

Мы разошлись, не приняв никакого решения, но с того дня наши заседания прекратились. Березко понимал, что поступил гадко. Встретив однажды меня, он спросил: «Вы не подадите мне руки?» Я подал ему руку. Ничтожный, слабый, он мог бы в другом обществе быть приличным человеком. Комиссия наша распалась сама по себе, без указания сверху: Березко и Галин умерли, я вышел из Союза писателей.

Произведения Гроссмана перестали издаваться. Его имя все реже, нехотя упоминалось в печати. Угасал читательский интерес к его книгам: ведь читатели читают то, что им дают. И вдруг приходит весть, что после многих лет заточения роман вырвался на свободу, что отдельные его главы напечатаны то в том, то в другом журнале. А полностью? Идут годы, о полном издании романа ничего не слышать. Молчат и радиоголоса. Знающие люди объясняют: ро-

ман большой, а капитализм есть капитализм, трудно найти издателя, пожелавшего рискнуть — вложить деньги в предприятие, не сулящее скорой прибыли. К тому же не каждому издательскому рецензенту роман может понравиться. Не завораживает никого и имя Гроссмана, даже на родине постепенно утратившее свою громкость.

Что думал по этому поводу я? Горькими были мои думы. Судьба романа Гроссмана как была связана с его жизнью, так и осталась связана с его смертью. Если такое великое произведение, как «Жизнь и судьба», десятилетиями томившееся в темнице, не может выйти к читателю на Западе, то Запад достоин слез и смеха, уважать его нельзя.

Я ошибался. Я забыл булгаковское правило — удивляться не тому, что трамваи не ходят, а тому, что трамваи ходят. И медленно, не сразу, мне на удивление, трамвай пошел. Умные, даровитые люди, всем сердцем любящие родную литературу, посреди трудностей своего эмигрантского бытия не пожалели усилий, чтобы найти бескорыстного издателя для Гроссмана и, найдя его, со всей мыслимой в таких необычных условиях тщательностью подготовить книгу к печати, книгу, израненную на долгом и тяжком пути от неволи к воле.

И вот роман напечатан. Пусть радиоголоса о нем не говорят или говорят скороговоркой и, кажется, нет понимания того, что произошло важное событие в духовной жизни России — изгнанной и неизгнанной, — время направлено в сторону правды, все станет, верил я, на свои места. Как чудно сказал один второстепенный русский поэт. Бог не устал, Бог шествует вперед. Пусть с продолжительными, внезапными задержками, а трамвай ходит. Наконец он дошел до нас.

Разумеется, немногие на родине попали на его подножку, немногим удалось прочесть «Жизнь и судьбу», но из тех, кому это удалось, никто, насколько я знаю, не остался равнодушным к книге, ее художественную силу, величавость ее красоты, ее русскую боль, ее русскую правду приняли в свою душу все.

Запад есть Запад, он не торопился с переводом книги на языки своих наций. Да и то сказать, книга большая, в ней свыше сорока печатных листов, и повествует она о событиях сорокалетней давности, поневоле задумается издатель.

И все же книгу перевели, и прежде всего — на язык вечного романа, на французский. Говорят, во Франции она стала бестселлером. Какое счастье, какое возвышающее

нас счастье! Когда я узнал об этом, сердце мое, больное мое сердце забилось по-молодому, и слезы на глазах загорелись не старческие, а молодые, счастливые. Неужели мой друг оттуда, из элизнума, не видит, не радуется вольной поступи своего детища?

Вспоминается полное поэтической мысли, удивительное место из его романа:

«Сталинград перестал жить своей обычной жизнью — в нем умерли школы, заводские цехи, ателье дамского платья, самодеятельные ансамбли, городская милиция, ясли, кинотеатры... В огне, охватившем городские кварталы, вырос новый город — Сталинград войны... Каждая эпоха имеет свой мировой город — он ее душа, ее воля. Вторая мировая война была эпохой человечества, и на некоторое время ее мировым городом стал Сталинград... Мировой город отличается от других городов тем, что у него есть душа. И в Сталинграде войны была заключена душа. Его душой была свобода».

Таков, скажем и мы, Сталинград Василия Гроссмана, такова сияющая многоцветным огнепадом победа Гроссмана над духовно поверженным злом, победа свободы.

Соплеменники Стендаля и Бальзака, Флобера и Пруста хорошо понимают, что такое роман. И стоит прислушаться к французским критикам, когда они свои статьи, посвященные «Жизни и судьбе», озаглавливают так: ««Война и мир» нашего времени», или «Великий русский роман», или «Роман, продолжающий великие русские традиции», или «Титан в сердцеvine тьмы». Поразительные слова нашел Петру Думитриу, видимо, верующий католик. Он так глубоко проник в самую суть Гроссмана, что излишне спорить со второстепенными частностями. Читатель должен узнать эти поразительные слова, пусть в необработанном переводе:

«Гроссман писатель и ученый по натуре. Есть великий, потрясающий миг в духовной жизни человека науки: восторг перед грандиозным внутренним миром материи и одновременно перед загадочным соответствием между духом человеческим и таинственной реальностью Вселенной.

Тут Гроссман останавливается. Его герои тоже. Они — на пороге молитвы. Всего лишь один шаг остался на пути потрясающего восторга перед двойной тайной — тайной познания бездонной рациональности мира и тайной Бога, который есть Слово-Смысл, Логос, Бог-сын Иисус Хри-

стос. Всего лишь один шаг остался, но Гроссман этого не ведает.

Крайне важна рукопись Иконникова. Это — заповедь, философия Гроссмана. Скажем кратко: человеческая доброта, подземная, инстинктивная, слепая, непреодолимая. Христиане знают, что это адаре, на иврите — ахава, Любовь Бога, Любовь Христа, который сам есть не что иное, как Любовь, эта Любовь присуща человеку с первого дня творения.

Гроссман-Иконников не называет эту Любовь по имени. Хотя он еврей и русский, он слишком долго был марксистом-ленинцем, слишком долго был слепым... Невежество, предрассудки, глухота мысли. Он так и не узнал ни Христа, ни даже Будды, и еще меньше — их воплощение в миллиардах людей, следующих за ними. Однако я надеюсь, что Христос сжалится надо мной и простит мне, если я осмеюсь сказать: Гроссман был недалеко от Царства Божия».

Эти слова принадлежат человеку, который лично не знал Гроссмана, никогда его не видел, но постиг его сущность гораздо глубже, чем многие, видевшие и знавшие Гроссмана. В русской — да и в мировой — литературе не так-то просто найти писателя, чей нравственный идеал был бы сопряжен его человеческим чертам, был бы с ним слит. Мы это не можем сказать даже о Пушкине, даже о Толстом, основателе одного из направлений христианства. В России полное слияние человеческих черт с нравственным идеалом художественных творений я нахожу только у Короленко, Чехова, Гроссмана. Но первые два жили во времена, которые кажутся нам баснословно чудными, а не теперь, когда простая житейская порядочность, вследствие своей редкости, воспринимается как нечто удивительное, сверхпрекрасное.

Может быть, поэтому и считали Гроссмана неуживчивым, угрюмым, резким, что не был он похож на своих приятелей-писателей, год за годом терявших человеческое начало (такие, как Платонов, — исключение, потому-то так трудно сложилась его судьба). Никто не требовал от писателей, чтобы они, как некогда Пушкин, написали послание заключенным во глубине сибирских руд, но как могли эти художники слова печатно заявлять о том, что надо строго покарать их собратьев, исключить, осудить, заточить, изгнать? Никто не требует от академиков, чтобы они, как некогда Чехов, протестовали против того, что преследуют их собрата, но почему они трусливо отказываются от общения

с ним? Потому что они, эти художники слова, эти академики — темные, в них нет света жизни.

Через три года после смерти Гроссмана я написал стихотворение «Живой»:

*Кто мы? Кочевники. Стойбище —
Эти надгробья вокруг.
На Троекуровском кладбище
Спит мой единственный друг.
Над ним, на зеленом просторе,
Как за городом — кортуса,
Возводятся радость и горе,
Которые, с нелюдью в споре,
Творил он из тысяч историй,
И снять не успел он леса.
Словно греховность от святости
Смертью своей отделив,
Спит он в земле русской кротости,
Сам, как земля, терпелив.
И слово, творенья основа,
Опять поднялось над листвой,
Грядущее жаждет былого,
Чтоб снова им стать, ибо снова
Живое живет для живого,
Для смерти живет неживой.*

Вслед за верующим румыном я прошу у Господа простить меня, если скажу, что Гроссман был святым.

1984

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Книгу, которую читатель сейчас прочел, я написал пять лет назад, но мне кажется, что прошло не пять лет — прошла целая эпоха. Моя жизнь сложилась так, что ее, эту жизнь, новая эпоха гласности и демократии наполнила особенным светом. Я должен об этом рассказать, чтобы прояснилась загадка опубликования романа В.С. Гроссмана.

Я поместил несколько стихотворений, вполне безобидных, в машинописном альманахе «Метрополь». Авторы альманаха подверглись жестоким нападкам Союза писателей. Двух самых молодых, наименее защищенных, ис-

ключили из Союза. В знак протеста против расправы с молодыми я и Инна Лиснянская, вышли из Союза писателей.

На нас обрушилась лавина преследований. Исключили из Литературного фонда, выбросили из поликлиники (что в отношении меня было противозаконным актом, так как ветеранов войны из поликлиник не выбрасывают), перестали печатать не только наши оригинальные произведения, но и переводы, получившие в свое время высокую оценку на страницах печати. Были и другие прелести: угрозы по телефону, требования покинуть родину, посещения квартиры в наше отсутствие с нарочито оставленными следами, вызовы на комиссии, на которых с нами разговаривали компетентные лица.

В этих условиях я не мог сообщить о книге Гроссмана то, что собираюсь сделать сейчас.

Как я уже писал, Гроссман предложил «Жизнь и судьбу» журналу «Знамя» летом 1960 года. Наступила осень, а от редакции ни ответа, ни привета. Однажды, а дело уже приближалось к зиме, Е.В. Заболоцкая и я сказали Гроссману, что хорошо бы один машинописный экземпляр сохранить в безопасном месте. Гроссман внимательно, долго и хмуρο посмотрел на нас и спросил:

— Вы оба опасаетесь чего-то дурного?

Не помню, что ответила Екатерина Васильевна, а я сказал примерно следующее:

— Во время войны, когда Англию бомбили немцы, Черчилль говорил в парламенте: «Худшее впереди».

— Что же ты предлагаешь?

— Дай один экземпляр мне.

Так за полгода до ареста романа в моем распоряжении оказались три — по числу частей «Жизни и судьбы» — светло-коричневые папки. Обдумав дело со всех сторон, я решил упрятать папки в одном верном мне доме, далеко от литературы.

В больничной палате, незадолго до смерти, Гроссман сказал мне и Екатерине Васильевне:

— Не хочу, чтоб мой гроб выставляли в Союзе писателей. Хочу, чтоб меня похоронили на Востряковском еврейском кладбище. Очень хочу, чтобы роман был издан — хотя бы за рубежом.

Первые два завещания не были выполнены, потому что Ольга Михайловна хотела для мужа и панихиды в Союзе писателей, и более элитарного кладбища. Третье завещание моего друга я выполнил, хотя и не сразу.

Читатель, может быть, обратил внимание на такие строки моей книги: «Было бы лучше, если бы люди, каким-то образом сохранившие роман, нашли в себе смелость позаботиться о рукописи раньше». Это был упрек самому себе.

И все же в конце 1974 года я принял серьезное решение. Я обратился к Владимиру Николаевичу Войновичу с просьбой помочь мне опубликовать роман Гроссмана. Я выбрал для этой цели Войновича потому, что был с ним в дружеских, да еще и в соседских отношениях и знал, что у него есть опыт печатания за рубежом.

Войнович охотно согласился. За тремя папками отправилась Инна Лиснянская (я благоразумно считал, что мне туда ехать не надо) и привезла их Войновичу.

Войнович решил сфотографировать машинопись. Первая попытка оказалась неудачной. Но Войнович, как всегда, был настойчив, попытку повторил. Позднее я узнал, что он прибег к помощи Е.Г. Боннэр и А.Д. Сахарова.

Роман вырвался из оков.

Впоследствии, когда роман был издан на русском языке, выяснилось, что по техническим причинам оказались пропуски — иногда отдельных слов, фраз, иногда целых страниц. Пропуски эти — результат несовершенных фотоснимков и ни в коем случае не касались идейного содержания романа.

Пять лет зарубежные издатели русской литературы отказывались опубликовать «Жизнь и судьбу», — как мне стало известно, потому, что, по их мнению, роман о второй мировой войне теперешним читателям будет неинтересен, а о лагерях уже написал Солженицын. Наконец владелец швейцарского некоммерческого издательства «L'Age d'Homme» («Возраст человека») опубликовал роман на русском языке небольшим тиражом.

Не сразу роман привлек к себе внимание переводчиков и книгоиздателей на европейских языках. Пионерами, как я уже писал, оказались французы. Потом, после небывалого успеха книги во Франции, появились переводы на английском, немецком языках и, кажется, на испанском.

Редактор журнала «Октябрь» А.А. Ананьев, ознакомившись с романом, увидел, что книга эта великая. С необычайной смелостью, я бы сказал, с литературной дерзостью он решил напечатать «Жизнь и судьбу» в своем журнале. Благодаря А.А. Ананьеву книга Гроссмана стала национальным достоянием советских читателей.

Будучи членом новосозданной комиссии по литературному наследию Василия Гроссмана, я сдал А.А. Ананьеву как председателю комиссии все три папки. Теперь читатель получит уже полюбившееся ему произведение без пропусков.

Недавно, 12 декабря прошлого года, когда мы в семье Гроссмана отмечали день его рождения, я узнал, что черновик романа Гроссман отдал своему другу (ставшему и моим другом) В.И. Лободе. Мне неизвестно, как и когда это произошло, Гроссман об этом мне не сказал — и правильно сделал. В те годы человек не должен был знать больше того, что ему знать полагалось.

Я увидел этот черновик: машинопись, густо исправленная хорошо знакомым мне мелким почерком. Сопоставление некоторых — на выбор — страниц с сохранным мною беловиком показывает, что черновик окончательный.

9.1.1989

ДОБАВЛЕНИЕ К ПОСЛЕСЛОВИЮ

...Роясь в своем архиве, я недавно нашел два письма Гроссмана, которые теперь хочу (целиком) впервые опубликовать в этой книге.

В письме, отправленном мне в марте 1958 года в Ташкент, есть неожиданная — крайне отрицательная — оценка Гроссмана романа «Доктор Живаго». Я с этой оценкой не согласен. Не думаю, что «пастернаковская проповедь христианства далека от истинного христианства». Не думал так и Борис Зайцев, приветствовавший из своего парижского далека роман Пастернака как художник и христианин.

В то же время мне близки и дороги (поэтому и публикую их) слова Гроссмана, вслед за Толстым и Чеховым горевавшего «о пришествии декадентства в самую великую из литератур, самую добрую, самую человеческую». Мысль о доброте и человечности, о жалости к падшим, виновным Гроссман повторяет и в другом письме, отправленном мне в октябре того же года из крымского поселка недалеко от Коктебеля. Здесь лестная для меня (хотя и не без шипов) оценка переложения одного из эпизодов индийского эпоса «Махабхарата».

Конец фразы «...кого ты назвал...» я не мог разобрать. Упоминание о Гослите и о директоре издательства Владыкине связано с проектом (неосуществленном) издания

сочинений Гроссмана. Слова «Зайдешь в помещение, Бенья» — цитата из Бабеля. Горик — мой сын Георгий, врач.

1997

Письмо первое

Здравствуй дорогой Сёма, наконец, получил твое письмо, тоже уже волновался, что долго не отвечаешь. Объяснял твое молчание тем, что ты переживаешь описанную тобой ситуацию. Но не предвидел, что у тебя ячмень. Поэтому и волновался за твое здоровье, конечно.

Я сейчас много работаю, без выходных. Спешу?

Редакция «Знамя» стала просить меня, чтобы я дал им рассказы, которые не пошли в «Лит. Москву».

Я дал им читать «Тиргартен», «Лось», «Старая и молодая».

Обещали на днях сообщить мне свое решение. Просили очень настойчиво, по-деловому. Говорили, что кто-то, кажется Казакевич, им говорил об этих рассказах. Жду ответа.

В Гослите пока движения нет, им, правда, сейчас не до меня, — у Владыкина были неприятности крупные за издание некоторых западных книг, — он, говорят, даже заболел. По такой же части были неприятности и у Чаковско-го.

Прочел первый том и часть второго тома романа Пастернака. Приедешь, я подробно расскажу тебе свое впечатление.

Оценка моя лежит не в сфере наших современных литературных дел и отношений. Как правильно горевали Толстой, Чехов «о пришествии декадентства в самую великую из литератур, самую добрую, самую человечную». Как далека от истинного христианства эта пастернаковская проповедь христианства. Христианство лишь средство утверждения его особенной, талантливой, живаговской личности.

Какая нищета таланта, равнодушного ко всему на свете, кроме самого себя, таланта, который не горюет о людях, не восхищается ими, не жалеет их, не любит их, а лишь любит себя, восхищен «самосозерцанием духа своего». Худо нашей литературе! И не только потому, что на свете есть Сафроновы, Панферовы, Грибачевы.

И это худо предвидел Лев Толстой. Но Лев Толстой не предвидел декадентства в терновом венке, декадента в

короленковской ситуации. Это не шуточное зрелище, есть над чем подумать.

Приедешь, поговорим и об этом.

Когда-то Гете сказал: «если в душе великого человека есть темнота, то уж и темно там!»

Можно прибавить: «если в душе таланта есть пустота, то уж и пусто там!»

Читаю сейчас шеститомные мемуары Черчилля, прочел первые два тома. Много интересного, но есть и неинтересное. Интересен он сам — бульдог от демократии с примесью Стивы Облонского. В этой страшной буре он чувствовал себя в своей тарелке. Ладно уж, ты понимаешь, что об этом можно писать так длинно, что нет смысла писать. Зайдешь в помещение, Бенья, — поговорим.

В общем, все соображения, Семушка, клонятся к тому, что пора уж расстаться с Ташкентом и приехать в Москву.

Кого ты назвал — чемпион слалома? Я ломал голову — не мог понять. Звонил я вчера Фраерманам, старик здоров, — очень зовут к себе.

Целую тебя

Вася

Привет от Ек. Вас.

29. III. 58 г.

Напиши, сообщи, когда приедешь.

Письмо второе

Дорогой Сёма, хочу написать тебе несколько слов по поводу книги «Махабхарата» — «Сожжение змей». Впервые спасибо, что прислал ее.

Я прочел ее внимательно, некоторые главы читал вслух Ольге Михайловне.

С твоей легкой руки я знаком с Манасом, Джангром, Нартами. Случилось мне прочесть Илиаду и Одиссею.

Сразу бросается в глаза внутреннее глубокое различие «Сожжения змей» от этих древних легенд. Оно, — в человечности. Человечность — не только в ситуациях и положениях, и в основных, первичных понятиях, таких, как понятие силы, справедливости, права. Истинная сила — доброта. Справедливость в человечности. Жалость к падшим, к слабым, виновным. А ведь древние эпосы совершенно безжалостны, написаны тиграми. Драма сожжения змей вне государства, вне национального, вне народного ве-

личия, вне военной силы. Эта драма человеческой души, плохого в ней и хорошего.

Думаю, что самый серьезный и главный успех твой в работе над переводом «Сожжения змей» в том, что ты остро ощутил эту особенность индийского эпоса и смело, резко подчеркнул ее определяющее значение.

Этот твой успех главный — потому что он выше стихотворческого и переводческого твоего умения, он — твой человеческий успех.

Перевод, мне кажется, выполнен превосходно. Особенно хороши две последние главы, музыкальны, плавны, торжественны. А главное, — в них подтекст, который всегда воспринимается внутренним, неясным ощущением, приобретает почти такую же силу, как текст, обретает форму, ритм, мелодию.

Чтоб уберечь тебя от гордыни, к которой ты так склонен, напому тебе, что и на солнце есть блохи. Две из них приведу тебе.

На стр. 52 написано:

«...но в темной глуши не нашел антилопы.

Еще не бывало, чтоб грозный и дикий

Чтоб раненый зверь ускользал от владыки».

Получается, что антилопа — грозный и дикий зверь. А она ведь сама кротость, символ беспомощности и робости. Да и вообще рифмовать антилопу в силу некоторых особенностей ее рисковано. Горик знает об этом.

На стр. 132 написано:

«явились прислужники с маслом топленным».

Речь идет о том, чтобы лить масло в огонь. Но ведь топленое масло материя твердая. Лить в огонь можно горячее, кипящее, жидкое, растопленное масло.

Ну вот, дорогой мой, дело не в блохах, а в том, что есть хорошая книга. Хлеб... Главу Махабхараты кончим на этом.

Целует тебя крепко недобрый змей Вася.

29 октября 1958 г.

Напиши ответ, я его успею получить здесь.

Содержание

Проза

Записки жильца. *Повесть*7

Мемуары

Пушкинская улица	231
Карьера Затычкина	276
В Овражном переулке и на Тверском бульваре	310
Вечер Шенгели	338
Угль, пылающий огнем	374
У Волошина в тридцатом	399
Вечер и день с Цветаевой	404
Несколько страничек о Заболоцком	415
Кипарис доски	423
Вторая дорога	429
Бухарин, Сталин и «Манас»	442
Дни нашей жизни	487
Беседы с Ахматовой	497
Сила совести	506
Жизнь и судьба Василия Гроссмана	513

Семен Израилевич Липкин
Квадрига

Редактор *О. Разуменко*

Техническое редактирование, компьютерная верстка *Д. Назаров*

Корректор *Г. Абудеева*

Сдано в набор 20.12.96. Подписано в печать 22.01.97. Формат 84x108/32

Печ. л. 20,0. Бумага офсетная. Печать высокая. Гарнитура Таймс

Тираж 10 000 экз. Зак 34

ЛР № 064478 от 26.02.96 г.

Издательство «Аграф»

109544, Москва, Новорогожская 10а.

ЛР № 061544 от 18.08.92.

Издательство «Книжный сад»

119619, Москва, Боровский пр., 6 -36.

ОАО «Ярославский полиграфкомбинат».

150049, г. Ярославль, ул. Свободы, 97.